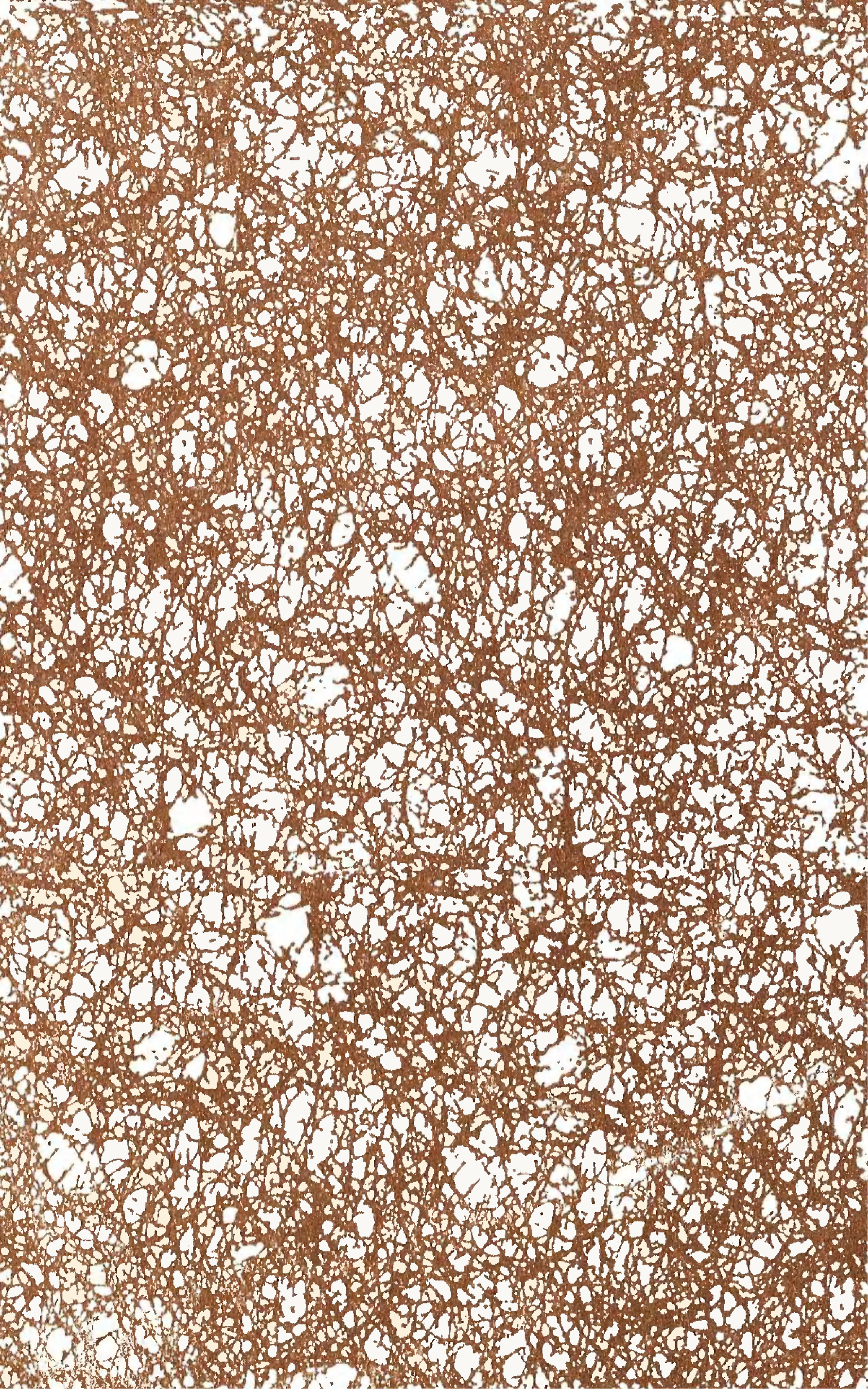
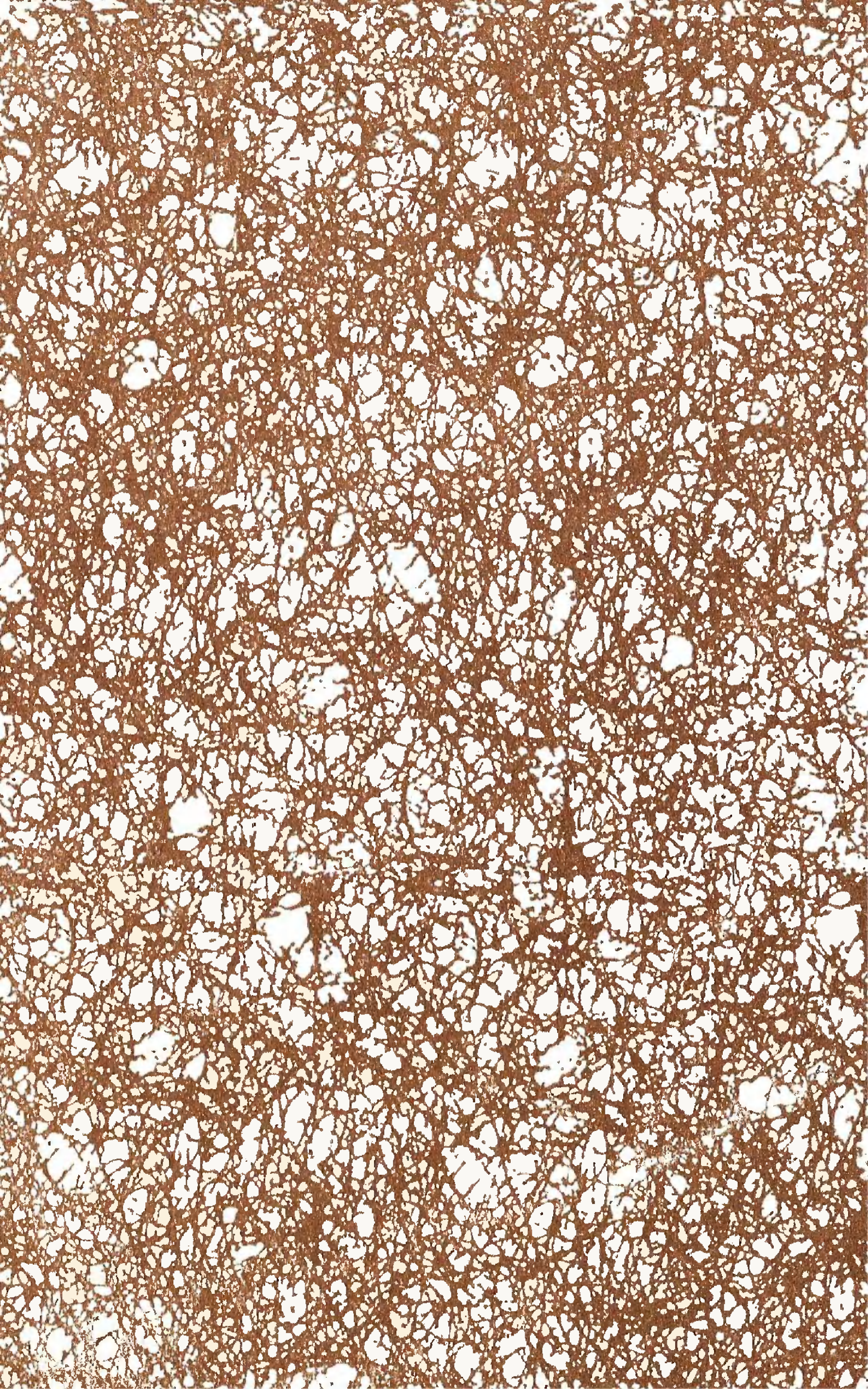
Л. Самсонов

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ХРОНИКА





Scan Kreyder - 29.11.2015
STERLITAMAK

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ПЕТР САЖИН

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ХРОНИКА

ПОВЕСТЬ

«ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1982

Р2
С14

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Председатель редакционного совета
Сергей Баруздин

Первый заместитель председателя
Леонид Теракопян

Заместитель председателя
Александр Руденко-Десняк

Ответственный секретарь
Елена Мовчан

Члены совета

Ануар Алимжанов, Лев Аннинский,
Альгимантас Бучис, Игорь Захорошко,
Имант Зиедонис, Мирза Ибрагимов,
Юрий Калещук, Алим Кешоков,
Григорий Корабельников, Георгий Ломидзе,
Андрей Лупан, Юстинас Марцинкявичюс,
Рафаэль Мустафин, Леонид Новиченко,
Александр Овчаренко, Борис Панкин,
Вардгес Петросян, Инна Сергеева,
Петр Серебряков, Юрий Суровцев,
Бронислав Холопов, Иван Шамякин,
Игорь Штокман, Камиль Яшен

Художник И. СУСЛОВ

С $\frac{4702010200—053}{074(02)—82}$ 569—82 подписное



M. Cassass



Мы хотим сохранить от наших
предшественников не пепел, а огонь.

Ж. Жорес

КНИГА ПЕРВАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ИТАКУ

Послевоенный Севастополь. Поздняя осень. У разбитого вокзала готовый к отходу поезд Севастополь — Москва. Это был не комфортабельный, но зато веселый поезд. И проводы теплые, памятные, железные объятья, неловкие, но крепкие поцелуи, чарочка (уже не «наркомовская», а подручная) — прощались с флотом, службой и морем.

Поезд медленно выбирался из черты города — он шел близ бухты, по Корабелке, где добрую сотню лет селились отставные матросы, кондукторы и боцманы. Поезду махали стар и млад: здесь, как уверяют местные жители, мальчишки чуть ли не с грудного возраста начинают носить тельняшки.

Когда поезд выходил к Черной речке и напротив открылись скалы, в которых в незапамятные времена были вырублены кельи пещерного монастыря, какой-то матрос попросил у друга бескозырку, вылез на крышу вагона, снял с головы свою и начал двумя «писать». Сейчас уже никто не знает вылившихся из уст матроса горячих слов — их не занесли, как говорили в старину, в «шканечный журнал». Но, как передают, матрос, писавший двумя бескозырками с крыши вагона, наказывал оставшимся на флоте беречь честь моряцкую, не забывать, где они на-

ходятся... Написав, матрос «поставил точку» и ждал, ответят ли корабли. Ждали все, кто был в вагоне,— матросы толпились у окон, устремив взоры на Северную бухту, где на рейде покачивались корабли.

Поезд уже проскакивал Инкерманскую долину, а ответа — не было. Что случилось? Может быть, прозевали сигнальщики кораблей? Нет, такого еще не бывало на флоте! А поезд вот-вот пересечет Инкерманскую долину, возьмет чуть-чуть влево и затем выйдет на прямую. А там курс на норд — и прощай, Севастополь. Пойдут туннели, и кораблей больше не увидеть!

По вагону — шепот: «Что же такое, почему не отвечают?»

И вдруг с учебного крейсера, стоявшего ближе всех к Инкерману, пошел семафор: «От имени личного состава Черноморского флота» и т. д.

По вагону — вздох. «Братцы,— слышалось в коридоре,— ответил фло-от. Счастливо, говорят, добраться до родных причалов! Держите, говорят, высоко честь флота. Матрос — везде матрос!»

...Поезд выскочил из туннеля, замедлил ход у полустанка Мекензиевы Горы. Это место часто появлялось в 1941 году в сводках Совинформбюро во время штурма Севастополя. Кое-кому из демобилизованных пришлось хлебнуть здесь «по завязку».

Но ни этот полустанок, ни ежеминутное отдаление от города, с которым сроднились за годы службы, за годы тяжелой войны, не изымали из памяти всего того, что составляло суть жизни последнего десятилетия.

В глазах все еще стоял разрушенный, горящий Севастополь. Хотя на улицах его давно не было ни битого кирпича, ни скрюченного железа, ни хрупавшего под ногами стекла — все это было убрано еще в сорок четвертом, вскоре после освобождения,— город все еще лежал в развалинах.

Правда, кое-где появились вывески и фанерные стрелы-указатели: там-то такое-то учреждение. Зайдешь, подвал подвалом, только расчищено, да побелено, да пол настлан, столы расставлены, телефоны проведены, кабинеты начальникам выгорожены, и «пишет губерния».

Кое-где появились светлые, под шифером, такие непривычные у южного моря финские домики. На улицах зазвенел девичий смех, и на развалках замелькали каш-

тановые мускулистые спины матросов — город с помощью моряков, местных жителей и приезжих романтиков трудно вставал из пепла.

Делалось это пока еще медленно — архитекторы продолжали спор о том, каким должен быть новый Севастополь. Солидными, в драпе и под шляпами, ватажками они выходили из поездов, понимающе смотрели на разбитый вокзал, на пустую коробку с вывеской «Севастополь», на поваленные столбы, на горы мусора, на бурьян, возросший там, где до войны полыхали розы и пышные белые акации; бродили по развалинам, взбирались на нагорную часть Севастополя, откуда были видны извилистые берега Гераклейского полуострова, и прикидывали, что надлежит поставить здесь, под этим удивительно высоким и какой-то особенной, нежнейшей голубизны небом, на этих созданных для архитектурных чудес берегах.

Пока в умах архитекторов совершался бродильный процесс, в Севастополь из дальних, не обагренных кровью земель — из Сибири, Приуралья и Прикамья — ехали девушки-комсомолки, ехали, запасшись сверхтерпением к неудобствам жизни и к жертвенному труду,— ехали восстанавливать, или, как тогда мы писали, «возрождать легендарный город».

Конечно, суть была не в той или другой терминологии — в Севастополе было и то и другое; например, севастопольскую электростанцию действительно восстанавливали — часть стен ее после взрыва лежала на земле. Инженеры подняли их домкратами.

А вообще на большинстве развалок, по которым бегали стаи голодных и злых крыс, работали бульдозеры. Они сдвигали к экскаваторам горы мусора, а те поднимали его в грузовики. Грузовики вывозили бывший город в нежилые балки либо в воронки от бомб и крупнокалиберных снарядов...

Жить в Севастополе в то время по сути негде было — люди ютились черт знает в каких конурах. Некоторым офицерам и матросам пришлось долго жить в трюмах, наскоро приспособленных под общежития, ошвартованных у Минной пристани «плавсредств». Попасть в подвал считалось почти несбыточным делом. Да, пожалуй, даже счастьем!

А между тем поезд увозил из Севастополя на север матросов и старшин и пришедших на флот из запаса офицеров, теперь понадобившихся стране в качестве инженеров, учителей,— словом, командиров мирных сражений.

Не для красного словца, не во имя поэтизации примелькавшихся слов хочется сказать, что уезжали моряки к родным местам с сердцами, не свободными от тяжести расставанья,— ведь за годы войны, когда в течение восьми месяцев в Севастополе было жарко, как в кратере действующего вулкана, а затем в течение всего остального времени, когда шла борьба за освобождение города, он стал дорог каждому.

Да и как ни говори, а с приездом домой кончалась эта постоянная, ни с чем не сравнимая связь с тем единственным в нашем многообразном обществе коллективом, который на корабле создается по иным, чем на суше, законам бытия. А корабельное бытие так конструирует сознание, что в нашем большом обществе матрос это не только профессия или звание, это — характер и даже больше того — образ.

Адмирал Степан Осипович Макаров определял сущность морской службы всего лишь семью словами: «В море — дома, на берегу — в гостях!» Краткость и точность — суворовские. Это было верно для того времени, когда русский флот бороздил воды Мирового океана, но потом, когда в силу разных обстоятельств наш флот чаще находился «в гостях», чем «дома», афоризм сей звучал несколько странно, особенно в устах людей, для которых все равно, что в море плавать, что мыло варить,— их риторство разбавляло сущность макаровского афоризма холодной водой пустых слов. Но для истых моряков афоризм Макарова был своеобразной молитвой. Да. Вот почему было трудно для черноморских моряков, как они говорили, «попавших под указ о демобилизации», отрываться от моря, трудно было без грусти смотреть на места, где каждый камень, каждая горушка, балка, бухточка — все было свое и даже более того — родное. Хотя и потягивало туда, где прошло босоногое детство, где давно уже сухими глазами плачет мать, где, может быть, ждет жена, а то и дети, а иного, может быть, всего лишь гарь на месте очага.

И все же сердце русского устроено так, что, где бы он ни был, чего бы (какой высоты) ни достиг,— дым отече-

ства сладок... С неохотой и тоской и, может быть, даже с грустью моряк отрывается от корабля и, как Одиссей, стремится покинуть достославный Илион и вернуться на свою Итаку.

В ту, тысяча девятьсот сорок пятого года, осень много советских одиссеев стремились на свою Итаку. Путь был нелегок: он лежал через разоренную войной страну.

Как известно, Одиссей после двадцатилетней разлуки с Итакой получил разрешение всемогущих богов и пустился в дорогу «по хребту многоводного моря». Нимфа, богиня богинь, несравненная Калипсо, была его добрым интендантом. Четыре дня понадобилось Одиссею, чтобы построить себе корабль.

В пятый его снарядила в дорогу богиня Калипсо.
Баней его освежив и душистой облекши одеждой,
Нимфа три меха на плот принесла: был один драгоценным
Полон напитком, другой ключевою водою, а третий
Хлебом, дорожным запасом и разною лакомой пищей.
Кончив, она призвала благовеющий ветер попутный.
Радостно парус напряг Одиссей и, попутному ветру
Вверившись, поплыл...

(Гомер, «Одиссея»)

Конечно, наши интенданты не были столь щедры. Да и откуда им было? С чего? Они же — не боги! И наши одиссеи не докучали интендантам — лишь бы поскорей в эшелон, а там вещмешок на полку и — порядок!

В одном из вагонов, наполовину занятом флотскими одиссеями, возвращался и я на свою Итаку, тоже «попав под указ о демобилизации».

В вагоне ехали главным образом те, кого пуля обошла и штык гитлеровца минул, хотя у некоторых на груди рядом с орденами либо на рукавах пожарными лестницами громоздились нашивки за ранения.

Поезд наш пополнялся в пути: многие сели, а некоторых внесли санитары. Получили мы пополнение в Симферополе, и в Запорожье, и в Харькове. Не поскупились и другие города.

Поезд гудел и днем и ночью; какие-то расторопные люди оборачивались так, что вместо выданной армейской либо флотской Калипсо буханки черного хлеба в руках озорно блестела поллитровка. В этих меновых операциях

заметных перерывов не было, и стакан либо крышка от трофейной «люменевой» фляжки ходили по кругу.

Пьяных не было в том дурном виде, когда человек, «укушенный зеленым змием», как говорили в краях моего детства, становится «чистой скотиной». Нет! Были веселые и чуть грустные от резкой перемены обстановки, были и чрезмерно возбужденные, говорливые, откровенные и щедрые и на чувства, и на мысли.

Сколько наслышался я всего и всякого! Но в кругу рябивших в глазах тельняшек и расстегнутых, высветленных солдатским потом и жгучим южным солнцем гимнастерок старался не сидеть. Мне досталась счастливая средняя полка, которая в бесплацкартном вагоне лучше царской ложи в театре. Я лежал и, хитрясь быть незаметным, записывал. Надоест записывать — руки под голову, глаза в потолок и терзаю мозги думами о будущей жизни, о тех, кто остался в Севастополе,— о товарищах, кому служить и служить... Все-таки свыкся я и с шинелью и со службой, хотя порой она была страсть как не по сердцу! Ритм военной жизни много значит, и, когда выбываешь из него, чувствуешь себя как-то неуверенно. Моряки говорят: «Тут я выпал из меридиана... впал в прострацию!» Это очень здорово сказано! Действительно, человек, резко, на сто восемьдесят градусов, меняющий образ жизни, должен чувствовать себя примерно так же, как капитан судна, выпавшего из счисленного курса: куда идти? как идти?

Срочно нужно брать в руки секстант и ловить солнышко.

А где оно, мое солнышко? Может быть, вон в том железном, от немецких мин, ящике-чемодане, заполненном фронтовыми блокнотами и тетрадочками?

Иногда я впадал в дрему. Очнувшись, глядел в окно. Поезд часто и подолгу стоял. Конечно, умом я понимал, что железные дороги южного направления во время войны были разрушены: вокзалы стояли пустые, без окон, и крыш, как черепа, страшные и безжизненные. Мосты порваны, а «путя», как объяснял наш старенький, все время ходивший под хмельком проводник, «скрозь новые, ишшо неусевшие — земля-то под ними ишшо кипить».

Поезд через мосты проходил тихо и по некоторым участкам пути шел, как донской конь, словно бы иноходью. Казалось, что мы никогда не доедем.

В вагонах пели, рассказывали забавные истории, угощались. А когда находили минуты, в которых сантименты брали верх, вынимались потрепанные бумажники и с тщательной бережливостью из них извлекались фотокарточки. И все впивались в потускневшие изображения. К показывающему летели вопросы: «Это кто жа?»

В вагоне ехали люди разных возрастов — одни пришли на действительную из запаса, другие попали в войну на последнем месяце «срочной», и пришлось «дуть» по второму кругу, даже ни на миг не повидав родных. Прибыли они на флот восемнадцатилетними парньками, а возвращались почти тридцатилетними мужчинами.

Солдатам было проще — они как-никак все время на земле, среди людей на их жизненном пути попадались жалливые утешительницы, а у матроса под ногами либо железо, либо выскобленное дерево палубы, где тут «оскоромиться»?

Карточки рассматривались со вздохами. При этом гимнастерки и тельняшки вздувались, в глазах — неутоленная, тоскующая, многолетняя жажда ласки: «От это да-а!.. Эт что ж — жена?.. Невеста?... Ну и деваха ж!» В ответ неслось: «А вятские уси такие!.. Што ни баба — огурец!»

Худенький, с виду неказистый солдат — гимнастерка на нем, как чешуя на вяленой тараньке,— выгоревшая, мятая, вислая — озорно сверкнул щербатинкой: «А он вовсе не вятской!.. Он с энтого — с Ногинска... Слыхал, городок под Москвой есть?.. Тама бабочки — не бабочки, а чистые белые грибочки! Тама огромаднющая фабрика, и всё одни бабы!.. В сорок первом мы там на отдыхе стояли... Не позови нас немец до срока на передовую... Ха-ха-ха...»

В пути легко знакомились, щедро раздаривали адреса. Сибиряки звали к себе, на рыбалку: «...рыбища в Сибири — одну цельным колхозом неделю есть можно! Таймень... В реке чисто бревно плавает...» Еще говорили, что в Сибири дикой малины в лесах не переесть. «Облепихи на всю Россию хватит!.. На облепихе водку настоять да каждый день по лафитничку перед обедом — сроду болеть не будешь! И те болячки, что есть, сами отвалятся...»

Дальневосточники хвалились тиграми, лимонником: «Три зернышка сжуешь, сердце — как новый мотор...»

Манили океаном, Камчаткой, лососем: «Когда лосось на нерест идет, брось весло в воду — стоймя стоять будет».

Говорили еще про морские огурцы — трепанги: «Их со дна водолазы крючками особыми цепляют — и в авоську... Китайцы потребляют этих трепангов почем зря и оттого, говорят, раком не болеют...»

Я тоже доставал из бумажника карточки жены и сына и давал адрес. Но вот замелькали дачные станции. Колеса застучали с перебором да быстрее. Перед окнами пошли кружиться белые березки, голенастые осинки. Над приближавшейся столицей облака дыма, черные копченые трубы заводов. В вагоне лишь два москвича: старшина второй статьи, бывший рулевой крейсера Кудрин да я. Остальные, как я уже писал, кто откуда. Немосквичи с легким любопытством смотрят за окно, а мы с Кудриным горим.

Москва подкатывается ближе и ближе. Увижу ль я на перроне Курского вокзала свою Пенелопу?

За мутными стеклами — тусклый блеск раскатанных рельсов, высокие платформы, склады, будки стрелочников, горы угля, вагоны, исписанные мелом, клумбы, обложенные раскрашенным кирпичом, и лозунги, сложенные из кирпича,— «Мы за мир».

Показался вокзал, и вдруг грустно стало. Что это? Неужели опять я выпал из меридиана?

Неделю ходил по Москве как ошалелый. Столица после победы над фашизмом опять, как и в годы революции, стала центром всемирного притяжения: на улицах — чуть ли не все языки Европы и Америки.

Театры, кино, концертные залы — полным-полны. Невпротолочь в коммерческих магазинах. Теснота и там, где товары «дают» по карточкам. Полки комиссионных завалены трофейной всячиной. Охотный ряд, Петровка, Кузнецкий мост, улица Горького, Арбат, привокзальные площади и улицы в людской толчее. Всюду, куда ни глянь,— люди. Люди и гул.

Шумно и у нас за Крестьянской заставой: нет дня, чтобы в какой-нибудь квартире не пировали. Зайдешь — дым коромыслом, шум, смех. В центре — фронтовик, грудь в орденах и звонком металле медалей. На столе «законная». И уже не «по сто», а вволю. Теперь праздник и ни перед кем тянуться не надо, все: оттопался,

оттянулся, отдрожался, отмокся — жизнь теперь пойдет слаще меда; рядом жена, детишки — глаз не сводят. Еще, что ль, по маленькой, из которой поят лошадей! Гуляй, солдат,— победа! Праздник! Четыре года шкандыбали, порой по грудь в студеной воде, а то под пробоистыми дождями, когда не только шинель, эта всетерпящая солдатская шкура, а и тело аж до пят водой небесной прошикивалось. Были дни — и таких немало,— когда во рту крохи не ночевало. Бывало времечко, и не короткое, когда «сыпуха» холодным кнутом секла прямо по лицу, ноги коченели, хребет весь сводило, и вот тогда за сто граммов черту б душу отдал. А как сердце молотило, если из дому по долгим неделям весточки не приходили.

Все стерпел солдат, все и даже больше: кровью умывался и солнечным лучом утирался и на кулаке, будто на пуховой подушке, спал.

Все было, теперь — победа! Гуляй!

С улиц стали исчезать ватники и кирза, вместо них, этих спасителей от неудобств бытия военного времени, появились заграничного покроя пальто и шляпы. Словом, война кончилась. Кончилась для всех, кто вернулся на своих ногах и с целыми руками. А для меня она все еще жила, хотя и я вернулся целым и довольно быстро сбросил шинель и форменную фуражку с золотым крабом, а моими погонами и блестящими морскими пуговицами завладел сынишка. На плечах мешковато повис партикулярный костюм, а голова, привыкшая к лихой «нахимовке», ни за что не хотела примириться со шляпой. Но шляпа, бог с ней,— не было бы большей докуки. А она была.

Если слесарю, пришедшему с войны, не только легко, но и радостно было вернуться к верстаку, токарю — к станку, шоферу — к рулю, врачу — в поликлинику, артисту — на сцену, ну а писатель? К чему вернулся писатель? Да ни к чему! Он только переоделся, а в ушах его продолжали греметь выстрелы, крики идущих в атаку, рев моторов. Меж тем в редакциях журналов и в издательствах с плохо скрываемым раздражением говорили: «Что вы принесли?.. О войне?! Война вот как (рука к горлу) всем надоела!.. Давайте что-нибудь о современности, о мирной жизни...»

Я понимал, что от меня хотят, но сердцем я все еще был там: в осажденной Одессе, в горящем Севастополе,

в море, на кораблях среди десантников, мотоботчиков...

Нелегкой складывалась жизнь в Москве; дома́ плохо отапливались, город перенаселен, на трамваях, автобусах, электричках люди виснут гроздьями. Много времени уходит на то, чтобы «достать» да «отовариться». Писать можно только ночью. В комнате кроме меня еще три человека, и все так славно храпят, как бы с нарочитым заманом. Порой я настолько погружаюсь в былое, что не слышу, как во сне чмокает сын и как с полусна отвечает ему жена, как она, разбуженная нечаянным светом, вдруг спросит: «Ты еще не спишь?» Я вздрогну: «А?!» Я вздрагиваю потому, что иная жизнь владеет мною.

Сколько было таких ночей? Теперь не сосчитать. Сколько было дыма высосано из дешевеньких папирос, теперь тоже не взвесить. А бумаги и чернил изведено?!

Я принес рукопись в редакцию, как бомбу, заряженную огнем войны, тесную от подвигов, шумную от голосов матросов; бессонными ночами в небольшой комнате Дубровского поселка, за Крестьянской заставой в Москве, заслонясь от посторонних мыслей табачным дымом, я вновь прошел через жаркие бои в Одессе и Севастополе, пережил горечь отступлений, трудности и радости освободительных сражений за Крым и за навечно ставший мне дорогим Севастополь...

Увы! У работников издательств уже появилось нечто вроде идиосинкразии к потоку рукописей о войне: на столах редакторов они лежали грудами. Словом, моя «бомба» не взорвалась. Пережив огорчение, я попытался разобраться во всем этом и понял, что дело не в позиции издательства, а в том, что моя рукопись была рыхлой и многие мысли в ней не прошли этапа своеобразной «ферментации». Я где-то прочел и даже записал в блокнот изречение: «Ничто не оценивается так поверхностно, как близлежащее». Моя рукопись, которую я наделил в воображении силой фугасной бомбы, очевидно, не имела взрывателя...

Жизнь литератора только в представлении людей, не знающих этой жизни, кажется беззаботной и легкой. Как же: все встают почти с рассветом — и на службу или на работу, а он еще спит. Либо встанет часов эдак в десять, умоется, побреется, хлебнет чайку или этого — «кофю» и

пошел гулять. Люди работают в поте лица, а он гуляет, чисто барин...

Я ложился в пять утра. Иногда на час раньше либо позже. В нашей квартире кроме нас четверых жило еще одиннадцать человек. Большинство служили, и только двое работали на заводе. Подъем в квартире начинался в начале седьмого, и с этого момента входная дверь и языки все делали от них зависящее, чтобы приучить меня спать несмотря ни на что. Я плохо поддавался дрессировке — лежа в постели, поминутно открывал глаза, затем проваливался в омут сна и выскакивал из него почти тотчас же, как пробка из воды.

В то время писатели хотя и не имели специальных или узаконенных рангов, но их положение в жизни определялось тем, кто и какую получал продовольственную и промтоварную карточки. На карточках жирным шрифтом обозначались литеры — «А» и «Б».

Кто получал литер «А», того называли литерАтором», а получавший паек под титлой второй буквы алфавита именовался (конечно, не официально) «литерБетером».

У меня была вторая буква алфавита. Надо сказать, что, к великому огорчению, в некоторых редакциях эти не имевшие злонамеренного содержания литеры принимались в расчет.

К счастью, «Кастальский ключ» ни к одной из этих карточек не прилагался, и поэтому у литерБетеров все же были какие-то спасительные надежды и перспективы на будущее...

Я решил окунуться в самую рассовременную жизнь — я стал корреспондентом журнала «Огонек». В редакции для начала мне предложили написать о восстановлении железных дорог. От меня не скрыли, что тема эта лежит уже давно — опытные и ловкие, как ястребы, очеркисты журнала упорно отказывались от нее.

Мне сказали, что если у меня получится, то... словом, мне давалась «проба».

Два раза в своей жизни я сдавал пробу: сначала на корабельного кочегара в Балтийском пароходстве Совторгфлота, другой раз на слесаря в Ленинградской бирже труда в 1930 году. Теперь придется держать экзамен в третий раз.

Что ж, моряки никогда не отступают: взял бумажку к министру путей сообщения с просьбой о содействии и

помощи в выполнении задания редакции — бумажку подписал Алексей Сурков — и пошел.

Специалисты Министерства путей сообщения дали обстоятельную консультацию. Я возвращался в редакцию с исписанными блокнотами и с сердцем, до краев полным удивления. Уже в лифте, поднимавшем меня в редакцию «Огонька», я в уме складывал фразы будущего очерка. К моему огорчению, восторг и удивление еще не успели перебродить, и поэтому вместо точных, отборных и сочных слов на первый план лезли штампы. Черт бы их побрал, все эти «небывалые», «несказанные», «потрясающие»! Нужно было, чтобы фраза звенела не от употребления «звонких» слов, а от той музыки, которую издают слова обыкновенные.

И я стал искать их. На этом месте читатель, наверно, улыбнется: зачем же искать обыкновенные слова — они же рядом!

Да, обыкновенные слова — повсюду, они с нами, но и из них нужно выбирать наиболее точные и затем так соединять, чтобы из обыкновенных слов родилось нечто необыкновенное — мысль!

Я сел за стол.

Гитлеровская армия разрушила в Советском Союзе 65 тысяч километров железнодорожных путей.

Записывая эти цифры, я сразу и не понял — много это или мало? Ведь мы привыкли в нашей просторной стране считать на миллионы! А тут каких-то 65 тысяч — подумаешь!.. Но когда я заглянул в блокнот и прочел, что в старой России в с е г о было 58 тысяч километров железных дорог, тогда цифра шестьдесят пять тысяч и все последующие стали звенеть в моей голове, как колокола. Дальше я едва поспевал записывать: «Чтобы настелить шестьдесят пять тысяч километров железнодорожных путей, сталепрокатчикам нужно накатать 130 тысяч километров рельсов».

Много ли это? Теперь, после того как 12 апреля 1961 года ракета с Юрием Гагариным вышла на космическую орбиту и скорость была освобождена от ига пространства, 130 тысяч километров, составляющие три окружности по экватору, перестали быть удивительным расстоянием. Да, это так! Но сразу после войны, после огромнейших разрушений производство рельсов длиной в три окружности экватора было делом по меньшей мере удивительным!

Следует еще добавить, что немцы кроме путей разрушили (я заглядываю в блокнот) «13 тысяч железнодорожных мостов, 4100 станций...».

Кто не знает, что скрипки делаются из дерева? Гварнери тоже делал их из дерева. Все правильно. Но где найти такие слова, от которых читатель горел бы так, как я горю? Я не мог взять в толк, почему журналисты, которым «Огонек» предлагал эту тему, отказывались от нее?!

Конечно, с первого взгляда тема о восстановлении железных дорог не выглядела «синей птицей». Но все же любознательность должна была увлечь, а там... Дороги восстанавливались на юге, севере, на западе и в средней полосе России...

Я решил поехать на магистраль, которую путейцы называют «Главным ходом». Это Москва — Курск — Харьков — Ростов — Прохладная, через Донбасс.

По Главному ходу бежали поезда в Сочи, Баку, Батуми, Тбилиси, в Минводы. На этой магистрали — машиностроение, сталь, уголь, нефть, хлеб. До войны дорога была лучшей в стране.

Я взял билет до города, где была расквартирована одна из сильнейших частей, которой командовал генерал-лейтенант Илья Семенович Картенев.

Лежа на жестком диване в купейном вагоне, я пытался представить себе Главный ход. Мне виделись корпуса харьковских машиностроительных заводов; кипящая в мартенах сталь, высокие блюминги, вишневые болванки горячего металла; горы черно-лакового угля; пирамиды терриконов и цистерны с кавказской нефтью. Порой виделось шумное море, синее небо над ним и высокие, как вечные снега, белые облака. В окно глядеть не хотелось — сыпал серый, мокрый снег и дул ветер-продуванец...

В Донбассе я увидел чудеса: восстановители дорог вели работы на путях с непрекращающимся движением, то есть, как говорили они, «работали под колесами», «строили в окнах», применяли при этом «подвесную опалубку». Особенно изобретательными оказались мостовики: они ставили тяжелые металлические фермы мостов на старые, разбитые немцами быки. Конечно, не сразу, а предварительно ремонтировали их по тому же способу, как пораженные кариесом зубы,— сверлили дырки и «пломбировали», то есть заливали бетонным молоком.

Я написал очерк. Он был хорошо оценен на редакционной летучке — словом, пробу сдал. Но не был доволен. Более того, встревожился — в очерке на первый план выскочили эпитеты превосходной степени и щедро расселились восклицательные знаки. А надо было бы побольше двоеточий и точек с запятой, которые располагают автора к размышлениям.

Я понял, что материал не пережит. А может быть, я не очень был удивлен тем, что видел? Нет, наверно! Тревога, что елозила в моем сердце, родилась чуть раньше, чем я сел писать очерк, и родилась там же, в Донбассе. В воскресенье, перед отъездом из города, я пошел на местный базар. Я люблю ходить на базары — столько можно там увидеть и узнать!

Базар был на редкость бедный. К тому же стояла слякотня, в низких местах разлилась густая, посверкивавшая мрачным лаком грязь. Большими жирными шматками она привязывалась к сапогам и норовила стащить их с ног.

Обходя ряды, я и без расспросов видел, до чего же сильно немцы обчистили Донбасс. На подстилках лежали старые замки, навески, связки ключей, позеленевшие голенища, хожалый слесарный инструментишко, какие-то пузырьки, медные водопроводные краны с сильно расхоженной резьбой и еще способная утомить при своем перечислении разная разность, а проще говоря, рвань, без которой и можно, а при таком бедствии, кажется, трудно обойтись человеку.

Еще более жалкая картина была в продовольственном ряду: картуз мелкой кáртошки стоил сорок рублей. А к мясу и не подступиться! Да и было-то его совсем ничего.

Но базар шумел-гудел: базар для людей и биржа новостей, утеха для души и счастье случайных встреч либо неожиданных находок. Тут ходили хватившие жидкого огонька инвалиды на костылях, люди, ищущие возможности закрыть нужду какой-либо покупкой, ротозеи, не имеющие возможности убить время в другом месте, были и жулики.

На бойком месте, на невысокой тележке на колесах от какого-то сельскохозяйственного инвентаря, сидел, выставив обрубки ног, замотанные в тряпье, мужчина лет сорока, с рыжим чубом и бойкими усиками.

Со стороны города в толчею вошли двое слепцов — мужчина и женщина. Ему за сорок, а женщине на вид побольше. Мужчина слегка подволакивал правую ногу. На нем были кирзовые сапоги, на ногах женщины раскисшие американские (те, что Америка поставляла нам по ленд-лизу) коричневые ботинки. Ботинки были большие. Натянуты они были на толстые грубой вязки носки из темной шерсти.

Глаза у мужчины были стянуты жмуркой слепоты. Они смахивали на пуговичные петли. Голова чуть запрокинута, словно бы он тужился увидеть солнце. А глаза женщины разверсты и пусты, кроме красной пленки и медленно рождающихся и тут же скатывающихся слез, в них ничего не было. Не все выдерживали вида ее глаз, а кто и выдерживал, клал в ушанку, которую держал у груди мужчина, подаяние и быстро, как от огня, отходил.

Слепцы пели. Пели о том, что вот уже четыре года прошло с тех пор, как они не видят «света белого, неба ясного, солнца красного...». Что когда-то и они были, как все, но пришел на Русь Гитлер-людоед...

Мрачный шел я с городского базара. Настроение не улучшилось и в Харькове, куда я приехал для беседы с генералом Картеневым. Илья Семенович — потомственный железнодорожник. Несмотря на отросший генеральский животик, был подвижен и оживлен. Рассказывал с юношеским увлечением. В молодости он славился ловкостью и недюжинной силой, вгонял костыль в шпалу одним ударом кувалды. В те времена среди русских мастеров-путейцев это считалось истинным артистизмом. Теперь костыли в шпалы не загонялись — рельсы крепились шурупами. Они завертывались с помощью специального станка, сконструированного тут же, в корпусе железнодорожных войск, ефрейтором Ермаковым.

Харьков жил суетной жизнью. В магазинах, там, где «отоваривались»,— пусто, а в коммерческих больше глазели, чем покупали. На рынке — как в цирке, и товаров много, начиная с жареного мяса, самодельных колбас, меда, сметаны, птицы и кончая укропом-шибаньцом, который особенно аппетитно бил в ноздри из бочонков с солеными огурцами. Были и здесь калики перехожие,

и спекулянты-ловкачи, и ротозеи, и быстрые, как огонь, беспризорные.

Обедал я в одном из небоскребов — там размещались штаб генерала Картенева и столовая для вольнонаемного состава. В меню — черные щи из мороженой капусты и на второе та же капуста в тушеном виде.

Пришла пора возвращаться в Москву. В купе ко мне подсел вояка безногий. Ногу потерял, как он сам объяснил, «на самом издохе войны, под Дрездином».

Разбитые вокзалы, пустые, заросшие будыльем поля. Поля Курщины и Орловщины — исконные русские земли, где Игоревы полки сдерживали половцев... Одиноко среди посеченных снарядами деревьев тулились под старыми шапчонками крыш богом сохраненные от огня войны домишки, раздетые сараюшки и склады колхозные. Грязища кисла у скотных дворов. А в мирные годы тут мешками выносили к поезду желтую, с подзолотцей, пахучую, звонкую антоновку, гладких белых кур, топленое, с припеченным в вольном духу кружочком пенки, молоко... После войны по выщербленному бомбой, а может быть, и тяжелым снарядом перрону носились с грохотом тележки на роликах — инвалиды войны, безногие. Кое-кто из них протягивал шапчонки. Война! Она убивает человека и уничтожает бесценные труды его ума и рук.

Сложно и трудно жилось тогда в нашей стране: гитлеровцы смели с лика русской земли семьдесят тысяч сел и деревень, на полях сражений пали миллионы здоровых мужчин; из трех тысяч городов гитлеровцы разрушили свыше тысячи семисот и тридцать тысяч промышленных предприятий!

Полуголодные, оборванные, в землянках и теплушках жили многие люди. Трудно жили,— не жизнь, а слезы! — и все равно строили, пахали, «вкалывали» у станков, любили, детей рожали, пели, смеялись и плакали. Словом — жили!

Я не сомневался в том, что скоро все будет: новые вокзалы, мосты, депо, заводы и рельсы в три окружности по экватору. И поля будут распаханы, и окопы сровня-

ются с землей, и леса новые вырастут, и дома встанут, и блины будут, и сметана, и крашёнки, и холодец, и то, «шо треба пид соленый огурец». А как «восстановить» павших? Как отремонтировать калек? Как поставить на ноги безногих?

В «Огоньке» было несколько ведущих корреспондентов. Они писали на генеральные темы, ездили по стране, летали за границу — после войны мосты строились не только между берегами рек, но и между странами, нациями и даже континентами. Когда в Сан-Франциско собирались представители стран-победительниц для создания Организации Объединенных Наций, с министром иностранных дел летал и корреспондент «Огонька».

Это было началом зарождения эры различных конференций, симпозиумов, ассамблей, конгрессов, фестивалей, пышных по-королевски визитов, дипломатических охот на оленей в горах, теплых купаний в ласковых морях.

В крупнейших столицах мира, на островах Атлантики, в Карибском и Средиземном морях, в бывших дворцах королей и императоров, в утопающих в буйной зелени виллах экзотических уголков земного шара сверкали вспышки корреспондентских «блицев». Со снимков многополосных газет и иллюстрированных журналов улыбались публике седые джентльмены. После истребления миллионов молодых цветущих мужчин эти джентльмены публично предавали анафеме фашизм и тайно содействовали развитию новых фашистских эмбрионов.

Я ездил по стране. Писал о возрождении разрушенных войной городов, об учителях, о китобоях, о железных дорогах... Словом, быстрее, чем думал, стал привыкать к своему новому социальному положению и все реже и реже при встрече с военными вскидывал руку к козырьку. А в первые после демобилизации дни служил ходячим доказательством популярной теории Павлова об условных рефлексах.

Накануне нового, 1946 года мне предложили съездить в Севастополь: редакции до смерти захотелось среди других корреспонденций о выборах в Верховный Совет СССР иметь «зарисовку» из Севастополя.

Я с большой радостью согласился. Да и кто на моем месте отказался бы снова повидать фронтовых друзей, с которыми несколько лет делил печали и радости. Я-то после поражения фашистской Германии демобилизовался с первой же очередью, как «запасник», а они — кад-

ровые — остались служить, как говорят на флоте, «до деревянного бушлата». И уж очень хотелось хоть одним глазом глянуть на город, на море, на корабли...

В поезде, в котором ехало немало моряков, я узнал, что в личном составе флота большие изменения — убыли не только демобилизованные, но и некоторые кадровые военнослужащие: одни уехали учиться в академии, либо на курсы, или в военные училища, другие в порядке обычного перемещения кадров на другие флоты для дальнейшего прохождения службы: на Тихоокеанский, Балтийский или Северный. А некоторых забрали в Главморштаб либо в центральные управления.

Обновился и состав нашей редакции «Красный Черноморец». Из «старичков» осталось не более пяти человек.

Я ехал без предупреждения и не знал, кого застану в Севастополе. Мне хотелось встретиться с Александром Соколенко, нашим редакционным фотокорреспондентом. Во время войны мы с ним плавали по Черному морю и колесили по кавказской и крымской землям; не одну ночь провели под одной шинелью—я писал о героях, а он снимал. Так было во время штурма Новороссийска в сентябре 1943 года, и студеной морской осенью на Тамани, и нежно-зеленой весной 1944 года, при освобождении Крыма и главной базы Черноморского флота — Севастополя.

Продолжали служить в редакции старшина 1-й статьи Афанасий Красовский и капитан-лейтенант Вадим Докин. Красовский писал стихи, очерки и раешники. Раешники подписывал псевдонимом Ваня Чиркин. Докин делал профессиональные фотоснимки, был заядлым яхтсменом и отчаянно водил мотоцикл. Он потерял на войне правую руку по самое плечо. Носил протез с черной перчаткой.

В Севастополе жил и Борис Шейнин — фотокорреспондент центральной флотской газеты «Красный флот», в которой некоторое время довелось работать и мне. Шейнин за время войны снял свыше семи тысяч кадров на кораблях и в морских сухопутных частях и соединениях.

...Вновь я ехал по разоренной стране. Но уже по вечерам дымов было больше в разрушенных селах и огней — они не мерцали одинокими звездочками, а сбивались в созвездия, и «великое переселение народов» не убавля-

лось: вокзалы были забиты людьми, поезда брались как во время гражданской войны — с боя.

Я не отрывался от окошка и, глядя на крутящиеся снега, на дальние дали, пытался представить себе, как приеду в Севастополь, как встречусь с друзьями, с каким любопытством они станут рассматривать меня, расспрашивать, как живется «на гражданке»...

Передо мной возникали лица... Афанасий Красовский виделся почему-то таким, каким я сфотографировал его 9 мая 1944 года, в день освобождения Севастополя, на улице Ленина, у полуразрушенного здания нашей редакции. На нем тогда была изрядно выгоревшая на едучем весеннем крымском солнце мичманка, заношенный бушлат со старшинскими погончиками, пыльные, мятые брюки-клеш и старенькие ботинки, серо-бархатные от пыли крымских дорог. Поверх бушлата флотский ремень с медной бляхой, трофейный пистолет. Через плечо полевая сумка и фотоаппарат. На ремне еще две лимонки и матросский нож. Он продвигался тогда с армейскими частями от Ишуни на Евпаторию, затем на Мамашай и Качу, а мы от Керчи на Алушту — Ялту — Алупку — Байдары с Приморской армией.

Он налегке с армейскими подразделениями вошел в Севастополь раньше нас. На завалепной битым камнем, спутанными проводами и искореженным железом неузнаваемой улице Ленина мы и встретили его.

Кинулись навстречу друг другу. Наш Чиркин раскраснелся и что-то зашлепал своими пухлыми губами добряка. На глазах слезы. А кто из нас тогда не смахивал тяжелую, как свинец, нестыдную мужскую слезу — мы же вернулись в Севастополь! Семьсот с лишним дней ждали этого часа!

Чиркин уже успел обследовать здание редакции и типографии. Мы разобрали завал и въехали во двор.

Первые минуты никто ничего не мог делать — ходили, осматривали, хлопали друг друга по плечам, улыбались и спрашивали: «Ну?»

Но вот от редактора нашего походного выпуска поступила команда срочно готовить очередной номер (10-й) специального выпуска, который мы начали издавать в нашем летучем издательстве еще на подступах к Севастополю.

Знаменательные времена! Впервые за все время войны на последней странице нашей походной газеты вместо

номера полевой почты (70035-Р) появился наш старый, довоенный адрес: Севастополь, улица Ленина, 51!

В честь этого события Ваня Чиркин написал балладу в стиле «Песни о Гайавате».

...Поездка моя была срочной и короткой, как выстрел.

Когда поезд, проглотив около полутора тысяч километров русских равнин и украинских степей, остановился наконец у севастопольского вокзала, я не стал искать оказии, подхватил чемоданчик — и в город.

Шагая по Красному спуску, с огорчением заметил, что капитальное восстановление Севастополя еще не начиналось и, по-видимому, не скоро начнется — предстоит поистине труд целой армии титанов по расчистке и вывозу развалин, на которых уже успели обжиться сорняки.

О чем же я буду писать? О развалинах? О трудной жизни в разрушенном войной городе?

Однако мрачные мысли развеялись, как только выбрался на Пушкинскую площадь. Тут остановился и замер: на Корабелке у причалов Морзавода полно судов разных классов и рангов. Сипит пар над кузницей, дым вьется из корабельных труб, гремят командные слова въедливых боцманов, стрекочут пулеметные очереди клепальщиков, вспыхивают искры сварочных аппаратов — жизнь!

Сердце забилось еще радостнее, когда глянул на рейд. Корабли флота, прославленные герои лихих десантных операций, мастера артиллерийских атак мирно стояли на бочках, попыхивали легким дымком, как старые суворовские солдаты, греющие после смертного боя носы из коротких дымливых трубочек! Только ради этого стоило ехать сюда!

...В редакции — полупусто, сотрудники, в том числе и «старички», с которыми я так жаждал повидаться,— в разгоне: одни на кораблях, другие в отъезде, кто в Новороссийске, кто в Одессе, а «наш прославленный матрос» Афанасий Красовский (Ваня Чиркин) в Керчи.

На выходе столкнулся с Докиным — он только что подлетел на мотоцикле с сильным, как зверь, и очень громкоголосым мотором.

Через минуту мы уже неслись с бешеной скоростью по центру. Было немного страшновато — у Вадима Докина вместо правой руки протез.

У Исторического бульвара я слез — мне хотелось осмотреть город не с седла бешено мчащегося мотоцикла.

Да и, кроме того, необходимо побывать на избирательных участках, у «мэра Севастополя», на кораблях флота и, как говорится,— эт цетера, а времени с гулькин нос.

...В те дни поражали не развалины — на них я насмотрелся еще в мае сорок четвертого,— а неожиданности на каждом шагу: идешь, кругом руины, ржавое железо, и вдруг вывеска — «Магазин», идешь дальше, снова тянутся руины, глубокие воронки, заросшие лебедой, и опять, тоже вдруг,— в развалинах самодельная дверь, торчит железная труба и дымит, как папироса; два крохотных окошечка, как в землянке, на двери фанерная дощечка размером в развернутый лист. На ней чернильным карандашом выведено: «Женское общежитие», затем три буквы — СМУ и какое-то расплывшееся слово.

Рядом с вывесочкой на веревке девичье тщательно выстиранное бельишко, голубые, белые и красные косыночки. Те самые, в которых вечером их хозяйки при свете прожекторов танцуют прямо на асфальте, под музыку, льющуюся из динамика, вывешенного на фонарном столбе.

Балы эти с виду не только не богаты, но, может быть, даже жалки, но сколько же радости: со всех сторон слышен смех, вкрадчивый шепот — взаимное «заполнение анкет»: «Как вас зовут? Откуда вы? Что делаете в Севастополе? Где мы встретимся?»

В самом деле — где же им встретиться? В городе только один кинотеатр, да и тот в подвале — без фойе. Клубы? Крохотный Дом офицера — и все...

Дома́ кавалеров покачиваются на рейде, и кавалеры своих адресов не дают. Не дают адресов и дамы — где их найдешь средь руин! Мест для встреч мало: либо пристань, либо танцплощадка.

И все же свидания назначаются; война кончилась, и композиторы-песенники уже начали наступление на наши чувства не зовущими в бой («Идет война народная»), а лирическими, вгоняющими в слезу шлягерами. И из репродукторов вместо маршей, вместо классической музыки несутся «танголиты» и «пепиты-дьяболы».

В те дни я без устали лазил по развалкам. Порой было жутко: идешь по улице — ни души, как в Помпеях, а на стенах висят радиаторы отопления, вешалки, гвозди, под которыми светлеют квадраты под некогда висевшими здесь в рамах портретами или картинами. Воображе-

ние быстро населяет эти улицы, дома жизнью: не так давно сюда ходили люди, открывали выбитые теперь двери, окна, здесь звенели голоса, а теперь — тишина, та тишина, которую Пушкин назвал немой. Да немая, к счастью, недолго — неожиданно где-то загудело, и вскоре в пустую улицу влетел грузовик с полным кузовом молоденьких, курносых, с бедово-игривым блеском глаз девчат в робах, заляпанных штукатуркой. Мгновение, и грузовик исчезает, а с ним уносится и песня — девушки пели старинную, до слез трогательную песню: «Он уехал».

И опять тяжкая, гнетущая, сдавливающая дыхание немота.

Постепенно я облазил весь город: кое-где велись работы — бульдозеры расчищали развалины, а возле некоторых домов — их можно было приспособить под жилье или учреждение — выросли леса. На зыбких подмостьях звенели голоса сибирячек, уралочек и молдаванок — девчата, начитавшись газет, призывавших молодежь «возродить из пепла города-герои», и наслушавшись негромко сказанных слов о том, что в Севастополе ребят пруд пруди,— да каких ребят: на флот хилых не берут! — махнули на свои сибирские просторы, на богатства лесов и рек, на просторные и плодородные степи, на целые, но обезмужиченные войной города и села, подались в далекий романтический Севастополь.

Первое, с чем встречались прибывавшие в Севастополь романтики,— это разрушенный, с высаженными воздушной волной окнами и дверьми вокзал. В нескольких сотнях метров от него чудом держался покосившийся, словно бы присевший раненый боец, холодильник, подорванный фашистами.

Поднявшись в город, романтики слева видели разбитое здание Панорамы обороны Севастополя 1854—1855 годов, обезглавленный памятник Тотлебену, а прямо и справа — каменную россыпь, скрюченное железо, пустые коробки устоявших от бомб и снарядов зданий, глубокие воронки.

Все поросло бурьяном. В городе свирепствовала «москитка» — лихорадка, возникавшая от ядовитых укусов москитов. Словом — мрак, разруха. Светлыми были лишь небо, по-италийски голубое и нежное, белый камень Инкермана и удивительное море, которое, как тщеславная красавица, по нескольку раз в сутки меняло свои ослепительные туалеты: то оно — пурпурное, то — золотисто-

зеленое, то — мягко-голубое, то действительно черное...

Ко всему этому — жить негде, вода пресная «вприглядку», свет вполнакала. Да и тот мигает, хотя дизели «энергопоезда», стоящего на бывшей царской пристани в Южной бухте, стучат круглые сутки.

Романтики должны были обладать железными нервами, потому что кроме этих бед в Севастополе небогато было и со столовыми, и с парикмахерскими, детскими яслями и садами, библиотеками, поликлиниками. Все — на голодном пайке. Зато романтики хоть отбавляй. И она, эта соблазнительница юных сердец, жаждущих необыкновенных свершений и подвигов, влекла в наш город, прославленный необычным и ярким мужеством, молодых людей, готовых прямо с поезда — на леса строек.

Бывший матрос Черноморского флота Василий Ефремов, председатель Севастопольского горисполкома, радушно встречал молодежь, рискнувшую приехать сюда на сплошные неудобства и трудности. И пусть не звучит это лишь как временная дань пафосу — молодежь оценила реальную обстановку жизни в Севастополе как боевую и героически выносила все тяготы ее.

Много сделал бывший матрос Ефремов вместе с молодежью и активом севастопольских женщин: были взяты на учет все подвалы, бесхозные домики; были расчищены в этих местах завалы, «заштопаны» стены, оштукатурены, подкрашены — город, словно яблоко соком, наливался жизнью.

Однако строительство не развертывалось — по холмам города все продолжали вышагивать экспедиции различных представителей, уполномоченных и экспертов всех рангов.

Что-то еще утрясалось и согласовывалось, где-то отклонялись насущные требования и широковещательно разрешались мелочи; из Севастополя в столицу, из столицы в Севастополь мчались люди с туго набитыми портфелями, а дело-то не очень двигалось вперед.

Ефремов никак не мог согласиться с этими темпами: во время обороны города, когда Василий Петрович был не только «мэром», но и членом городского Комитета обороны, все сложные и трудные вопросы решались по-флотски — немедленно, так сказать, в авральном порядке, а теперь остается лишь пустить в ход «большой флотский набор», чтобы добиться нужного решения.

Ему отвечали, что теперь не война, на «полундру» брать нечего, но если море разбушуется, его не скоро время уймет, и не так-то просто унять моряка, когда он видит, что дело, за которое он дерется, правое и что все можно сделать быстрее.

Доказывая представителям всех категорий власти необходимость быстрейшего решения дел, Ефремов, несмотря на то что его не все терпеливо выслушивали, всякий раз пускал в ход примеры из времен обороны, когда обыкновенные дела делались как чудеса. Тогда только так и можно было: город отрезан от Большой земли — все, от иголки до коробки ваксы, нужно было делать самим. И делалось! Делалось под бомбами и ливневым огнем артиллерии. Ефремов каждый раз с гордостью говорил, что севастопольцы во время обороны вырыли в каменистой земле более тысячи щелей для укрытия горожан от бомбежек и обстрелов, обезвредили свыше тысячи трехсот неразорвавшихся авиабомб, построили мельницу, хлебозавод; в штольнях глубоко под землей сделали два спецкомбината и госпиталь. Под землей даже спички не горели от малости кислорода, а севастопольцы работали и жили — мать у станка, а ребенок около ног ползает...

Ефремов не ограничивался разговорами с представителями — сам ездил в Москву. Первое время столица не очень-то поддавалась на его «слезницы». Возвращаясь, он говорил: «Москва очень сочувствует нам, но не понимает нас».

Увы! Слова и цифры, которыми Ефремов старательно стремился убедить правительственные органы в необходимости срочной помощи Севастополю, никого не потрясали. Почему? Давайте попробуем с помощью такой магической силы, как воображение, перенестись из наших дней туда, в сорок шестой или сорок седьмой,— ну кого могли тогда поразить цифры разрушений в одном городе, когда половина (если не больше) городов всей нашей страны лежала в развалинах?!

Но, несмотря на серьезность этого аргумента, Ефремов никогда не разводил руками перед трудностями — матрос засучивал рукава и шел дальше. Однажды, приехав в столицу, Ефремов, прежде чем идти «наверх», явился к генерал-полковнику авиации, бывшему командующему воздушными силами Черноморского флота, герою обороны Севастополя Василию Васильевичу Ерма-

ченкову. Он в то время жил в Москве и занимал высокий пост.

Ефремов попросил генерал-полковника сделать аэрофотосъемку Севастополя. Снимки чтобы были на больших листах. Генерал «дал команду», аэрофотосъемку сделали лучшие специалисты. Со снимками Ефремов вошел в подъезд высокого здания, где не так давно ему сочувствовали, но...

Волнуясь, несколько более торопливо, чем нужно было, он развернул на столе панораму разрушенного Севастополя.

В Севастополе на заседании горисполкома, после возвращения из Москвы, он со сдержанной улыбкой говорил:

— Нас поняли!.. Нам сказали: «Севастополь был. Теперь мы видим — Севастополя нет. Но Севастополь достоин того, чтобы его восстанавливала вся страна».

Между прочим, пока Ефремов ездил в Москву и добивался средств, материалов и специалистов для полного возрождения Севастополя по большому плану, руководители некоторых организаций (те, кто половчее) сделали вид, что никакого генерального плана восстановления Севастополя нет и войны нет, самая пора строить то, что им нужно. Так, генералу Н. удалось «обойти» всех, и он воздвиг танцевальную площадку на святом месте Севастополя — на Историческом бульваре, на территории бывшего 4-го бастиона, где около века стояли скромные памятники артиллеристам и где на знаменитом Язоновском редуте служил в качестве артиллерийского подпоручика Лев Толстой.

Старые севастопольцы дивились — никому еще не удавалось до сих пор танцевать в открытую на местах упокоения героев. И танцевать не спьяну, а по билетику, да еще под флотский оркестр!

Молодежь, прибывшая из далеких сибирских и уральских земель, тоже ходила сюда танцевать: никому из них не ведомо было, что тут за земля была раньше. Я где-то читал: «Человек, забывающий о прошлом своей Родины, недостоин ее будущего». Строителю танцплощадки на одном из священных холмов Севастополя все равно — он вскоре ушел в отставку и уехал из Севастополя, а в город продолжали прибывать целыми составами новые партии строителей. Они с молитвенной жадностью и душевным трепетом ходили по его улицам, по местам, где в недале-

ком прошлом гремели сраженья и под бешеным натиском врага падали насмерть стоявшие матросы.

Ехали сюда, прорываясь через все кордоны, и те, кто не мог без Севастополя.

Ехали, не задумываясь над тем, где придется жить. Дарью Доценко с кучей малых ребятишек я нашел в бетонном сейфе бывшей Центральной сберегательной кассы. Нет, она не работала там, а жила!

Центральная касса до войны занимала большую часть первого этажа большого дома. В кассе имелся просторный железобетонный сейф для хранения денег, облигаций займов и других ценных бумаг. В 1942 году в дом попало несколько крупнокалиберных авиационных бомб, он обрушился, а сейф, раньше недоступный глазу, оголился.

Три высокие железобетонные стены и толстая стальная дверь. С виду дот не дот... Но и на другое ни на что не похожее сооружение.

Дарья Доценко приехала из Новороссийска вскоре после освобождения Севастополя. Побегала по городу — все подвалы заняты, куда деваться? Тут и приглянулся ей одиноко стоявший среди развалин сейф. Дарья усадила детей в сторонке, поручила старшему следить за младшими, а сама — к сейфу.

Со временем было пробито крохотное окошечко в стенке, и солнце охотно заглядывало и сюда.

Севастопольская милиция сначала не хотела прописывать Доценко — любой подвал, хотя и не бог весть какой, но все же «жилфонд», а бетонный сейф всего лишь адрес для ценных бумаг. Но прописывать солдатскую вдову где-то надо было.

Дарья Доценко для меня тогда была находкой: ни в одном из городов, разрушенных гитлеровцами,— а их насчитывалось в стране свыше тысячи — не нашлось избирателей с таким оригинальным адресом!

Сейчас мне неловко вспоминать о тогдашней журналистской радости, потому что радости в том факте в сущности не было. Я радовался тогда как репортер, но был слеп как человек. Радоваться можно было способности русских людей быстро пускать корни там, где лишь битый камень да погорелье; способности не хныкать, когда из крана не течет вода и в магазин не подвезли вовремя хлеба; способности петь песни на лесах... петь даже тогда, когда от штукатурки начинают ныть руки; способности не поддаваться панике, когда в общежитии гаснет свет;

когда через развалки, пересекая твою тропу, табунком бегут крысы... А самое главное — сохранять, как знамя, веру и надежду на будущее!

Это было тогда — четверть века тому назад — главным в Севастополе и не носило характера газетной сенсации. Конечно, все это было в характере Дарьи Доценко, в ее упорстве укорениться во что бы то ни стало в Севастополе, куда она приехала не в поисках романтики (эту фею мы теперь беззастенчиво эксплуатируем всюду: даже на глухих струнах гитары и в хриплых голосах доморощенных собиновых), а жить. Во время войны ее эвакуировали на Большую землю, а как только над Севастополем было поднято красное знамя, она решила вернуться домой, еще не зная, что того дома, в котором жила до войны, нет: он рассыпан в прах фашистской бомбой. С кучей малых ребятишек она пробилась через все кордоны.

Где она теперь? Что с ней? Где ее малыши?

Ефремов показал планы восстановления Севастополя. На одних кальках зодчие предлагали снести все уцелевшие строения с берегов Южной и Северной бухт и начинать строить город, как теперь принято говорить, с нуля. На других кальках были свои крайности смелой архитектурной фантазии.

Горисполком и его председатель прежде всего хотели победить нужду, они настаивали на том, чтобы восстановить все, что можно восстановить, а затем пусть «Севастополь возродится, как феникс из пепла!».

Между прочим, весной 1944 года, когда мы еще стояли на Таманском берегу и с тоской смотрели через Керченский пролив на синие очертания крымского берега, наша газета стала печатать письма матросов и старшин, каким они хотели бы видеть будущий Севастополь.

Мечты матросов были характерны непосредственностью и той талантливостью, которая свойственна рисункам одаренных детей, не прошедших через шлифовальный камень живописной культуры, где фантастична сама реальность и реальна фантазия.

Вот что писал мичман Лужков:

«Я — коренной житель Севастополя. Прожил в нем пятьдесят лет. Служу на линкоре «Севастополь» десять лет. Я люблю свой родной город — город славы русского флота, русского оружия. Мой дед и прадед жили в Севастополе. Дед участвовал в первой обороне. Я знаю, что

мой родной город сейчас разрушен немецкими варварами. Я знаю, как храбро сражались за Севастополь черноморские моряки. Я сам был участником второй обороны Севастополя. Каким я желаю в будущем видеть свой город?..» Мичману Лужкову, старому, потомственному моряку-севастопольцу, хотелось, чтобы на Малаховом кургане была построена Панорама второй обороны Севастополя, в два раза большая, чем Панорама обороны Севастополя 1854—1855 годов. А «чтобы связать Северную сторону с Малаховым курганом, нужно перекинуть через Северную бухту огромный красивый мост. Под ним должен свободно проходить линкор. Необходимо построить такой же мост через Южную бухту от госпиталя к Интернациональной площади».

Краснофлотцу Кульминскому хотелось видеть нынешнюю Нахимовскую площадь покрытой стеклянными плитами, чтобы ощущалась полная иллюзия плещущегося моря. Ему еще хотелось, чтобы стены домов на улице Ленина и проспекте Нахимова были покрыты барельефами, изображающими «эпизоды из первой и второй обороны Севастополя». Ему также виделась «над новым Севастополем на необыкновенной высоте большая пятиконечная звезда, украшенная 250-ю самыми лучшими бриллиантами».

Я уехал с думами о новом Севастополе. Уехал, чтобы снова, и притом скоро, приехать. Но случилось так, что с тех пор — с сорок шестого и до... шестьдесят восьмого — мне так и не удалось попасть туда.

За эти годы я много ездил: побывал на торговом судне в Индии, ездил в Италию,, Францию, Чехословакию и Финляндию. Бывал на Волге, на Дону, на Вятке и Каме... Написал четыре книги.

В шестьдесят пятом году напечатал заметки об освобождении Севастополя и все собирался сесть за книгу. Меня подбадривали читатели, очень тепло встретившие мои заметки. Это давало то же, что дает «благовеющий ветер» парусу,— силы. И вот в 1968 году я решил «напрячь свой парус» и поплыть на Гераклейский полуостров, где руки тех самых курносых сибирячек, уралочек и молдаванок из пепла подняли новый, незнакомый мне Севастополь.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Последние дни пышной, немного растрепанной непостоянством погоды среднерусской весны тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года.

Поезд Москва — Севастополь мчится на юг, к теплу, к морю.

Новые, построенные на месте разрушенных немцами, вокзалы выглядят обжитыми. Правда, вид их несколько претенциозен, в их архитектурном облике пробивается что-то дворцовое, но не величественное и классически стройное, а кудрявое и порой аляповатое, этакая купеческая щедрость алебастра.

Путь, восстановленный двадцать один год тому назад солдатами генерала Картенева, настолько прочен, что позволяет машинисту гнать стального коня карьером; вагон мотает так, что ни читать, ни писать,— смотрю в окно и любуюсь длинными челками берез да темно-зелеными пирамидками пушистых елочек и со щемотой в сердце вспоминаю о том, что виделось на этой же дороге д в а д ц а т ь о д и н год тому назад: безрукие, безногие, с выгоревшими в огне войны глазами, бродили по вагонам и перронам разрушенных станций люди, воины, товарищи мои. А сколько сирот искало хлеба и тепла!

Как же хорошо, что раны войны и на людях и на земле затянулись и уже не слышны песни слепцов. Правда, вместо них из транзистора моего соседа громко льется какофонный мотивчик, аттестованный радиостанцией «Маяк» как легкая музыка.

Транзистор — «оружие» мирного времени, оно не убивает, хотя и наносит ощутимые душевные раны. Что ж делать? В наш век техника положила на лопатки такого титана, как пространство. Если б ученым и инженерам удалось у б и т ь шумы, то наука поднялась бы на высшую ступень благодеяний! Ведь крик новорожденного можно услышать лишь в тишине. Но это — к слову. Как хорошо, что горькое прошлое сейчас всего лишь дар памяти.

За окном орловские и курские земли, поезд врывается на Украину, перед окнами мелькают новые дома, новые сады, новые дороги... По асфальту бегут автомашины, обочь шоссе по грунту стрекочут тракторы. На полях копошатся новые люди. Над ними — голубое небо и

высокие шаги электроносных столбов, а на откосах дорог нежное, сочное, пестрое разнотравье.

В Крым поезд входит, как корабль, выбравшийся из узости канала в открытое море, и мчится, окунаясь в простор, в тепло, в солнечное раздолье.

Небо стоит высокое-высокое, и где-то в сторонке, на выветренной черной пашне, взбесившийся горячий ветер выкручивает смерчевые башенки. Пыль дымится, завивается в тонкую кудель и, достигнув примерно двух ростов человека, опадает — ветер просто играет, как ребенок в войну; у него, у озорного крымского степняка, сил нет, чтобы закрутить смерчевую кудельку по-настоящему, до самых кисейно-прозрачных, легких облаков...

Впереди в сторону моря бегут накатанные до блеска рельсы.

Из степного Крыма в предгорья поезд врезается почти внезапно.

Жарко.

Горный ветер усмиряет жару и кучерявит головы алым макам и нежно-голубым, поклончивым колокольчикам.

Над ущельями высоко, распластав крылья, парят орлы.

Бахчисарай, Бельбек, Сюрень — поезд грохочет по высокой ажурной эстакаде камышловского виадука.

Станция Мекензиевы Горы.

Крохотные постройки, поля, тщательно очищенные от камней, курчавое подлесье.

Ни следа войны.

На одном из крутых поворотов всего лишь на миг, как мимолетное чудо, появляется Севастополь. Видение это ранит сердце, как сказал бы восточный поэт, «стрелой сладкой тревоги»...

Поезд кружит, ныряет в туннели и стремительно выскакивает на свет божий.

Долина Инкермана.

Блеск Северной бухты.

Внутренний рейд. Над бухтой марево. Прозрачная кисея испарений висит и над кораблями.

Но что это за корабли? Ни мачт, ни рей, ни стеньг — огромный корпус, выкрашенный шаровой краской, а на нем горы стали: металлические колонны, ажурные кон-

струкции, башни, какие-то длинные сигарообразные металлические баллоны, барабаны — современные корабли. Очень похожие на рисунки художников-фантастов прошлого столетия.

Тесно прижавшись, обшарпанные, с засуреченными пятнами, стоят корабли-ветераны. Имена их когда-то гремели на страницах военно-флотской печати, как имена популярных артистов. Теперь на них мичманы и старшины преподают молодняку прозу романтической флотской профессии.

На широкой части бухты трехмачтовый барк мореходного училища.

Он сидит на воде, как гордая птица на скале.

Тонкие иглы мачт, реи, стеньги, стоячий и бегучий такелаж, стройная размеренность корпуса — все живет в нем и играет...

Представляю себе этого красавца при полном наборе парусов!

Нет! Это не корабль, это — чудо!

Что может сравниться с барком, когда он, взяв все паруса и «обротав» ветер, мчится по вспененному морю?..

Может быть, дворцы сказочной Пальмиры?

Эскуриал?

Или Миланский собор с его поразительной каменной резьбой?

Поезд «режет» Корабельную сторону.

Вагоны порой проходят почти вплотную с домиками корабельных мастеров и старослужащих флота. С бухты ветер приносит йодистый настой моря, а с берега пахнет нагретыми крышами, сохнущим бельем.

Пассажиры нашего вагона почти все у окон — поезд пробегает мимо бывших штолен, в которых почти четверть века тому назад, во время обороны Севастополя, глубоко под землей, в высоких прохладных галереях хранилось на выдержке шампанское — три миллиона бутылок. Они лежали, как строчки в стихотворных колонках, и набирали то, что виноделы называют «характером», или «букетом», вина.

Началась война.

Шампанское не успели вывезти.

Да, собственно, никто и не предполагал, что его

надо вывозить, что немцы очутятся под стенами Севастополя.

В штольнях городской Комитет обороны и командование Севастопольского оборонительного района разместили госпиталь, спецкомбинат № 2 и хлебозавод.

Здесь выхаживали раненых защитников Севастополя, пекли хлеб для армии и города, шили обувь и обмундирование, теплые вещи — ватники-стеганки, шапки-ушанки, рукавицы. Тут же в детских садах и яслях тетешкали ребятишек. В подземной школе учились ребята постарше.

В одной из штолен был клуб. Порой заходили на короткий отдых бойцы с передовой, смотрели кинофильмы, чинили «сбрую», отсыпались в прохладной тишине.

В последние дни обороны, когда положение в городе стало трагическим, некоторые штольни были взорваны.

Из окна вагона видны фантастические нагромождения огромных кубов, как будто дети циклопов играли здесь в кубики.

...Как быстро преобразился наш вагон: только что по коридору ходили какие-то дядьки в синьковых, сильно за дорогу помятых тренировочных костюмах, с заметной щетинкой на лицах, и вот они неожиданно куда-то исчезли, а их места у окон заняли выбритые до блеска морские офицеры в мундирах, озолоченных согласно званиям. У иных многоступенчатые лестницы орденских планок и гвардейские знаки. У одного на черном габардине форменной тужурки поблескивала Золотая Звезда. На нее неотрывно смотрел мальчишка из соседнего купе — он весь рейс бегал по коридору с деревянным автоматом в руках и обстреливал то проводницу, то ехавшего с ним седенького, сухого старичка, который после каждой атаки внучка то присаживался на диван своего купе в позе тяжелораненого, то валился на постель, имитируя убитого.

Осторожно поезд огибает Килен-бухту, лихо развивает ход и с ветерком подходит к севастопольскому вокзалу.

Итак, «корабль» мой прибыл, благовеющий, попутный ветер примчал меня на мою Итаку.

Первые минуты в Севастополе не дают пищи уму: человеку с поезда некогда глазеть по сторонам, с возможной скоростью он должен лететь в гостиницу — здесь,

как и в других наших городах, получить номер... А впрочем, кому не знакомы гостиничные хлопоты!

Самая близкая от вокзала гостиница «Украина» — на площади Ушакова. В очереди к администратору узнаешь, что кроме «Украины» в городе еще две гостиницы — «Севастополь» и «Приморская».

«Украина» выстроена недавно, это, как говорят теперь, «модерновая» гостиница: в каждом номере телефон, горячая вода, ванна. Есть лифт.

В «Севастополе» много номеров без удобств, но зато из окон, выходящих на набережную Корнилова, видно море!

Очередь к администратору не всегда заканчивается ключом от номера, тогда алкающему приюта остается одно — оставить чемодан на попечение швейцара и — на бульварчик, что напротив гостиницы. На садовой скамейке, под кущами плакучих ив, с вязаньем на коленях сидят «удовы». У них можно расстараться коечку, а то и комнату.

Севастополь перестал быть городом за семью замками, сюда уже залетают ветры Африки, флот давно расщался с ближними рейсами и ходит за пределами своей базы под разными широтами.

Севастополь с каждым годом все более становится местом паломничества: поезда и пароходы в летние месяцы приходят сюда переполненными — одни едут посмотреть священные места героических сражений, другие — возложить цветы на дорогие могилы, третьи — отдохнуть, четвертые — по делам. И всем нужен приют.

Строительным материалом Севастополь обеспечен с незапамятных времен — около шестидесяти миллионов лет лежат в Инкермане высокие напластования чудесного белого камня. Из него почти весь город построен.

Камень этот пилят, обтачивают на токарных станках, а из опилок отливают любые архитектурные элементы...

...Когда в руках у тебя ключ от номера, то кажется, что ты не рядовой постоялец, а полководец, взявший штурмом неприступную крепость, и покоренный город преподнес тебе ключи от своих ворот!

С гостиничного балкона, с шестого этажа, смотрю на город.

Сверху видны крыши, узкие тротуары, зеленые шапки деревьев, машины и люди. Очень много людей. Они все куда-то спешат. В толпе больше всего молодежи и женщин, меньше всего моряков: лето — моряки в плавании, на учениях.

Молодежь зеленая, ее еще не было, когда в конце сороковых годов мы меняли воинские удостоверения на паспорта.

Смотрю и гадаю, какие сюрпризы ожидают меня, когда спущусь вниз и пойду по улицам.

Волнуюсь.

Внизу большой город.

Улицы полны гула и шума.

Старые, знакомые улицы, а дома на них стоят новые, незнакомые, и люди живут в них какие?

Где-то тут и друзья мои «однополчане» — журналисты, с одними я служил, с другими просто дружил. Я знаю, что наш Ваня Чиркин (Афанасий Красовский) стал членом Союза писателей.

Борис Шейнин оставил суетную жизнь газетного фоторепортера, перешел в фотолабораторию научно-исследовательского института, занимающегося биологией моря. Свой уникальный военный фотоархив, в котором насчитывается свыше семи тысяч негативов, снятых во время обороны и освобождения Севастополя, он отдал Музею Советской Армии. Вадим Докин снимает для крымского телевидения важнейшие события севастопольской жизни.

А где «бросил якорь» Александр Соколенко, наш неунывающий фотоавтоматчик? Я знал только, что после демобилизации он уехал в Ростов-на-Дону. Порой на глаза попадались его снимки на страницах газеты «Известия», а затем перестали встречаться. Как он живет? Что делает?

Где лейтенанты Коптяев и Макаров? Майоры Ефремов и Панфилов? Не сменили ли они перья на спиннинги и удочки?

Увы! Нам уже не увидеть никогда на улицах Севастополя ни Петра Гаврилова, ни Владимира Апошанского, ни Георгия Гайдовского и Яна Сашина, ни Анатолия Луначарского, ни Василия Ряховского, ни Григория Сорокина и Леонида Давиденко... Ушедшие от нас друзья оставили нам свою эстафету. Мы должны нести ее до конца. Дон Кихот говорил Санчо: «Знай,

мой друг, никогда копье не притупляло пера, как и перо копья».

Четверть века тому назад мы действовали копьем и пером. Теперь копье в чехле. Наш долг пером своим воздать должное чести павших. Они не успели сделать того, что могли. Мы обязаны доделать за них.

НА ПАМЯТЬ О СЛУЖБЕ МОРСКОЙ

Незадолго до поездки в Севастополь я получил письмо от бывшего мичмана Григория Степановича Никитюка, командовавшего во время обороны Севастополя катерным тральщиком, приданным Охране рейдов Главной базы Черноморского флота.

Письмо частное. Григорий Степанович просил прислать ему фотоснимок, на котором мы с ним были сняты в 1943 году, после высадки отряда майора Цезаря Куникова на Мысхако, впоследствии получившего громкую славу под названием «Малой земли».

Никитюк в то время был командиром группы мотоботов.

Я интервьюировал мичмана, а наш фотокорреспондент Александр Соколенко снимал.

Сначала он сделал портрет Никитюка для газеты, а потом с веселыми прибаутками поставил рядом с мичманом и меня и сделал снимок — «на память о службе морской».

Эту фотографию и желал получить Никитюк.

В письме он как бы между прочим спрашивал, не знаю ли я, что сталось с капитаном III ранга Евсевьевым, бывшим командиром ОХРа, штаб которого во время обороны Севастополя размещался в Константиновском равелине.

Я отыскал в своем архиве фотографию, блокноты времен обороны Севастополя и тот, в котором была записана беседа с мичманом весной 1943 года.

В севастопольских блокнотах нашел такую запись:

«24 июня 1942 года. Севастополь горит. Горит уже третий день. Черный дым застилает высокое, поразительно голубое небо.

Жарища. Солнце печет немилосердно. Ветер несет запах гари, сухих трав и чуть сладковатый трупный запах. Там, где падают тяжелые снаряды и крупнокали-

берные бомбы, пыль поднимается вверх на десятки метров и долго висит в воздухе.

Вой моторов и грохот разрывов — глушат. Все разговаривают повышенно громкими голосами, особенно по телефону.

Сегодня утром у командующего сухопутными силами ген. Ив. Еф. Петрова. Вид у командующего усталый, серый — не выспался. Говорит и слегка трясет головой — старая контузия. Часто протирает пенсне.

Положение Севастополя очень тяжелое: нет снарядов, трудно связываться с частями — связь то и дело рвется (от артиллерийского обстрела и бомбежек), посыльные не добираются до места — погибают в пути.

Скопилось много раненых, ждущих эвакуации на Большую землю. Кораблям и самолетам становится все труднее пробираться в Севастополь — немцы добились полной блокады; пролететь самолету в Севастополь все равно что пролететь бабочке через пламя костра.

Три дня тому назад нами была оставлена Северная сторона и потеряна Сухарная балка — арсенал флота. Правда, гитлеровцам здесь достались лишь груды развалин: матрос Александр Чикаренко, которому было приказано майором Федосеевым при приближении немцев взорвать склады, не покинул штольни за пять минут до взрыва, а остался в ней и, когда гитлеровцы приблизились к арсеналу, вынул контакты из часового механизма и соединил их руками. Взрыв был такой, что осколки от взорванных бомб, снарядов и гранат летели через бухту, а под развалинами погибло около двухсот немецких солдат...

Генерал восхищен легендарной стойкостью защитников Константиновского равелина; на него прет такая силища, его так обрабатывает тяжелая артиллерия немцев, а самолеты, как говорят летчики, «не слезают с неба».

Равелин то и дело окутывают тучи дыма и пыли, и оттуда доносятся рваные, тяжелые звуки — «гр-р ум-м!». Это рвутся тяжелые снаряды.

Я спросил генерала, какая часть защищает Константиновский равелин.

Генерал молча посмотрел на меня внимательным взглядом и потом тряхнул головой и сказал, что там нет никакой части, а всего лишь горстка солдат, отбившихся от своих частей, и матросы из Охраны рейдов — минеры,

водолазы, связисты, сигнальщики со своими командирами.

После небольшой паузы генерал добавил: «...Когда из равелина ушел отряд моряков к Сухарной балке, там оставалось семьдесят человек».

Генерал еще сказал, что штаб Севастопольского оборонительного района просил защитников равелина продержаться денек-другой, а они держатся уже четверо суток.

«Слышите,— сказал генерал,— опять начался обстрел равелина. Там, кажется, уже нет живого места... Сегодня они должны выйти оттуда».

...Больше о равелине в моих севастопольских блокнотах не было ни строки. А имя капитана III ранга Евсеевьева по какой-то случайности не упоминалось ни в разговоре с генералом, ни в нашей флотской газете, где время от времени появлялись заметки, авторам которых удалось вырваться из окруженного немецкими войсками равелина.

Но скупость информации в наших газетах восполняла молва, и в конце концов подробности достигали гласности.

Так, стало известно, как защитники равелина добирались до своих: истощенные, израненные, отстреливаясь от преследующих их по пятам гитлеровцев, они вышли на пристань равелина. Но увы, ни катеров, ни шлюпок — все было давно размолото в щепы и затоплено.

Сделали плот из стеклянных шаров, но пагонная пятибалльная волна заливала его, и лежавшие на нем раненые захлебывались, бросили плот и поплыли как есть, без всего, держась бонового заграждения.

Северная бухта в этом месте широка — за тысячу метров выходит ее ширина от Константиновского равелина до Карантинной бухты.

Переплыть ее опытному пловцу нелегко, а каково было раненым, истощенным защитникам равелина плыть под осыпным автоматным и минометным огнем, да еще под нахлестом накидной волны!

Не все дотянули до своих, многие погибли в бухте: кто выбился из сил и утонул, других настигли пули и осколки снарядов и мин.

Последними уходили командир равелина капитан III

ранга Михаил Евгеньевич Евсевьев, комиссар ОХРа Иван Петрович Кулинич и минер Алексей Зинский.

Евсевьев и Зинский (последнему было поручено взорвать равелин) успели отплыть от равелина, а Кулинич зачем-то задержался и был схвачен гитлеровцами.

Из той же устной газеты стало известно, что Кулинич был вздернут немцами на рее сигнальной мачты и перед смертью он якобы успел крикнуть: «Смерть фашистским гадам! Да здравствует Советская родина!»

По другому варианту, Кулинич был повешен не на рее сигнальной мачты, а на балконе равелина и что он не кричал: рот его был завязан.

О Евсевьеве говорилось, что он вошел в воду с забинтованной головой, так как был ранен в лицо. Из марлевой повязки были видны лишь глаза. Когда он плыл, то повязка выдавала его след, и гитлеровцы осыпали то место градом пуль.

Какова его дальнейшая судьба — даже слухов об этом не было.

И вот теперь, спустя четверть века, о судьбе Евсевьева меня спрашивал человек, служивший вместе с ним.

Я ничего не знал о Евсевьеве. Но теперь и мне его судьба становилась небезразличной.

Рассматривая фотографию мичмана, прежде чем положить ее в конверт вместе с письмом, в котором я просил Никитюка, чтобы он как можно быстрее сообщил мне, когда, где и при каких обстоятельствах он видел капитана III ранга М. Е. Евсевьева, я пытался сам вспомнить и те дни и место, где я брал у мичмана интервью, и его самого.

С глянцевого листа фотографической бумаги смотрел высоченный дядя в американском комбинезоне, которые в те годы на флоте носили катерники с «морских охотников».

Красавец. Богатырь с крепкой, каштанового цвета бородой и чистыми, зоркими глазами морехода.

Я встретился с ним на исходе второго года войны в Геленджике. Он пережил два ранения, контузию, а выглядел молодцом. Между прочим, двести пятьдесят дней обороны Севастополя для него и его команды были днями непрерывного хождения по смертному полю.

Записи мои, сделанные в то время, были не очень

разборчивы: слова — одни полностью, другие какими-то обрубками. Но хотя мои записи не похожи на древнеперуанские письмена, как известно состоявшие из узлов, мне пришлось попотеть, прежде чем я их прочел и восстановил картину того времени.

К сожалению, многое тогда писалось в неподходящих для этого занятия условиях и поэтому многое делалось с расчетом, что память подскажет. Оно, конечно, так и было, когда писалось для газеты — туда ведь шло все горяченькое.

А каково теперь, спустя двадцать пять лет?!

Я с сожалением опускаю многие детали биографии Никитюка из-за опасения, что это отвлечет от нити повествования. Тем более что биография Никитюка почти классическая для людей деревни начала двадцатых годов: хлеба не досыта, денег ни гроша, зато полно ртов, а у отца две руки.

К счастью для Никитюка, он родился крепышом, поэтому в четырнадцать за взрослого плавал на рыбачьих каюках на Буге, а пятнадцатилетним работал в кузнице, и в николаевских степях подпаском, и даже перед призывом на шахте имени ОГПУ в Нецветае, где поначалу уголек рубал, а потом овладел специальностью электрослесаря,— всюду он во сне видел море.

Пришло время призыва. Судьба его определилась тут же, как только он вошел в комнату, где заседала призывная комиссия; представитель флота, увидев высокого (рост — 188 см), широкогрудого (114 см), вскочил со стула и сказал:

— Это мой! Беру на флот!

Встал из-за стола и представитель артиллерии — пушкари тоже предъявляли спрос на крупных парней. Заспорили. Председатель комиссии остановил спорящих и спросил Никитюка, куда тот сам хочет. Никитюк ответил:

— На флот!

...Всем мальчикам, мечтающим о море, мерещится прежде всего форма — клеш, бескозырка и синяя форменка, в вырезе которой волнами морскими плещутся сине-белые полосы тельняшки.

Лишь немногие знают, что служба флотская начинается с самых обыденных вещей: сначала ты трясешься в эшелоне, а затем вылезаешь в Севастополе и водишь глазами по сторонам, не зная, на кого и на что раньше

смотреть: то ли на корабли, стоящие в Южной бухте, то ли на командиров, которых в Севастополе столько, что от золотых нашивок, надраенных пуговиц и крабов рябит в глазах, то ли на старшину, который старается из оравы будущих Нахимовых и Кошек, здоровенных, битюговатых на вид, но совершенно «сырых», сбить строй.

Как только старшина построит и подаст команду и поведет в горку на Корабельную сторону, где, не доходя до Малахова кургана, стоят мрачноватые старинные здания флотского экипажа,— считай, что ты почти на службе.

Почти — потому, что в экипаже, прежде чем начнется служба, тебе нолевкой или первым номером оголят голову, и она станет похожей на кокосовый орех, потом сгоняют в баню и вместо мечты твоей — форменки синей и черных расклешенных брюк — дадут колом стоящую брезентовую робу — вот тогда ты уже на службе. Здесь из тебя человека сделают, да еще и ремеслу морскому научат.

Никитюк ладно, а не как деревенский недотепа после экипажа, взбежал по сходне на борт крейсера «Красный Крым», где и прослужил старшиной моторного катера три года. Еще год отслужил на одном из лучших крейсеров эскадры — на «Красном Кавказе».

Служба флотская, нелегкая, Никитюку пришлась по душе.

Остался на сверхсрочную.

Расспрашивая его о службе морской, я задал вопрос, не тяжело ли ему (в то время шел двенадцатый год его службы); он ответил:

— А чего тяжело? Работа есть работа! Ваш карандаш, товарищ лейтенант, с виду — птичье перышко, а я возьму, он для меня центнер будет весить...

Я рассмеялся:

— Ну уж!

— Точно! — сказал Никитюк.— Для меня письмо иль рапо́рт писать хуже гауптвахты!.. А свою работу я люблю. Она, конечно, не легкая, но приятная.

Война застала Никитюка в Высшем Черноморском военно-морском училище в должности командира учебного катера. Эта небольшая посудинка была срочно переоборудована и откомандирована в один из дивизионов катерных тральщиков Охраны водного района.

Никитюк нес дозорную службу на этом судне — оно

теперь называлось «КТЩ № 82» — до конца обороны Севастополя.

Команда КТЩ № 82 тралила и обезвреживала мины, выслеживала немецкие подводные лодки, ставила вехи в тех местах, где немцы сбрасывали мины, и проводила корабли в гавань, и выводила за боны в море.

Я подробно перечисляю штатные обязанности катера и придаю им значение потому, что «водный театр», на котором действовал катер Никитюка, оказался первой точкой нападения гитлеровцев на нашу страну в ночь на 22 июня 1941 года.

Да! Это так, хотя военные историки обходят сей факт, вероятно, потому, что эффект гитлеровского нападения на Севастополь в этот час был крайне ничтожен в сравнении с тем, что началось через полчаса на сухопутных границах от Балтики до Черного моря, где граница была прорвана тремя группами армий: «Север», «Центр» и «Юг» — и где на нашу землю ринулось вооруженное до зубов многомиллионное войско, с тысячами танков, пушек и самолетов.

ОТКРЫТЬ ОГОНЬ!

Зачем же Германии понадобилось нападать на Севастополь раньше, чем ее главные силы, в авангарде которых стояла 4-я армия фельдмаршала фон Клюге, начнут переправу через Буг?

Ведь нападение на нашу страну по плану «Барбаросса» было назначено на 3 часа 30 минут. В документах это время было обозначено условным кодом — «Час «Ч».

И вот до наступления «Часа «Ч» с аэродромов Германии поднялись эскадрильи тяжелых самолетов и взяли курс на Виндаву, Либаву и Севастополь.

С какой целью?

Я не знаю, какое положение было в Виндаве и Либаве, а налет на Севастополь легко объяснить — эскадра Черноморского флота только что вернулась с моря после длительных и тяжелых, приближенных к военным условиям учений.

Моряки очень устали, давно были без берега; мысли у всех одни — скорее бы проходила суббота, и на берег.

Офицеры мечтали в воскресенье выехать с семьями за город, попляжиться либо посидеть с удочками. У кого не было семей — по-холостяцки развлечься.

В городе висели афиши гастролеров — моряков ожидали концерты, спектакли.

Словом, расчет у немцев был не столько тактический, сколько психологический: эскадра придет с моря, большинство краснофлотцев и офицеров уволится на берег, а некоторые вообще уедут в отпуск, бдительность будет ослаблена, оружие и все системы после стрельб в море останутся не в должном виде.

Лучшей ситуации для скрытого налета на Главную базу Черноморского флота не могло быть: никто ничего не подозревает, экипажи кораблей гуляют на берегу, командиры либо сидят в ресторанах, либо в концертах, или в кругу семьи.

Вино, смех, беспечность!

Тут-то и надо появиться над базой — ударить по кораблям и забросать бухты и рейд минами.

Запереть флот!

Задумано не так уж глупо.

И все шло так, как рассчитывали немцы.

В субботу двадцать первого июня на кораблях шла большая приборка. Поход даже по такому небольшому морю, как Черное, оставил свои следы: борта у судов побелели от соли, трубы обгорели, кое-где слезла краска, разболтались некоторые механизмы. Да что там говорить, после больших учений с интенсивными стрельбами и сложными маневрами все требует отлаживания и приведения в порядок.

Командир корабля спрашивает с командиров боевых частей, а те с командиров боевых постов — так уж испокон веков заведено.

К вечеру корабельные специалисты и отлично выученные краснофлотцы все успели и даже сумели постираться тут же на пристанях, помыться в банях, отгладить форменки и навести стрелы на брюках, надраить ботинки до такого блеска, чтобы можно было с ходу ослепить комендантский патруль.

Наступил вечер.

Началось увольнение.

К Графской пристани то и дело подскакивали катера и баркасы, полным-полные добрыми молодцами.

Загорелые, стройные, в сверкающих необычайной флотской белизной форменках, наутюженных брюках и начищенных ботинках, краснофлотцы быстро растекались по городу.

Вскоре на Краснофлотском и Приморском бульварах, куда сошлись, кажется, все девушки Севастополя, зазвучал смех, говор и шорох шелка.

Потом грянула музыка, и закрутились морячки в танце.

Музыка неслась и из окон Дома флота — там шел концерт.

Вахтенные с кораблей не без зависти поглядывали на берег — в бухте хорошо слышалась не только музыка, но и говор и смех с бульваров.

Да. Хорошо на берегу!

А тут темень жгучая — командование не отменило оперативной готовности, на кораблях сохранено затемнение,— только синие огоньки горят на гюйс- и флагштоках; позовет дежурный командир, пока бежишь к нему — все бока об задрайки обобьешь!

Приближалась полночь.

В городе продолжались гулянья.

А в это время, как некогда писалось в титрах немого кино, враг не дремал: на аэродромах фашистской Германии уже было залито горючее в баки самолетов, подвешены бомбы, проверены пушки и пулеметы...

...Экипажи немецких самолетов выкуривали последние перед взлетом сигареты, когда телефонный звонок из Москвы в самом начале полуночи поднял с места дежурного по штабу Черноморского флота капитана II ранга Рыбалко.

Звонил нарком Военно-Морского Флота Николай Герасимович Кузнецов.

Рыбалко попросил к телефону находившегося в комнате дежурной службы начальника штаба флота контр-адмирала Ивана Дмитриевича Елисеева.

Выслушав наркома, контр-адмирал сказал, слегка бледнея:

— Слушаюсь! Будет исполнено!

Медленно, словно бы раздумывая, не ослышался ли он,— настолько неожиданно (хотя этого ждали давно) было приказание наркома,— контр-адмирал положил трубку на рычаг телефонного аппарата ВЧ и, слегка прикусывая нижнюю губу, посмотрел отсутствующим взглядом на капитана II ранга.

Рыбалко подмывало спросить, что за приказание отдал нарком, но он сдержался.

Елисеев перевел дух.

— Звоните командующему!.. Объявляется готовность номер один!

...Шел второй час ночи, на бульварах горели огни и гуляла публика.

Полно было и в залах Дома флота, и в ресторанах, когда на стол контр-адмирала Елисеева легла телеграмма: «СФ, КБФ, ЧФ, ПВФ, ДРФ. Оперативная готовность № 1. Немедленно. Кузнецов».

Тотчас же в Главной базе, на Павловском мыске был зажжен световой сигнал вертикальных огней — «Большой сбор».

Заревели сирены, дали залпы сигнальные пушки, был вырублен свет — Севастополь погрузился во тьму... Около двух часов пополуночи, когда гитлеровские эскадрильи тяжелых самолетов уже находились в воздухе, весь сложный и огромный механизм, каким являлся Черноморский флот с его эскадрой и многими службами флота и береговой обороны (корабли, дивизионы, отряды, бригады, команды, отделы, штабы, госпитали, военно-морские училища, управления и т. д. и т. п.),— все было переведено на оперативную готовность № 1.

...Около трех часов ночи посты службы наблюдения доложили в штаб флота о том, что они отчетливо слышат на подступах к Севастополю нарастающий шум множества авиационных моторов.

3 часа 07 минут — над севастопольскими бухтами появились неизвестные самолеты.

Никто: ни летчики, сидевшие за штурвалами этих самолетов, ни зенитчики береговых и корабельных батарей, ни командование ПВО, да что там — никто, кроме трех человек в штабе Черноморского флота, не знал, какой почти трагический характер носил разговор в штабе между дежурным по штабу капитаном II ранга Рыбалко и командующим Черноморским флотом адмиралом Октябрьским в связи с появлением неизвестных самолетов у Севастополя.

Разговор шел по телефону.

Капитан II ранга Рыбалко спрашивал командующего, открывать ли огонь по неизвестным самолетам.

Адмирал Октябрьский, не давая прямого и точного ответа, спросил Рыбалко, есть ли наши самолеты в воздухе.

Рыбалко, ответил, что наших самолетов нет в воздухе.

Несколько секунд молчания.

Затем Рыбалко услышал голос командующего, обычный, чуть глуховатый, но с подчеркнуто металлическим оттенком.

— Имейте в виду,— сказал он,— если в воздухе есть хоть один наш самолет, вы завтра будете р а с с т р е л я н ы!

На вопрос Рыбалко, как же быть с открытием огня, адмирал ответил неприязненно:

— Действуйте по инструкции.

Рыбалко услышал легкий щелчок положенной трубки, положил свою и, глядя на контр-адмирала Елисеева, развел руками.

Пока он говорил с командующим, его у другого телефона ждал начальник ПВО полковник Жилин.

Начальник ПВО ждал ответа на вопрос, с которым он обратился в штаб,— открывать огонь по неизвестным самолетам или...

Что ж сказать ему? Что значит «действуйте по инструкции»?

— Что же ответить полковнику Жилину? — спросил Рыбалко контр-адмирала Елисеева.

— Передайте приказание открыть огонь,— сказал Елисеев.

— Открыть огонь! — вместо ответа скомандовал Рыбалко.

По-видимому, невероятность войны для всех так была велика, что полковнику Жилину этот ответ-команда показался сомнительным, и он сгоряча по-артиллерийски бахнул:

— Имейте в виду, вы несете полную ответственность за это приказание. Я записываю его в журнал боевых действий.

Рыбалко устал — такого дежурства у него еще не было, может быть, поэтому он и излишне громко крикнул в трубку:

— Записывайте куда хотите, но открывайте огонь! [1]

Огонь был открыт, и прожекторы тотчас же начали ощупывать небо.

---

[1] Этот диалог дается по тексту книги адмирала Советского Союза, бывшего наркома Военно-Морского Флота СССР Н. Г. Кузнецова «Накануне».

В предрассветных сумерках посыпавшиеся с самолетов парашюты были приняты за воздушный десант. Командующий ОВРом контр-адмирал Фадеев распорядился немедленно выслать катера на поимку парашютистов, но когда катера подошли близко к спускавшимся парашютам, они увидели, что на стропах парашютов висели морские мины.

Запереть эскадру в Главной базе немцам не удалось, но они сумели засорить минами рейды и фарватер: теперь без конвоя ни пройти, ни выйти из гавани.

Налеты самолетов-миноносцев продолжались. Они проводились комбинированно: сначала налетали бомбардировщики, отвлекали на себя зенитные и прожекторные батареи, а в это время втихую, по-пиратски тяжелые самолеты сбрасывали мины.

Вскоре на Черном море появились немецкие подводные лодки. Их спустили на понтонах по Дунаю. Они пытались развить свою деятельность, ловко подстраивались в кильватер нашим судам и на «хвосте» у них проскакивали минные поля.

Однако за боны, в гавань, ни одной вражеской подводной лодке проникнуть не удалось. Опасно было и болтаться в водном районе базы — десятки сторожевых кораблей, охотников за подводными лодками, находились в дозоре, неутомимо и настойчиво прослушивали с помощью приборов «Посейдон» море, и если обнаруживали вражескую лодку, за борт летели серии глубинных бомб.

Выслеживались подводные лодки и с воздуха.

Битва за безопасность плавания была полна истинного героизма. В этих сражениях (траление, разоружение мин, поиски подводных лодок) были большие удачи и тяжелые поражения.

...Опасная и самоотверженная борьба с минами и подводными лодками выпала на соединения и службы ОВРа и в значительной мере на Охрану рейдов Главной базы флота.

Так пространно именовалась в деловых бумагах эта организация, входившая в оперативное подчинение ОВРу.

Штаб Охраны рейдов помещался в Константиновском равелине. Командовал ОХРом капитан III ранга М. Е. Евсевьев.

К нему-то под начало попал Никитюк со своим переоборудованным для дозорной службы катером.

Пока раскладывал вещи, затем принимал душ, брился, погода неожиданно испортилась: высокое, обозначенное какой-то особой синью севастопольское небо вдруг нахмурилось, потемнело — с моря навалилась тяжелая и темная стена. Она загородила почти полнеба.

Город, только что сиявший белизной древней Эллады, помрачнел.

Похолодало.

Тучи двигались с пугающей быстротой.

На бульваре зашумели деревья.

Сильно запахло нагретыми крышами, и пошел дождь, крупный и косой.

Пришлось закрыть дверь на балкон и размундириться. С улицы несся шум падающей воды.

От дождя и темных туч в номере стало темно, я зажег настольную лампу, вынул из портфеля письма Никитюка и решил прочесть их еще раз.

Читая письма мичмана, я как-то незаметно оторвался от реальности и с головой ушел в то далекое время. А вскоре вообще забыл про то, что сижу в удобном кресле в хорошем номере гостиницы и что за окном хлещет густыми струями ливень.

То, о чем писал мичман Никитюк, частично пережил и я сам, и поэтому между строк мне отлично не только «виделись» выжженные солнцем, перепаханные снарядами холмы Севастополя, пожары, охватившие город со всех концов, притопленные в бухтах корабли, плавающие обломки, бочки, бревна и раздутые трупы, но и лица многих людей, с которыми приходилось тогда встречаться. Более того, такое «безостаточное погружение» в прошлое дало мне возможность не только увидеть далекие картины, но даже «услышать» и голоса людей, и грохот артиллерии, и вой моторов сходившихся в смертельной схватке самолетов, и дрожь земли, сотрясаемой разрывами тяжелых бомб и снарядов.

И, как это бывает в кино, когда на экране идет текст, а «за кадром» слышится голос автора текста, я отчетливо слышал голос мичмана Никитюка.

Голос у него глуховатый, и говорил он, как говорят южане,— мягко и своеобразно... Да что мне объяснять — сейчас пойдет его речь, и все будет видно. Кстати, я уже слышу его голос. Письмо ему дается трудно: помните, он

говорил мне, что ему легче на гауптвахте отсидеть, чем письмо или рапорт написать.

Представляю, как он потел, пока мне писал.

«Дорогой Петр Александрович!

Извините меня, что так долго не отвечал на Ваше письмо. (Дальше шли объяснения, почему не отвечал,— оказывается, он попал в автомобильную катастрофу, долго лежал в больнице.)

Коротко опишу последнюю нашу встречу с капитаном III ранга товарищем Евсевьевым.

О том, как я попал в ОВР, я рассказывал Вам в 1943 году в Геленджике. Помните, мы с Вами снимались? Снимок делал фотокорреспондент газеты «Красный черноморец» Соколенко. Он, как и я, тоже был, кажется, мичманом?

Словом, до второго июля тысяча девятьсот сорок второго года я со своим катером, которым командовал еще в Высшем военно-морском училище, прослужил в ОХРе (Охране рейдов Главной базы флота в Севастополе), которым командовал капитан III ранга Евсевьев.

Штаб ОХРа размещался в Константиновском равелине, а мы в Карантинной бухте. Мы — это наш Восьмой дивизион КТЩ.

Может быть, Вы забыли, что такое КТЩ? Поясню — дивизион катерных тральщиков.

Мы ходили в дозоры, тралили мины, подрывали их, выслеживали немецкие подводные лодки, а больше всего вводили и выводили корабли: значит, встречали их на внешнем рейде у Стрелецкой бухты, вели через ворота бонового заграждения в Севастополь, ставили по пристаням и таким же путем выводили обратно в море.

Служба эта с первого и до последнего дня под бомбами, каждый день сплошной риск.

Три раза я был ранен.

В тысяча девятьсот сорок втором году второго июня гитлеровцы начали третий штурм Севастополя. Пять дней бомбежки и обстрелы... Да что я Вам об этом пишу! Вы же и сами были в это время в Севастополе!

Скажу только, что меня перед этим ранило,— кажется, это было тридцать первого мая. Точно! Утром, только солнце над Сапун-горой поднялось, он с-под облака выскочил и начал класть.

Я на полубаке стоял и пел — я во время бомбежек

всегда пел: встану на правый борт и завожу свою любимую — «Ах, ты, доля, моя доля».

Мне кричат: «Никитюк! Брось петь — иди в укрытие!»

Я не отвечал на это, я продолжал петь. Песня успокаивала.

Но тут бомба рядом с катером легла: меня волной бросило на палубу, а механика моего, старшину 1-й статьи Андрея Багмета, сильно поранило: ладонь левую ему пробило, грудь разворотило осколком и еще стекло в глаз попало. Он поднес руки к глазам и весь в кровище перепачкался.

Напугался, что ли, как закричал:

— Командир, где ты? Не бросай меня!

Я к нему, а у самого в боку — шкворень горячий. Пощупал — крови нет. Ну, думаю, зашибся, ничего, пройдет. Минеру Нестюрину широкую кость правой руки повредило.

Свел я их в госпиталь. Нестюрина перевязали и назначили к эвакуации. А Багмет отказался:

— Не хочу в эвакуацию. Я на судно вернусь. Не бросай меня, командир. Побудь, пока перевяжут.

А когда у него стекло из глаза вынимали, он все просил:

— Спой, командир! Спой! Мне легче будет.

Пришлось петь. Я оставил его в госпитале. Он потом вернулся на судно.

А я пришел на катер, снял китель и тельник: посмотрите, говорю, ребята, что это у меня.

Посмотрели — черно все.

Ну, меня перевязали и отправили в госпиталь. Оказалось, ребро лопнуло.

Положили на стол, стали шину на ребро класть. Что тут было! Только песня и спасла меня!

Когда Багмет вернулся с госпиталя, и я уже руку подымал, и вот тут-то наш катер чуть-чуть не списали. Да.

Опять был налет, и снова бомба упала рядом — катер выбросило с воды. На полтора метра подняло. Сорвало моторы с фундаментов, у правого блока пробило и муфту сцепления, у левого муфту сцепления и кожух.

Командование решило затопить катер, так как в Севастополе уже нельзя было сделать такой ремонт.

Пришел я на катер и говорю экипажу: так, мол, вот и так.

Никто слушать не хочет о затоплении: «Как это топить?! Воевали-воевали на нем, и вдруг топить! Не-ет!»

Я к командованию. Мне восемнадцать суток на ремонт, и, как говорится, кругом шагом марш.

Вернулся на катер, хлопцы ждут. «Ну, как, командир, жизнь или смерть нашему «линкору»?»

Я отвечаю: «Жизнь».

Увел я катер в Артиллерийскую бухту. Встал там у базара, и десять дней, как говорится, ни сна ни отдыха — и катер снова в строю.

Двадцать второго июня немцы-гады заняли Северную сторону.

Наши части отошли через бухту на Корабельную, а в равелине остались охровцы с капитаном III ранга Евсевьевым.

Жутко было смотреть, что там делалось: фашистские самолеты как осы вьются, артиллерия бьет, пыль и дым столбом, все гудит, грохочет...

Кажется, часа продержаться нельзя — целая армия свалилась на равелин, а там горсточка матросов и солдат!

Собрал нас командир дивизиона Рохлин и спрашивает: «Кто пойдет на эвакуацию участников равелина?»

Люди молчат. Я как кандидат партии сказал: «Я пойду».

Пошел не на своем КТЩ, а на барказе 1-го артдивизиона.

Пока шел до равелина, немец бил по мне, да хитро так: у барказа паелы высокие, он под паелы пулями сечет, а я на банке стоял. И это спасло!

Пришел к пристани равелина, а там «каэмка» притоплена. Попытался снять ее, не удалось — дырища у нее в корпусе.

Взял сорок человек в барказ и ушел в Карантинную, сказал капитану III ранга Евсевьеву, что, может, приду еще.

Довел барказ до причала в Карантинной. Люди сошли, и барказ тут же затонул.

Больше мне не пришлось ходить в равелин — мы все время на морской позиции стояли.

В два часа ночью первого июля подошел ко мне мичман Юдин, командир КТЩ с нашего дивизиона, и передал приказание идти на Феолент — всем катерам.

Когда выбирал якорь, немец взял меня прожектором и повел. Я развернул катер носом в берег, а к нему лагом, катер сливается с берегом, и немец бросает меня.

Таким образом я оторвался и ушел в Камышевую.

Вошел.

Смотрю, катер Юдина на мели.

Запросил, надо ли помочь, он ответил: «Сойду сам».

Ладно.

Пошел к Херсонесскому маяку, но оказалось, пройти нельзя — сильный артиллерийский огонь с Северной стороны. Он бил по фарватеру и по входам в бухты. Огонь такой, что муха не пролетит.

Решил пройти в Казачью бухту и отстояться до ночи.

Подошел к плавучей пристани, там уже стоит КТЩ № 81. Только ошвартовался, пришел посыльный от генерала Петрова с приказанием не уходить до ночи — ночью помочь кораблям.

Взял я оружие, боезапас и людей своих и сошел на берег. Со мной пошел и Герасименко с КТЩ № 81.

Тут на берегу я увидел на носилках капитана III ранга Евсеньева.

Он был ранен в лицо, и голова от этого ранения была у него забинтована как кокон: глаза да рот только и видны.

Мы с Герасименко ушли в оборону — немцы с Камышевой пытались пробиться в Казачью.

В пятнадцать часов налетели пять самолетов и начали бомбить катера.

Мой катер был потоплен прямым попаданием, а катер № 81 получил пробоину в правой скуле выше ватерлинии четверти на две...

Мой катер затонул, а № 81-й на плаву. Приходит Герасименко пьяный, и личный состав его тоже.

Тут немцы появились на мысу между Камышевой и Казачьей.

Герасименко говорит:

— Я возьму чайник спирту и пойду сражаться на берег.

Я сказал:

— Добро, иди! А я беру твой катер.

Он отвечает:

— Бери!

Герасименко взял чайник со спиртом и ушел на берег, а я на катер.

На катере уже было сто двадцать человек.

Опробовал моторы — в порядке.

Когда я начал разворачиваться на носовом и только хотел дать задний ход, как с пристани крикнули — подойти и забрать капитана III ранга Евсевьева.

Я подошел, Евсевьева доставили.

Тут шторм поднялся.

Катер перегружен.

Начал я разворачиваться — залило левый мотор через выхлопную трубу. Почти в то же время залило и правый. И пробоина тоже оказалась под водой.

Катер начало нести лагом к берегу. А чтобы катер не перевернуло, я отдал якорь и на якорь-цепи развернулся против волны.

Корма не дошла до берега пяти-шести метров, катер сел на грунт.

В это время в бухту зашли катера-«охотники».

Капитан III ранга Евсевьев приказал мне запросить их.

Запросил.

— Ответили, что катера наши.

Я дал им глубину по корме и по носу.

Подошел один катер и, не выключая моторов, ушел, не взяв ни одного человека.

Тогда два человека с моего катера разделись и бросились в воду. Один доплыл, другой нет.

Катер подошел второй раз, я только успел подать одежду, и катер ушел на расстояние порядка 800—900 метров.

Капитан III ранга Евсевьев приказал мне идти вплавь на катер-«охотник»... Со мной пошел Самойленко Ваня, главстаршина.

До катера оставалось метров 30—40, я услышал, командир сказал боцману: «Будем идти!»

Я что есть силы крикнул:

— С донесением!

Боцман бросил мне конец и вытащил на борт. Пока я шел к мостику, Самойленко крикнул мне:

— Гриша, прощай!

Я доложил командиру охотника, кто находится на катере № 81, он ответил: «Будем идти».

Катер ушел за Херсонесский маяк. Там взяли людей и пошли на Новороссийск. Вот и все.

С уважением к Вам *Никитюк Г. С.».*

Прочитав это письмо, я глянул в окно — дождь перестал, и солнце, двигаясь вслед за тучами, обливало светом мокрый город с удивительно яркой зеленью.

Я не сразу понял, где я и что со мной: перед глазами все еще стояло прошлое. Оно было так явственно... Мне даже казалось, что я вполне отчетливо вижу и забинтованную голову капитана III ранга Евсевьева, заросшее, коричневое от загара лицо мичмана Никитюка, самолеты в небе, огни и дымы пожарищ, трупы, притопленные корабли в бухтах, грязных, изодранных защитников Севастополя, сбившихся у крутых обрывистых берегов Херсонесского мыса, слышу крики, грохот, взрывы, мат...

До чего же памятны те дни! Склеп, в котором жили корреспонденты, располагался всего лишь в нескольких шагах от штаб-квартиры командующего сухопутными силами Севастопольского оборонительного района генерал-майора Ивана Ефимовича Петрова, в Карантинной бухте.

Зрительная память с изумительной пластичностью воспроизводила и выжженные солнцем холмы, голубизну неба и ту нежную синь моря, которая присуща только Черному морю.

Я взял второе письмо Григория Степановича Никитюка, присланное мне в ответ на мой запрос уточнить, когда он видел в последний раз капитана III ранга Евсевьева. Вот что написал мне Никитюк:

«Здравствуйте, Петр Александрович!

Письмо от Вас получил, за которое очень благодарю. Теперь насчет капитана III ранга Евсевьева. С ним мне пришлось расстаться с первого на второе июля 1942 года, а с второго на третье июля вышел с окружения мой механик катера старшина I статьи Андрей Багмет.

Андрея Багмета я оставил с Евсевьевым на катере, и Багмета я встретил в Новороссийске, но он мне ничего не сказал насчет Евсевьева. Вышел из окружения Евсевьев или нет, он мне не сказал.

К сему с уважением к Вам *Никитюк*».

К сему с уважением... И все. А как же сложилась судьба капитана III ранга Евсевьева?

«ФОРТ «ИЗВЕСТИЯ»

Я вышел из гостиницы с намерением пройтись по городу.

Иду по Большой Морской, пытаюсь вспомнить, какие здесь раньше дома стояли. Сворачиваю в первый переулок налево. Дошел до троллейбусной остановки. Подкатывает вагон. Он идет в Камышевую бухту. Я не собирался ехать туда, хотел пешком пройти до Артиллерийской бухты. Оттуда к Приморскому бульвару. И вдруг этот троллейбус. Спрашиваю, можно ли на нем доехать до Карантинной. Мне отвечают — можно.

Троллейбус трогается, я хватаюсь за поручень и вхожу в вагон.

По прямой до Карантинной — не расстояние, но троллейбус идет туда, как заяц по пороше — петлями. Он бежит мимо рынка, цирка «Шапито», мимо кладбища Коммунаров, затем проносится мимо еврейского кладбища и выходит на шоссе, по которому и бежит затем в Камышевую бухту. Вот тут и надо слезать мне.

Я вышел. В нескольких шагах от остановки, прямо на рыжих, пустых холмах, стоят будто вылезшие из земли высокие современные дома. Около них покачиваются тонкие, как телячьи хвосты, молодые, неприглядные с виду, неокрепшие деревца.

Дома так изменили ландшафт, что я не узнал местности, хотя дорогой мне казалось, что чего-чего, а Карантинную я с завязанными глазами узнаю. Я остановил прохожего и, как глубокий провинциал, спросил: «Это Карантинная?» Он оглядел меня с головы до ног и не без удивления сказал: «Она самая. А шо вы ищете?» Я сказал: «Музей». Тогда он встал ко мне спиной и, показывая рукой в сторону моря, стал подробно и быстро рассказывать, как мне туда идти, где взять билет и что в первую очередь смотреть.

...Здесь... Именно здесь, где я вылез из троллейбуса, двадцать шесть лет тому назад (в июне 1942 года) не то что стоять, но и ползком ползти при свете дня нельзя было без риска для жизни. А теперь отсюда по холмам, в нескольких метрах от синего моря, от благовеющих

ветров и безграничного простора, тянутся в сторону Стрелецкой бухты улицы новых домов.

Я долго не мог понять, что нахожусь в какой-нибудь сотне шагов от штольни, в которой размещался командный пункт командующего сухопутной обороной Севастополя генерала Ивана Ефимовича Петрова. А чуть дальше под обрывистым берегом Карантинной бухты, в амфитеатре бывшего карантинного кладбища (по-гречески — некрополя), в склепе находился «Форт «Известия» — так в шутку называл это хлипкое убежище корреспондент «Известий» Сергей Галышев.

Здесь жили и корреспондент «Красной звезды» Лев Иш, корреспондент газеты «Красный флот» М. Когут, корреспондент «Правды» Виктор Темин и некоторое время автор этих строк. А в штольне политотдела Приморской армии — специальные корреспонденты «Последних известий по радио» Юрий Арди и Вадим Синявский.

Синявский в марте 1942 года делал звуковой радиорепортаж «Говорит Малахов курган». Во время записи, когда батарея капитан-лейтенанта Матюхина вела огонь по противнику, Синявский был тяжело ранен.

Это было в марте, а уже в июне Вадим Синявский после тяжелой и сложной операции вместе со мною и одним из опытнейших журналистов Центрального радиовещания Юрием Арди пришел в Севастополь на лидере «Ташкент».

Даже и теперь, спустя четверть века, при воспоминании об этом я поражаюсь мужеству Синявского — не каждый мог отважиться после серьезного ранения идти морем в блокированный, истекающий кровью город, пережить в пути атаку фашистских самолетов-торпедоносцев, выдержать обстрел при высадке на берег и затем пробираться из Камышевой бухты в горящий Севастополь по дороге, непрерывно обстреливаемой осколочными и бризантными снарядами, и затем еще бегать и хлопотать, чтобы начальство разрешило возобновить прерванную в марте запись «Говорит Малахов курган». Это в конце июня 1942 года было немалой мерой мужества.

Однако я уверен, если б у Синявского и Арди в то время была нынешняя звукозаписывающая аппаратура, а не та, что действовала двадцать семь лет тому назад, они непременно сделали б свою запись, хотя в те дни гитлеровцы были недалеко от Малахова кургана.

Можно только пожалеть, что этой записи нет, мы сегодня могли бы слушать голоса артиллеристов, капитан-лейтенанта Матюхина, павших, но не отступивших с Малахова кургана!

Поселок у Карантинной строится, держась ближе к шоссе, нежели к морю. Почти у самой дороги землеройными машинами глубоко вспорота красноватая земля. В траншеях змеятся кабели и трубы. Каменщики выкладывают цоколи и «тянут» этажи новых домов.

Пока архитектурный облик поселка лишен образа, пока здесь царствует инженерный элемент. Конечно, я далек от мысли, что инженерный элемент не может быть искусством, что его роль в архитектуре та же, что у пяльцев, на которых хозяйничает игла художника. В мире есть несколько классических образцов, где равноправно выступили инженеры и архитекторы. В качестве примера можно было бы назвать Колизей и собор св. Петра в Риме, Адмиралтейство в Ленинграде, Вестминстер в Лондоне и Карлов мост в Праге.

В градостроительстве крайне важно качество соотношения природы, старых и новых сооружений. Когда это соотношение гармонично, то архитекторы говорят, что здание (имярек) хорошо «привязано».

До строительства у Карантинной здесь господствовали раскопки руин Херсонеса Таврического, Музей античных древностей, который некогда назывался «Складом местных древностей», и Владимирский собор. А теперь «власть над ландшафтом» в руках высоких, почти геометрически точных и неотличимых друг от друга домов. Невольно дома эти вызывают в памяти шутливые стихи:

На севере диком стоит одиноко
Квартал из домов типовых,
И снится ему, что на юге далеком
Настроили точно таких.

Собор высок. Его пробитый снарядами купол виден издали. Он назван зачем-то так же, как и собор, что стоит на самом высоком месте Нагорной части Севастополя, — Владимирским. Правда, объяснение есть — собор выстроен в честь, как гласит предание, крещения в Карантинной бухте (в Корсуни) завоевателя Херсонеса Таврического киевского князя Владимира, по прозванью Красное Солнышко.

Это отступление я вынужден был сделать для того, чтобы читатель понял меня правильно, когда в следующей фразе я буду писать: «Со странным чувством какого-то возбуждения я подошел к Владимирскому собору» (здесь я имею в виду не севастопольский Владимирский собор, а тот, что стоит на просторном открытом месте в нескольких шагах от херсонесских раскопок, на берегу моря).

Вокруг него бурьян, заросшие воронки от бомб и тяжелых снарядов, затянутые пылью и колючкой бывшие окопы и ходы сообщения.

Места знакомые и незнакомые — чего-то в них не хватало.

Не хватало, очевидно, обстановки и атмосферы того времени.

Вот здесь в июне 1942 года где ползком, а где перебежкой в рост мы с работником политотдела Приморской армии пробирались до этого самого Владимирского собора. В глубоких подвалах находился склад культотдела, мне нужна была фотопленка для моего «ФЭДа».

Высокое место, на котором стоит собор, хорошо просматривалось с Северной стороны; немцы неотступно следили за каждым нашим бойцом, а уж за командиром в три глаза.

Политотделец клял меня, правда не зло, но сильно, за то, что на мне был темно-синий флотский китель с золотыми нашивками на рукавах, надраенные медные пуговицы, черные брюки и черная фуражка с золотым «крабом»,— я выглядел, как сказал политотделец, когда мы лежали с ним в пыли, вжимаясь в каменистую землю, пережидая минометный налет, «демаскирующим элементом».

Политотделец был прав — здесь, в осажденном городе, моряки ходили в хаки. И это было правильно: в конце июня холмы и долы Гераклейского полуострова были выжжены немилосердным солнцем, и выгоревшее армейское обмундирование довольно удачно сливалось с фисташкового цвета землей.

Но что я мог поделать?

Положение Севастополя в то время было действительно тяжелым, и, хотя никто об этом не говорил и дух защитников города был необычайно высок, все же только дурак не мог понять, насколько тяжело оно...

Мы подсчитали с политотдельцем, чего стоили пять кассет пленки, которые мы с ним разыскали в склепах Владимирского (херсонесского) собора среди баянов и щипкового культинвентаря: гитлеровцы израсходовали на нее двадцать мин и четыре снаряда!..

Так было двадцать шесть лет тому назад!

И теперь стоит и ю н ь, но не в конце своем, как тогда, а в самом начале.

Сейчас степь цветет. И цветы ее удивительно нежны и ароматны, и море синее, неоглядное, на нем еще нет белесых полос, и небо — ах, что за небо здесь в начале лета!

Чистое, высокое, и кажется, что оно поет!

А тогда, двадцать шесть лет тому назад, солнце жгло с яростью африканского темперамента, и все живое сохло, и над полуостровом носились запахи полыни, пыли, пороховых газов и крови. А в небе днем стояли неумолчные гулы авиационных моторов, раскаты орудийных выстрелов и вой бомб.

Получив «молнию» из редакции, я не успел подготовиться к этой опасной поездке, а по-журналистски, безоглядно воспользовался первой оказией (к счастью, это был лидер «Ташкент») и совершенно неподготовленным, то есть без соответствующей экипировки, без фотопленки и даже, как говорят военные, без личного оружия — пистолета явился в осажденный Севастополь.

Огромная площадь у собора покрыта сочной травой, унизанной цветами, как мавританский газон.

Среди множества нежных цветов, среди маков, вспыхивающих огоньками то тут, то там, среди колокольчиков, ромашек и граммофонных труб повители и каких-то других, незнакомых мне южных клейких розоватых и темно-карминных, крепко-ароматных цветов, на бугорках пришедших в запустенье окопов и артиллерийских двориков виднелись крепкие головы татарника.

Того самого татарника, с описания которого Лев Толстой начал свою повесть «Хаджи-Мурат».

В куполе собора несколько проломов. Довольно больших — видны фрески сочного письма.

Собор закрыт — его здание опасно для посетителей.

Вокруг — воронки, они поросли бурьяном. В бурьяне и около кустарников хлопочут козы, не подозревая о значении и величии этой земли. Боже, какая проза!

В нескольких шагах от собора, под длинным навесом за проволочной сеткой, как в вольерах, стоят пифосы — огромные сосуды из обожженной глины. В них малоазийские греки две тысячи лет тому назад держали пресную воду, солили рыбу и хранили зерно.

Пифосы подняты со дна бухты, возле бывшей набережной Херсонеса.

Глядя на пифосы, мы как бы смотрим в глубь веков.

Несколько шагов дальше к морю, и открываются раскопки Херсонеса; на фоне синего неба — одинокие белые колонны, полуразрушенные своды зданий: бани, мельницы, богатые дома, водоемы.

Шагая по мостовой, настеленной рабами две тысячи лет тому назад, я невольно вспомнил Аппиеву дорогу под Римом и мертвые Помпеи.

Много дум вызывают свидетели угасших цивилизаций, былого могущества.

Мысленный взор, эта волшебная сила фантазии, способен под определенным впечатлением, как вспышка молнии в ночи, выхватить какой-то необычный мир, что-то стоящее на грани волшебства и скучной прозы обыденности,— я на миг увидел далекую, необратимую и сказочно-удивительную жизнь.

Передо мной мелькнули, как перед иллюминаторами мчащегося с бешеной скоростью самолета, какие-то толпы людей, я услышал даже голоса, а затем глаза мои были ослеплены блеском золотых шлемов и необычайно яркими одеждами цвета пурпура и небесной лазури... Перед моим взором в бешеной скорости мгновенья промелькнули даже чьи-то длинные ресницы и жгучие глаза... Ширкнувшая под ногами крыса вернула меня к действительности...

Недалеко от раскопок древнего Херсонеса, на обрывистом берегу голубого моря, на металлической перекладине, укрепленной на двух каменных столбах, висит старый, позеленевший от соленых морских ветров, побитый пулями, осколками мин и снарядов и... камнями колокол.

Судьба его необычна. Сотруднику газеты «Слава Севастополя» молодому писателю Вениамину Теплухину удалось разыскать в севастопольском городском архиве следующий документ: «Дело № 41. О возвращении из Франции колокола, плененного в Крымскую кампанию и висевшего в башне храма в Париже, начато в 1898 году». Папка содержит переписку дипломатов.

В результате этой переписки 23 ноября 1913 года колокол был возвращен в Севастополь. Почти шестьдесят лет провисел он на одной из колоколен Нотр-Дам де Пари.

У колокола боевая биография: по низу его вязью тянется следующая надпись: «Сей колокол вылит... Николая Чудотворец... в Таганр... из турецкой... артиллерии весом пу... ду... 1778 года лета август... числа».

По возвращении своем на родину колокол был поднят на новую деревянную колокольню.

Им не пользовались для сбора монахов к службе, но как только на море ложился плотный туман, он начинал подавать свой голос, чтобы капитаны судов знали, где они находятся и как надо поступать, чтобы избежать кораблекрушения.

В музее мне сказали, что у него высокий и чистый голос. Между прочим, он и до первой обороны Севастополя служил скитальцам морей своим звонким, легким и певучим голосом.

Язык его предупреждал в часы тяжелых и белых, непроницаемых, как саван, туманов и советские корабли, пока не был установлен ревун.

Моряки говорят, что и теперь, в наше время, если выходит из строя ревун, старый колокол вовремя подаст спасительный голос.

Раздается его звон порой и в ясную, совершенно безоблачную погоду — это озорники ребята-купальщики, упражняясь в меткости, прямо с пляжа кидают в колокол голыши. Но при этом не слышно его чистого и сильного бельканто, а раздается лишь стон. Так стонет ветеран, когда в непогоду ноют старые раны. Колоколу почти двести лет. За эти годы несчетно раз его хлестали дожди и ветры, а уж сколько раз во время войн клевали его пули да осколки снарядные!

Берег, тянущийся влево от колокола в сторону Стрелецкой бухты, дик и обрывист. Нарытые во время войны траншеи и артиллерийские дворики обмелели и заросли переполошником.

Берег этот можно было бы принять за часть необитаемого острова, если б внизу, у больших камней, где на крупный галечник набегает морская волна, не было всюду проникающих «дикарей» — курортников.

Большинство из них и не представляет себе, что тут было во времена дальние и близкие. Они отдыхают, и, вероятно, им «до лампочки» древняя и современная история этих мест. А меж тем у этого берега во время второй обороны Севастополя шла смертельно опасная война с минами — здесь без страха перепахивали прибрежные воды катерные тральщики Охраны рейдов, и среди них КТЩ № 82, которым командовал в 1941—1942 годах мичман Никитюк.

Мичман Никитюк!

Я на миг закрыл глаза и попытался представить его себе нынешним, то есть таким, каким он должен выглядеть сейчас, в 1968 году, но передо мной «стоял» тот Никитюк... Никитюк сорок третьего года: молодой, крепкий, как дуб, с зоркими глазами морехода, с дремучей бородой каштанового цвета. Никитюк-богатырь, в одиночку стаскивавший с мели мотоботы у Малой земли.

...Открыл глаза — никого, ничего, кроме обрывистого берега и темно-синего, с небольшой зеленцой моря. Море, налитое до краев под самый горизонт. Оно дремало в ленивом тепле.

Протащилось судно в Севастополь. Над головой промелькнул сверхзвуковой, и опять бездонное небо, бескрайняя синь воды и тишина.

Морякам это место известно как Стрелецкий рейд. Катерники с малых тральщиков и «морских охотников» знали здесь каждый дюйм — они тралили, прослушивали море, несли дозоры, встречали шедшие с моря корабли и затем проводили их через ворота бонового заграждения в Севастопольскую гавань. Сюда же, на Стрелецкий рейд, выводили корабли и подводные лодки, следовавшие из Севастополя в порты Кавказа или в море — «на поиск».

Весной 1942 года на Черном море не было места опасней для кораблей, чем этот рейд. Поистине легче было верблюду пролезть через игольное ушко, чем проскочить в Севастополь через Стрелецкий рейд.

Неприятельские батареи из Бельбека и Качи буквально засыпали снарядами фарватер. Лишь немногим кораблям эскадры, которыми командовали опытные командиры, удавалось прорываться сквозь блокаду.

...Вправо от колокола за коротким, острым мыском маленькая, уютная гавань древнего Херсонеса Таврического — Карантинная бухта.

Как я стремился сюда в сорок четвертом, чтобы найти хоть слабый след «Форта «Известия»! Хоть намек на судьбу моих товарищей!

У мыса на портовой площади перед штольнями, прикрытыми тяжелыми, посеченными бронебойными снарядами дверьми,— склад гидрографической «амуниции», тут вехи, баканы, бочки, буи. А дальше — колючая проволока. За нее «вход воспрещен».

Издали пришлось смотреть на то, что называлось во время обороны «Фортом «Известия». Теперь это просто дыра в обрывистом береге. Пустая дыра, и ничего более. Правее — штольня, запертая толстыми дверями. За ними был штаб генерала Петрова.

К старости человек становится не в меру чувствительным — подымаясь из Карантинной бухты наверх к шоссе и шагая к троллейбусной остановке, что у новых домов, я остро почувствовал «перегрев» в сердце. По-видимому, прошлое сильно заряжено тем особым электричеством, которое все мы, кому выпало счастье четверть века тому назад быть здесь и остаться в живых, будем носить в своем сердце до последнего вздоха.

Нет! Не забыть нам тех дней! Дней, прожитых в июне 1942 года в Карантинной. Не забыть друзей-журналистов, героев солдат и матросов... Не забыть даже грядок в низинке бухты, грядок, засеянных укропом, петрушкой, редисом и луком на «перо»... Здесь, в осажденной крепости, и зеленый лук был солдатом!

В ожидании троллейбуса я прошелся по шоссе, внимательно осматриваясь кругом — не найду ли где дощечки или столбика, на которых бы указывалось, что здесь был штаб Приморской армии и командный пункт генерала И. Е. Петрова.

Ничего — ни дощечки, ни столбика.

Не так уж много нужно металла для того, чтобы у обрывистого берега, недалеко от Карантинной бухты, установить доску, на которой коротко рассказать о том, что тут 27 июня 1942 года вылезли из воды израненные, исхудавшие донельзя («одни глаза на лице и были всего-то!») защитники Константиновского равелина.

Только одному богу известно, как они переплыли Северную бухту. Дело не в том, что она здесь для пловца безбожно широка, но в тот день дул нагонный ветер и победителей этого невольного и трагического марафона заливала вода, а трасса, по которой они плыли, со зве-

риной щедростью обстреливалась фашистской сволочью, которая восемь с лишним месяцев топталась под стенами Севастополя, не в силах взять его, хотя ими и было натаскано под Севастополь всего, вплоть до мортир «Карл» и «Дора».

«ДВЕНАДЦАТЬ РАЗ ЛУНА МЕНЯЛАСЬ...»

Возвращаясь в город, я долго не мог отделаться от горьковатого осадка, который отложился на душе от этой поездки в Карантинную.

Хожу по Севастополю, подымаюсь на холмы, смотрю, вспоминаю — новый город предстает перед глазами, как декорация, богатая, пышная, порой фантастически богатая!

Колоннады, фронтоны, античные фигуры на карнизах и сложная лепка. Длинные лестницы, балюстрады, арки, решетки...

Сколько ни пытаюсь «освободить» улицы от этих грандиозных зданий (мысленно, конечно!) и восстановить на их месте старые, стоявшие здесь во время обороны дома, под воротами которых не раз приходилось пережидать налет немецких самолетов или укрываться от артиллерийского огня,— у меня ничего не получается.

Каждое утро я поднимаюсь на Нагорную часть Севастополя. Я иду по вымощенной более века тому назад брусчаткой улице. Справа — высокая подпорная стена, сложенная из рваного камня. Она вся заплетена ползучими растениями. Слева — дома с балконами, увитыми «изабеллой», мускулистые, жилистые стволы которой выкинулись снизу, из крошечных лунок каменистой, но, как видно, щедрой земли.

Улочка чем-то (архитектурной атмосферой, что ли!) напоминает одну из улиц древнего итальянского города Сиена.

Да, нечто похожее я видел недалеко от северных ворот Сиены, которые называются Камолия. Через эти ворота проходит дорога во Флоренцию, Болонью, Парму и дальше на север Италии — в Милан.

Но дело тут не в портретном сходстве улиц, а, скорее, ассоциативном: Сиена — город-музей, основан в первом веке до нашей эры, Севастополь — молодой, ему нет еще и двухсот лет; Сиена славится своей архитектурой, историей, ранним зарождением рабочего движения, школой

живописи, соперничавшей в эпоху Ренессанса с выдающейся флорентийской школой, и еще тем, что до объединения Италии Сиена была, так же как и Флоренция, Генуя, Венеция, городом-республикой.

В географической энциклопедии о Сиене говорится, что она производит макароны, оливковое масло, вино и текстиль, некоторые виды металлических и химических изделий. В этой справке можно еще найти данные о численности жителей, о том, что Сиена имеет университет, основанный в XIII веке, что главной архитектурной достопримечательностью является дворец Публико и собор. Севастополь не делает макарон, оливкового масла и текстиля, и он вдесятеро моложе Сиены. Чем он знаменит, известно и без энциклопедий. Я вспомнил о Сиене потому, что мне врезались в память слова, высеченные над воротами Камолия: «Еще шире, чем эти ворота, распахивает перед тобой Сиена свое сердце».

У каждого города, конечно, есть свое сердце. У Севастополя оно большое, доброе и мужественное. Недаром сюда едут, плывут на пароходах, летят на самолетах со всех концов страны.

У гостиниц впритык караваном стоят «Волги», «Москвичи», автобусы.

На багажниках дорожные вещи. У иных раскладушки, надувные лодки и еще бог знает какой нужный и ненужный инвентарь путешественников.

Людей привлекает эпическая слава Севастополя. Многие жаждут познать и понять природу этого города, найти ответ на то, как это стало возможным, что Севастополь на протяжении сравнительно недолгой своей истории дважды проявил истинную меру мужества.

Тысячи людей приезжают сюда — ворота Севастополя распахнуты широко. После войны город стал местом паломничества туристов, молодежи, жаждущей примеров мужества, жаждущей романтики искательства.

Но теперь наряду с широким потоком туристов сюда ездят океанологи, археологи, ихтиологи, ветераны войны, кинематографисты.

Здесь на берегах отличных гаваней под покровительством мягкого климата многие организации с успехом проводят семинары, конференции, встречи, или, как теперь модно говорить, симпозиумы!

В Южной гавани заманчиво возвышаются над причалами ослепительно белые лайнеры. Чем дольше смотришь

на них, тем вероятнее кажется, что их трюмы загружены морскими тайнами, а в рангоуте застряли ветры всех широт.

Приезжие осаждают гостиницы, но, как и в большинстве городов нашей страны, и здесь в гостиницах редко когда бывают свободные номера.

Командированные и те часто коротают ночи на раскладушках в гостиничных холлах.

На ночь возле зажатых в кадушки пальм или бегоний, в соседстве с дежурными по этажам, раскладываются почти воздушные по своей легкости кроватенки, и горничные, застилая постели, утешно говорят гостям, что при первой возможности их переведут в номера.

В Севастополь тянется молодежь с надеждой устроиться на суда южного, океанического промысла.

Будущие «матросы летучей рыбы» — морские трампы долго в городе не задерживаются, через «западные ворота» они на троллейбусе достигают Камышевой бухты, там место стартов. Оттуда, из Камышевой, уходят в дальнее плавание к берегам Африканского континента на океанический промысел рыболовные траулеры и огромные рыбоконсервные плавучие заводы.

По нескольку месяцев они не видят родной земли.

Океан.

Африка.

Чтобы попасть туда, судам приходится проходить Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Красное моря...

Можно ли устоять против музыки этих слов!

Не застаивается в бухтах и военный флот: экипажи крейсеров, миноносцев, подобно прадедам своим, бродят теперь у Геркулесовых столбов, у тропика Рака, под Южным Крестом.

Толпы севастопольцев собираются на Приморском бульваре, когда корабли уходят, как говорили герои Станюковича, «в дальнюю».

Приморский бульвар гудит. И если на улице тепло и небо не дырявое, то на набережной полно детских колясок, в которых, совсем не подозревая о том, что тут происходит, будущие «адмиралы» и их «боевые подруги» сучат ножками, пока матери машут косынками мужьям.

А корабли идут. Полощутся флаги на гафеле. Тесными рядами в линейку стоят матросы на баках. Играет оркестр. С сигнального мостика, с левого крыла его, офи-

церы с биноклями у глаз обшаривают берег — авось удастся в последний раз увидеть своих. Корабли постепенно прибавляют ход. Скоро будет дана команда: «Буки до места!» — и корабли разовьют полный ход и скроются за горизонтом...

Растает дымок, оставленный ими по сю сторону горизонта. Медленно, нехотя, с задумчивыми, грустными лицами будут расходиться с набережной соломенные вдовы.

Они еще пожужжат недельку в телефон или при встречах в магазинах о том, как провожали мужей, повздыхают: «А где теперь наши?», а затем привыкнут, и жизнь пойдет своим чередом, с ее невеликими радостями и большими хлопотами с детьми, с хозяйством.

А город?

В городе будет все то же: будут отбивать склянки и проигрывать мелодию мураделевского марша — «Легендарный Севастополь» — куранты на башне Матросского клуба как раз тогда, когда людям в этом городе, кроме вахтенных, уже (или еще) положено спать.

По утрам город затягивает дымка. Плотная и упрямая, она парит над бухтами, кроет Корабельную и Северную стороны. В ее молочном дыму дремлют корабли на рейде. Зависает она и над морем.

От «Башни ветров» я смотрю на восходящее солнце. Оно, большое, красное, кипящее, неторопко карабкается на холмы. И сворачивается дымчатое покрывало, и перед глазами встает чудный, почти сказочный город. Гляжу на него и думаю: «Эка разбежался-то!»

Между прочим, одноэтажный Севастополь почти не изменился: глянешь на Северную — сверкают ослепительной, по-украински, белизной домики в изумруде виноградников, повернешься к Корабельной — и там белые под красной горшковой черепицей весело поглядывают на тебя домочки.

Одноэтажный город пока прочно занимает прежние «позиции» — на Петровой и Зеленой горках, Лабораторную балку, холмы, тянущиеся к открытым крохотным бухточкам: Мартыновой, Хрустальной и Артиллерийской. Правда, тут началось частичное вытеснение одноэтажных домов, но их все же пока больше.

Здесь сохранилась и старая, с военными отметинами, каменная мостовая.

Я очень люблю ходить по старым улочкам Севастополя. Дома тут стоят так, будто они бежали в горку, запыхались и из-за колотья в сердце остановились.

С горушки хорошо видна жизнь в этих понизу стоящих домах: в одном увидишь «тузик», в другом покрытый плотным, как железо, рыбацким брезентом подвесной мотор, а уж весла почти в каждом дворе, да еще рядом пучки бамбуковых удилищ.

И везде на туго натянутых линьках — белье.

В Севастополе, как в Неаполе, белье сушится на вольном воздухе.

Когда входишь в одноэтажный Севастополь, возникают картины двадцатипятилетней давности. И не только картины, но память, как магнитофонная лента, воспроизводит и голоса тех лет.

Вдруг на тихих, кривых, как старые ивы, улицах заслышится цокот копыт — конница на рысях идет на водопой; надрывный гул лезущих в горку грузовиков, далекие гулы взрывов — саперы рвут мины; рев в высоком небе самолетов; и у каждого целого домика смех, говор — солдаты, ладные, обожженные южным, палючим солнцем, в пропотевших гимнастерках, на груди ордена и медали, при каждом повороте: «дзык-дзык»...

Весна, май 1944 года — война в Крыму и Севастополе окончена. Солдаты наслаждаются коротким отдыхом после поразительного по ярости штурма Сапун-горы и Севастополя.

Тепло цветет белая акация, а на холмах вокруг города, там, где земля не перепахана снарядами, горят, покачиваясь на легком ветру, маки.

Небо синее, высокое. Воздух прозрачен и золотист. И море радостное, хотя вода в нем обжигающая, но волна легкая, короткая, без злого белого загривка, шепчущая, заговорческая, манящая.

А там, где земля перепахана, валяются, как на самой дешевой барахолке, немецкие каски, ломаные ящики от патронов и мин, носки, ботинки, гильзы, полусгоревшие автомобили и трупы — павшие люди, павшие лошади, они лежат с вздутыми, почти круглыми, животами.

Курится дымок. Гарью тянет с бухт, где осели на мель подбитые немецкие и румынские корабли. На них уже нет команд, и машины замерли, а огонь, единственное живое и действенное существо, доедает свою добычу...

Поднимаюсь выше.

Действительно, широко и далеко разбежался город! И какой же он неровный!

Центральная часть застроена в конце сороковых и начале пятидесятых годов с размахом и широтой несчитанных денег.

Тут много хорошего, но и немало зданий, построенных с «перебором».

Гостиница «Севастополь» — я вначале уже упоминал о ней — стоит на набережной Корнилова — превосходное место. Я представляю себе, скольким зданиям Севастополя (если б им было дано право выбирать место) хотелось бы стоять именно здесь!

Из окон гостиницы, выходящих на набережную, постояльцы могут любоваться золотыми закатами и встречать корабли, возвращающиеся из дальних стран или от берегов Кавказа и Крыма.

Но что же сделали архитекторы с этим зданием? Они окружили его почти сотней высоких, тяжелых, дорогих колонн. Для чего? Такого количества колонн не было, наверно, и на Форуме Романо в Риме, при Септимии Севере.

Но Форум — место торжеств и пышных церемоний. Среди колонн Форума сверкало золото, слепил острый блеск оружия, шелестел тяжелый шелк, дамы, консулы, император, дорогие трофеи, рабы...

Но гостиница не форум, это всего-навсего временный приют для приезжих. Зачем ей колонны?

Вряд ли кто сумеет доказать, что чем больше колонн, тем красивее здание!

Кто видел в Москве на Садовом кольце, недалеко от Крымского моста, здание Провиантских складов, построенное архитектором Стасовым, тот согласится со мной, что высокой и строгой красоты архитектурного сооружения можно добиться и без единой колонны.

Богатство же гостиницы более всего в удобстве жизни в ней и в тишине, а в многоколонной гостинице «Севастополь» немало номеров без самых элементарных удобств.

Город разбежался преимущественно на юг и на запад. Разбежался совсем недавно. Архитекторы сделали все от них зависящее, чтобы не отстать от века.

Что сказать о новых кварталах у Карантинной бух-

ты, у Омеги и Стрелецкой, о поселке имени героя обороны Севастополя полковника Горпищенко, о новостройках на Куликовом поле и у Камышевой бухты?

Трудно вжиться в этот, такой неожиданный здесь, новый город. Трудно не для глаз — они-то жадно, почти с юношеской любознательностью смотрят на все — сложно для сердца, для ума, для чувств.

Севастополь относится к числу тех немногих городов, где «под руками» изумительные и по своей неповторимости и по врожденной красоте ландшафты. Наши предки как бы «приглашали» природу в город, делали ее соучастником красоты, а мы относимся к природе в черте города лишь как к строительной площадке.

Иногда возникает тревожный вопрос: а возможно ли дальнейшее развитие архитектуры как искусства? И нужно ли оно, поскольку появились два таких сильных соперника у эстетики, как функционализм и утилитаризм.

А может быть, архитектура как искусство исчерпала себя? Ведь были же когда-то пирамиды, грандиозные акведуки, мосты, форумы, соборы... Теперь никто не строит их и не плачет по утраченному. Это было и прошло. А сохраняется потому, что питает самое доходное в современной экономике «производство» — туризм.

И все же, несмотря на убийственную логику и чудовищную практику по изгнанию искусства из архитектуры, есть в архитектуре свои «кимберлитовые трубки»!

Когда я пишу об этом, передо мной возникают ленинградские проспекты и площади: я вижу улицу зодчего Росси, Сенатскую площадь, Исаакий, Адмиралтейство, Биржу и Ростральные колонны, я вижу мосты, Неву, Летний сад...

Алмазом Севастополя всегда была площадь у Графской пристани.

Если посмотреть на эту площадь с птичьего полета, то мы увидим, что она занимает мыс, омываемый с одной стороны водами Северной бухты, с другой — Южной.

Красивее нет места в городе! Это, очевидно, понимали те, кто застраивал площадь.

И действительно, раньше все выглядело здесь соразмерно: и бывшая гостиница Киста, в которой останавливался проездом в Гаспру в 1901 году Лев Толстой, и классический портик Графской пристани, и Дом офицерского

собрания, и скромный, но очень теплый памятник адмиралу Нахимову посреди площади.

В двадцатых годах памятник Нахимову был снесен, а на северной оконечности мыса, в том месте, откуда в 1855 году начинался наплавной мост через бухту, была сооружена водная станция «Динамо» в модернистском стиле.

Это был первый удар безвкусицы... Первый и — увы! — не последний.

Между прочим, война пощадила этот плод безвкусицы; в мае 1944 года, когда наши войска быстрым и неистовым штурмом вышибли из Севастополя фашистскую армию Альмендингера, то все, кто шел с войсками, кинулись к Графской пристани.

И что же мы увидели?

Вокруг площади лежали груды камня, фонарные столбы, вывороченные рельсы, спутанные провода (до войны через площадь бегали маленькие, старомодные, но уютные, двухвагонные трамвайные поезда), на площади хрупало битое стекло, валялись обгорелые бочки из-под бензина и много другого хлама, который война заносит в города, как половодье.

Целыми на площади стояли лишь два здания: бывшая гостиница Киста и водная станция. Портик Графской был сильно поврежден артиллерийским огнем и бомбардировками, парадная лестница разбита.

С тех пор прошло четверть века. Что же сталось с площадью?

Только тот, кто видел площадь в день освобождения Севастополя в мае сорок четвертого года, и может понять, сколько сил было положено здесь, чтобы сделать ее такой, какой она предстает перед глазами теперь.

Строители и жители Севастополя проделали работу, которую, пожалуй, и не исчислить цифрами статистиков — здесь потребны числа звездочетов.

Бывшая III Интернационала, ныне Нахимовская площадь — широка, зелена. На том месте, где до войны стоял Дом флота имени Шмидта (бывшее Морское собрание),— сквер, пышный и уютный. В глубине его мощная, в современных, грубоватых формах мемориальная стена. Правая ее сторона занята (поверху) барельефной фигурой матроса с автоматом в руках, а понизу, на гранитных

досках, по всей длине стены высечены названия кораблей, воинских частей и городских организаций, участвовавших в обороне Севастополя в 1941—1942 годах, имена Героев Советского Союза, награжденных за Севастополь.

Отлично реставрированы лестница и портик Графской пристани. Это — морская парадная. В Севастополе не найдется человека, у которого не вспыхнул бы огонек в глазах при упоминании о Графской пристани.

Здесь в 1853 году Черноморский флот и горожане встречали адмирала Павла Степановича Нахимова после разгрома турецкого флота у Синопа.

В ноябре 1905 года от Графской отбыл на крейсер «Очаков» лейтенант Петр Шмидт, принявший командование над восставшими кораблями флота. Жизнь этого изумительного человека оказалась на редкость короткой — царизм расправился с ним раньше, чем он успел поднять на флагмане свой флаг революционного командующего.

Посреди площади сооружен новый памятник Нахимову. К немалому удивлению старых моряков и севастопольцев, фигура адмирала поставлена спиной к Графской пристани.

Я не знаю, чем вызван этот поворот памятника на сто восемьдесят градусов, но прежнее его положение на площади не требовало никаких объяснений. Там, за Графской, стояла на бочках эскадра, и, естественно, адмирал должен был стоять лицом к флоту, а не так, как теперь,— спиной!

Надпись на постаменте нового памятника предельно строга:

«Слава русскому флоту» — с одной, и «Адмиралу Павлу Степановичу Нахимову» — с другой стороны гранита.

А вот как читались надписи на постаменте старого памятника: «Смертельно ранен на Корниловском бастионе 28 июня, скончался 30 июня». А на других сторонах: «18 ноября 1853 года русская эскадра под начальством вице-адмирала Нахимова истребила под Синопом Турецкий флот Османа Паши», по низу постамента: «Уведомляю гг. командиров и офицеров, что в случае встречи с неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый из нас сделает свое дело...» — это отрывок из приказа Нахимова, объявленного перед Синопским боем. И наконец стихи:

Двенадцать раз луна менялась,
Луна всходила в небесах,
А все осада продолжалась,
И поле смерти расширялось
В облитых кровию стенах...

Выше этих слов стоял скромный, неброский с виду, трудолюбивый и бесстрашный моряк, страдавший близорукостью, в адмиральском сюртуке, сидевшем на нем, как говорили матросы тех времен, «без форцу».

«Двенадцать раз луна менялась, луна всходила в небесах, а все осада продолжалась...»

Александр Пушкин писал: «...Разум неистощим в *соображении* понятий, как язык неистощим в *соединении* слов».

Пушкинское изречение всегда приходит на память, когда читаешь слова, высеченные ваятелем на граните. Совершенно очевидно, что не всем дано искусство свободно соединять слова, не всем подчиняются они. Что ж, слова не солдаты, они не могут стоять в ранжире и совершенно не терпят над собой насилия. Они могут соединяться во фразе лишь по взаимному согласию. Или, иначе говоря, лишь те слова действенны, которые входят в строку, как патроны в казенник.

К сожалению, то ли по недосмотру, то ли по нетребовательности, немало слов из-за суетного употребления стерлось, потеряло первоначальную свежесть, лишилось глубины и блеска.

Некоторые современные социологи с не ограниченной смыслом храбростью заявляют, что искусством в современном обществе могут заниматься все, было бы побольше свободного времени.

«Афсус! Увы!» — говорят на Востоке. Нельзя отождествлять свободное время с талантом!

В пустынях Арабского Востока бегают быстрые ящерицы, которых местные люди называют «саканкур».

Знахари добывают этих ящериц, высушивают и затем превращают в порошок. Порошок расфасовывается и как лучшее лекарство, возвращающее молодость, продается одряхлевшим правоверным.

Кому же не хочется омолодиться! Особенно сильно это желание у тех правоверных, которые свершают хадж.

Во время хаджа потоки правоверных, испытывая в пути чудовищные неудобства и каторжные трудности, тянутся к матери городов ислама — Мекке и к родине про-

рока всех времен Мухаммеда — Джидде, через материки и океаны со всех земель, где раздается молитвенный призыв муэдзина.

В пути паломники пьют священную воду «замзам», отдают последние гроши за чашку сладкого морса из хауза Каусара (райского источника), покупают приготовленные из сушеных ящериц саканкур порошки... Хадж свершается уже много веков, тысячи раз солнце всходило на небосклон и тысячи раз закатывалось, выпиты реки замзама и сладкого морса из хауза Каусара, проглочены горы порошков из сушеных ящериц, но до сих пор ни один старик не возвратился домой юношей...

Однако пора, кажется, вернуться на площадь Нахимова.

Мне всегда казалось, что лучшим украшением приморского города является само море. Но когда я смотрю на Нахимовскую площадь, то кажется, что городской архитектор не мог спать спокойно, пока не отгородил площадь от моря всевозможными сооружениями.

Да это само бросается в глаза, как только попадаешь на площадь с улицы Ленина: справа видишь небольшой скверик — он возник после войны на месте разрушенных домов. Молодой, зеленый, он отгорожен от бухты прочной и глухой стеной. За нею — морской пассажирский вокзал. У его причалов швартуются многоэтажные лайнеры. Ослепительно белые красавцы. Но из-за стены их, к сожалению, почти не видно. Торчат лишь мачты да верхушки труб.

Для чего же здесь стена воздвигнута?

В архитектуре, если ее рассматривать как искусство градостроительства, а не строительства объектов, должна действовать, как говорят зодчие, «сила дальнего действия».

Что же для этого нужно?

Прежде всего — пространство и такая точка в нем, чтобы не угнетались соразмерность и легкость взлета сооружений.

Что может быть красивее в приморском городе незастроенного вида на море! Или стоящего почти в центре города корабля — белого, большого, оснащенного богатым рангоутом!

У художников есть термин — «дробность». Деятели искусств прибегают к этому слову, когда хотят сказать, что на картине много лишнего и это лишнее «дробит», мешает соразмерности частей, нарушает гармонию целого.

К сожалению, дробности удалось прократься на площадь Нахимова, и она подобно ржавчине разъедает исторически сложившуюся архитектурную композицию.

Между прочим, не столь уж сложно освободиться от лишнего, ошибочного либо неудачного: живописец смело, во имя бóльшей выразительности идеи своего произведения, берет в руки мастихин и с поощряемой разумностью энергией счищает все ненужное...

В нашей стране не много городов имеют красивые ландшафты; почти все степные города плоски: куда ни пойди — дома, трубы да еще заборы. Севастополь, как и Рим, стоит на холмах. И хотя холмов здесь меньше, чем в тысячелетнем городе, но зато какое тут море!

На Рим смотрят с холма Пинчо, в Севастополе несколько «точек», откуда можно с восторгом смотреть на город, всхолмленные дали и на море.

Я люблю высокий земляной вал 4-го бастиона, в том месте, где стоял Язоновский редут — месторасположение батареи, которой командовал в 1854 году Лев Толстой.

Здесь можно часами сидеть на сухой траве, дышать настоем чабреца и чуть горьковатой серебристой полыни и смотреть на юг, где над темноватыми, индиговыми гребнями крымских гор в высоком небе клубятся облака. Облака похожи на набирающие ветер паруса, а горы — на вздувшееся, посиневшее море.

Чуть западнее гор — Мраморная бухта, мыс Феолент и Георгиевский монастырь с его крохотной, прозрачной, как хрусталь, бухточкой, о которой Антон Павлович Чехов говорил как о лучшем месте для больных астмой...

Левее этой крохотной бухточки, за Мраморной балкой,— самое чудесное создание природы на Гераклейском полуострове — Балаклавская бухта.

На север от нее тянется знаменитая Золотая балка, огороженная с одной стороны отрогами крымских гор, с другой — Сапун-горой, Суздальской горкой...

Горки, курганы древние, могильники, холмы сторожевые...

Над балкой течет золотой, прозрачный и вместе такой плотный воздух, что птицы висят в нем, и кажется, что

жаворонки не поют, а тоненькими-тоненькими, невидимыми обыкновенным глазом сверлами сверлят золотой воздух, и он звенит-звенит... На многие километры тянутся по плоскому ложу балки виноградники. Тепло здесь лозе и земля жирна. А уж солнца льется столько, что гроздь из Золотой балки, достигнув спелости, светится.

Особенно хорошо здесь в начале лета!

В начале лета небо над Севастополем полно лазури.

В начале лета в степях Крыма жухнет трава.

В начале лета на сочных зеленых лозах виноградников набухают бубочки гроздей.

В начале лета в море озоруют ветры хвастливые. Но дуют они всего лишь в четверть силы, да и то днем, когда прогреется воздух, а на ночь укладываются.

В бархатной темноте южной ночи летают лишь ароматы, носимые нежным и робким зефиром, да постукивают «кастаньетами» цикады. Тиха и вода ночью — она лежит длинная, гладкая, задумчивая.

Начало лета — жаре не пора. Погода кроткая: шкодливые, разбойничьи ветры и одуряющая жара — за морями, за горами, в Африке далекой.

По утрам из-за холмов шаловливыми щенятами выползают солнечные лучи. Они ползут медленно, шаркают по земле глазищами и мягкой ворчней будят город, а когда из-за горизонта появляется солнце — тает дымка над бухтами, на кораблях бьют склянки, горнисты играют повестку, шумно сбегаются в строй матросы, звучат команды: «На флаг и гю-уйс!..»

Просыпается Севастополь рано. На линию выходят троллейбусы и автобусы. Милый, крохотный, веселый довоенный трамвай, честно послуживший городу и во время обороны, больше не существует.

С восходом солнца начинают носиться и продовольственные фургоны, начиная от зеленных, молочных и кончая гастрономическими и кондитерскими. Красивы машины Рыбторга; их корпуса расписаны могучими осетрами, семужными ломтиками и салатами из крабов так здорово, что вызывают аппетитные воспоминания об этих в недалеком прошлом многотиражных деликатесах.

До войны в Севастополе было сто с небольшим тысяч жителей, теперь — четверть миллиона. Значит, в два с половиной раза больше съедается хлеба, мяса, молока, мас-

ла, овощей и, естественно, рыбы... Можно было бы рассказать, сколько здесь людей работает на Морзаводе, на каменных карьерах, на стройках, на электростанциях, на винных заводах и виноградных плантациях, сколько служит, обслуживает, руководит, проверяет, контролирует, учит и учится. А зачем? Я пишу не отчет, а повесть о том, что видел, пережил и узнал.

Конечно, отчет легче писать: столько-то в городе рабочих, столько-то служащих, врачей, моряков, рыбаков, виноградарей и пенсионеров... Столько-то школ, библиотек, больниц, аптек...

Все это есть в каждом большом городе. И более того, количество полезных учреждений растет — такова программа нашей жизни. А в жизни главное не профессии, не учреждения, не классификации, а люди.

Двадцать пять лет тому назад — 9 мая 1944 года,— в первый день освобождения Севастополя, мы застали в городе всего лишь тысячу жителей, а сам город, прокопченный пороховым дымом и пожарищами, опутанный порванными электрическими проводами, запруженный искореженным железом, усыпанный битым стеклом, лежал в развалинах.

Потом, как я уже писал об этом, в Севастополь со всех концов нашей земли пришли люди, построили город таким, каким мы видим его сейчас,— преувеличенно пышным и значительным, осели тут и сделали то, что было во все времена истории после кровопролитных войн,— расплодились.

Из четверти миллиона нынешних севастопольцев я знаю лишь немногих. Из тех, кого знал четверть века тому назад, многих нет: одни уехали, другие — увы! — покинули этот прекрасный мир.

Стендаль сравнивал роман с зеркалом, проносимым по большой дороге. Эта мысль сохраняет ценность и в наше время, хотя высказана давно, еще в период романтизма. Я думаю, что без стендалевского зеркала не обойтись в любом жанре.

До сих пор я писал преимущественно о городе, о памятниках, о самой молчаливой музе — архитектуре и очень мало о людях. О! Если б я застал здесь старых друзей, разве стал бы откладывать рассказ о защитниках Константиновского равелина, о судьбе капитана

III ранга Евсевьева и о героях, с честью прошедших по большой дороге войны, начиная с Дуная, обороны Одессы, о героях павших и выдюживших!.. Ну что ж, не буду торопиться — резкие переходы, торопливость мешают читателю понять и полюбить дело, которым живет, которым дышит автор. Тем более что сам автор хочет, чтобы читатель если и не полюбил бы, то хотя бы оказал сердечное внимание тому, что автору дороже всего на свете. А дороже всего на свете плод любви — человек! Да и может ли быть иначе? Нет любви — нет жизни! Не нужно, конечно, думать, что автор все сводит лишь к любви, нет! Это было б так же неверно, как отдавать предпочтение лишь труду. «Человек рожден для счастья, как птица для полета» — эти слова принадлежат одному из самых интеллигентных и гражданственных и, я бы добавил еще, высоконравственных писателей — Владимиру Галактионовичу Короленко. Но счастье не может состоять лишь из любви или лишь из труда; понятие счастья куда сложнее, чем только любовь и чем обычная повинность труда. Нельзя человека зажимать в тиски правил и догм, человек не может быть плоским — он живой, круглый, он может быть добрым и злым, умным и глупым, но не терпит ограниченности и мыслительности стандарта. Я думаю, читателю понятна сложность положения автора. Чтобы возбудить любовь к своему герою, автор должен скрытно, как птицелов, двигаться за своими героями и событиями.

Это чертовски сложно, и, по-видимому, именно в этом и сокрыта тайна настоящего искусства.

ТАЙНА НАСТОЯЩЕГО ИСКУССТВА

Я люблю ранним утром, стоя у колонн храма Тезея, смотреть, как по каменной лестнице сбегают с Нагорной части на улицу Ленина севастопольцы. Они спешат к катерам. Одним нужно на Северную, другим в Инкерман либо в Килен-бухту, третьим на Павловский мысок.

С каждой минутой город наливается деловым шумом. Зычно и с настырной ясностью бьют куранты, более точный счет времени ведут склянки на кораблях. С веселым щебетаньем торопятся в аудитории студенты, ритмичен топот ног матросов, старшин и офицеров, спешащих на свои посты; к раннему базару точным курсом следуют

домохозяйки, где оборотистые сыны Кавказа обращают в золото нехитрые дары природы.

Севастопольский день ярок: сверкают молнии электросварок на слипах и у стенок Морзавода, где ремонтируются суда всех классов и профессий — китобойцы, рыболовные рефрижераторы, сейнеры.

Даже через бухту слышен «разговор» металла у Морзавода. Разговор на всех регистрах: металл режут, пилят, склепывают и варят.

У Морского вокзала многопалубный белый гигант подает резкий отходный сигнал. Надраенный, сияющий, как генерал в парадном летнем мундире, он вздрагивает и осанисто отваливает.

У Графской пристани ворчня катерных моторов и звонкие голоса пассажиров.

Райская тишина в тенистых аллеях Приморского бульвара; на скамейках школьницы с книжками, матрос, добровольно и молчаливо тонущий в глазах возлюбленной, отставные военные моряки в который раз вспоминают «о битвах, где вместе рубились они!».

Гудит город. И гул его не смолкает до вечерней зари. А когда укладываются ветры и огромное пушистое солнце зависает над морским горизонтом, все живое высыпает на улицы и бульвары. На Приморском бульваре, на набережной у Дворца пионеров, у биологической станции и на пятачке напротив памятника затопленным кораблям — ни одной свободной скамейки.

В Севастополе нет другого места, откуда можно было бы безотчетно, весь отдавшись думам, с легкой и светлой душой смотреть на море.

Смотреть и думать.

О чем?

Конечно, не о вспыхивающих рейдовых огнях, и не о черных кораблях, спешащих в порт, и не о тайне сигнальных огней, с перемигом бегущих в море со стальных мачт Константиновского равелина...

Есть неизъяснимая прелесть еще и в том, чтобы глядеть, как густеет по вечерам вода, и слушать преданный и робкий шепот моря...

В мировой литературе великолепно описаны парижские бульвары. Повезло и Одессе. Не стой на месте нынешнего бульвара в 1854 году трехъярусная Николаев-

ская батарея, прикрывавшая вход в Северную и Южную бухты, наверняка бы это место было достойным образом выписано пером Льва Толстого.

Бульвар здесь возник лишь во второй половине прошлого века, после поразившей тогда весь мир упорной, полной презрения к смерти обороны Севастополя от англо-французских войск, во время которой была разрушена Николаевская батарея.

Вот на развалинах этой батареи русские мужички в матросском и солдатском звании и соорудили Приморский «булевар».

Севастопольцы называют его с нежной фамильярностью — Примбуль.

В Севастополе, пожалуй, нет лучшего места (по крайней мере, я не знаю): в зной здесь можно спастись от изнуряющей духоты, а в дождь пересидеть в беседке под густыми шатрами.

А как хорошо тут просто посидеть, помечтать, забыться или встретиться с другом и любимой! Сколько пылких сердец покорилось под сенью каштанов Примбуля внезапной страсти любви! А что тут деется, когда уходят в плавание и возвращаются из дальних морей корабли!

Примбуль красив — садовники холят его с мичуринской страстью.

Все здесь празднично, соразмерно: и похожие на пылающие костры канны и левкои, и пропасть других цветов, озорно играющих яркими красками и щедро источающих тонкие ароматы. В альпинариях сверкают булатами агавы. На высоченных каштанах горят свечи...

Хороши на бульваре дорожки, уютные беседки, но ни один из самых даже прекрасных уголков бульвара не выдерживает спора с морем.

Море! До самой черноты ночи можно сидеть и смотреть, как, наигравшись в густом темно-малиновом закате, вода начинает темнеть. Так темнеет остывающая в изложнице плавка.

Вечер на бульваре — время сказок и чудес. Каждый свой шаг время творит чудо: небо и вода становятся волшебным мольбертом, на котором картины меняются одна за другой не с грубой быстротой фокусника, а с мягкой и нежной преемственностью, краски незримо соединяются, медленно темнеют и переходят в какое-то таинственно-новое состояние, из которого затем родится гамма волнующих своим ярким темпераментом красок.

Каждый, кто приходит сюда, непременно покоряется морю; посмотришь на людей, сидящих на скамейках, на зажженное заходящим солнцем море, на старинные форты, на терпеливых рыбарей — все будто заняты своим делом, своими думами, но стоит присмотреться к их глазам, и все станет ясно: глаза почти каждого устремлены вдаль, туда, за внешний рейд, где сходятся море и небо. А там на далеком горизонте черной точечкой медленно «чапает» корабль.

Корабль в море, да еще у морской крепости,— не диво и тем более не редкость. И все же его появление на горизонте невольно вызывает любопытство.

Ни один человек не покинет скамейку, пока корабль не выкажется весь — от тонких спиц мачт до мощного корпуса.

Я немало повидал на своем веку кораблей, плавал к берегам дальних стран, а как увижу черную точечку на горизонте, тоже не ухожу, пока корабль не вылупится совсем из-за горизонта, пока не пойму, какого он класса и назначения. Более того, пока не пойму, откуда он идет и, уж конечно, пока не прочту названия и не определю, какой ход имеет, и не увижу, как выглядят мостик, форштевень и дымовая труба. А дымовая труба на корабле — не последнее дело! Каждый человек, «отравленный» морем, знает, что дымовая труба у корабля почти то же, что шея у коня; «моряки летучей рыбы», то есть странники всех широт: китобои, промышленники рыбы и зверя, а также моряки экипажей научно-исследовательского флота и «трамповых кораблей»,— эти странники всех широт любят чуть скошенную назад — такая труба придает кораблю стремительность: корабль, или, как говорят моряки гражданского флота, судно, с такой трубой даже на якорной стоянке или стоящий «на усах» у причала и то кажется идущим вперед.

На корабль с прямой да еще длинной трубой моряк и смотреть не хочет...

Но, пожалуй, сейчас не время рассуждать о статях корабельной красоты. Поглядите, как медленно движется корабль, словно бы ползет. Но это только кажется, отгадка проста: корабль строго встал на счисленный курс, идет фарватером, указанным в лоции, идет носом, и потому простому глазу и недоступно ощущение его движения. Однако он и не идет полным ходом — нельзя, ворота нужно пройти на малых оборотах. А уж когда ко-

рабль окажется на акватории порта, тут лихой капитан не упустит случая прибавить обороты и, маневрируя машинами, «с ветерком» встать у стенки.

Подход к причалу и швартовка — те моменты в плавании, когда моряки стараются показать, что им «не зря деньги платят!».

Пустуют ли когда-нибудь скамейки Приморского бульвара?

Разве что зимой, а весной, летом и даже осенью, когда с моря дуют холодные штормовые ветры и осатанелая вода вскидывается на добрый десяток метров ввысь, когда озверелая волна «выгрызает» из бетонной стенки набережной огромные, весом в несколько пудов, глыбы и выкидывает их на берег легко, как теннисный мяч, на скамьях, приподняв воротники пальто, сидят люди, и смотрят на море, и думают свои думы.

Здесь можно встретить ветеранов флота, приезжающих на отдых на Южный берег и непременно заглядывающих в Севастополь, где у иных начиналась служба, а у других и прошла молодость.

Сидят мамаши с детьми, ждущие возвращения мужей из «дальней», одинокие женщины, приезжающие ежегодно прибрать могилу мужа, павшего в дни обороны Севастополя и упокоенного на Братском кладбище или под горой Гасфорта.

Приезжают и те, чей муж или сын пропал без вести,— а вдруг и найдется хоть какой-нибудь след. А вдруг... чего только не бывает на свете! Случаи амнезии [1] редки, но нет-нет да и промелькнет на страницах газет сообщение о том, что отыскался след пропавшего без вести, а иногда и объявляется в живых считавшийся погибшим...

Обычно поздней осенью появляется в Севастополе эта старая, предельно худая, согбенная женщина. Она шаркает ногами, чуть склонившись вперед. Одета она в заношенный плащишко того неопределенного цвета, который приобретает выпотевшая в долгих походах солдатская

---

[1] Амнезия — потеря памяти на почве серьезной контузии или тяжелого ранения.

гимнастерка. Обшлага рукавов и карманы сильно обиты и зачинены нехитрой, сделанной без терпения штопкой...

На ногах, под стать плащишку,— брезентовые, с кожаными накладками, сильно ношенные туфли на низком каблучке. Чулки нитяные, морщинистые. В руках старенькая, обтертая сумочка. Из-под ниспадающей на затылок дешевенькой косынки вылезают причесанные в струну, часто пробитые тусклой сединой сухие волосы. Лицо исполосовано морщинами, при беглом взгляде кажется, что на нем не осталось ни одного местечка даже для самой скупой улыбки.

Более всего меня поражал не вид ее — бедность одежды дело извинительное, а взгляд глаз, как бы выцветших и потускневших от времени.

Когда я разговаривал с ней, она будто бы смотрела на меня. Смотрела, но не видела — взор ее был где-то вдали от меня и от времени.

Должен сказать, что я тогда, в первый час знакомства с нею, не много знал: она из Москвы, фамилия — Ингель. А когда я спросил, как ее зовут, она сказала: «А не все ли равно?!» Я не стал настаивать.

После небольшого тяжкого молчания она со вздохом, который был полон давним отчаянием, проговорила: «Если б это вернуло мне сына!»

Она сказала мне это в 68-м году, а сын ее погиб в 42-м, как же должно быть живуче и чувствительно материнское горе! И как же сильна любовь!

Портрет ее сына я увидел в одной из витрин Музея Черноморского флота.

Полногубый, чуть хитроватый с виду и, как видно, веселый парень лет что-нибудь двадцати трех — двадцати пяти. Под фотографией подпись: «Начальник штаба батальона 79-й бригады морской пехоты старший лейтенант Ингель Д. Л.»

Тут же его письмо.

«Севастополь. 11.5.42 года.

Здравствуйте, дорогие!

Как вы поживаете? Что у вас слышно нового? У меня все в порядке. Жив-здоров, и самочувствие хорошее.

Что касается Севастополя, то здесь все в порядке. Снайперы наши немцам здорово жизни дают и каждый день уничтожают...»

Далее письмо размыто, и разобрать, что еще сообщал своим родным старший лейтенант Ингель за семь недель

до оставления нашими войсками Севастополя, невозможно. Вот и все, что я узнал о старшем лейтенанте Ингеле Д. Л., начальнике штаба батальона 79-й бригады морской пехоты, сыне старой женщины.

Письмо — это все, что осталось от него. Каждый раз, приезжая подлечиться на Южный берег Крыма, мать, оформившись в санатории, бежит на автобусную станцию — и в Севастополь. Здесь она покупает скромный букет цветов — и в Музей Черноморского флота.

У служащих музея всякий раз слезы на глазах навертываются, как только приезжает мать лейтенанта Ингеля. Да и можно ли спокойно смотреть, как часами в молитвенной позе стоит старая мать перед портретом сына, не обращая внимания на толпы шаркающих по паркету экскурсантов.

Люди идут с вытянутыми лицами, они глазеют на витрины, на развешанное на стенах и на лежащее за стеклом витрин оружие, на портреты тех, кто остался вечно молодым, на сверкающие золотом ордена, на медали и личные вещи героев — бинокли, планшеты с картами, фуражки, мундиры, кортики... А она стоит перед портретом сына и, уйдя мыслями в тот, теперь уже далекий сорок второй год, поправляет без нужды цветы.

Уходит мать из музея не вдруг: отойдет от витрины, оглянется, сморгнет слезу и спустится с лестницы. Выйдет на улицу, закурит, постоит, зачем-то повернется, посмотрит на дверь музея и, пошатываясь от усталости и голода,— за день, что проводит она в музее, у нее во рту и маковой росинки не побывает,— поплетется на Приморский бульвар, сядет на скамейку и смотрит на море, щипками доставая из кармана кусочки булки, и, тщательно жуя, смотрит на все безразличным взглядом человека, ограничившего мир лишь своей бедой, своим неизбывным горем.

Заходит мать лейтенанта Ингеля во всякий свой приезд в горком партии, к бывшему секретарю горкома Антонине Алексеевне Сариной. Сарина провела двести пятьдесят беспокойных и опасных для жизни дней во время обороны в Севастополе.

Вернулась в черноморскую крепость с войсками девятого мая 1944 года, долгое время после войны работала на своем старом беспокойном посту. Затем вышла на пенсию, но не покинула горкома партии — в одной из комнат целыми днями пропадает, и все во имя того,

чтобы «никто не был позабыт и ничто не было б позабыто!».

В этой комнате четыре стола, телефон, шкаф книжный и десяток стульев.

Целый день здесь полным-полно людей. Кто же это? Посидите, послушайте, о чем толкуют эти седые мужчины и женщины, и вам через несколько минут станет ясно, что сюда забегают ветераны, бывшие партизаны и подпольщики. Одни приносят дневники военного времени, другие — документы, фотографии. Либо сообщают о заболевших, о плохих жилищных условиях. Приходят люди и за справками о своей подпольной или партизанской деятельности.

Это святое добровольное братство чуть ли не каждый день приоткрывает полог истории: историческая комиссия горкома партии производит раскопки на местах, где гитлеровцы расстреливали советских людей, посещает больных ветеранов, собирает документы, ведет переписку с бывшими защитниками и освободителями Севастополя — много их разбросано по всей стране!

Каждый раз с надеждой заходит сюда, к Сариной, и мать лейтенанта Ингеля.

В сорок втором году она получила «похоронку», извещение о гибели сына. Но вот где он похоронен — никому не известно.

Историческая комиссия тщательно ведет наблюдения за всеми раскопками и расчистками почвы на местах нового жилищного строительства в районах Стрелецкой и Камышевой бухт — бульдозеристы часто наталкиваются на места погребений. До сих пор не найдено место, где захоронен лейтенант Ингель. Говорят, что о месте его захоронения знал командир бригады полковник Потапов. Но полковника нет в живых.

Мать все равно заходит сюда, спросит, нет ли чего нового, посидит, покурит и, попрощавшись тихим голосом, уходит, шаркая больными, усталыми ногами, на автобусную станцию. Из Ялты вернется в Москву и снова будет ждать путевку на юг. И так — двадцать с лишним лет!

А МОРЕ СПИТ?

После войны культработники крымских санаториев стали включать в свой план работы в качестве главного мероприятия «посещение города-героя».

Моторы экскурсионных автобусов ревут на горных крутизнах Крыма с утра и до ночи от самой Феодосии. Их салоны заполнены отдыхающими, обвешанными транзисторами, гитарами и фотоаппаратами.

Это массовое «причастие» культурой делает Севастополь шумным, и порой он кажется беззаботным городом.

В Севастополе много солнца, моря, сюда охотно едут киноэкспедиции. Кинооператоры снимают здешнюю натуру — высокие, обрывистые, то серо-аспидные, то охристые, как на акварелях Максимилиана Волошина, берега.

Зритель не подозревает о том, что рядом с кинооператором, снимавшим эту «терра инкогнита», на прибрежной гальке Учкуевки жарились на солнце тысячи купальщиков.

Севастопольский городской пляж — набережная Приморского бульвара — издали выглядит как лежбище котиков: гул голосов, вскрики, плеск воды, пестрота костюмов и тел.

То ли из-за того, что я долго не был в Севастополе, то ли по какому-то особому, как принято теперь говорить, «настрою» я с тревогой смотрел из-под козырька шезлонга на загорающих, на это огромное лежбище преимущественно молодых, рожденных где-то между 48—50 годами людей, не слышавших выстрелов войны, не видевших крови и пожаров. Восемнадцать — двадцать лет тому назад они были первыми послевоенными детьми солдат, прошедших сквозь огонь, воды и медные трубы, кровинушками солдаток, наголодавшихся от бесхлебья и безлюбья.

Росли эти молодые люди под пение птиц, под мирный стрекот трактора, под веселый, неумолчный гул радио, под бодрые речи о дружбе на вечные времена — всем тогда казалось, что с падением гитлеровского рейха, с приговором Нюрнбергского международного суда все спорные проблемы если и не исчерпаны целиком результатами второй мировой войны, то по крайней мере отошли на дальний-дальний план.

Наша измученная войнами и обновляемая революциями планета не знала столько праздников, не слышала такого количества речей и песен... Белые, черные, желтые, красные — дети всех народов — стали собираться чуть ли не каждый год на фестивали, на Олимпийские игры, на конгрессы, симпозиумы и семинары.

Будущее принадлежит молодежи!

Ей предстоит...

Что же ей предстоит? Новые войны? Будем надеяться, что ее ждет длительный мир. Но, к сожалению, империализм не обходится без войн.

Загоревшие до шоколадного цвета парни и девушки с белыми куделями шелковых волос время от времени вскакивают с лежаков и затевают игры: парни делают стойки, выжимаются на руках — демонстрируют силу и игру мышц. Мы в свое время тоже, желая понравиться девушкам, делали это.

Девушки, образовав небольшой круг, гоняют волейбольный мяч.

Их пасы точны, движения рук пластичны и грациозны. После игр со смехом и веселыми криками они мчатся к воде.

Я смотрел на них и думал: кто они, эти хорошо сложенные мальчики и девочки? Те ли, о ком мы мечтали в те трудные дни, когда на Приморском бульваре, на месте дорожек и кустов роз, были нарыты ходы сообщения, траншеи и стояли пушки жерлами вверх? А тут, где стоят шезлонги и щиты лежаков, торчали ежи, опутанные колючей проволокой?

В середине текущего века в мире возникло много споров вокруг молодежи.

Время от времени молодежная проблема возникает и у нас, но мы не даем ей разрастаться — гасим в эмбриональном состоянии, считая, что она у нас навсегда решена. Так ли это? Молодежная проблема будет всегда, пока будет молодежь.

Молодежная проблема... Молодежь...

Сколько умов занималось ею! Сколько слов сказано о ней и о проблемах воспитания!

В нашей памяти еще свежи слова гнева, которые адресовались ей за то, что она носила неустановленной длины волосы и не тех фасонов и рисунков платье. За это различные аппараты таскали молодежь «к Иисусу».

Конечно, среди молодежи есть люди, по которым этот самый «Иисус» плачет, однако действительность сильнее слов: истинный курс молодежи дала — а во многих странах и сейчас дает — революция.

Молодежная проблема — она действительно будет существовать, пока на земле стоит человечество, продолжаемое и оздоровляемое молодежью. И, кстати, она, мо-

лодежная проблема, существовала и до письменного периода; в четыреста семидесятом году до нашей эры Сократ говорил: «...Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей».

...Я пришел на пляж конечно же не для решения проблем молодежи, а — купаться; такая узкопотребительская, а вовсе не философская цель была у меня. Но здесь не я, а обстановка оказалась выше моего эгоизма.

Пока я занимался акклиматизацией (сидел в тени), наплыли воспоминания и неизбежные спутники — их размышления: я видел это место таким, каким оно было в июне сорок второго года и после освобождения Севастополя в мае 1944 года.

Трупы, сломанные пушки, колючая проволока, каски, изрытая земля... Я не знаю, сумеем ли мы — участники войны с немецким фашизмом — отделаться еще при жизни от теснящихся перед нашей памятью тяжелых картин прошлого? Наверное, нет!

И это нахлынуло. Да где — на пляже! Нахлынуло через четверть века! И я понял, почему нахлынуло: я люблю нашу молодежь, считаю ее высокоталантливой, трудолюбивой и мужественной. Да-да. Молодежь — свежая кровь нации, ее энергия и ее силы.

Не надо без нужды кричать на нее.

Мы привыкли мерять нынешнюю молодежь двадцатыми годами, упрекаем ее в инфантильности, инертности. Сетуем на отсутствие у современной молодежи революционной живинки двадцатых годов! Какая чепуха!

Давайте вспомним, что о нас самих говорили наши деды и отцы: мы тоже, с их точки зрения, были не теми, какими были когда-то они. Но пришла война... Я, конечно, не за то, чтобы испытывать или закалять молодежь в войне, — нет! Просто не нужно молодежь переругивать, перехваливать и баловать посулами.

Хорошая молодежь у нас. И та, что жарится на солнце, и та, что «вкалывает» на рудниках Заполярья, зимует на высоких широтах, идет сквозь тайгу, строит электростанции, города, пашет землю, учится в вузах и сидит над формулами и опытами в лабораториях. И та, что пишет стихи, делает дерзкие проекты в архитектуре, пишет кистью и рубит мрамор...

...Над пляжем с быстротой мысли проскальзывают в синем небе самолеты, у горизонта на военных кораблях идут учения, с верков Константиновского равелина сигнальщики «пишут» на корабли самым древним и вместе самым надежным способом — флажной сигнализацией.

В Северной бухте, у бывшей Михайловской батареи, стайка шлюпок, полных стриженными пол первый номер салажатами: старшины «фуганят» первогодков — отрабатывают нехитрые, но с непривычки тяжкие приемы гребли на шестерках.

У матросов красные, потные лица. Закусив губы, они пружинят мышцы. Из-под синих беретов струится пот. Старшины то и дело меняют команды: то — «весла на укол!», то — «весла на воду!», то — «табань!»...

Зевать некогда — все должны действовать как один, тогда шлюпка будет нестись как птица.

Нехитрая премудрость гребли на шестерке — так, по крайней мере, кажется, когда стоишь на берегу, но я-то хорошо знал: чтобы добиться этой легкости, нужно сначала семь потов спустить, потом еще семь раз по семь, снова — семь, пока научишься веслом, как дирижер палочкой, орудовать.

Солнце печет неуемно. Хорошо, что на берег с моря свежачок наскакивает.

На пляже люди как батоны на прилавке булочной. Запасы охотников за солнцем все пополняются.

Вот, лавируя среди лежаков и шезлонгов, катится низенькая, на роликах, инвалидная тележечка-площадка. На ней плечистый красавец, начисто лишенный ног.

У него голова орла. В чуть-чуть печальных глазах бушует огонь. Плечи атлета. Руки молотобойца. Туловище пригнетено к тележке широким флотским ремнем с надраенной медной бляхой. Из прорези легкой коротокорукавной летней сорочки видна татуировка и на боксерских руках синие следы иглы.

За тележкой три товарища того же племени. По-флотски быстро обзавелись одним лежаком, разделись, выкурили по сигаретке — и к воде.

Безногий подкатил на тележке. Остановившись у железного трапа, он отстегнул ремень и что-то сказал. Один из друзей его нагнулся, взял тележку, а безногий облапил железные поручни купального трапа, подтянулся.

— Тебе помочь, Толя? — спросил второй.

Безногий мотнул отрицательно головой и с криком «полундра» бомбой приводнился.

Пляж заволновался. Кто-то с тревогой сказал: «Что же он сделал? Тут же глубоко!»

— Не волнуйтесь,— подняв руку, сказал тот, кто брал тележку,— он до войны бухту без отдыха переплывал.

Ему возразили: «То до войны!.. И у него небось эти,— показал возражавший на ноги,— копыта на месте были». Спор прекратился. В этот миг у буев, ограждающих акваторию, отведенную купальщикам городского пляжа, вынырнул безногий, отфыркиваясь и крутясь по-дельфиньи, вышел из зоны и поплыл размашистыми саженками.

Я подумал, что этого ему не нужно было делать — за буями сновали катера и паромы, курсировавшие от Артиллерийской бухты на Северную сторону, на Учкуевский пляж и в бухту Омега.

Однако тревога моя оказалась напрасной — безногий в воде чувствовал себя свободно: он выпрыгивал из воды, ложился и подолгу отдыхал, нырял.

Я не видел, как он закончил плавание. Тут от Хрустальной бухты появился красный катер. Он несся в сторону пляжа. За ним, на буксире, высекая фонтан брызг, на водных лыжах мчался загорелый до шоколадного цвета спортсмен, своим классическим сложением напоминавший гениальные творения Поликлета.

Солнце было в зените, все предметы в бухте как бы зависали в серебристо-сиреневой дымке, никли и словно бы растворялись. Вскоре и лыжник, буксируемый красным катером, растаял!

Мне нужно было уходить: в Музее Черноморского флота меня ждали материалы из фондов. Они выдавались ненадолго, и притом с обязательной распиской в учетном журнальчике заведующей фондами.

Вся эта процедура была для меня очень неудобной, то есть, вернее, я был уж очень зависим от нее. Поэтому не мог дождаться, когда выйдет из воды безногий, чтобы познакомиться с ним и узнать его одиссею...

Через три часа я возвратился — ни безногого, ни его друзей. Да и пляж был почти пуст, и море как-то поблекло, как будто выгорело на солнце, и небо выглядело словно бы стираным.

Я присел на скамью.

Теперь, когда я лишился возможности узнать, кто этот человек, мне казалось, что много потерял. Так много, что трудно будет жить до тех пор, пока я не узнаю, кто он.

В самом деле, кто же он?

Щедрые седые пряди на голове обманчивы: ему немногим более сорока. Стало быть, четверть века тому назад, когда началась страшная война с фашизмом, у него и ноги были, и волос вился и блестел и без этой седой пороши. Не очень трудно представить себе его таким же, как эти коричневые от загара мальчики,— да, он выглядит красивым, стройным и сильным — слабых на флот не берут!

Значит, и он был какой-то частью молодежной проблемы того времени?

Его, как и многих других, «песочили» за то-то и то-то, что он делал (а может быть, и понимал) не так, как «нужно».

Может быть, кто-нибудь был несказанно рад, что его забрили на флот: «Там ему мозги вправят, там из него человека сделают!»

Все-таки интересное дело, думал я, глядя на то, как постепенно пустел пляж,— охотникам за солнцем или надоело лежать тут, или, как говорится, солнце уже не клевало,— мы ругаем молодежь, ворчим на нее, тычем носом то в одно, то в другое, а что же она? Что сама молодежь?

Она — это солдаты, которые стоят на защите государства.

Она — это промышленные рабочие.

Молодежь водит самолеты, поезда, корабли.

Молодежь — это строители, рабочие науки, открыватели, землепроходцы.

Молодежь добывает золото в мерзлотных землях Чукотки и в жарких пустынях Средней Азии и то золото, что венчает искусство на международных конкурсах.

Я понимаю, что не надо забывать о том, что ко всем победам готовим молодежь мы, занудные наставники, педагоги, командиры и отцы. Но это, как говорят в армии, нам «положено». Не положено лишь злоупотреблять своей властью возраста и опыта.

Однако кто же он, этот безногий? И где, при каких обстоятельствах, говоря следственным языком, он остался без обеих ног? Кто он и что представляет из себя сейчас?

С виду он совсем не похож на тех «братишек», которые после несчастья пошли по линии наименьшего сопротивления.

...Нет! Этот не похож на забулдыгу! В нем каждый сантиметр кожи наполнен гордым матросским духом; он скорее умрет, чем решится кинуть шапку на асфальт!

Но кто же он?

Вчера я долго и напрасно ждал его на набережной. Несколько раз вставал со скамейки и собирался уходить в гостиницу. И не ушел лишь потому, что во мне еще жила надежда, а потом и погода изменилась.

Когда я пришел из фондового отдела Музея Черноморского флота, море было блеклое и смиренное с виду, как старый монах, наложивший на себя тяжкую схиму. Я был уже готов уйти в гостиницу, но тут на скамейку подсел мужчина отставного возраста, морщинистый, жилистый, с горбатым носом, впалыми щеками, слегка порезанными в бритье. Он со смаком курил и выпускал через ноздри дым. Это было интересно. Но еще более интересной оказалась девочка лет пяти, которую он посадил на колени. Она непрерывно лепетала и была до неправдоподобия похожа на ту мордочку, которую рисуют на обертках детского шоколада: белые, как лен, пышные волосы, красные щечки, вишневые губки и глаза — две смородинки.

Она спрашивала мужчину о фантастических вещах.

— Деда, деда,— тараторила она,— а ветер спит?

— Совершеннейшая чепуха! — низким, с прохрипом голосом курильщика отвечал дед.— Конечно нет!

— А море?

— И море не спит.

— А почему?

— Потому что море — это море!

Болтая ножонками, она настойчиво хотела узнать, кто, кроме людей и зверюшек, спит.

— А корабль спит?

— Чепуху ты говоришь! И корабль не спит!

— Почему?

...Поднялся лихой ветер. Он озорно прошелся по деревьям Приморского парка, затем выскочил на воду и сначала погонял змейки на ее глади, а потом пошел гармошки делать.

Дед встал со скамейки. Девочка не хотела идти, ей хотелось к воде, а дед стал объяснять ей, что надо зайти

в булочную, а оттуда «прямым рейсом» домой, иначе бабаня «стружку снимет». Я понял, что в этой семье «на мостике» стоит не дед, а бабаня.

Меж тем ветер начал присвистывать, и я не заметил, как тучи, словно стадо овец, подгоняемое бичом пастуха, свалились к горизонту. И сразу и небо засветилось, и море заулыбалось, и солнце повеселело.

Хорошо стало, и я решил не торопиться домой, а отдаться блаженной лености и поглазеть на море, подышать свежим морским воздухом, подумать, помечтать, и, чем черт не шутит, может быть, и придет сюда тот — безногий?

Солнце в закате дня горело ярким малиновым цветом с голубоватой поволокой, как на картинах Рериха.

Потом оно потемнело, пригнулось к горизонту и пошло подмигивать красным зрачком и вскоре зашло в тот удивительный мир, который, несмотря на последние открытия космонавтов и ученых-космологов, все еще будит в наших сердцах какой-то мистический трепет, как ураган и землетрясение.

С заходом солнца набережную облепили рыбаки, в малиновой россыпи света они впечатывались в фон неба черными силуэтами.

На рейде зажглись сигнальные и опознавательные огни. Белым жемчугом вспыхнули фонари на Приморском бульваре.

У ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ

В гостинице меня ждал пригласительный билет Комитета ветеранов гвардейского эсминца «Сообразительный» на торжественное заседание по случаю двадцатипятилетия со дня присвоения гвардейского звания.

Торжественное заседание вечером в Матросском клубе, а перед этим прогулка на военном катере по Северной бухте с осмотром мест стоянок «Сообразительного» во время обороны Севастополя в 1941—1942 годах и прощание с кораблем.

Прощание носило более символический характер, нежели то, что мы подразумеваем под этим обрядом.

Когда я подошел к Графской пристани, там стояло уже десятка три ветеранов. Они были в гражданском платье и выглядели как рабочие и колхозники; у некоторых рельефно обозначались животики и на голове вид-

ны были залысины, а уж так ли давно каждый из них был бравым матросом! Ветераны держались возле седого, плотного, щедро украшенного золотым шитьем контр-адмирала.

Я не узнал в нем бывшего командира «Сообразительного» Сергея Степановича Воркова, который запал мне в память худым, умученным капитан-лейтенантом, с вислыми белесыми усами и всегда на чем-то сосредоточенными глазами.

Я попал к нему на корабль весной 1942 года. Должен сказать, что он был не очень гостеприимен, хотя я поднялся по сходне на борт «Сообразительного» не в качестве экскурсанта, а по поручению редакции.

В обычае у командиров кораблей было встречать корреспондентов с присущим флотским традициям расположением: пригласить в каюту, усадить на кожаный диванчик, открыть «божницу» (угловой шкафчик), вынуть графинчик... и лишь потом начинать с традиционного вопроса: «Ну-с, чем обязан вам?»

Сергей Степанович начал с «Ну-с, чем обязан...».

Я попал к нему после выхода в море на «морском охотнике», которым командовал лейтенант Бондаренко, один из интереснейших командиров так называемого Малого флота.

Лейтенант Бондаренко разработал тактику борьбы корабля с воздушным противником на переходе.

Редакция поручила мне побудить Бондаренко написать статью для нашей газеты, с тем чтобы его опыт был общим достоянием. Это особенно важно было для кораблей конвойной службы, все время бороздивших море на коммуникациях между осажденным Севастополем и портами Кавказа.

Бондаренко статью писать отказался, но предложил мне выйти с ним в море и самому понаблюдать за маневрами катера-«охотника» во время налета немецкой авиации.

Я вернулся с моря, полный сильных переживаний. Нужна была крохотная, успокоительная порция. К сожалению, на катере не было ни грамма этого, как говорят врачи, «ложно анестезирующего вещества». Была надежда на «Сообразительный».

Во время беседы с капитан-лейтенантом Ворковым я часто поглядывал на «божницу». Но увы! В дверцах ее торчал ключик.

Ворков видел мой жадный взгляд, но не реагировал на это.

Я махнул рукой, вспомнив слова Чехова: «Водка белая, но красит нос и чернит репутацию»,— черт с ней, с водкой!

Я написал большую статью об эсминце и его командире. История корабля поразила меня.

Трудно поверить, что этот самый молодой из «дивизиона умников» миноносец прошел всю войну без единой потери — на «Сообразительном» не было ни одного убитого, ни одного раненого. А ведь он не стоял у стенки, а непрерывно в море, в боевых походах!

Их (походов) было двести восемнадцать, и каждый посложнее, чем боевой вылет самолета. И даже последний, двести девятнадцатый,— к бетонному причалу, где корабль, возникший из металла, уходит в изначальное состояние,— ветераны и их командир назвали «боевым двести девятнадцатым».

Дальше я расскажу об этом кратком по времени, высоком по духу прощальном походе. А сейчас нужно идти — улыбающийся контр-адмирал, вежливый и галантный, словно он на дипломатическом рауте, великолепным жестом показывает на сверкающий никелем и полированным деревом катер: «Прошу, Петр Александрович!»

Катер дрожит от работы моторов. На корме высокий стройный матрос-крючковой. Одной рукой он сдерживает катер, а другой помогает пассажирам.

Последним на борт катера поднимается контр-адмирал. Его встречают лихой командой «смирно!», коротким рапортом и испрошением разрешения на выход.

После всех этих волнующих моряцкое сердце формальностей катер отваливает от пристани и быстро, чуть вспрыгивая на волне, сделанной встречным судном, бежит к Инкерману. За кормой его тянется бурный, ослепительной красоты шлейф. Освещенный заходящим солнцем, он играет как алмазная река.

Контр-адмирал Ворков показывает гостям места, где во время обороны Севастополя «Сообразительный» бросал якорь и вел обстрел немецких позиций за Мекензиевыми Горами, причалы, где высаживал подкрепления

севастопольскому гарнизону, выгружал боеприпасы, брал топливо и принимал раненых.

Бухта полна жизни: снуют катера, у одного из причалов танкер сливает горючее. На рейде стоят корабли, натянув якорь-цепи, как подседельные кони поводья. И всюду идет своя, непонятная для неопытного глаза жизнь. Многие корабли в красных заплатах — ржавчина схватила металл, ее отшкаробили и «засуричили», чтобы ржавчина не обрела силы метастаза.

Слева — высокие холмы, балки, белые домики, виноградники.

Справа — дымы электростанции, бегущий поезд.

Все ближе и ближе руины скального монастыря. Это все, что осталось от бывшего порта некогда богатого Мангупского княжества.

А вот и Черная речка. Причалы. Захламленная грузами станция Инкерман.

Воображение легко переносит на несколько веков назад: вот здесь, на месте заваленных мертвым железом причалов и лишенных какой-либо архитектурной формы станционных строений, на чистой воде бухты покачивались корабли с резными отделанными золотом бушпритами, сновали лодки с товарами и слышались голоса на разных языках...

А ныне у причала высится что-то бесформенное.

Еще светло, солнце еще висит над горизонтом, примерно на высоте грот-мачты, поэтому мы не сразу замечаем огни автогенных резальных аппаратов.

«Что-то бесформенное» — останки миноносца «Сообразительный» — часть кормы, перо руля и два гребных винта. Автогенщики еще не успели раскромсать их.

По выражению лица контр-адмирала нетрудно понять, как он переживает исход в металлолом своего корабля.

На борту «Сообразительного» прошла самая важная, самая значительная и, вероятно, лучшая часть его жизни.

Седьмого июня 1941 года двадцатидевятилетний старший лейтенант Сергей Ворков поднял флаг на новеньком, «с иголочки», миноносце «Сообразительный», а через две недели зенитные пушки миноносца уже палили по немецким самолетам, налетевшим на Главную базу Черноморского флота.

С той ночи и по сей день судьба Воркова, как тонкие жилы стального троса, переплелась с миноносцем, хотя

он и сошел с него вскоре после освобождения Севастополя в тысяча девятьсот сорок четвертом году.

Год прослужил на эскадренных миноносцах, и вдруг новое, неожиданное назначение — в поверженную фашистскую Германию, за кораблями.

Приемка корабля — дело долгое и сложное: нужно было осмотреть все придирчиво, освоить все боевые посты, опробовать механизмы.

Переход в Ленинград через Кильский канал, затем морем, не свободным от мин,— это, правда, не то, что переход из Новороссийска в осажденный Севастополь, когда в походе над тобой «висят» то бомбардировщики, то самолеты-торпедоносцы, но и не проще — чужой корабль и незнакомый театр.

Сергей Степанович не сходил с мостика крейсера.

Продолжительное пребывание на вахте для него дело привычное — командирская постель на «Сообразительном» во время войны часто совсем не разбиралась: командир заворачивался в тулуп и тут же, на ходовом мостике, ложился на палубу и «прикидывал часок».

В 1947 году Ворков поступает в Военно-морскую академию. Оканчивает ее — и на Черное море.

Менялись должности, моря — такова уж судьба военного моряка. Но это его судьба, а для жены? Сплошное горемыканье: только обжила квартиру, только в дом пришел уют, тепло — бросай все и собирай чемоданы.

Черное море... Балтика... Белое море... Каспий...

Корабли, выплававшие свой срок, становятся на прикол.

И людей в конце концов ожидает то же: приходит время — все моря исхожены, все сроки выплаваны, начинает сердце «барахлить», берет моряк свой вещмешок, или, как говорили в старину на торговом флоте,— «ослиный завтрак»,— и на берег.

Сергей Степанович «бросил якорь» в Ленинграде: командовал, преподавал, руководил, занимался научной работой и успел защитить кандидатскую диссертацию.

Между прочим, к научной деятельности он стремился давно. Сферой его поисков и интересов была механика.

Влечение — наследственное: прадед Пармен Ворков работал механиком на писчебумажной фабрике, у купца Сумкина, в Великоустюжском уезде. Причем механиком был первостатейным! Около машин как возле

живых организмов ходил: разговаривал с ними, ощупкой и глазами распознавал все дефекты. Человек, не знавший механика, попав в машинное отделение и заслышав его «разговор» с машинами, подолгу искал его собеседника, пока не догадывался, в чем дело.

Крепкий старик, работящий до самозабвения, Пармен не пил вина и не курил. Была у него страсть — баня: парился до тех пор, пока не становился красным, как морковь. В баню и из бани — в лаптях на босу ногу, в длинной исподней рубахе, а сверху — внакидку шуба.

Была еще страсть: в престольные праздники поить водкой... попов. Современная молодежь, конечно, не знает этого, а люди старые помнят, что попы сельских приходов по большим церковным праздникам по дальним местам прихода хаживали, службу служили, дань натурой собирали. Особенно в дни пасхи — по нескольку сотен яиц, груды хлебов — печеных, масла «чухонского», крынки со сметаной приволакивали.

Прадед Пармен в бога не верил и слуг его за жадность и обжорство не уважал — усадит попа за стол и ну накачивать.

Попик рад щедрому дару — пьет торопливо, почти не закусывает, а как выйдет из-за стола, и бряк наземь.

Мучается попик — и так, и эдак переваливается, а самостийно встать не может. Пармен подымет его, чуть подержит за подмышки, а потом отпустит, и поп, как сноп, опять шумно приземляется. А Пармену забава — хохочет. Потом все же подымет слугу господнего, приведет в чувство и вышлет из дому...

Между прочим, Пармен Ворков был совершенно неграмотен, но от природы наделен пронзительным умом и потрясающей памятью.

В платежной ведомости — четыре креста ставил. А когда был недоволен — пять.

Купеческие наушники тут же бежали к Сумкину докладывать о том, что главный механик изволил пять крестов в ведомости поставить.

Любил Пармен «чаи гонять». Придет из бани, шубу долой, полотенце на шею и за ведерный самовар. Но самовар любил «разговорчивый»,— за тихий не садился. Полсамовара через себя пóтом перекачает — и в постель. Ото всех хворостей лечился баней, чаем да травами. До самой смерти к врачам не обращался.

Умирал в полной памяти и сознании. Умирал час в час и день в день как и родился — девяноста лет от роду.

Перед тем как отойти, позвал сыновей и сказал: «Ну вот, сыновья, повеселился я на славу, а больше мне делать тут нечего... Похороните по-христиански, а креста на могилу не ставьте. И попа ко мне не допущайте. Лишнее это... Сумкину-хозяину скажите, чтоб не забижал вас...»

Отец Воркова Степан — солдат старой армии, в войну четырнадцатого года за храбрость и боевые отличия был награжден четырежды Георгиевским крестом и произведен как Георгиевский кавалер полного банта в подпрапорщики. А затем получил еще и офицерский крест и стал штабс-капитаном. В 1915 году, раненый, в бессознательном состоянии, попал к немцам в плен.

Четыре раза бегал из плена. Два раза после поимки стоял под расстрелом. Один раз был подвешен за ноги.

Возвратясь из плена, вступил в Красную Армию, воевал с белыми и антоновскими бандами.

В 1919 году отвоевался Георгиевский кавалер — демобилизовался, и в Каширу, где беженцами жили жена и двое сыновей.

Жена в тифу лежала, а сыновья ходили по селам, кусочки собирали. Огорчился отец — и жену нельзя оставить и с детьми неизвестно что.

Нашлись люди, посоветовали остаться, выходить жену, а за это время, глядишь, и дети вернутся.

Так оно и случилось, как люди добрые посоветовали: вернулись дети, худые, оборванные, а глазенки сияют — матери хлеба насбирали.

От Каширы до Великого Устюга не так уже далеко, а по нынешним временам совсем не расстояние. А тогда, в восемнадцатом, ехали-ехали, уж и насмотрелись ребята на северную Россию!

Великий Устюг стоит на выдающемся месте, при слиянии красавицы Сухоны с Югом. А реки эти знамениты тем, что из их слияния родилась Северная Двина.

А как же красив Великий Устюг!

Но они там не застряли, хотя сыновьям ох как хотелось! Поехали в уезд, где на писчебумажной фабрике Сумкина прадед механиком работал. Отец тоже поступил на эту фабрику.

Вот тут-то началась биография будущего адмирала Сергея Воркова.

После средней школы он поступил в техникум водного транспорта.

Учился с жадностью, словно бы изголодался по знаниям.

На практике — кочегаром (на пароходе) и масленщиком (на землесосе) — работал с азартом. Кончил техникум в 1931 году по первому разряду и с дипломом теплотехника поехал в Большеземельскую тундру — на Печору.

Местечко, куда он приехал, называлось Щелья-юр, и раскинулось оно на берегу Печоры, недалеко от впадения в нее речки Ижмы.

Тут был большой затон. В нем и осел «молодой специалист».

Село небольшое, вскоре многих уже знал, а в местной больнице приметил фельдшерицу Анастасию Козакову. Женился — вдвоем на Севере как-то веселее.

Тридцать семь лет тому назад Дворцов бракосочетания не было. И специальных магазинов для новобрачных не было. Не летали туда и самолеты Туполева и Ильюшина — свадьба была сухая, скромная, на столе ни одной бутылки вина...

Когда я с извинительной бестактностью журналиста спросил Сергея Степановича, нет ли у него фотографии жены, он ощупал карманы, затем заглянул в портфель:

— К сожалению, нет!.. Но чтобы вы имели представление — это настоящая тургеневская Ася!.. Я так и звал ее — Асенькой. Если хотите или, вернее, если вам нужно, можете написать об этом.

Вот я и написал. Правда, это скорее намек на ее портрет.

В следующем году молодоженов перевели в Усть-Цильму, в Управление Печорского пароходства.

Здесь Ворков увлекся опытами — сжиганием щугорских и воркутинских углей в топках речных пароходов. Сейчас и эти опыты, и трудности жизни на Севере не выглядят подвигом, потому что теперь железная дорога вытянулась до самого океана, в столицу края летают современные воздушные корабли, и угля добывается теперь там около двадцати миллионов тонн в год. А тридцать семь лет тому назад?

Тридцать семь лет тому назад уголь тут еще не добывался, и всякая поездка на Север — экспедиция.

Жизнь на Печоре, этой древней реке, тянущейся от Урала через Большеземельскую тундру до самого Баренцева моря, нравилась Ворковым. Да и работа была интересной, и места мало хоженные, сказочные. Господь бог, сотворяя эту часть нашей бескрайней земли, бросил к Полярному Уралу и Тиманскому кряжу полную горсть рек и речушек с хрустально-чистой водой.

Населил реки несметным количеством шустрых рыб с нежнейшим белым и красным мясом.

В леса выпустил тепломехого, пушистого зверя.

А туда, где проходит дуга Полярного круга, пригнал красавца северного оленя и наслал бегающих, летающих и плавающих птиц.

Раздолье какое! Главная река края Печора тянется на тысячу семьсот девяносто километров.

Плавать по здешним рекам безумно интересно: они то льются по равнине, то ныряют в узкие щели обрывистых берегов, то несут свои прозрачные воды через тайгу, то текут широким потоком, то расплетаются на несколько прядей, образуя острова, протоки, которые по-местному называются «шарами».

В 1932 году у Ворковых сын родился. Возникли планы на будущее. Но не прошло и года, все планы были сломаны. Воркова вызвали в военкомат и объявили годжим.

Пришлось «сняться с якоря», завезти жену и годовалого сына в Архангельск, а самому в Ленинград.

С вокзала прямо в Балтийский флотский экипаж. Из экипажа на курсы ускоренной подготовки комсостава Балтики. Время быстро пролетело — звание лейтенанта, специальность штурмана и проездной литер на руки.

Черное море. Синее небо. Серый, окрашенный шаровой краской тральщик «Щит». Молодой офицер поднялся по сходне, отдал честь флагу — и к командиру. Прощай, Север, Печора. Где-то там родители. А ему надо, как птице перелетной, строить новое гнездо.

Упорный, дотошный — ни себя, ни других не жалея и не щадя, постоянно требуя точного, неукоснительного выполнения службы и уставов,— на третий год службы молодой офицер был замечен командованием как человек, на которого вполне можно положиться. Ворков был назначен командиром «Щита». И вскоре вывел корабль

упорством и каким-то поразительным слежением за тем, чтобы на корабле все было в степени высшей готовности и отлаженности, на первое место. Или, как он сам мне говорил еще во время войны, «получил первенство по классу тральщиков» среди всех флотов Военно-Морских Сил СССР.

Послужной список контр-адмирала — не роман. Хотя он и сюжетен...

Между прочим, Ворков охвачен страстью писательства, и многое из того, что я мог бы (и хотел бы) еще сказать о нем, он рассказывает сам в книгах «Флаг на гафеле» и «Ложусь на боевой курс».

Поэтому пора оторваться от чистоводных рек, от хладных широт и вернуться на Юг, к Черной реке, воды которой с беспокойством и легким ропотом спешат к морю.

Время хранит много событий, свидетелем которых была эта ныне крохотная речушка.

В 1854 году из нее пил воду конь генерала Хрулева, на котором генерал так вовремя подоспел на помощь защитникам Малахова кургана в самый жаркий час штурма его французами, а осенью 1855 года здесь спешивались драгуны лорда Кардигана.

В двадцатых годах нашего столетия тут поили своих коней кавалеристы Буденного. Но всего памятней этой речушке 1942 год, когда осажденный Севастополь остался без воды и ее добывали в Черной реке под вражескими пулями и бомбами. Сколько раз возчики возвращались пустыми — осколок пробивал бочку, и вода — в землю!

Воду возили для госпиталей, детских садов, для пекарен и для воинов.

...Теперь у Черной речки нет той суеты — причалы завалены грудами резаного металла. У причала доживает последние часы миноносец «Сообразительный».

Нет, это не волна сантиментов нахлынула на меня, а что-то более сильное и, я сказал бы, более глубокое; сердце болезненно сжалось, когда я глядел на седого адмирала и бывших матросов — ветеранов «Сообразительного». С какой тоской и болью смотрели они на при-

чал, где возвышалась корма миноносца,— это все, что осталось от их боевого корабля, который во время войны был им и домом, и другом, и защитником, и их оружием в борьбе с фашистскими захватчиками.

Глядя на позеленевшие лопасти гребных винтов, на перо руля, я подумал: сколько же они должны были сделать оборотов, эти винты, чтобы лаг отсчитал шестьдесят три тысячи миль, пройденных кораблем в жестоких боях!

Шестьдесят три тысячи миль! В данном случае это 218 боевых походов в замкнутом бассейне Черного моря. Расстояние, пройденное миноносцем, равно трем окружностям земного шара по экватору. Конечно, если б этот путь прошло судно в кругосветном плаванье, то в наше время сей факт не составил бы сенсации: современные подводные лодки запросто проходят вокруг света под водой, а торговые суда, обладающие тридцатимильным ходом, делают это как будничное дело. А суда, которые моряки называют «трампами», то есть свободно (без расписания) плавающими по морским путям с любым фрахтом, бродяжничая по морям и океанам, по многу раз опоясывают нашу многострадальную землю.

Но с «Сообразительным» другое дело. Как я уже писал, миноносец вышел с акватории судостроительного завода за две недели до нападения гитлеровцев на нашу страну (7 июня 1941 года) и до конца войны находился в беспрерывных походах.

Когда я смотрел на останки боевого корабля, корабля-солдата, не раз глядевшего в глаза смерти, у меня еще не было карты его боевых походов в Великую Отечественную войну 1941—1945 годов. Контр-адмирал подарил ее мне потом, в гостинице.

И вот она лежит передо мною, карта Черного моря. Крохотная, чуть больше раскрытой школьной тетради.

Если посмотреть по этой карте на море со стороны Анатолийского берега, от мыса Киноглу, оно окажется очень похожим на ботинок с высоким подъемом. Причем каблук придется на мыс Румели, от которого начинается вход в Босфор, а носок обозначится где-то в районе мыса Цихис-Дзири, на кавказском берегу.

Черное море маленькое, его наибольшая длина равна всего лишь 620 милям. Современное судно может пройти это расстояние менее чем за сутки, а сверхзвуковой самолет — за полчаса.

Карта походов гвардейского эсминца «Сообразительный» исчерчена тушью. Нанесенные на нее тонкие, волосные линии — это как бы следы «шагов» одного из самых счастливых боевых кораблей Черноморского флота с сакраментальным 13 номером на борту.

Карта контр-адмирала Воркова похожа на старинную каллиграмму: в прямых и ломаных линиях, тянущихся от кавказского берега к Одессе и Севастополю, есть какая-то гармония и графическая красота.

Изломы и перекрест тонких линий местами образуют фигуры, похожие на кристаллы.

Кристаллы... Упомянув это слово, я, по-видимому, должен обратить внимание читателя на отвагу моряков «Сообразительного», которая кристаллизовалась в тех квадратах Черного моря, где пролегают эти прочерченные тушью линии.

...О подвигах мы привыкли говорить возвышенно, но те, кто совершает их, думают о них как о точном и неукоснительном выполнении своих обязанностей в любой обстановке. Эта мысль принадлежит Михаилу Ивановичу Калинину. Я полностью разделяю ее. Но когда я смотрю на ветеранов «Сообразительного», на их тронутые сединой головы, на крупные, натруженные руки, которые они (как все люди физического труда) держат ковшиком, на слегка посунутые временем сильные плечи, на крепкие, чуть расставленные ноги, которые они, по условному рефлексу, даже на земле ставят чуть враспор, как на палубе корабля, мое сердце начинает гореть, и хочется крикнуть: «Да ведь это они, их руки, их мужество и воля провели корабль через все испытания войны! Провели без единой жертвы, до конца выполнив свой долг!»

Чем дольше я задумываюсь над одиссеей «Сообразительного», тем сильнее хочется пустить в дело прилагательные. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не написать: «потрясающий», «выдающийся»...

Где-то — сейчас не вспомнить — прочел я о том, что Эрнесту Хемингуэю в самом начале его журналистской карьеры — это было при поступлении в редакцию газеты «Стар» (Канзас-Сити) — предложили прежде всего ознакомиться со 110-ю параграфами, если и не обязательными, то, во всяком случае, желательными для тех, кто хочет работать в «Стар». При этом было сказано: кто будет придерживаться сих правил, из того непременно выйдет толковый репортер. Так, по крайней мере, считал сам ос-

нователь газеты, ее хозяин и автор этого журналистского кодекса — полковник Уильям Нельсон.

Дальше мы увидим, что полковник был не дурак. Я приведу лишь один из ста десяти параграфов. Вот: «Избегай прилагательных, особенно таких пышных, как «потрясающий», «великолепный», «грандиозный», «величественный» и тому подобное».

Если глубоко вдуматься — совет весьма дельный. В самом деле, действие прилагательных, как и действие алкоголя, опьяняюще, но... кратковременно.

К сожалению, мы, литераторы, часто грешим неумеренным и порой неразборчивым потреблением прилагательных, этим словесным фейерверком.

Для описания двухсот восемнадцати боевых походов «Сообразительного» нужно по меньшей мере двести восемнадцать страниц. Я позволю себе рассказать лишь о двух эпизодах. Первый эпизод произошел в критические дни обороны Одессы...

СТАКАН ЧАЯ

В конце августа 1941 года положение под Одессой резко ухудшилось: превосходящие силы противника оттеснили поредевшие полки Приморской армии к стенам города. Двадцать пятого августа дальнобойная артиллерия противника дала первый залп по порту. Это случилось в девятнадцать часов пять минут, и с этого часа вражеские пушки систематически обстреливали вход в порт, причалы и всю территорию. Порт для Одессы — единственное окно в мир. Сюда приходило пополнение, оружие, боеприпасы; здесь у причалов швартовались санитарные транспорты, приходившие за ранеными. В эти же дни Одесса осталась без воды — Беляевка, откуда город получал воду, попала в руки противника.

Стояла жара. Небо, не мытое дождями еще с весны, было безоблачно, высоко и раскалено... В городских скверах и на бульварах никли сомлевшие на горячем южном солнце, слабеющие от безводья цветы. По улицам носился горячий ветер с Леванта. Духота хватала за горло... Пить! Пи-ить!

Комендант гарнизона издал приказ: во всех домах, в каждой квартире перекрыть и опечатать краны и бачки и запретить поливку цветов. Сникли люди. Сникли розы. Понурились дома.

На осажденный город была накинута петля — лассо из девяти вражеских дивизий и трех бригад. Причем одна танковая. Девять дивизий и три бригады против трех дивизий Приморской армии и нескольких отрядов моряков!

С каждым днем накал сражений за Одессу достигал апогея — кровь лилась по обе стороны с почти трагической щедростью. Стремясь во что бы то ни стало взять город любой ценой, противник не прекращал боев даже для уборки трупов — на передовые линии и на город неслось зловоние.

Защитники Одессы обороняли город с такой отвагой, что классическое сравнение «они сражались, как львы» уже не звучало. Сражались, несмотря на то что ряды их катастрофически редели с каждым боем, а обороняемая территория уменьшалась подобно шагреневой коже.

Знаменитый Воронцовский маяк, некогда друг кораблей, приближавшихся к порту, неожиданно стал пеленгом — привязкой для пушек противника, обстреливавших порт. Военный совет приказал взорвать его.

Дан был приказ найти воду городу и гарнизону и построить причалы с другой стороны Одессы — в Аркадии.

Инженерные части, не щадя себя, работая днем и ночью, пробурили около шестидесяти артезианских скважин и построили в Аркадии причалы. Однако воды все равно не хватало: за нею стояли длинные очереди у колонок, в жару, невзирая на бомбежки и свист снарядов... И аркадийские причалы были хлипкие: грузы и раненых приходилось порой перевалывать по нескольку раз — из автомобилей в катера, из катеров на борт судна. Особенно мучались с ранеными — их приходилось «перенянчивать» раза по три. И санитары выкладывались совершенно, и бедняги раненые...

В начале сентября подошедший на близкое расстояние противник повел систематический обстрел не только порта, но и города. Жертвы среди гражданского населения росли с каждым днем. Тяжко было гарнизону — за спиной большой город с тремястами тысячами женщин, стариков и детей. Одни из них не успели эвакуироваться, другие в свое время не решились расстаться с насиженным гнездом и всяким хламом, третьи верили, что город не сдадут, и сознательно избегли эвакуации.

После войны секреты штабов потеряли опасную ценность, и нам стало известно, что в эти тяжкие дни Военный совет Одесского оборонительного района обратился в Ставку Верховного Командования за помощью. В телеграмме указывалось истинное тяжелое положение гарнизона: огромное количество раненых, отсутствие танков, необходимой артиллерии и полная невозможность восполнять потери на месте. В заключение говорилось: «...Имеющимися силами ООР не в состоянии отбросить противника от Одессы. Для решения этой задачи — оттеснить врага и держать город и порт вне артиллерийского обстрела — срочно нужна хорошо вооруженная дивизия...»

Ставка Верховного Командования обещала в течение 6—7 дней оказать эту помощь: Одессе была обещана полноценная кадровая стрелковая дивизия, тяжелый гаубичный полк и дивизион гвардейских минометов.

Штаб Одесского оборонительного района начал готовиться к приему войск — они находились в Новороссийске — и одновременно приступил к разработке операции по разгрому вражеской группировки.

157-я стрелковая дивизия, тяжелый гаубичный артиллерийский полк и дивизион РС благополучно были переброшены из Новороссийска и дислоцированы в заранее предусмотренных местах.

Вместе с прибывшими силами и войсками Приморской армии в операции предусматривалось участие 3-го полка морской пехоты, сформированного в Севастополе из моряков-добровольцев. Полк не перебрасывался в Одессу, его задачей было — высадиться в тылу в районе Григорьевки и заставить врага «отступить» на пулеметы и штыки 157-й и 421-й стрелковых дивизий, которые в то же самое время должны были нанести удар от Одессы...

Для участия в этой смелой и довольно-таки трудной операции Военный совет Черноморского флота выделил отряд кораблей из эскадры в составе крейсеров «Красный Крым» и «Красный Кавказ» и трех миноносцев — «Безупречный», «Бойкий» и «Беспощадный». Им должны были содействовать во время высадки десанта катера, буксиры и две канонерские лодки Одесской военно-морской базы — «Красная Армения» и «Красная Грузия».

Командование отрядом кораблей было возложено на командира бригады крейсеров капитана 1 ранга С. Г. Горшкова (ныне Адмирала Флота Советского Союза, глав-

кома Военно-Морских Сил СССР). Руководство всей морской операцией было поручено командующему эскадрой контр-адмиралу Л. А. Владимирскому.

В канун операции, ранним утром 21 сентября, контр-адмирал Владимирский на миноносце «Фрунзе» вышел в Одессу. С контр-адмиралом на миноносце шел помощник начальника штаба ООР капитан I ранга С. Н. Иванов. При нем были документы о распорядке высадки и поддержке десантной операции и об огневом сопровождении боя кораблями.

Когда «Фрунзе» проходил мимо Тендры, сигнальщики миноносца заметили притопленную, охваченную пламенем канонерскую лодку «Красная Армения». Людей на ней не было — сигнальщики обнаружили их плавающими недалеко от пылающей лодки... По всему было видно, что канлодка стала жертвой авиационного налета.

Контр-адмирал Л. А. Владимирский приказал командиру спустить шлюпки. Приказ был выполнен по-флотски, молниеносно, но не успели шлюпки отвалить от борта, как на горизонте появились немецкие самолеты. Они шли прямо на миноносец рассыпным строем. Перед атакой набрали высоту и затем по очереди сваливались в крутое пике. «Фрунзе» отбивался огнем зенитных орудий и маневрировал резкими циркуляциями. То тут, то там падали бомбы — в воздух вздымались мутные, высокие всплески, стоял такой гул и треск, что порой плохо слышались слова команды. Корабль содрогался от близких разрывов бомб.

А самолеты все кружились и кружились над эсминцем. Вскоре одному из них удалось зайти с кормы, где на юте зенитчики вели настолько дружный огонь, что на стволах пушек краска обгорала,— войдя в крутое пике, он сбросил бомбу. Зенитки и орудийные расчеты погибли. К тому же вышел из строя руль, и в образовавшуюся пробоину пошла вода. Все попытки аварийной команды ликвидировать повреждения не дали нужных результатов. Теперь эсминец мог отбиваться от самолетов лишь пулеметным огнем. Но что значил этот огонь?!

Вскоре вторая бомба попадает в полубак, а следующая за ней в мостик. Гибнут комиссар корабля Д. С. Золкин, заместитель начальника штаба ООР капитан 1 ранга С. Н. Иванов и рулевой. Тяжелое ранение в предплечье и живот получает В. Н. Ерошенко. Осколки ощутимо задевают и контр-адмирала Владимирского.

Эсминец садится на мель.

Теперь это кажется чудом, как, тяжело раненный, Ерошенко удержался на ногах, дожидаясь, пока не перенесли на подошедший буксир «ОП-8» всех раненых, и лишь после этого вместе с контр-адмиралом Владимирским покинул погибающий эсминец.

Бомбардировщики не оставили в покое и буксир, пока не утопили его. К списку уже понесенных жертв прибавились новые. Сильно ослабевшего Ерошенко положили в госпиталь Дунайской военной флотилии, временно развернутый на Тендре, а адмирал Владимирский на торпедном катере отправился в Одессу.

В Одессе, не заботясь о перевязке своих ран, контр-адмирал в первую очередь подробно изложил членам Военного совета Одесского оборонительного района план движения кораблей при подходе к месту высадки десанта под Григорьевкой, порядок высадки и огневой поддержки — то есть все то, что, расписанное до мельчайших подробностей, находилось в портфеле капитана 1 ранга С. Н. Иванова и ушло вместе с ним на дно морское, когда сраженный насмерть Иванов свалился с разбитого бомбой мостика за борт эсминца «Фрунзе».

К счастью, Владимирский запомнил все не хуже, чем это было изложено в документах, которые вез в портфеле капитан 1 ранга Иванов.

Меж тем на Тендре Ерошенко была сделана операция, и он в полузабытьи был отправлен в Севастополь на санитарном самолете У-2 — этот «кузнечик», хорошо замаскированный, стоял рядом с госпиталем. По пути У-2 преследовал «мессершмитт», но летчик, прячась в складках местности, летел на низменной высоте и благополучно добрался до Куликова поля. Скоро в севастопольском морском госпитале Ерошенко встретился с контр-адмиралом Владимирским, который попал на госпитальную койку после того, как вернулся из Одессы.

Несмотря на такое начало, операция не была отменена: двадцать первого сентября, примерно в тот час, когда произошла трагедия с «Фрунзе», под Севастополем, в Казачьей бухте, корабли эскадры приняли на борт 1617 морских пехотинцев 3-го полка и вышли к Одессе.

В два часа ночи на двадцать второе сентября высадка началась. К пяти часам утра все подразделения 3-го полка были на берегу. Крейсеры ушли в Севастополь, для

огневой поддержки десанта остались миноносцы «Безупречный», «Бойкий» и «Беспощадный».

Группировка войск противника, сосредоточившаяся в районе Аджалыкского и Куяльницкого лиманов и намеревавшаяся отсюда нанести по Одессе сокрушительный удар, была разгромлена. Третий полк морской пехоты соединился со 157-й и 421-й дивизиями.

Победа вызвала огромную радость. Но особенным ликованием одесситы встретили появление на улицах батареи дальнобойных трофейных пушек, которые обстреливали город и порт.

Моряки, захватившие эту не раз проклинаемую одесситами батарею, проехали по улицам самым малым. На длинных стволах и на орудийных щитах моряки написали: «Они стреляли по Одессе. Больше не будут».

Однако, как ни сладка была победа, досталась она дорогой ценой: большие потери были и у 3-го полка морской пехоты, и у 157-й и 421-й дивизий, пострадали и корабли: потоплены миноносец, канонерская лодка, буксирное судно и несколько катеров.

Серьезные повреждения получили миноносцы «Безупречный» и «Беспощадный». «Безупречный» от близкого разрыва бомб получил много пробоин, набрал воды в котельные отделения, потерял ход и был отбуксирован в одесскую гавань миноносцем «Беспощадный». «Беспощадный», возвратясь на огневую позицию, был атакован бомбардировщиками. Они сбросили на него 84 бомбы, одна из них разрушила полубак до сорок четвертого шпангоута.

Чтобы долго не объяснять читателю, что это за штуковины — полубак и шпангоуты, скажу просто: миноносцу взрывом бомбы оторвало нос (полубак) в районе сорок четвертого ребра (шпангоута), причем оторвало не целиком, а как бы отвалило его, и он повис.

До Одессы было недалеко; чтобы не оставаться мишенью для фашистских бомбардировщиков, капитан-лейтенант Негода, командир «Беспощадного», не стал ждать буксира. Задним ходом, с опущенным в воду изуродованным носом, пошел в одесскую гавань. В полдень «Беспощадный» буксировал в Одессу «Безупречного», а теперь ему самому сочувственно махали руками.

На порт и город наползали сумерки.

В районе Хаджибеевского лимана и Куяльников неумолкаемая канонада; разной мощности артиллерия оза-

ряла вспышками измученное трехмесячной войной небо. Музыка войны, которая кажется однообразной, на этот раз была и тревожна, и чем-то радостна. Она не умолкала уже почти сутки.

Совсем недавно и «Беспощадный» был в составе этого «оркестра», а теперь вот, как только стемнеет, потащит его спасательное судно, как санитар раненого с поля боя.

Ночь на юге шагает быстрее, чем на севере: только что над портом и городом висели золотистые сумерки, и вот не прошло и получаса, как из золотистых они стали сиреневыми, а затем помутнели, и сразу же на город свалилась степная, черная темень. Черной и словно бы густой, как смола, стала вода. С глуховатым, распыленным светом синих лампочек у нока-рей к «Беспощадному» подошел спасатель «СП-14». В отсвете пожаров и дальних вспышек артиллерии на эсминец был подан стальной трос, закреплен на корме, и началась буксировка.

В тот же день миноносец «Сообразительный» шел в конвое, сопровождая транспорт к Тендре. На море легли уже густые сумерки, когда караван вышел на траверз мыса Тарханкут. Позади остались минные поля, поставленные широкой и густой стеной перед Главной базой флота — Севастополем и в Каламитском заливе, в тех квадратах, где в 1854 году свободно крейсировал перед высадкой десанта флот англо-французов и откуда бывший актер Сент-Арно, облаченный в маршальский мундир французской армии, брезгливо разглядывал отлогие песчаные берега Евпатории.

До Тендры оставалось немного, минных полей не было, и командир «Сообразительного» Сергей Степанович Ворков решил глотнуть крепкого чая, ночь предстояла неспокойная.

Обычно он не уходил в каюту, а пил чай тут же на мостике, в штурманской. Но на этот раз захотелось хоть пяток минут посидеть в мягком кресле в каюте и, вытянув набухшие усталостью ноги, потягивать из стакана черный как деготь, сладкий как мед флотский чаек.

Придя в каюту и усевшись в кресло, он охватил голову руками и в ожидании прихода вестового задумался над тем, как проходит операция в районе Григорьевки, где действовали миноносцы из дивизиона «Буки». Он уже знал о гибели «Фрунзе», встретился в море с возвращав-



шимися крейсерами, но о ходе самой операции под Одессой не имел никакого понятия.

Задумавшись, он не сразу ответил на легкий стук и на «...шите войти?», а когда ответил, то отнял руки от лица и потер их в предвкушении того наслаждения, которое он всегда испытывал от хорошо заваренного чая, почти гранатового цвета. А если еще и кружочек лимона в нем... или варенье...

На его разрешение в дверях показался не вестовой, а посыльный. Он подал старшему лейтенанту (тогда наш контр-адмирал был еще в этом звании) телеграмму.

Ворков отпустил посыльного, прочел телеграмму, с некоторым сожалением посмотрел на стакан чая с кружочком лимона, глотнул слюну, сказал вестовому: «Потом!» — и вышел на мостик.

Поднимаясь по темному трапу, Ворков подумал, что ж там могло произойти, если ему приказано передать конвойные обязанности тральщику, а самому немедленно идти к Тендре и искать встречи с миноносцем «Беспощадный», которого буксирует в Севастополь «СП-14» за корму.

Ворков хорошо знал командира «Беспощадного» Григория Пудовича Негоду и поэтому легко представил себе сейчас его, пытаясь понять, где должен стоять командир корабля, когда его тащат на буксире, да не в естественном положении, то есть носом вперед, а кормой... Да еще, наверное, корма в таком положении чуть вздернута вверх, оголено перо руля и огромные, как слоновьи уши, лопасти гребных винтов... А нос, наверное, плотно сидит в воде...

Пришлось подойти к борту транспорта, а затем к тральщику и сообщить, что оставляет их.

Застопорив ход, «Сообразительный» пропустил транспорт, который пошел к Тендре в охранении тральщика. Затем развил ход до полного и сделал циркуляцию в районе, где должен пройти спасатель с «Беспощадным» на буксире,— море было чисто. Ворков принял решение уйти в бухту Ак-Мечети и до рассвета отстояться на рейде.

Ночь на рейде, особенно для вахты сигнальщиков, неспокойна — смотри в три глаза за морем да и за воздухом — вражеские разведчики, как волки, рыщут, бросают яркие до слепоты осветительные люстры. Иголку видно, когда висят эти люстры.

Ворков дремал в штурманской, когда принесли телеграмму от командира Одесского оборонительного района контр-адмирала Гавриила Жукова: «Ночью на буксире «СП-14» эсминец «Беспощадный» вышел в район южнее Тендровской косы для встречи с вами».

Рассвет... Собственно, не тот рассвет, когда все живое начинает потягиваться, а ранний призрак рассвета, когда небо чуть-чуть облимонивается на востоке, когда линяют крыла ночи, когда сначала все серо кругом и румяна ут-

реннего неба еще не горят,— в этот час Ворков выпил наконец стакан темно-золотого чая, предварительно позвонив ложечкой, растворяя рафинад, и приказал: «По местам стоять, с якоря сниматься!»

Глядя на свинцовые, хмурые воды, на поседевшие загривки, Ворков думал о том, какой же окаянной будет буксировка. Приказал запросить координаты «Беспощадного». Ответа не поступило. Запрос в штаб, в Севастополь — тоже безответно.

Волна бьет в скулы, корпус гудит. Вот и южная оконечность Тендры, никакого признака «Беспощадного».

Лишь через три часа сигнальщики докладывают о том, что видят у Тендры дым. Дым ползет понизу вдоль берега, словно пастуший костер в ненастье.

Курс на дым.

Как и предполагал Ворков, нос у «Беспощадного» словно бы рубили колуном; рубили, да недорубили, а наломали да накрошили страсть сколько. К тому же он сильно опущен в воду.

Десятки глаз с «Сообразительного» осматривают собрата, как покойника.

На запрос Воркова капитан-лейтенант Негода мрачно отвечает: «Отрываются бортовые листы. Вода заплескивает в котельные отделения. Пока немного. Быстро буксировать судно нельзя».

Полчаса занимает заводка и закрепление четырехдюймового стального троса на «СП-14», и наконец можно трогать. Такой способ буксировки — через посредника — оба командира сочли лучшим на случай налета вражеской авиации, можно быстренько отдать буксир и отбивать атаки.

Буксировка проходит тяжело, усиливается ветер нордовой четверти и доходит вскоре до пяти баллов по шкале Бофорта.

Дует он порывами, с легким повизгиванием в снастях рангоута. Появляются самолеты. «Сообразительный» открывает огонь. Самолеты уходят. Ветер набирает силу. Падает скорость буксировки из-за большой волны, до трех узлов.

Хотя и верно «тихо едешь, дальше будешь». Но когда?

Надо принять решение, идти ли напрямик к Тарханкуту, оттуда через Каламитский залив к Севастополю,

или же спуститься вдоль Тендровской косы, а затем от Тендры к западному берегу Крымского полуострова и, двигаясь в виду берега, спуститься к Ак-Мечети.

Первый вариант лучше уже тем, что он короче. Второй — безопаснее: под берегом воздушные разбойники могут и не заметить караван. Тем более что под берегом редко ходят суда, а прямая от Тендры на Тарханкут — это ось коммуникации Севастополь — Одесса. Здесь-то главным образом и разбойничают фашистские асы.

Командир «Сообразительного» решает все же идти на Тарханкут. Риск? Да. Но какая же война без риска!

Идти на миноносце трехузловым ходом, когда можно мчаться со скоростью курьерского поезда,— это казнительно. Казнительно, даже если ты хорошо понимаешь, что иначе нельзя, что тебе поручено важное дело — довести сильно поврежденный корабль до базы, где его поставят в док и искусные мастера корабельного дела вернут в строй.

На грех, еще ветер стал разыгрываться, с «Беспощадного» доносят, что вода сильно захлестывает носовое котельное отделение.

Вода и ветер.

Ветер и вода утяжеляют миноносец, буксирный трос гудит.

Ворков с тревогой поглядывает в бинокль на предельно натянувшийся трос. Его опасения оправдываются: четырехдюймовый стальной трос лопается, стопорится ход, начинается заводка на «СП-14» нового, десятидюймового манильского троса, и в это время над караваном появляются самолеты противника. К счастью, в этот чрезвычайно неблагоприятный момент, когда корабли беспомощно «пляшут» на волне, наши под Одессой доколачивают румынские дивизии, и самолеты проходят над кораблями, не сбросив бомб.

Не успели краснофлотцы завести сильно намокший толстый трос из абаки, как приходит новая телеграмма, в которой содержится приказание начальника штаба флота контр-адмирала Елисеева об оказании помощи летчикам нашего бомбардировщика, потерпевшего аварию в квадрате Н.

Ворков подзывает один из катеров конвоя и приказывает ему отправиться в квадрат Н. полным ходом, разыскать летчиков, выбросившихся с потерпевшего самолета на парашютах, и оказать им всемерную помощь.

Катер уходит. Не успевает он скрыться за горизонтом, как снова рвется буксирный канат — ветер уже шесть баллов,— в море — четыре.

Снова рвется буксирный канат. Ворков приказывает «СП-14» отдать свой буксирный канат, встать в хвост (в кильватер) «Беспощадному» и заводит свой буксирный трос прямо на миноносец.

Буксировка тяжелого поврежденного судна, да еще «задом наперед», да еще в свежую погоду,— дело нудное. Не менее нудно повествовать об этом. Немного утешает старая английская поговорка: «Если ты не можешь делать то, что нравится, то пусть тебе нравится то, что ты делаешь!» Как бы ни было грозно море, моряку жизнь не в жизнь без него. Как бы ни стонал писатель под тяжестью слов — без них его жизнь тоже не в жизнь! Будем продолжать.

Катер вернулся ни с чем — не нашел летчиков. Ворков поблагодарил командира катера за службу и приказал занять место в конвое. Запросил «Беспощадный», как у них дела. Негода долго не отвечал. Ворков уже хотел снова сделать запрос, когда с «Беспощадного» пришел семафор: «Деформирует переборку носового котельного отделения. Вода стала поступать больше».

Вода!

Со времен Гомера лучшие перья описывали ее вид, свойства, характер. Что же теперь нужно сделать, чтобы это волшебное явление природы не обрело дурной силы, не обернулось бы врагом?

То, что вода способна на это, известно с древних времен. Борьба со злой водой была расписана для моряков еще в петровском «Уставе морском».

Ворков сбежал с мостика, прошел по мокрой палубе на корму и долго смотрел на изуродованный миноносец. Нос «Беспощадного» висел угрожающей рванью и чем-то напоминал лоскут кожи на краю большой раны. Как же бывает болезнен даже крохотный лоскуток!.. И как же легко становится, если его... срезать! Да — срезать!.. Или, на худой конец, просто оборвать!

...Срезать или оборвать... Полубак надо обрубить — это единственный выход. А если обрубить невозможно, то подорвать.

Эта мысль захватила Воркова, и он поспешил на мостик и немедленно передал семафор Негоде.

Негода — командир обстоятельный, но не скорый на

ответ — долго думает. Медленно течет время. «Сообразительный» вздрагивает, волна по-боксерски бьет в борта корабля. Буксир натягивается и едва слышно поет. Обычная жалостливая песня пенькового троса, перед тем как оборваться. «Беспощадный» то всплывает, то проваливается в бездну. Ворков, которого на флоте считают человеком без нервов, волнуется; желваки похаживают на худом, суровом лице. Какого черта Негода молчит!

Негода осторожен. «Надо подождать»,— пишет его сигнальщик.

А чего ждать-то! Вода быстро дырку найдет, если ждать. Смотри, Негода, она пробьется к турбинам, тогда забегаешь!

Все это Ворков охотно бы сказал Негоде, но сейчас время действий, а не разговоров.

С «Беспощадного» семафор. Негода согласен. Ворков поручает одному из катеров подойти к «Беспощадному» и подорвать полубак. Но когда катер подошел к борту «Беспощадного», Негода не разрешил подрывать. Почему? Что, он испугался, как бы взрыв не наделал трещин в швах?

Ворков остановил машину. Волна раскачала корабли, заплескивала на палубу. К месту, где висел полубак, вышел человек и начал рубить листы бортовые. Работа адовая. Вскоре старшина становится весь мокрый — забортная вода все время окатывает его. Дело двигается медленно. Ворков нервничает: эдак можно рубить до рождества Христова, думает он. Но вмешиваться не хочет; хозяин «Беспощадного» — Негода, пусть сам решает, как лучше. Однако время тянется удивительно медленно. Если долго возиться, то вода может просочиться в другие отсеки, корабль может потерять плавучесть... Тогда — гибель...

Стороной пролетают самолеты. Стоящие корабли — отличная мишень. К счастью, самолеты пролетают мимо.

Проходит час, второй, третий, начинает стихать ветер, падает волна.

Наконец полубак отрублен. Ворков заносит в вахтенный журнал координаты. Ручка телеграфа на самый малый, пока не натянется буксирный канат. Он медленно, послушно и, кажется, неохотно, как проснувшийся от спячки удав, выполз из воды, натянулся — пошли.

Когда появилась в печати моя повесть с описанием этого поразительного, или, как говорят современные ученые, не имеющего аналогов, случая — к автору посыпались письма: «Как вы могли написать такое?! Да такого случая, чтобы топором рубили сталь, а в данном случае не просто сталь — а листы стальной обшивки корпуса военного корабля, быть не могло!»

Что ж, читатель прав: до сих пор на кораблях встречались случаи, когда во время ураганов топорами рубили деревянные мачты, но сталь — такого, действительно, не было!

Но вот кончилась война, и начала появляться литература о ней — причем авторами книг стали участники боев, очевидцы разных небывалых случаев: в одной из книг, например, рассказывалось о том, как у летчика, выбросившегося из подбитого самолета, не раскрылся парашют,— к счастью, местом его приземления оказался глубокий овраг, полный снега, и летчик вошел в него, как нож в сливочное масло — мягко и без всякой встряски. Широко известен случай, когда одному из советских солдат под мышку вошла мина и не взорвалась,— хирург извлекал ее в присутствии минера, унесшего после операции непрошеную «гостью» подальше от госпиталя.

Но вернемся к случаю на эсминце «Беспощадный» — вот как описывает его командир корабля, в те годы капитан-лейтенант, а впоследствии контр-адмирал Григорий Пудович Негода. Приведу небольшой отрывок из главы, названной Негодой так:

КОГДА ТОПОРОМ РУБЯТ СТАЛЬ

...Прошли минное поле. Вползаем в Каркинитский залив. Здесь на просторе и вовсе разыгрался ветер. Теперь он достигает шести баллов. Оторванный полубак с громом болтается из стороны в сторону. Кабистов спустился на палубу, перегнулся через леер. Временами он весь скрывается в брызгах. Его доклады с каждой минутой тревожнее. Оторванный, висящий на листах обшивки полубак, раскачиваясь, все дальше разрывает борт. Раньше повреждения доходили до пятнадцатого шпангоута. Теперь они распространились уже дальше пятидесятого. Еще немного — и вода хлынет в первое котельное отделение. Уже сейчас матросы выбиваются из сил, борясь с течью во всех носовых помещениях. А прорвет переборки котельных отделений — конец. Тогда уж не удер-

жать корабль на плаву. Погибнет наш «Беспощадный».

Надо принимать решение. Это решение должен принимать я, командир. Больше некому. Правильно решу — спасу корабль. Ошибусь — погублю все. Но что же решать? В такие минуты убеждаешься, какая страшная ответственность вмещается в короткое привычное слово — «командир».

Вместе с Козинцом осматриваем помещения корабля. Инженер-механик мрачен и подавлен. Хуже всего сознавать свое бессилие. На виду у матросов он еще держит себя в руках. Бодрым голосом отдает распоряжения, покрикивает на замешкавшихся или упавших духом. Но когда остаемся одни, Козинец не скрывает отчаяния. Я понимаю его. Этот человек влюблен в корабль, и никто больше его не сделал в эти дни, чтобы спасти эсминец. Тем горше ему сознавать, что все его усилия напрасны.

Сообщаю радиограммой о положении корабля командующему флотом. Понимаю, что помочь он ничем не сможет: слишком далеко мы от Севастополя.

Козинец стоит рядом со мной и рассуждает вслух:

— Сейчас бы к берегу приткнуться, на песочек. Ну, немного потрепало бы волной, и только... Но некуда нам приткнуться. Здесь, у Скадовска, немцы. А до Крыма не дотянем. Нет, не дотянем. Потонет наш «Беспощадный»...

— Рано ты его в поминанье записываешь, Яков Степанович,— обрываю я причитания механика.— Сам вижу, что трудно. Но погибнуть и дурак сумеет. А мы права на это не имеем. Слышишь, права не имеем погибать и корабль губить! Бороться надо. И думать. Пока время есть.

— У меня и так голова скоро лопнет от дум, да ничего не придумаю.

— А ведь на тебя вся надежда. Ты же механик, инженер. Созови-ка своих офицеров. Сообща умом пораскинем.

Офицеры пятой боевой части собрались на мостике.

— Ну вот, товарищи,— обращаюсь к ним,— настала критическая минута, когда мы должны сказать: в силах мы довести «Беспощадный» до Севастополя или, как крысы, побежим с него на буксир? Повреждения для нас ясны. Прошу конкретно предлагать, что нам делать.

Предложений много. Но при детальном рассмотрении они отвергаются одно за другим. А внизу, на палубе, тоже идет совещание. Матросы, не вошедшие в аварий-

ные команды, собрались, о чем-то спорят. Среди них выделяется рослый старшина 2 статьи Сихнешвили. Он все время поглядывает на мостик, словно безмолвно спрашивает: «Разрешите доложить?»

— Вы хотите что-нибудь сказать, Владимир Георгиевич?

— Так точно!

— Идите сюда,— приглашаю его на мостик.

Старшина излагает свою мысль:

— Товарищ командир, если на пути трещины сделать зарубку, она изменит свое направление. Сейчас у нас обшивка рвется по заклепкам, горизонтально. А вот сделаем вертикальную насечку, трещина пойдет вниз.

— Но насечка должна быть солидная. А чем мы ее сделаем?

— Топором. Кто-нибудь спустится на беседке и станет рубить топором.

— Мысль хорошая,— сказал я,— но пойдите додумайте ее. Опасно человека опускать за борт в такую волну.

Сихнешвили ушел. Механики наши не придали значения его предложению. Фантазия! Где это видано, чтобы стальную громаду топором рубить? Такое и Жюлю Верну не снилось. К мнению механиков присоединился и командир старшины Сихнешвили корабельный артиллерист Ярмак.

— В такую погоду спускаться на беседке и рубить борт топором — нелепость,— сказал он.— Просто будем гробить людей. Они будут падать в воду, что груши с ветки.

Неожиданно предложение Сихнешвили поддержал Кабистов.

— Правильная идея,— заявил он.— Тем более правильная, что другого выхода у нас нет.

— Обязательно нужно прислушаться к мнению матросов,— вставил свое веское слово и комиссар Бут.— Ведь если разобраться, это мысль не только Сихнешвили. Так думает вся команда. Сихнешвили только черту подвел под эти рассуждения. Он же перед тем, как сюда прийти, почти со всеми матросами поговорил. Настоящий агитатор. Не только говорить с моряками, но и слушать умеет. Головастый парень!

— Пойду к матросам, потолкую,—сказал Кабистов.— Надо и топором попробовать. Поручите мне заняться.

— Приступайте,— сказал я.— Отрубить бак нам нужно во что бы то ни стало. Только в этом спасение. Подберите самых ловких матросов, пусть по очереди спускаются на беседке.

Когда Сихнешвили сообщил матросам своего отделения, что их предложение одобрено командиром, они готовы были «ура» кричать. И, конечно, комендоры никому не захотели уступать чести осуществить эту смелую идею. Под руководством Кабистова они сами снарядили беседку — канат с перекладиной, на которую может усесться человек. Первым спустился на этом шатком сооружении старшина Сихнешвили. На длинном шкерте — тонкой веревке — к его поясу привязан топор, чтобы не утонул, если вырвется из рук.

С высоты палубы мы наблюдаем за смельчаком. Страшно смотреть. Корабль раскачивается, волны налетают на старшину, того и гляди, бросят его на стальную стену борта. Старшина ногами и одной рукой старается смягчить удар, а в правой сжимает топор. Выбрав момент, с размаху бьет стальной лист. Звука удара не слышно за грохотом и лязгом трущихся друг о друга рваных краев обшивки. Снова налетает волна, и старшина с ловкостью акробата увертывается от удара о борт. И опять бьет топором. Несмотря на все старания, у него ничего не получается: никак не удается попасть топором в нужное место. Измучился, набил шишек на голове, ободрал колени, но ничего не сделал. Мокрого, в синяках и ссадинах, его подняли на палубу. Наготове уже другой доброволец — матрос Никифоров. Извлекаем урок из неудачи. Приказываю буксиру немного развернуть корабль, чтобы волна не так сильно била в скулу эсминца. Никифорову удается нанести несколько метких ударов. Раздается легкий треск.

— Пошла! — кричат матросы.

Трещина, тянувшаяся параллельно палубе, под крутым углом свернула вниз.

Полубак начал отрываться. Вертикальная трещина доползла до ватерлинии.

Никифоров все болтался над волнами, наблюдая, как ведет себя полубак. Волны расшатывали изувеченный нос корабля. Трещина расширялась.

Произошло чудо. Топор, обыкновенный топор, которым рубят только дерево, рассек сталь борта и заменил нам автогенный аппарат.

На время полубак перестал опускаться. Что дальше будет? Сейчас его удерживает киль — толстый стальной брус, самая нижняя деталь конструкции корабля. Вдруг киль не поломается под тяжестью отрывающейся глыбы? Тогда он начнет отрываться от стальной части корпуса, вспарывая по всей своей длине днище эсминца. Это худшее, чего можно ожидать. Мало того, что в гигантскую рану хлынет вода. Дело в другом. Киль можно назвать становым хребтом корабля, к нему крепятся шпангоуты — ребра корабельного корпуса. Оторвется этот хребет — и рассыплется весь стальной скелет «Беспощадного». Тогда уж гибель корабля будет неотвратимой.

Моряки молчат, вслушиваясь в удары волн и в равномерный скрежет трущихся друг о друга глыб металла. Но вот мы чувствуем рывок, вслед за ним слышится звук, очень похожий на треск разрываемой материи, только усиленный во много раз. Палуба подпрыгивает под ногами. Я смотрю на нос корабля. Шатающегося куска полубака больше не видно. Море в том месте, где он упал, клокочет от пузырей воздуха.

— Штурман,— приказываю я Бормотину,— отметьте на карте эту точку. Настанет время — и мы еще поднимем с морского дна полубак «Беспощадного»...

После того как отрубленный нос упал в морскую пучину, буксировка раненого корабля пошла быстрее. Однако до Севастополя, как говорили моряки, надо было еще «чапать и чапать».

Ворков решил прижаться к берегу, с тем чтобы под самым берегом обогнуть мыс Тарханкут, и затем — Каламитским заливом, мимо Евпатории, на мыс Лукулл, а там уж рукой подать до Севастополя.

Тарханкут его беспокоил не зря — здесь ночной порой фашистские самолеты-торпедоносцы обычно подстерегают наши корабли. Они сидят на воде, как пауки-водомерки, и высматривают свою жертву. Сигнальщики должны смотреть в оба.

Ворков ставит на ночную вахту лучшего сигнальщика «Сообразительного» краснофлотца Сингаевского. Это — снайпер сигнальной службы, так его зовут на корабле, он, как шутливо говорит Ворков, и муху не пропустит!

Ложатся сумерки. За ними движется темная южная ночь. Ворков не покидает мостика. Надо увеличить скорость буксировки. Негода дает ход своим машинам, прибавляет обороты и Ворков. Караван идет восьмиузловым ходом. Тарханкут пройден. Рассвет караван встречает у Евпатории. Море спокойно, можно еще увеличить ход. Приказ в машинное отделение увеличить обороты до ста пятидесяти. Приказание выполнено. Миноносец идет теперь двенадцатиузловым ходом. На сердце делается легче, а когда открылись Инкерманские створные маяки на Мекензиевых Горах, не было на «Сообразительном» человека, кто бы глубоко не перевел дух,— корабль подходил к родному дому. Все тут радовало: и беленькие домики Корабелки, тонущие в изумрудной зелени садов, и высокий Владимирский собор, и Сеченовский околоненный белым инкерманским камнем институт. Всякий раз, когда моряк возвращается в базу, Севастополь кажется все более и более родным. Чудо-город!

За такой город и умереть не жалко!

События второго эпизода разыгрались в последние дни обороны Севастополя.

ПО КАНАТУ ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ

Июнь 1942 года. Двенадцатый месяц войны.

К Гераклейскому полуострову, на холмах которого раскинулся один из самых знаменитых городов нашей страны, приковано внимание всего мира.

Севастополь...

Этот город «разбил, как бутылку о камень», символ веры германского генштаба — теории о быстрых войнах, о самодовлеющем значении танков и самолетов... Отрезанный от Большой земли, обремененный гражданским населением и большим количеством раненых, лишенный воды, почти разрушенный ураганными артиллерийскими обстрелами и бомбардировками, испытывая мучительный голод в самом главном — снарядах, патронах, минах, Севастополь держался уже свыше двухсот дней.

Каждый новый день обороны города приближал его к победе, и в марте 1942 года эта победа почти уже лежала на ладони, она уже слышалась, как запах весны в апреле.

На Керченском полуострове стояла созданная Ставкой Верховного Командования отлично вооруженная группа войск: три армии, на которые возлагались большие надежды — освободить Севастополь от осады и изгнать гитлеровцев из Крыма.

К сожалению, надежды Ставки и измученного непрерывными боями гарнизона осажденного Севастополя не оправдались — неожиданным ударом три армии Крымского фронта были смяты и разбиты. 11-я немецкая армия под командованием генерала Манштейна завладела богатыми военными трофеями и пленными.

Я не буду сейчас объяснять, как и почему это случилось, но, к сожалению, случилось.

Хмельной после этой победы, осыпанный наградами, генерал Манштейн вернулся под Севастополь с войском, вдвое превосходившим гарнизон осажденного города, и огромными запасами снарядов, мин, авиационных бомб и различной техники.

Через несколько дней начался третий штурм.

Прежде чем двинуть пехоту, Манштейн, в нетерпеливом ожидании высокого звания фельдмаршала, не жалеючи сбросил на Севастополь и боевые порядки сорок шесть тысяч крупнокалиберных бомб и сто двадцать шесть тысяч тяжелых снарядов.

В эти дни город буквально тонул в черном дыму и серой пыли; погибло много людей, сгорело столько зданий, что и не счесть; пошли на дно корабли, пришедшие за ранеными и доставившие снаряды, оружие, продовольствие и медикаменты.

Раненых было столько, что современные Пироговы порой сутками стояли у операционных столов, и их халаты не просыхали от крови.

Генерал Манштейн, пользуясь подавляющим превосходством, как я уже сказал,— двойным в живой силе и четверным в артиллерии, двенадцатикратным в танках и восемнадцатикратным в авиации,— решил стереть с лица земли непокорный город: в места прорывов единовременно он бросал от шестидесяти до ста танков. Но в первые дни третьего (генерального) штурма Манштейну не удалось прорвать оборону, хотя после ошеломляющей бомбардировки и артиллерийского обстрела он донес Гитлеру: «Сухопутные войска выступили с такой артиллерией, которая по своему количеству и силе впервые применялась в германской армии».

И то сказать, какая война знала, чтобы на один квадратный метр в местах, предназначенных для прорыва обороны, сбрасывалось полторы тонны металла. Да не холодного металла, а возмущенного чудовищной силой взрыва!

Могло ли остаться что-нибудь живое в этих местах? Конечно нет! В этом специалисты, знатоки губительной силы снаряда и авиационной бомбы, были совершенно уверены.

Но вот стихал хаотический грохот, переставала земля дрожать, опадала пыль, и на том месте, где, по расчетам стратегов, ничего не оставалось живого, навстречу танкам вставали русские солдаты и матросы...

Обсыпанные белой пылью, черные от ветров и ярости, они возникали из земли, словно войско Язона из высеянных им зубов дракона. Они умирали без стона, но не сдавали без боя ни одного сантиметра своей земли.

В эти дни Севастополь, как никогда, нуждался в пополнениях — свежем оружии, боеприпасах, медикаментах, продовольствии и в средствах для вывозки раненых и гражданского населения. Телеграммы с этими словами шли в Ставку и на кавказский берег Черного моря, куда ушла эскадра, где обосновались «тылы» флота со всем, что неистово потребляет война. А война чревоугодна, как рысь, и жрет все: железо, кровь и воду. А современная война потребовала в пищу еще и бензин. И жрала его в астрономическом исчислении!

Все это нужно было регулярно доставлять осажденному стотысячному гарнизону морем, и даже не морем, а узким фарватером, то есть узкой, свободной от мин, но блокированной противником дорожкой, и проникать в гавань под артиллерийским обстрелом, под бомбами.

С каждым днем, с каждым часом прорываться в Севастополь в июне 1942 года становилось все труднее и труднее. Первой жертвой морской блокады Севастополя стала «Абхазия» — большой пассажирский транспорт, перевозивший раненых на кавказский берег. На бортах лайнера, на солярии были вывешены и выложены огромные белые полотна с красными крестами. Они были видны издали. Но фашисты презирали даже самые ничтожные рыцарские правила в войне.

История сохранила нам такой факт: когда защитники башни Малахова кургана выходили, выкуренные огнем и дымом костров,— это было в 1855 году,— то французские офицеры отдали им, как истым героям, честь.

Гитлеровцы не только начисто были лишены рыцарской чести, но даже не обладали снисходительностью к тем несчастным, кто, израненный, без сознания, попадал к ним в плен! Они же намеренно потопили санитарное судно «Абхазия», когда оно принимало раненых из подземного госпиталя в Инкермане.

На пути к осажденному Севастополю погиб и миноносец «Безупречный».

В его же бухтах нашли свою могилу крейсер «Червонная Украина» и миноносец «Совершенный».

Удача сопутствовала дольше всех лидеру эсминцев «Ташкенту». Каждый день он покидал кавказский берег и в темени ночи проскакивал самые опасные места и на полном ходу влетал в гавань и становился у причала. В мифически короткое время разгружался, принимал раненых, эвакуирующихся жителей и грузы и затемно уходил.

Двадцать шестого июня 1942 года «Ташкент» отправился в семнадцатый рейс. Походы лидера в горящий Севастополь, где не было и метра земли, который бы не обстреливался, стали уже эпосом: и в Севастополе, и на Кавказе, как только заходила речь о положении в осажденной черноморской крепости, разговор невольно сводился к «Ташкенту» и его командиру Василию Николаевичу Ерошенко.

Их имена произносились с восторгом. В них — в корабль и его командира — верили почти как в бога. Каждому бойцу из стотысячного гарнизона и каждому горожанину было известно о Ерошенко и «Ташкенте» все.

Что ж, эта слава добывалась отвагой. «Ташкент» и его экипаж действительно творили чудеса в те дни.

Я не хочу отпускать от себя надежду написать о них подробнее. В те дни вместе с корреспондентами Всесоюзного радио Вадимом Синявским и Юрием Арди я совершил на «Ташкенте» переход с кавказского берега Черного моря в объятый пожаром Севастополь. А сейчас пора перейти к рассказу о том, какую великую помощь оказал «Ташкенту», возвращавшемуся двадцать седьмого июня 1942 года из Севастополя, экипаж эсминца «Сообразительный».

Двадцать шестого июня 1942 года, когда «Ташкент» готовился к семнадцатому рейсу в Севастополь, миноносец «Сообразительный» стоял в Поти под бортом у линкора «Парижская Коммуна»[1] и принимал на палубу 12-дюймовые снаряды для Севастополя. Полутонные снаряды пытались разместить в нижних помещениях — они не помещались. Пришлось класть на палубе — поперек— на правом и левом шкафутах.

Погрузка шла весь день. К вечеру было принято семьдесят тонн. В сумерки вышли в Новороссийск и 27 июня ранним утром вошли в порт. «Ташкента» здесь не было, накануне в начале дня он ушел в Севастополь и еще не возвратился, но его уже ждали. И не просто, а с тревогой — обычно лидер в это время уже стоял у причала.

С грузом снарядов «Сообразительный» встал к причалу, и не успела команда завести швартовы, как на корабль побежал семафор: «Немедленно приготовиться к походу, о готовности доложите. Оперативный дежурный штаба флота».

Ответ командира «Сообразительного» «После приемки топлива буду готов к походу к восьми часам утра» как будто удовлетворил оперативного дежурного — из штаба не последовало никаких дополнительных указаний, но самого Воркова это не удовлетворило, он понимал, что случилось что-то необычайное, и безусловно серьезное, если его, нагруженного тяжелыми двенадцатидюймовыми снарядами, попросили немедленно быть готовым к походу. А как же это немедленно, когда придется несколько часов простоять под приемкой топлива?.. К походу куда? Зачем? В Севастополь он должен выйти лишь в сумерках — днем туда никто, даже подводные лодки, не ходит, путь в осажденный город блокирован в нескольких местах. А впрочем, что ему терзаться загадками? Придет время, скажут, куда идти и зачем; начальство знает, что делает, «оно газеты читает, не спит, а отдыхает»... Воркова приказывает ускорить приемку топлива.

В 6 часов 40 минут прибыл посыльный, и стало ясно, куда и зачем готовят «Сообразительный»,— лидер «Ташкент» на пути из Севастополя подвергся нападению авиа-

---

[1] Линкор «Парижская Коммуна» до Октябрьской революции назывался «Севастополем». Во время войны 1941—1945 гг. ему было возвращено прежнее название.

ции противника. Имеет серьезные повреждения и требует помощи. Пока идет своим ходом.

Ворков тотчас же прекратил приемку топлива, снялся со швартов и вышел в море.

Было семь часов утра. В море тишина, а на судне ревут турбовентиляторы в котельных отделениях да чуть-чуть посвистывает ходовой ветерок в антеннах. Два часа полного хода, а никакого «Ташкента» не видно, хотя к встрече все приготовлено: кубрики и водоотливные системы; в кубриках, возможно, придется размещать раненых, а водоотливным механизмам качать воду из помещений «Ташкента».

Ворков по натуре человек собранный и с виду всегда казался железным. Но сегодня и сам себя не узнает — волнуется, нетерпеливо шагает по крохотному ходовому мостику и то на сигнальщиков посматривает, то бинокль к глазам, и, как это делает «профессор сигнального дела» краснофлотец Сингаевский, разделит глазами горизонт на квадраты и каждую клеточку буквально обыскивает. А на душе кипит. Что же случилось с «Ташкентом»? В Новороссийске на лету успел узнать о гибели «Безупречного». Теперь — «Ташкент». Это как-то не вмещалось в сознание. Правда, немцы давно охотились за лидером: были даже выделены эскадрильи воздушных асов, по Дунаю спущены подводные лодки, торпедные катера, созданы отряды самолетов-торпедоносцев... Гитлеровское радио, газеты кричали о «неуловимом голубом дьяволе»...

И вот уловили — сволочи!

И все же, что за повреждения у «Ташкента», если Ерошенко затребовал помощь? К чему готовиться?

Экипаж эсминца гудит, всем интересно, что с лидером. Ворков делает запрос на базу об обстановке. Ответа нет. Ну что ж — приказ сигнальщикам «смотреть в оба!» и всем боевым частям «мух не ловить!».

В нетерпеливом ожидании событий время всегда течет лениво... Но вот сигнальщики докладывают о том, что на горизонте впереди по курсу черная полоска дыма.

Приказание рулевому держать на дым. Вскоре опознается «Ташкент». Не успевает Ворков дать приказание радистам запросить лидер, в какой помощи он прежде всего нуждается, как на мостик приносят радиограмму: «Командир лидера «Ташкент» просит идти полным

ходом. Корабль погружается. Оперативный дежурный штаба базы».

Ворков переводит ручки на самый полный, в Новороссийск оперативному дежурному штаба базы летит радиограмма: «Сообразительный» полным ходом идет к «Ташкенту».

Сдерживая миноносец, чтобы он не развил большой волны на малых оборотах, Ворков приблизился к лидеру.

Боже, что стало с красавцем «Ташкентом»!.. Нос погрузился в воду, корма приподнята, и в ней огромная дыра.

Корабль не держится на курсе, рыскает, идет, как слепой, по пологой кривой. Стонет. Черный дым стелется над ним. А на юте полно людей: раненые с окровавленными повязками, женщины, дети...

За год войны немало повидано: и буксировка «Беспощадного» от Тендры с оторванным носом, и походы к Констанце, к Одессе, к Феодосии... Но такого... Ворков понял, что положение у лидера просто трагическое. Меж тем командир «Ташкента», слегка осунувшийся после бессонной ночи и только что закончившегося боя с фашистскими самолетами, выглядел спокойным. Только обострившиеся скулы да глаза выдавали тот внутренний огонь, каким горел Ерошенко.

«Что вам в первую очередь необходимо? Сообщите скорее»,— спросил Ворков.

Ответный семафор гласил:

«Имею две большие пробоины. Затоплены румпельное отделение, третий и пятый кубрики, первое и второе котельные отделения. Вода медленно поступает в корабль. Близко не подходите, управляюсь машинами».

Через пять минут новый семафор с лидера:

«Пока буду идти своим ходом. Приготовьтесь взять меня на буксир. Сообщите свое место».

«Сообразительный» сообщил свое место и подошел ближе. Отняв от глаз бинокль, Ворков подумал, что он на месте Ерошенко не стал бы ломаться, а попросил бы в первую очередь снять раненых — ведь у него их, вместе с эвакуированными женщинами и детьми, около 3000! Да воды в помещениях под тысячу тонн! Кстати, а куда он, Ворков, денет раненых и эвакуированных?! На шкафутах лежат двенадцатидюймовые снаряды для 35-й батареи, которые он должен еще доставить в Севастополь после того, как будет оказана помощь «Ташкенту». Че-

тыре кубрика забиты зенитным боезапасом. Этот груз тоже для осажденного Севастополя.

...Новороссийск только что сообщил: на помощь «Ташкенту» идут торпедные катера и эсминец «Бдительный». Помощь — это очень хорошо. Однако нельзя терять время — простым глазом видно, что положение «Ташкента» не просто тяжелое, но катастрофическое.

Ворков послал новый семафор Ерошенко:

— Нужно ли снимать раненых? Как ведет себя корабль? Поступает ли сейчас вода?»

Ерошенко не ответил — очевидно, обстановку выясняет.

Ворков хорошо понимал, что морская традиция требовала от Ерошенко бороться до последнего и лишь в крайнем случае обращаться за помощью. И в этот час эта традиция все еще владела командиром лидера, и он всеми силами старался сам, сам без руля, полный воды, выбраться из беды. Старался, шел своим ходом и из-за порчи румпельного отделения управлял кораблем с помощью машин. Но разве это был ход? Это был агонизированный, тяжелый шаг раненого, да не просто, а смертельно раненного.

Ворков махнул рукой на то, что и как подумает о нем Ерошенко, и послал ему семафор:

«До берега двадцать шесть миль, курс в ближайшую точку 60°. Считаю целесообразным снять раненых».

На этот раз ответа долго ждать не пришлось — тотчас же последовал семафор с «Ташкента»:

«Подходите к борту для снятия раненых».

...В книге контр-адмирала Воркова «Флаг на гафеле» помещен снимок: «Сообразительный» у правого борта «Ташкента». Снимок сделан в момент перегрузки раненых и приема эвакуированных с «Ташкента» на эсминец. Снимок не совсем удачный — он не рассказывает о главном: с одной стороны, о трагизме положения, с другой — о триумфе морского братства.

Перенесение раненых, детей и переход женщин с «Ташкента» на «Сообразительный» и их размещение на корабле заняло 22 минуты, а всего переместилось на эсминец за это время — 1975 человек!

В наше время, когда существует множество волшебных счетных машин, легче легкого в один секунд, как

говорится, подсчитать, сколько же человек было переправлено на корабль за одну секунду! Причем переправлено не в нормальных условиях, а в чрезвычайных!

Когда «Сообразительный» отошел от «Ташкента», Ворков вдруг почувствовал, что эсминец стал валким, то есть из-за перегрузки потерял остойчивость. В случае необходимости он не сможет даже защититься; при такой перегрузке об открытии артиллерийского огня и думать нечего!

Ворков вспомнил, как Ерошенко, прежде чем ответить на вопрос, с какого борта подходить, глядел на небо:

— А банабаки не налетят?

— Думаю, что нет! — уверил Ворков, хотя и понимал, что это бессмысленно. Но сказать по-другому не мог — еще не высохла кровь на палубе «Ташкента», и самого командира лидера еще не покинуло напряжение после только что пережитого боя. Ворков знал это по себе.

Ерошенко еще раз окинул взглядом небо и сказал:

— Подходи справа.

Малым ходом Ворков подошел справа и встал к борту лидера вплотную. Тотчас же были заведены швартовы и переброшены сходни.

Пока палубная команда, фельдшер и санитар под руководством старшего помощника капитан-лейтенанта Беспалова снимали с «Ташкента» раненых и детей, Ворков окликнул Ерошенко. Тот подошел к краю мостика. Ворков негромко спросил, как погиб «Безупречный».

Из немногословного ответа Ерошенко Ворков узнал очень мало. Да и что тот мог сказать ему? «Ташкент» вышел из Новороссийска позже «Безупречного» и к месту гибели миноносца пришел, когда корабль уже затонул и на том месте в огромном мазутном пятне плавало несколько десятков людей. Они держались за какие-то обломки, бочки, бревна и за все то, что не было принайтовлено и всплыло после погружения миноносца. Они что-то кричали и махали руками. Но махали как-то странно: не к себе, а от себя, что можно было понять как просьбу не подходить к ним или как предупреждение. Однако Ерошенко скомандовал подойти к плававшим. Но тут налетели фашистские самолеты, и ему пришлось отойти, так как падавшие рядом бомбы топили людей.

Самолеты долго преследовали его, и когда он отбился от них, то уже не смог вернуться к месту гибели «Безупречного», надо было спешить в Севастополь — в Камы-



шевой бухте его ждали тысячи раненых, дети и женщины.

На вопрос Воркова, почему же «Безупречный» пошел в Севастополь днем, а не ночью, Ерошенко ответил, что он должен был срочно доставить туда солдат и боеприпасы. Но солдаты вовремя в Новороссийск не прибыли: вместо вечера двадцать пятого они появились лишь утром двадцать шестого, тут же погрузились, и «Безупречный» вышел из Новороссийска.

Примерно в семнадцать тридцать на траверзе Ялты его и настигли самолеты противника...

Тяжело все это было слушать Воркову. Накануне этого трагического похода он заходил на «Безупречный»

к командиру — Петру Максимовичу Буряку, с которым подружился еще в сороковом году в те дни, когда принимал «Сообразительный». Вместе новый, 1941 год встречали. На этот раз Ворков попросил Петра Максимовича отдать ему своего сына Володю.

Сын Петра Максимовича Володя Буряк нравился Воркову, он был определен юнгой на «Безупречный» после того, как пытался в первые дни войны удрать вместе с другими мальчишками на фронт. Ему тогда шел шестнадцатый год. Мать уговорила отца взять его с собой на корабль. Петр Максимович Буряк добился разрешения у командования, и Володя попал к корабельным зенитчикам. Мальчик был необычайно горд своим положением и мужественно выносил тяжелые походы.

После выхода немцев к Северной бухте походы в Севастополь стали очень опасными — не только авиация, но и артиллерия стала преследовать каждый корабль, входивший в севастопольскую гавань.

Мать Володи, Елена Тихоновна Буряк, теперь уже не радовалась тому, что ее сын на корабле у отца; каждый поход «Безупречного» в Севастополь теперь для нее беспокойные дни и бессонные ночи. Ворков знал об этом, потому и затеял разговор с Буряком, чтобы тот отпустил с корабля сына, отдал бы его на «Сообразительный». Ворков мог оставить Володю на берегу, когда предстоял тяжелый рейс; он так делал с другими юнгами, которые воспитывались на «Сообразительном».

Сам же Петр Максимович не мог этого сделать: если б он оставил сына хоть раз на берегу под предлогом, что поход сопряжен с большим риском для жизни, то это могло бы отрицательно сказаться на боеспособности экипажа...

Выслушав Воркова, Буряк покачал головой:

— Нет, Сергей Степанович!.. Пусть пока Володька поплавает здесь, со мной. Подучу, в люди выведу, чтобы стыдно не было, тогда и забирай к себе.

Ворков не знал, был ли Володя в этом, увы, последнем походе «Безупречного». Да и вообще, в этот час никто ничего не знал о трагедии миноносца. Те же, кто впоследствии рассказывали о гибели корабля и пятисот с лишним людей, в этот час еще плавали в воде, наша подводная лодка, которая спустя некоторое время спасет их, еще не всплывала. Плавали и те, кто также надеялись спастись, но не знали еще, что не спасутся. И среди них

был и Володя Буряк, которого с разрывающим сердце нетерпением ждала в Новороссийске мать. А Володя, как потом стало известно, очутившись за бортом, метался среди плавающих и громко выкрикивал: «Батя-я! Батя-я!» И всех, кто подплывал к нему, спрашивал: «Вы не видели батю?»

Никто не видел командира, хотя искали его все и помнили, что, когда корабль начал идти ко дну, он спокойно — так тогда казалось, что спокойно,— отдал команду: «Спустить шлюпки на воду! Всем покинуть корабль!»

В этот час, когда Ерошенко рассказывал о том, что он видел на месте гибели «Безупречного», ни командир лидера, ни Ворков не знали, что на борту «Безупречного» было триста двадцать солдат и шестнадцать медицинских сестер, продовольствие и двадцать тонн боеприпасов. Все, и в том числе свыше пятисот человек (триста двадцать солдат плюс двести с лишним моряков миноносца), стало добычей моря.

Володя Буряк, не найдя отца, с группой моряков поплыл к берегу, но никто из этой группы не достиг земли.

О трагической гибели в сорока милях от Ялты «Безупречного» впоследствии многое рассказали мичман Миронов, вестовой командира «Безупречного» краснофлотец Чередниченко и сигнальщик Сушко. Эти трое (и единственные) были спасены подводной лодкой. А спустя четверть века в газете «Известия» были опубликованы подробности гибели миноносца и той борьбы со своей совестью, которую выдержал Петр Максимович Буряк, когда жена попросила его в канун отхода миноносца в Севастополь, чтобы он командирской властью оставил сына на берегу...

Однако вернемся к «Сообразительному».

Прием раненых, детей и женщин заканчивался. Ворков, осматривая корабль, где уже не было ни сантиметра свободного местечка, неожиданно в большой толпе увидел девочку. Она сидела на руках у раненного в ноги и руку красноармейца в изодранной гимнастерке. Здоровой рукой боец держал девочку и пристально смотрел на небо — недавняя беда пришла оттуда и возможная, новая тоже ожидалась оттуда. А девочка в перепачканном мазутом платьице исподлобья, с тревожной задумчивостью взрослого человека смотрела на только что покинутый корабль. Губы ее были плотно сомкнуты, на осунувшемся личике следы грязных ручонок. В какое-то мгно-

вение Ворков вдруг увидел на том месте, где было лицо девочки, лицо сына... Он качнул головой, словно бы стряхивая жгучий взгляд ребенка, и повернулся к Ерошенко. Ворков слушал командира лидера, но думал о ласковых ручонках сына, о жене. И чем больше думал об этом, тем чаще поглядывал на палубу, где в невероятной тесноте шло устройство принятых на борт людей. А девочка все смотрела куда-то неподвижным взглядом.

Приняв на борт 1975 человек, «Сообразительный» отошел от борта «Ташкента» и взял курс на Новороссийск. А в это время подошел «Бдительный», коему и надлежало взять на буксир лидер.

Помнится, когда Сергей Степанович рассказывал мне об этом эпизоде, я, хорошо зная миноносец, его помещения, спросил, где же он разместил почти две тысячи человек. Ворков сразу же ответил, как будто это вчера было: 250 человек на полубаке, а 1200 человек на шкафутах правого и левого бортов, 300 человек на юте. Тяжелораненые, дети и женщины — в кубриках. К сожалению, там большое место занимали ящики с боезапасом для зенитной артиллерии Севастополя. Тесно было и на мостике.

— А сколько «тактический формуляр» разрешает брать на борт? — спросил я.

— Не больше 400 человек. И притом без груза на палубе и в кубриках.

— А как же вы?..

— Как мы? — Ворков задумался.— Знаете, Петр Александрович, если не говорить высоких слов о долге, а подойти к этому вопросу проще, то дело обстоит так — другого выхода не было!.. Надо было идти на риск! А морская служба без риска, что борщ без перца... Знаете старую пословицу: «Кто в море не бывал, тот досыта богу не маливался»... Ну что было делать? Я, старпом, инженер-механик корабля — все мы понимали, что в связи с перегрузкой у нас резко нарушена остойчивость, снизилась метацентрическая высота, увеличилась валкость и почти никакой маневренности... Я уже не говорю о вражеских самолетах, нам свежий ветер был смертельно опасен! Более того, мы сами себе были опасны!

— То есть как это так? — спросил я.

— А так... в связи с потерей остойчивости и увеличением валкости любое передвижение людей на судне было опасно. А ведь у нас, как я вам уже говорил, на шкафутах, по правому и левому бортам, стояло по 600 человек. Стоило бы зародиться панике, а для нее основание было — все эти люди вырвались из ада, то есть из горящего, непрерывно обстреливаемого Севастополя и в пути пережили чудовищную бомбардировку! Ну вот, представьте себе, появляется даже какая-то мнимая опасность, кто-нибудь крикнет... и люди кинутся на один борт — все, корабль перевернется... Ну, пришлось принять меры...

— Какие же?

— Я запретил хождение по кораблю даже палубным матросам и даже, извините, кому по нужде надо... Разрешил оправляться на месте. Для этого приказал везде ведра расставить. Даже на мостике у меня ведро стояло... Но больше всего я боялся того момента, когда буду подходить к причалу. Понимаете, здесь, в море, при отсутствии свежего ветра и самолетов противника всю публику взяла в руки палубная команда и командиры. Экипаж на «Сообразительном» вы же сами знаете какой, что по выучке, что по развитию, как говорится, дай бог каждому! А вот что будет в Новороссийске; когда останется несколько метров до берега, до причала, я как начинал думать об этом, у меня сердечко в жменю сжималось... Вы спрашиваете, почему? А потому, дорогой мой, что, увидев берег, люди могут потерять власть над собой и броситься на причал раньше времени, и тогда получится Ходынка, да и корабль может завалиться.

...Сели мы со старпомом и давай все расписывать. Во-первых, определили выхода по трем сходням. Так? Дальше записали, что в первую очередь на берег сходят дети и женщины — палубная команда помогает им, командиры поддерживают порядок. Затем корабль покидают ходячие раненые, а после них медперсонал и краснофлотцы выносят на носилках тяжелых...

— Ну и как, все обошлось?

— Какое!.. Не успел эсминец подойти лагом к стенке, как пассажиры хлынули на один борт и через поручни полезли на причал. Это было так неожиданно, как извержение вулкана... Совершенно неожиданно, хотя мы, как я уже сказал выше, и готовились к этому моменту.

Более того, пока эсминец шел от «Ташкента» к Новороссийску, краснофлотцы и командиры, как говорится, «вели работу» среди людей, снятых нами с «Ташкента»... У меня сердце упало, когда это случилось. На палубе 70 тонн тяжелых снарядов, если крен будет больше двадцати пяти градусов, стронутся к места мои снаряды, а в каждом полтонны... Что было делать? Никаким криком, никакой командой людей нельзя было остановить — у каждого из них был колоссальный запас нервной усталости, которая скопилась за время не только четырехчасовой бомбардировки «Ташкента», но еще и в Севастополе. Что бы там ни говорили о безграничном мужестве, нервы-то все восемь месяцев обороны были натянуты до нулевой отметки прочности... Разрядка должна была произойти рано или поздно. Вот она и произошла...

К счастью, боцманской команде удалось буквально за минуту до паники забросить швартовые концы и закрепить корабль. Правда, эсминец все равно лег на причал левым бортом, но крен оказался не более 15°, и боезапас, приготовленный для 35-й батареи, не пополз...

— Жертвы были?

— К счастью, нет!.. Ну вот, сошли все. Потом вынесли тяжелораненых. Я оглядел эсминец — пусто на палубе. Радоваться бы — людей спасли и доставили на Большую землю, а на душе что-то вроде занозы. В чем дело? Пытаюсь вспомнить, может быть, я забыл что-то! Вспомнил! Девочка была на палубе, на руках у раненого красноармейца. Она еще так смотрела на «Ташкент», где пережила бомбежку... В суматохе мне было не до нее, и я не заметил, когда сошел красноармеец, кто взял девочку... С чувством какой-то опустошенности и невероятной усталости я сошел с мостика, приказал всем оставаться на боевых постах и доложил командиру Новороссийской базы контр-адмиралу Холостякову о выполнении задачи.

Позже мы с Качаном — вы помните нашего инженер-механика Качана? — раскинули «пасьянс», и вот что у нас получилось: семьдесят тонн снарядов и тысяча семьсот человек на палубе, тонн двадцать зенитного боезапаса и человек двести в кубриках и каютах...

Угроза переворачивания корабля у нас уже была тогда, когда мы заканчивали переброску раненых и женжин с «Ташкента». А когда старпом доложил мне, что на борт миноносца принято 1975 человек, и мы, осторожно отойдя от него, развернулись и пошли в Новороссийск, то

мы попали в положение канатоходца, идущего по канату, протянутому над пропастью... Никогда я не забуду день 27 июня 1942 года!

Между прочим, после нас ни один миноносец, насколько мне известно, не перевозил столько людей за один раз!

На следующий день жизнь приготовила нам такое, что переход с перегрузкой показался нам цветиками.

Было около 10 часов... А впрочем, об этом вы сможете прочесть в моей книге. Я хочу лишь сказать, что нас в этом испытании выручила боевая выучка. А создавали мы ее во всех условиях и учения проводили всегда и везде.

В этот день я, как всегда, встал с рассветом. Люблю раннее утро — оно везде хорошо: и в лесу, и в городе. Но особенно прекрасно утро в двух местах: в горах и в море. Вы видели когда-нибудь, как просыпается море?

Я кивнул. Он продолжал:

— На этот раз мне не понравилось, что с Сахарной головки «борода» сползает — значит, небо будет в облаках и надо ухо держать востро, банабаки не преминут воспользоваться облачностью. А противовоздушная оборона в Новороссийске не на высоте.

Утро в этот день шло как-то уж очень быстро. Пропел сигнал «на флаг и гюйс!». Затем был осмотр и проворачивание механизмов. И пошла корабельная жизнь, как стрелки часов: сыграли учебную боевую, и начались репетиции по отражению атак самолетов противника.

Я не уходил с мостика, наблюдал за работой зенитных расчетов. Учения проводил капитан-лейтенант Беспалов.

Артиллерийские расчеты и аварийные партии действовали на редкость красиво. Люблю, когда человек работает красиво! Особенно если дело идет быстро, слаженно, без всяких усилий, как музыка!

Лишь иногда я останавливал учения и просил повторить тот или иной элемент.

Мы так увлеклись, что и не заметили, как из-за туч по носу корабля появились банабаки. По базе никакого оповещения о приближении воздушного противника не было. Я тотчас же скомандовал открыть огонь.

Артиллеристам понадобился лишь миг, чтобы переключиться от учебных действий на боевые. Корабль дал залп. С самолетов посыпались бомбы и затрещали пулеметы... Об этом вы тоже прочтете в книге. Но сейчас мне хочется заметить, что если б я не вел в тот момент учебной боевой тревоги, да еще по отработке отражения нападения воздушного противника, вряд ли я сейчас беседовал бы с вами.

Да. Это точно... Только потому, что мы сумели мгновенно открыть огонь, сбить с боевого курса самолеты, бомбы упали в стороне от корабля. Правда, воздушной волной были оборваны швартовы и корабль понесло от причала, а я был сбит с ног. А когда встал, то увидел на том месте, где только что стоял лидер «Ташкент»,— одни мачты торчат из воды. А миноносец «Бдительный» — он стоял у другого причала — горит.

Бомба попала и в «Украину» — она осела набок.

В уме моем стало сумеречно, я подумал, что же это происходит: два дня тому назад — «Безупречный», сегодня лидер «Ташкент» и эсминец «Бдительный»!

Но сосредоточиваться на переживаниях обстановка не позволяла: близким разрывом бомбы на эсминец навалило земли, щебня и даже на полубак завернуло согнутые в дугу рельсы. В воздухе слышался гул самолетов, надо было немедленно уходить из порта в море. Для корабля море в таких случаях спасение, а вражеские летчики не очень-то любят отдаляться от берега.

Даю команду. А мне докладывают, что на корабле выведены из строя все электронавигационные приборы, телеграфы, репитеры, компасы.

Как выходить в море без компаса — кругом минные поля? Но и оставаться в порту нельзя. В городе и в порту пылают пожары — горят корабли, склады, какие-то грузы на причалах. А с Сахарной головки, клубясь, плывут облака. Где-то стреляют зенитки, гудят буксирные суда... Что делать?

Ворков умолк и посмотрел мне в глаза. В его взгляде молчаливый вопрос: как, мол, вы бы поступили на моем месте, Петр Александрович? Я игнорировал его вопрошающий взгляд и спросил, что же он все-таки сделал в той сложной обстановке. Я знал Новороссийский порт, то есть бывал там несколько раз, и, если забегать вперед, был при Новороссийской десантной операции в сентябре 1943 года. Новороссийский порт был знаменит двумя уни-

кальными на Черном море особенностями: мощнейшим элеватором для экспорта пшеницы и «бо́рой». О хлебных элеваторах читатель в общем-то имеет представление, что это за сооружение и для чего оно существует. Ну, правда, здесь был самый крупный элеватор в стране. А второй особенностью (я не могу сказать — достопримечательностью) Новороссийска была бора. О боре в старой, изданной еще до революции книге «Край гордой красоты», принадлежащей перу С. Васюкова, говорится: «Норд-ост, или бора,— это безумная сила, все сокрушающая, от которой нет спасения и защиты. На город Новороссийск этот ветер бросается с хребта Варада и падает прямо в бухту и на набережную, производя, впрочем, свои ужасные опустошения повсюду. Норд-ост — это вихрь, буря, ураган, дующий с одинаковой силой три дня, а то и шесть и двенадцать суток. Это нечто ужасное, необъяснимое... Когда говорят о норд-осте, то не скажут обыватели, что он дует, но «бросается», «хватает».

Автор этих строк, продолжая «портрет» норд-оста, отмечает его отрицательное влияние на психику, делит норд-ост на зимний и летний; зимой он настолько холоден, что будто бы Новороссийск в эти дни перемещается с юга на полюс холода в Оймякон, а летом пышет жаром, как пустыня Сахара.

Но теперь, то есть в то время, о котором мне рассказывал Ворков, конец июня 1942 года, когда шел второй год войны, ни норд-ост, ни элеватор не имели никакого значения. Зато расположение Новороссийского порта в Цемесской лагуне, над которой возвышались нагромождения хребта Варада с господствующей высотой — Сахарной головкой, были отлично использованы фашистскими воздушными асами. Безусловно, они знали, как лучше, прикрываясь горами, зайти неприметно к Новороссийску и по пути, каким пользуются ураганные потоки боры, спуститься безнаказанно на порт и нанести смертельный удар по кораблям.

Ворков именно ждал от меня этого разговора. Но это выяснилось лишь потом, а теперь для меня было важно выяснить, что же сделал тогда Ворков, на что он решился, хотя я и так понимал, что у него тогда иного выхода, как покинуть порт, не было.

Я спросил его, куда же по выходе за ворота мола пошел «Сообразительный».

— В Туапсе.

На мой вопрос, как же он дошел до Туапсе без навигационных приборов, контр-адмирал не ответил. Он посмотрел на часы на руке и сказал:

— О-о! Это целая эпопея... Но времени... времени совсем нет. Как-нибудь в другой раз...

ОДНИ СТРОЯТ ПИРАМИДЫ, ДРУГИЕ ИГРАЮТ НА ФЛЕЙТАХ

Командиры Черноморской эскадры говорили о Воркове, что он в рубашке родился, а его миноносец — везучий.

Краснофлотцы говорили о нем: к Воркову попадешь, он либо научит, либо выгонит.

А сам Ворков считал, что «повезло» ему всего лишь один раз. И случилось это в далеком городе в ноябре 1940 года.

Он прибыл в город корабелов из Севастополя, усталый после сдачи тральщика и хождения по штабам и начальству (да и дорога оказалась утомительной); старший лейтенант Ворков мечтал об отдыхе в командирской каюте на новеньком, недавно спущенном на воду эсминце «Сообразительный».

Он обо всем забыл, как только увидел его,— перед ним было чудо, не корабль!

Жемчужно-голубой, стройный, легкий, стремительный эсминец всем своим видом, казалось, ждал команды: «По местам стоять! Со швартов сниматься!»

Ну и хорош же! Ну и красавец! Что против него тральщик, который он сдал в Севастополе другому командиру, и сдал с сожалением — привыкаешь к кораблю, какой бы он ни был.

А теперь привалило ему счастье командовать этим красавцем. Ворков мысленно представил себя уже стоящим на мостике. Миноносец режет острым носом волну, ход — восемнадцать узлов. Корабль вздрагивает, в растяжках легкий посвист. Хорошо. Но у него еще в запасе почти столько же оборотов. Ворков передвигает ручку на «самый полный!». Корабль кидает вперед — он прыгает, как гепард за добычей. Брызги от рассекаемых быстрым и острым ножом форштевня волн заплескиваются на мостик. Уже мокрые обвесы, вода окатывает рубку... Ворков открывает глаза, вздыхает — сколько раз он проглатывал невольное унижение, когда «чапал» на тральце, а его

лихо обгоняли стремительные, послушные рулям миноносцы. С какой завистью он мечтал попасть на мостик эсминца. И вот мечта свершилась: через несколько минут он поднимется на борт...

...Ворков никогда не верил в предчувствия, в сакраментальные цифры, в понедельники, в приметы. На борту «Сообразительного» он увидел условный номер, ну, какие бывают на всех военных кораблях всего мира,— номер на его миноносце — 13. Ну и что ж такого, он сам родился тринадцатого! Но вот что-то, какое-то инстинктивное беспокойство остановило его, когда он готов уже был ступить, то есть сделать первый шаг на новом корабле.

Он не задумывался ни тогда, когда ему предложили пойти на новый миноносец, ни тогда, когда беседовали в штабах,—иерархия на флотах длинная, как якорь-цепь,— ни в дороге, а вот теперь, когда увидел, вдруг задумался над истинным смыслом названия миноносца.

«СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ» — да ведь к миноносцу с таким названием будет особое отношение: будет корабль показывать образцы флотского искусства, его имя будут произносить с уважением, а при любой неудаче (на вершок ближе подошел к стенке, швартовый конец не так ловко бросил) оно будет произноситься в лучшем случае с иронией...

Не-ет, какой тут, к черту, отдых! С первой же секунды жизни на новом корабле не будет у Воркова ни минуты покоя, все время будет отдано ему, чтобы имя корабля никогда не было запятнано.

Вот с этого момента и началось создаваться то, что в будущем будет названо как «везенье». Я взял это слово в кавычки, а оно будет произноситься всеми без них: многие с искренней наивностью будут верить в то, что эсминец «Сообразительный» действительно везучий, а его экипаж и командир — действительно в рубашке родились.

Севастопольский журналист Дмитрий Ткаченко рассказывает следующий эпизод. Как-то у адмирала флота Сергея Георгиевича Горшкова спросили:

— Правда, что «Сообразительный» провел в море почти двести суток и даже не знал среднего ремонта?

— Да, это факт.

— И за всю войну не потерял ни одного бойца?

— Больше того, на корабле не было даже раненых.

— Что же это — военное счастье?

— Бывает и такое. Но ведь повезти может раз, другой, третий, а «Сообразительный» за время войны совершил двести восемнадцать боевых выходов. Главное не в везении, а в умении людей, в распорядительности и находчивости командира.

Два эпизода из боевой истории эскадренного миноносца «Сообразительный» промелькнули в памяти с космической скоростью, а на бумаге, словами, оба эти эпизода выкладывались как на сложном большом мозаичном панно — долго, трудно, а порой даже мучительно. Особенно тяжело было, когда под руками не оказывалось необходимых слов.

Да и много ли в языке человеческом слов, которыми можно было бы сказать о мастерстве так, как оно заслуживает этого?!

Я заговорил о мастерстве потому, что мастерство подняло человека в далекой юности с четверенек. Весь путь восхождения человека от питекантропа до космонавта был обеспечен мастерством, а не везеньем или там счастьем!

Без мастерства первому человеку нельзя было убить птицу из лука, поймать зверя волосяной петлей... Особенно нужно было мастерство в войнах. Мастерство в войнах — колыбель победы. Именно здесь умение оборачивалось победой, а неумение — напрасной кровью.

После войны я видел, как умелые руки мастеров возрождали жизнь, строили дома в деревнях; в начале этой повести я уже упоминал о том, что во время гитлеровского нашествия в нашей стране было разрушено 70 тысяч сел и деревень. Если предположить, что в каждой деревне, каждом селе в среднем было тридцать дворов, то построить надо было два с лишним миллиона домов. То есть выстроить дома почти что для целой Финляндии!

Дома эти построены, и в большинстве своем лучше старых. В иных деревнях, особенно в Калининской области, стоят новенькие домики, молодые, чистые, стройные, как невесты; на крыльцах, над горницами висят вологодскими кружевами деревянные карнизики и подзоры, сделанные топором, ножовкой да долотом. А какие изузоренные наличники обрамляют окна, какие солнца красные на слуховых фасадных оконцах!

А деревянная кладь какая! Бревно в бревно, сучочки удалены так, что под птичий глаз выглядят, каждое бревнышко паклей, в крутой жгут свернутой, подбито — непроходимые для лютых зимних ветров стражи.

А строили дома на виду у всех, как будто здесь все настолько просто: свалят в кучу бревна, кирпич, песок, глину, цемент... Придут люди, сделают траншейки и выкладывают фундамент либо столбы каменные. А другие в это же время ошкуривают бревна, режут их по нужным размерам, стесывают сучки и наросты разные, вырубают пазы, пробивают желобки для того, чтобы бревно на бревно потеснее легло.

Сруб кладет артель дружно, ладно — люди лазают по стенам, как пчелы по улью.

Когда кончится кладка бревен, сруб «связывается» верхним венцом. Затем кладут матицы, возводят стропила, стелют потолок, сшивают стропила деревянным шипом, делают обрешетку под крышу. Перед приходом кровельщиков явится печник, он сложит красивую печь и вытянет трубу на семь дымов, чтобы печь «брала фунт дров, а давала пуд жару». Теплый, светлый, уютный и экономичный дом могут поставить лишь мастера.

Писатель-мастер, что и каменщик, кладет свое «зда-
ние» по словечку, а раствором ему служит мысль. Материал на редкость дефицитный в эпистолярном искусстве.

Внешне в литературной работе как и на любом строительстве: сначала подвозится материал — примерно тысяч сорок слов (у Тургенева, говорят, на письменном столе всегда находилось до шестидесяти пяти тысяч слов!), записные книжки, ворох белой бумаги и перо — этот писательский мастерок. Можно и начинать.

Старые мастера говорили: если ты хочешь, чтобы твое произведение согревало читателя, гори сам во время творения его.

Старые мастера требовали, чтобы слово добывалось в муках. Творческие муки — главный стимул истинного мастерства.

Старые мастера учат, что искусство лишь тогда может называться этим словом, когда не нарушается соразность частей и соблюдается гармония развития идеи и образа.

Произведение — что яблоко: сначала — цветок, потом завязь, рост плода, налив и, наконец, созревание.

Стоит природе нарушить одну из этих стадий, и вас передернет от горечи при вкушении незрелого плода.

Нам всегда кажется, что талантливая книга сделана с доступной для всех легкостью.

А видел ли кто-нибудь, как перо плачет?

Да что там плачет! Иной раз в схватке с непокорным словом в кабинете писателя стоном стон стоит!

Поиски хорошего, сочного, звонкого слова равны поискам алмазов. Страница за страницей летят в корзину, и если б слово имело какую-то (пусть незначительную, скажем размером с пшеничное зерно) материальность, к концу рабочего дня писателя пришлось бы откапывать, иначе он задохнулся бы в ворохе словесных отбросов.

Многие писатели курят за работой; дым от письменного стола к потолку тянется как из фабричной трубы. Особенно много дыма производят те писатели, что пишут ночами. Потолок в их комнатах подымается под давлением дыма, как в той избенке тульских кузнецов, где набивались заводной аглицкой блохе крохотные, видимые лишь через самый мелкий мелкоскоп подковочки...

А как же добивался «везенья» капитан-лейтенант Сергей Степанович Ворков? В чем искал он (и нашел) счастье?

Штат миноносца состоял почти из трехсот человек, а за время его одиссеи через миноносец прошло пятьсот десять человек. Часть из них в жаркие дни обороны Одессы и Севастополя, а также во время боев за Кубань и Кавказ ушла на берег и сражалась с гитлеровцами в отрядах морской пехоты, часть не подошла к тем высоким требованиям, которые поставил перед экипажем командир миноносца.

А требования были примерно такие, которые Огюст Роден предъявлял к искусству ваяния.

Вспомните: «...только владея в совершенстве техникой, можно заставить зрителя забыть о ней».

Командир «Сообразительного» хотел, чтобы люди его экипажа стали классными специалистами, чтобы они лучше всех видели, лучше всех наводили орудия на цель, стреляли, отлаживали механизмы... Чтобы они могли, обвязавшись штертом, без страха, на полном ходу миноносца, действовать за бортом, скалывать лед со стволов орудий и лезть в горячую топку...

В том, теперь далеком, тысяча девятьсот сороковом году штат миноносца был, как говорят кадровики, «уком-

плектован» краснофлотцами-первогодками, или, как с напускной важностью называли их моряки, служившие по второму году, салагами.

Да и сам командир по возрасту недалеко ушел от своих подчиненных: ему было в то время всего двадцать восемь лет. Правда, в этом возрасте снятся великие сражения, небывалые походы, да и сами миры не кажутся бесконечными.

И все же экипажу предстояло нелегкое дело. Не всем известно, что спущенный на воду корабль сдается заводом не по техническому паспорту, как, скажем, автомобиль, станок или вагон; корабли сдаются заказчику заводской командой в ходу. По нескольку недель стоят заводские рабочие у механизмов нового корабля, а рядом краснофлотцы. Моряки принимают от рабочих механизмы. Ну, разумеется, не только механизмы, но самое главное — о п ы т управления ими.

Опыт — синоним успеха.

Между прочим, и сам старший лейтенант Ворков сразу не был допущен к самостоятельному управлению этим чудо-кораблем — миноносец оснащен электронавигационными приборами, новейшей системой управления артиллерийским огнем, мощными турбинами, уникальными дальномерами.

В первом походе «Сообразительного» из Севастополя в район, куда эсминец шел на проверку механизмов после государственных испытаний, Ворков вел его под недреманным оком «обеспечивающего». Им был командир дивизиона эсминцев капитан II ранга Михаил Федорович Романов, весьма опытный командир и деликатный человек; он не опекал Воркова, а давал ему полную самостоятельность. И лишь изредка подавал советы. Ворков остался благодарным ему на всю жизнь.

Поход был очень трудным — у Тарханкута тяжелый норд-вестовый ветер начал бить в скулу, словно пытался сбить с курса. Ночь была классическая для юга — темная и густая. Эсминец швыряла волна, и он то и дело проваливался, словно падал в разверзшиеся хляби морские. Со стороны это очень красиво, когда корабль мчится, то взлетая на вершину волны, то ввергаясь в пучину, а для судна удары волны не всегда безопасны; теперь высчитано, что сила удара волны на один квадратный метр равна весу двадцати тонн. От этого боксерского удара корабль стонет и порой, выскочив из пучины на

вершину волны, замирает на миг, как боксер, впавший в состояние, которое в боксе называется «грогом», то есть преднокаутным состоянием.

Нелегко удерживать корабль во время свежего ветра на курсе. Ворков всю ночь не сходил с мостика, поеживаясь от холода. Порой облака разрывались в клочья и луна на миг заливала кипящим серебром море. Потом опять темнота пожирала нестойкий свет, и «Сообразительный» шел по морю, как партизан по кочковатому болоту, то и дело проваливаясь. Порой он уподоблялся плоту, на котором Одиссей возвращался на Итаку:

> Плот же бросали туда и сюда взгроможденные волны;
> Словно как шумный осенний Борей по широкой равнине
> Носит повсюду иссохший, скатавшийся густо репейник...

Всю ночь наш «репейник» катился по широкой равнине моря, а к утру на подходе к Очакову, у Кинбурнской косы, на отмелях, окружающих остров Березань, встретился лед. Белый, молодой, задорно-блескучий, он шуршал и покряхтывал.

При попытке пробиться на фарватер миноносец врезался в лед и встал... Пришлось развернуться и встать на якорь — без ледокола не дойти.

Ледокол пришел лишь вечером, взял эсминец на буксир и потащил к судостроительному заводу. Здесь «Сообразительный» подхватили два сильных буксира и, расталкивая битый лед, подвели к причалу.

С приходом «Сообразительного» к заводу стало веселее, здесь стояли еще два миноносца: «Смышленый», которым командовал капитан III ранга Тихомиров-Шегула, и «Безупречный», которым командовал капитан-лейтенант Петр Максимович Буряк.

Новый, 1941 год встречали вместе, поднимали тосты за родину, за партию, за успехи в наступающем году, за новый, вступающий в строй эскадренный миноносец «Сообразительный». Шутили, смеялись. Однако беспечного веселья не было: за новогодним столом сидели люди военные, их не могли не беспокоить события, развивавшиеся на Западе. Петр Максимович Буряк поднял бокал за то, чтобы зорче следить за происходящим на Западе и спешить учиться, серьезней готовить экипажи кораблей.

Командир «Смышленого» капитан III ранга Тихомиров-Шегула развел руками:

— Товарищи! Стоит ли об этом в Новый год! Сейчас пить, веселиться надо... Что мы всякий раз, как соберется нас больше двух человек, так о политике да о международном положении... Помните, как Денис Давыдов в таком случае говаривал: «Все Жомини да Жомини, а об водке ни полслова!» Налейте, братцы!

Однако Петр Максимович Буряк был не из тех, кого легко сбить с курса,— он досказал свой тост, и все охотно осушили бокалы за готовность, за учебу, за страну, за партию, за Новый год.

Разговоры, споры, тосты кончились в тот час, когда над Бугом занималось утро — хмурое, снежное... Никто тогда не предполагал, насколько был прав Петр Максимович Буряк, когда говорил о том, что надо спешить учиться, что нужно жить крепким, боевым коллективом, отлично готовить экипажи боевых кораблей; менее чем через полгода, также глубокой ночью, все это потребовалось от моряков, и они, благодаря тому, что на флоте внимательно следили за тем, что происходит на Западе, и также благодаря (да простит меня читатель за слишком длинный и тяжелый период!) тому, что учились, спешили овладеть техникой, вовремя открыли огонь по появившимся над Севастополем в 3 часа 07 минут 22 июня 1941 года гитлеровским самолетам.

План гитлеровцев — запереть наш флот в бухтах — был сорван. Кстати, своей готовностью в ту ночь флот обязан бдительности адмиралов Николая Герасимовича Кузнецова и его заместителя Льва Михайловича Галлера.

Не повезло, как мы уже знаем, и горячему, прекрасному душой, большому человеку — командиру миноносца «Безупречный» Петру Максимовичу Буряку.

Но командир новенького эскадренного миноносца «Сообразительный» Сергей Степанович Ворков не пропустил мимо ушей умных слов Буряка.

С первых же часов вступления в должность командира Ворков сделал требовательность и отличное знание специальности законом для всех, и в том числе, или, вернее, раньше всего, для себя.

Новичок, попадая на современный военный корабль со множеством машин, механизмов и приборов, оснащенных десятками вентилей, кранов, ключей, кнопок, ручек, сначала чувствует себя не лучше таракана, попавшего в часовой механизм.

Чтобы стать человеком среди всей этой технической «чертовщины», чтобы знать, что к чему, и, более того, чтобы управлять всей этой технической шарадой, нужны отвага и дьявольский труд.

Моряку на современном судне нужно до виртуозности натренировать не только память глаз, но и память рук; в любой сложной обстановке моряк по памяти обязан (например, от близкого разрыва бомбы или снаряда погаснет свет) открыть или перекрыть систему или магистраль. Более того, пробежать по затемненному кораблю и не задеть ни за одну задрайку — это почти равносильно памяти и ориентации летучей мыши.

Не все в экипаже «Сообразительного» симпатизировали дотошному командиру. Но и не всех оставлял командир на миноносце: одних списывал на берег, других брал.

К сожалению, наш флот примерно за полтора десятка лет до войны перестал бороздить дальние моря, а все вертелся вокруг Главной базы. И самые дальние его походы были из Севастополя в Батуми.

Так уж случилось в истории нашего флота, который за сто лет до того исходил весь свет, обогатил мир потрясающими географическими открытиями, воспитал плеяду блестящих флотоводцев, под командованием которых великий Александр Суворов желал участвовать в кампаниях «хотя бы мичманом».

Командир «Сообразительного» хотел сделать свой экипаж и по тому времени весьма современный эсминец образцовым.

Читателю вряд ли потребна авторская дотошность в описании трудного, сложнейшего, а порой и скучнейшего процесса овладения специальностями. Да и для самого писателя это утомительно: описывать подробности изучения десятков специальностей это все равно, что пшено перебирать. Могу только сказать, что и сам Ворков и экипаж теряли в весе на этом поприще.. Это действительно было дьявольски трудно. Но труд не пропал даром.

Двести восемнадцать боевых походов миноносца — это двести восемнадцать выигранных сражений! Двести восемнадцать героических побед!

Во время войны для летчиков существовала норма: за столько-то боевых вылетов и сбитых самолетов — боевой орден, а за столько-то — звание Героя Советского Союза.

С первого взгляда кажется, что это чистая арифметика — задачка на сложение. Ерунда! Арифметика — форма, а содержание подвига — мужество, мастерство и кровь. На флоте не было никаких норм. Да в этом и не было никакого смысла — у кораблей другие ресурсы, другая тактика и свои задачи. И потом, в подвиге может быть лишь одна норма — значение его для отечества. То, что сделал экипаж гвардейского эсминца «Сообразительный», имеет ценность как некий эталон воинского искусства и должно относиться к свершениям, ибо такое нельзя просто выполнить, а можно лишь свершить!

Вот «послужной список» миноносца:

Двести восемнадцать боевых походов.

Шестьдесят три тысячи огневых миль (миль, пройденных под огнем противника).

Пятнадцать тысяч войска, раненых, женщин и детей, доставленных в осажденные города и вывезенных оттуда.

Пятьдесят девять транспортов с находившимися на их борту семьюдесятью тысячами человек и ста пятьюдесятью тысячами тонн грузов — отконвоировано миноносцем...

В послужном списке «Сообразительного» записаны также:

Четыре десантных операции.

Пятьдесят шесть обстрелов боевых порядков противника, в результате которых уничтожено более 10 батарей, более 30 танков и автомашин, более 8 батальонов пехоты противника.

2706 снарядов главного калибра выпущено по боевым порядкам врага в операциях по поддержке пехотных частей под Одессой, Севастополем и Новороссийском.

267 раз эсминец подвергался атакам авиации противника в группе кораблей и 126 раз отбивался от самолетов врага в одиночестве. На миноносец сброшено 70 авиабомб, и в том числе несколько 500-килограммовых.

Более тысячи тонн боезапаса доставил эсминец в осажденную Одессу и Севастополь.

23 торпеды были выпущены по «Сообразительному» самолетами-торпедоносцами и торпедными катерами противника.

Зенитчики эсминца сбили 5 самолетов врага...

На корабле за все время боевых действий не было ни одного убитого, не было и раненых!

Цифры... Цифры... Кому-нибудь они покажутся скучной материей. Я понимаю тех, кто азартно подсчитывает очки конькобежцев, ведет учет забитых голов и шайб; для них — это выше музыки Бетховена... Для них мои цифири, взятые из фронтового кондуита, — пучина скуки.

Но я делаю ставку на тех, кто сумеет увидеть за этими данными титанический труд и высокую отвагу. Я верю, что цифры мои вызовут в их сердцах радость сопереживания.

Что ж, «одни строят пирамиды, другие играют на флейтах».

Утешимся этим и не забудем, что вся вышеприведенная мною «арифметика» рождалась под огнем, чаще всего в темной непроглядной ночи, в море, полном мин (своих и чужих).

Матросские руки безотказно подавали снаряды и тогда, когда стволы пушек покрывались льдом, и тогда, когда от интенсивной стрельбы горела краска на них. И все бегом. Даже по обледеневшим трапам, по скользкой, как каток, палубе тоже — бегом! Бегом!

Матросские руки разводили пары в котлах, крутили штурвал, драили палубу, подвязывали в поднебесной вы-

соте перебитые осколками корабельные антенны, красили борта, освобождали винты от намотавшихся тросов, с быстротой мысли «писали» флагами запросы и ответы на другие корабли, разворачивали и наводили на цель пушки...

Не для красного словца, не для «дыма» говорил о матросах адмирал Нахимов. «Матрос есть главный двигатель на военном корабле, а мы только пружины, которые на него действуют... Он первая фигура войны — матрос, да-с! Вот кого нужно возвышать, учить, возбуждать в нем смелость, геройство, ежели мы не самолюбивы, а действительно слуги отечества... Вот это воспитание и составляет основную задачу, вот чему я посвятил себя, для чего тружусь неусыпно и, видимо, достигаю своей цели: матросы любят и понимают меня. Я этой привязанностью дорожу более, чем отзывами чванных дворянчиков-с!»

Матросские руки! Они делают на корабле самую грубую прозу, а выходит из-под их трудолюбивых рук необычайной красоты поэзия.

Это вовремя понял старший лейтенант Ворков, тут главная «база» его везенья и счастья.

В его книге «Флаг на гафеле» то и дело встречаются такие записи: «Звонят колокола громкого боя. Но топота ног на корабле не слышно: личный состав давно на боевых постах и ждет приказа об открытии огня». Или: «Подходит комиссар. Он только что с боевого поста старшины 1-й статьи Павла Митрофанова. Рассказывает о слаженной работе расчета пушки главного калибра. Митрофанов решительный, смелый и находчивый командир орудия. Под Севастополем, в паре со старшиной Журом он привел к молчанию две батареи противника. Вот уже полтора года его орудие не имеет при стрельбе ни пропуска, ни задержки». Или: «Приказываю открыть огонь. Навстречу врагу несутся десятки снарядов. Отлично стреляет расчет старшины 1-й статьи Данильченко. С таким же успехом ему вторит расчет старшины 2-й статьи Васильева».

Вот еще один отрывок из той же книги. Я привожу его не только потому, что он из того же ряда, но совершенно оригинален, своеобычен:

«Стоим мы у нефтяного причала в Новороссийске. Город бомбит авиация врага. Рядом с нами горят здания. Бомбы начинают рваться по обеим сторонам причала. Немедленно прекращаем приемку топлива. Нам надо торопиться в поход. На мостике в двух шагах ничего не видно. Вдруг я слышу нарастающий свист бомб и, ожидая взрыва, невольно втягиваю голову в плечи. Но взрыва почему-то нет. Опять свист бомбы — и опять взрыва нет. «Что за чертовщина? — думаю.— Неужели бомбы с замедленным действием?» Машинально иду вокруг сигнального мостика, так же машинально останавливаюсь и совсем рядом слышу этот неприятный свист. В проблеске света от вспыхнувшего зарева хватаю за рукав человека и тихо спрашиваю:

— Ты кто?

— Старшина второй статьи Куликов,— докладывает он.

— Ты что же это пугаешь? Черт тебя подери!

Воздух вздрогнул от разрывов, а он спокойно отвечает:

— Товарищ командир, это я приучаю наших сигнальщиков, чтобы они не боялись свиста бомб, не терялись при разрывах, чтобы не прекращали наблюдения. Теряются. А я как свистну, так и увижу, у кого голова полезла в бушлат. Тут я его, голубчика, на чистую воду и вы-

вожу... Засекаю, одним словом. Психологически воспитываю...

Иной раз смотришь на людей у пушек, на сигнальщиков, на наших котельных машинистов и видишь в их взглядах огонек, с которым каждый делает свое большое дело. Кажется, век не расставался бы с такими людьми! И ты веришь им как самому себе. В этой вере и был залог успеха при самых трудных обстоятельствах».

ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР

Древние писатели, стиль которых совсем недавно казался нам архаичным, а теперь входит в моду, как павловская мебель и старые русские иконы, любили ссылаться на богов великой империи мифов, где судьбами смертных правили великаны.

Во втором десятилетии текущего века мы свергли власть мифов, забыв о том, что прометеев огонь понадобится и нам.

Нельзя щедро все отдавать музе истории Клио: осененные высоким духом подвиги наших героев следует держать в пламени памяти, а не в холодильнике истории. У нас много героев, но не все подвиги мы ценим. Мы охотно и щедро ценим подвиги жертвенности; смерть героя нам кажется венцом подвига. А разве недостоин высшей славы подвиг героя, который после свершения акта высшего мужества сохранил свою жизнь и готов к новому подвигу?!

Перед отъездом в Севастополь, в Москве, еще не имея никакого представления о том, кого встречу здесь, на Черном море, и тем более не предполагая встретить Воркова, эсминец «Сообразительный» и его матросов, ныне заслуженных ветеранов, я услышал на одном из столичных собраний следующие слова: «Герой тот, кто сумеет умереть, но победить; дважды герой тот, кто победит и останется живым!» И вот теперь, когда судьба через много лет вновь столкнула меня с Ворковым и памятным мне по войне миноносцем и с его доблестным экипажем, я, глядя на останки того, что некогда было гордым кораблем Черноморского флота, на седого контр-адмирала Воркова, на лысоватых, подрасплывшихся в талии ветеранов, вспомнил слова маршала Чуйкова: «...дважды герой тот, кто победит и останется живым!» Вспомнил, и передо мною пронеслась с космической скоростью одис-

сея «Сообразительного». Одиссея — и вдруг такой конец.

За время службы на флоте я несколько раз видел, как гибли корабли, и всегда это больно отзывалось в сердце. Каково же было тем морякам, которые служили на этих кораблях!

В детстве я слышал душераздирающие рыдания погорельцев. Это было ужасно. Но на месте сгоревшего дома оставалась земля и теплилась надежда, а когда гибнет корабль — моряки оказываются средь бушующих волн без крова и без надежды.

...Корабль — крылья моряка. Однако в трудный для отчизны час моряки готовы на все. И это не слова! 11 сентября 1854 года, когда англо-французские интервенты блокировали Севастополь с моря, черноморские моряки решили закрыть врагу вход в Севастопольскую гавань. Для этого они пожертвовали самым дорогим — кораблями.

Линейные корабли «Уриил», «Селафаил», «Варна», «Силистрия» и «Три святителя» да еще фрегаты «Флора» и «Сизополь» были построены в кильватер на внутреннем рейде с юга на север, поперек бухты, и затоплены.

Матросы сами прорубали днища в них, а потом плакали как дети, когда корабли скрывались под водой.

В 1918 году, спасая флот от интернирования, революционные моряки топили боевые корабли в Цемесской бухте под Новороссийском под пение «Интернационала», под прощальные взгляды полных слезами матросских, не созданных для мокроты глаз.

Во время войны с фашистской Германией черноморским морякам не пришлось топить свои корабли, но после войны некоторые из кораблей эскадры (даже те, экипажи которых были удостоены гвардейского звания) стали мишенью при испытании ракетного оружия.

Кто бывал в болгарском порту Варне, тот не мог пройти мимо небольшого корабля, стоящего на берегу у городского парка на постаменте. Я говорю о крохотном миноносце «Дерзкий», матросы и офицеры которого в 1912 году смело бросились в атаку на турецкий крейсер «Хамидие» и торпедировали его.

В Севастополе на Матросском бульваре стоит скромный памятник капитан-лейтенанту Казарскому, командиру брига «Меркурий». Простой постамент, простые слова на нем: «Потомству в пример». А приглядишься, прочтешь еще раз эти слова, и запылает в душе.

Что же такое оставили в пример потомству моряки брига «Меркурий»?

Севастопольцы, особенно седоголовые, ушедшие на «пензию» мичманы и старшины, охотно рассказывают приезжим о подвиге брига «Меркурий».

Некоторым рассказчикам помогает отменная память, у иных безудержно работает фантазия.

Я всегда с удовольствием и жадным интересом слушал их рассказы. Особенно жадно глотают рассказы старых, «обросших ракушками» морячил мальчишки. Глазенки у них при этом горят, и где-то в глубине души (это видно по лицам, еще не умеющим скрывать истинные чувства) созревают дерзкие желания сделать такое, чтобы весь мир говорил об их подвигах!

Мимо памятника Казарскому пройти и не остановиться невозможно — тут всегда люди: и те, кого привела любознательность, и те, кто охотно позирует уличным пушкарям, в отличие от старых пушкарей, работающих либо «Зенитом», либо «Киевом», а при печатании фотографии накладывающих «трафареточку» — «на память о городе-герое Севастополе».

Однако что же оставили моряки «Меркурия» потомству в пример?

В начале мая 1829 года бриг «Меркурий», входивший в состав русской эскадры, стоявшей в болгарском порту Сизополь, находился в море, неся дозорную службу. Четырнадцатого мая он принял бой с двумя турецкими линейными кораблями — «Селимие» и «Реалбей».

«Селимие» был покрупнее — на нем было 110 пушек, а на «Реалбее» — 74. На борту же «Меркурия» — всего 20 пушек.

Двадцать — и сто восемьдесят четыре! Что делать? Спустить флаг, и, как говорится, пан ваш? Или пуститься наутек?

Казарский созвал военный совет. Говорили кратко и решительно; первый оратор лейтенант Прокофьев заявил: не сдаваться ни при каких условиях! Вступить в бой! Победить или умереть!

Иных мнений не было, и совет принял рыцарское решение — вступить в бой. Не беда, что на каждую пушку «Меркурия» будут отвечать девять! И не беда, что один небольшой корабль против двух гигантов!

Из мер предосторожности были предусмотрены всего две — командир приказал: 1) прибить гвоздями к флаг-

штоку кормовой флаг, дабы он во время боя не спустился, и 2) у входа в пороховой погреб положить заряженный пистолет, из которого последний оставшийся в живых должен выстрелить в погреб и взорвать корабль, если им попытается завладеть враг.

С «Селимие» был дан семафор — русским морякам предлагалось сдаться на милость победителей. «Меркурий» ответил огнем.

Двое против одного. Лишенный простора для свободного маневра, располагавший лишь двадцатью пушками бриг «Меркурий» сражался с примерным мужеством четыре часа. Капитан-лейтенант Казарский, на стесненном вражеским огнем поле, блестяще маневрировал, стараясь не подставлять борта под огонь турок и в то же самое время, губительным артиллерийским огнем, наносил смертельные удары по линейным кораблям противника. В разгаре боя артиллеристы «Меркурия» разрушили рангоут одного из кораблей, и тот вынужден был с обвисшими, горящими парусами выйти из боя. На исходе четвертого часа непрерывного боя был основательно потрепан метким огнем и второй турецкий корабль, что заставило его, по примеру первого, ретироваться с позиции.

«Меркурий» вернулся в Севастополь с двадцатью пробоинами, из коих шесть подводных, с сильно побитым рангоутом, с пробитыми и обожженными парусами и с тремястами других различных повреждений. Мундиры и лица моряков были опалены порохом, но каким же восторгом были наполнены сердца, как горели глаза. Даже тяжелораненые забыли на время о своих ранах и с жаром рассказывали друзьям, как они били турок.

Мужество, отвага и воинская удаль — вот что оставлено потомству в пример!

Ну, а что будут знать о доблести, мужестве гвардейцев эскадренного миноносца «Сообразительный» наши потомки?

Движущей силой положительного примера человечество пользуется со времен легенды о Прометее и дальше будет пользоваться, даже если удастся создать машину с мозговыми клетками. Машина будет помогать человеку, будет удивлять его своей нечеловеческой работоспособностью, но она не заставит его броситься в огонь и

сгореть во имя высших идеалов. А пример — я имею в виду воинский или нравственный подвиг — всегда позовет человека, как тайный властный голос.

Ходатайствуя о сохранении своего корабля для потомства, ветераны «Сообразительного» показали образцы гражданственности. Рассказ об этом заслуживает отдельной повести. К сожалению, я не могу сейчас на это рассчитывать и поэтому остановлю внимание лишь на некоторых фактах и событиях.

Осенью 1944 года Ворков сдал эскадренный миноносец «Сообразительный» новому командиру, капитан-лейтенанту Кириченко, а сам принял начальство над 1-м дивизионом эсминцев. Стало быть, пошел на повышение. Через год он принимал в Вильгельмсгафене доставшийся Советскому Союзу в счет репарационных платежей крейсер. Потом ушел в Военно-морскую академию. Затем появились новые должности, новые звания, новые моря и широты, но все это время, пока он шел вверх по служебной лестнице и, наконец, получил сплошной золотой погон с черным паучком — звездой контр-адмирала, он не раз вспоминал «Сообразительный» и его экипаж: на других кораблях ему иногда не хватало его вышколенных, дисциплинированных, с полуслова понимающих, что от них хотят, матросов и старшин.

Однажды контр-адмирал Ворков, находясь на отдыхе на Южном берегу Крыма, заглянул в Севастополь. И надо же было судьбе так распорядиться — в гавани стоял «Сообразительный»!

Посещение корабля и оказанная ему там теплая встреча так встряхнули контр-адмирала, что он решил начать розыск всех, кто служил на «Сообразительном» с декабря 1940 года, когда он принял корабль, и тех, кто проходил службу на корабле позже.

Возвратясь в Ленинград, он написал свыше пятисот писем. Отправляя их, бывший командир «Сообразительного» не рассчитывал на широкий отклик. Однако ответный поток писем ошеломил его. Не ответили лишь те, кто переехал на другое место жительства либо погиб, о чем контр-адмирал не знал — во время войны много матросов ушло с корабля в морскую пехоту.

Переписка выросла до невероятных размеров, она составила несколько пухлых томов. Воркову писали со всех концов страны: с юга, с севера, с Дальнего Востока, с Волги, из крупных промышленных центров, из Донбасса, с Урала и даже из Арктики.

Забегая вперед, скажу, я видел папки с тщательно вшитыми в них письмами матросов, старшин и офицеров, служивших с Ворковым на «Сообразительном».

Контр-адмирал живет в Ленинграде в районе Черной речки, недалеко от места, где Дантес убил Пушкина. Место это уже неузнаваемо: тут стоит большой поселок новых домов, типа знаменитых Черемушек, так чуждых строгой классической красоте ленинградской архитектуры.

В квартире Воркова только что не слышно шума морского прибоя, а так все пронизано «свободной стихией»: на стенах фотографии корабля, моря и самого адмирала еще в прежних званиях — молодого, белоусого, подбористого и даже на фотографиях неспокойного, этакого неседяки, все бы что-нибудь делал он!

Тут и знакомый уже нам большой снимок карты Черного моря с тонкими линиями — следами боевых походов «Сообразительного». Под картой тяжелое, обитое темной дубленой кожей кресло, и тут же сверкающий иллюминатор в медном ободе, на меди гравировка. Затем на подоконнике металлическая чушка — это кусок киля «Сообразительного».

А божница, та самая, в которой на корабле всегда ждет гостей графинчик, увезена на дачу. Ну, еще телефонный аппарат, стоявший в командирской каюте, и еще кожаный реглан, в котором столько проведено дней и ночей во время войны!

В темном дубовом, обитом кожей кресле контр-адмирал работает. На столе модели кораблей и конечно же на главном месте — модель «Сообразительного». Потом еще чернильный прибор сложной композиции из морских символов: якорей, кнехтов, пушек — все это сделано руками изумительнейших мастеров флотских и преподнесено «бате».

Я люблю квартиры моряков — в них, как в большой морской раковине, слышится шорох морской воды и стоит запах моря, чуть солоноватый и слегка йодистый.

У контр-адмирала хорошая библиотека, через стекла книжных шкафов видны на обложках паруса и пышные рангоуты. На настенных коврах — палаши и кортик. В углу — гильзы от снарядов... Много различных сувениров в квартире Воркова, и, показывая их, он испытывал заметное удовольствие.

Контр-адмирал налил мне в небольшую стопку водки и предложил выпить за старую дружбу, за победу в тяжелой войне с фашизмом, во время которой мы познакомились,— словом, за все то, о чем я уже рассказывал.

Наконец контр-адмирал открывает дверцы одного из шкафов. Показываются корешки толстых папок. Все они аккуратно перевязаны тесемочками. Ворков сияет.

— Вот! — говорит он.— Это все письма матросов, старшин и офицеров «Сообразительного». Настоящий клад! Почитайте!

Письма. Несколько сот почерков. Графологу было бы над чем поработать — столько характеров!

Сажусь в кресло, привезенное из Севастополя с «Сообразительного». Раскрываю папку. Большие часы в столовой отбивают время. Их бой, звучный, с протяжным пением, напоминает бой корабельных склянок. Чтение увлекает, хотя это и не роман. Тем не менее это литература, своеобычная, конечно, еще не имеющая права гражданства, хотя в мировой литературе живут блестящие образцы романов, написанных в форме писем. Не адюльтерных романов, а философских.

Достоинство писем, лежащих передо мной, в том, что они полны жизни. Почти каждое письмо — это либо судьба человеческая, либо увлекательная новелла о дружбе, морской доблести, о чести, верности долгу,— словом, все, без чего нет настоящей литературы, которая порой относит себя к разряду настоящей лишь потому, что называет себя художественной.

В письмах нет того, что мы называем художественностью. Перед нами всего-навсего короткие исповеди, написанные горячим, полным искренности сердцем.

Мне очень захотелось взять в свою книгу несколько писем. Ворков охотно согласился предоставить их мне. И я это сделаю с удовольствием потом, позже, потому что еще «ни один всадник не приходил к финишу раньше своей лошади», а я ухитрился с помощью весьма прими-

тивного литературного приема забежать несколько вперед. Задерживаться тут дольше уже опасно, литературный прием начинает мстить — ведь я же оставил людей на катере перед останками «Сообразительного» в куту бухты, у причала, который зовется так же неприятно, как и соответствующий цех на бойне,— р а з д е л о ч н ы м. Да! Тут-таки разделывают на куски то, что совсем еще недавно было грозным и славным оружием.

На катере бывшие матросы и старшины «Сообразительного». Они уже лет двадцать тому назад покинули свой корабль и пустились в плавание «среди хлебов спелых, среди снегов белых», либо спустились в шахты, либо дружно работают в цехах заводов,— словом, это уже закаленные люди, через все прошли, а вот не могут без слез смотреть на то, как умирает их корабль! Не могут!.. Да и сам бывший командир «Сообразительного» контр-адмирал Ворков вдруг словно бы забыл, что он должен быть всегда примером для экипажа, опустил голову и грустно смотрит на корму «Сообразительного».

Я пытался представить себе, что делается у контр-адмирала на душе, для него не просто эсминец уходит в небытие, не просто перестает существовать физически, в конце концов и мы все уходим в пыль, но корабль еще и уносит с собой какую-то часть души.

Контр-адмирал снял шитую золотом фуражку с огромным, как иконостас, крабом, и ветер забегал в его седых волосах.

Ворков еще не стар, седина — одна из самых крепких наград войны.

Сколько же труда, терпения, волнений было вложено в розыск бывших матросов, старшин и офицеров «Сообразительного»! Над каждым письмом сидел и думал: а жив ли тот, кому он пишет, и как откликнется, и откликнется ли?

...Первым отыскался старшина Николай Кушнаренко, бывший командир группы управления. Отслужив на флоте, Кушнаренко не вернулся к «дымам отечества» на Кубань, а остался в Севастополе, женился и пошел снова служить флоту, но теперь уже в качестве вольнонаемного.

Кушнаренко стал душой всего дела. Благодаря его

энергии были разысканы восемьдесят три члена экипажа «Сообразительного». И когда был брошен клич, все восемьдесят три, купив на свои кровные билеты, махнули в Севастополь. На вокзале ветеранов встречали сам «батя» — контр-адмирал Ворков и председатель Севастопольского комитета ветеранов Великой Отечественной войны гвардейского эсминца «Сообразительный» гвардии старшина запаса Николай Васильевич Кушнаренко с друзьями по службе, осевшими после демобилизации в Севастополе.

На вокзале всякие сцены бывают, но чтобы мужчины целовались, обнимались и еще плакали — такого в Севастополе еще не видывали.

На «Сообразительном» ветеранов встретили как самых дорогих гостей. Довольные, радостные разъезжались по домам. На прощанье поклялись: как бы ни было сложно или трудно, но обязательно встречаться.

С каждым годом круг ветеранов расширялся — письма летели по всей стране. Было разыскано уже двести семьдесят человек, и в пятнадцати городах возникли комитеты ветеранов «Сообразительного».

В Севастополь на очередную встречу ветеранов прибыло двести двадцать человек — две трети бывшего экипажа эсминца! К сожалению, их просьбе о сохранении «Сообразительного» на вечные времена и превращении его в музей славы было отказано, и корабль был поставлен на разделку.

Съехавшиеся со всего Союза в Севастополь ветераны «Сообразительного» решили торжественно передать гвардейский флаг новому кораблю, которому было присвоено имя «Сообразительный».

Для торжественного акта на старом, обшарпанном корабле, уныло стоявшем в очереди на разделку, была поднята священная гвардейская реликвия, и взятый на буксир корабль-ветеран отправился в последний, двести девятнадцатый поход.

Он был кратким, этот поход, и в истории «Сообразительного» боевого значения не имел. Но зато какое до слез волнующее впечатление произвел этот акт на ветеранов!

Вот как это было.

Старый корабль — гордость «дивизиона умников», гвардейский миноносец — перед последним походом стоял у причала, недалеко от разделочной площадки, зава-

ленной ржавыми листами стали, частями разрезанных кораблей, и ждал своей очереди на разделку. К нему шустро подошел буксир, завел стальной трос и потащил. В то же самое время у Графской собрались свыше двухсот ветеранов. Шумно переговариваясь, вспоминая дела давно минувших дней, они ждали портовый пассажирский катер, который должен был доставить их к старому «Сообразительному».

Катер скоро подошел, по-севастопольски быстро и организованно с него сошли пассажиры, и их места заняли ветераны.

Даже и теперь, спустя годы после этого похода, контр-адмирал Ворков не может без волнения рассказывать о тех минутах, когда он подошел на катере к «Сообразительному». Бывшие офицеры уже выстроили бывших матросов и старшин. Конечно, это были уже не те ладные, стройные, загорелые — один к одному — матросы военного времени, но как только прибывший на адмиральском катере Ворков поднялся на борт и произнес: «Здравствуйте, товарищи гвардейцы!», в ответ ветераны так гаркнули, словно бы и не было многолетнего перерыва в военной службе. Контр-адмирала даже слеза прошибла.

— Вы представляете себе,— говорил он мне,— что творилось в душе каждого матроса, старшины и офицера!.. Многим не верилось, что они снова на своем корабле! Эх! Надо было вам видеть это! Я и сейчас как вспомню, так сердчишко заколотится... Да-а, это были неповторимые минуты!.. Представляете: обхожу я строй, судно чуть-чуть покачивается, буксир уже тащит нас, все навытяжку — хоть не своим ходом, но идем! Понимаете — идем! И гвардейский флаг полощется! Это ль не чудо!.. Да что вам рассказывать! Вы же сам моряк и понимаете с полуслова, что это значит.

Он примолк на время, как будто разыскивал в обширных кладовых своей памяти самое важное, и затем сказал:

— Не знаю, как других командиров, но меня всегда волнует, когда корабль, покидая базу, пересекает внутренний севастопольский рейд.

— Не знаю, вокруг света не хаживал, есть ли где на нашей планете другой такой рейд! Сколько раз хожено из базы, обратно в базу, а каждый раз все по-новому, хотя кажется, с завязанными глазами тут можно ходить,

а вот стоишь на мостике и тебя всего поднимает... Хочется что-то большое, необычное сделать.

Понимаете, с каким настроением я шел, обходя строй, с юта на бак? Я говорил вам, для чего был наш поход на рейд? Там должна была произойти встреча с новым «Сообразительным», прибывшим на этот торжественный акт. Да. Так дальше было вот что.

Обошел я строй, взял микрофон. Тишина. «Дорогие друзья! — говорю.— Нам сегодня предоставлено право в честь передачи гвардейской эстафеты новому «Сообразительному» выйти в свой последний, 219-й, тоже боевой поход!»

Сказал это и подал команду:

«По местам стоять, с якоря сниматься! Боевая тревога!»

Обыкновенная команда. Сколько раз подавал ее и, признаюсь, не очень-то переживал, а тут как кинутся мои сорокалетние матросы и старшины по местам боевой тревоги, будто ветром их сдуло! Вот тут-то и заекало ретивое... Да, Петр Александрович! Сказать откровенно — для командира корабля нет большего счастья, чем встреча с экипажем своего корабля! А тут две встречи: командира с экипажем и двух кораблей — двух «Сообразительных». Встретились, как Тарас Бульба с детьми. Не хватало, чтобы старый миноносец сказал новому:

«А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой!»

Так, кажется, у Гоголя? С удивлением смотрели на эти горы металла, на тщательно закрытые установки мои матросы. Прошли мы друг другу навстречу, откричали на полный регистр «ура», передали на новый корабль гвардейскую эстафету и разошлись.

Новый «Сообразительный» развернулся и ушел под нашим гвардейским флагом в море. А мы обратно на буксире. Все это заняло несколько минут, но сколько же было для нас в этих минутах!

Шли мы обратно через внутренний рейд, мимо города. Может быть, на нас никто и не смотрел, а если и видел, то не понял, что происходит; в Севастополе не диво, когда тащат корабль на буксире или с кораблей при встрече прокричат что-то. База с самого восхода солнца и до спуска флага живет своей для многих непонятной жизнью. Но мы за эти полтора часа, пока буксир тянул нас к месту последней стоянки, передумали такое, что и не рассказать!

Потом спустя время я один отправился на эсминец (он уже стоял у разделочной, и его начали резать).

Ну что сказать вам? Пришел. Сел на палубе и с трудом держусь, чтоб не дать реву. Посидел, поплакал, так сказать, без слез, попрощался с кораблем, затем зашел в свою, то есть бывшую свою, каюту, попросил рабочего вырезать мне два иллюминатора, отвинтить кресло и письменный стол и снять «божницу» (из которой я так и не угостил вас) и увез все это в Ленинград.

...Корма эсминца, позеленевшие гребные винты. Огонь автогена... Почти на глазах исчезает корабль. Контр-адмирал молча водружает на голову шитую золотом фуражку и делает старшине катера знак.

Послушный рулю катер, вспенивая воду, лихо разворачивается и идет к Графской пристани.

На землю стремительно, по-южному падает закат. Низкое, красное, озолоченное солнце бьет в глаза.

Катер проскакивает мимо кораблей, стоящих на бочках, и, купаясь в червонном золоте, подваливает к Графской.

Я знаю много морей, бывал под разными широтами, видел золотой пояс Ориона и набранный из крупных, чистой воды алмазов Южный Крест; видел любимца кисти и пера — Неаполитанский залив, знаю доки Лондона, Бомбея и Антверпена, порты Гавра, Гамбурга, Стокгольма, Мурманска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского... и ничто не волновало так сердце, как Северная бухта. Чтобы испытать это волнение, чтобы отдать бухте и стоящему на ее берегах городу свое сердце, недостаточно пройти по ней или прийти к ее берегам. Даже на зорях, когда природа-художница бог знает что делает с нею!

В этой бухте живет дух матросский! Глядя на боевые корабли, так и хочется сказать: «Здесь русский дух! Здесь Русью пахнет!..» Да, все здесь, на этой воде, венчано на вечность, начиная с матросов Ушакова, Лазарева, Нахимова, а за ними матросов Шмидта, затем бессмертных революционных моряков и, наконец, матросов Великой Отечественной войны.

Матросы Великой Отечественной войны! Сегодня их особенно много в Севастополе. Шестидесятые годы — годы праздников у многих кораблей и частей Черноморского флота. Одни отмечают «круглую дату» с момента подъема флага, другие — награждение орденом, третьи — присвоение гвардейского звания. Севастопольские гостиницы занимают то подводники, то морские летчики, то катерники, то морская пехота.

Теперь, в 1968 году, пришла очередь ветеранов «Сообразительного» — исполнилось двадцать пять лет с того дня, когда на корабле был поднят гвардейский флаг. Большой праздник! Он сразу возвращает нас к зиме 1943 года — эсминец подходил к Батуми. На мостике, как всегда, был сам командир корабля, Сергей Ворков, произведенный к этому времени в капитаны III ранга.

Когда до порта оставалось, как говорится, два шага, на мостик взбежал штурман старший лейтенант Иванов и быстро выпалил:

— Товарищ капитан III ранга, как только мы минуем боновые ворота порта, наш миноносец пройдет пятидесятитысячную милю.

Читатель может не мучиться переводом миль в километры, скажу сразу — это девяносто две с половиной тысячи километров. Они пройдены, как писала тогда газета «Правда», «сквозь минные поля, сквозь штормы и туманы, при бомбежках с воздуха, интенсивном обстреле вражеских береговых батарей».

Выдающаяся победа — пятьдесят тысяч миль без заводского ремонта!

Второго марта 1943 года адмирал Кузнецов издал приказ о присвоении эскадренному миноносцу гвардейского звания. Таковы факты истории.

...На корабельный праздник прибыло свыше трехсот человек. К сожалению, не все приехали — к весне 1968 года разыскано уже триста восемьдесят человек! Конечно, и тех, что прибыли, размещать было крайне трудно.

Председатель Севастопольского комитета ветеранов Великой Отечественной войны эсминца «Сообразительный» гвардии старшина Николай Кушнаренко забыл о сне и действовал под девизом: «нас мало, но мы в тельняшках», и ему удалось устроить всех. Даже и тех, кто приехал с женами и детьми.

Между прочим, на праздник приехали и те, на кого не очень-то рассчитывали. Я был свидетелем бурного шква-

ла аплодисментов, который возник при появлении на сцене безногого матроса, того, которого я впервые увидел на пляже и считал уже потерянным из виду. А когда он, красный от волнения и чести, оказанной ему ветеранами, поднялся на стул и сел за стол президиума, то матросский клуб вздрогнул, как при бомбежке,— хлынула новая штормовая волна аплодисментов. Она перекатывалась по залу как горное эхо, возникшее в результате обвала. Он сидел, полный торжества и смущения. Ордена и медали на его широкой груди колюче посверкивали от прямых и резких лучей перекальных ламп, которые то и дело зажигали неутомимые фотокорреспонденты.

Зал успокоился ненадолго — появился контр-адмирал Ворков, он нес на сцену гвардейский флаг «Сообразительного». Встреча этой воинской святыни была такой, что зал стонал и дрожал от грома оваций, ветераны разом встали и стоя аплодировали, и на их лицах было такое выражение, как будто им предстояло после этих громовых аплодисментов немедленно идти в поход, найти врага и, какое бы ни было у него превосходство, разгромить его!

...Поцеловав край флага, Ворков передал его почетному караулу — стройным матросам с противолодочного корабля «Сообразительный», а сам сел за стол президиума, который и до его прихода уже играл золотом погон и нашивок.

После краткого доклада выступали ветераны. Они говорили очень хорошо и преподносили Севастопольскому комитету ветеранов «Сообразительного» подарки. Бывшие матросы и старшины стали после войны инженерами, мастерами, начальниками цехов и забоев, капитанами, директорами заводов, учителями и партийными работниками.

Председательствующий назвал Вологина. К трибуне подошел красивый, в расцвете сил, загорелый мужчина. На груди пятиугольный золотой огонек горит.

Мой сосед по креслу аж подпрыгнул:

— Шоб меня!.. Да это никак Володька Вологин — юнга наш корабельный!

На него никто не зашикал — большинство не менее, чем он, было изумлено; это действительно был Володька Вологин. Ветераны помнят, как однажды осенью 1941 года Ворков привел на корабль грязного голодного оборванца с блестящими от любопытства, радости и какого-то

затаенного страха глазами. Краснофлотцы приняли его в свою среду, как некогда это сделали матросы Станюковича, приняв в свою семью Максимку.

Много в годы войны в портовых городах Черного моря толкалось около кораблей бесприютных, оставшихся в результате бомбежек круглыми сиротами мальчишек. Они с надеждой посматривали на моряков. Моряки жалели ребят и брали на корабли. Тут мальчишки росли и закалялись для будущей деятельности. На эсминце вырос и сменивший Вологина у трибуны Борис Корженевский— кандидат технических наук.

Мой сосед первый раз приехал на встречу ветеранов «Сообразительного», и для него все было в новинку.

— Ах, едрит твою! — восторженно восклицал он, поталкивая меня локтем.— Чуешь, корреспондент, куда хлопцы-то наши махнули! Да у нас этих юнгов с десяток было, и ежели все так... Сильна советская власть!..

ХРАБРЫЕ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ГОРЫ

Нет, лучше с бурей силы мерить,
Последний миг борьбе отдать,
Чем выбраться на тихий берег
И раны горестно считать.

Адам Мицкевич

Праздник гвардейцев «Сообразительного» закончился поздно. На другой день мне предстояло встретиться с безногим.

Я уже знал, что его зовут Анатолием и фамилия его Голимбиевский, и то, что живет он в Ленинграде, женат и даже имеет внука.

«Анкета» раззадорила, по старой репортерской привычке хотелось поскорей встретиться и вызнать, что он делал на «Сообразительном» во время войны, где ранен,— ведь, как известно, на корабле раненых не было за всю войну,— и затем, что делает теперь?

Последний вопрос, пожалуй, был самым важным, потому что тем, кто остался без ног, судьба для карьеры не предоставляла широкого выбора. Обладавшие музыкальным слухом учились игре на аккордеоне и затем уходили в детские сады: дети в круг, а ты перебирай клавиши: «В лесу родилась елочка». Либо в санатории сопровождать музыкой физзарядку.

Если б я не знал, что случайность лишь тень закономерности, я бы, пожалуй, произнес: «Да здравствует случайность!»

Наш разговор с Голимбиевским оказался беглым и не сразу плодотворным: из записей, которые я сделал, возвратясь в гостиницу, мне еще многое было неясно, нужно было поговорить дополнительно, но он уезжал домой.

Лишь через два года, в феврале 1970 года, я смог поехать в Ленинград.

Судьба Анатолия Голимбиевского неповторима, как рисунок с оттиска большого пальца левой руки каждого человека. Чтобы понять по этому рисунку, почему так, а не иначе складывалась его судьба, нужно постигнуть натуру этого человека.

...Нам мешал разговаривать на эту тонкую и очень трудную тему внук Голимбиевского. Крепкий, как орех, мальчонка, с доброй примесью грузинской крови, непоседа с упругим взглядом карих, так напоминающих спелые оливки глаз, он все старался повиснуть на руках у еще молодого деда и мешал ему, лез в лицо.

Дед добродушно, как старый лев, отбивался от непоседы внука, норовившего загребисто, крепкой как сталь ручонкой ухватить деда то за нос, то за выбритый до блеска упрямый подбородок.

Дед в конце концов сдался. Он сунул на руки бабке, сидевшей у окошка с вязаньем, неспокойного, крутившегося, как ртуть, ребенка, и мы начали говорить.

Голимбиевский не впервые ведет беседу — журналисты налетают на него в канун военных праздников лихо, как разведчики на «языка».

О нем уже немало написано, но преимущественно о военных подвигах, а его дела на «гражданке» еще ждут автора.

Не всякий человек может дать оценку своим поступкам, особенно когда поступки перерастают в подвиги.

Голимбиевский скромен, он не решается дать не только оценку, но и даже интонационную окраску поступку или факту из своей биографии.

О нем очень трудно писать, потому, что он противится, чтобы «выставляли его героем».

— ...Зачем? Что я сделал особенного? О других лучше пишите!

И вот я мучаюсь. Напишу фразу, прочту и зачеркиваю. Порой берет отчаяние: лист за листом летит в корзину, а от цели я так же далек, как и несчастный Сизиф. Что ж делать? Таков труд литератора. И я думаю: если б он был иным, то есть легким, то вряд ли чего-нибудь можно было достичь с помощью слова.

Мой друг писатель Н. говорит: «...Не надо сдаваться! Как бы тебе ни было трудно — все равно пиши!»

Все равно пиши! Это почти лозунг для литератора. Что ж, литератор — человек, и ему тоже нужны лозунги, свои, конечно, профессиональные. В наш век человек без лозунга — что птица без крыльев.

Но для того чтобы писать, мало письменного стола, бумаги, чернил и лозунгов. Кроме этой «техники» нужно еще кое-что, ведь пищей для мыслительного процесса служат лишь факты, или, как мы говорим, материал. Вот у меня этого-то добра и не хватало.

Голимбиевский противится, чтобы его «выставляли героем», и многие факты своей биографии полагает теперь уже малозначащими и то и дело бросает: «Ну, об этом не стоит говорить». А когда начинаешь дотошно, почти как следователь расспрашивать, что это за факт и почему о нем не стоит говорить, выясняется, что если б я не проявил настойчивости, то лишился бы весьма важной подробности.

Виктор Шкловский как-то во время беседы с молодыми литераторами сказал, что писать — все равно что на тюленя охотиться.

Как же охотятся на тюленей?

Садится охотник на льдине у лунки и ждет, когда тюлень высунется воздухом подышать. Тут охотник и приобретает его.

А если не высунется?

Это, конечно, детский вопрос — тюлень без воздуха не может, обязательно высунется. А вот когда?

Бывает так, что охотник сидит у лунки целый день. Мороз его обрабатывает, а то и снег, да такой устегливый — хлещет в лицо мелкозернистыми да тяжелыми, как свинец, струями, и еще ветер гнет беднягу к самому льду, Через все проходит охотник. На то и охотник!

Писатель тоже охотник, но в отличие от тюленей слова не всегда подплывают к его «лунке». Я имею в виду нужные слова.

В наше время в охоте на тюленей есть какие-то новшества: на промысел ходят мощные ледоколы, над льдами парят вертолеты, радио связывает охотников с поисковыми группами; а в ремесле писателя новшеств нет. Всякий раз приходится начинать заново. И слова подбирать как мозаичных дел мастер, вооружившись терпением, порой чуть ли не на зуб пробовать.

...Внук вырывался из рук совсем еще молодой для этого звания бабки. Он весело попискивал и потанцовывал на ее коленях, то и дело роняя на пол безаппетитный для него апельсин.

Я глядел на мальчонку, затем переводил глаза на деда и думал: что же я буду делать, когда сяду за письменный стол?

Я вижу деда, бабку и внука в новом, чистеньком, теплом доме. Нехвастливый ленинградский морозец тонким, белым штрихом стеклографика нанес легкие, талантливые ажуры на окна. Стоит февральское утро тысяча девятьсот семидесятого года, а я должен представить себе далекие сороковые годы, когда ни Анатолий Голимбиевский, русский парень из Ленинграда, ни грузинская девушка Мирца Каландадзе (дед и бабка) не имели понятия друг о друге. Ничто тогда не было за них — ни время, ни пространство: Анатолий Голимбиевский жил в Ленинграде, а Мирца в Грузии.

И вот же случилось так...

Как и большинство мальчишек портового города, Анатолий Голимбиевский довольно рано попал в плен к морю. Хотя у берегов Ленинграда не само море, а всего-навсего мелководье Маркизовой лужи, но однажды, увидев лужу во время штормовой погоды, когда волны яростно набрасывались на берег и терзали его свирепой и в чем-то очень красивой ухваткой, он понял, что без моря жизни ему не будет.

Детство и юность его пали на то время, когда поэты писали: «Три танкиста — три веселых друга» и «Любимый город может спать спокойно».

Все это не очень задевало Анатолия Голимбиевского, но когда в Неву втягивались боевые корабли Балтийского Краснознаменного флота и по набережным шли колонны краснофлотцев, он забывал обо всем.

Была у него еще одна страсть — музыка. Еще неизве-

стно, кем бы он стал, если б ему предложили на выбор: море или музыка.

Тогда он не предполагал, каким трудным будет его путь и к морю, и к музыке. Надо было учиться, и он хорошо учился, но, увы... недолго — отец оставил семью, жену и пятерых детей. Прокормить эту ораву на жалкий оклад уборщицы, который получала мать, невозможно. Прощай, средняя школа, здравствуй, завод.

О том, что у Анатолия редкий талант к мастерству, было известно еще и раньше — дома не было предмета, который бы он не сумел починить. На заводе он быстрее других стал слесарем-инструментальщиком. Кто работает на металлическом производстве, тот знает, что специальность слесаря-инструментальщика требует большого мастерства.

Пришло время призыва в армию. Перед комиссией появился голубоглазый красавец атлет. Он очень волновался, хотя заранее приготовил все слова, которыми должен был убедить комиссию, что, кроме флота...

К счастью, на него раньше других обратил внимание представитель флота. Он толкнул председателя комиссии и молча пальцем показал сначала на Голимбиевского, затем на себя, и судьба слесаря-инструментальщика была решена.

Призвали на Балтике, а служить послали на Черное море. Мать была огорчена до предела — как же так, тут же свое море, свой флот есть! Зачем же гнать на Черное море! Что это, политика какая-то особенная?

Поплакала-поплакала, собрала в дорогу да и проводила в Севастополь. Пиши! Не забывай! Не балуй! Дурных людей остерегайся! С вином осторожней!

А он не жалел — все-таки Черное море не то, что Балтика. Балтика хмурая, серая. Не море — водоем. А Черное на дню сорок раз цвет меняет: то синее, то обзеленится вдруг или нальется чернотой.

...С поезда строем, разномастной командой «с вещами»,— на Корабельную, в казармы флотского экипажа. Там уже ждал цирюльник.

Неважно, что они у вас вьются, и цвет красивый, и блестят, и без волос голова черт знает на что похожа,— терпи, моряк, служба начинается!

Не вытерпишь, запомни — море слабых не любит!

От цирюльника, большеголовые, ушастые,— в баню. В руках шайка, мыльный огрызочек и мочалочка из сизаля. Если захочешь, чтоб рядом стоящий друг потер тебе спину, проси, чтобы делал это полегче, от этой мочалочки след на спине, как от наждака...

От казарм флотского экипажа до моря — рукой подать, а идти до него новичкам долго-долго: сначала в строю потопай, потом присягу на верность народу принеси, получи флотскую специальность, тогда и попадешь на море. А пока в предбаннике тебя ждет брезентовая роба с номером на нагрудном кармане — не пугайся, и через это надо пройти,— многие адмиралы современного флота не избежали этого.

Звуки горнов, свистки дудок, команды... Без команды ни направо, ни налево, и всюду строем, кроме... гальюна. Тяжело?

Вряд ли найдется человек, который бы не кривя душой сказал — нет, не тяжело. Конечно, тяжело! Порой мучительно тяжело, но надо переносить все это. Море слабых не любит! А у Голимбиевского до призыва на флот жизнь не была ангельской — дома кроме него четверо малышей, а кормить их кому? Ему да матери.

Завод с первых же дней золотой юности приучил к труду и дисциплине, поэтому ему в экипаже было сначала терпимо, а когда кончились строевые учения и он был направлен в учебный отряд, стало интересно. Он получил специальность моториста, затем назначение на новенький эскадренный миноносец «Сообразительный».

В начале своего рассказа я говорил о сложности рисунка судьбы Голимбиевского, о мечте его юности, о море, о том, что ему тогда снились корабли, штормы, штурвалы, бескозырки... В наше время это называют романтикой. Правильно. Человеку без романтики нельзя.

Рад ли он был назначению на корабль! Еще бы! Это все равно что спрашивать кавалериста о лошади — конечно, рад!..

Перед тем как идти на миноносец, пуговицы, медную бляху на ремне, ботинки — ну все надраил так, что ни пылинки, ни пятнышка не найдешь. Да и сам не из «селедочного ряда», а, как это пелось в песне того времени: «...Ты, моряк, красивый сам собою, тебе от роду двадцать

лет». Двадцать лет! С тех пор, когда было двадцать, прошло уже тридцать...

«Сообразительный» — новенький эскадренный миноносец. Дивизион, в который он входил, на флоте неофициально назывался «дивизионом умников». Это родилось из названий кораблей: «Смышленый», «Совершенный», «Сообразительный»... И командир на нем тоже новенький, еще безусый лейтенант, но строгий, не давал спуска «сачкарям»: хочешь служить на корабле — работай без оглядки на рынду, а если ты пришел на флот для того, чтобы клешем да бескозыркой форсить, тут тебе делать нечего! На флоте только якори загорают, да и то во время похода, а на стоянке и они работают — корабль за грунт держат.

На корабле были ворчуны, недовольные требовательностью командира. Голимбиевский их не поддерживал — он относился к тем натурам, которые болеют, когда нечего делать.

И все же он не ужился на корабле...

Услышав эти слова, Мирца ссадила внука с колен и посмотрела сначала на мужа, затем на меня. Казалось, что она хотела сказать, так, по крайней мере, выглядело ее лицо: «Это он-то не ужился? Да Анатолий работник — поискать! Он сутки может просидеть за работой! Да еще с песней!.. А уж товарищ... На всем белом свете — не сыщешь!»

Голимбиевский смущенно и сбивчиво начал объяснять, почему он ушел с эскадренного миноносца. Ему было неловко говорить о себе в третьем лице, да еще в присутствии жены. Он мялся, краснел. Но, как известно, моряки не отступают. Он напал наконец на нужное слово, и все стало на свое место.

Если сохранились рапорта краснофлотцев, служивших на эскадре и на кораблях вспомогательного флота Черного моря в сорок первом, то среди бумаг лежит и «слезница» Анатолия Голимбиевского с просьбой отпустить его в морскую пехоту, чтобы он мог л и ч н о сражаться с вероломно напавшими на нашу родину германскими фашистами.

С корабля он сошел в осажденной Одессе. Здесь, в причерноморской степи, под стенами эпического города, в легендарном полку морской пехоты, которым командовал соратник Кирова старый русский матрос полковник

Яков Осипов, и возникли первые штрихи того сложного рисунка, которым впоследствии обозначалась необычная и во многом исключительная судьба героя этого рассказа.

Из Одессы Голимбиевский вернулся в Севастополь в мичманке, с автоматом на груди, в бушлате, в сапогах с короткими голенищами, по которым сразу узнаешь, что он из морской пехоты. Загорелый, словно бы раздавшийся в груди, переполненный впечатлениями от смертельных схваток с врагом.

Из полка Осипова его перебросили в 25-ю Чапаевскую дивизию Приморской армии, в 164-й Отдельный артиллерийский противотанковый дивизион.

Дивизион был сформирован из моряков, способных не только останавливать танки противника, но и громить их.

После оставления нашими войсками Одессы 164-й Отдельный артиллерийский противотанковый дивизион прибыл в Крым — был выгружен в Инкермане. Отсюда артиллеристов бросили к Армянску, где положение создавалось не просто критическое, а, скорее, трагическое: до войны никто не предполагал, что враг может глубоко проникнуть на нашу территорию, поэтому известные, уже исторически сложившиеся рубежи обороны не были подготовлены к ней.

К сожалению, не были возведены и соответствующие укрепления на Крымском перешейке и под Севастополем.

Опьяненные успехами на Украине, захватив Кишинев, Киев, Одессу, Днепропетровск, Николаев, Херсон, Кривой Рог, гитлеровцы распространялись по Причерномор-ско-Азовской степи как огонь. В полной надежде на быстрый и счастливый успех они двумя языками всепожирающего пламени ринулись к Дону и в Крым.

Сильно потрепанные в семидесятитрехдневных безотдышных боях под Одессой, моряки и части Приморской армии только что свершили морской переход из Одессы в Севастополь и не успели отдохнуть, а уже надо было идти к Перекопу.

Был на исходе октябрь 1941 года. У Перекопа завязались кровавые бои.

Обе стороны несли тяжелые потери. Особенно тяжелы они были для нас — впереди ни резервов, ни тактического простора, позади ровная, как стол, степь.

Много погибло в крымских степях наших людей. Людей поистине святой чистоты и отваги. Среди них любимец и герой Одессы, командир 1-го полка морской пехоты полковник Яков Иванович Осипов.

В боях за Крым был ранен и Анатолий Голимбиевский — ему перебило левую ключицу и тяжело ранило правую руку.

С позиций был доставлен в Севастополь, а отсюда санитарным транспортом на Большую землю.

Долго пришлось залечивать раны: вывезенный с поля боя 21 октября 1941 года, он лишь в начале 1942 года вышел из госпиталя.

В прежнюю часть не попал, а был определен в Новороссийский полуэкипаж. Попросился на передовую — не пустили, оставили в Новороссийске, назначили в отдельную роту по охране порта и аэродрома.

Не мог смириться с этим назначением — писал рапорта, получал отказы и снова писал. Друзья утешали — мол, на войне не ты выбираешь, а тебя дело выбирает.

Но Голимбиевский не успокоился.

Его можно было понять — лето 1942 года на Юге сложилось тяжело для нас: вскоре после оставления Севастополя пали Ростов, Краснодар, Ставрополь — горестно перечислять потери того времени,— в результате линия фронта стала длиннее на тысячу километров.

Две сильнейшие группы армий, закодированных гитлеровской ставкой первыми буквами алфавита, неудержимым валом катились по степным просторам Дона и Кубани. Группа армий «А» на Кавказ, а группа армий «Б» — к Волге.

К 20 августа 1942 года группе армий «А» удалось занять большую часть Северного Кавказа, а ее горные стрелки поднялись на высочайшую гору Кавказа и водрузили немецкие флаги на одной из вершин двуглавого Эльбруса. Правда, эти штандарты были сорваны нашими воинами-альпинистами и водружены советские флаги.

У ветеранов войны еще и теперь сжимаются сердца при одном воспоминании о том времени. Чтобы понять их, надо взять карту и попробовать провести линию, по которой проходил фронт осенью 1942 года. Начинать надо с Севера: правый фланг тогда упирался в горный хребет Муста-Тунтури (Баренцево море), а левый — в горы Кавказа (Черное море).

К первым заморозкам линия фронта стала тугая, как тетива. В сводках Совинформбюро появились Нальчик, Моздок, Владикавказ, Марухский, Клухорский и Санчарский перевалы.

Вклинившись в горы Кавказа, немцы пытались убить двух зайцев — пробиться к Каспию и овладеть кавказской нефтью и перевалить через перевалы к Черному морю и разделаться с Черноморским флотом, который связывал их по рукам в осуществлении фантастических замыслов.

Легкость, с какой им удалось пройти от Краснодара до Моздока, вскружила голову; впоследствии, когда пришлось капитулировать на Волге и, как говорят южане, «подрывать» с Кавказа, многочисленные мемуаристы в генеральских мундирах третьего рейха, объясняя крах гитлеровских планов на Волге и Тереке, выболтали и мечты и лопнувшие надежды пройти в Турцию, а оттуда на соединение с экспедиционными войсками Роммеля и в Иран, за которым лежала так манившая их Индия.

Командование Черноморского флота еще при штурме немцами Майкопа и подступов к Туапсе сформировало несколько отрядов из моряков-добровольцев для борьбы с головорезами из 49-го гитлеровского горнострелкового корпуса, приданного 17-й армии, двигавшейся на Кавказ...

В битве в горах Кавказа особенно отличились моряки батальонного комиссара Василия Коптелова и майора Дмитрия Красникова. Коптеловский отряд был создан раньше, в нем собрались отчаянные люди: во время обороны Севастополя они не раз высаживались в тылу немцев. А однажды разведчики — это было за две недели до оставления нашими войсками Севастополя,— небольшая группа коптеловского отряда под командой старшего лейтенанта Николая Федорова вышла на сторожевом катере к Ялте. Группе было поручено разведать обстановку и дезорганизовать движение на шоссе Ялта — Севастополь.

Разведчики вышли из Балаклавы на сторожевом катере с двумя шлюпками: шестеркой и четверкой. Недалеко от места высадки командир отряда старший лейтенант Николай Федоров разделил состав бойцов на три

группы: сам пошел на шестерке, лейтенанту Мельникову поручил четверку, а мичман Попенков возглавил третью группу.

Разведчики не успели сделать высадку, как их осветили ракетами. Шлюпкам пришлось отойти от берега. Не удалась и вторая попытка. Меж тем время для скрытной высадки было потеряно, решили возвращаться. Двинулись, и в это время на море пал туман. Катер словно бы растворился в нем: шлюпки походили-походили и, не обнаружив катер, двинулись к Севастополю. Туман вскоре рассеялся — наступил рассвет, и шлюпки были обнаружены катерами противника.

Федоров скомандовал пулеметчикам: «Цельтесь по рубкам!»

Так стрелять, как это делали пулеметчики Иванов и Панкратов, умели немногие: скоро один из катеров потерял ход и завертелся на месте. Второй катер спешно взял на буксир подбитый, и они быстро удалились.

Сколько радости было на шлюпках, но... в это время на горизонте, разбрызгивая белые пушистые усы, появились торпедные катера.

С ходу они открыли огонь. Однако не зевали и разведчики — скоро отвалили и торпедные катера. Это были хвастливые итальянские вояки из так называемой «десятой флотилии», которой командовал небезызвестный фашист В. Боргезе. Только полное израсходование боезапаса вынудило разведчиков вернуться в Балаклаву.

Мичману Попенкову больше повезло — его группа высадилась в районе Ялты. К сожалению, при переходе через линию фронта по суше часть разведчиков не дошла до Севастополя. А те, кто вернулся, свершили настоящий подвиг. Старший лейтенант Федоров, лейтенант Сергей Мельников, а также шедшие с ними на шестерке и на четверке разведчики и вся группа Попенкова были награждены орденами и медалями.

Батальон майора Красникова, бывшего начальника физподготовки Черноморского флота, человека гигантского роста и медвежьей силы, также был укомплектован моряками-добровольцами. Среди них оказалось немало чемпионов по разным видам спорта. С чьей-то легкой руки отряд Красникова был прозван «сборной флота».

В эту «сборную» и попал Анатолий Голимбиевский. В батальонах морской пехоты, перед которыми командование поставило задачу закрыть для гитлеровцев перевалы Кавказского хребта и сбросить их со склонов гор, собрались люди, которые могли вытерпеть холод, голод, одиночество и нечеловеческое напряжение. Когда они шли в атаку, даже танки пятились назад!

Анатолий Голимбиевский был назначен в роту автоматчиков. Он отличился в дерзких горных боях, был награжден орденом Красной Звезды. В одном из тяжелых боев был ранен и снова попал в госпиталь.

В декабре—январе, когда над Шестой армией в Сталинграде нависла угроза пленения, группа армий «А» начала поспешное отступление с Кавказа. Отступление было похоже на бегство. В связи с этим отрядам моряков нечего было делать в горах. Из госпиталя Голимбиевский уже не вернулся к Красникову, а был направлен в отряд моряков, который срочно перебрасывался в фальшивый Геленджик.

Здесь, по данным разведки, немцы намеревались высадить десант, с тем чтобы отрезать настоящий Геленджик и Кабардинку и части, державшие оборону побережья на седьмом километре от Новороссийска, в районе цементных заводов.

Фальшивый Геленджик от настоящего лежит в десяти километрах, у так называемого Анненского, или «голодного», шоссе.

Отряд расквартировался в бывшем санатории. В санатории хорошо отдыхать, но не ждать вражеский десант. Сидение в санатории оказалось недолгим — вражеский десант не состоялся.

К этому времени на побережье прибыл отряд моряков, которым командовал майор Цезарь Куников — бывший редактор газеты «Машиностроение». Человек интеллигентной профессии, он и в новой роли оставался интеллигентом: людей подчинял не окриком, а примером собственного бесстрашия, собранности и преданности делу. Этому отряду и предназначалась высадка в тылу врага.

Костяк батальона Цезаря Куникова составляли собранные майором матросы разных отрядов.

Воспитанные на романтике и традициях безумной храбрости революционных моряков, они плохо знали искусство войны на суше, презирали расчетливость и осмот-

рительность — все брали на «полундру», на распахнутый бушлат, на атаку в рост.

У Цезаря Куникова почти не было времени научить их воевать грамотно, расчетливо, без «полундры»,— осенью 1942 года обстановка на Кубани была тяжелейшей, и морякам с ходу пришлось идти в бой. Однако первый боевой экзамен с новым командиром они блестяще выдержали под станцией Курчинской, а под Темрюком вместе с другими морскими отрядами разбили три румынские кавалерийские дивизии. В этот батальон, в группу разведки, и попал после фальшивого Геленджика Анатолий Голимбиевский.

Задача у отряда Цезаря Куникова была ответственная и трудная: нужно было высадиться в тылу врага юго-западнее Новороссийска, захватить плацдарм и подготовить его к приему армейских частей.

Сама по себе высадка через бухты в зимнее время — операция чертовски сложная. Но все это цветочки в сравнении с тем, что могло ожидать десантников в случае штормовой погоды или боры — этого местного метеорологического зверя.

Темные силы природы могли отрезать десант от Большой земли как ножом! А отрезанному от своих десанту ничего не остается, как зарыться в землю и сидеть в глухой обороне. А разве для этого затевалась операция? Нет!

Времена «отходов на новые рубежи», времена «вынужденного оставления крупных населенных пунктов под напором превосходящих сил противника» кончились!

Десант высаживался в ночь со второго на третье февраля 1943 года. В этот день на Волге в Сталинграде капитулировала трехсоттысячная армия и сдался на милость победителей ее командующий фельдмаршал Паулюс.

Настали времена наших наступлений и побед!

И все же, несмотря на Сталинград, враг был еще силен, и до полной победы еще длинна дорога, и, хотя радио гитлеровской Германии после падения Сталинграда без перерыва в течение нескольких дней передавало похоронный марш Зигфрида, печальную песнь «Был у меня товарищ» и «Гибель богов», в других местах под треск

барабанов гитлеровцы бросались в атаки, пытались вернуть потерянные позиции.

Перед посадкой на десантные суда Цезарь Куников приказал построить батальон. Он осмотрел снаряжение и вооружение десантников, затем спросил, нет ли каких претензий. Матросы молчали. В ватной куртке-стеганке, с автоматом на груди и в шапке-ушанке, надвинутой на лоб, майор Куников прошелся перед строем.

— Не может быть,— сказал он,— чтобы никто из вас не имел перед боем каких-либо пожеланий!.. Может быть, что-нибудь забыто, не учтено? Лучше сказать сейчас, чтобы не жалеть потом.

Матросы продолжали молчать. Куников уже готов был распустить строй, как вдруг пулеметчик Потеря поднял руку. Куников дал «добро». Потеря шагнул вперед:

— Товарищ майор! Бойцы претензию имеют. Они рассуждают о следующем: не слишком ли много назначено брать с собой бакалеи — сухарей и концентратов?.. Не лучше ли вместо бакалеи взять еще патронов?

Куников поднял брови и улыбнулся:

— Это все?

— Все! — гаркнул Потеря и добавил: — Просим разрешения облегчить паек и добавить боезапаса. С патронами мы разобьем врага и все что надо добудем на месте.

Куников прошелся взглядом по строю и увидел по лицам, что речь Потери пришлась всем по душе, однако спросил:

— А как остальные товарищи думают?

Строй хором ответил:

— Просим, товарищ майор, убавить пищевое довольствие и увеличить боезапас.

— Добро! — ответил Куников и дал команду распустить строй.

...Февральская ночь темна. Вода в море холодна, как в аду. Десантные корабли шли без огней. Штурманский расчет был точен: подошли к берегу в назначенное время и высадились.

Первой выбросилась группа разведки. Голимбиевский шел в эту операцию с какой-то особой приподнятостью. Тут-то, казалось ему, он и повоюет по-настоящему. Сильный, бесстрашный, красивый, он легко сошел

с катера и поднялся по обрывистому крутому берегу...

Я слушаю его рассказ и время от времени смотрю на Мирцу и думаю: сколько раз слушала она рассказы мужа о высадке десанта, о том, как их ослепили прожекторами, об автоматных очередях, о том, как гранатами они выводили из строя вражеские пулеметные гнезда, блокировали и брали доты. И всякий раз что-то заставляет ее бросать дело и слушать, словно все это внове для нее. С тем же вниманием она слушала, когда он рассказывал мне, как в октябре 1941 года Отдельный артиллерийский противотанковый дивизион отходил от Перекопа к Севастополю, как гитлеровцы бомбили дивизион, как тяжело было снимать орудия с позиций и на руках вытаскивать из воронок, из глубоких обочин дороги, как стояли насмерть у Мекензиевых Гор под Севастополем...

...На Мысхако Голимбиевский дрался храбро, не щадя себя, был награжден орденом. Но радость его была кратковременной — на его глазах подорвался на вражеской мине Цезарь Куников. Голимбиевский кинулся к нему, осторожно поднял смертельно раненного командира и понес к пристани.

В конце лета куниковцы были вывезены с Малой земли на отдых и переформирование, а осенью, точнее в ночь на 11 сентября 1943 года, Анатолий Голимбиевский в составе бойцов батальона морской пехоты, которым после гибели Цезаря Куникова командовал капитан-лейтенант Василий Ботылев, высаживался в Новороссийском порту. Здесь и началась беспримерная одиссея Голимбиевского.

Ту ночь — с 10-го на 11-е сентября 1943 года — он никогда на забудет: такого огня не было ни под Одессой, ни под Севастополем, ни в горах Кавказа.

В порту горела вода. Огонь высокими рваными языками плясал почти до самого мола.

В черной и густой, как масло, воде, то спокойной, то вздыбленной разрывами, фантастически отражалась многоплановая картина битвы, изобразить которую было б под силу разве что таким могиканам, как Рубо (автор Севастопольской панорамы), или непревзойденному мастеру батальной живописи итальянцу Тинторетто!

В ту ночь войска Северо-Кавказского фронта под командованием героя обороны Одессы и Севастополя ге-



нерала армии Ивана Ефимовича Петрова и моряки Черноморского флота начали штурм Новороссийска.

Моряки год ждали этого часа. Теперь их ничто не могло остановить!

Штурм начала артиллерия. Затем последовал торпедный залп катеров Черноморского флота. Согласно план-карте штурма торпеды должны были пробить бреши в обоих крыльях мола для прохода катеров в бухту. Но залп этот не дал ожидаемого результата, и «морским охотникам» пришлось прорываться в бухту через узкие ворота.

Штурм шел трудно; на подходе к молу десантные корабли — деревянные катера-«охотники» — были встречены ливневым огнем. В этой обстановке от десантников требовались ловкость тигра и собранность боксера; не всем удалось высадиться на причалах, многие отряды добирались до берега под автоматным и минометным огнем вплавь с тяжелым десантным снаряжением.

А ночь была синей, теплой, звездной. В воздухе пахло гарью и сухим, чуть-чуть горьковатым ароматом горных трав.

Группа Голимбиевского высаживалась на территории завода «Красный двигатель». При высадке сразу же наткнулись на дот. Не растерялись — залегли и тотчас же атаковали дот гранатами и автоматными очередями. Покончив с дотом, прыгая через бочки, ямы, какое-то железо, лавируя меж взрывами мин и снарядов противника, перебежками устремились вперед.

Все шло хорошо, и вдруг рядом разрыв снаряда. Голимбиевский упал, словно бы споткнулся обо что-то. Вскочил на ноги, но не устоял.

Он еще не знал, что произошло, но по обильному кровотечению из левого коленного сустава понял, что рана опасная. Вытащил индивидуальный пакет и туго перетянул ногу выше колена.

Опершись на автомат, поднялся, попробовал идти. Сделал шаг и в третий раз упал.

Впереди здание, похожее на дот. А что, если он поползет сначала к берегу, возможно, катер еще стоит там... Наложат шину или повязку...

Пополз...

Нога тяжелела. Тупая боль толкалась у перетянутого бинтом места. Штанина покрылась ржавыми пятнами крови, липла к ране, бередила ее. В колене появилась дергающая боль, словно бы туда загнали зонд и прощупывали рану.

Пули с присвистом пролетали над головой, чуть шевельнешься — и тут же «вжик», «вжик»... Жарко. Пот осыпает бисером лицо. Тошнота подступает к горлу.

На душе муторно — вот и повоевал, черт возьми! Повоевал..,

Не повоевал, а отвоевался Толик Голимбиевский... Это он-то отвоевался?! Нет! Он доползет до катера, и там его перевяжут, и он еще вернется сюда!

— Слышите, гады фрицы! — он погрозил кулаком в сторону немцев.— Вернусь!..— Он еще не знал, что возвращаться ему не придется, что воевать он будет здесь, и до конца...

Превозмогая боль и медведем навалившуюся слабость, полз. Ползти было бы не тяжело — он учился этой науке еще под Одессой в полку морской пехоты у полковника Осипова. Шлифовал пластунское искусство у Красникова и в батальоне Цезаря Куникова тоже в рост не хаживал, а передвигался, как положено разведчику.

Да он и сейчас мог бы ползти хоть до самого рождества Христова, если б этот чертов осколок не угодил в самое колено! Ну хотя бы пониже, если уж так надо было ранить его!

До берега оставалось недалеко — сразу же за дотом спуск и... Только не касаться раненым коленом земли!.. Не касаться, и все будет в порядке...

Но что за черт, немцы бегут наперерез... До берега не доползти... Придется в дот — там укрылись раненые. Там можно организовать круговую, а ночью к берегу... Не может быть, чтобы катер не пришел!

...Чертовски хочется пить, сухость во рту собачья... Один, всего лишь один глоток!.. Меж лопаток пот ручейком... У него жар?.. Успеть бы, чтобы гады немцы не отсекли от дота. Ах, если бы можно было встать на ноги. Нет, не встать, а вскочить — ох и дал бы гитлеровцам флотского перчику!..

Нога! Нестерпимая боль разливается по телу словно яд. Ничего... Он выдержит, все выдержит, лишь бы заползти в дот! Ох и даст же он гадам!

Никогда Голимбиевский не ругался так витиевато, как теперь, преодолевая последний метр.

...В доте чертова дюжина раненых, и все доходяги. Но у каждого автомат, гранаты, запасные диски и последнее средство, которое будет применено, если фашисты попытаются взять раненых живьем,— это матросский нож, с виду простенький — деревянная рукоятка и вороненого железа ножны. Но в ножнах жало — тридцать сантиметров булатной стали. Фрицы боятся матроса, когда он идет врукопашную!

Голимбиевский вполз в дот, облизал сохнувшие почерневшие губы, сверкнул горящими в смутном свете глазами.

— Братва! — прохрипел он.— Всем на товсь! Фрицы на полный ход жмут к доту...

Раненые, кто ползком, кто ковыляя и нянча на руках автоматы, подались к амбразурам.

Подпускали противника на самое близкое расстояние и по команде Голимбиевского открывали огонь.

Сутки дежурили у амбразур, набили около роты гитлеровцев.

Как держались, как сражались — это почти невозможно представить себе. В доте стоял запах гниющей крови и мочи, раненых мучили крупные зеленые мухи и жажда. Жажда была самым страшным испытанием. За глоток воды любой из них готов был бы отдать несколько лет жизни!

К сожалению, жизнь в доте таяла, как вешний снег, поэтому матросы дрались до последнего вздоха и умирали молча. Перетянутая жгутом нога у Голимбиевского затекла, вспухла, не нога — бревно.

За сутки умерло шесть человек, а Голимбиевский, пытаясь добыть воды, был ранен в правую ногу ниже колена. Пришлось наложить и на правую ногу жгут.

Гитлеровцы установили против дота пулеметное гнездо и держали убежище моряков под обстрелом. Вторые сутки ни часа отдыха. Несколько раз под прикрытием пулемета они пытались взять дот. Собственно, в атаку на дот рвались не немцы, а власовская сволочь — гитлеровские холуи.

На третий день Голимбиевский решил выйти из дота и подавить пулеметное гнездо власовских подонков.

То, что сделал он, можно сделать лишь один раз в жизни и, по-видимому, лишь одному из миллиона!

Опираясь на локти давно изодранной гимнастерки (моряки-десантники в сорок третьем воевали в армейской форме, только под гимнастеркой носили не солдатскую рубаху, а тельняшку да и в вещмешке всегда хранили бескозырку, которую надевали при атаках), Голимбиевский, волоча посиневшие, налитые тупой

болью ноги, полз к пулеметному гнезду власовцев. Они не дремали, заметили его и заорали:

— Врешь! На полундру не возьмешь!

Их пулемет без жалости жрал патроны.

Голимбиевский подполз на расстояние броска гранаты и, чуть передохнув, крикнул:

— Я тебя, сволочь фашистская, и без полундры достану!..

Полетела первая и тотчас же за нею вторая граната. Пулемет замолк.

Когда он полз обратно, его обстреливали из минометов. Лавировать он не мог, полз как улитка. Недалеко от дота близко разорвавшейся миной сильно ранило в правую руку, однажды уже отмеченную тяжелой раной.

С трудом, мокрый от пота, задыхаясь от усталости, вполз в дот.

Ужасная картина представилась его глазам: из шести раненых в живых осталось только четверо!

Ночью у дота было относительно спокойно, а ранним утром снова — бомбы и снаряды. Разрывы заглушали стоны раненых.

...Боль в ногах, в руке, боли ноющие, стреляющие, дергающие, казалось, измотают душу. В ушах звенело, а голова порой раскалывалась от тупых болевых ударов, и ко всему так хотелось пить, что порой появлялись галлюцинации: то слышался звук бегущей воды в ручье, то в забытьи погружался в реку с хрустально-чистой водой...

Приходя в себя, слышал тихие стоны раненых: «Пить!.. Воды-ы!.. Пи-ить!»

Иногда ему снились Ленинград, мать, завод. Просыпался от близких разрывов; пять дней уже шли бои за Новороссийск, а гитлеровцы не сдавались. Их упорство было необъяснимо; сорок третий год — год крупных контрнаступлений Советской Армии. 2 февраля 1943 года в Сталинграде капитулировала трехсоттысячная армия фон Паулюса; через шесть месяцев — в августе были разбиты под Белгородом и Орлом 37 гитлеровских дивизий, сосредоточенных там для операции «Цитадель»; очищен от войск противника Кавказ; в конце лета и в начале осени освобождены Харьков и весь

Донбасс; наши войска вышли к Азовскому морю и Днепру...

На что рассчитывал гитлеровский генерал Енеке, удерживая Новороссийск в течение пяти дней почти ураганного штурма?

Все эти дни четырежды раненный, без помощи, без воды, без защиты, перевязывая себя сам и защищая не только себя, но и других раненых и помогая им чем можно, Голимбиевский продолжал сражаться если не за десятерых, то за четверых по крайней мере!

...Голимбиевский раскраснелся — то ли устал, то ли давние события растревожили его. Он повел широкими плечами, скрестил руки, опустил глаза и устало сказал:

— Что же еще вам рассказывать?

Конечно, его можно понять: двадцать семь лет тому назад, молодой, сильный, красивый, стройный, он сбежал по сходне с катера на берег в Новороссийске, занятом немцами. Молодое сильное тело стремительно переносилось через рвы, воронки от бомб. Пышная шевелюра развевалась. Голубые глаза горели, несколько пьяные от азарта и риска высокого градуса боя.

Он бежал впереди всех и кричал: «Вперед, куниковцы!» И вдруг разрыв снаряда, и левая нога словно натыкается на что-то, и он падает...

Несмотря на мои настойчивые, почти следовательские вопросы, я не мог понять, как он вытерпел, ведь его ран хватило бы на четверых бойцов, и каждого из них при этом нужно было немедленно эвакуировать в госпиталь.

Он улыбнулся:

— Однако от вас легко не отделаешься...

...Язык царапал нёбо, как наждачный брус, губы спеклись. Раненые стонали, просили пить.

Голимбиевский перетряс фляги у живых и мертвых — ни в одной из них не слышалось звона воды.

Идти к бухте, кроме него, некому. Собрал с мертвых фляги, нанизал на ремень и пополз из дота.

Как он дополз до берега, сейчас объяснить трудно — теперь ему кажется все это по меньшей мере фантастичным. У берега чуть не свалился в воду — так потянуло.

Когда пил, лицо погрузил аж до ушей. Чуть не захлебнулся.

Соленая вода не утолила жажду, а лишь разбередила ее, и оттого, что много выпил, раны пошли ныть, да так, что раза два сознание терял. Дополз к ребятам только потому, что надо было им воду принести.

Когда начал фляги раздавать, в живых насчитал только двоих. Других двоих, пока ползал, «старуха» взяла.

Раненые сначала пили жадно, со стоном, зубами стукались о горлышки фляжек. Высосали по целой. Еще попросили. Дал. Не успели и глотка глотнуть, как стало рвать...

Самой тяжелой была последняя ночь на шестнадцатое сентября — остался в доте один на один с тринадцатью трупами.

Многих из них уже разнесло так, что и не узнать. А запах — дышать нечем. Жажда мучила пуще прежнего. Вода во фляжке была, но та — соленая; глотнешь, а она, как ртуть, обратно... Ноги горели, и голову разламывало на части... Сил почти не было.

Нет! О конце он не думал — не верил, как это вдруг Тольки Голимбиевского не станет! Нет!

Для бодрости попробовал петь, а из горла хрип — голос сел.

Под утро, светать еще не начало, тишина вдруг наступила. Такая тяжелая — как тоска, как холодный осенний дождь, как непроглядная ночь. Забеспокоился — может быть, оглох от близких разрывов?

Осторожно выполз из дота. Боль жгла всего, словно голым в крапиву попал. От чистого воздуха голова закружилась. Глянул на небо — звезды, да такие крупные, чистые. Земля под руками оказалась мокрой — значит, дождь прошел. Откуда-то донеслись голоса и вслед затем одиночный выстрел. Значит, не оглох. Конечно не оглох!

Неясный шум был чем-то знакомым и тревожным.

Стоп!

Да это же мотор шумит. Чувствуется, жмет малым ходом и, кажется, сюда, к заводу!

Скорее к берегу! Это катер... Подойдет, увидит — никого своих нет — и полный назад.

Пополз, как улитка, по песку — извиваясь.

Больно было так, будто в раны соли насыпали. Сколь-

ко полз он, конечно, не помнит — в пути раза два терял сознание. К берегу подгреб, когда уже рассвело. Катер стоял у берега, может быть, последнюю минуту. Когда его несли, успел заметить, что это не катер, а мотобот. С такого мотобота он высаживался с Куниковым на Малую землю.

Седой, с распухшими и запекшимися губами, лежал как мешок.

Кто-то из команды сказал:

— Чего приволокли-то его? Он же не дышит!

Голимбиевский с невероятным трудом раскрыл рот и прохрипел:

— Пи-ить!..

Старшина мотобота поднес чайник с водой. Голимбиевский мертвой хваткой вцепился в него, и, когда начал жадно, как ребенок, причмокивая, тянуть воду, старшина мотобота по какому-то мгновенно скользнувшему выражению лица раненого узнал его.

Надо же так случиться: они под Одессой вместе в полку Осипова воевали.

После пяти глотков старшина отнял чайник.

— Потом, Толя! Сразу много нельзя... Тебе еще рано переодеваться в деревянный бушлат!..

Голимбиевский чуть не заплакал от досады, так хотелось пить!

Старшина унес чайник. Голимбиевский заметил на дне мотобота лужу — следы ночного дождя. Поверху лужицы плавала радужная пленка из машинных масел. Черт с ней, с пленкой-то! Нагнулся, напился и впал в забытье...

В четвертый раз переправлялся Анатолий Голимбиевский через Цемесскую бухту: три раза здоровым, сильным, красивым, а в четвертый — полутрупом.

Он лежал на палубе мотобота на том же месте, где его положили, когда принесли с берега, с искаженным страданием лицом. Все в нем: и окинутые щетиной впалые щеки, и заострившийся нос, и сухие губы, и большой лоб, и строгие брови — все ярко отражало ту дошедшую до степени трагедии борьбу за жизнь, которую он вел отчаянно все это время силами своей могучей натуры.

Легкий ветерок трепал его поседевшие в двадцать два года волосы.

Сияло ласковое утреннее солнце. Воздух успел уже

очиститься от дыма и пороховой гари, а он ничего не замечал, лежа с закрытыми глазами, время от времени глубоко вздыхал. По этим вздохам команда мотобота знала, что он еще жив.

Геленджик.

Чудесный солнечный день. Тишина; утром взят Новороссийск; войска генерала Петрова и моряки гонят немцев к Керченскому проливу. Над Геленджиком слышатся лишь гулы самолетов — морские бомбардировщики, штурмовики и истребители возвращаются из боевых полетов.

Анатолий Голимбиевский лежит на носилках возле операционной. Его только что доставили с мотобота. За дверью операционной заканчивает очередную тяжелую операцию главный хирург флота профессор Петров. Он непременно хочет сам посмотреть на это чудо — с такими ранами, как у Голимбиевского, люди не живут.

В окно, раскрытое на обе половины, с гор льется мягкий душистый ветерок. Красные, желтые, белые и необыкновенно крупные и сильные розы покачиваются перед окном. Госпиталь занимает дачи у подошвы горного хребта на окраине Геленджика, между Тонким и Толстым мысами. Дачи утопают в садах. Стоит теплая осень. Хорошо до чертиков! А у него голова кружится, порой теряется сознание. Он просит присевшим от слабости голосом пить, а пить не дают: вместо воды мокрый кусок бинта пососать суют.

Профессор вышел из операционной, слегка покачиваясь от усталости.

Чуть приоткрыв отяжелевшие веки, Голимбиевский следит за профессором, который осматривает его раны.

Глаза у профессора как у сокола, который способен с вершины скалы заметить бегущую по заросшей высокой траве лису-огневку.

Профессор задает вопросы четко, кратко и, выслушав ответы Голимбиевского, приговаривает, покусывая губы:

— Так. Так. Та-ак...

Затем говорит что-то сопровождающим его врачам и старшей сестре. Те кивают.

По двум словам — «гангрена» и «ампутация» — Голимбиевский догадывается о том, что его ждет. Профессор наклоняется к нему:

— У вас газовая гангрена... Нужна ампутация, и притом немедленно! Согласны?

Голимбиевский кивает. Профессор дает указание принести раненому кружку коньяку и немедленно приготовить кровь для переливания.

В тот же день у него была отнята одна нога, а через неделю, когда войска Приморской армии прорвались через Волчьи ворота, выскочили на равнину и с ходу заняли станицу Раевскую, а за ней и Анапу, у Голимбиевского была ампутирована и вторая нога.

Из Геленджика морем повезли его в Сочи для реампутации. В пути на подходе к Туапсе началось сильное кровотечение и появилась катастрофическая слабость.

Его сняли с транспортного судна и, он хорошо это помнит, в помещении 8-й школы произвели переливание крови.

В Сочи лежал в госпитале до марта 1944 года. Во время реампутации наступило нечто вроде клинической смерти: жизнь стала покидать его, объявилась синюха.

Голимбиевский лежал на каталке в коридоре, синий, как утопленник. Щеки опали, глаза ввалились, нос заострился.

Синюху и заостренный нос еще Гиппократ определил как классический признак наступающей смерти.

Мимо каталки проходил матрос. Глянул на Голимбиевского и сказал:

— Ну все! Концы отдает гордый матрос!..

Голимбиевскому в эту минуту было особенно тяжело — мутилось сознание и медленно, но настойчиво уходили силы, трудно становилось дышать. Даже глаза открыть и то не было сил. Однако слух не слабел, все слышал, что делалось кругом. Слышал и слова матроса, и они показались ему до слез обидными. Напрягшись, собрав остатки сил, Голимбиевский чуть слышно, но зло сказал:

— Иди к черту!.. Я еще поживу!..

Больше он ничего не сказал, хотя на языке вертелись еще и другие слова, просто не было сил высказать их. И высказать лихо, по-флотски! Но и то, что он сказал, свершило чудо: лоб его покрылся испариной и стала исчезать синюха.

В марте 1944 года, за месяц до освобождения Одессы, после полугодового пребывания в черноморских гос-

питалях Голимбиевского перевезли в Тбилиси в Главный военно-морской госпиталь, для подготовки к протезированию.

Здесь, в столице Грузии, судьба — эта неограниченной фантазии художница и волшебной силы мастерица — начала ткать совершенно новый рисунок в биографии Анатолия Голимбиевского.

Это, конечно, лихо сказано о судьбе — волшебница и художница. На самом деле все обстояло куда сложнее и тяжелее — без волшебства и лихости.

В сентябре 1943 года, когда у Голимбиевского была отнята вторая нога, он пал духом. Пал, хотя никому и не показывал это.

И как было не пасть духом. Молодой душой и телом человек остался без дела. В газетах чуть ли не каждый день во всю первую полосу приказы Верховного Главнокомандующего — армия и флот гонят немца, бьют его в хвост и в гриву, а он валяется на госпитальных койках. Но что может делать человек без ног?

Лежавшие с ним такие же калеки часто теряли мужество и в ответ на его успокоительные слова махали руками: мол, слыхали от докторов, а в нашем-то положении «только и ходу, что от ворот да в воду».

В раннем детстве в Ленинграде он видел человека, который регулярно подкатывал на самодельной колясочке к бойкому месту, громоздил на глаза синие очки и выкладывал на тротуар кепочку, в которую сострадательные прохожие кидали медяки.

Нет, таким он не будет!

А каким же он будет?

В Ленинграде его ждут мать и младшенькие. Сесть им на шею?

Не было дня, чтобы вопрос «а что же дальше» не терзал душу. К счастью, он не терял духа так, как другие безногие. Особенно женатые; лежат пластами и молча сверлят глазами какую-нибудь точку на потолке и думают, думают. На лицах глубокие борозды от бесконечных дум, в глазах тоска, на губах горечь безмерная. Особенно много и тяжко думают после писем из дому.

А он на койке вовсе не залеживался — наловчился на руках вприпрыжку мотаться по палатам. Как услы-

шит, что среди новеньких раненых появился кореш из морской пехоты, так и несется на руках туда.

Соседи по палате дивились: «Черт заводной какой! Скачет по палатам, как заяц!»

Ему было легче, чем другим, еще и потому, что руки у него золотые, характер общительный, а душа безотказная: все умел делать, с каждым находил контакт и для другого готов на все.

Пришел срок, когда надо было искалеченных в жизнь вводить, в госпитале начали учить переплетному делу.

Сначала и техника и само переплетное дело показались ему примитивными. Ну что это за работа: бумажная пыль, штопальная игла, казеиновый клей, деревянный пресс... Руки первоклассного слесаря тосковали по тисочкам, по разнофасонным пилочкам, по сверлам и надфилям.

Однажды, не очень надеясь на успех, сказал при обходе главврачу о своей мечте. Тот обещал выяснить. Вскоре в госпитале нашлась комнатенка и инструменты, и человек преобразился, словно бы встал на ноги.

Из мастерской, где он работал, неслись бодрые песни. Вот таким поющим он и прибыл в Тбилиси.

Ему так и не удалось увидеть древний и гордый город — быстрой Куры, древнего Мцхета, перед глазами мельтешили лишь белые халаты — из вагона для раненых в санитарную машину, из машины на носилки.

После необходимых формальностей определили в палату. Санитары подхватили носилки и, стараясь ступать по дорожке, понесли, и вдруг навстречу стройная, не по летам серьезная медицинская сестра.

— Куда несете?

— В твою палату.

— Туда нельзя... Раненные в ноги лежат в другой палате!

— То есть как это нельзя? Профессор сказал — можно, а она — нельзя!.. Давай не мешай, сестричка!

Они оттеснили ее. Голимбиевский попытался шуткой развеселить ее, она еще пуще рассвирепела и ни за что не хотела пускать на койку. Голимбиевский расхохотался. Она повернулась к нему, их взгляды скрестились.

— Вот я сейчас,— сказала она,— пойду к профессору — увидим, кто из нас будет смеяться!..

...Мирца улыбается — теперь-то ей смешно вспоминать о том, как она ходила к профессору и настойчиво морочила голову серьезному человеку, умоляя его без достаточных причин перевести безногого из ее отделения, а профессор «не уламывался» никак и в конце концов сказал ей, что никуда переводить раненого не надо. Палата просторная, он тяжело ранен, и ему в этой палате должно быть очень удобно.

В тот день ни ему, ни медицинской сестре Мирце Каландадзе судьба не сделала никакого намека на то, что она начинает новый рисунок их жизни.

В палату сестра Каландадзе входила сердитая, на него не глядела. А он шуточками пытался расположить ее.

В палате Голимбиевский вскоре стал «старшим на рейде», раненые потянулись к нему.

Отличный рассказчик, умелец на все руки, он не унывал — все неприятности старался обратить в шутку.

Всего неделя прошла, а палаты не узнать: исчезли уныние и тоска, у раненых появился интерес к жизни, стали бриться, шутить, с аппетитом есть и на сестер посматривать с искоркой в глазах.

Подобрела и Мирца; теперь старшина показался ей не таким противным.

Однажды утром сестра Мирца Каландадзе заметила в глазах старшины какое-то новое, необычное выражение. С ее языка чуть-чуть не сорвался вопрос: «Что с вами?» Она взяла себя в руки, сделала все, что нужно было, но, уходя из палаты, не удержалась, посмотрела на него — он сидел, опершись на спинку койки, и с каким-то загадочным видом следил за нею... Его взгляд смутил ее, и она выскочила из палаты с тревожным биением сердца, с предчувствием какого-то события, чуть грустная и растерянная.

После ее ухода он беспричинно рассмеялся, но, словно бы спохватившись, быстро унял смех и пошел с напускной грубоватостью острить. Остроты не получались — смутная тревога сковывала его...

Что это, любовь?

Автору документальной прозы трудно и чаще всего невозможно подробно проследить зарождение или, как говорил Стендаль, «кристаллизацию любви».

Любовь — таинство чувств, требующее сложного и,

безусловно, виртуозного изображения. Но только не в документальной прозе: законы жанра, не допускают домысла, то есть воображения, а без этого получится не любовь, а лишь инсценировка ее.

Они полюбили друг друга — судьба свела их. Впоследствии они прошли через многие пороги жизни, которые почти обязательны для каждой семьи на фарватере супружеского пути. Теперь передо мной дед и бабка — верноподданные своего внука.

Но вернемся на некоторое время к сорок четвертому году.

Первым «порогом» на пути их судьбы, в самом начале ее, были родные Мирцы Каландадзе — они и слышать не хотели об их браке.

Ее отговаривали, на нее давили, запугивали сложностью судьбы и даже угрожали помешать... и, наконец, обещали, что она будет жить как царица Тамар, если откажется от этого брака.

Как трудно было ей выдержать бесконечные жаркие речи родных, то сладкие, как мед, то полные угроз и обещаний проклясть, знает лишь она одна.

Мирца выдержала давление родственников — не отказалась. Очевидно, правы датчане, когда говорят, что «в одном девичьем волоске больше силы, чем в упряжке из десяти быков».

Мирца не отказалась потому, что она полюбила этого бесстрашного старшину, который после тяжкого увечья сумел сохранить оптимизм, волю к жизни и душевную отвагу.

Она полюбила его глубоко и страстно и уже не могла жить только своей жизнью и только своими интересами.

Лев Толстой говорил: «Любить — значит жить жизнью того, кого любишь».

Мирца, полюбив, начала жить жизнью Анатолия. И наш «гордый матрос» уже не мыслил своей жизни без нее, без Мирцы, без любимой.

К сожалению, я не могу подробно рассказать об этой сильной и необыкновенной любви, так как, повторяю, нельзя воссоздать то, чему не был свидетелем или на худой конец «душеприказчиком», — никто из них не поверял мне своих тайн. Да мы и не знали в то

время друг друга, хотя наши пути с Голимбиевским несколько раз шли параллельно и несколько раз пересекались. Я был рядом с ним в сентябре 1941 года под Одессой, куда я попал в качестве военного корреспондента. Причем командир полка полковник Осипов возил меня по всем батальонам, а в одном из них сражался Анатолий Голимбиевский. Перед штурмом Новороссийска в сентябре 1943 года, накануне высадки, я с поэтом Ленским был в роте автоматчиков у лейтенанта Александра Райкунова, в подлеске у Тонкого мыса. Здесь в палаточном лагере был расквартирован батальон морской пехоты, которым командовал капитан-лейтенант Василий Ботылев.

Где-то всего лишь в двух шагах от палатки Райкунова находились и разведчики батальона, и среди них Анатолий Голимбиевский — старшина особой группы.

Хаживал я и в Геленджикский морской госпиталь, куда 17 сентября 1943 года был доставлен Голимбиевский с перебитыми ногами и простреленными руками.

Сколько случаев для встречи! Возможно, мы и видели друг друга, он был старшиной 1 статьи, а я лейтенантом. Козырнули друг другу и разошлись...

Там же, на уличках Геленджика, я прошел мимо И. В. Жернового, А. И. Русланцева, Г. И. Слепова, Н. М. Воронкина и других боевых офицеров «2-ОБМП», которым в сентябре 1942 года довелось десять дней стоять насмерть на окраине Новороссийска, в районе цементного завода «Пролетарий».

Три четверти личного состава батальона легло здесь, но ни одного метра занятого рубежа не отдали немцу — не пустили захватчиков на Сухумское шоссе. Факт поразительный, если вспомнить, каким тяжелым для нашей страны был год 1942, когда немцы наступали! Когда для них как бы не было преград!

В конце июня пал Севастополь, а в конце августа они вышли к Волге севернее Сталинграда. 2 сентября форсировали Керченский пролив, а седьмого заняли Новороссийск с намерением с ходу выйти на Сухумское шоссе, быстрым маршем достичь Закавказья и овладеть советскими нефтяными районами. И вдруг какой-то наскоро сколоченный батальон моряков встал поперек горла целой армии!

О подвиге моряков «2-ОБМП» почти ничего не сказано в мемуарной литературе, да и будет ли когда-ни-

будь рассказано? Время неумолимо и жестоко берет свою дань — ряды ветеранов сильно редеют, многих и многих уже нет. И потом, герои творят подвиги, а песни поют другие.

Так вот мы и проходим мимо. Я вспомнил об этом, когда начал готовить книгу к очередному изданию. В разгар работы неожиданно для меня пришло письмо, с таким обратным адресом: «Канада, Монреаль, т/х «Михаил Светлов», Н. Воронкин».

Я стал гадать: от кого письмо? Ну, т/х «Михаил Светлов» — отгадать было нетрудно. А кто Н. Воронкин? И я быстро вспомнил. Несколько месяцев тому назад мне звонил первый помощник капитана Воронкин и просил помочь ему чем только я смогу в оборудовании на теплоходе уголка поэта Михаила Светлова. Я любил Светлова, близко был знаком с ним, хорошо знал его друзей — словом, я надавал Воронкину кучу адресов, где ему следовало побывать, и если повезет, то и добыть иконографический материал, а то и книги и, возможно, пластинки с записью голоса Светлова...

В левом углу первой страницы монреальского письма оттиск рисунка трехмачтового барка и зодиакального знака — фирменная бумага Черноморского пароходства.

Письмо от того самого Н. Воронкина. После двухмесячного плавания теплоход «Михаил Светлов» прибыл в Монреаль и попал в мертвый порт — забастовали портовые рабочие. Стоянка сильно задержалась. Пользуясь этим обстоятельством, Воронкин прочел «Севастопольскую хронику» в журнальном варианте и встретил на ее страницах столько однополчан, что решил тут же, под первым впечатлением, написать автору... Так через много лет, несмотря на то, что мы шли параллельными курсами, наши пути сошлись и с Воронкиным, как в свое время они сошлись с Голимбиевским, Ворковым и другими дорогими мне людьми...

...Родные Мирцы Каландадзе в конце концов сдались, дали согласие; вся грузинская поэзия, которую этот талантливый народ усваивает с молоком матери, полна больших чувств и страсти — не могли же они не понять того, что происходило в душе Мирцы! Они предложили ей следующее: Голимбиевскому будет построен на берегу Черного моря дом и вокруг него разбит сад, только пусть они не уезжают, как этого хотел Голимбиевский.

Заманчиво? Ну еще бы! Черное море, домик, сад, мандарины, виноград... И все же черт с ним, с домиком! Что он, инвалид, что ли, мандаринами торговать! Он считал инвалидами слепых и безруких. Вот им-то надо отдавать предпочтение, а ему, пока живой, надо жить! Широко жить! Работать надо! Они решили ехать в Ленинград.

Голимбиевскому нужен был протез. В Тбилиси его не могли в то время сделать. За несколько дней до отъезда в Ленинград Мирца послала письмо в Москву адмиралу Ивану Степановичу Исакову. Она ухаживала за адмиралом, когда тот лежал в Тбилисском военно-морском госпитале,— адмирал был ранен в ногу под Новороссийском. У него, так же как у Голимбиевского, с опозданием была произведена ампутация, притом в очень сложных условиях при сильном упадке жизнедеятельности организма. Уезжая в Москву, адмирал поблагодарил сестру и сказал, что, если ей понадобится помощь, он будет рад сделать для нее все.

Адмирал Исаков пригласил старшину 1-й статьи Анатолия Голимбиевского в Москву.

...Голимбиевскому собраться, что голому подпоясаться,— вещей у него: бушлат, голландка, тельник и мичманка. У Мирцы тоже небольшое «приданое». Они легко, как птицы, взмахнули крылами, снялись с места — и прощай, Грузия.

Прощай, Грузия! Прощай, обещанный на берегу моря дом и мандариновый сад. На Север, где дует борей, в рабочий Ленинград, где прошла его юность. Голимбиевский знал, что там он не пропадет, а Мирца... ей было всего лишь двадцать, и она любила. Любила страстно. Вольтер говорил: «Как гибельны страсти! Эти ветры, надувающие паруса корабля; они его иногда топят, но без них он не может плавать». И она, эта грузинская Пенелопа, поплыла на зыбком челне надежды за своим Одиссеем...

Адмирал Исаков принял старшину 1-й статьи очень тепло, подробно расспросил о службе, о военных перипетиях, со вниманием выслушал рассказы о боях под Одессой и на Перекопе. Особенно сосредоточенно слушал рассказ о том, что довелось пережить и испытать старшине во время штурма Новороссийска. Затем спросил, что старшина собирается делать, есть ли квартира,

какова пенсия, а когда узнал, что Голимбиевский собирается работать, протянул ему руку и сказал:

— Правильно! Очень правильно! Не спекулируй ранами!.. Будь матросом всегда!

Затем адмирал переговорил по телефону с Санитарным управлением о протезе и пожелал старшине счастливо добраться до Ленинграда и побыстрее устроиться.

В 1947 году адмирал снова пригласил к себе Голимбиевского, подробно расспросил о том, как живется, затем соединился прямым проводом с министром обороны и рассказал тому о судьбе флотского старшины. Маршал заинтересовался и необыкновенными подвигами Голимбиевского на фронте, и тем, что флотский старшина после такого увечья не сидит за печкой, а работает, попросил адмирала прибыть к нему вместе со старшиной.

Наркомат Военно-Морского Флота помещался в старинном здании с помпезным подъездом, украшенным пышной колоннадой. Из просторного вестибюля, рассчитанного на большой съезд гостей, на шумные приемы, вверх шла парадная лестница с богатыми перилами. Моряки называли эту лестницу по-флотски — трапом.

Вот по этому богатому трапу и спускались к машине адмирал Исаков и Голимбиевский. Адмирал был на костылях, а старшина, опираясь на руки, передвигался медленно и трудно.

Все, кто шел им навстречу, при виде немилосердно искалеченных войной адмирала и старшины принимали стойку «смирно».

И адмиралу, который в общем-то по своему положению и званию привык к почестям, и старшине, который совсем не знал их, это внимание, эта честь были как бальзам...

В этом месте своего рассказа Голимбиевский на миг остановился, задумался, наклонил красивую голову и закрыл глаза, словно пытался заглянуть в то далекое время. Тут же вздохнул, поднял голову и сказал:

— Для меня тот день был большим. Да. И прием адмирала, и внимание, и та честь, которая была оказана, когда мы с адмиралом шли к машине... Тогда я увидел, что меня ожидает, если я не пойду с шапкой на тротуар, а останусь матросом!

Пока мы спускались вниз, я дал себе слово никогда не хныкать, всегда вперед, всегда быть матросом! Скажу

вам, только не сочтите это за нескромность, ну, в общем, если Голимбиевский дал слово, то это уж до гроба!

Министр обороны от имени Вооруженных Сил подарил старшине из трофейного фонда автомобиль «опель кадет». Автомобиль хороший, нужно лишь переделать его на ручное управление — и старшина на коне!

Возвращаясь в Ленинград, он вспомнил, как они ехали туда с женой в сорок пятом году: Голимбиевский был полон надежд, а Мирцу тревожило, как-то им будет в городе, пережившем блокаду, дикий голод и мор.

Но уже с вокзала было видно, что жизнь в Ленинграде кипит, что настоящее быстро разделывается с тяжелым прошлым: улицы полны народу, звона трамваев, человеческих голосов, смеха.

Словом, в большом городе — большая жизнь. А что ждет их?

Коммунальная квартира не приспособлена для нормальной жизни человека, а тем более тяжело в коммуналке жить изувеченному человеку. А куда деться?

За время войны в Ленинграде квартир не прибавилось, напротив, многие дома и даже улицы были разрушены бомбежками и артиллерийскими обстрелами.

О жизни в коммунальной квартире Голимбиевский не любит вспоминать. К счастью, это уже позади. Теперь у него отдельная квартира на втором этаже, лифт. Дом новенький, в современном стиле: длинный, как железнодорожный состав, и плоский, как контейнерный ящик. С низкими потолочками. Квартира со всеми полагающимися на данном этапе, по современной классификации, удобствами.

Под домом, в цокольной части,— магазин, сплошь из стекла. Хозяйки говорят, что они, не заходя в магазин, видят, что в нем есть, а чего нет.

Минутах в семи метро, а в десяти — знаменитый Кировский завод.

Метро, новый дом, лифт, отдельная квартира со всеми удобствами — это теперь, в семидесятом году. А что было в сорок пятом?

Сорок пятый год! Не сразу доходит до сознания, что ведь он был двадцать пять лет тому назад!

Двадцать пять лет — срок немалый! За это время мальчик, родившийся в тысяча девятьсот сорок пятом, уже отучился, отслужил в солдатах, женился и сам стал отцом... Двадцать пять лет тому назад рвались бомбы, гремели пушки и умирали люди. Двадцать пять лет тому назад кончилась война, самая дорогая из всех войн,— за победу мы заплатили двадцатью миллионами жизней!

Двадцать пять лет тому назад на вокзалах гремели оркестры, звучали песни, мелькали цветы, лились слезы — родные и близкие встречали эшелоны с демобилизованными.

Двадцать пять лет тому назад все, кроме радости и горя, было по карточкам и талонам: хлеб и соль, мануфактура и обувь.

Двадцать пять лет тому назад на землях России, Украины и Белоруссии лежали в развалинах семьдесят тысяч сел и деревень и свыше тысячи семисот городов.

В сорок пятом тысячи людей жались к большим городам — они искали тепло, хлеб и работу. Много их приехало и в Ленинград. Людские руки требовались для восстановления прекрасной ленинградской промышленности. Они нужны были и морю, и университету, и многочисленным научным институтам, лабораториям, школам, вузам, музеям, торговле и коммунальному хозяйству. Они нужны были в первую очередь на стройки... Вот в это время в Ленинград и прибыл Голимбиевский с Мирцей Каландадзе.

Пока выполнялись разные формальности, а их, к сожалению, создано невероятно живучей и вьедливой бюрократической сферой больше, чем нужно для человека, Голимбиевский, который, естественно, по своему увечью не мог бегать туда-сюда за разными справками и резолюциями, пошел учиться в музыкальный техникум по классу аккордеона, но не для заработка он изучал аккордеон, а для души. Да, для души, а для тела брал в артели инвалидов заказы и по ночам сидел с тисочками и делал замки, штампы, делал превосходно — хоть на выставку.

Все шло как будто хорошо, однако он не забыл слов адмирала Исакова: «...Не спекулируй ранами. Будь матросом!»

Делать замки и штампы для артели инвалидов — это не спекуляция, но все же это не то, что быть матросом.

На завод, в рабочий коллектив надо. Он и до войны работал на заводе, да и во время войны — в коллективе, где большинство было рабочих парней. Особенно остро он почувствовал необходимость скорейшего поступления на завод после одного случая.

Однажды, передвигаясь на своей тележке, смонтированной на роликовых подшипниках, отталкиваясь специальными скобами, он задумался и не заметил мужчину, шедшего ему навстречу. Поравнявшись с Голимбиевским, мужчина нагнулся и сунул ему в нагрудный карман рублевку.

Для Голимбиевского это было настолько неожиданно, что он опешил и сразу не нашелся. Мужчина уже успел отойти шагов на десять, когда Голимбиевский почувствовал, как у него горят щеки, словно ему дали пощечину, и он закричал, чтобы мужчина остановился. Но тот лишь махнул рукой, не оборачиваясь.

Возможно, что к этому случаю нужно было отнестись с юмором или, как к недоразумению, с терпимостью, но Голимбиевский вернулся домой сам не свой.

Он ничего не сказал Мирце, но на следующий день отправился в райком партии и попросил помочь ему устроиться на завод. Из райкома позвонили на завод «Эталон». С завода ответили: пусть приходит.

На заводе на Голимбиевского посмотрели «сверху вниз». Увидели, что у него нет ног, а не заметили, что у этого искалеченного войной человека — руки золотые, голова ясная, сердце доброе и чистые, светящиеся умом глаза.

Ему отказали, причем сделано это было бездушно и грубо: «У нас уже есть один инвалид, напьется — всех костылем без разбора лупит... А ты и вовсе без костылей... Небось еще позвончее номера будешь откалывать!»

Чем на это ответишь? Молча, закусив губу, ушел матрос, но ему еще пуще прежнего захотелось на завод. Должен он, черт возьми, доказать, что его не за того приняли! Да и потом, как же жить без завода?

В самом деле, как же без завода жить человеку, выросшему среди станков и машин?! В нашей литературе довольно основательно описана тоска крестьянина по земле. Я имею в виду крестьянина, надолго оторванного от своего труда, но пока мало сказано о той нестерпи-

мой тоске по своему труду, которая охватывает рабочего человека.

Голимбиевский совсем немного пробыл на заводе, да и очень мало, в сущности, видел, но заводскую атмосферу, заводской воздух почуял мгновенно. Все это живо напомнило ему довоенные годы, работу на заводе «Сталин», куда он пришел после того, как отец бросил семью...

Он должен, непременно должен добиться, чтобы его приняли на завод! С этой мыслью он взбирался по лестнице в райком.

Кто верить сам в себя умеет,
Тот и других доверьем овладеет.

Гёте

Первые дни были очень трудными. Его взяли на завод механиком, и все, от квалифицированнейших рабочих до тех, кого на заводах называют «поднять да бросить», следили за тем, как это он без ног будет выполнять свои обязанности. Некоторые даже подумали, что это просто «довесок» к их труду — они будут работать, а в ведомости расписываться будет эта «полундра».

Стоит ли говорить о том, как тяжело работать, когда каждое твое движение контролируется десятками глаз?

К счастью, на заводе нашлись люди, которые сразу же увидели, что к ним пришел настоящий мастер. И то сказать, перед войной Голимбиевский — слесарь-инструментальщик Ленинградского карбюраторного завода, а на флоте службу начал мотористом на эскадренном миноносце «Сообразительный». На войне он потерял ноги, но высокое мастерство ленинградского рабочего осталось с ним.

Современные станки не рассчитаны на то, что на них могут работать инвалиды без обеих ног. Голимбиевскому пришлось поломать голову над соответствующим приспособлением к токарному и другим станкам. Дьявольская талантливость и фантастическая работоспособность и прилежание победили. Он, как и большинство рабочих, выполнял план. Однако на заводе было немало мастеров, выполнявших по две и даже по три нормы.

Когда он сказал, что тоже хотел бы делать больше,

его стали отговаривать: мол, куда ты тянешься за здоровыми людьми... В твоем-то положении другие на печи сидят, ну там еще конвертики делают... Брось!

Голимбиевский выслушивал, затем с мягкой улыбкой говорил проникновенным голосом:

— Отчего же мне не тянуться? Я ведь только с виду инвалид, а в душе — не-ет!

Голимбиевский придумал несколько приспособлений, и через год на заводе не было станка, на котором он не работал бы. Он стал выполнять по три, по четыре нормы.

Адмирал Исаков мог гордиться старшиной. Голимбиевский не спекулировал своими ранами, а стал настоящим Матросом.

Хорошо шли дела у него: на заводе уважали, ставили в пример другим. Завод не инвалидная артель — здесь жизнь била ключом, много нового в технике, большая и интересная общественная жизнь и заработок хороший. Если б не коммунальная квартира, то чего еще желать? Живи не тужи. А когда из Москвы прибыла подаренная машина, жизнь стала шире, богаче. Маленький трофейный «опелек» был приспособлен для ручного управления, и на работу старшина стал ездить как барин. Да что там на работу!

Теперь мир стал шире. Когда-то Бисмарк сказал: «В тесной обуви от широты мира пользы нет». Машина открывала для Голимбиевского мир, суженный увечьем в сорок третьем году при штурме Новороссийска.

Родилась дочка, назвали Тамарой. Радости не было конца. Он работал с упоением, все готов был сделать, лишь бы жене и дочке было хорошо. Так оно и случилось: дочка выросла, окончила медицинский институт и уже работает врачом-терапевтом.

Придуманные им приспособления к станкам и высокие скорости обработки деталей заметно сокращали время, и он увлекся электротехникой. Любознательность увлекла дальше — его заинтересовала радиотехника. Попробовал проникнуть в ее тайны и не сумел. Тыкался, как слепой, в схемы и не мог прочесть их, понять закономерность связей. Как же быть? Уж очень заманчиво и волшебно устройство радиоаппарата. Надо учиться. С тремя классами начальной школы, как на донкихотов-

ском Росинанте, в наше время далеко не уедешь. Но что ж делать? В далекой юности ему пришлось уйти из школы и пойти на завод. В то время не удалось совмещать работу на заводе с учебой, а теперь можно — вечерняя школа для взрослых рядом.

Единственное неудобство — без лифта на третий этаж добираться, туда и оттуда на руках ступеньки считал, и все это после целого дня работы. А какой выход? Просить о каких-то льготах? Но ведь он дал слово адмиралу не спекулировать ранами.

Голимбиевский поступает в шестой класс и в первом же диктанте делает тридцать ошибок. В следующем диктанте было уже меньше. Но война с ними шла долго. Тут все способы тактики применял старшина, и оборону, и ближний бой, и атаки.

Учился Голимбиевский с упорством и прилежанием Ломоносова. Когда были успехи, то и лестница, ступеньки которой он пересчитывал дважды в день, казалась легкой, но если учеба не шла, то эту проклятую лестницу приходилось штурмовать, как горную вершину первой категории трудности.

Через все прошел матрос, через муки усвоения наук, через борьбу с лестничным пространством, преодолевая этаж за этажом, он поражал своим неистовым упорством и товарищей по работе, и педагогов.

Шестой класс Голимбиевский окончил с похвальной грамотой. Седьмой тоже. После седьмого класса поступил в радиотехникум и его окончил с отличием.

Все это феноменально. Анатолий Леопольдович (после всего, что я узнал о нем, я уже не могу называть его Анатолием или только по фамилии!) рассказывает мне об этом до невозможности стеснительно и осторожно, словно идет по канату над пропастью. Я понимаю: это не в натуре такого человека, как он, рассказывать о себе с подробностями, да еще в выгодной степени.

Он никогда не выпячивал себя, и в боях под Одессой, и под Севастополем, и на Малой земле, и при штурме Новороссийска,— прóсто он не мог действовать иначе, как идти вперед. Вперед! Всегда вперед!

Вперед он шел и после того, как вырвался из сетей «старухи с косой». Израненный, измученный операциями, процедурами и лежанием по госпиталям, оставшись без обеих ног, он безо всякого стремления отличиться и прославиться, просто по внутреннему велению, или, как

говорят, по зову своей натуры, пошел на новые подвиги. Пошел и победил!

...Я смотрю на руки Анатолия Леопольдовича — большие и очень живые, они не находят себе покоя, пока он говорит: они словно бы размышляют, что бы им еще сделать, пока хозяин разговаривает.

Удивительные у него руки: с их помощью он передвигается, открывает двери, включает электричество или станок, ведет машину, собирает телевизор, создает карманный радиоприемник, держит внука и отлично плавает. А главное, руки делают его свободным от жалости, от сострадания; он с помощью этих рук (не забудем, что они обе прострелены в том бою, который он вел на территории завода «Красный двигатель» в Новороссийске) борется за счастье и делает счастливыми других. Это не риторика!

Когда я спросил, как относятся к нему на работе, он поднял плечи. Я сказал, что имею в виду не начальство, а тех, кто рядом с ним работает. Он извинился, сполз со стула, приблизился к шкафу, достал папку, раскрыл и вынул оттуда газетную вырезку и сказал:

— Посмотрите вот... Конечно,— добавил он,— они уж очень тут... Но вообще-то с теми, кто любит работать, я всегда в дружбе.

...Это был очерк М. Васина, напечатанный в одном из апрельских номеров газеты «Ленинградская правда» за 1965 год. Очерк называется: «Орел продолжает полет». Я прочитал его с интересом, особенно ту часть, где автор очерка приводит мнение об Анатолии Леопольдовиче слесаря и начальника участка завода «Эталон».

Вот что сказал о Голимбиевском слесарь П. Ф. Катков:

«Удивительный это человек. Добрый, отзывчивый, веселый. Сильный. И не только физически. Духом, волей сильный. Никогда не видел его унылым, злым. Или хотя бы больным. И других бодростью заражает».

А эти слова принадлежат начальнику участка завода «Эталон» И. И. Косареву.

«...Преклоняюсь перед ним. Коммунист. Даже надо сказать — Коммунист с большой буквы!»

Уже несколько лет матрос работает инженером лаборатории радиотехнических измерений Всесоюзного научно-исследовательского института метрологии. Очеркист

Васин приводит слова директора этого института, профессора В. О. Арутюнова:

«...Когда у меня бывают неудачи или большие трудности и начинают одолевать мрачные мысли, я нередко вспоминаю его. Тогда мне делается стыдно за свое малодушие».

Я кончаю.

Эту маленькую повесть о необыкновенной судьбе человеческой хочется закончить словами Вильяма Блейка:

«Когда ты видишь орла, ты видишь частицу гения. Подыми голову!»

Рассказывая о Голимбиевском, я забежал вперед, и далеко забежал: из мягкого благодатного июня 1968 года, который я проводил под голубым крымским небом в Севастополе, я «махнул» в серый морозный февральский денек, на север, в Ленинград, в... 1970 год!

Я сделал это для того, чтобы полнее рассказать о двух героях моей книги: контр-адмирале Сергее Воркове и старшине 1-й статьи Анатолии Голимбиевском.

Прием этот, в отличие от рек, текущих лишь в одном направлении, обладает свойством возвращения вспять. Я вернулся. Я снова в Севастополе. Стоит чудная погода, царствует июнь 1968 года. На Корниловской набережной и у Приморского бульвара нет свободного местечка — всюду купающиеся и загорающие. Ветераны, гвардейцы эскадренного миноносца «Сообразительный» разъехались по домам.

В гостиницу «Украина», где я живу, входят новые люди, они вносят чемоданы. У администратора, принимающего гостей, громкий говор и артистический смех — приехали две группы кинематографистов. Они экстравагантно одеты. У будущих героев фильма ослепительно блестят зубы и сверкают на загорелых лицах озорные глаза. У некоторых вьются молоденькие шкиперские бородки.

Но вот кинематографисты уносят чемоданы в номера, и регистратору подают свои паспорта солидные дядьки со множеством орденских планок на груди. Это ветераны, морские пехотинцы, участники двухсотпятидесятидневной обороны Севастополя. У них праздник— юбилей.

На следующий день я встретил их в обществе седого как лунь генерал-лейтенанта, героя обороны Севастополя, бывшего командира 7-й бригады морской пехоты Евгения Жидилова. Вместе с другими частями моряки

его бригады в критические дни обороны буквально грудью прикрывали Севастополь. Это было и под Мекензиевыми Горами, и в долине Золотой балки, под горой Гасфорта. Здесь бригада занимала большой фронт— от Федюхиных высот до Сапун-горы.

Генерала я знаю по годам войны, и он увлек меня в Балаклаву, где на Цементном заводе отливается стела — будущий памятник героям 7-й бригады.

В машине вместе с нами едет бывший начальник политотдела бригады, полковник в отставке Александр Митрофанович Ищенко. Некогда грозный и бесстрашный комиссар, не раз бросавшийся в атаку, чтобы увлечь за собой своих орлов, ныне пенсионер в мягкой, плетенной из синтетической соломки шляпе, этакий «голова колгоспу».

После осмотра отливок — а надо сказать, они грандиозны, на стелу расходуется триста шестьдесят тонн цемента — мы, сопровождаемые въедливой пылью, заехали в балаклавский Клуб строителей. В подвальчике клуба, в просторном, но темноватом помещении, мастерская местного скульптора Владимира Суханова, автора проекта памятника, который он сооружает в общественном порядке на средства, пожертвованные участниками обороны Севастополя.

Нам был показан макет. Затем мы посмотрели текст, который будет на стеле. Надпись обыкновенная, указательная:

ВОИНАМ 7-Й БРИГАДЫ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ,
ПАВШИМ В БОЯХ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
В 1941—1942 ГОДАХ

Я удивился.

— И это все?!

Генерал Жидилов вытащил из бокового кармана лист бумаги и сказал:

— Тут вот есть,— он замялся, осмотрел нас смущенным взглядом,— стихи...

— Стихи! — воскликнул Ищенко.— Это здорово! Давай читай, товарищ генерал!

У генерала Жидилова мягкий, глуховатый голос и добрейшая улыбка. Он улыбнулся и начал читать:

Герой Севастополь — морская твердыня,
Ты Родине службу, как прежде, несешь.

И каждое имя сраженного сына
В матросской горячей душе бережешь.
Ушли мы в бессмертье, чтоб песни звучали.
Чтоб город-герой горделиво стоял!
Чтоб дети смеялись и внуки рождались
И землю не жег смертоносный металл.
Отважно сражалась морская пехота,
Чтоб матери больше не слепли от слез.
И нет среди нас безымянных героев.
Нам званье дано — черноморский матрос!

— А знаешь... того,— сказал Ищенко,— за сердчишко берет!.. Давай поместим их на стеле. Твои, генерал, стихи-то?

Жидилов смущенно опустил глаза.

...Машина умчала нас в сторону Федюхиных высот, к горе Гасфорта.

Душистая долина Золотой балки вся в зеленых квадратах виноградников, разбитых на местах жесточайших сражений. Эта долина — предместье знаменитой Сапун-горы. Здесь в июне 1942 года 7-я бригада морской пехоты сдерживала превосходящие силы противника. Во время третьего штурма гитлеровцы сбросили в местах предполагаемого прорыва позиций бригады полторы тонны металла на один квадратный метр!

А теперь перед взором разливанное море виноградников комбината «Золотая балка». Теперь эту чистенькую зеленую просторную балку перерезают автомобильные дороги на север Крыма и на Южный берег и железнодорожное полотно на Балаклаву и Камышевую бухту.

Мы едем в сторону Черной речки, свидетельницы боев еще первой обороны.

На холмах покачиваются печально красные головки отцветающих маков, кое-где вьются молодые сивые усы ковыля, золотится сурепка и мелькают ароматные сиреневые цветочки чабреца.

Недалеко от совхоза, раскинувшегося под Федюхиными высотами, выходим из машины и взбираемся по отлогому подъему к тому месту, где будет установлена стела. Внизу, напротив будущего памятника, в совхозном поселке видно двухэтажное здание школы № 37. В ней следопытами школы уже создан музей 7-й бригады морской пехоты.

Мы осматриваем холм и ведем разговор; я спрашиваю генерала и комиссара о том, что было на этом холме, как далеко отсюда итальянское кладбище (я был здесь в во-

енное время и теперь плохо ориентировался), где был КП бригады, как проходила линия переднего края. Разговор наш оборвался как-то сам собою: я нашел медную бляху от матросского ремня, затем смятую каску, рукоятку ножа и перестал задавать вопросы, а комиссар с генералом, чуть удалившись от меня, молча смотрели куда-то вдаль. Лица их были такими, которые принято в литературе называть отсутствующими. Я понял, что оба ветерана попали в плен воспоминаний! Они оба, как я догадывался, сейчас не существовали, а находились в 1942 году, когда их бригада сражалась здесь, на этих очаровательных, пряных от множества цветущих, издающих ароматы растений холмах не на живот, а на смерть.

Я не стал окликать их.

Когда генерал и полковник вернулись наконец из сорок второго года, я спросил:

— Много ли здесь погибло людей седьмой бригады?

Генерал с глубоким вздохом сказал:

— Много!

Напротив холма, где будет установлена стела павшим бойцам 7-й бригады морской пехоты,— Федюхины высоты. Они часто упоминались в сводках во время обороны Севастополя.

Те, кто впервые попадает сюда, с трудом верят, что в этом раю среди виноградников, садов и синеющих гор, под прозрачным куполом высокого неба когда-то могли идти жаркие бои!

Счастливые эти люди! А меня здесь все будоражит: и сам Севастополь, и эти холмы, и долины, и горы, и море, и прежде всего люди, с которыми судьба свела во время войны здесь, на Юге. И настолько будоражит, что уже чувствую над собой власть военного прошлого и понимаю, что мне надо вернуться в Москву к своим фронтовым блокнотам и записным книжкам и свершить великий акт освобождения из архивного заточения того, что некогда билось пульсом боевой жизни, жизни, полной бессмертной отваги и мужества.

Когда наша машина подъезжала к Севастополю, я принял твердое решение подчиниться этому зову.

Севастополь — Москва — Переделкино
1967—1970



Будем благодарны судьбе за то, что она дала нам возможность жить в век не изнеженный, не вялый и не праздный.

Мишель Монтень

КНИГА ВТОРАЯ

СТАРЫЕ БЛОКНОТЫ

Передо мною блокноты и тетради военных лет. Почти четверть века они пролежали без движения в тиши письменного стола!

А попали туда вскоре после возвращения их хозяина с военной службы. Сначала они хранились в трофейном штампованном ящике для мин. Я взял его в куче артиллерийского хлама, брошенного гитлеровцами при поспешном бегстве осенью 1943 года с Тамани.

Плоский железный ящик для мин ротного миномета... Он очень похож на современный модный портфель-чемодан. Как-то мой «трофей» попался на глаза дяде Васе — водопроводчику из домоуправления, и он выклянчил его, убедительно доказав, что в нем очень удобно держать газовые ключи, ручники, шлямбер, ножовку, флянцы, пробивалку и даже добрый моток стальной проволоки для прочистки фановых труб.

Блокноты, дневники и тетради пришлось переселить в письменный стол с глубокими, покойными ящиками.

...Фронтовые записи! Смотрю на них и думаю — как хорошо, что освободил их из архивного заточения. Пора! Коль яблоко созрело, что может удержать его на ветке?

Пожелтевшие страницы укоризненно шуршат. Это понятно — сколько на этих страничках дремлет событий, судеб людских!

Записи делались в землянке при свете свечи из медной гильзы, заправленной бензином, на палубе корабля, в тряском кузове грузовика... Старенькие блокноты и тетради. С годами бумага желтеет, становится ломкой, непрочной.

Это огорчительно, потому что мы отдаем ей самое дорогое — м ы с л ь.

Я испытываю волнение, перелистывая пожелтевшие странички: так тревожно гремят они, того и гляди какая-нибудь из них рассыплется, и тогда уйдет в небытие запись, сделанная четверть века тому назад. К счастью, с годами память не стареет — она, как вино, крепчает и делается мудрой. Она выбрасывает из сундуков своих ненужное и сохраняет важное и ценное.

Листаю и бегло, пока без плана, читаю. Вот одна из записей:

«14 апреля 1944 года. Машины, пушки, танки, всадники, пехота, моряки — войска всех родов с шумом и грохотом тянутся по каменистым дорогам Крыма к Севастополю».

Я где-то уже приводил ее, в какой-то статье о Севастополе, и тогда слова эти почему-то не затронули сердца, а теперь... теперь они растравили память — ударом молнии осветили давнее прошлое.

Давнее прошлое! Стало тривиальностью говорить: «Это было двадцать с лишним лет тому назад», хотя это действительно было двадцать с лишним лет тому назад. После войны прошло уже четверть века. Подумать только! Огромный срок, а для памяти — миг.

И в самом деле, разве надо мною московская «переменная облачность» лета 1971 года, а не ясная синь высокого неба Черноморья апреля 1944 года?

Памяти чужда логика и тем более несвойственна последовательность: память скачет этакой сивкой-буркой, вещей кауркой, и то одно событие высечет своим волшебным копытцем, то другое.

Вот только пронеслись картины крымской весны 1944 года, когда навстречу нашей наступавшей армии бежали темно-зеленые, ровные, как стол, поля степного Крыма, и тут память вдруг вызвала к жизни конец августа 1941 года.

Август 1941 года. Москва. Стоит жаркое лето. Над столицей гремят летние грозы и залпы зенитных пушек, гудят самолеты. Идет третий месяц войны.

Время уже начинает, по выражению Льва Толстого, «просеивать» события и факты.

Первые десять дней войны были для нас роковыми — гитлеровцы одержали заметные успехи, а в конце третьей недели они очутились уже под Смоленском, где и были остановлены. Здесь на линии Пропойск — Кричев — Рославль — Ельня — Смоленск — Ярцево — Великие Луки начались кровопролитные сражения.

В это время гитлеровцы сделали попытку достать Москву «длинной рукой армии» — авиацией. Самолеты появились над столицей двадцать первого июля, в 22 часа 15 минут. Четыре эшелона — двести самолетов, волнами, до 3 часов ночи пробивались в воздушную сферу Москвы...

Третий месяц войны. Многие мои друзья, приписанные к армии, уже с первых дней на фронте. Некоторые успели получить ранения, а иные пали. Мы же с Гришей Ниловым сидим в двухэтажном особнячке на Гоголевском бульваре, в отделении печати Главного политического управления Военно-Морских Сил, правим и организуем статьи для пресс-бюро, которые бюллетенями рассылаются на флоты и флотилии для политуправлений и политотделов и флотских газет.

Большинство статей интересны, но немало и наивных или слишком общих, в которых больше призывов и почти ничего конкретного.

В общем, нам было как-то не по себе, и мы вели непрерывные «атаки» на наше непосредственное начальство — бригадного комиссара Д. О. Корниенко, чтобы он направил нас на действующий флот. В это время была в осаде Одесса и гитлеровцы стремительно приближались к Ленинграду; девятнадцатого августа немцы начали наступление на Таллин, а через неделю наши войска оставили его...

Нам хотелось живого дела — хотелось на действующие флоты. И вот наконец в одно прекрасное утро начальник отделения печати вызывает сразу Нилова и меня и говорит, что одному из нас придется выехать на Черноморский флот, что черноморцы накопили опыт борьбы с морскими минами противника, овладели тактикой отражения воздушных атак на переходах при кон-

воировании судов... Он еще говорил о морских пехотинцах и особенно об артиллеристах береговой обороны: впервые в истории морской крепостной артиллерии тяжелые стационарные орудия, приспособленные лишь для стрельбы по морским целям, были развернуты для стрельбы по... суше! Это похоже на чудо, хотя рождено оно необходимостью.

Закончил начальник на том, что для пресс-бюро нужны статьи о боевом опыте. Статьи командиров, старшин и краснофлотцев.

Писать статьи за кого-то — занятие по меньшей мере скучное. Но что делать — война! Раз нужно, будем делать. Тем более, это единственный способ попасть на действующий флот. Что греха таить — мы еще не нюхали пороху, не представляли себе всех сложностей и трудностей войны, но уже завидовали товарищам по ремеслу, находившимся в армии, читая их корреспонденции с фронтов в «Правде», «Известиях», «Красной звезде» и «Комсомолке».

Все-таки в каждом мужчине с незапамятных времен сидит вояка, и, что говорить, обстрелянный мужчина выглядит в глазах многих выше, сильнее. Особенно если эти глаза принадлежат любимой.

Мы с Ниловым долго гадали, кого из нас пошлют, и даже разыграли эту поездку на спичках. Выиграл я. И тут же пошел по начальству.

Начальник облегченно вздохнул; он любил нас обоих, и оба мы его осаждали уже давно просьбами послать на действующий флот.

Причем «атаку» на начальника мы вели и тайно друг от друга, и вместе.

У него маленькие пронзительные глаза-буравчики, мягкий голос и добрая улыбка. Покончив с заданием, он, как мне показалось стеснительно, произнес:

— Хочу предупредить вас: по прибытии на флот в первую очередь вы должны явиться к начальнику Политуправления флота, представиться и доложить о цели вашего приезда.

Держитесь скромно, но не забывайте, что вы не просто политрук, а — представитель Главного политуправления ВМФ СССР. Можете,— он вздохнул, словно собирался разрешить мне что-то недозволенное, заглянул в окно, за которым виднелась анфилада окон, затянутых белым шелком,— кабинет начальника Главпур ВМФ, армейско-

го комиссара I ранга И. В. Рогова, за глаза его все называли Иваном Грозным,— можете,— повторил мой начальник,— сделать замечание, если увидите какой-нибудь беспорядок. Но не высокомерно, а в деликатной форме...

Накануне отлета на Черноморский флот я не спал всю ночь. Да и друг мой тоже. Мы долго сидели с ним, говорили и порой вполголоса пели. Ни я, ни Нилов, в сущности, не умели петь — природа обнесла нас голосами. Но Нилов все же сносно мог напевать. Ему особенно нравилась песня, которую в Кишиневе пела нам одна молдаванка.

Это народная, старинная песня «Арде мэ, фридже мэ!». Та самая песня, которую Александр Пушкин услыхал на балу у кишиневского негоцианта Варфоломея в исполнении цыганки и затем написал как песнь Земфиры: «...Режь меня, жги меня: я тверда, не боюсь ни ножа, ни огня...»

Рано утром я был на одном из военных аэродромов на юге Подмосковья. Здесь стояло несколько боевых самолетов АДД [1], на которых морские летчики летали в глубь немецкого тыла.

Аэродром прятался в густом сосновом лесу. Вскоре прибыл генерал авиации Военно-Морских Сил Андреев и почти тотчас же за ним писатель Александр Хамадан. Он намеревается пробраться в осажденную Одессу. И мне туда.

Нас познакомили с генералом. На его самолете мы полетим до Ейска. Генерал останется там инспектировать знаменитое Ейское военно-морское летное училище, а нас он обещал другим самолетом отправить через Керчь в Севастополь.

Все шло отлично — подполковник Лоб, наш наркоматский летчик, классически довел самолет до полурыбацкого-полукурортного городка.

Под фюзеляжем сверкнуло маленькое мелкое море, беленькие, прячущиеся в тени пышных акаций домики Ейска, выжженная степь, песок, и мы по-мастерски, как садится в степи большая птица, опустились на землю.

Тут мы заночевали, а утром за завтраком генерал

[1] АДД — авиация дальнего действия.

предложил задержаться, посмотреть полеты курсантов. Но мы спешили в Одессу.

Перед глазами рыжие, выжженные солнцем холмы Восточного Крыма: безлесье, пыльные дороги, а чуть в стороне лазурное море.

Самолет ползет в небе, как муха по стеклу. Летчик кладет его на крыло, и море становится ближе.

Мыс Меганом. Обрывистые рваные берега, торчащие из воды скалы. Навстречу бегут кружась утесы. Крыло самолета «срезает» вершину высокой Демерджи, а впереди уже видна королева крымского полуострова гора Чатыр-Даг. Под крылами тянется Южный берег.

Алушта.

Пустые пляжи.

Чистый золотистый берег.

Ни лодки. Ни паруса. Ни тени от человека.

Пустые санатории.

На мелкой гальке белые загривки волн.

Тишина.

Тяжкая пустота.

А солнце светит, как и в мирные дни, хотя уже шестьдесят дней идет кровопролитная война... Одесса прижата к морю, как боксер к канату,— на кладбище на свежих могилах вместо «скончался» пишется «пал...»

...У мыса Айя в наш курс стрелой вонзился самолет-истребитель военно-воздушных сил Черноморского флота. Летчик погрозил нашему пилоту и тут же отвалил в сторону.

...Херсонесский маяк. Северная бухта. Резкая синь воды. Слепящее солнце. На Стрелецком рейде корабли дозора. На верках Константиновского равелина сигнальщики неустанно пишут флагами, размахивая руками, как дирижеры. Конец полета.

На самолет надвигаются берега, ангары, корабли и сидящие на воде, как пауки-водомерки, морские бомбар-

дировщики. Летчик долго прицеливался и, наконец выбрав подходящее место на воде, сел.

Из гидроаэропорта город как у бога на ладони. На высоком холме Владимирский собор, на склонах, в абрикосовых садочках, белые домики, на Корабелке казенные здания флотского экипажа, чуть ниже Морзавод, а в сторону Артиллерийской бухты — белое здание Сеченовского института. У Приморского бульвара рвущийся прямо из воды памятник затопленным кораблям — гранитная колонна и парящий над ее вершиной бронзовый орел с лавровым венком в клюве.

Штабной катер лихо пересек Северную бухту и встал у причала Графской пристани.

Мы не успели сделать и одного шага по широкой и нарядной лестнице, как над Севастополем появились самолеты противника.

Вой сирен и стрельба береговых и корабельных батарей рвали на части воздух, сотрясая весь город.

Самолеты шли на большой высоте. Маршрут их полета отмечался в небе кроками снарядных разрывов. Осколки гулко шлепались на пристань.

Хамадан кивком предложил подняться по лестнице к портику Графской пристани.

Пока мы стояли под портиком, спасаясь от осколков, вспомнился Кишинев...

Тихий степной городок в Бессарабии я покинул 5 июня, то есть три месяца тому назад, когда на нашей земле никакой войны еще не было, когда о ней говорили лишь политики да обозреватели официозов. Теперь-то нам известно, что это был обманчивый штиль: гитлеровский генштаб уже имел, и притом во всех деталях, план нападения на СССР. В соответствии с этим планом были приведены в боевую готовность и придвинуты к нашим границам гитлеровские войска.

В это же самое время и Япония вела отягощенные протокольно-процедурными маневрами переговоры с США.

Одновременно с переговорами большое соединение японских военных кораблей и военно-воздушных сил, сосредоточенных у острова Сиоху (Тихий океан), под командованием адмирала Нагумо проводило приближенные к боевым условиям репетиции внезапного нападения

на Жемчужную гавань, самую ценную для Америки гавань во всем Гавайском ожерелье. Здесь стоял дальневосточный флот Соединенных Штатов.

Командиры кораблей порой жаловались на тесноту в гавани. Особенно в те часы, когда флот возвращался из длительного крейсерства и моряки, спеша в бары и бордели, без должного терпения выносили сложность швартовок и постановки на якоря. Зато офицеры японской разведки, служившие на американских военных кораблях поварами и вестовыми у командиров, считали Жемчужную гавань идеальной для будущих подвигов японских военно-морских и военно-воздушных сил.

Все это трагически впоследствии подтвердилось.

Страшно подумать, что в то время, когда морской бомбардировщик доставил нас с Хамаданом в Севастополь, американцы, пристально следившие за развитием военных действий на нашей территории и втуне радовавшиеся, что война их не затрагивает, не имели ни малейшего понятия о том, что не более как через сто дней три с половиной тысячи американских матерей в течение одного часа потеряют своих сыновей. И это будет лишь первая жертва за беспечность.

Однако в те дни и я, советский журналист, на земле которого свыше семидесяти дней уже лилась кровь, тоже не предполагал, что война скоро примет мировой характер.

Может быть, потому не думал об этом, что сама война казалась противоестественной — ведь она оторвала от дела миллионы людей: остались стоять несжатыми хлеба, незаконченными плавки в мартенах, неотдоенными коровы, незаконченными книги... И я был вынужден бросить незаконченную работу: еще с осени 1940 года готовился к радиопередаче из Кишинева о первой годовщине освобождения Бессарабии, где я пребывал в качестве специального корреспондента «Последних известий» Всесоюзного радио.

Бессарабия была освобождена 28 июня 1940 года, и тогда же Кишинев стал столицей Молдавской Советской Социалистической Республики.

Старинный южнорусский городок с зелеными улицами в белых цветущих акациях особенно хорошо выглядел в раннюю летнюю пору. Белый собор с каменной дорожкой, расстеленной под аркой звонницы до самых архиерейских палат, тенистый парк с памятником Александру

Пушкину. Старинное здание суда с чугунными, узорного литья ступенями парадной лестницы, где без малой доли удивления можно было вообразить себе встречу с Павлом Ивановичем Чичиковым или услышать громовый, безудержный хохот Ноздрева... А впрочем, для описания Кишинева весенней поры сорок первого года мало одного воображения, нужно волшебное перо, которым пользовался Николай Васильевич Гоголь! К сожалению, оно дается лишь избранным!

Празднование освобождения Бессарабии было назначено на 28 июня, но уже 22 июня над Кишиневом появились фашистские самолеты.

Теперь, когда я стою в Севастополе под портиком Графской пристани и вспоминаю о тех днях, Бессарабия уже вся в руках у немцев... Между прочим, впервые я увидел их там, на улицах Кишинева, в марте 1941 года — они появились в молдавской столице неожиданно для ее жителей, причем беззастенчиво разгуливали по улицам в серо-зеленых шинелях и в пилоточках с фашистской свастикой. В Совнаркоме республики мне было официально заявлено, что они прибыли в Бессарабию для «выявления и переселения» немецких колонистов, осевших здесь еще в начале прошлого столетия.

Я знал, что в Бессарабии жило много немецких колонистов по нижнему течению Днестра и в Причерноморье. Жили они богато, кучно, и «выявлять» их труда особого не требовалось. Однако гитлеровские эмиссары проявляли такую активность, что их суета всем бросалась в глаза,— они сгоняли колонистов, как скот, в гурты, отбирали документы и вместо них вешали на шеи деревянные бирки с номерами. Вся эта операция проводилась с заметной нервозностью — гитлеровцы кричали на колонистов, не разрешали им брать много скарба, которым инерционно, по-крестьянской жадности, нагружались отъезжающие.

Для сбора переселенцев было отведено несколько железнодорожных пунктов.

Первыми в Германию выехали мужчины, тщательно отобранные, физически крепкие,— их направляли на строительство автострад и аэродромов. Семьям, согнанным к вокзалам, говорилось, что они страшно провинились перед фюрером в том, что не догадались вернуться в Германию раньше, и что если мужчины будут хорошо работать и покажут себя истыми патриотами, то, воз-

можно, фюрер простит их и разрешит всем жить в центральной Германии, а пока их мужья и сыновья будут зарабатывать благорасположение фюрера в строительных организациях инженер-генерала Тодта, семьям придется некоторое время пожить в восточных областях рейха, то есть на землях оккупированной Польши.

Невеселые, словно погорельцы, сидели колонисты на вокзальных скамьях с бирками на шеях в ожидании эшелонов. Питались всухомятку, пугливо переговаривались. Сильно обрусевшие, они плохо говорили на родном языке, вкрапливали в свою речь молдавские, русские и украинские слова. Среди них были колонисты с берегов Днестра — из Шабо и Аккермана и часть семей из других городов и местечек Бессарабии, а также и из причерноморских поселков.

По внешнему виду, как мне казалось, они были не очень рады этой перемене в их жизни. Нет! Нет! Совсем не рады!

Здесь в Бессарабии они оставляли великолепные сады, скот, отзывчивую на урожаи землю, благодатный климат, прочные, хотя и несколько старомодные, дома, а что их ждет впереди?

Впрочем, некоторые (я говорю о тех, с кем пришлось мне беседовать) выставлялись этакими бодрячками и отвечали на мои вопросы в стиле той пропаганды, которую, надо полагать, с ними провели перед тем, как была достигнута договоренность между нашим и немецким правительствами о добровольном выезде в Германию немецких поселенцев из Советского Союза.

Выезд колонистов затягивался под разными предлогами самими гитлеровскими уполномоченными: они продолжали разъезжать по Бессарабии в дешевеньких с виду машинах мышиного цвета. Это были «опельки» либо же любимые эсэсовцами «ханомаки».

С наглым усердием они скупали в фирменных магазинах Главкондитера шоколад: войдут в своих отвратительных, длиннополых шинелях и в сапогах с голенищами-бутылками, в пилотках или фуражках с высокой тульей, обегут жадными глазами витрины и полки, на которых выложены штабелями плитки «Золотого ярлыка» и «Золотого якоря», и к продавщице:

— Зколко стоит?

После ответа быстро, словно пролают:

— Зибен килограмм!.. Пакет!..

Скупали они также топленое масло и колбасы сухие— копченые и жирные «салями» и буквально набрасывались на «шпэк»... в гитлеровской Германии давно уже жили по карточкам. А шоколад вообще был роскошью для рейха — всё забирал прожорливый Марс!

Готовясь к годовщине освобождения Бессарабии, я во время поездок по Бессарабии однажды вместе с начальником погранвойск генералом Никольским попал на одну из пограничных застав на реке Прут. Мне хотелось в своей передаче сказать несколько слов о новой границе и пограничниках. Более того, меня одолела мысль разыскать среди пограничников бессараба — жителя освобожденного края, вставшего на защиту границы своей земли.

Мы переночевали на заставе, а утром, прежде чем заняться делами, вышли к Пруту. Тяжелый ночной туман висел, как намокшие рыболовные сети. От реки шел пар. С румынской стороны доносились голоса и смех, но видно ничего не было. Однако детство утреннего солнца коротко: оно быстро поднималось вверх, и вскоре туман стал отодвигаться, как театральный занавес.

То, что я увидел, потрясло меня. Генерал молча смотрел в бинокль и скоро процедил сквозь зубы: «Та-ак-с!» — и подал мне многократный бинокль со словами:

— Смотри, корреспондент, что делается на божьем свете! Прямо на глазах располагаются гитлеровцы на румынской земле — как у себя дома...

Во второй раз немцы попались мне на глаза в Риге. В конце мая 1941 года, когда я уже был готов к праздничной передаче, неожиданно получил от редакции задание выехать в Ригу и дать ряд корреспонденций.

Ехал я через Черновцы, Львов, Подзамчу на Вильнюс и далее через Шяуляй прямо на Ригу.

В Рижском порту чередой стояли немецкие суда. Они поспешно набивали объемистые трюмы отборным советским зерном. У судов и пакгаузов шныряли гитлеровцы в серо-зеленых шинелях. Вынюхливые, настырные, как портовые крысы, они торопили грузчиков и суперкарго (грузовых помощников).

— Шнель! Шнель! — слышалось то и дело у сходен и пакгаузов, откуда по транспортерам текло зерно.

В припортовых кабачках, заполненных шкиперами, файермаерами, матросами, грузчиками и стивидорами,— гул.

Грузчики вопрошали: «Чего это мы хлеб грузим бошам? Да еще в три смены втыкаем!.. Они же запасают наш хлеб для войны с нами же!.. Неужели Сталин не знает об этом?!»

Немцы... Сталин... Эти два слова заполняли мировую печать. И это понятно — судьбы Мира в те дни в значительной мере зависели от того, что выкинут немцы и как на это ответит Сталин. Одно было совершенно очевидно: пока в трюмы немецких судов сыпалось наше зерно, Советский Союз неукоснительно выполнял свои торговые обязательства, хотя до гитлеровского нападения оставалось всего несколько недель! Это ощущалось и в дороге, и в городах, которые я проезжал, возвращаясь в Кишинев через Вильнюс, Львов, Черновцы и Унгены.

...Однако торговые обязательства тогда за несколько недель до начала войны выполнялись неукоснительно.

Возвращался из Риги я тем же путем. Остановок нигде не делал, но и во время кратких стоянок во Львове, Черновцах и Унгенах чувствовалось, что война подходит к нам все ближе и ближе.

...Десять дней я не был в Кишиневе, а как тут все изменилось! На центральной, Александровской улице появились цветы, напротив собора открылся фирменный магазин Главкондитера с великолепным ассортиментом шоколадных наборов, плиточного шоколада и конфет. А тортов сколько! Пирожных! Рядом, за большими зеркальными окнами, во вновь отделанном помещении открылось кафе. Улыбчивые красотки разносили кофе и сладости, как в Лондоне у Лайонса!

Открылись фирменные магазины, отделанные полированным деревом и зеркальным стеклом: Ювелирторга, ТЭЖЭ, Главтабака,— столица продолжала готовиться к празднику. Да и периферия не отставала: в селах белили хаты, чинили крыши, ремонтировали местные дороги и мосты и даже подбеливали стволы придорожных деревьев. Штукатуры и маляры всюду были нарасхват. В общем, здесь не чувствовалось той нервозности и того тревожного ожидания военных событий, которые я наблю-

дал в Прибалтике и в некоторых приграничных городах.

В театрах шли репетиции, композиторы писали новую музыку, художники работали над эскизами для праздничного украшения столицы республики и помогали мастерам шитья готовить из нежнейшего гаруса панно для павильонов Молдавии на выставке в Москве.

Деловая обстановка вскоре захватила и меня и закружила, и я перестал думать о близкой войне. «Были же случаи в истории, когда войска стягивались к границе для демонстрации силы, перед сменой политики,— рассуждал я.— Так и теперь: развивая экспансию на Западе и пытаясь осуществить операцию «Морской лев», то есть бросок на Англию, через Ламанш, Гитлер на всякий случай, чтобы обеспечить себе тыл, разместил какую-то часть своих войск на границе с нами».

К сожалению, как потом стало известно, это было не так, война не только придвигалась, но она, как говорится, стояла за дверью. Но я по-прежнему передавал в Москву ежедневную информацию обычного для «Последних известий» характера, встречался с широким кругом людей, брал интервью, продолжал рыться в архивах.

Бессарабия — не золотой прииск, но и в ее просторных степях Природа и История рассыпали немало драгоценностей.

Я беседовал с пастухами, слушал игру на флуэре и певучие сказания стариков, побывал у крестьян Ганчешт — в этом селе родился Григорий Котовский. Хотя о нем уже создана библия легенд и правдивых сказаний, односельчане вспоминали что-то новое либо пересказывали на свой лад то, что давно уже ходило по земле.

Побывал я и в Кодрах — чудо-лесах, где искони находили себе приют борцы за волю; день провел в Оргееве и три — в городе мукомолов — Бельцах.

Всюду поражала раскованность, свободное дыхание жизни, настоящая, чистая радость в недавнем прошлом забитых бессарабцев. Особенно это хорошо виделось на базаре — древнем народном форуме, месте свидания и обмена товарами и новостями.

Базары в Бессарабии богаты живописной щедростью натуры: прямо на земле горы помидоров, арбузов, синеньких, лука, красного перца и отборных, янтарных початков кукурузы. Даже весенние базары, когда дары земли не столь богаты, и то не скупы на веселье.

Отойдешь к окраине базара и увидишь на каруцах, из которых выпряжены кони, крепко сидящие бочки с синеватыми подтеками у пробок — они полны вином. Их толстые деревянные пробки — чопы пропитаны хмелем и осыпаны осами. Вино терпкое — «прямого выхода»,— цвета крепкого раствора марганцовки. Дешевое — двугривенный «от пуза». На базаре от утренней зари шел торг. Мешками призывно стояли промытые в кислоте, звонкие, с сочным и сладким ядром волошские орехи. В палатках висели связки гусей и уток. На лотках серебрилась дунайская и днестровская рыба. В тени возов лежали тяжело дышавшие бараны...

Среди товаров бродят молдаване. Они держатся с достоинством. На них высокие смушковые шапки — кочулы. Шапки мелькают средь бочек, как казацкие папахи в высоких травах буйных степей.

На другом конце базара, возле пестрой, сверкающей фольгой, латунью, бисерами и пестрыми ситцами карусели,— «цыгане шумною толпой» и босоногие молдаванки.

Звенят бубны, железным голосом уныло жует несложную мелодию старая, потерявшая свой шарм шарманка, и белый попугайчик, задрессированный до страха, с измученно красными глазами покорно, как древний раб Египта, таскает из ящика пакетики со счастьем...

Словом, жизнь в Кишиневе бурлила, как вешний поток. Старожилы говорили, что никогда еще в городе не было такого количества крестьян — они заполняли магазины, покупали обувь, красный товар, мыло, книги, керосин. А ведь всего лишь год тому назад они ходили босиком чуть ли не круглый год, почти не пользовались мылом, не зажигали огня в хатах и детей не учили... Все это скучная проза, но она-то и рождает истинную поэзию. И поэтому я не проходил мимо сих «мелких» и «незначительных» фактов. Да и сама жизнь не подтасовывала ничего.

И в это же время газеты пестрели телеграммами о трагедии Ковентри и о бомбардировках Лондона. Обстановка в Европе ухудшалась с каждым днем: казалось, что Гитлер вот-вот перешагнет Ламанш. Вместе с тем даже из тех скупых материалов, которые печатались в газетах о трагедии Европы, проскальзывали нотки, что немцы не очень-то хотят наводить мост через пролив, все,

что они позволяют себе с Англией, это лишь для отвода глаз, главная их цель — поход на Восток!

Было над чем призадуматься!

. . . . . .

...Воздушный налет на Севастополь кончился. Наступила тишина. Хамадан негромко сказал:

— Ну что ж, пошли?

Я что-то ответил ему, все еще находясь в недавнем и властном прошлом. Мы долго жили без войны: пахали нивы, варили металл, строили электростанции, заводы, города, дороги, писали книги... И вдруг война. Она пришла, как говорится, без стука в дверь, поэтому и трудно свыкнуться с ней и уйти от мирного времени.

На улицах Севастополя патрули.

Две каски. Две винтовки. Два ножа в черных ножнах у поясов. Два противогаза через плечо. Две повязки на рукавах. Двое шагают как одно целое: крепкие, прочные, как памятники.

Уже семьдесят дней шагают патрули по севастопольским улицам.

Семьдесят дней идет война. На улицах полное отсутствие гуляющих, на большинстве встречных противогазы, витрины больших магазинов прикрыты щитами, либо сложенными из мешков с песком, либо сколоченными из теса и тоже набитыми песком... У города и его людей подчеркнуто деловой вид.

И тем не менее порой казалось, что тут все как прежде, как до войны: и чистая глубина неба, и синьковая вода, и корабли на рейде, и крик чаек, и гудки Морзавода, и перезвон трамвая, и свистки боцманских дудок, и мерцанье ратьеров, и порханье сигнальных флагов, и медный голос рынд... И даже розы на бульваре так же свежи и пышны. И на базаре у Артиллерийской бухты, как до войны, ходят, покачиваясь, рыбаки в густо облепленных луской робах. Брюки прихвачены на бедрах обрывками сетей. Рыбацкие женки, переговариваясь на южном жаргоне — и не русском и не украинском, бойко рекламируют свой товар: красных вареных чилимсов («крэвэток»), темных, похожих на переспелые, лопнувшие сливы мидий, «бичка» и мелкую камбалу — «глосика».

Торговые лотки пахнут водорослями, «рибой» и тем специфическим запахом, запахом продуктов моря, который стойко держится.

На южном рынке все красочно, сочно, терпко и аппетитно: и темно-красные помидоры, и зелень петрушек, эстрагонов, кинзы и укропов; серебристый блеск рыб и сочно-красный разруб свежего мяса. Да все тут картинно: и спелые груши, и яблоки, и виноград, и краснощекие персики, и вино в стеклянных горлачах, над которыми с едва слышным звоном вьются настырные и неотгончивые осы.

Севастополь в сентябре не был фронтовым городом, но война шла здесь, и притом тяжелая, серьезная, с частыми трагическими исходами: война под водой и в воздухе. Противник ни на минуту не оставлял попыток парализовать, вывести из строя Главную базу Черноморского флота. Ведь если б не Севастополь, вряд ли могла бы столь долго защищаться Одесса. Севастополь держал врага на юге, как пса на цепочке.

...В нашей стране, пожалуй, нет места, где бы москвич не встретил земляка. В Севастополе их было особенно много среди корреспондентов, художников и композиторов. Но этой встречи я не ожидал совершенно. Передо мною стоял стройный моряк, одетый с подчеркнутой тщательностью.

Ну конечно же это Миша Величко.

Мы присели на скамейке Приморского бульвара и пошли вспоминать Москву 1925 года... Это были поразительные годы! Улицы Москвы кишели народом, а поезда продолжали выбрасывать на перроны столичных вокзалов все новых и новых «искателей счастья».

Приезжие не без робости, шарахаясь трамваев, пересекали улицы, прилипчиво разглядывали вывески и афиши на круглых тумбах. Среди них были строители в лапоточках с обернутыми в порточное полотно пилами, здоровенные молодцы с плечами в косую сажень; горцы в бурках и мохнатых шапках; азиаты в чалмах; сибиряки в длинноухих шапках. Один бог знал, по каким таким делам высаживались в столице эти «десанты». Но большинство из них — это нехитро было определить по горящим глазам — кинулись сюда из-за тридевяти земель с единственной целью: «грызть гранит науки». Среди них были будущие знаменитости — жрецы науки, сцены, литературы, мастера кисти и резца, инженеры, полководцы, партийные деятели и дипломаты.

Москва принимала всех, кто стремился доказать, что не лыком шит. Столица была после разрухи шумна и бо-

гата — двери храмов науки широко открывались перед рабоче-крестьянским людом: заходи, учись не ленись!

Провинциалы ориентировались отлично: будущие писатели устремлялись на Поварскую, в дом, описанный Львом Толстым в «Войне и мире» как дом Ростовых. Здесь размещался ВЛХИ имени В. Брюсова — Высший Литературно-художественный институт; журналисты на Малую Дмитровку в КИЖ — Коммунистический институт журналистики; художники и ваятели на Мясницкую во ВХУТЕМАС... Был свой институт и для слесарей, токарей, строгальщиков на Петровке, и назывался он ЦИТ — Центральный институт труда. Им руководил поэт и инженер Александр Гастев.

Воспоминания наши были хаотичны. И не мудрено: столько времени утекло! Мы шли по тем годам, как по стране чудес. Мы ведь тоже попали в столицу в двадцать пятом году, один — из Сибири, другой — из тамбовских степей... Пока не обжились, чувствовали себя как лишенный руля парусник в море. Часто озадачивались, не знали, куда раньше поспеть: в Третьем Доме Советов на Садово-Каретной — диспут между Анатолием Васильевичем Луначарским и подстриженным под полечку митрополитом-«новатором» Введенским; в Политехническом — вечер Маяковского; в МГУ — лекция профессора Соколова, слушать которого собирались студенты всех факультетов, литературоведы, писатели; у Вс. Мейерхольда — спектакль «Рычи, Китай!»; на афише Дома печати — Виктор Шкловский...

Объявления. Афиши. Диспуты. Литературные вечера. Концерты...

Везде интересно, а как успеть?

Не обошла наша память и походы в Охотный ряд. Туда, где теперь стоит гостиница Москва. В те далекие годы тут шумел такой базар! Под открытым небом в несколько рядов товары — навалом. Чего тут только не было! Соленые грибы, метровые осетры, бочки квашеной капусты, моченых яблок, огурцов, свиные окорока, кабаньи туши, горячие щи в розлив, вареные кишки, требуха и набитые плававшей в жиру кашей сычуги, кипящие в масле пирожки, солнцеподобные блинцы, горы янтарного студня — словом, все — от листовой петрушки до живых баранов и нещипаной птицы!

Напротив этого торжища, на месте нынешнего Дома Совмина, распряженные кони, покрытые зипунами, ста-

рательно рылись в сене, а в чайных раздавались голоса удачливых купцов и из окон шел пар.

Вспомнились и громаднейшие книжные развалы на Моховой и у стен Китай-города, и наша Воздвиженка... Тесная комнатка редакции «Журнала крестьянской молодежи» — «ЖКМ», примыкавшая к кабинету редактора «Крестьянской газеты» С. Урицкого.

В этой комнатке двадцатых годов стояло несколько столов, один из них занимал Величко, а рядом с ним, неуютный, без письменного прибора, стол для литсотрудников. За него садились приносившие в редакцию стихи поэты, прозаики присаживались вычитывать гранки.

Здесь бывали Михаил Исаковский, Михаил Светлов, Александр Жаров, Александр Безыменский, Серафим Огурцов, Семен Оков, Георгий Хвастунов, Михаил Голодный, Август Явич, Георгий Шубин, Яков Шведов, Андрей Платонов.

Это было время, когда на полках библиотек появились «Чапаев» Дм. Фурманова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Белая гвардия» М. Булгакова, «Города и годы» К. Федина, сатирические шедевры — рассказы М. Зощенко, книги стихов В. Маяковского, «Гренада» М. Светлова, «Конармия» И. Бабеля и первый том романа М. Шолохова «Тихий Дон»...

Чаще других к столу литсотрудников «ЖКМ» присаживался для вычитки гранок Михаил Шолохов — журнал первым из московских повременных изданий начал печатать его «Донские рассказы».

Широколобый, слегка скуластый, он был немногословен. Когда слушал, сосредоточенно смотрел в глаза собеседнику. Тогда он еще не носил усов, которые теперь завивают ему карандашами на своих рисунках Кукрыниксы.

Держался скромно, хотя уже выходил на дорогу широкой известности. Одевался по тем временам модно: на нем была кавказская рубаха, просторная, забранная в складки под серебряный, наборный поясок, неширокие галифе, заправленные в аккуратные, хромовые, с хорошо проработанным, накатным рантом сапоги.

Вспомнилось, как мы праздновали выход в свет первого тома «Тихого Дона».

В те годы между писателями отсутствовали ранговые отличия — все держались между собой просто, радовались успеху друг друга.

Праздник возник неожиданно — утром Шолохов пошел в издательство «Московский рабочий», а после обеда вернулся с первым томом «Тихого Дона».

Отпраздновать выход книги было решено на квартире у Василия Кудашева. Он жил в сером, под гранит, доме в проезде Художественного театра, в двух шагах от МХАТа.

Рядом с подъездом, в котором жил Кудашев,— витрина магазина кавказских изделий. Пройти мимо, не заглянув в нее, невозможно было — к окну тянуло, как к горной пропасти: столько соблазнительных вещей лежало за толстым стеклом! Они сверкали, сияли, ну только что не говорили!

Кубки и рога, окованные золоченым либо черненым серебром; кинжалы с изузоренными серебром костяными рукоятками, газыри, кубанки; шитые золотой тесьмой башлыки из верблюжьей шерсти; широченные кавказские рубахи с высокими стоячими воротниками, унизанными мелкими пуговичками, как Млечный Путь звездами...

По бокам витрины висели бешметы и бурки. Вот сюда мы и зашли. На деньги первого издательского гонорара Шолохов купил несколько наборного серебра поясов, кинжалы, бурку, башлык, легкие, как воздух, козловые сапожки и рубаху. Затем мы зашли в «Продмаг». Тут накупили полную корзину вкусных вещей.

В обложке цвета морской волны первое издание первой книги «Тихого Дона» лежало в центре стола.

Над столом — табачный дым. После первых бокалов шампанского и тостов возникло желание попеременно костюмироваться купленными кавказскими вещами.

...Заснули мы в ту ночь позднее обычного, и новая бурка, на которой мы улеглись, славно пахла шерстью и горами и казалась мягче перины. Хотя под нею, кроме паркета, ничего не было. Мы уснули сном, каким спят дети и охотники. Шолохов спал, оберегаемый огромным успехом, а я — еще не тронутой бедами молодостью...

Воспоминания — реанимация прошлого. В этом процессе есть какая-то скрытая и очаровательная сила, а в оборонявшемся Севастополе в этом была потребность, и мы долго и не без удовольствия занимались «оживлением» прошлого, пока не была объявлена очередная воздушная тревога.

ОХОТНИКИ ЗА МИНАМИ

...Прошла неделя, а у Хамадана все еще нет разрешительного удостоверения. Мне пора двигаться в Одессу, но я дал слово товарищу ждать его. И я ждал.

В Главной базе шла незаметная для многих, но смертельная война с вражескими минами.

«Передовая» минной войны — Стрелецкая бухта. Здесь располагались ударные силы. К ним и увлек меня Анатолий Луначарский, самый молодой и энергичный из группы москвичей военных корреспондентов, приписанных к Черноморскому флоту.

По дороге в Стрелецкую Луначарский дотошно расспрашивал о Москве, по которой его сердце совершенно истосковалось: он нежно любил свою мать, а кроме нее в столице была жена.

После расспросов о Москве Анатолий, унаследовавший от отца талант рассказчика, заставил меня буквально забыть обо всем — так увлекательно говорил он о моряках катеров «МО», к которым был прикомандирован.

Я никогда не видел катера «МО» и, откровенно говоря, кроме этого интригующего слова, ничего о них не знал.

Катера «МО» в расшифровке — «морские охотники» [1]. Эти небольшие остойчивые, легкие, маневренные, быстроходные деревянные суденышки были вооружены пушками и крупнокалиберными пулеметами «ДШК». Кроме того, они несли на борту глубинные бомбы против подводных лодок.

Служили на них смелые, опаленные солнцем моряки. Луначарский уверял, что никто из них не знает чувства страха.

Назначение катеров «МО» — дозорная служба и борьба с подводными лодками. Они одними из первых встретили нападение гитлеровцев на Севастополь.

Как известно, в ночь с субботы на воскресенье, то есть 22 июня, в час рассвета, или, как говорят моряки, в последний час «собачьей вахты» (в начале четвертого ночи), наблюдательные посты на подходе к Севастополю услышали в воздухе шум авиационных моторов.

---

[1] Правильно слово «МО» расшифровывается как «малые охотники», но так их называли лишь в официальных документах.

Трудно было в смутном рассвете определить, чьи это самолеты, и наблюдатели продолжали лишь докладывать о приближении звука самолетных моторов, и оперативные дежурные сообщали в штабы о том же.

Эта неопределенность докладов была понятна: возвратившаяся в пятницу в Севастополь после двухнедельных сложных и тяжелых маневров эскадра стояла без огней— командующий флотом вице-адмирал Октябрьский не отменил боевого затемнения на кораблях и увольнение на берег разрешил произвести в сильно сокращенном составе.

Большинство поднятых по тревоге думали, что командующий флотом решил продолжить учения флота, и на этот раз задача поставлена перед флотом такая: «Отражение нападения воздушного противника на Главную базу».

Даже и тогда, когда прожектористы включили свои установки, севастопольцы не считали, что это война.

И только первые взрывы, выбившие стекла в окнах и сбившие в некоторых домах люстры с потолков — в радиусе до трехсот метров от места взрыва,— избавили от иллюзий.

Вскоре над Севастополем поднялся оглушающий грохот — по самолетам противника был открыт шквальный огонь.

Несколько самолетов загорелось. Один рухнул. Остальные засуетились и сошли с курса. Тотчас же посты наблюдения и связи доложили, что немецкие самолеты выбрасывают парашютный десант.

Вот в это время поднятые по тревоге катерники наперегонки спешили из общежитий и квартир к катерам.

Каково же было их изумление, когда в районе спуска десанта они увидели, что на парашютах не десантники, а не виданные до сих пор продолговатые, издали похожие на человеческие фигуры морские мины!

Катерники успели засечь места, где они упали, и выбросить сигнальные буйки.

Тяжела была та ночь, но она отрезвила людей, освободила от ложного пафоса, от всего наносного и проявила истинную ценность каждого и в доблести и в... подлости!

Многое в ту ночь стало яснее видеться. Особенно людям, которых на каждом шагу караулила опасность.

Луначарский привел меня на катера звена, которым командовал лейтенант Дмитрий Андреевич Глухов.

Катера на стоянке после похода или дежурства в дозоре выглядят живописно: на протянутых над палубой линьках — тельняшки, бушлаты, плащи, робы. Особенно много «сбруи флотской» висит на линьках в те дни, когда катер, вышедший в дозор, угодит на сильную зыбь, тут не только душу вымотает, но и выкупает.

Пока сушится матросское добро, свободные от вахт жарятся на солнце.

Катерники, почти все без исключения, физически крепкие, сильные,— морская волна не балует и не жалеет их кораблики — в походе иной раз так мотает, не владей моряк стойкой, живо окажется за бортом.

Теперь, по прошествии почти восьмидесяти дней с той роковой ночи, моряки с юмором вспоминали о том, как, поднятые по тревоге, они бежали через город к Графской пристани. Бежали и с Петровой горки, и с Чапаевки, и от Артиллерийской бухты. Улицы гудели от топота ног, от разговоров на бегу. Многие на ходу застегивали пуговицы. А кое-кто, не управившись в темноте со шнуровкой ботинок, бежал босиком, держа в руках казенные «скороходы».

Подсмеивались над собой, рассказывали о том, как приняли сброшенные на парашютах с самолетов немецкие мины за десантные войска.

И даже о смертельном риске при подрыве мин сначала глубинными бомбами, а затем переменными ходами катера лейтенанта Глухова и то рассказывалось не без юмора. Хотя для смеха тут материала было мало.

Минная война всегда была самым сложным делом на морских театрах. В приемах этой войны страшна не столько сама взрывная сила мины и ее последствия, сколько т а й н а, которая окутывает всегда эту силу.

Обнаруженная мина, как правило, обезвреживается, а вот та, что скрыта под водой,— патентованная союзница трагедий.

В первый же день войны на Черном море возле Севастополя разыгрался первый акт трагедии:

22 июня подорвался морской буксир «СП-12»;

24 июня плавучий двадцатипятитонный кран;

1 июля близ Севастополя подорвался эскадренный миноносец «Быстрый».

Когда подорвался морской буксир и затем плавучий кран, командование Черноморского флота восприняло это как неизбежное следствие войны.

Катастрофа с эсминцем «Быстрым» заставила призадуматься над серьезностью создавшегося положения: неужели немцам и в самом деле удалось «запереть» Черноморский флот в его Главной базе?

Русские исстари славились искусством минной войны — они всегда действовали не только смело, но и азартно — и на море, и на суше. А теперь озадачились.

Почему?

Потому ли, что внезапная война застала неподготовленными?

На эти вопросы я ни от кого не получал прямых ответов. Хотя ничего мудреного не было и в том, чтобы сказать — да! Кстати, оно в общем-то так и было. Когда командующий флотом приказал очистить фарватеры — сделать плавание безопасным, началось траление. И вот после траления и были принесены первые жертвы богу Неведения — никто не знал, что за мины были сброшены гитлеровской авиацией на входе и выходе Главной базы Черноморского флота и на фарватерах, где проходили пути к тылам флота, расположенным на кавказском берегу и в устьях Днепра и Буга.

К счастью, моряки вовремя поняли, что судьбу минной войны на Черном море меньше всего смогли бы решить упреки в адрес военной разведки Генштаба или в адрес руководящих флотских минных специалистов.

Каждая война, почти как правило, начинается с применения нового оружия и, разумеется, с новой тактики.

По-видимому, этим и объясняется тот шок, который на первых порах ошеломил наших минеров при столкновении с незнакомыми, загадочными минами, сброшенными в ночь на 22 июня 1941 года на входе в Севастопольскую бухту в районе Днепро-Бугского лимана.

К счастью, шок этот не был продолжительным. Сложные условия, созданные разгоравшейся войной, как бы отрезвили многих: война во всех своих проявлениях оказалась значительно сложней, чем пелось о ней в песнях, и тем более сложней, чем провозглашалось в ходких лозунгах. Трезвый подход к смертельным будням войны заставил с немыслимой быстротой искать серьезные решения в борьбе с сильным и хорошо натренированным противником.

Когда в сумеречном рассвете на севастопольские бухты посыпались с неба немецкие мины, сброшенные на парашютах с самолетов, флотская служба Охраны Водного Района — ОВР — засекла их. Более того, места падения большинства мин были обвехованы. Оставалось лишь обезвредить их! А вот к выполнению этой задачи флотские минеры не были готовы — первые шаги в борьбе с немецкими минами оказались традиционными, специалисты вышли с водолазными средствами, которые были терпимы в двадцатых годах, когда ЭПРОН (Экспедиция Подводных Работ Особого Назначения) вела поиски «Черного Принца» — одного из первых паровых судов английского флота, разбившегося в 1855 году с грузом золота у входа в Балаклавскую бухту. Золото, которое вез «Черный Принц», составляло годовое жалованье английской оккупационной армии, осаждавшей Севастополь [1]. Груз огромный и главное — соблазнительный! А тут что? Новейшие мины непонятного поведения и чудовищной взрывной силы. Они «представились» в первую же ночь налета — несколько мин взорвалось в городе и на фарватерах.

Командование флота не мешкая немедленно призвало на борьбу с минами все свои лучшие силы, среди которых были военные инженеры, ученые, минные специалисты и командиры флота. Впоследствии из их среды выделились не только талантливые «разведчики» секретов неведомых взрывных устройств, но и храбрейшие энтузиасты противоминной борьбы.

Это — инженер-капитан 2 ранга В. И. Мещерский, профессор О. Б. Брон, капитан-лейтенант Н. Д. Квасов, инженер-капитан-лейтенант М. И. Иванов, старший лейтенант Г. К. Коляда, флагманский минер ОВРа старший лейтенант И. В. Щепаченко, капитан-лейтенант Г. Н. Охрименко, Н. И. Бабаков, штатные минеры и водолазы военно-морских баз бригад и дивизионов, торпедных катеров и морских охотников.

Они и начали. Причем начали, как говорится, «танцем от печки», то есть тралением с подрезкой минрепов.

---

[1] Золото «Черного Принца» искали у Балаклавы итальянцы, японцы и советские водолазы из ЭПРОНа. Но золота на месте гибели корабля не оказалось — главный интендант английской оккупационной армии, квартировавший во время так называемой Крымской кампании 1854—1855 гг. в Константинополе, сгрузил его в Босфоре. Англичане скрывали этот факт почти три четверти столетия.—*Автор.*

Так начали потому, что до сих пор на фарватерах ставили главным образом мины на якорях. Конечно, тралениe ничего не дало, потому что немцы сбросили с самолетов мины нового типа: донные, неконтактные, оснащенные не только сложными взрывными устройствами, но и, как потом стало известно после понесенных жертв, неповторяющимися комбинациями взрывателей.

Причем они порой так хитро камуфлировались, что даже опытные специалисты не сразу разгадывали, что перед ними не что иное, как ловушка-камуфлет. Однако борцы с минами не отступились — ни опасность, ни сложность задач не остановили их.

Были поразительные по смелости и риску поиски, была и тяжелая расплата — гибли корабли и их экипажи, гибли и смельчаки, охотившиеся за тайнами неведомых мин.

Но были и победители, которых от смерти оберегали природная смекалка, дерзостная отвага и то, о чем мы обычно думаем, но стеснительно умалчиваем,— с ч а с т ь е! Да! Что бы о нем ни думали философы, оно не только существует, но и кое-кому улыбается!

Газеты того времени уважительно и даже с оттенком страха называли морскую мину «полуторатонной смертью». Это, конечно, звучало внушительно. Но смерть во время войны неразборчива в своих средствах — она может взять свою жертву и с помощью лишь одного грамма металла!

Однако, как ни называй вражеские морские мины, которые ощутимо связывали руки командованию Черноморского флота на первых порах, меньше всего нужно говорить о смерти: на войне «законодатель мод» не смерть, а смекалка и отвага!

В схватках с минами первые успехи выпали на долю минеров из второго дивизиона 2-й бригады торпедных катеров, базировавшихся в Очакове. Мины здесь, на акватории Днепро-Бугского лимана, были сброшены в ту же ночь, что и на севастопольские фарватеры, но если мощная сеть ПВО Главной базы помешала авиации противника бросить мины точно, то тут, в районе Днепро-Бугского лимана, немецкие самолеты не встретили затруднений. Меж тем здесь пролегали пути к Николаеву, Очакову, островам Березань, Первомайский и к Кинбурнской косе. Особую тревогу вызывало то, что в это время на Николаевском судостроительном заводе стояли

на достройке два крейсера и был заложен новый линкор. В случае острой необходимости вывода их в Севастополь под защиту противовоздушной артиллерии и истребительной авиации нелегко было бы осуществить эту задачу.

Первый сигнал об опасности подал вышедший из Николаева и подорвавшийся на мине в бухте острова Первомайский буксир. Об этом было доложено в Севастополь дежурному штаба флота — тот запретил движение в лимане, вызвал на связь командира 2-й бригады торпедных катеров капитана II ранга А. А. Мельникова и приказал ему выяснить минную обстановку, принять меры и обеспечить судам безопасный вход и выход в бухты. Докладывать о ходе работы в штаб флота через каждые четыре часа!

Капитан II ранга А. А. Мельников, в свою очередь вызвал из второго дивизиона минного специалиста, офицера Б. М. Терняка и приказал ему немедленно выйти на место происшествия на водолазном боте и при этом строго предупредил, чтобы лишних людей не брал: дело предстоит опасное, и чем меньше людей будет на судне, тем лучше. По прибытии на место не только тщательно изучить обстановку, но и выяснить возможность плавания в бухту острова Первомайский, где размещались флотские склады. О результатах докладывать каждые четыре часа.

Тихоходный водолазный бот потопал к острову Первомайский. Судьбой этой экспедиции были озабочены все, потому что на флоте пока еще никто не располагал данными ни о том, что это за мины и сколько немцам удалось набросать их на фарватерах Днепро-Бугского лимана, ни какие средства для борьбы с ними нужны. При первом знакомстве с минами стало ясно, что все известные приемы, которые применялись при ликвидации якорно-контактных мин, не годятся. Задачи предстояли нелегкие, и решать их, как говорится, по Малинину и Буренину не придется — тут нужна высшая математика, самоотверженность и находчивость. Все это нашлось на флоте, хотя и не сразу. Да и в печати не освещались ни первые удачи, ни трагические неудачи. Лишь спустя много лет после войны, когда исчезла необходимость строгой секретности, стали появляться рассказы о подвигах минеров и ученых.

После публикации «Севастопольской хроники» в 1977 году в «Роман-газете» среди писем попал мне в руки

объемистый пакет, внутри которого лежала папка. Раскрыв ее, я ощутил горячий толчок в груди — пакет от Б. М. Терняка, капитана II ранга в отставке. Он живет и работает в городе Николаеве, то есть в двух шагах от тех мест, где с первых же часов Великой Отечественной войны начал борьбу с немецкими минами.

Его письмо, словно удар молнии, осветило далекие и героические дни лета 1941 года.

Мне не хочется пересказывать Б. М. Терняка — боюсь, в пересказе потеряется не только своеобразие этого письма, но и, возможно невольно, исчезнет из него аромат того времени, а мне не хотелось, чтобы это случилось.

ПИСЬМО Б. М. ТЕРНЯКА

«...Добрый день! Позвольте, уважаемый Петр Александрович, выразить Вам сердечную благодарность за огромное удовольствие, полученное от чтения Вашей повести «Севастопольская хроника».

Описываемые Вами события близки моему сердцу, как кадровому офицеру флота, который всю войну воевал в составе 2-й Новороссийской Краснознаменной бригады торпедных катеров. Повесть прочитана, книга закрыта, а с плеч громада лет долой, снова молодость. Вновь в гуще тех далеких наполненных бурными событиями огненно-пороховых лет.

Перед глазами мелькают, как в хорошем боевике, кадр за кадром, эпизод за эпизодом, событие за событием, лица боевых друзей и товарищей (Дмитрий Глухов, Владимир Апошанский и др.).

В «Севастопольской хронике» («Роман-газета» № 3/817, 1977 г.) на странице 75 напечатано: «В схватке с минами первые успехи выпали на долю краснофлотца Максима Хореца, водолаза, служившего в бригаде торпедных катеров, базировавшейся в Очакове». Да, это так. Мне довелось руководить этой операцией, и я решил сообщить Вам некоторые подробности.

...Получив задание кавторанга А. А. Мельникова, я отправился на причал — там уже стоял с работающим на малых оборотах мотором водолазный бот. На верхней палубе находилась вся штатная команда. Старшина бота, он же и моторист, главстаршина Крутиков, старший водолаз старшина второй статьи Сергеев, водолаз старший краснофлотец Хорец. На причале стояли в ожида-

нии — возьму я их или нет — еще старший краснофлотец Осташко и военфельдшер Кноль. Я махнул им, они быстро спрыгнули на бот, и мы тут же отошли.

Наша старая деревянная «посудина» была очень тихоходна — расстояние от Очакова до острова Первомайский невелико, но мы долго и нудно «топали», пока добрались до места, как говорят на Черноморском флоте: «Гачили, а берега не бачили».

Во время перехода у конечности Кинбурнской косы поднялись ввысь два огромных столба воды и раздался страшный гул — очевидно, взорвались лежавшие недалеко друг от друга мины. Нечего и говорить — мы еще не приступили к выполнению задания, но уже получили грозное предупреждение. А что ждет нас впереди?

К счастью, никаких разговоров среди личного состава о возможной смертельной опасности не было. Каждый занимался своим делом согласно боевому расписанию: мы продолжали двигаться вперед к намеченной цели. Но, по-видимому, у каждого из нас шла внутренняя невероятно сложная и острая борьба между долгом и чувством. Опасно? Да! Быть верным присяге должны? Да! Боевое задание выполнить должны? Да! Я не сомневался, что каждый из нас понимал в этот ответственный момент необходимость при любых обстоятельствах, даже ценой самой жизни выполнить свой воинский долг. Мы продолжали двигаться вперед к намеченной цели. Вероятно, в этом заключается и смысл, и существо, и внутренний механизм подвига.

По прибытии на остров — ошвартовались, я сошел на берег и представился начальнику гарнизона, командиру артбатареи капитану Радченко — доложил о цели прихода, попросил по возможности указать точное место нахождения мины.

Капитан Радченко, выслушав меня, сказал, что командир бригады уже дважды интересовался нами. Просил передать, чтобы мы немедленно приступали к водолазным работам. Затем он указал место падения мины, а сам пошел на связь с командиром бригады А. А. Мельниковым, бросив на ходу: «Сейчас доложу о вашем приходе, а вы начинайте!»

Мы отвалили от причала и скоро отдали якорь в предполагаемом месте нахождения мины. На первый взгляд бросать металлический якорь над донной миной — мы еще не знали тогда, что она еще и магнит-

ная,— безумие. Но это было вызвано лишь необходимостью. Мы как бы уподобились человеку, который в полном здравии, сознательно взбирается на пороховую бочку с зажженным факелом в руках! Каждую минуту могло случиться необычное, трагическое — взрыв мины.

Традиционный шлепок по шлему скафандра, и водолаз Максим Хорец пошел под воду. Старший водолаз Сергеев остался на связи. Спустя некоторое время в телефонной трубке послышался тревожно прозвучавший голос Хореца:

— Кто на связи?

Сергеев ответил: Сергеев.

Хорец: Дай командиру трубку.

Я: Хорец, слушаю.

Хорец: Вижу конец каната.

Я: Хорошо! Пока не трогай, а проследи, откуда и куда он тянется.

Хорец: Понял. Подбирайте шланг — буду двигаться на вас.

Проходит несколько томительных минут, и наверху снова слышится голос водолаза:

— Наверху, вы меня слышите?

Я беру трубку.

Хорец: Здесь сходятся и вместе скреплены три конца.

Я: Хорец! Не уходи с этого места — тщательно просмотри весь район. Концы, вероятно, стропы парашюта... Возможно, поблизости находятся парашют и сама мина.

Хорец: Вас понял. Но здесь больше ничего не видно!

Я: Понял. Не теряй концы из виду и не спеша следуй в обратном направлении.

Хорец: Понял. Травите шланг, дайте больше воздуха.

Я: Хорошо! Не торопись! Тщательно смотри кругом.

Все мы в ожидании — по появляющимся на поверхности воды пузырькам наблюдаем за движением водолаза. Нервы у всех напряжены — время, кажется, не идет, а плетется. И вот наконец голос Хореца:

— Вижу парашют!

Я задумался: надо принять решение, а тем временем солнце быстро шло за горизонт и на землю опускались сумерки. Подул легкий ветер, вода стала покрываться рябью.

Хорец: Наверху! Вы меня слышите? Что делать?

Я: Парашют будем подымать; крепи к нему подъемный конец — и сам на подъем!

Тут же отдаю команду: «Водолаза на подъем!» — обычная команда, обыденный флотский труд, но на душе стало тревожно. На боте все молчали. Тишина стояла, но чувствовалось, нервы у всех напряжены до предела, все следили за движением Хореца.

И вот водолаз на борту и парашют на борту, и все словно бы сговорились — одновременно и шумно вздохнули.

Парашют выглядел обыкновенно — сделан из грубого шелка зеленого цвета. От него тянутся стропы, тоже из крученого шелка. Мина же пока не обнаружена. Продолжать поиск из-за темноты нельзя. Обозначив свое место буйком, снимаемся с якоря — и на базу.

По прибытии в Очаков докладываю командиру бригады о проделанной работе и о плане на следующий день. Он дает «добро» и просит выйти на место к острову с таким расчетом, чтобы начать работу с рассветом. Штаб флота торопит.

Под воду снова пошел Максим Хорец, так как старший водолаз Сергеев был нездоров и военфельдшер не разрешил ему спуск под воду.

Лишь через два часа была наконец обнаружена Хорецом мина. Она на две трети зарылась в ил и лежала со значительным наклоном. Водолаза подняли на бот для отдыха и заодно узнать его соображения, что делать с миной.

В результате обстоятельного обмена мнениями пришли к решению застропить ее и обезвредить.

После отдыха Хорец снова пошел под воду, завел буксирный трос и тотчас же был поднят наверх. Снялись с якоря, дали ход и... ни с места! Маломощный двигатель водолазного бота не только не в силах был оторвать от дна тяжелую мину, но и при каждой новой попытке двинуться вперед вертелся как волчок вокруг того места, где лежала мина. Часто соскакивал буксирный трос, и всякий раз Максим Хорец с готовностью спускался под воду и крепил его. Мотор гудел изо всех сил, а результата никакого. Всем стало ясно, что наша затея напрасна — надо искать другое решение. Но какое? Всем ясно было лишь одно — задание должно быть выполнено! А как? Я лихорадочно перебирал в памяти различные варианты. Личный состав отдыхал. После несколько за-

тянувшегося раздумья я пришел к единственному в создавшихся условиях заключению — разрешить судам заходить в бухту малым ходом, осторожно обходя мину. Правда, бухта малюсенькая и входить в нее будет чрезвычайно сложно и трудно: путь судна будет пролегать в невероятно опасной близости к мине. Риск? Да! Но на войне риск часто соседствует с удачей.

В боевом уставе ВМФ (БУМС) есть такая фраза: «Лучше принять плохое решение, чем никакого». Это как-то меня успокоило. Вскоре на остров прибыл флагманский минер СЗМОР (Одесская военно-морская база). Я доложил обстановку, наше решение и обоснование его.

Флагманский минер задумался ненадолго, затем сказал:

— Да, ваше решение, конечно, рискованное, мина может взорваться, а это гибель судна и людей! За это по головке не погладят. Ты понимаешь это? Надо доложить командиру!

Мне пришлось согласиться с его доводами. Позвонили в Очаков и доложили все обстоятельства. Командир бригады, выслушав нас, сказал:

— Добро! Высылаю торпедный катер! По его прибытии — немедленно ко мне. Водолазному боту следовать сюда же самостоятельно. Место мины обозначьте буйками!

На командном пункте командира бригады — офицеры штаба, флагман бригады, минер другого дивизиона и начальник политотдела. После моей информации и выступлений присутствовавших пришли к единому мнению: дать разрешение на вход судам в бухту. Решение было сообщено в штаб Флота, в Главную базу. Севастополь подтвердил решение.

Я после этого вернулся в дивизион и включился в общий ритм боевой жизни бригады.

С глубоким уважением *Терняк* Борис Маркович».

Между тем Максим Хорец, первым во 2-й бригаде торпедных катеров установивший «контакт» с немецкими минами, продолжал свои опасные спуски под воду. Пока водолазный бот качался на волне, он бродил по дну, искал мины. Свои находки «засекал», затем требовал спустить пеньковый трос, стропил мины и давал команду «наверх!»

Рыбачьи суденышки с деревянными корпусами и сильными моторами осторожно волокли «полуторатонную смерть» подальше от морских путей и населенных пунктов — тут вражьим минам и наступал конец.

Минные специалисты восхищались отвагой трудолюбивого водолаза. А он с каждым спуском под воду еще смелее стропил поблескивавшие свежей, пронзительно зеленой краской мины (морская вода еще не успела смыть фабричный лоск с их смертоносных туш) — водолазу продолжало везти.

Командование наградило его орденом Красного Знамени и командировало в Новороссийск очищать от мин Цемесскую бухту. К сожалению, некому рассказать о том, как был счастлив Максим Хорец. А что он действительно был счастлив, в этом можно и не сомневаться, ведь до назначения в Новороссийск на его теле не было и царапины, хотя при каждом спуске под воду смерть ходила рядом.

Накануне отъезда из Севастополя я узнал печальную весть: Максим Матвеевич не добрался до Новороссийска — корабль, на котором он шел, в пути подвергся атаке вражеских самолетов...

Истинный подвиг совершил военный инженер III ранга М. И. Иванов — ему первому удалось раскрыть секреты новой немецкой мины.

Минеры решили, что теперь, когда известны приборы взрывных механизмов вражеских мин, можно, как говорится, «идти на вы».

И Иванов пошел. Пошел смело, с каким-то чувством упоительного азарта и торжества, как охотник за змеями, пригвоздивший рогатиной к земле самую быструю и ядоносную змею — гюрзу.

К сожалению, на этот раз Иванов что-то не рассчитал или сделал какой-то неверный шаг.

Как это случилось, следов для объяснения мина не оставила.

Можно лишь предполагать, что сработал неизвестный инженеру, тщательно закамуфлированный взрыватель-ловушка.

Впоследствии минеры преодолели ошибки первооткрывателей, и им стало известно, что вражеские морские мины оказались нестандартными — размещенные в них

схемы взрывных устройств были сложными, как следы хищников.

Но за установление этой простой истины пришлось заплатить новыми жизнями. Так случилось в Новороссийске, когда группа минных специалистов даже не успела подойти к вытащенной из воды мине.

Этот трагический эпизод некоторое время оставался тайной, пока настойчивые и смелые поиски не привели к открытию, что в некоторых минах, сброшенных гитлеровцами на наших фарватерах, были искусно запрятаны «самоликвидаторы» разного типа: одни из них взрывались под воздействием света, другие срабатывали почти тотчас же, как только мину выволакивали из воды на берег.

Именно так и произошло в Новороссийске, когда трое отличных минных специалистов — начальник минно-торпедного отдела флота капитан III ранга А. И. Малов, флагманский минер Новороссийской военно-морской базы старший лейтенант С. И. Богачек и инженер-конструктор Б. Т. Лишневский, предусмотрев все меры безопасности (разделись до трусов и сняли ботинки, часы, чтобы ни металлические гвозди в ботинках, ни пуговицы, ни крючки мундиров, ни механизмы часов не воздействовали на закамуфлированные взрыватели), взяли с собой инструменты, изготовленные из немагнитных материалов, и пошли к лежавшей на песчаной косе только что вытащенной со дна бухты водолазами вражеской мине.

Было тепло, ясно. Сияло солнце. Минные специалисты были в отличном настроении... Они не дошли до мины метров примерно тридцать, когда раздался взрыв — погибли Лишневский и Богачек. Малов был контужен...

Но как бы ни были сложны и запутаны следы хищников, и их в конце концов прочитывают. Иногда ради этого идут на подвиг.

Однако подвиги — не грибы. Но и смерть — тоже не шлагбаум на пути смелых.

Нашлись люди, которых смерть товарищей заставила сжаться, как перед прыжком.

Объявились новые, любившие работать с риском и отвагой водолазы, а минные специалисты стали обучаться водолазному делу, чтобы не вытаскивать мину на свет божий, где у нее начинают срабатывать самоликвидаторы, а разоружать ее там, на дне морском.

Контрминная война не только продолжалась, но и развертывалась. Черноморцы не оборонялись, а наступали.

Удар в первую очередь наносился, и притом главными силами, против электромагнитных мин, которыми гитлеровская авиация в первые же дни войны забросала подходы к портам, кое-где и сами бухты. Это стало серьезным препятствием для развернутых действий флота. Особенно усложнилась обстановка для подводных кораблей.

Магнитные мины взрываются и под воздействием магнитной массы, которая спонтанно возникает в корпусе военного корабля.

Решение напрашивалось простое — размагнитить корабли, и тогда магнитная мина будет лежать на дне морском до тех пор, пока не истлеет. А корабли будут ходить, а жизнь будет идти. И солнце будет светить. И вдов не будет. И сироты не будут оплакивать своих отцов.

Но как освободить корабли от магнитного поля?

В Севастополь прибыла группа ученых Ленинградского физико-технического института — профессора Александров А. П., Курчатов И. В. и научные сотрудники Лазуркин Ю. С., Регель А. Р., Степанов П. Г. и Щерба К. К.

Ленинградцев тепло встретили. Да и могло ли быть иначе? Ученые ради помощи флоту оставили в Ленинграде успешные опыты по раскрепощению энергии атомного ядра. Причем опыты были прерваны в той стадии, когда физики уже подошли к границе, за которой ожидало торжество открытия.

Но война требовала от каждого гражданина, даже если его гений был привязан к науке, внести свою лепту и в спасение Родины от врага.

Ученых уже ждала инженерно-техническая группа, созданная штабом флота для изучения и организации методов размагничивания кораблей.

Представители штаба флота начальник технического отдела, инженер-капитан I ранга И. Я. Стеценко, инженер-капитан II ранга А. И. Молявицкий готовы были предоставить ленинградцам все, что требовалось для размагничивания кораблей. Все! Разве что птичьим молоком не могли обеспечить.

Правда, был момент, когда технический отдел немало удивился: ученые просили несколько вагонов... дров...

Дрова в августе, когда в Крыму столько солнца, так тепло, что любители морских купаний фыркают, попав в августовскую воду? Не море, а — ванна!

Однако начальник тыла флота контр-адмирал Н. Ф. Заяц, в распоряжении которого имелись и предприятия, и корабли вспомогательного флота, и богатые склады, где можно было найти все — от смоленого каната до тонкой нити золотого шитья, сумел обеспечить ученых и дровами.

Те загрузили ими просторную, длинную баржу, по бортам ее навесили электрические кабели и подключили их к буксирующему судну на «электропитание».

Получился электротрал. До гениальности простое сооружение!

Буксир потащил баржу туда, где были обвехованы сброшенные с самолетов донные магнитные мины.

...С прибытием ленинградских ученых стало легче на душе и у охотников за минами, и у командования флота, особенно у моряков эскадры и подводного флота.

Наладив электротрал, физики пришли со своей магнитоизмерительной аппаратурой к подводникам.

С непривычки трудно было и работать в тесных помещениях и лазать по крутым скоб-трапам, по которым подводники чуть ли не рысью бегали. Но, как говорится, терпение и труд — все перетрут. Привыкли и к скоб-трапам, и к узким люкам, и даже научились кое-какой флотской сноровке. А когда осенью ученые получили флотское обмундирование, то их трудно было отличить от мичманов и старшин.

Особенно сильно изменила форма профессора Игоря Васильевича Курчатова: будущий академик и всемирно известный ученый выглядел в бушлате, расклешенных флотских брюках и в нахлобученной на крутой, высокий лоб ушанке как боцман с «морского охотника». И он, кажется, даже немного гордился этим...

Размагниченные подводные лодки получали специальные паспорта и выходили на боевые позиции.

Осенью профессор Александров уехал в Ленинград. Его метод размагничивания кораблей выдержал испытания. Оставшийся на флоте И. В. Курчатов с сотрудниками своей лаборатории приступил к обработке надводных кораблей.

...Кажется, я увлекся описанием поисков секретов или разгадкой камуфлетов вражеских мин.

Монтескье был прав, когда писал: «...никогда не следует исчерпывать предмет до того, что уже ничего не остается на долю читателя. Дело не в том, чтобы заставить его читать, а в том, чтобы заставить его думать».

Можно ли пренебрегать советом такого изящного стилиста и мудрого философа? Конечно нет.

Я решил прекратить «исчерпывание предмета». Правда, минные специалисты готовы были объявить, что для них нет теперь секретов во вражеских минах. Но в это время Луначарский тянул к «морским охотникам», которые уже практически расчищали рейд на редкость оригинальным и смелым методом.

КАК СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМИ МОРЯКАМИ

Крейсеры Черноморского флота возвращались после набеговой операции на Констанцу.

У створа корабли были встречены катерами Охраны Водного Района, которые и повели их по входному фарватеру в базу.

На Стрелецком рейде впередсмотрящий с шедшего головным катера лейтенанта Глухова заметил на фарватере всплеск, похожий на тот характерный, словно бы вспарывающий воду всплеск, какой бывает при появлении на поверхности перископа подводной лодки.

Молниеносная команда — и «морской охотник», развертывая длинный, бурлящий шлейф за кормой, мчится к засеченному впередсмотрящим месту и, не сбавляя хода, сбрасывает одну за другой четыре глубинных бомбы.

За кормой вскидываются фантастической формы фонтаны. Глухов считает: один... два... три... четыре... пять...

Четыре бомбы — пять взрывов!

«Значит, что же,— размышляет про себя Глухов,— четыре взрыва дали бомбы, а пятый? Пятый дала фашистская мина! Значит, она взорвалась от детонации!»

...Пока Глухов вел крейсеры через ворота бонового заграждения в Северную бухту на традиционное место их стоянки, созрела мысль: «А если пробомбить фарватер, то ведь могут взорваться и остальные мины?»

Возвратившись на свою базу, в Стрелецкую бухту, Дмитрий Андреевич Глухов, как только катер притерся

к пирсу, спустился в каюту, навел бритву и, щурясь перед крохотным зеркальцем, начал снимать с красного лица скрипящим лезвием белесую щетинку. Руки плохо управлялись с бритвой. Руки... Они у него были с твердыми, словно бы ороговевшими мозолями.

Черт его знает, раздумывал он, почему это он не загорает — покраснеет, да еще веснушками обсыплется, и все... И брови у него белые, как волосы у детишек, которые все лето на речке да на солнце торчат... И выражение на лице, как будто он на кого-то обижен. А ведь чего ему и на кого обижаться: службой доволен, экипаж подобрался — моргни, и в огонь кинутся...

Побрился, обдернул китель. Одеколоном не стал поливаться — не любил; это в штабах — там куда как уместнее...

Можно идти: выбрился все же чисто, и китель ничего, свежий, на замечание не нарвешься; контр-адмиралу все равно: война, на походе ты, а будь добр, раз ты командир, являться одетым по форме.

У него походка боксера, ноги шагают легко, пружинисто.

Глаза впередсмотрящего цепкие, все сразу схватывающие и вместе легко дробящие панораму на части и проглядывающие каждую из частей до дна.

Вошел в штаб. Огляделся. За столами флагманские специалисты. У всех озабоченный, сильно занятый вид. Остановился у первого стола и «выложился», а в ответ: «Что-о-о? Бомбить фарватер?.. А что это даст?.. Людей и катер погубите — вот и весь результат!.. Не-ет, батенька, вы слишком упрощаете... Мина вещь серьезная — торопливых не любит! Мину уважать надо... С нею...»

Этот человек слыл за опытного специалиста, а в деле был каким-то сонным и от всего, что требовало эксперимента и энергии, сам уходил и других отговаривал.

Глухов вприщур осмотрел столы, за которыми сидели другие флагманские специалисты. Он всех их хорошо знал, поэтому ни от кого, кроме флагштурмана, и не ждал поддержки.

Тот был занят — перед ним на высоком штурманском столе карты.

Глухов успел сделать лишь шаг к столу штурмана, как тот оторвался от карт и тотчас же встал навстречу.

— Дмитрий Андреевич! — воскликнул он, приветливо улыбаясь.— Я все слышал. Я считаю вашу идею замеча-

тельной. Пробить фарватер не только можно, но и нужно. Только надо высчитать, на какой скорости сбрасывать бомбы, дабы самим не пострадать от взрывов. Идите сюда, садитесь. Давайте немного арифметикой займемся — и к контр-адмиралу.

Контр-адмирал дал «добро» и тут же приказал готовить катер к операции.

На пирсе появились флагманские специалисты.

Инженер-механик проверил механизмы и предложил сыграть аварийную — «пробоина в кормовом и течь в моторном отсеках».

Экипаж выдержал этот экзамен блестяще: обе «аварии» были ликвидированы.

Флагманский минер собрал расчеты и проверил их действия во время бомбометания. Затем после осмотра комплекта глубинок, пожелав удачи, удалился.

Уже в сгустившейся темноте появился штурман.

Больше часа он просидел в темной каюте Глухова, ушел с катера, когда на бухту наплывала полночь.

Глухов отдал последние распоряжения и, не раздеваясь, прилег на диванчик.

Ему не удалось и получаса полежать — была объявлена воздушная тревога.

Ночь стояла душная и темная. Темень густая и будто даже вязкая. Прожекторы ощупывали небо. Гитлеровские самолеты шли высоко, где-то среди далеких и ярких звезд. Прожекторы неловко брали их своими щупальцами: схватят и потеряют. Наблюдающие переживали все неудачи прожектористов. Зато радовались, когда три прожекторных луча, скрестившись, «повели» самолет под огонь зенитных батарей.

Налет был комбинированный: сначала шла волна самолетов-бомбардировщиков, а когда прожектористы и зенитчики отвлеклись на них, появились самолеты — минные постановщики. Полночи в небе гудело и грохотало. Было много шума и огня.

Рассвет застал Глухова уже на ногах.

Несмотря на трудную ночь, он чувствовал себя бодрым и полностью готовым к походу.

Вода в бухте стояла тихая, сонная, манила к себе. Но разве до купанья теперь?

У летнего утра век короткий: только что всем владела предрассветная сутемь, и вдруг, откуда ни возьмись, привалил день, да какой румяный и торопливый.

Только что вода у берегов дымилась, как на догорающем пепелище, а теперь уже сверкает зеркалом.

Только что край неба акварельно розовел, как незрелый арбуз, а теперь полыхает таким буйным пламенем, что легко представить, что же делается там, в невидимых просторах мироздания,— уж там-то солнце кипит, как сталь в мартене.

От воды пахнет йодом.

Тишина и в море, и на холмах, и в этой тишине воспоминание о шумной ночи кажется сном иль наваждением.

Глаз у Глухова морской — дальновидящий и острый. Оглядывая море, холмы и крепко обжитую бухту, он заметил, что тишина доживает последние минуты: скоро придет штурман, и катер сомнет зеркальную гладкость воды и эту сонную тишину...

«Морской охотник», как застоявшийся конь, рвется вперед. Глухов с удовлетворением отмечает про себя четкую работу моторов: мотористов надо перед строем отметить, следят за своим хозяйством, не считаясь со временем... Однако почему-то стало повторяться одно и то же: как только ответственный поход, так перед ним встает день, который определил его судьбу. Как это получается? Стоя на мостике и всматриваясь в морской горизонт, он совсем не думает о том дне, а думает, как лучше сделать все, ради чего он вышел в море. И вдруг происходит нечто странное: вместо моря перед глазами далекая, родная Шексна и день, когда он впервые в жизни увидел машинное отделение парохода с несколько необычным названием «Перекатный».

Вологодчина никогда не славилась моряками, в гербе ее — масло сливочное да кружева... Моряки шли из соседней северной области, из задвинья, с берегов Белого моря и Ледовитого океана, из трескоедного царства. Там моряк начинался с младенчества, как говорится, кончал грудь сосать и за весла садился...

А на Вологодчине как везде: покосы, пахота, жатва,

рубка леса, сплавы... В годы юности Глухова молодые люди занимались этими делами до самого призыва в армию. Лишь небольшая часть сельской молодежи уходила в города либо на железные дороги. Школу не каждый посещал. И сам Митя Глухов недолго за партой сидел, пришлось определиться чернорабочим на маслозавод: дома-то кроме него еще трое белобрысых. Каждому немного, но кусок хлеба каждый день дай. Да и молочка — тоже. А откуда возьмешь? Отец ушел в 1914-м на войну и не вернулся.

Как жилось тогда в деревне солдатской вдове, знает лишь тот, кто до самых заморозков сам босиком да в цыпках бегал.

Однажды с завода Митю Глухова послали с подводой к Шексне, сдать на пароход масло.

Привез.

Сдал.

Пока выписывали документы, прикрутил лошадь — и на пароход посмотреть.

Проходя мимо люков машинного отделения, глянул вниз и замер: машинисты, сверху казавшиеся черными, как негры, ловко орудовали возле машины — одни огромными ключами отвинчивали какие-то гайки, другие лазили среди шатунов и мотылей с длинноносыми масленками.

Мальчонку заметил механик «Перекатного» — по острому взгляду парня сразу понял, не зря белобрысый прилепился к люку и глаз с машинистов не спускает, подмигнул и крикнул: «Что, нравится?»

Можно было и не задавать этого вопроса — все было написано на лице мальчугана: и удивление, и восторг.

Механик, вытирая руки грязными концами, вылез наверх, подошел к пареньку, спросил, чей да откуда, есть ли отец, и затем хмыкнул и сказал: «Знаешь, сам бог тебя послал к нам... Масленщик нам нужен! Пойдешь?.. Ну что тебе твой маслозавод? Ты там кто?.. Поднять да бросить!.. А тут со временем машинистом станешь... А если башка не мякиной набита, допрешь и до механика...»

Митя и не помнил, как пригнал лошадь на маслозавод и как дома очутился. Мать услыхала о его планах — в слезы.

А успокоившись, вздохнула, посмотрела на сына, будто в первый раз заметила, что он уже не маленький, и сказала: «Что ж, сынок, отца нет, быть тебе за старшо́-

го... Иди на пароход, может, он тебя в люди выведет...»

На «Перекатном» и люди нашлись хорошие, и у механика водились книги.

Глухов быстро освоил и все точки и приемы смазки движущихся частей машины.

Свободное время отдавал чтению. Читал запойно.

Книги вызвали желание учиться. Как-то сказал об этой своей мечте в комсомольской ячейке. Секретарь посмотрел на него и по сосредоточенному взгляду парня и по плотно сжатым губам понял — этот не отступится. Обещал помочь.

Прошло немало времени, а секретарь не приходил на «Перекатный». И вдруг явился. Подмигнул Дмитрию, но не остановился, а прошел к механику, от него, спустя время, к Глухову и с ходу, безо всякой политики, не расспрашивая: мол, «как живешь, не обижают ли?», предложил пойти учиться в областную совпартшколу.

Глухов чуть не вскрикнул от радости, но сдержался и согласился так, будто это не ему, а секретарю нужно было идти в совпартшколу.

...После совпартшколы захотел дальше учиться, но тут пришло требование из ЦК комсомола: нужен был энергичный и самоотверженный парень для работы среди молодежи в Средней Азии. Вологодский обком ВЛКСМ предложил кандидатуру Дмитрия Глухова.

Через две недели Глухов вышел из скорого поезда в Ташкенте, сел на извозчика и покатил в Средазбюро ЦК ВЛКСМ. Думал, что тут же его и пошлют на работу, но ему посоветовали отдохнуть с дороги и немного осмотреться, а тем временем и вопрос решится.

У него голова кружилась, когда ходил по старому Ташкенту,— жара, а мужчины в теплых халатах, да еще в козловых сапогах с галошами на теплой байковой подкладке.

Лица заросшие, а головы наголо выскоблены.

Ездят на ишаках.

Ишак не больше теленка, а на нем дядька пудов на шесть, ноги за землю цепляются, да еще за спиной огромные мешки вперекидку. Какой клевером набит, а какой и арбузами. А ишачок, словно железный, трусит себе, будто на спине у него ничего нет.

Местных женщин лица, сколько ни бродил по старым кварталам и по базару, ни одного не видел. Идут какие-то фигуры, закутанные в балахоны с головы до пят. А там, где лицу быть,— сетка из конского волоса, да такая частая, сомнение берет, проникает ли через нее воздух...

Его назначили в Самарканд. Тут все выглядело совсем как в «Тысяче и одной ночи»: и голубые шатры мечетей, и дивные минареты, и расписной майолики аркады, и ниши, и нетленной резьбы двери, и волшебной ковки решетки, и широкие площади... А какой базар в Самарканде! Ходил, и душа буквально таяла от восторга и удивления.

В свободный от работы час толкался среди узбеков либо на базаре, либо в чайхане. Присматриваясь, понял, что без языка, без знания обычаев толку не будет. Да и вид надо менять. Против нового узбеков восстанавливают муллы да ишаны, и поэтому один вид человека в европейской одежде отпугивает — надо самому стать похожим на узбека.

Купил халат, чалму, тюбетейку, ичиги и нумалак. Тут же на базаре узбек-парикмахер бритвой счистил с головы Глухова белесые волосы.

Больно было страсть как!

Он же, чертов сын, должен был сначала машинкой пройтись, а потом уже подчистую бритвой. А он нет! Побрызгал нестриженый волос водой и вроде бы массажик сделал, потер волосы слегка, затем взял бритву, похожую на обломок косы, и начал скрести...

Когда встал с табурета, головы не чувствовал — на плечах не голова, а пылающий костер.

Не меньшие муки испытал, когда для закалки босиком по горячему песку ходил, водой себя ограничивал и к узбекской одежде привыкал. Но более всего невзгод выпало, когда обучался езде на ишаке.

Осел и увозил его не туда, куда нужно было, и часто сбрасывал наземь, и брыкался.

Не сразу Глухов привык к климату, к бешеному нраву местных блох, к непривычной еде, к своеобразию обычаев и нравов, к жестокой власти корана.

Однако время и его собственное упорство работали на него — через полгода, встретив Глухова на улице шагающим или едущим на ишаке, вряд ли кто смог бы отличить его от арбакеша или от машкоба (водоноса).

Два года Дмитрий Глухов проработал в Средней Азии. И мог бы еще, если б не пришло время служить в армии. Он уже сносно объяснялся по-узбекски, ездил по кишлакам, ночевал в караван-сараях, легко заводил знакомства с узбекской молодежью, терпеливо вел агитацию за комсомол.

Единственно, что его угнетало, это то, что лицом был бел и волосом светел, среди смуглых и черноволосых узбеков выглядел белой вороной.

В военкомате попросился на флот.

Сдал дела, попрощался с товарищами по работе — и на вокзал.

На перроне увидел большую группу юношей и девушек. Это те, кого он вовлек в комсомол.

Пришли провожать.

Значит, его старания, муки и огромное терпение не пропали даром!

А девушки без чачванов, с открытыми лицами.

Это настоящий подвиг с их стороны.

С грустным чувством уезжал Дмитрий Глухов на Черноморский флот.

Пока поезд бежал через пески, пока глаза видели дальние горы, бурные с мутными водами реки, выжженные степи и зеленые оазисы, мчащихся рядом с поездом всадников на быстрых конях, медленно и важно шагающих верблюдов и тряско перебирающих тоненькими ножками ишаков — думал об этой земле, о ее людях, и на душе становилось хорошо, тепло...

На флоте — от дудки до дудки — учеба, драйка, шагистика.

Городским парням, не закаленным с детства физическим трудом, трудны первые шаги флотской службы, а ему — нипочем: он с похвальной оценкой окончил учебу в экипаже и попал учеником рулевого на крейсер «Коминтерн».

Гордился этим назначением. Да и как не гордиться?

Спросят, где служишь, а ты эдак небрежно: на крейсере. Не на шаланде какой-нибудь, а на крейсере!

На «Коминтерне» Глухов слыл отличным рулевым. Но скоро служить тут стало тягомотно, корабль больше стоял, чем плавал.

А что делать рулевому на стоящем корабле?

Конечно, старшины флотские никогда не оставят матроса без дела. Тем более на старых кораблях — там медяшек хватало, и командиры неукоснительно требовали, чтобы они всегда сверкали, как солнце!

Некоторые командиры сверкающую медяшку считали не меньшим достижением на корабле, чем боевую выучку экипажа.

О драйке медяшки и стальных поручней на кораблях существует множество веселых и грустных легенд и правдивых историй. В старые времена находились флотоводцы, которые подготовку корабля проверяли... белыми перчатками: если поручни не пачкают перчаток, если медь не окисла и палуба сверкает, значит, на корабле все в порядке и командир молодец и служивые — орлы!

В советское время до такой дурости, конечно, не доходило, но находились верноподданные медного блеска и среди командиров кораблей и среди боцманов.

В тридцатом году на Черное море с Балтики пришел линкор «Парижская коммуна». И только стал на бочку в Северной бухте, как с борта был спущен «самовар» — линкоровский катер с медной трубой, всегда надраенной до ослепительного блеска. О том, как достается этот несравненный блеск, хорошо знали лишь матросские руки.

Медная труба линкоровского «самовара» многим не давала покоя: стоит ему отвалить от трапа линкора, и все сигнальщики сразу же засекают его. А он несется к Графской с форсом — труба горит, как золотой соборный купол...

Глухов без особого сожаленья ушел с крейсера на сторожевой корабль «Альбатрос» на должность старшины рулевых.

Нравилось ему на сторожевике: здесь и настоящие соленые моряки, и мостик, открытый всем ветрам, и волна рядом, и нет той специализации, что на больших кораблях. Глухов тут хотя по штатному расписанию числится старшиной рулевых, но он и боцман, а порой и за помощника командира остается.

К тому же сторожевик редкий гость у пирса, а все больше в море.

После срочной службы остался на пожизненную. Решил крепко обосноваться на Черном море.

Для устройства дали отпуск. Поехал домой.

Крепкий, статный моряк с первого же часа появления в Хмелине с ума посводил многих девушек — ни одной вечеринки, ни одной посиделки не пропускал, танцевал напропалую, лишь бушлат сбросит с плеч и крутит девчонок под баян.

За две недели успел подправить матери бревенку, обойти родных, рассказать о флоте и Севастополе, и сумел сберечь время и на то, чтобы влюбиться и самому понравиться лучшей, по его мнению, девушке, провести сговор и... жениться.

На селе ахали, дивились, особенно матери, у которых девки были на выданье, а женихи пока еще не заявлялись:

— Ай да Митька! Ну и жох!

...Командование флота дало Глухову с женой комнату, и он зажил той жизнью, которой живут старослужащие. А жизнь у них известно какая: две трети суток — службе, остальное — дому: морская служба не любит делить время ни с кем!

Жены знают это и терпят почти безропотно.

Плавая на «Альбатросе», Глухов был жесток к себе: ни часа зря — учился работать со штурманской линейкой, ловил солнце секстантом, находил себе дело и в машине.

Перед войной ему удалось закончить курсы командиров, и он сразу же, как только на Черном море появились «морские охотники», перешел на один из них.

Командуя «охотником», Глухов поставил перед собой задачу — знать катер от киля до клотика. Ему с его опытом потребовалось не так уж много времени, чтобы совершенно самостоятельно запускать моторы, стрелять из пушек, «писать» флагами и сигналить азбукой Морзе с помощью ратьера... Ну, а на руле он стоял как бог!

Командир соединения контр-адмирал Владимир Георгиевич Фадеев всегда ставил его в пример как настоящего моряка.

Глухов нес ночные дозоры, сопровождал эскадру в походах и выполнял самую занудную на флоте работенку — таскал щиты-мишени, по которым корабли вели учебные артиллерийские стрельбы.

Возвращался с моря полуоглохший, но не злой. Не злой не потому, что он уж такой добренький от природы, а просто исповедовал убеждение, что на флоте нет мелкой и бесполезной работы. А раз считал, что и хорошая, и плохая, и удобная, и неудобная работа нужна для совершенствования моряков и для укрепления флота, то и делал все без страданья. Вот поэтому и таскал щит-мишень так, чтобы комендоры с миноносцев и крейсеров смогли лучше отстреляться.

Так он служил с сознанием, что нужен флоту, а флот ему. Служил, не витая в облаках, не мечтая о сногсшибательной карьере, а твердо стоя обеими ногами на промытой до блеска морской волной палубе «морского охотника».

Для него морская служба с первого дня стала единственным и любимым делом. Со временем любимое дело стало долгом.

Вот и теперь он вел катер, не думая о том, какое опасное дело ожидает его, а думал лишь о том, как лучше, вернее, с бóльшим эффектом пробить глубинками фарватер: чтобы и мины не остались невзорванными, и катер с командой сохранен; от взрыва глубинной бомбы он всегда успеет уйти, а какой маневр надобен при взрыве фашистской мины? Ведь она же, чертово семя, должна взорваться от детонации... А какая из них среагирует на детонацию? Та ли, что с левого борта, или та, что с правого? И все ли мины засечены и обвехованы?

Пришла пора выходить на боевую позицию.

Стоящий рядом флаг-штурман легонько притронулся к плечу Глухова.

Командир молча кивнул. Катер понесся по фарватеру, как горнолыжник на слаломной дистанции, ловко маневрируя меж буйков, ограждающих местонахождение немецких донных, магнитных мин.

Весь экипаж катера: и впередсмотрящий, и сигнальщик, и рулевой, и расчеты, приготовившиеся к бомбометанию, стояли в напряжении, ожидая команды с мостика.

Командующий Черноморским флотом с выходом Глухова на позицию передал через оперативного дежурного: «Командующий интересуется работой катера Глухова. Докладывать обо всем немедленно!»

Для наблюдения за работой из Стрелецкой на рейд вышел контр-адмирал Фадеев.

Начальник штаба ОВРа соединился по телефону с сигнальным постом и отдал приказ следить за действиями Глухова и каждые пять минут доносить, что там происходит.

Дежурные катера стояли «на товсь», если только потребуется помощь Глухову.

Море лежало притихшее, как перед грозой. Берег был скрыт серой туманной дымкой. Чайки с голодным криком летали над водой, выискивая добычу.

БИТВА ЗА ФАРВАТЕР

Кто к бою готов, тот уже почти одолел врагов.

Сервантес

«Морской охотник», рокоча моторами, продолжал нестись по гладкой, как зеркало, воде, а Глухов все не давал команды: «Бомбы товсь!»

Флагманский штурман вопросительно смотрел на него, а Дмитрий Андреевич словно бы задумался и забыл, что пора бомбить фарватер.

Глухов, по-видимому, хотел действовать наверняка — он пристально глядел вперед, как бы прицеливался. Вскоре он кивнул и, повернувшись к корме, скомандовал:

— Бомбы товсь...

На катере все замерли. Тем же негромким, чуть глуховатым голосом он крикнул:

— Глубинные бомбы сбросить!

Бомбы, с виду похожие на бочки, покатились по направляющим к корме. Докатившись до среза, они неслышно плюхнулись в воду, и вскоре один за другим раздались два сильных взрыва.

Третьего не последовало.

Глухов круто положил руль на левый борт, катер описал полудугу и снова полным ходом пронесся вперед, чтобы пролететь меж двух буйков.

Как только «морской охотник» оказался на траверзе буйков, снова раздалась команда:

— Бомбы товсь!.. Сбросить глубинные бомбы!

За кормой поднялся высокий грязный, полный донного ила выброс — взорвалась мина.

Катер сильно встряхнуло. Глухов почувствовал, что палуба уходит из-под ног. В следующий момент катер

взрывной волной выбросило из воды, и оголившиеся, оказавшиеся без нагрузки гребные винты бешено закрутились...

Катер носился как челнок меж буйков, под которыми на дне морском лежали мины. Доклады в течение этого времени были однообразными, и сигнальщикам, и оперативным дежурным штабов они уже начали надоедать.

Время уже приближалось к полудню, когда при очередном звонке телефона оперативный дежурный, настроившийся записать стандартное сообщение, вдруг услышал нечто новое и, сразу побледнев, в установившейся тишине произнес: «Повторите!.. Что?.. Катер подорвался... тонет?!»

Красный, запыхавшийся от спешки и волнения, начальник штаба подбежал к оперативному дежурному, взял у него трубку и закричал: «Повторите, что там у Глухова?»

Выслушав сигнальщика, он опустошенно и тихо проговорил: «Этого я и боялся!» Тут же потребовал соединить его с дивизионом «охотников» и отдал приказ выслать на рейд дежурный катер.

Прошло совсем немного времени, но для всех, кто с нетерпением ждал новых сообщений, эти минуты были долгими. Работники штаба и флагманские специалисты оставили свои дела и пустились обсуждать результаты глуховской операции и предполагаемые последствия: те, кто с самого начала был против этой «авантюры», оживились — они ведь говорили, что «этим все кончится»; те же, кто верил в Глухова и в операцию, предлагали не торопиться с выводами. Очередной телефонный звонок с сигнальной вышки прервал споры. Оперативный дежурный записывал сообщения, повторял с определенным расчетом, что его услышат сидевшие тут флагманспециалисты. «Та-ак! — восклицал он.— Катер завел моторы и что?.. Передал семафор?.. Помедленнее... Записываю: «В помощи не нуждаюсь...» Та-ак! Дальше!.. «Продолжаю выполнять задание командования. Глухов». Все? Понял!»

...На базу «морской охотник» возвращался под одним мотором.

Команда линейкой выстроилась на палубе.

Такой же линейкой стояли и экипажи катеров в Стрелецкой бухте — их построили для встречи героев.

У пирса, к которому было указано подойти катеру Глухова,— полно начальства, а метрах в пятнадцати легковая машина, присланная командующим за Глуховым.

Глухов выглядел усталым, но в глазах его чертиком поскакивала радость.

Было подорвано одиннадцать мин, и Глухов доложил командованию, что задание выполнено — фарватер чист.

Так закончился «антракт» на фарватере: не удалось гитлеровцам блокировать Черноморский флот и его Главную базу!

Но радость оказалась преждевременной.

Не было дня, чтоб над Севастополем снова не появлялись эскадрильи бомбардировщиков и самолетов-миноносцев. Они настырно кружились на большой высоте и, улучив момент, сбрасывали бомбы где и как попало, мины старались сбросить только на фарватеры и в гавань.

К чести черноморцев, минный террор не сломил их, хотя обстановка «на театре» складывалась не просто сложная, а тяжелая.

Каждый выход корабля из гавани и возвращение его после боевого задания приходилось обеспечивать многим службам флота.

Дело в том, что и на запад и на восток от Главной базы под успокоительно гладкой поверхностью божественно синего моря простирались минные поля. Они тянулись на много миль. Постановка их здесь, перед Севастополем, была вызвана, по-видимому, уроками первой обороны, когда англо-французский флот чувствовал себя царем на Черном море.

Дважды пришлось тогда матросам Нахимова и Корнилова ставить корабли в кильватерный строй поперек бухты, прорубать днища и топить их, чтобы не допустить чужеземный флот в гавань.

Корабли топить, а самим на сушу, на бастионы осажденного города.

Теперь на Черном море не было достойного противника у Черноморского флота, но хорошо выученные уроки не забываются усердными учениками: мины были поставлены в первые же дни войны крейсерами и миноносцами эскадры. А бухта перегорожена специальными сетями.

В минных полях были оставлены проходы (фарватеры), по которым корабли с величайшей осторожностью выходили из базы на боевые операции и возвращались после них.

Вскоре после того как Глухов пробил фарватер глубинными бомбами, произошел случай, который снова заставил весь флот говорить об этом молчаливом лейтенанте.

...«Морской охотник» из звена Дмитрия Глухова лежал в дрейфе и вел наблюдения за фарватером. Поднявшимся ветром его стало относить к берегу. Командир приказал завести моторы и средним ходом двинулся на позицию. Он прошел совсем немного, как вдруг за кормой раздался сильный взрыв.

Из машинного отделения сообщили, что в днище образовались трещины, в них поступает забортная вода. Унять ее нечем было, и пришлось на пластыри и чопы употребить обмундирование экипажа и самого командира.

Катер не мог сообщить о своем бедственном положении и испросить разрешения покинуть позицию — вышла из строя радиостанция. Попытки починить ее не привели ни к чему...

Под одним мотором, с несколькими пробоинами, через которые в корпус корабля беспрерывно поступала вода, катер, оставив позицию, возвращался на базу.

Надо сказать, что «морской охотник» был сурово встречен не только командиром звена Дмитрием Глуховым, но и контр-адмиралом, нетерпеливо шагавшим по пирсу в ожидании объяснений того, чем вызвано самовольное оставление позиции, это неслыханное нарушение боевого устава.

Увидев не по форме одетого командира, контр-адмирал не стал слушать его рапорта, а приказал привести себя в порядок и затем явиться к нему.

Кабинет командира ОВРа по скромности обстановки, по полному отсутствию дорогих и замысловатых письменных приборов, а также и бумаг на столе был самым оригинальным и деловым на флоте.

Вот сюда, пред строгие очи контр-адмирала, и явился командир пострадавшего катера, загорелый крепыш в новенькой, только что полученной морской форме.

Контр-адмирал едва заметно улыбнулся. Затем кивком пригласил к столу, на котором были расстелены карты наших минных полей и немецких мин, и стал дотошно расспрашивать все еще смущающегося командира катера.

Вопросов было много, и в ходе обсуждения стало ясно, что немецкая мина могла взорваться лишь... от шума винтов катера...

Глухов ухватился за эту мысль и тут же попросил адмирала разрешить ему пройтись на «охотнике» над минами.

Это ничего, что минеры, разоружившие акустическую мину, утверждают, будто она реагирует лишь на шум винтов линкора и крейсера.

Взорвалась же она, когда над ней заработали моторы катера-«охотника»!

Попытка подрывать сброшенные на фарватер фашистские акустические мины с помощью шума винтов «морского охотника» — дело, конечно, весьма рискованное: еще неизвестно, удастся ли подорвать таким способом хоть одну, а катер и людей загубить — можно.

Контр-адмирал встал из-за стола и, шагая по кабинету, пытался найти решение. Из окон была видна бухта и стоявшие у пирса катера с развешенной на леерных канатах выстиранной рабочей одеждой и полосатыми тельняшками.

Сохнувшее на канатах белье всегда раздражало его: это все-таки корабли, а не походные прачечные!.. Но где экипажам «морских охотников», почти всегда приходящим с моря вымокшими, особенно когда дует свежий ветер, просушиться? У подплава вон какие базы! А тут — сверху небо, с боков — ветер!

...Метод борьбы с минами, который хочет испытать этот белобрысенький лейтенант, не имеет никаких научных обоснований, как и опыта. Он навеян случаем. Ну и что ж? Обязательно ли к каждому случаю подходить с подозрительной осторожностью?

Минные специалисты в поисках секрета акустической мины ставили возле нее патефон с пластинками, а сами, пока пластинка крутилась, сидели в укрытии.

Перед смертельно опасной «слушательницей» выступали выдающиеся певцы: Барсова, Максакова, Лемешев и Михайлов.

Мина «не отозвалась» на их голоса, тогда минеры по-

дошли к ней и начали работать медными ключами... и разоружили!

Случайность!.. Нет! Как не было случайности в ставшем уже банальным факте, когда много лет тому назад один пытливый англичанин по падающему с дерева яблоку открыл закон земного притяжения.

Контр-адмирал посмотрел на лейтенанта Глухова и по глазам понял, тот не отстанет. Уж очень хочется попробовать рискнуть! К тому же нет дня, чтобы гитлеровцы не сбрасывали на фарватер мины, а комфлота требует, чтобы фарватер был чист.

Что ж, пусть пробует!

Перед выходом в море лейтенант Глухов предупредил экипаж, что дело, на которое они идут, чревато тяжелыми последствиями и кто не хочет рисковать, может остаться на берегу, поход этот добровольный... Он мог бы не говорить этих слов — для моряка нет ничего позорнее отказа от дела из-за страха.

За действиями Глухова следили сигнальный пост, дежурные катера, сам контр-адмирал и береговой пост штаба флота. Вначале ничего не получалось. Вначале, это когда он ходил на полных оборотах, мины не реагировали на такой ход.

Тогда Глухов запросил разрешения у контр-адмирала пройтись над минами средним ходом. Контр-адмирал дал разрешение.

Вот тут-то и пошло.

...Это произошло так неожиданно, что сразу никто не сообразил, что сталось с катером в результате взрыва мин дуплетом.

А происшествий оказалось много:

дал течь корпус корабля;

вышла из строя рация;

огнетушители вылетели из гнезд, стравили всю жидкость и при этом сожгли китель помощника командира Трофименко;

мотористов Литвина и Иванова отбросило от моторов;

краснофлотцу Макушину сорвавшимся котелком компаса рассекло подбородок;

катер поник, образовался дифферент на нос и на правый борт.

Почти всюду паёлы перевернуты, компасы выскочили из кардановых подвесов, часы, привинченные к переборкам, вырваны, обтекатели рубки продавлены, как яичная скорлупа,— словом, полная разруха.

Сигнальный пост штаба флота раньше всех засек аварию и сообщил оперативному дежурному штаба флота, а тот командующему.

— Немедленно запросить, что с катером Глухова! — приказал командующий флотом.

С катера пошел семафор: «Имею повреждения, исправляю. В помощи не нуждаюсь, буду продолжать работу. Тяжелораненых нет. Глухов».

«Морской охотник» медленно подходил к пирсу. Даже издали было заметно, как он сильно потрепан. Экипаж его выглядел так, будто моряки возвращались из дальнего океанического плавания, выдержав в пути бешеные атаки штормов и ураганов.

Контр-адмирал первым ступил на сходню. Он пожал руку Глухову, флаг-штурману, командиру катера, его помощнику, боцману, комендорам, механику — словом, обошел всех, поздравил с успехом и известил о том, что командующий флотом представил весь экипаж «морского охотника» к правительственным наградам.

Оглохший от взрывов, Глухов стоял, растерянный от похвал и поздравлений. Он улыбался и механически отвечал на рукопожатия, слегка вздрагивал, когда его одобрительно похлопывали по плечу такие же, как и он, крепыши, морские охотники, с заветренными и тяжелыми руками — командиры катеров, стоявших в бухте.

Весь его вид и особенно эта неосмысленная улыбка говорили о том, как он далек от всего этого шума. Он считал, что лейтенант Москалюк и лейтенант Перевязко и Остренко, тот, что утопил под Севастополем фашистскую подводную лодку, действовали бы не хуже его... Ну, кто бы стал раздумывать, раз надо!

Лейтенант Глухов, невысокий и неброский с виду, действительно не был похож на героя. Может быть, по-



этому никто не предполагал, что этот офицер из матросов в недалеком будущем станет командовать дивизионом «охотников» и что моряки этого дивизиона свершат много выдающихся подвигов.

А если б нам удалось заглянуть в «книгу судьбы», то мы узнали бы, что Дмитрий Глухов на переломе войны станет капитаном III ранга и будет награжден редчайшей среди моряков наградой — орденом Суворова!

Всякий раз, слушая в свой адрес похвальные слова, он отвечает без ложной скромности, что в делах военных не ищет подвига, а всего лишь выполняет свой долг.

Фарватер чист, и корабли могут беспрепятственно выходить в море. Их ждет осажденная Одесса. Туда лежит и мой путь. И больше нет причин задерживаться в Севастополе — вчера Александр Хамадан получил допуск на корабли и в части Черноморского флота.

До свидания, Стрелецкая, до свидания, храбрые «морские охотники»,— вы выиграли битву на фарватере, и этот факт обязательно войдет в историю!

Катер мчится из Стрелецкой в Южную бухту.

Я нахожу Хамадана в гостинице «Северная». Он полностью готов. Сегодня в Одессу выходит крейсер «Красный Кавказ» — лучшей оказии и не придумать: надо договориться, чтобы нас приняли на борт.

Крейсер «Красный Кавказ» идет для артиллерийской поддержки войск, обороняющих Одессу. Положение там чрезвычайно сложное.

Одесса истекает кровью: против трех дивизий и нескольких отрядов моряков — девять дивизий и три бригады противника!

Город отрезан с суши и лишен питьевой воды.

Враг разрушает Одессу артиллерией и авиацией. Фашисты рвутся на ее улицы.

Из радиоперехватов известно, что уже готовятся линейные для парада румынских войск в Одессе и что генерал Ион Антонеску уже репетирует речь, которую он произнесет перед войсками после занятия Одессы. Одесса в будущем станет главным городом Транснистрии — так будет называться новая провинция румынской короны в Причерноморье.

Транснистрия... Под Одессой стоит лучшая румынская армия — 4-я, Королевская. Она уже месяц штурмует степной город, который защищает небольшой гарнизон.

Генерал Ион Антонеску нервничает, издает то льстивые, то полные желчи и угроз приказы.

В штабе флота нам показали несколько документов. Жаль, что нельзя было взять их — пришлось делать беглые выписки. Вот что пишет румынский главнокомандующий: «Разве не постыдно, что наше войско, в четыре-пять раз превосходящее числом и снаряжением противника, столько времени топчется на месте».

Усовестить никого не удается. Тогда командующий

издает устрашающий приказ. Господин генерал Антонеску приказывает: «Солдат, теряющих оружие, расстреливать на месте. Если соединение отступает без основания, начальник обязан установить сзади пулеметы и расстреливать бегущих...»

Задержка под Одессой раздражает и Гитлера, срывает его планы продвижения в глубь России.

А ведь всего лишь месяц назад все шло хорошо: немецко-румынским войскам удалось сравнительно легко форсировать Днестр между Григориополем и Дубоссарами и при выходе на левый берег расчленить войска Южного фронта.

Отход Приморской армии к Одессе, а 9-й армии к Бугу, стремительное продвижение войск и танков группы армий «Юг» на восток вскружили голову Антонеску, и он выступил с заявлением о том, что советские войска под Одессой разбиты и город будет взят не позднее десятого августа.

Штабист, который знакомил меня и Хамадана с событиями первого месяца обороны Одессы, говорил, что те дни были не просто сложными, а скорее трагичными. Трагичными потому, что события тогда развивались с угрожающей быстротой и неотвратимостью: восьмого августа Одесса была объявлена на осадном положении, а десятого какой-то авантюрно-самоуверенный фашистский идиот приземлился на одесском гражданском аэродроме. Открылась дверца самолета, и из его чрева посыпались фашистские автоматчики.

Как выяснилось впоследствии, гитлеровцы приземлились на одесском гражданском аэродроме для приема десантников, которые должны были взять город изнутри и открыть ворота для торжественного въезда победителей.

С тех пор минул месяц. Тридцать дней тяжелейших боев. Одесса не сходит со страниц газет.

Ее героев сравнивают с героями древней Спарты.

Это не литературный прием, а историческая параллель по сходству мужества: как и тогда, у иноземцев было численное превосходство, отличное вооружение и неограниченные тактические преимущества.

У защитников города ни резервов, ни плацдарма для маневров.

Связь с Большой землей — морем, но порт и подходы к Одессе под постоянным обстрелом артиллерии и кровожадным контролем с воздуха.

Накал сражений за Одессу в эти дни достигал самого высокого напряжения.

На второй неделе сентября в один из дней в одесские госпитали было доставлено тысяча девятьсот раненых!

Какие же потери у противника?

Общеизвестно, что для успеха наступления военная наука требует тройного превосходства в силах. Известно также и то, что в наступлении рассчитываются не деньгами, а солдатскими жизнями. Также известно, что на войне твердых ставок нет.

Можно не сомневаться, в тот день, когда наши госпитали приняли около двух тысяч раненых, у румынского короля стало на несколько тысяч меньше подданных!

Ни Хамадану, ни мне не было тогда ясно, почему двенадцать дивизий и три бригады противника с таким безрассудным ожесточением бросались на сильно истощенный гарнизон Одессы.

Престиж?

Объяснение было найдено лишь после войны в дневниках начальника германского генштаба генерала Гальдера. Вот что записал он 15 августа 1941 года в своем дневнике:

«Войскам, действующим в районе Днепра и у Киева, требуется в среднем 30 эшелонов в день. Чтобы добиться этого в течение 10 дней, необходимо на этот период повысить ежедневное количество отправляемых эшелонов с 16 до 22. В портах Варны и Бургаса на борту судов находится 65 тысяч тонн снабженческих грузов... Эти грузы должны быть доставлены в течение десяти дней после захвата Одессы».

Через неделю, в связи с очередным приказом Гитлера, генерал Гальдер заносит в своей «Крейгстагебух» [1]: «Румыны считают, что им удастся занять Одессу только в начале сентября. Это слишком поздно. Без Одессы мы не сможем захватить Крым».

Эта запись предваряла новую директиву Гитлера, первый пункт которой начинался словами:

«Важнейшей задачей до наступления зимы является не захват Москвы, а захват Крыма, промышленных и

---

[1] Военный дневник *(нем.)*.

угольных районов на реке Донец и блокирование путей подвоза русскими нефти с Кавказа». И дальше в этой же директиве, в пункте четвертом, подчеркивается еще раз: «Захват Крымского полуострова имеет первостепенное значение для обеспечения подвоза нефти из Румынии. Всеми средствами, вплоть до ввода в бой моторизованных соединений, необходимо стремиться к быстрому форсированию Днепра и наступлению наших войск на Крым, прежде чем противнику удастся подтянуть свежие силы».

Вот почему 4-я румынская Королевская армия, подпираемая пулеметами специальных частей, отчаянно бросалась на штыки защитников Одессы.

Одесса нужна была Гитлеру как перевалочная база для снабжения группы армий «Юг». А невзятая Одесса — преграда на пути стратегических планов ставки гитлеровского верховного командования.

Не с этими, о которых сказано выше, а с весьма общими сведениями о положении в Одессе мы с Хамаданом покинули штаб флота.

Крупные звезды перемигивались в небе, когда мы оказались на улице.

Темный город лежал в настороженной тишине.

Вслушиваясь в собственные гулко звучавшие шаги, мы спускались с Нагорной части к Графской пристани, откуда катер должен доставить нас на крейсер «Красный Кавказ».

Крейсер стоял на рейде, с пристани его не было видно, как, впрочем, и другие корабли, ночь стояла типично южная, чернильно-черная. Лишь когда катер подвалил под борт крейсера, мы увидели нависший над нами высокий темный, стальной утес.

Мы не успели освоиться на крейсере, как он уже снялся с якоря и в сопровождении «морских охотников» прошел ворота в боновом заграждении, а затем осторожно, будто ощупывая каждый свой шаг, прошел через самое опасное место — Стрелецкий рейд и вошел в узкий фарватер «Севастопольского лабиринта» — так моряки называли обширные минные поля, простиравшиеся далеко на восток и на запад. Они являлись как бы щитом, прикрывавшим Главную базу с моря.

Тут нужно было держать не только у х о, но и г л а з востро!

ОДЕССА ЕСТЬ ОДЕССА

...На рассвете крейсер подошел к Одессе. Город с моря обозначился еле заметной полоской. Может быть, и этой полоски не было бы видно, если б над городом не висел черный дым, подбитый снизу плотным багровым заревом пожара.

Слышались далекие, глухие громы тяжелой артиллерии.

Крейсер держался мористо, боясь стать добычей воздушных разведчиков. Ему было выгодно остаться незамеченным, чтобы выбрать лучшую позицию для обстрела противника.

Когда встало солнце, мы поднялись на мостик. Командир крейсера, капитан II ранга Алексей Матвеевич Гущин, предложил свой бинокль, и я увидел вместо темной и еле различимой полоски на горизонте Одессу: бывший дворец Воронцова, в палатах которого перед войной шумели одесские пионеры, знаменитую лестницу, памятник дюку Ришелье и даже золотистый отблеск солнечных лучей на крышах домов.

Обшаривая горизонт, я обнаружил, что горит не в городе, а на восточной окраине, а на город лишь наносится дым.

...В полдень крейсер встал на рейде в Аркадии.

На песчаном пляже толклись люди. У недавно построенных, сверкавших свежим настилом причалов покачивались катера. В тени деревьев прятались автомашины.

Разбрасывая брызги, один из катеров оторвался от причала и шустро полетел к крейсеру.

Нам пора было к штормтрапу.

Возвращая бинокль Гущину, я заметил, что он взволнован. Озабоченность была и на лице комиссара корабля: в воздухе появился фашистский самолет-разведчик.

Мы только успели сойти на берег, как вскоре после разведчика из-за облаков вынырнул «Хейнкель-111» и стремительно кинулся к крейсеру...

Я не знаю, о чем думал в этот момент Александр Хамадан, по его непроницаемому лицу и умению держать себя в самых сложных обстоятельствах ничего понять нельзя было, но у меня, должен признаться, сердце за-

шлось, когда фашистский самолет, набрав высоту, пошел в пике на «Красный Кавказ».

В голове вихрем пронеслась мысль: «Неужели сейчас случится это?» Под «этим» я подразумевал поражение корабля, стройного, огромного, отлично вооруженного всеми современными средствами для защиты и нападения.

А корабль был действительно огромен, как айсберг: сотни людей у могучих механизмов находились под водой, в его стальном корпусе, и сотни действовали на палубе у зенитных орудий, в башнях главного калибра, у дальнометов, в боевой рубке, на сигнальных постах...

Когда я открыл глаза, то готов был закричать от восторга: молодец Гущин! — крейсер гордо шел по морю, ведя огонь из зенитных пушек, а фашистский самолет уносил «ноги» из обстреливаемого пространства.

Мы еще постояли на мелкозернистом и светлом песке прекрасного аркадийского пляжа, пока «Красный Кавказ», удаляясь,— ему предстоял бой с противником — не скрылся с глаз.

Западная окраина Одессы не выглядела пострадавшей от артиллерийских обстрелов и бомбежек, и поэтому мы с некоторым сомнением подумали о точности тех сведений, которыми нас снабдили в штабе, да и журналистская среда Севастополя.

Но когда машина очутилась на городских улицах, шоферу все чаще и чаще приходилось крутить баранку, чтобы не угодить в воронки или не наткнуться на загнутый взрывной волной трамвайный рельс.

Жалкими выглядели цветники и кустарники — они давно уже не имели влаги. Листья каштанов гремели, как железные. Жухли кусты роз...

...Нам нужно было попасть на улицу Дидрихсона, где помещался штаб Одесского оборонительного района. Хамадан надеялся добыть там машину и, не задерживаясь, проехать в штаб Чапаевской дивизии к генералу Ивану Ефимовичу Петрову. Мне полагалось «доложиться» либо самому командующему Одесским оборонительным районом контр-адмиралу Гавриилу Жукову, либо члену Военного совета, бригадному комиссару Илье Ильичу Азарову, а потом податься то ли в полк морской пехоты, то ли на одну из береговых батарей.

Мы долго ехали. Над городом за это время два раза прошлись со свистом почти над крышами фашистские

самолеты, и наш путь то и дело преграждался разрушенными домами, сломанными деревьями, оборванными и спутанными проводами.

Шофер гонял машину в длинные объезды, ругал на чем свет стоит «зараз» фашистов.

На одной из площадей толпилось много народу. Приглядевшись, я заметил, что тут были преимущественно пожилые мужчины и даже несколько дряхлых стариков.

— Что они тут делают? — спросил я.

Краснофлотец-шофер, одессит по происхождению, вопросительно посмотрел на меня.

— Вы о них? — он снял руки с баранки и указал на толпу.

Я кивнул.

— Шо они делають?

Я еще раз кивнул.

— Вы в первый раз в Одессе?

— В прошлом году проездом в Кишинев ночевал в «Лондонской» гостинице.

— Одесса есть Одесса! — глубокомысленно сказал он, все еще не возвращая своих рук к баранке.— Вы хочете знать, шо они тут делають? Курять, спорять, командують армиями! Это ж все — нафталин, им скучно дома сам на сам сидеть, вот они и приходють сюда. Тут командование карту им повесило с флажками... Иногда приходить с политотдела человек и разъясняеть положение на фронте, флажки передвигаеть. Они ему вопросы, он им ответы. Ну вот так и живуть!..

Он прервал свой затянувшийся монолог и не без подчеркнутого артистизма, как истый одессит, быстро и красиво подхватил баранку.

Это было сделано вовремя, ибо, опоздай он, наша старенькая и потрепанная «эмочка» врезалась бы в афишную тумбу.

Я много слышал анекдотов об Одессе, но впервые увидел, что одессит действительно не может вести разговор без рук.

Про итальянцев говорят так: «Если итальянец не поговорит вечером о политике, он ляжет спать голодным». А сами одесситы шутят о себе: «Если одесситу связать руки, он не сможет говорить».

Внешне в Одессе было почти так же, как и в Севастополе: много моряков, почти через каждые час-два воздушные налеты фашистов и орудийная стрельба. Внешне,

а во всем остальном, как справедливо и метко заметил наш шофер, Одесса есть Одесса!

Даже теперь, когда город без воды, когда каждый час здесь гибнут люди, когда война забрала в окопы всех мужчин и почти на всех работах тянут непомерный груз женщины, девушки, подростки, старики, боже избави спросить у одессита, чем знаменит его город. Одессит тут же, ни секунды не медля, скажет: «Может быть, в Конотопе пел Карузо?» — и, озадачив вас этим ответом-вопросом, тут же щедро и небрежно высыплет десятка полтора сверкающих имен: Чайковский, Пушкин, Мицкевич, Пирогов, Менделеев, Гоголь, Горький, Сеченов, Айра Олдридж, Шаляпин, Щепкин, Собинов... И если вы вовремя не кивнете удовлетворенно, то услышите дополнительно еще о Бабеле, Котовском, Багрицком, Филатове, Ойстрахе. Закончится это перечисление вопросом: «Может быть, на сегодня хватит?»

Этот город и в осаде сохранил свои обычаи и нравы, свой шутливый говор, наивное предпринимательство, безмерную отвагу и жертвенность.

Картины осажденной Одессы весьма пестры, порой в чем-то забавны и трогательны. И о них, пожалуй, стоит рассказать.

А ПРИ ЧЕМ ТУТ ГАРИБАЛЬДИ?

Представление начальству, к сожалению, отняло много времени, мы угодили как раз в тот момент, когда шло бурное заседание Военного совета в связи с резко ухудшившимся положением на линиях обороны города. Лишь в пятом часу дня мы выбрались из штаба и поехали по своим делам: Хамадан в штаб Чапаевской дивизии, а я в казармы, где формировались пополнения из местного населения.

Не успела машина тронуться, как была объявлена воздушная тревога. Мы не стали ожидать конца налета — поехали.

Во время хода машины не очень-то слышны стрельба и разрывы бомб, поэтому мы были потрясены, когда на соседней улице наткнулись на страшные следы только что пролетевшего здесь фашистского самолета: дорогу перегораживал сдвинутый с рельсов воздушной волной трамвайный вагон и спутанные провода.

Трамвайный вагон был сильно покорежен, стекла вы-

биты. На тротуаре валялись убитая лошадь и старик, крепко сжимавший вожжи. На опрокинутой телеге еще крутилось колесо.

Старик лежал бочком, чуть поджав коленки, словно бы прилег отдохнуть. Глаз и лица видно не было. А у его лошади большой, похожий на объектив фотоаппарата глаз был открыт, и в нем застыло испуганно-недоуменное выражение.

За трамвайным вагоном я увидел еще три трупа и несколько раненых. Около них хлопотали сандружинницы. Слышались плач и проклятия.

Мы выехали на соседнюю улицу, но и там не было проезда: висели оборванные провода и лежало дерево. Непроезжей оказалась и следующая улица. Лишь обогнув несколько кварталов, нам удалось выехать из района, подвергшегося бомбежке. Я вылез возле казарм.

Вечер был душный. Над Одессой плыли рваные облака. В просветах порой блистал золотой серпик новорожденного месяца.

Слышался далекий гул самолетов.

Серые облака прощупывались лучами прожекторов.

С восточной окраины города доносилась беспорядочная пулеметная стрельба.

Просторный двор казармы сейчас был пуст. Когда я входил, навстречу, заставив меня посторониться, выехали четыре грузовых машины. Кузова были битком набиты ополченцами.

Прежде чем зайти в штаб, я присел на конец длинной деревянной скамьи, несколько поодаль от молодой пары. Глядя на то, как мужчина, пряча цигарку в кулак, жадно затягивается, я тоже вдруг захотел закурить. В горле торчал ком, чуть подташнивало от той крови, которую довелось увидеть там, у разбитого трамвая.

Закурил. И услышал голос женщины:

— Вася! Ну поговори с ним еще. Скажи...

— Что-о? — с оттенком досады и собственной беспомощности спросил он.

— Ты понимаешь,— начала она и на миг запнулась, по-видимому, ей трудно было или неудобно высказать то, что надо было сказать. — Ты понимаешь,— повторила она,— может быть, это не совсем удобно... Хотя почему же это должно быть неудобно? Вася! А если ты приведешь в пример Гарибальди, а?!. Ведь он вместе с Анитой был в походах... У нее даже ребенок на руках был!

Мужчина слушал молча, не перебивал, только чаще затягивался да вздыхал глубоко.

— Вася! Что ж ты молчишь?

— А что мне сказать тебе?

— Как что?

— Ну хорошо, я ему про Гарибальди. А он скажет: «А при чем тут Гарибальди?»

— То есть как это «при чем тут Гарибальди»?.. А ты вспомни, как Анита прорвалась через австрийские и французские войска, вошла в осажденный Рим и тут же, вскочив на коня, держа в одной руке ребенка, сражалась вместе с мужем, не хуже другого мужчины! Я постараюсь быть такой же!

Она поднялась со скамьи, прошлась немного и, присев, опять заговорила:

— Ты просто не хочешь, чтобы мы были вместе!.. Или боишься, что тебе за меня неловко будет?.. А ты не бойся! Я смелая!

Щеки у нее пылали, а несколько грубоватый для женщины голос был полон трагической решимости.

— И наконец,— добавила она,— ты мог бы сказать ему, что мы с тобой все-таки не по мобилизации, а добровольно...

— Нет, Аня! Этого я никогда не скажу! — Он сильно затянулся и, выпуская дым, нагнулся и энергично закачал головой.

Батальонный комиссар, занимавшийся формированием пополнений из городского ополчения, в ряды которого одесская партийная организация отдала две трети своего состава, а комсомол — все девяносто процентов, был действительно человек черствый. Я не думаю, чтобы он был плохим или там вредным, а просто недостаточно воспитанным.

Он отказал этой молодой влюбленной паре, добровольно напросившейся на фронт и пожелавшей не расставаться. Он наговорил им какую-то чепуху вроде того, что, мол, тут вам не санаторий, что вместе, дескать, вас надо устраивать, и т. д.

Меня очень растрогала эта милая чета, а особенно она — современная Анита.

Они педагоги. Аня — историк, Вася — преподаватель физики в средней школе.

Батальонный комиссар был тверд, как бетон. Моя жестокая «схватка» с ним за эту чету вряд ли кончилась бы победой, не будь у меня за плечами авторитета Главного политического управления Военно-Морских Сил СССР.

Ночь в пустой казарме оказалась короткой. Рассвет еще не подошел к Одессе, а во дворе казармы уже гудело и шумело: пришли машины и пешим маршем новички.

Они галдели, курили, словом, были излишне возбуждены — так бывает со всеми людьми, которые сгоряча берутся за опасное дело, зная, какая ждет их «награда», и, побаиваясь ее, «шаманят» громкими шутками и неумеренным потреблением папирос.

Но вот в дверях штаба появился батальонный комиссар, он молча вошел в круг.

Галдеж прекратился.

Вскоре началась посадка на машины.

Вася, легко встав одной ногой на колесо, вспрыгнул в кузов, а Аню, все, кому назначено было в эту машину, предложили посадить в кабину, рядом с шофером.

У нее уже была сумка с красным крестом, а пышные, немного тяжеловатые, переливавшиеся волной волосы она успела подвязать белой косыночкой, приготовленной заранее.

Кто-то сказал, что на передовой в косынке белой делать нечего: фашистский снайпер мигом возьмет на мушку. У кого-то нашлась запасная пилотка с красноармейской звездочкой. Все это было преподнесено ей. Она мило приняла дар и улыбнулась, сверкнув белыми зубами.

Когда кузов машины заполнился, она глубоко вздохнула и сказала:

— Вот и повоюем... Только вот храбрюсь, а что будет со мной, когда попадется мне дяденька в три раза выше меня, как я его вынесу с поля боя?.. Ну да ничего!

Она надела подаренную ей пилотку, вынула из медицинской сумки зеркальце и, охорашиваясь, кокетливо улыбнулась: пилотка была к лицу ей, хотя и не очень вязалась с белой кофточкой. Но она была так рада, так счастлива, что быстро спрятала зеркальце, облизала пересохшие от волнения губы и, высунувшись из окошка кабины, позвала мужа:

— Васенька!

Он нагнулся к ней.

— Как ты там? — спросила она.

С его лица сошли озабоченность и суровость, которые были заметны вчера, когда она уговаривала его пойти к батальонному комиссару и добиться разрешения воевать обоим в одной части, он просиял.

— Как хорошо-то, что мы вместе! — радостно сказала она.

Затем глянула в мою сторону и благодарно улыбнулась.

Машины заворчали моторами.

Она замахала.

Грузовики тронулись, и скоро поворот, который был сразу же по выезде со двора казармы, скрыл их.

В небе появились самолеты. Послышались залпы зениток.

Батальонный комиссар попросил тех, кто оставался в казарме, зайти в укрытие. Но мне не хотелось лезть в щель, похожую на только что отрытую могилу. Перед глазами все еще живо стояли грузовики с ополченцами и милая чета, особенно она, Аня, довольная, что на фронт идет вместе с мужем. От этой картины на душе было светло и легко, хотя я знал, в каком тяжелом положении находилась Одесса в эти дни и какая судьба может постичь и ополченцев, и милую светлую русскую Аниту, и ее Васю... Гарибальди...

ДАР МАРГУЛИСОВ

25 августа в семь часов пять минут пополудни в Одесском порту упал крупный артиллерийский снаряд. Он не нанес повреждений, но с этого часа порт вынужден был вести погрузку и разгрузку судов ночью.

Это, конечно, усложнило все, особенно посадку на корабли раненых и детей... До этого часа эвакуация проходила без жертв и затруднений. Из Одессы регулярно вывозились раненые, государственное имущество и часть жителей, которые с большой неохотой покидали насиженные места. Они готовы были терпеть все бомбежки, обстрелы и даже голод, только бы не тащиться бог знает куда. Некоторым жалко было расставаться с добром. Но бóльшая часть жителей не уезжала по убеждению, что патриотический долг обязывает их остаться здесь.

Однако жителей оставалось больше, чем нужно было

городу, очутившемуся в кольце осады. А кольцо это с каждым днем сжималось все туже и туже.

К населению пошли агитаторы. Они старательно доказывали, как трудно жить в осажденном городе, где даже в о д а и та по карточкам!

Одесситы согласно кивали: дескать, понятно, и все трудности жизни тут они сами на себе испытывают... Но тут же спрашивали: «А где теперь легко?»

Вопрос не риторический: в самом деле, где в те дни было легко?

Немцы уже подкатывались к стенам Ленинграда, осадили Киев, форсировали Днепр, отрезали Крым и пробивались в Донбасс.

Но большой, красивый город с чудесными тенистыми улицами, великолепными зданиями, парками, курортными виллами, отличными пляжами, университетом, мореходным училищем, знаменитой глазной клиникой, богатыми музеями, театрами, отбивая яростные атаки врага, жил, как говорится, некраденой жизнью.

Он замирал лишь на коротое время, пока на его дома сыпались фашистские бомбы, и вновь оживал после отбоя: одесские гамены с алюминиевыми бидонами, с которыми до войны бегали за молоком, носились у передовой, пробираясь туда ползком, спринтерским бегом, чудом ускользая от пули и осколков, и поили бойцов «сладкой» водой.

Где они ее доставали — их секрет: в городе люди за водой часами выстаивали на солнцепеке, пока добирались до раздаточного пункта. А тут нате — вода! Да какая!

Бойцы шарят по карманам — надо ж хлопцам гостинец. А тем и всего-то надо стреляный патрон и красноармейскую звездочку — вот и вся плата!

Конечно, по глазам было видно, что им еще кой-чего хотелось... нет! Не стрелять, а хоть на миг взять в руки трофейный автомат, а если нельзя, то хоть отечественную винтовку или за ручки пулемета подержаться!

...Передвигаться по городу с каждым днем все труднее. Не только из-за бомбардировок, но из-за строительства оборонительных сооружений и баррикад.

После того как противник отжал сильно потрепанные, давно не получавшие пополнений части, защищав-

шие Одессу с востока, командование Одесского оборонительного района вынуждено было отдать приказ об уничтожении 412-й береговой батареи. Это была превосходная, новенькая, установленная перед самой войной батарея. Взрывая ее, моряки-артиллеристы плакали.

Чебанку, где стояла четыреста двенадцатая артиллерийская красавица, занял противник. Он подтянул сюда тяжелые полевые пушки и начал обстрел Одессы.

Снаряды падали в порту, в рабочем районе Пересыпь, в районе штаба ООР, на улицах города.

В сводках штаба появились довольно безрадостные донесения:

> «...Авиация противника с наступлением темноты возобновила налеты на Одессу, артиллерия противника продолжает методически обстреливать различные районы города. В результате бомбардировки с воздуха и артобстрела в Одессе разрушено 59 зданий, возник 21 пожар, убито 92, ранено 130 человек гражданского населения».
>
> «Днем пятнадцать Ю-88 бомбардировали Одессу. Затем пятьдесят бомбардировщиков вновь совершили налет на город. В городе убито и ранено более трехсот человек. Большие разрушения, много пожаров...»

Три с небольшим месяца тому назад никто не только не мог предполагать, но и подумать о том, что Одессу придется отстаивать. Очевидно, поэтому она не была обеспечена оборонительными сооружениями с суши. Лишь с моря ее стерегли несколько стационарных артиллерийских батарей, часть из которых имела калибр 180—203 мм.

Всего в подвижных и стационарных батареях Одесской Военно-морской базы насчитывалось 35 орудий!

И вот теперь, как богу при сотворении мира, тут все нужно было начинать сначала.

В спешке моряки разворачивали в сторону суши стволы своих пушек, уже в осаде горожане от мала до велика рыли окопы, воздвигали баррикады, инженерные части строили причалы, бурили землю в поисках питьевой воды...

Сложна и тяжела жизнь осажденного города. И еще неизвестно, какую меру мужества нужно иметь, чтобы

выдержать ее. Одесситы выдерживали. В этом бесценная заслуга городской партийной организации. Я много наслышался о заслугах одесских коммунистов от члена Военного совета Одесского оборонительного района, бригадного комиссара Ильи Ильича Азарова. Это и привело меня в горком партии.

У секретаря горкома партии Гуревича усталое, осунувшееся лицо, глаза слегка воспалены.

Телефон мешает нам вести разговор: Гуревича спрашивают, ему сообщают, докладывают, на него обижаются, его благодарят, просят приехать посмотреть, просят показаться людям и выступить на митинге.

Вместе с председателем горсовета Одессы Давиденко Гуревич возглавляет МПВО.

Но у секретаря горкома кроме МПВО много других дел: работа предприятий, снабжение города, свет, радио, больницы, аптеки, школы, торговля...

У секретаря горкома партии — вся жизнь осажденного города, со всеми его муками и радостями. Оттого и глаза красные: спать-то некогда! То надо лететь на большой пожар, то провожать на фронт новую группу коммунистов, то проводить тысячные отряды женщин на рытье противотанковых рвов, на строительство баррикад, то... Сознаюсь, не раз «крал» и я и мои коллеги-журналисты золотое время у этого по горло загруженного делами партийного работника. А что делать? Если не мы, то кто же расскажет о том, какую титаническую работу проделала во время осады одесская партийная организация.

Гуревич не заглядывает в сводки или блокноты — все цифры в идеальном виде на полочках памяти. Говорит он с заметной усталостью. Но зато как оживляется, когда речь идет о рабочих!

Да и то сказать, можно ли говорить спокойно о том, как рабочие завода имени Октябрьской революции, что на Пересыпи, завода, до войны занимавшегося сельхозмашиностроением, теперь делают танки из тракторов!

Это те самые танки, которым защитники Одессы присвоили марку «НИ» («На испуг»).

Рабочие этого же завода ремонтируют орудия, делают минометы и то, что в армии называется шанцевым инструментом, то есть лопаты.

Завод под артиллерийским обстрелом противника. В среднем в день на его территории падает около 30 сна-

рядов. Во время обстрелов рабочие уходят в укрытия, а кончается канонада, возвращаются к станкам.

Эти рабочие-солдаты и живут тут же, на заводе. Все они входят в отряд народного ополчения. Своими руками они построили около завода баррикады и посменно охраняют их в круглосуточном наряде.

С чувством восторга рассказывает он и о рабочих завода имени Январского восстания, который одесситы называют с непосредственной и ничуть не обидной фамильярностью «Январкой». И этот завод никогда не выпускал танки, минометы, бронепоезда. И не имел никакой практики в ремонте пушек. А теперь все это делает, и, по отзыву потребителей своей новой продукции, неплохо делает.

А до войны «Январка» производила транспортно-подъемные сооружения и железнодорожные платформы.

Одесса под артиллерийским обстрелом, над нею «висят» бомбардировщики противника, но еще ни разу город не оставался без электрического света и без хлеба, хотя на заводы, выпекающие хлеб, не раз падали бомбы.

Гуревич говорит быстро, и мне бы не успеть за ним, если бы не телефонные звонки: они помогают мне — пока он говорит, я записываю.

А записывать приходится много. Тут есть все, и даже сведения о торговле, которая ведется в Одессе с не меньшим размахом, чем в мирное время.

Секретарь горкома партии говорит, что в отдельные дни магазины выручают в день больше, чем до войны.

Однако я не собираюсь писать повесть, где главными героями должны стать цифры и статистические выкладки.

Но из-за репортерской жадности, которую и до сих пор не могу преодолеть, записываю все, о чем рассказывает секретарь горкома. И лишь иногда забываюсь и слежу за выражением лица докладчика, за его глазами, скрытыми за стеклами очков, за его манерой говорить.

Я пришел к нему пятнадцатого сентября. Для меня этот день ничем не был знаменателен кроме того, что я уже три недели в командировке, а в предписании мне отпущен всего месяц. И я либо должен уезжать, либо телеграфировать о продлении срока пребывания на Черноморском флоте. С такими заботами я и прошел к Гуревичу, а он, сияя, вдруг сказал:

— Знаете, у нас сегодня особенный день... Сегодня мы начали учебный год... К ученикам до шестого класса педагоги пошли на дом, а все остальные ученики приглашены в школы. И знаете, прогульщиков нет!

Я спросил, как с педагогами.

— Учителей хватает,— ответил он.

Подождав, когда я закончу записывать, он продолжал:

— Главное и самое трудное в осажденном городе — не допустить дезорганизации жизни.

Секретарь горкома, по-видимому, считал эту часть своей беседы самой важной, поэтому терпеливо ждал, пока я скрипел своим пером.

— Вторая после этой важнейшей задачи — подхватить и вовремя организовать патриотический порыв людей. Кажется,— после небольшой паузы продолжал он,— мы справились и с этим. И справились с меньшими силами: ведь городская партийная организация отдала фронту семьдесят процентов коммунистов! И учтите, самых здоровых, энергичных! Кроме этого, мы сформировали семь истребительных батальонов, и они влились в армию. И она ими довольна...

Я с глубочайшим вниманием слушаю. А передо мною город и его люди, город и его тревожное небо, город и его предприятия... Я вижу рабочих, ремонтирующих под огнем врага оружие, вижу их строящими баррикады и изучающими военное дело... Я вижу женщин, несущих лопаты, как хоругви... Вижу одесских красавиц, копающих землю, выбирающих из мостовой камни и укладывающих их в стену баррикады... Я вижу стариков, которые втроем поднимают мешок с песком и с хеканьем закидывают его в тело баррикады.

В баррикаде старые радиаторы, обрезки рельсов, старые фляги и железные бочки. Все это приволокли горожане — каждый вносит свою лепту в большое дело защиты города.

Вначале все это меня удивляло. Удивляло, потому что нелегкое дело строительства баррикад несли на своих плечах женщины, старики и подростки.

Но в городе было столько примеров мужества, трудолюбия и самопожертвования, что я перестал удивляться. Перестав удивляться, тут же забеспокоился: нельзя писать о том, что не волнует тебя, что глаза и душа воспринимают равнодушно. Значит, и читателя все это не

будет волновать? Значит, и он воспримет все равнодушно?

К счастью, тревога была недолгой. Уже на следующий день на одной из улиц я увидел баррикаду и в левом углу ее старинный комод красного дерева. Его неплотно задвинутые ящики были засыпаны песком. А поперек них наискось мелом крупно было написано: «СМЕРТЬ ГИТЛЕРУ ОТ МАРГУЛИСОВ!»

Прочитав эту надпись, я подумал, что жить в Одессе — значит всегда удивляться, всегда открывать что-то необычное...

СОЛОВЕЙ

Природа проявляет крайнюю степень равнодушия к делам людей.

Стоит жара. Город без воды. Степи несут сушь. В садах спеют и падают плоды — их некому собирать.

У одесситов две мечты: о победе и воде. Надоели и сильно вымотали бомбежки и обстрелы, изнуряет и жажда. Людям снятся водопады, слышится шум прохладного душа и шорох бегущей из крана серебристой струи. Но вода хоть снится, а до победы ой как далеко!

Под городом — бои. Стоит подуть ветру, и на Одессу плывет сладковато-приторный трупный запах. Только ветер с моря освежает, ибо горячий левантинец в сентябре поддает жару.

В палатки на скверах и на больших перекрестках, где до войны было разливанное море воды с сиропом, изредка и теперь привозят фруктовую воду. Ее караулят с неотступной настойчивостью.

На скверах на скамейках сидят одесситы. Недалеко от скамеек вырыты щели. Старики прикрываются газетками, молодки подставляют лица солнцу, бабушки, не спуская глаз с внуков, судачат. Дети как дети. Когда их не одергивают, играют в войну: их атаки и обороны носят почерк суворовского гения и чапаевской отваги.

Все — и те, кто, позевывая, почитывает газетку, и те, кто ловит солнце и кто берет неприступные, сложенные из песка крепости,— ждут, когда тетя Валя Ященко откроет палатку.

Тетя Валя Ященко появляется на грузовике. Ей помогают снять ящики с водой и внести в палатку. Она долго

гремит стаканами, потом ищет открывалку. А возле ее торговой точки уже очередь.

Тетя Валя не сердитая женщина. Она не кричит, а только спокойно говорит на своей ридной мове: «Годите трохи! Годите!..»

Наконец все находится: открывалка, мисочка для ополаскивания стаканов, блюдце для мелочи, в котором желтеет размешная монета, и тетя Валя начинает продажу воды в розлив.

Счастливчики пьют бережливо. Водица эта не бог весть какая. Она иногда попадает в столовую штаба, и мой товарищ военный художник Леонид Сойфертис всякий раз, попивая эту водичку, говорит: «Лучше бы они давали туалетное мыло отдельно и воду отдельно. Зачем мешать все это?»

Но что делать? Город в осаде, город без воды, а век наш славен изобретателями различных заменителей.

Очередь рассасывается медленно. Мимо проходят люди. Они жадно смотрят на оазис тети Вали. Кое-кто пытается дуриком пролезть, но потребитель, стоящий в очереди, хотя и стар по возрасту, но не ломок по духу, и «нахалюга» сдает позиции.

Но вот показывается отряд моряков. Отряд не большой — шесть человек. По лицам пот струйками. Черные ботинки серые от пыли. Пить хотят. Это без расспросов видно. В очереди кто-то говорит: «Может быть, пустим военных?» — «Конечно! Какой разговор!» Но находится возражающий: «Военных командование водой обеспечивает!»

Очередь гудит. А моряки шагают вроде бы мимо, но глаза жадно смотрят на киоск тети Вали, на пенящуюся воду. И вдруг происходит нечто непредвиденное: откуда-то издали доносится знакомый гул авиационных моторов. Шум быстро нарастает. Стоящие в очереди смотрят на небо. Самолетов пока не видно, а гул все нарастает.

Кое-кто из очереди с тревогой посматривает на щели — не пора ли податься туда, вражеские самолеты налетают на Одессу обычно низко из-за облаков, внезапно... Неожиданно раздается характерный свист падающей авиационной бомбы. Очередь мгновенно разбегается. Кто лезет в щели, а иные просто укрываются под деревьями.

Моряки заворачивают к киоску. Тот, кто издал этот разбойный свист, первым подает тете Вале стакан. Про-

ходит, наверно, не больше трех минут, моряки утоляют жажду, и свистун, обращаясь к изумленным одесситам, выбирающимся из щелей, говорит: «Щиро дякуем!»

Я ждал, что одураченные одесситы взорвутся, начнется, как здесь говорят, «кагал» или «сабантуй», но одесситы, поняв, что никакого налета нет, что над ними просто пошутили, начали хохотать. Одна из женщин, которая больше всех смеялась и, кстати, она первая, когда еще держалась очередь, предложила пустить моряков к киоску без очереди, уняла смех и, обращаясь к свистуну, сказала:

— Слухайте сюда! А ну покажите еще раз, как это у вас получается.

Моряк издал такой свист, что жутко было: казалось, над нами летела воздушная армада.

— Так вы же артист! — воскликнула женщина.

Моряк, довольный комплиментом, выдал многоколенную соловьиную трель. Надо было видеть, что сделалось с лицами одесситов! А тетя Валя Ященко с восторгом произнесла: «От скаженный!»

Игравшие у песчаной кучи ребятишки бросили все и молча смотрели вслед удалявшимся морякам.

ВАЛЕНОЧКИ

Одесситы, несмотря на частые бомбежки, артиллерийский обстрел, не много знали о том, что делалось на переднем крае обороны.

Правда, в осажденном городе почти невозможно скрыть истинное положение — по его улицам везли раненых и на глазах жителей одних размещали по госпиталям, других подымали по сходням и трапам на санитарные суда и отправляли в Крым и на Кавказ.

Через город на рубежи обороны проходили строем войска, прибывшие морем или сформированные на месте. Жители Одессы встречали их цветами, а мальчишки шагали с ними почти через весь город.

Когда попадаешь в Одессу, то невольно думается, что одессит это не просто житель города Одессы, а — национальность. Загадка характера одессита — его бесхитростность, непосредственность ошеломляют, а в некоторых случаях и покоряют, хотя у всего этого есть и оборотная

сторона — обдуманность, сыгранная в ключе стопроцентной наивности.

Вероятно, поэтому напутствие, сделанное пожилым рабочим проходящему отряду военных моряков, не вызвало в толпе одесситов ни малейшего чувства неловкости, напротив, оно было встречено с полным сочувствием.

— Браточки! — кричал хриплым голосом рабочий.— Бейте их так, шоб у них от здесь,— он хлопнул себе по заду,— от здесь мокро стало!

— Будь спок, папаша! — поддержала рабочего женщина, напоминавшая своим телосложением доменную печь.— Они дадуть так дадуть!.. Это ж военморы! Там плохих не держуть!

Моряки били фашистов. И делали это знатно. Но положение под Одессой в первой половине сентября не становилось легче.

В городе скопилось много раненых.

Не хватало оружия.

Нечем было пополнять сильно поредевшие части.

Сколь сложно положение на переднем крае, не знали даже сами защитники, ибо фронт был сильно растянут и изогнут подковой от моря и до моря вокруг Одессы.

В один из этих тяжелых дней я встретил у штаба ООР Александра Хамадана.

Подошла открытая машина командира дивизии генерала Петрова. Смотрю — рядом с шофером мой друг. Он вылез и, оправив ремень на гимнастерке, поздоровался.

Стройный, загорелый и улыбающийся. «Значит, доволен»,— подумал я.

На участке дивизии генерала Петрова, откуда он прибыл, дела шли хорошо: не только атаки были все отбиты, но противник во многих местах бежал из своих окопов, побросав оружие.

Я рассказал ему о тяжелом положении в восточном секторе обороны, между Аджалыкским и Куяльницким лиманами: противник здесь не прекращает натиск. Наши части не выходят из боев, сильно потрепаны, понесли большие потери, много раненых. Против истощенного, поредевшего, давно не получающего пополнений полка Осипова стоят две дивизии, много артиллерии и танков. Ряды моряков тают как снег... Рассказал ему о захвате Чебанки, о взрыве четыреста двенадцатой батареи, об обстреле порта и города.

Хамадан приехал отправить в Москву очерки. В машине с ним молодая женщина. Он знакомит меня. Она стеснительно протягивает руку и называет себя Олей Пивень.

Оля работает в столовой штаба дивизии, она вольнонаемная, на фронте вместе с ребенком восьми лет. Муж где-то на Центральном фронте. Мальчику в школу надо идти, вот она хочет кое-что купить ему. Хамадан просит меня съездить с ней, пока сам он будет искать оказию. Я, ни минуты не колеблясь, соглашаюсь — мне после беседы с Гуревичем интересно побывать в магазинах Одессы.

Мы сели в машину: Когда завернули за угол, Оля сказала:

— А у нас там лучше... Как-то веселее. А здесь патрули ходят, щели нарыты, баррикады, зенитки на площадях. А народ все куда-то спешит.

— А вам не страшно на передовой?

— Сначала всего боялась... Свои начнут из пушек стрелять — я в щель лезу... Потом стала разбираться, и теперь не страшно. Я ж с дивизией из-под самого Прута, от границы, иду.

Мы остановились у магазина. Я спросил Олю, что она хочет купить. Она стушевалась и извинительно сказала:

— Да мальчику моему Алешеньке валеночки... Одессу очень уж сильно бомбят — разобьют магазин, и в нем, мне сказали, как раз на Алешеньку катанки такие хорошенькие... Я спросила генерала, нельзя ли мне съездить. Он разрешил. Осень-то скоро пролетит, а там и зима придет. В чем же Алешенька в школу ходить будет?!

Валеночки для сына Оля Пивень купила замечательные. И к ним галоши, лаковые, на красной подкладочке. Довольна была — все улыбалась, и мнилось ей, как Алешенька наденет эти валеночки с галошами и пойдет в школу...

Хамадан уже ждал нас. Он сдал свой пакет в порту на миноносец, идущий в Севастополь, а оттуда его пакет пойдет в Москву самолетом.

Я попрощался с ними, даже не поговорив как следует: оба они спешили попасть в дивизию засветло.

ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД

Полковой комиссар Леонид Порфирьевич Бочаров — начальник политотдела ООР — только что встал. Перед тем как натянуть на борцовские плечи гимнастерку, он любил немного «поиграть» двухпудовой гирей.

Его пистолет и широкий командирский ремень, свернувшийся змейкой, лежали на столе. Железная койка аккуратно заправлена. На Бочарове синькового цвета майка, так плотно облепившая мышцы, что казалось, сдерживает их из последних сил. Отлично отутюженные бриджи не очень гармонировали с тапочками и носками на резиночках.

Я пришел, по-видимому, не вовремя.

Бочаров, разговаривая со мной, продолжал перевалить гирю из одной руки в другую, либо вскидывал вверх, а другой рукой шутя подхватывал.

— Понимаешь,— говорил он, стараясь не нарушать ритма дыхания,— тебе надо съездить в первый полк морской пехоты. К Осипову. Там сейчас очень тяжело... Но зато какие люди! Если б я мог писать!

Он поставил гирю под стул.

— Не знаю, что ты сам думаешь, но я бы сейчас на твоем месте занялся бы Митраковым... Ты что, ничего не слыхал о Митракове? Азаров, говоришь, о нем рассказывал? Ну да мы с Азаровым в общем-то одно делаем дело. Митраков — комиссар у Осипова. Об Осипове-то, наверно, слыхал? Любимец прессы. А вот о Митракове — а это, понимаешь, все-таки представитель партии в войсках — мало, очень мало пишут!

Вообще скажу тебе, мало о нашем брате политработнике написано! А ведь партия цементирует людей. Ну да ты сам знаешь, это все слова из передовой, а вот коммуниста по-настоящему, коммуниста — бойца и человека, пока еще нет в нашей печати...

Он натянул сапоги, затем надел гимнастерку, опоясался и предстал передо мной во всем блеске сильным, крепким человеком. Прохаживаясь, продолжал:

— Митраков это парень — косая сажень в плечах, бывший шахтер. Ты думаешь, он сидит в штабе и строчит политдонесения или по телефону алекает? Не-ет! От него черта с два дождешься вовремя донесения — не любит он их: маузер на боку, бушлат на плечах, гранаты на поясе — и айда по батальонам... До самого переднего края

доносит партийное слово!.. Но, впрочем, чего это я тут агитацию развожу? Хочешь поехать теперь же? Машину сейчас дам!

Такого оборота я не ожидал — тут же согласился, чтобы он не отдумал: машина в Одессе в то время для корреспондента что крылья для птицы.

Пикап, предоставленный мне для поездки в Крыжановку, где расположен штаб полковника Осипова,— бывалая машина: у него основательно разворочено правое крыло и кожух фары, это следы неприятельской мины. Пикап покрыт камуфляжной сеткой, окрашенной в зеленый цвет.

Прежде чем сесть, я обошел машину, и тут мелькнула озорная мысль: а что, если б взять у этого видавшего виды пикапчика... интервью?! Надо полагать, было бы что рассказать этому безотказному политотдельскому Буцефалу!

В кабину сел инструктор политотдела, а я в кузов.

День жаркий, но, к счастью, ветреный — с востока на город плывут облака.

Шофер ведет машину на предельной скорости — не знаю, хорошо ли в кабине, а в кузове трясет, как на торпедном катере, когда тот идет на редане.

Миновав одну за другой несколько баррикад, мы выскакиваем из города на грейдер и поднимаем такую пыль, что тянущийся за нами шлейф, образующийся из мелкой, как пудра, едкой и непроглядной пыли, легко принять за дымовую завесу. Смысл этой быстрой езды в том, что таким образом можно проскочить район обстрела — медленно поедешь, обязательно накроют.

По сторонам дороги — разрушенные дома, баштаны, виноградники, посадки кукурузы с уже выспевшими янтарными початками.

Навстречу идут девочки, совсем еще кнопочки, а на руках у них младенцы-ползунки.

Куда они идут? Почему одни, без взрослых, с ползунками на руках?

Шофер делает сильный разгон, и мы легко выскакиваем из балки. Навстречу женщины. В руках у них полные, с верхом, ведра красных помидоров, на плечах переметные сумки с арбузами.

Они остановили нас и спросили, не видели ли мы девчонок с малыми детьми. Наш ответ обрадовал их, они свалили с плеч груз и хотели, по-видимому, спросить нас

еще о чем-то, но тут начался обстрел: мины довольно кучно падали в кукурузе и с каждым выстрелом ложились все ближе и ближе к дороге. Женщины подхватили сумки и ведра и поспешили к городу...

...Крыжановка. Из густых садов торчат лишь крыши. Никаких признаков, что тут размещен штаб полка. Никаких признаков войны. Яблони гнутся от спелых плодов. Небо знойно-синее. С моря прохладный «морячок» тянет.

Тишина.

Молчат пушки и минометы.

Время адмиральского часа — у войны обеденный перерыв.

Во дворе дома, в который завернул пикапчик, у коновязи лошадь, запряженная в бестарку, жует сено. Из бестарки торчит дуло карабина. Около лошади, в тенечке, на опрокинутом вверх дном ведре, краснофлотец в выгоревшей летней форменке. У него на коленях алюминиевая миска, полная макарон. Губы и остренькие черные усики лоснятся от масла. Неленивая ложка шустро лазает в миску.

Он по-приятельски помахал нашему шоферу.

Лошадь беспокоят мухи. Она стучит ногами, сечет себя хвостом и даже трясет упряжью. Краснофлотец время от времени покрикивает на нее: «Дробь!» Лошадь, по-видимому, уже освоилась с морским жаргоном — успокаивается после окрика, но ненадолго.

Двор, куда мы завернули, относится к приземистой, просторной мазанке с маленькими, затянутыми чертежной калькой окнами и толстыми стенами.

Мазанка исклевана то ли минами, то ли снарядными осколками, но стоит как бастион.

Дома с толстыми стенами строятся здесь для спасения от летней жары и свирепых зимних ветров.

Полевые штабы свободны от строгого регламента и комфорта — мы застаем полковника и двух армейских лейтенантов в просторной горнице за простым, сбитым из теса столом, накрытым как будто не для обеда, а для натюрморта: синий эмалированный чайник, миски с красными помидорами, миска с виноградом и тарелка с крупно, по-сельски нарезанным хлебом.

Увидев Осипова, я немного разочаровался тем несоответствием, которое возникло в моем уме из сопоставле-

ния слышанного и личного впечатления,— ничего героического в его внешности не было.

Сухой, выше среднего роста, в летней армейской форме, с четырьмя шпалами на отложном воротничке гимнастерки — полковник как полковник!

Даже ходит, как сухопутный, не вразвалку — прямо и легко. И нет той солидности, какая, например, у контр-адмирала, командующего Одесским оборонительным районом, Гавриила Васильевича Жукова или у бригадного комиссара Ильи Ильича Азарова.

Поглядишь на них и сразу скажешь — моряки!

Осипов, несмотря на то что ему уже под пятьдесят, командирский ремень затягивает, как двадцатилетний лейтенант.

Чем больше я гляжу на него, тем сильнее мне хочется найти сходство в его внешних чертах с его же биографией, которую я не только хорошо запомнил, но и, пожалуй, полюбил.

Осипов прощается с сидевшими за обеденным столом лейтенантами, перекидывается несколькими словами с инструктором политотдела, который привез меня, советует лейтенантам воспользоваться пикапом. Затем отдает распоряжение краснофлотцу, зашедшему убрать со стола грязную посуду, принести с камбуза обед для меня.

Все это происходит настолько стремительно, что я не успеваю заметить, когда все вышли из горницы. Лишь по звуку автомобильного мотора догадываюсь, что пикап с инструктором политотдела и лейтенантами пошел в Одессу.

Осипов предлагает папиросу. Я закуриваю, и тут начинается обстрел Крыжановки.

От близкого разрыва мин в окнах хлопала калька, натянутая вместо вышибленных стекол. Некоторые разрывы были совсем близко — прямо под стенами хаты. Я воспринимал их с большим напряжением. Мне было хорошо известно, что Осипов пришел в полк взамен первого командира, о котором говорили, что он великолепный командир, но «кланяется» вражеским пулям. Осипов никогда не кланялся: ни в семнадцатом, ни в двадцатых годах на Волге, ни в кровавых битвах с белыми на Кавказе и в Крыму.

Мне было страшно не столько от близких разрывов, сколько от возможности уронить себя в глазах полковника.

Я понимал, что если чем-нибудь выдам свой страх, то после этого работать в полку будет очень трудно.

...Имя полковника Якова Ивановича Осипова не сходит со страниц газет, но он не газетный герой. В Одессе еще до выезда в полк я постарался побольше узнать, что из себя представляет полковник Осипов. Прочитав его послужной список, я невольно подумал, как бесплодны все наши споры о положительном герое. Уж очень мы умствуем и чем больше занимаемся гимнастикой ума, тем дальше отрываемся от облика истинного героя. Истинного, а не идеального, потому что идеального нет и не может быть. А истинный часто находится рядом.

Описание жизни полковника Осипова могло бы встать на книжные полки наших библиотек толстенным романом.

В этом многостраничном сочинении едва ли не большую часть заняли бы страницы военной одиссеи — куда только не кидала судьба полковника!

В июле 1917 года, когда в Петрограде возникла опасность заговора против революции, Осипов вошел в десятитысячный отряд балтийских моряков, которые сразу же после митинга на Якорной площади Кронштадта погрузились на баржи и, буксируемые пароходами, отбыли в Питер.

Революционные моряки Балтики высадились у Горного института, прошли по набережной мимо фондовой биржи, далее через Невку на Петроградскую сторону, ко дворцу Кшесинской.

Десятитысячный отряд приблизился к штабу партии, как прибойная волна, и стих лишь после того, как на балконе дворца появился Ленин.

Площадь перед дворцом Кшесинской стала для революционных моряков Балтики тем причалом, от которого они, напутствуемые Лениным, отправились в дальнее плавание.

В этом «плавании» матрос с крейсера «Рюрик» командовал отрядами революционных моряков, стрелял из пушек, вел смелые разведки под носом у белых, а порой

и прямо в их стане, рубил шашкой в лихих кавалерийских атаках.

Выдающейся по дерзости и презрению к опасности была операция моряков и солдат под поселком Ганюшкино — опорным пунктом белых уральских казаков, осадивших Астрахань.

После Астрахани Кавказ и Крым.

Четыре года в боях. Последний был под Перекопом в 1921 году. И затем Яков Осипов едет во Владивосток. Девять лет прожил на берегах Золотого Рога, потом был переведен в Хабаровск на должность коменданта гарнизона базы Амурской военной флотилии. В 1939 году командование Военно-Морских Сил переводит его в Мурманск. В 1940 году он переезжает в Одессу на должность командира военного порта.

Перед вступлением в должность полагается представиться начальству, под руководством которого предстоит продолжать службу. Осипов вошел в кабинет командира Одесской Военно-морской базы контр-адмирала Гавриила Васильевича Жукова, как до этого входил в другие кабинеты начальников.

Контр-адмирал выслушал рапорт Осипова и предложил сесть. Вынул тетрадь из ящика письменного стола, не спеша, с легкой одышкой задвинул ящик обратно, задал несколько стандартных вопросов о прошлой службе, тщательно записал, спрятал тетрадь и, подняв крупную голову, чуть сощурив глаза, сдерживая вот-вот готовую сорваться улыбку, глянул на Осипова.

Ему было знакомо строгое лицо вновь прибывшего, с глубоко насеченными преждевременными морщинами и горьковатыми складками в углах упрямого, властного рта.

Его поразил взгляд, тяжелый и несколько скорбный, упрямый подбородок, бугристые, суровые брови и легкая, не сразу заметная седина.

Осипов глядел на круглое лицо контр-адмирала, на борцовскую шею, на плотного литья широкие, полные плечи и морщился, словно бы вспоминая что-то.

Рассказывая мне об этом, контр-адмирал Жуков улыбался, качал крупной головой и сквозь неудержимый смех говорил:

— Сидим так минуту-другую, молчим, словно на пари — кто-кого перемолчит. Вижу, что он, чертяка, не заговорит первым, ладно, думаю,— я ведь хозяин. «Яшка,

говорю, а ты все такой же: ни черта тебя время не тронуло, такой же ершистый и колючий!..» А он мне в ответ: «Признал, товарищ адмирал?» «Признал»,— говорю и встаю из-за стола. Встал и он. Обнялись. Двадцать один год не виделись!.. После гибели под Верхним Услоном «Ташкента» и «Дельфина» оба попали во взвод конной разведки: Яшка командиром, а я рядовым бойцом... Много воды утекло... Теперь он под мою команду прибыл... Почему сразу не признался? Проверял, не забурел ли я на большой должности...

В Одессу Осипов приехал из-за постигшего его семью большого несчастья — ослепла жена. Здесь творил чудеса знаменитый офтальмолог профессор Филатов. С надеждой на искусство профессора-глазника он и упросил командование перевести его сюда из Мурманска, хотя душой тянулся на Балтику, где начиналась его морская служба — сначала в минно-машинной школе, а затем и на крейсере «Рюрик».

Такова схема жизни Осипова. А каков же он сам?

Когда я ехал сюда, в уме возникали образы моряков революции: Маркина, Дыбенко, Железнякова, Душенова.

Похож ли он на них? Ведь он тоже моряк Октябрьской революции и соратник Кирова.

А может быть, он лавреневский Годун или треневский Швандя?

...Вошел краснофлотец с горячим флотским борщом и жареным мясом. Осипов спросил, пью ли я вино. Я чуть не сказал: «Его же и монаси приемлют»,— но вовремя одумался и просто кивнул.

Полковник наклонил носик синего чайника над эмалированной кружкой. Красное, чуть мутноватое вино пилось легко, и, признаюсь, мне стало хорошо и просто после того, как вино из эмалированной кружки перекочевало в мой желудок.

Как известно, на передовой дороги не асфальтируются, но зато регулярно обстреливаются. Здесь шофером может быть лишь артист своего дела. Таким и был Петя Широков, шофер полковника.

Только мы выехали со двора, начался минометный обстрел: противник никогда не пропускает выезда полков-

ника в батальоны. Широков обернулся и, молча глядя на полковника, спросил, куда ехать.

— К соловью-разбойнику! — сказал Осипов.

— Через обстрел? — спросил Широков.

— А ты знаешь другую дорогу?

— Нет!

— Так чего спрашиваешь?

Шофер дал газ, и старый шарабан, который его водитель ласково называл «эмочкой», трясясь и завывая, поднимая тяжелую коричневую пыль, понесся с такой энергией, будто под колесами была не пашня, а автострада.

Мы ехали то по жнивью, то по пахоте, порой заваливаясь набок, подпрыгивая на взгорках. Казалось, что эта бешеная езда никогда не кончится.

Над головой голубое, чистое и глубокое небо.

Справа от пыльного, заросшего проселка — теплое, синее море, сады пестрые, сверкающие, как бухарское сюзане.

Сколько же цветов и красок природа дарит Югу!

Янтарь кукурузным початкам, лилово-коричневый лак «синеньким» — так здесь называют баклажаны, кармин — помидорам и литое золото с белой тонкой насечкой — коже медовых дынь...

А как сверкают на делянках среди подсохших плетей арбузы!

Все это богатство давно налилось соками, выспело и томится, изнывает, как невыдоенная корова, а убирать урожай — некому.

Лишь на зорях, когда нет перестрелки, пробираются на баштаны с мешками матросы, смельчаки-пластуны. Набьют мешки плодами, затем навяжут у мешков на уголках уши, прихватят их тонкими и прочными корабельными линьками и с быстротой молнии змеиным ходом — в балочку либо за лесную посадку, а то и в кукурузу и оттуда тянут некупленный товар.

Иногда противник открывает по добытчикам беглый огонь чуть ли не изо всех родов оружия.

Бывает, что противник и сам соблазнится сочными арбузами да сладкими дынями. Хитро лезет, да находятся и похитрее... но об этом рассказ впереди.

Полковник Осипов приказал шоферу проскочить обстреливаемую полосу и завернуть в батальон майора Жука — он занимал позицию у железнодорожной ветки на Вознесенск.

Мы не проехали, а буквально пронеслись через простреливаемое место. Вот что значит содержать мотор и ходовую часть в идеальном состоянии. Правда, внешний вид машины был ужасен. В мирное время шофер получил бы за это «фитиль», а теперь его хвалили за то, что машина полковника была отлично закамуфлирована, то есть вымазана лиманной грязью. К тому же правая сторона переднего ветрового стекла была вся в трещинах, как молодой лед после удара каблуком,— мина разорвалась поблизости. Сажая меня на переднее сиденье, Осипов заметил, что я замешкался.

— Чего смотришь?.. Садись,— сказал он,— третьего дня на этом месте комиссара убило. Подряд это не бывает... Садись!

Я свободно вздохнул лишь тогда, когда машина подлетела к кукурузной посадке.

ЛОЖКА

Навстречу шли трое во главе с командиром батальона майором Жуком.

— Вот, соловей-разбойник, привез тебе московского гостя. Покажи ему своих героев.

— Пожалуйста,— сказал майор Жук,— у нас в общем-то все герои.

— Не хвались,— остановил его полковник,— пусть другие похвалят. Пойдем посмотрим, что тут у вас делается.

Над нами пролетела мина и невдалеке разорвалась. Я пригнулся.

— Этой,— сказал Осипов,— кланяться не надо, это транзитная. А вот когда перед тобой упадет — берегись: у нее все осколки вперед летят.— Заметив мое смущение, он добавил: — Не смущайся: на войне не все от храбрости, больше от привычки и опыта. Плохо, что ты во флотском обмундировании — снайперы могут на мушку поймать.

Моряки занимали позицию у насыпи Вознесенской ветки железной дороги. Каждый метр тут был пристрелян румынами: дурные пули то и дело перелетали через насыпь. Встать невозможно. Командир отделения решил показать нам, как тут все выглядит на деле: насунул кас-

ку на штык и приподнял над собой — она тут же была прострелена.

В батальоне заканчивался обед. Многие уже курили, просматривая газеты, а один из бойцов, неловкий с виду, задержался. Он как-то смешно таскал из котелка макароны двумя пальцами правой руки.

Осипов, разговаривая с комбатом, одним глазом смотрел на майора Жука, а другой держал на его хозяйстве.

— Подожди, комбат! — вдруг сказал полковник.— Пойдем-ка вон туда.

Боец при виде полковника не растерялся, продолжал цеплять пальцами макароны. Они выскальзывали, словно живые,— уж очень щедро были намаслены. Он придавливал их и таскал из котелка.

— Хороший обед? — спросил Осипов.

— Ага,— ответил боец.

— А где ложка?

— Потерял где-то... За обмотку сунул, а как раз в разведку пошел, обмотка на правой ноге возьми да и развяжись! Снял я ее, а про ложку-то, что она там за обмоткой была, забыл...

— А винтовка где?

— Чья?

— Твоя, чья же еще!

— А винтовка вот, рядом.

— Если ложку потерял, то и винтовку также можно где-нибудь оставить,— начал сердиться полковник.— Нука, покажи винтовку!

Полковник хмуро глянул на комбата, сказал:

— Ты что же, соловей-разбойник, не знал, что у тебя бойцы лаптями щи хлебают?

— Это вы напрасно,— сказал боец,— про винтовку-то: с ложкой все могет быть, а винтовка на передовой — опора.

— А вот я сейчас посмотрю, как ты эту опору-то содержишь!

Полковник откинул затвор, вынул обойму и глянул в ствол. Суровое лицо его, только что сильно исполосованное морщинами, вдруг разгладилось.

— Молодец,— похвалил он,— винтовку содержишь хорошо! Откуда сам, с корабля или с береговой какой части? Матрос или...

— Не-е,— сказал боец,— я не матрос и не из берего-

вой, я с госпиталя пришел. А до госпиталя в хозкоманде ездовым был.

— Как с моряками, ладишь?

— А почему ж не ладить? Дело у нас одно.

— Сам откуда?

— Я издалека. Есть такое село Пичаево, на Тамбовщине. Вон откуда я очутился тут.

— Ладно, пичаевский.— Боец, несмотря на свою внешнюю неуклюжесть, чем-то нравился полковнику, и он спросил, нет ли у него каких претензий или просьб.

— Есть, товарищ полковник.

— Говори!

— Позавчера ходили мы в разведку. Взяли «языка». Идем обратно. Пить захотелось до смерти, а во фляжках ни синь-пороха. Рассвет начинался. Глядим — арбузы. Мы туда, а там фашисты сидят, арбузы трескают. Пошел промеж нас спор: я говорю — вдарим, а Бутенко — ни-ни: ежели, говорит, вдарим, завяжется бой, «языка» потеряем. Тут «язык» наш как заорет, хотел я образумить его, да обошелся неловко — не дотащили мы его. Но я не об этом, товарищ полковник, а вот об чем — нельзя ли у той бахчи, куда за арбузами фашисты ходют, засаду устроить?

— Засаду?

— Ну да! Пойти туда скрытно, ну когда чуть-чуть видно, арбузов насбирать и в бурт сложить... И сразу же с бахчи долой! Рассвенет, фашисты увидят арбузы-то, соблазнятся... Сразу их, понятно, трогать не надо: пусть маленько оборкаются. Ну, дня два, скажем... Решат они, что бояться нас нечего, и, когда соберутся большим кагалом, тут в самый раз и ударить по ним. Да так, чтобы дым пошел! Вот какая у меня просьба, товарищ полковник!

— Хорошая просьба,— сказал полковник.— Обдумаем. Спасибо.

Вернувшись на КП батальона, Осипов сказал Жуку:

— Боец-то с виду разгильдяй, а котелок у него дай бог каждому командиру! Надо тщательно продумать эту операцию.

И она была продумана. Наблюдение в течение двух дней подтвердило то, о чем говорил боец: фашисты на



зорях, чаще всего под прикрытием огня, стали ходить на бахчи.

Майор Жук выдвинул засаду. Тщательно замаскировал подход к бахче и сообщил Осипову, что у него все готово. Осипов прибыл в батальон Жука, которого он прозвал «соловьем-разбойником» за то, что майор носил боцманскую дудку и пользовался ею как сигналом.

Настал момент, когда со стороны противника полетели мины и короткие очереди из пулеметов, и тут же двинулись охотники за арбузами.

На бахчи пришло человек десять, и Жук уже хотел было дать знать засаде, но полковник остановил его:

— Подожди, комбат! Сейчас их десяток. Дай им полакомиться и урожай собрать. Наверняка другие придут. Смотри, вон уже некоторые начали сбор. В кучи сносят.

Прошло немного времени, солдаты противника, не очень оберегаясь, захватив по арбузу, покинули бахчи.

— Ушли, товарищ полковник,— с сожалением сказал майор Жук.

— Ничего,— отмахнулся полковник,— другие придут!

Прошло минут десять, а на бахчи никто не появлялся. Майор Жук тяжело вздыхал.

— Ты чего, майор, вздыхаешь,— спросил полковник.— Береги нервы, они скоро тебе...

Не успел полковник закончить, как на бахчах появились снова фашистские солдаты.

— Гляди, майор! — крикнул полковник.— Ну, теперь не зевать!

Около сотни солдат быстро располагались на бахчах, окапываясь и маскируясь. Среди них были, видимо, те, кто не первый раз приходил сюда,— эти небрежно относились к окапыванию, почти в открытую ходили, выбирая покрупнее и поспелее арбузы.

Вскоре, отложив оружие, фашисты принялись за еду.

Наконец наступил час, когда больше выжидать было нельзя, и полковник приказал:

— Пора!

Бой был похож на ураган. Так иногда бывает жарким летним днем — в поле стоит тишина, почти мертвая; сильно греет солнце, и едва заметный, застенчивый ветерок не пробуждает даже шепота в природе, и вдруг взвивается ураган: откуда-то возникает, подобно вулканическому извержению, вихревой ветер, тишина мгновенно умирает, все начинает реветь, гудеть, и кажется, даже сама земля содрогается. Вот так и возник этот бой: моряки внезапно ударили с двух сторон по расположившимся, как у себя дома, неприятельским солдатам, с жадностью поглощавшим спелые, сахарные арбузы причерноморских колхозников.

Больше половины их легло среди разбросанных ими же арбузных корок, а остальные подняли руки вверх. Их еще заставили собрать оружие и арбузы и все это доставить в лагерь победителей.

Полковник поблагодарил всех, а тому бойцу, который «лаптем щи хлебал», вручил... ложку.

ДЕЗЕРТИР

Полковник долго шел вдоль посадки, а когда увидел просвет меж кустами, остановился, вскинул бинокль к глазам, долго смотрел в сторону неприятельских позиций и передал бинокль мне:

— Смотри, корреспондент, вон она, фашистская сволочь!.. Ну, что?

Я сказал, что вижу кукурузу, невысокие холмики, балочки.

— Так! А больше ничего не видишь?

Я сознался, что больше ничего не вижу.

— А ты смотри лучше. Смотри внимательней! И запоминай! Писать сядешь, пригодится. И потом спросят тебя: ты, мол, у Осипова был, а что видел? Против его полка две дивизии стояли, а ты хоть одного фашиста видел?.. Ну как?

Я ответил, что противника не вижу, но замечаю, откуда стреляют.

— Это верно... Они хорошо замаскировались... Конечно, по-настоящему врага можно увидеть в рукопашной или в атаке. А так он зря котелок не выставит. Ну да мы сейчас его подымем!.. Жук! Дай-ка вон по той высотке, там, по-моему, у них пулемет стоит.

Комбат распорядился. За посадку, подымая легкую пыль, с «максимом» выползли три наших пулеметчика, метрах в пятидесяти от нас они забрались в траншею, установили пулемет. Замаскировали его ветками. Жук подал знак. Они короткой, резкой очередью ударили по тому месту, где у противника стоял пулемет. Последовал ответ, и тут же по блеску ответного огня пошла длинная очередь «максима». Фашисты всполошились: кто-то встал, но упал или лег — разобрать трудно. Пулемет после короткой очереди захлебнулся.

Я хорошо видел людей. Видел даже, как падал убитый, схватившись за грудь.

— Видал? — спросил полковник.

Я кивнул.

К нам подошел высокий моряк в бушлате без знаков различия, с автоматом на груди, гранатами на поясе и с полевой сумкой в руках.

— Вот,— сказал полковник,— мы искали комиссара, а он сам явился. Ну как, комиссар? Порядок, говоришь?

А у меня новости — получены данные, к противнику пришло пополнение и танки. Готовятся к наступлению.

Пополнение и танки — вздохнул полковник,— а нам ни одного бойца не дают. А про танки и думать нечего! Да и где их взять? — Он повернулся ко мне: — Вот ты, политрук, из самой Москвы к нам за боевым опытом приехал, а что бы с собой штук пять танков прихватить! Дали б мы им тут жару! А сейчас они жмут нас... Сильно жмут, корреспондент!.. Энтузиазма, готовности умереть у моряков и армейцев хоть отбавляй, а танков, танков и еще раз танков, черт возьми, нет!.. Дали б нам пять-шесть танков, мы б фашистов в лиманах топили. Но что поделать, нету танков — фронт вон какой!.. У тебя есть еще дела здесь?

Митраков покачал головой.

— Тогда поехали в нашу деревню. Там поговорим.

Волоча за собой огромный шлейф пыли, мы под минометным обстрелом влетели в Крыжановку.

Проходя двором, полковник увидел часового у погреба.

— Что случилось? Почему часовой?

— Задержан дезертир.

Полковник приказал открыть погреб и выпустить задержанного.

Из проема дверей, щурясь на солнечный яркий свет, вышел босой, без пилотки, без поясного ремня, небритый, осунувшийся, со спутанными в запекшейся крови русыми волосами солдат.

— Как зовут тебя? — спросил Осипов.

— Волков... Иван.

— Иван...— задумчиво произнес полковник,— имя хорошее, русское... А чего же позицию бросил?

— Никак нет, товарищ полковник, позицию мы не бросали.

— А кто же ее бросил? Может быть, я?

— Разрешите объясниться, товарищ полковник?

— Давай объясняйся, да не ври. Ты знаешь, что за дезертирство полагается?.. Я ж расстрелять тебя должен. Понял?

— Понял,— сказал солдат,— окажите милость, дайте закурить.— Закурив, он начал так: — Пантелеев, Жупахин и я были в наряде у лимана, там, где ихние развед-

чики к нам пытались прорваться еще третьего дня. Скоро нас сменять должны были, как началась стрельба. Столько он мин в нашем месте положил — страсть! Но мы целы были все. Вылезли подышать воздухом — уж больно много пыли в траншее, ну дышать нечем! — а он опять пошел класть. В этот раз мина около нас разорвалась. Пантелеева насмерть осколком в голову, а Жупахина сильно ранило. Я остался целый. Перевязал я Жупахина, выглянул посмотреть, что делается, и вижу — ползут в нашу сторону шестеро или семеро. Кинул я гранату, а она не взорвалась. Взял винтовку. Одного убил, другого ранил. А те ползут. Прицеливаюсь и слышу, будто шум сзади какой-то. Стреляю и сразу же оборачиваюсь. Трое фашистов, оказывается, зашли в тыл. Орут: «Русс, плен!» Я успел одного прикладом, а в это время и меня самого чем-то ударили, в голове помутилось, в глазах темно стало.

Очнулся... Лежу... Голова в кровище... Слышу, кто-то лопочет. Они! Больно мне, терпежа нет. Но я держусь... Подошел один из них и ногой в грудь ударил. Как я сдержался, не знаю. Скоро потерял сознание. Когда опять очнулся, их уже не было... Как я встал с земли, как разыскал винтовку свою да как падал много разов — долго рассказывать. Во мне жила мысля одна — не упасть насовсем, дойти к своим. Долго шел. На землю боялся опуститься, думаю: а ну как не встану! Добьют меня фашисты или — чего хуже — в плен потащат.

Уже стал выходить из кукурузы, тут и встрел этого старшину новенького. Я хотел доложить, как все было,— слухать не стал, в погреб запер.

Он кончил и с усилием облизывал пересохшие, запекшиеся губы.

— Принести воды! — приказал полковник.— И верните ему все, что отобрали! И винтовку! А ты, товарищ Волков, как приведешь себя в порядок, зайди ко мне.

— Спасибо, товарищ полковник! Непременно буду у вас.

Когда мы отошли, Осипов сказал Митракову:

— Комиссар, ты бы вразумил этого старшину по партийной линии: парень он трезвый, а мозги у него пьяные. Сделай, пожалуйста. А я ему по строевой разъясню.

ХОД ДВУХ КОНЕЙ

На войне бывает так: против полка морской пехоты две стрелковых дивизии, против батальона этого же полка — два вражеских полка.

Как воевать в таких условиях? Можно, конечно, сослаться на общеизвестный афоризм Суворова — «воевать не числом, а умением». В конечном счете моряки так и делают. Но ведь не только умением или, вернее, не всегда одним умением, порой нужно опрокинуться на противника чёрной тучей, хлынуть ливнем. И гнать, гнать, сколько можно.

И моряки так и воюют под Одессой.

Газеты склоняют имя Сашки Нечипуренко. Это разведчик полка морской пехоты. Он начал с того, что ему, Алексею Подковке и Михаилу Колодину было дано задание подавить минометную фашистскую батарею, которая вела беспокоящий огонь, не давала, как говорится, житья.

Они отлично выполнили задание: подкрались к батарее и гранатами ликвидировали расчеты и минометы.

Журналисты уже успели ввести Нечипуренко в легенду: его называют современным Петром Кошкой — знаменитым лазутчиком первой обороны Севастополя, который наводил страх на неприятеля неожиданными и дерзкими налетами. Кошка смело вторгался в расположение неприятеля, крал «языка» и восвояси.

Кошка был силач, говорят, что он легко один поднимал пушечные стволы, подбрасывал кверху пушечные ядра и ловил их либо на вытянутые руки, либо на шею.

Нечипуренко не богатырь, но и не слабак: под гимнастеркой заметны хорошо натренированные мышцы. Парень веселый, как говорят, «заводной».

После удачной операции против минометной батареи Нечипуренко, Колодин и Подковка стали корректировщиками, а потом и разведчиками. Дали им позывной — «кобчик».

Не всегда они ходили в разведку втроем. Случалось, Нечипуренко ходил один.

Однажды подкрался Нечипуренко к позициям противника и видит: на поле, недалеко от посадок, совершенно беззаботно на новой позиции расквартировывается фашистская батарея.

Артиллеристы возятся около потных, умученных оводом лошадей. Кони мотают головами, секут себя хвоста-

ми и нервно переступают ногами, пытаясь стряхнуть впившихся насекомых.

Коноводы покрикивают на них. Слова, которые они произносят, не похожи на «стой». Тем не менее лошади слушаются, и Нечипуренко чудно, как это лошади понимают румынский язык.

Хотя разведчик лежал и, стало быть, никакой энергии не тратил, но ему было тяжко от жары, от вертевшихся над ним слепней.

Коноводы выпрягли пару и свели ее в тень под посадку и там привязали, а орудийная прислуга занялась оборудованием артиллерийского дворика.

Прошло немного времени, коноводы вернулись, чтобы выпрячь вторую пару лошадей. Они только прикоснулись к постромкам, как Нечипуренко вскочил, вскинул пистолет и пронзительно крикнул: «За мно-о-ой!»

Вся прислуга батареи кинулась врассыпную. Нечипуренко прицепил к пушке снарядный ящик с боеприпасом, вскочил на лошадь и айда к своим.

Пушка, пара лошадей, ящик с боеприпасом.

В полку ахнули: не чудо ли перед ними?

— Откуда пушку взял, «кобчик»?

— Фашисты подарили.— Он улыбается и просит закурить.

Через несколько дней опять в поиск.

Нечипуренко подкрался к посадке и решил немного отдохнуть. Вынул платок лицо и шею обтереть, а из-за посадки фашистский унтер:

— Русс! Сдавайся!

Унтер был жидковат, и, не стой за его спиной одиннадцать солдат, Нечипуренко сбил бы фашиста с ног.

Но что же теперь делать? Неужели «кобчику» пришел конец?

Нечипуренко поднял руки вверх. Левая у него была чистой, а в правой он сжимал гранату, ту самую, которая лежала рядом с ним, когда он присаживался, чтобы вытереть вспотевшее лицо и шею. У него был закон — граната всегда рядом!

Самоуверенность подвела унтера — он рассчитывал на то, что русского парализует присутствие одиннадцати солдат, не вынул пистолета из кобуры. Меж тем «кобчик», вскинув руки вверх, тут же с быстротой молнии швырнул гранату под ноги унтеру, а сам плашмя на землю.

Взрыв. Унтер и стоявший ближе всех к нему солдат рухнули наземь. Выхватив из-за пояса вторую гранату, Нечипуренко не успел крикнуть солдатам «руки вверх!», как они сами подняли их, побросав оружие.

Он заставил собрать оружие, увязать его в пакеты и, построившись цепочкой, идти вперед.

В подвиге, так же как и в творчестве ученого, художника, артиста, возникает момент, который рождается озарением. Да, только озарением человек может в теснейший по времени момент найти самое правильное и единственное решение, предугадывая исход поединка.

Только высшим напряжением умственных сил можно в краткий, как вспышка молнии, миг рассчитать, в какой момент бросить гранату, куда упасть, чтобы не быть задетым осколками, то есть найти «мертвое пространство».

Подвиг не карточный выигрыш и не счастливый билет в лотерее, подвиг — творчество, работа ума, воли и силы.

Когда стало известно о втором подвиге Нечипуренко — о пленении десяти солдат противника, в полк примчались корреспонденты. Выполняя свой долг, они атаковали разведчика вопросами. Он застенчиво краснел и, улыбаясь, пожимал плечами.

— Как я действую? — переспрашивал он.— Ну прежде всего надо идти тыхесенько. Так, шоб самому себя не было слышно. О так.— Он показывал руками кошачий шаг и тут же говорил: — Ясно? А когда пидойдешь до врага — не зевай!

— Что значит «не зевай»? — спрашивали корреспонденты.

— А то, шо действовать надо согласно сложившейся обстановке и боевого устава.

Корреспонденты искусно строили свои вопросы, так сказать «с наводкой», он лишь улыбался и, пожимая плечами, говорил:

— Та я ж все сказал!

Он действительно все сказал. Для него все было просто — незаметно дошел до линии окопов врага, выследил и в подходящий момент сделал, что нужно было сделать, а что касается до того, как билось у него сердце, как он затаивал дыхание и слышал шум собственной крови в ушах, терпел, когда его кусали слепни, становился почти плоским, чтобы проползти меж двух высокоствольных

кукурузин, и они не шевельнулись, не выдали его, и то, что от волнения у него першило в горле, потели ладони, что ему до смерти хотелось пить, но он откладывал удовлетворение этого желания до более подходящего случая,— все это ни к чему. Ну зачем, скажем, рассказывать, что у разведчика слух настолько тонок, что он слышит, как пересыпается песок!

В описании подвигов мы, литераторы, довольно быстро пошли на поводу у потребителей штампов: мы открыли «фашистских стервятников», хотя это и нелепо по смыслу, мы создали «юркого виллиса»...

Штамп необходим в производстве деталей машин, но смертельно вреден в искусстве и, смею думать, в разведке.

Нечипуренко оригинален в своей чрезвычайного риска службе, оригинален и талантлив, и поэтому весь полк был рад, когда в газетах появился указ о награждении его орденом Ленина. Орден Ленина в начале войны!

СЧИТАЙТЕ МЕНЯ КОММУНИСТОМ!..

Еще в Москве мне советовали внимательно изучить опыт политической работы в осиповском полку.

Политработа среди воинов Красной Армии всегда была живым и очень оперативным делом. Однако за два с лишним десятилетия существования новой армии появились штампы в тех частях, где к делу относятся казенно, отчетно: столько-то провели, столько-то вовлекли и т. д.

На мой вопрос, что он считает основным в политработе в боевых условиях, Митраков не сразу ответил, а задумался, прищурил глаза, под которыми в коже синими точечками сидела угольная пыль,— комиссар происходил из шахтеров и до военной службы сам был шахтером,— неожиданно сказал:

— Главное в политработе на данном этапе — бить врага!

Мы сидим у его письменного стола, в штабе полка. Он не любит ни письменного стола, ни рассказов о политработе: для него она вся вне канцелярии, среди людей, в ячейке окопа, в траншее, на позиции.

Политорганы жалуются на него: он неаккуратен в отчетах, у него слишком много импровизаций в работе.

Я смотрю на Митракова, на его большой лоб, на ши-

рокие плечи, на крупные руки, которые некрепко держат перо, но зато отлично автомат или гранату.

Митраков не первый год политработник и не первый год — враг всякой казенщины в этом живом деле. Ему тридцать семь лет, он кадровый военный: служил три года в действительной, а все остальное время на политической работе в артиллерийских частях флота.

Он прибыл в полк восьмого августа и на следующий день в бой. Помощников — никого. Парторганизации — нет. Штаб — в окопах.

Все пришлось создавать вновь, то есть сначала парторганизацию, а затем и всю сеть политработы — боевые активы коммунистов в каждой роте, агитаторов, боевые листки, соцсоревнование по изучению и сбережению личного оружия, а главное — воспитывать в коммунистах примерную стойкость, презрение к смерти и заразительную отвагу. Он так и сказал — «заразительную отвагу».

Все это, конечно, невозможно воспитать словами, а только примером. А что значит примером? Это значит, что сам комиссар во время боя в самых сложных и трудных местах. Комиссар должен быстро ввести в строй пулемет, показать, как лучше метнуть гранату... да все, с чем может столкнуться воин на передовой.

Митраков стал снайпером. Митраков разбирал и собирал любой системы пулемет и устранял все задержки. Митраков отлично метал гранаты, стрелял из пушки, управлял машиной, умел перевязать раненого и воодушевить на подвиг.

Что это, импровизация? Или настоящая партийная работа?

Комиссар полка приводит в порядок бумаги, накопившиеся за то время, пока он был в батальонах.

Бережно раскладывает разного формата листочки. Это заявления моряков, оставленные перед уходом в бой. Текст их стал уже классическим: «Ухожу в бой. Буду драться с врагом до последней капл.. крови. Если погибну, прошу считать меня коммунистом!..»

Пятьдесят шесть заявлений! Пятьдесят шесть человек хотят стать коммунистами!

Он показывает мне эти листочки и говорит, что для него они — священные реликвии. И я хорошо понимаю его. Да, это документы доверия к партии и к нему, ее представителю в армии.

В полку большие потери. Ряды моряков редеют, а люди рвутся в бой, командирам и политработникам приходится их сдерживать. Вот какова она, сила живой, доходящей до каждого бойца политической работы.

Присматриваясь к комиссару полка морской пехоты, я не раз пытался понять, в чем сила его.

Кратко ответить на это нельзя. Но думаю, в том, что Митраков ведет работу не шаблонно, и в его естественном, житейском, не знаю, сколь допустим этот термин на войне, поведении.

Он естествен во всем. Ходит чуть согнувшись (без позы) — шахтерская привычка, в штреках не везде можно ходить во весь рост. Автомат носит на груди, как ребенка. В траншею или окоп спускается мягко. Контакт с людьми устанавливает с первого слова.

И еще немаловажное обстоятельство: хотя он уже двенадцать лет на партийной работе в частях флота, но все, что он делает, не выглядит заученно. Думаю, много значит то обстоятельство, что сам он был краснофлотцем. А самое главное — сумел правильно нащупать, что должно быть основным в политработе.

ТАНКИ

К Осипову прибыл капитан из оперативного отдела штаба ООР с важным сообщением. Полковник после разговора с капитаном пригласил нас к себе на обед. Кстати, это был последний обед — заканчивалось мое пребывание в полку — надо возвращаться в Одессу, а оттуда в Севастополь.

За обедом разговор сам собой свелся к положению здесь, на Восточном участке обороны. Осипов жаловался, что у него нет артиллерии: ну что это, две пушки на километр! А уж о танках и говорить нечего.

— Танки! Танки! — Он ходил по крохотной горнице, как лев в клетке.— Вот если бы ты, капитан, сказал нам, что сюда идут танки, ты стал бы самым дорогим человеком! Я бы возил тебя матросам показывать. Ты понимаешь, как нам нужны танки? — Он нацедил вина из чайника в кружку капитана.— Вином бы тебя поил за свой счет. Ты понимаешь, капитан, дальше нам пятиться — некуда! Так и передай там.

— И ты, корреспондент,— обратился он ко мне,— скажи в Одессе и в Севастополе, что с одними винтовками

мы тут много не навоюем! В Москву приедешь — скажи и там, что нам нужны танки!

С большой неохотой я уезжал из полка. И пока машина неслась к штабу ООР, в моих ушах все время стояли слова Осипова: «Танки! Танки!»

Никто тогда еще в полку не знал о том, что восемнадцатого сентября в Одесском порту начали высаживаться первые эшелоны 157-й стрелковой дивизии, а через два дня из Одессы в Севастополь отправился на «морском охотнике» капитан I ранга С. Н. Иванов для согласования планов штаба ООР по намечающемуся контрудару в Восточном секторе обороны и по высадке морского десанта в тылу у противника в районе Григорьевки. Эта операция, сложная и необычайно смелая, должна была освободить город от артиллерийского обстрела, особенно порт, единственную точку, связывающую осажденную Одессу с Большой землей.

Вместе со 157-й дивизией должны были прибыть гаубичный полк и батальон танков.

Поэтому, когда я впоследствии, выполняя настойчивую просьбу Осипова о танках, говорил с членом Военного совета Азаровым и начальником политотдела Бочаровым, они односложно отвечали мне: пусть полковник Осипов не волнуется — будут танки.

Операция под Григорьевкой, как известно, началась не совсем удачно, а закончилась великолепно, и полк морской пехоты, которым командовал Я. И. Осипов, вернулся на прежние позиции, туда, где начинал свою боевую деятельность.

Одесса была избавлена от разрушительных артиллерийских обстрелов.

...Наступило время отъезда. Искать оказию долго не пришлось: через несколько часов из порта отправлялся в Севастополь «морской охотник» с ответственным работником штаба ООР, и мне сказали, что я могу составить ему компанию.

Катер уже ждал нас, как только мы очутились на борту, тотчас же последовала традиционная команда: «По местам стоять! Со швартов сниматься!» Взревели мощные моторы, и катер отвалил.

Всякое путешествие, даже непродолжительное, невольно вызывает раздумье: начинаешь грустить о тех, с кем расстаешься, и думать о том, что тебя ждет впереди.

Мне было как-то особенно тяжело расставаться с Одессой — здесь я познакомился со столькими интересными людьми.

Когда «морской охотник», выйдя из порта, развил полный ход и Одесса начала постепенно уходить за горизонт, стало еще грустнее, и мне вспомнилось: «Всего, что было, уже не будет. Всего, что будет, еще нет». Эти слова принадлежат, кажется, Альфреду Мюссе. Я попытался утешить себя сентенцией о том, что надо помнить о прошедшем и терпеливо и смело ждать будущее.

Но это нимало не утишило ту боль, которая обосновалась в сердце, и, сидя на палубе, на разножке, я смотрел на чистое, почти индиговое море и думал о людях, оставшихся в Одессе, о Москве и, конечно, о том, что меня ждет в Севастополе.

До поездки на Юг, на действующий Черноморский флот, я, как и многие, считал, что война будет недолгой — к зиме все вернутся по домам.

Пребывание в гарнизоне осажденной Одессы раскрыло глаза на то, что до сих пор виделось как бы в радужной дымке: я понял, что война будет долгая и жестокая. Разумеется, я ни на минуту не сомневался в нашей победе, но заплатить придется за нее дорого!

Катер подходит к мысу Лукулл. Подходя к этому месту, моряки считают, что они уже дома. Правда, надо еще пройти через Стрелецкий рейд, затем через ворота бонового заграждения — вот тогда ты действительно дома. А мыс Лукулл — это всего лишь порог того дома, который зовется Севастополем. Но вот мы проходим все, кладем руль вправо и входим в Южную бухту.

Попрощавшись с экипажем, мы сходим на берег: мне в гостиницу, а работнику штаба ООР на Флагманский командный пункт — Фэкапэ — тут два шага.

В небе возникает знакомый гул немецких бомбардировщиков.

На кораблях раздаются беспокойные звуки колоколов громкого боя. Зычно и тревожно гудит Морской завод.

Где-то у внешнего рейда начинают стрелять зенитки... Очередной налет фашистской авиации на Главную базу Черноморского флота.

В городе уже нет той бросавшейся некогда в глаза

суеты: врага встречает не безопытный новичок, а старый солдат, сам товарищ Севастополь. Зенитный огонь разбивает строй, а затем пушкари искусно сбивают с курса и не дают фашистам бросать бомбы в черте города и, как говорят в сводках, у важных объектов.

Быстро, почти незаметно прошли выхлопотанные мною дополнительные две недели.

Телеграмма, обязывавшая возвращаться в Москву, была неожиданной.

После Одессы я стал уже привыкать к севастопольской жизни — тут, в Главной базе Черноморского флота, редкий день обходился без налета вражеской авиации, зато, как в фокусе, сосредоточивались все события и новости: отсюда уходили и сюда возвращались с позиций подводные лодки, сюда же спешили после выполнения задания миноносцы, крейсеры, тральщики и «морские охотники».

Сюда пришла еще в первых числах сентября, до нашего с Хамаданом отбытия в Одессу, Дунайская военная флотилия, и Севастополь первым узнал о подвигах дунайцев, об их трудном и невероятном переходе с Дуная в Главную базу флота.

Дунайцы с первого же часа своего появления привлекли внимание севастопольцев: они были черные от загара и оборваны, как цыгане из беднейшего табора; все их обмундирование было замызгано и выжарено на солнце почти до полной потери своего естественного цвета. На ногах у многих были сапоги с короткими голенищами, в которые заправлены брюки.

Впервые речные суда прошли морским путем довольно большое расстояние, и причем не просто прошли, но всюду дрались с противником.

Они остались без интендантских складов: не было у них ни обмундирования, ни продовольствия. Стремясь к Севастополю, они питались чем бог подаст. А бог, как известно, на войне — скуп.

«Живописный вид» дунайцев привлекал внимание «архангелов» комендатуры: война войной, но в Главной базе ходили «как положено».

С дунайцами прибыл и писатель Лазарь Лагин.

Я не представлял себе, что прощаюсь с Севастополем более чем на полгода, что через две недели севастополь-

цы выйдут за пределы крепости, чтобы грудью встретить ворвавшегося в Крым врага, что в битве за Главную базу многих не станет, а иные хоть и падут смертью, но мы навеки запомним их имена...

Прощание и отъезд из Севастополя в ночь на тринадцатое октября были тревожные: с Перекопа в Севастополь автомашины без устали доставляли раненых — там шли ожесточенные бои.

В конце сентября после десанта под Григорьевкой положение Одессы значительно улучшилось и укрепилось, а обстановка на Перекопском перешейке с каждым днем ухудшалась.

Еще в сентябре Крым был отрезан от страны 11-й гитлеровской и 3-й румынской армиями. Войска противника растеклись по Причерноморью и Ногайским степям, чуть ли не до самого Азовского моря. И еще тогда было ясно, что этим дело не кончится, что Гитлер оставлять Крым в тылу своем не будет, а наша армия и флот не смогут одновременно оборонять Одессу и Крым. К тому же из перехваченных документов было известно, что еще перед началом осады Одессы гитлеровский генштаб рассчитывал в случае быстрого захвата Одессы наладить через ее порт снабжение своих армий, но долгое топтание 4-й румынской армии у стен Одессы заставило гитлеровцев отказаться от этой идеи, возникла новая.

Новой идеей был охвачен сам фюрер — захват Крыма и продвижение на Ростов и Кавказ.

Как известно, Крым — это не пляжи Евпатории и Южного берега, а прежде всего — Севастополь, Главная база Черноморского флота и почти сплошные аэродромы в степной части. Оставлять в тылу своем Крым Гитлер ни за что не хотел. С Крымом нужно было быстрее, чем с Одессой, разделаться: Севастополь будут брать немцы, а не румыны. И для этой цели у Гитлера на примете был человек, которого в третьем рейхе называли:

«ЛУЧШАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГОЛОВА РЕЙХА»

Так называли генерала Эриха фон Манштейна, пруссака, потомственного военного, начавшего свою карьеру еще в 1907 году в чине младшего офицера и дослужившегося к концу первой мировой войны до должности начальника штаба дивизии.

В 1934 году Эрих фон Манштейн — начальник штаба округа, через три года он уже начальник Оперативного управления генерального штаба.

Хотя впоследствии в своей книге «Утерянные победы» он и будет оправдываться в том, что не имел отношения к разработке планов захвата Чехословакии, Польши и вторжения в Советский Союз, но его утверждение так и останется утверждением. Генерал Эрих фон Манштейн был соавтором многих военных планов германского генерального штаба, а план захвата Франции всецело принадлежит ему лично.

Английский премьер Уинстон Черчилль, имевший слабость к афористичному мышлению, назвал план Манштейна — по вторжению во Францию через Арденны — «ударом серпа».

Можно оспаривать точность этого сравнения, но план Эриха фон Манштейна был осуществлен — так сложилась обстановка во Франции,— осуществлен с триумфальным успехом и закончился невероятно унизительной для французского правительства процедурой подписания акта капитуляции 22 июня 1940 года.

Процедуре подписания этого акта предшествовала скрупулезная реставрация той обстановки, в которой 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу, в салон-вагоне маршала Фоша, кайзеровская Германия была поставлена союзниками на колени.

В каких только позах не стоял в тот день перед фотографами Гитлер!

Генерал Эрих фон Манштейн в разгроме Франции участвовал не только в качестве стратега, но и в качестве командующего 38-м армейским корпусом, с которым он проделал путь от Соммы до Луары через Абвиль — Амьен — Руан — Вернон — Нонакур — Ле-Ман...

С прибытием в Ле-Ман сердцем командующего 38-м армейским корпусом овладела сладостная щемота: семьдесят лет тому назад, то есть в 1870 году, сюда вошел в качестве победителя и его дед! Не судьба ли это?

Да, судьба! Только внук проделал путь от Соммы до Нижней Луары быстрее — за две недели!

Это было вдвойне торжество: во-первых, потому, что быстро, во-вторых, потому, что это результат его тактики; танки рвут линии обороны врага, окружают войска неприятеля, отсекают их, оставляют на съедение пехоте, а сами вперед! Только вперед! К стратегической цели!

Через восемь месяцев после разгрома Франции генерал Манштейн с сожалением покидал роскошную виллу недалеко от морского курорта Туке, расположенного на побережье пролива Па-де-Кале, вблизи Булони (Булонь-сюр-Мер),— он получил приказ сдать командование 38-м армейским корпусом и принять формирующийся в Германии 56-й танковый корпус, входивший в состав 4-й танковой армии генерал-полковника Геппнера.

Очень он сожалел, что приходится покидать Францию.

«Впрочем, каждый из нас более или менее был очарован этой благословенной страной. Сколько здесь памятников древней культуры, красивых ландшафтов и шедевров знаменитой кухни!

Сколько товаров было в этой богатой стране!» — напишет он потом, спустя пятнадцать лет.

Однако военное счастье и жизнь были к нему долго терпеливо-благосклонны, и, вступив в командование 56-м танковым корпусом, он прибыл для развертывания его в благодатнейшее время, в июне.

Июнь в Пруссии, особенно в ее восточной части, юность лета, благоухание цветов, прозрачность успокоившихся после половодий рек и благодатное тепло прогретой земли.

Это было шестнадцатого июня 1941 года. Штаб 56-го танкового корпуса был расквартирован в Инстербурге, а сам командующий с адъютантом обер-лейтенантом Шпехтом обосновались за городом на прелестной вилле главного врача инстербургской больницы Видвальда.

В часы, свободные от корпуса, генерал бродил по лесу, собирал грибы, рвал цветы и, застигнутый дождем, с наслаждением пил кофе у лесника, вспоминал о Франции, а думал о предстоящем движении на восток.

Его корпус, так же как и вся танковая армия, входил в состав группы войск «Север», которым командовал фельдмаршал фон Лееб. Этой группе по плану «Барбаросса» предназначалось вторгнуться в Прибалтику, уничтожить советские войска и осадить и взять Ленинград.

Корпус генерала Манштейна должен был начать движение из лесов севернее Клайпеды и восточнее Тильзита прямо на восток и стремительным маршем танковых моторов оседлать шоссе на Даугавпилс.

Перед вторжением на советскую землю генерал про-

вел несколько дней у границы, в именье Ленкен, принадлежавшем ротмистру фон Шперберу. Поместье славилось в Восточной Пруссии чистокровными лошадьми и, по уверению многих офицеров, ослепительной красоты хозяйкой.

...И здесь, на востоке, генерал Манштейн применил тот же метод, что и на западе: прорыв обороны, отсечение сил и движение вперед к стратегической цели. Ему везло, за четыре дня его танки прошли триста километров от границы до Даугавпилса и захватили мосты через Даугаву целыми.

В начале сентября корпус генерала Манштейна был уже в районе озера Ильмень.

Шли занудные осенние дожди, и генералу нет-нет да и вспомнится: Франция и поместье Ленкен.

Здесь, на землях Новгородщины, как говорят по-русски, «не разбежишься»: речушки, озера, болота, нет твердых дорог. И генерал ворчит либо же играет в бридж.

Неизвестно, сколько бы ему пришлось еще мерзнуть в палатках и таскаться в буксируемом трактором «хорьхе», если бы не одно почти фантастическое событие, которое вмиг изменило судьбу этого везучего пруссака.

В сентябре месяце, в те дни, когда генерал Манштейн передвигался в своем автомобиле по размокшим дорогам Среднерусской возвышенности, за тысячу, а может быть и более, километров от этих мест, на юге, в причерноморских степях, вела бои 11-я немецкая армия, которой командовал генерал-полковник фон Шоберт.

Три армейских корпуса вели наступление на две стороны: два корпуса прорывались к Азовскому морю, к излучине Днепра в район Запорожья и в сторону Ростова, а третий, которым командовал генерал Ганзен, готовился к прорыву в Крым.

Штаб 11-й армии был расквартирован в Николаеве. Генерал-полковник фон Шоберт имел обыкновение ежедневно вылетать на фронт в корпуса на небольшом самолете «шторх».

И вот в один из таких полетов, это, кажется, было одиннадцатого сентября, самолет сел на минное поле, и генерал отошел вместе с пилотом в мир иной.

Двенадцатого сентября раздался телефонный звонок и у командующего 56-м танковым корпусом,

Генерал Манштейн с кислым лицом сидел в палатке, по крыше которой барабанил проливной дождь. Генерал в ожидании вечерних сводок из дивизий играл в бридж. И вдруг этот звонок.

Генерал мистически боялся поздних звонков. С тревогой он взял из рук адъютанта телефонную трубку. Звонил командующий 16-й армией, которой был придан танковый корпус.

Буш прочел телеграмму, полученную из гитлеровской ставки: «Немедленно направить генерала пехоты фон Манштейна в распоряжение группы армий «Юг» для принятия командования 11-й армией».

Манштейну давно уже снилось повышение, именно такое повышение, которое давало самостоятельность действия на определенном участке фронта.

Адъютант заметил, что Манштейн, слушая генерал-полковника Буша, побледнел, а потом стал красный и тревожно-радостный. Адъютанты, если они не олухи, знают своих начальников значительно лучше, чем лечащие врачи. Шпехт понял, что его хозяину предложили что-то очень важное. А что? За Францию генерал был награжден рыцарским крестом. Может быть, за рейд из Восточной Пруссии до Даугавпилса? Манштейн заметил, с каким нетерпением адъютанту хочется узнать, зачем звонил генерал Буш, хотел было немного помучить Шпехта, но не выдержал и сказал:

— Новое назначение... Мы едем на Юг... К старику Рунштедту. Мне поручено командовать одиннадцатой армией.

— А что с Шобертом? — с тревогой спросил Шпехт.

Вместо ответа фон Манштейн изобразил на пальцах крест.

Семнадцатого сентября новый командующий 11-й армией прибыл в Николаев и вступил в свои права, а через три дня его штаб размещался уже на новом месте — в заповеднике Аскания-Нова: генерал Эрих фон Манштейн спешил подтвердить репутацию человека, который умеет оправдывать доверие, умеет исполнить то, что от него ждут.

Положение в 11-й армии было такое: 30-й армейский корпус генерала фон Зальмута и 49-й горный корпус ге-

нерала Кюблера вели бои в направлении Мелитополь — Запорожье, а корпус Ганзена развертывался в районе Перекопского перешейка, с тем чтобы, получив соответствующее снабжение, двинуться на прорыв перекопских укреплений, ворваться в Крым и с ходу взять Севастополь.

Такая задача стояла перед 11-й армией к моменту прибытия нового командующего.

Уже на склоне лет, после отсидки в английской тюрьме (он сидел там как военный преступник), генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн будет подробно, но не убедительно объяснять сложность задач, возложенных на его армию. Будет доказывать своим читателям, сколько сил пришлось ему употребить на то, чтобы убедить фельдмаршала фон Рунштедта (командующего группой армий «Юг»), что вторгаться в Крым одним корпусом безрассудно: корпус нужен лишь для занятия Крыма, а кто будет штурмовать Севастополь?

По крайней мере, еще один корпус, лучше всего горный корпус Кюблера, должен участвовать в решении этой задачи. Причем он всерьез напишет в своей книге: «...надо было попытаться стремительным броском моторизованных сил после прорыва через перешейки взять с ходу крепость Севастополь».

Генерал Манштейн был убежден в том, что он не ошибается в своих расчетах, до сих пор, по крайней мере, везде было так, как он планировал.

С божьей помощью и здесь так будет. Он знает, как рвать укрепления противника: артиллерия и авиация разрушат любую стену, любой равелин. А потом пойдут танки! Пойдут железным потоком по двум направлениям: в сторону Керчи и к Севастополю. Русские хотя и упорны, храбры, но им не устоять перед артиллерией, танками и авиацией. На этот счет он имеет опыт. Да! А за взятие крепости, да еще такой, как Севастополь, ему обеспечен маршальский жезл.

ДОРОГИ, ДОРОГИ...

Да, так и было: через три дня после размещения штаба генерал-полковника фон Манштейна в Аскания-Нова, в имении, принадлежавшем до революции нем-

цу-помещику Фальцфейну, началось наступление на Крым.

Хотя серьезных укреплений на Перекопском перешейке не было, фон Манштейн не изменил своей тактики: впереди шести полков первой линии после длительной артиллерийской подготовки и бомбардировки с воздуха в атаку пошли 50 танков. Если учесть, что перешеек узкий, то таран был сверхмощным.

На следующий день Перекоп пал. Развивая успех, 54-й корпус Ганзена оттеснил наши войска от Турецкого вала и овладел Армянском.

Решительными и смелыми контратаками войска генерала П. И. Батова на следующий день вышибли немцев из Армянска. Но, к сожалению, удержать город не смогли и отошли на Ишуньские позиции, где и завязались тяжелые, оборонительные бои почти на целый месяц. Обе стороны несли большие потери.

Бои на перешейке ощутимы были и в Севастополе, куда стекался поток раненых. Встречный поток лился и из Севастополя к Перекопу: машины со снарядами, продовольствием, оружием, обмундированием, медикаментами и пополнением.

По этой-то загруженной до предела дороге я и отправился четырнадцатого октября в Симферополь, там ждал самолет на Москву — кончилось мое полуторамесячное пребывание на действующем флоте.

Ночная езда без фар, да еще по крымским дорогам,— бег в мешке; мы очень долго добирались до аэродрома, по пути не раз вздыхали с облегчением, когда наша машина почти на расстоянии лезвия бритвенного ножа разъезжалась со встречными.

Не скрою, раза два наша (я ехал с корреспондентом флотской газеты) жизнь серьезно испытывалась на прочность.

Аэродром в Симферополе был пуст: все его службы уже эвакуировались, но здесь была хорошая взлетная дорожка, поэтому «дуглас» и сел. Вылет на рассвете. Пассажиры: военные летчики, следовавшие в Куйбышев за «новой техникой»; корпусный комиссар Игнатьев, начальник Управления ВМУЗов Военно-Морского Флота СССР; английский коммодор, сэр Фокс,— специалист по электротралам, некоторое время находившийся на Черноморском флоте и теперь возвращавшийся в Москву; полковой комиссар, жена армейского генерала с ребенком и я.

Летчики покинули нас в Краснодаре, откуда они на другом самолете отправятся прямо в Куйбышев, а мы ночевали в Ростове, затем должны были сесть в Воронеже, но пролетели мимо на бреющем полете и к Москве подошли в конце дня, не подозревая, что, заходя на традиционную трассу для посадки на Центральном аэродроме, мы находились всего в каких-нибудь сорока — пятидесяти километрах от линии фронта, где шли ожесточенные бои.

Но сверху столица и ее окрестности выглядели мирно и спокойно. Это спокойствие было и в бегущих по шоссейным дорогам машинах, и в мчащихся поездах.

Еще находясь в воздухе, я в уме разрабатывал «сценарий» первых часов жизни в столице: зайду в отдел, представлюсь начальству, доложу о выполнении задания, затем испрошу разрешения сходить в офицерскую столовую на Николо-Песковский — я был голоден до такого состояния, что ни о чем другом думать не мог. Конечно, в столовую я мечтал пойти не в одиночестве, а с кем-нибудь из отдела. Мне виделся уютный столик под белой скатертью, хороший обед, вино и я, рассказывающий об осажденной Одессе и Севастополе. Мои блокноты переполнены записями, а память впечатлениями. Уже на лестнице я заметил, что в нашем особнячке на Гоголевском бульваре происходит что-то непонятное, а когда вошел в коридор второго этажа, то увидел в задымленных комнатах суетившихся работников отдела. Я обратился к заместителю начальника с вопросом, что у нас происходит. Он жадно сделал большую, в полпапиросы, затяжку и, выпустив целое облако дыма, не без удивления поглядел на меня и ответил:

— А то!.. Немец фронт под Москвой прорвал!.. Пониме?..

...Вместо обеда — папиросы одна за другой. Вместо рассказов об Одессе и Севастополе — разгрузка шкафов и письменных столов от бумаг и папок. Безбожно куря и чихая — книжная пыль самая мерзкая,— мы набивали мешки и вязали пакеты. Часть бумаг сжигали в голландской печке. Сборы поспешные и, конечно, в чем-то бестолковые; спросить не у кого, начальник в высших политуправленческих сферах, а заместитель не информи-

рован ни о том, что на фронте под Москвой, ни о том, «что день грядущий нам готовит...», ни о самом практическом: когда мы кончим паковаться и куда с этими мешками и пакетами денемся.

Ночь на ногах, в клубах табачного дыма и книжной пыли, без глотка свежего воздуха, родила усталость и безразличие.

Заместитель начальника поборол наконец стеснительность и позвонил «наверх», о чем-то поговорил и собрал нас. Мы можем, объявил он, съездить домой и взять самое необходимое из личных вещей.

За Крестьянскую заставу в Дубровский поселок мне надо было ехать двумя трамваями, чуть ли не через весь город.

Сидя у окошка, я смотрел на город и пытался составить впечатление о том, что он чувствует, какое у него настроение. О том, что над столицей нависла смертельная угроза, в печати говорилось прямо и откровенно, москвичи знали, если... А впрочем, что гадать — смотри на улицы, раз нельзя вылезти из трамвая и потолкаться основательно всюду, где собираются люди.

В магазинах в Дубровском поселке и в универмаге на Крестьянской заставе я немного потолкался. Здесь чувствовалось, что Москва возбуждена, не встревожена, а именно возбуждена, как пчелиный рой, люди хотят сражаться с врагом. Таких большинство. А те, кто не хочет этого,— молчат. Паники нет, но кое-кто складывает в чемоданы и заплечные мешки бессчетно покупаемые шоколад, соль, спички, консервы, сушеные фрукты, чай, сахар, печенье, муку, водку.

Много глазеющих, слоняющихся без видимого дела. Они собирают ходкий среди определенной категории людей товар — слухи...

Наш начальник, бригадный комиссар Даниил Осипович Корниенко (на рукавах широкая золотая полоса с красной опушкой), появился с загадочным выражением на лице, спросил, все ли на месте. Получив ответ, сказал, что нам предстоит дорога дальняя, поэтому надо брать с собой все необходимое. Кто-то задал вопрос, куда мы поедем. Начальник оглядел всех усталыми глазами и, глубоко вздохнув, ответил тихим, мягким голосом: «Потом! Потом узнаете!» Насупив брови, оглядел комнату,

в которой стояли мешки и наши личные вещи, спросил: «А поесть взяли с собой?»

Оказалось, никто ничего, даже папирос, не захватил.

Начальник ушел в свой кабинет, снял трубку внутреннего телефона, с кем-то переговорил, затем вышел к нам и сказал, что у нас есть часа полтора-два, мы можем кого-нибудь из своей среды послать на Садовую, в магазин Военфлотторга, и купить все необходимое, да побольше, чтобы на всех примерно дня на три-четыре хватило.

Жребий пал на меня. Я быстро все сделал и встал около магазина — покурить.

По Садовому кольцу от Смоленской площади тянулся длинный крестьянский обоз. На подводах женщины и дети. Рядом с подводами шагали мужики. В середине обоза понуро вышагивали сильно сдавшие коровы.

Напротив магазина обоз остановился. Спрашиваю, откуда. Мужчина с заросшим лицом поднял усталые глаза и глухо ответил:

— С-под Кубинки.

— Неужели немцы там?

Он молча махнул рукой.

— Не угостишь ли покурить, товарищ моряк?

Закурили. После первой затяжки колхозник проговорил:

— Дома побросали, добра сколько уничтожили!.. Прихватили самое малое и бегим... А куда?.. Сказали, на Рязань надо держать. А тама что?

Обоз тронулся. Когда он был уже у Кудринки, из Девятинского переулка вышел отряд ополченцев. Шли лихо, и на лицах можно было прочесть: «Мы готовы хоть сейчас в бой. А если надо умереть за родину, умрем!»

От одного их вида стало тепло и спокойно. Хотя среди них настоящих солдат — раз-два и обчелся, все у них на чистом энтузиазме держится, но готовность идти в бой — это первый камень в фундаменте победы.

Я впервые увидел в Москве ополченцев. Среди них: профессора, актеры, бухгалтеры, парикмахеры, официанты, музыканты, литераторы и рабочие. В Москве многим мужчинам хотелось «ополчиться» и сразу же на врага!

Глядя на колонну, хорошо держащую строй, несмотря на разномастность в одежде и возрасте, я понял, что зна-

чение ополчения не только военное, но и моральное: это же сам народ поднялся! А когда поднимается народ — пусть попробуют его силу! Его можно лишить жизни, но не победить!

Я долго смотрел вслед колхозному обозу, а затем колонне ополченцев и испытал такое чувство, как будто до этого не было ни утомительного полета из Крыма, ни бессонной ночи, ни противной книжной пыли, ни тревожных размышлений над судьбой Москвы,— я ощутил прилив силы. Я легко взвалил на плечо мешок с продуктами, хотя до этого он казался мне невыносимо тяжелым, и зашагал переулками старого Арбата к себе, на Гоголевский бульвар, где еще не было нынешнего Гоголя-спортсмена, а на каменном постаменте среди хора своих героев сидел старый Николай Васильевич, кудесник слова и философ.

Меня встретили, как добрую фею,— все проголодались, а в столовую на Николо-Песковский никто не рискнул сходить. К тому же пора было грузиться на машину и — на вокзал. Мы покидаем Москву — уже есть приказ...

Вокзальная площадь запружена донельзя легковыми и грузовыми машинами всех классов и марок, а со стороны Красных ворот и улицы Обуха подходят все новые.

В вокзале теснота и громкий говор. В пассажирских залах много именитых артистов, художников, журналистов, музыкантов, военных. Отдельной группой дипломаты — представители иностранных государств. Дорогие меха на плечах дам и четкие проборы у мужчин. Гудит заморская речь. Незримо плывут запахи тонких, дорогих духов, сигар, папирос.

Кого только тут нет. Москва официальная, Москва художническая, Москва газетная, театральная, ученая — Москва, нужная стране для настоящего и будущего,— она временно выезжает из столицы на Волгу, туда уже на всех парах несутся эшелоны с заводским оборудованием, с ценным государственным добром. В эшелонах следуют рабочие и инженеры, чтобы на новом месте наладить в сверхбыстрые сроки производство самолетов, пушек, автомобилей, танков, снарядов, минометов... Там вдали от фронта уже производятся выпуски командно-

го состава — война требует не только оружия, но и новых офицеров.

Мы долго ждали очереди на посадку, но оказалось, нам нечего делать на Курском вокзале — нас отправят с другого вокзала. Правда, в то время выбора большого не было — с некоторых столичных вокзалов поезда дальнего следования уже не ходили.

Состав был подан в полной темноте: пригородная электричка. Но не беда, на этот раз ей придется отличиться и пробежать через добрую часть коренной России.

В нашем вагоне собралось много неунывающих людей: композитор Борис Терентьев, поэт Дыховичный, пушкинист Илья Фейнберг, критик Александр Макаров и человек шесть журналистов. Мы «бросили якорь» в конце вагона — подальше от глаз начальства. Здесь читались стихи и рассказывались такие байки, что либо все валились со смеху, либо замирали в немой тишине. К нам присоединились наши девушки — вольнонаемные: машинистки и служащие канцелярии. Они оказались отличными певуньями: вагон умолкал, когда они исполняли «Калинку», «Вечерний звон» и «Он уехал».

Но я забегаю вперед — все это было потом, когда поезд бежал по среднерусским равнинам.

...Поезд отошел почти незаметно — чуть дрогнул вагон, и мы почувствовали, как потянуло нас вперед.

Огней ни на вокзале, ни в вагонах. Прогремев по пристанционным путям, через многочисленные крестовины стрелок, поезд вышел на простор. Выпавший снег скрыл поселки дачного Подмосковья, мы канули в темень.

...Не помню, на какой станции наш вагон покинули Борис Терентьев и Владимир Дыховичный — им на Северный фронт. Они поедут, кажется, через Буй — Вологду дальше на север, по какой-то соединительной ветке на Мурманскую дорогу и по ней к Баренцеву морю. Нашу же продуваемую ветрами электричку, которую здесь уже тянул старик паровоз, пустили на земли Ивановской области.

...Мелькают деревушки, разъезды, овражки. Сколько отмахали мы от Москвы, не сосчитать: мы уже вволю настоялись на станциях и совсем крохотных полустанках, от которых во все стороны только ветер свистит. Но как

же дороги эти места! В любой кривой березоньке или в разлапистой ветле, прислонившейся к старому пруду; в любом взгорке, на которых из-за озорных ветров снег не держится; в гудящих придорожных телеграфных проводах; во встречной сивой лошаденке и в старом деде с насквозь пробитой ветром седой бороденкой — видится Россия!

Она же и во мчащихся товарных вагонах с грузом, обтянутым плотным, зеленым брезентом, под которым угадываются новенькие пушки, пулеметы и танки...

Далеко отсюда фронт, но сердцу кажется, что он совсем рядом. Рядом потому, что его боль и муки в нас самих.

К станции подается грузовик, из его кузова горохом высыпаются новобранцы. Пронзительно-звонким голосом лейтенант подает команду: «По два в ряд — становись!»

Дед на сивке, эшелоны с оружием, новобранцы — все во имя незыблемости Родины!

И все-таки на душе неспокойно: где-то далеко-далеко Одесса и Севастополь, а боль рядом. Совсем рядом — в сердце!

Обидно, что моя поездка на Черноморский флот оказалась пока безрезультатной: не успел прилететь из Севастополя в столицу — и сразу в поезд. Ну куда я дену сейчас свои записи. Писатель не кубышечник, он не прячет от людей свои думы, страдания и любовь свою.

Но что поделать, приказ есть приказ: мы, выполняя его, покинули Москву. Поезд везет нас в Ульяновск... Англичане говорят: «Если ты не можешь делать то, что тебе нравится, то пусть тебе нравится то, что ты делаешь». Утешительная поговорка? Да, если нет ничего другого. Но мне утешать себя не нужно: по счастливому совпадению в Ульяновске моя жена — она туда эвакуирована вместе с другими семьями военных моряков.

Уже три дня ничего не знаем о том, что делается на белом свете, и вдруг сегодня на одной из станций из репродуктора, из того самого замызганного уличного «блина», вдруг раздались слова: «От Советского Информбюро: шестнадцатого октября наши войска оставили Одессу...»

Значит, город занят румынскими фашистами? Гвардией гитлеровского холуя Антонеску? Да ему бы никогда не занять его, если б не нависла угроза над Крымом!

Милая Одесса, какая же незавидная судьба выпала тебе!

Не по сердцу и слова из сводки: «...ожесточенные бои под Ишунью». Сильно жмет у перешейка фон Манштейн, а укреплений там, кроме временных артиллерийских установок, нет: никто до войны не предполагал, что Крым придется защищать от вторжения чужестранцев.

Неизвестно, что дороже обходится — строительство укреплений или военные и территориальные потери при защите неукрепленных районов!

Чем ближе к Ульяновску, тем бóльшую скорость набирал поезд — после Инзы мы уже сошли с магистрального пути. Перед окнами крутились однообразные снежные поля. В голове сумбур пестрых картин из прошлого и настоящего времени. Они теснят друг друга, как наплывающие осенние облака. Воспоминания то рвутся, то соединяются, и этот калейдоскоп откладывает тревогу на сердце.

На остановках я выходил из вагона и подолгу гулял: вагон не проветривался, и в нем даже во время сна нельзя было отдохнуть.

Гуляя, я мысленно возвращался к Одессе, Севастополю и поездке на юг. «Конечно,— рассуждал я,— Одесса держалась бы, если не бесконечно, то. во всяком случае, очень долго: по-видимому, Ставке понадобилось перебросить закаленные в боях, опытные, отлично сплоченные войска армии и флота, стоявшие на защите Одессы, в Крым».

А в Крыму предстоят невиданные сражения — флот за время одесской кампании накопил ярость и ожесточение: десятки тысяч моряков подавали рапорты с просьбой послать их на фронт. Попали в пехоту немногие, а вся масса моряков оставалась на своих местах, то есть на судах эскадры и вспомогательного флота и различных службах береговой обороны. Фон Манштейн, наверное, попытается штурмовать Севастополь с ходу — это его тактика. Но тактика тактикой, а когда против нее, против ее носителей встанут черноморские моряки, многим немецким матерям никогда не дождаться своих гансов и фрицев — они лягут во имя исполнения тактики фон Манштейна там же, где белеют кости англичан однорукого лорда Раглана, французы Сент-Арно и Пелисье и обманутые этими нациями в 1854 году доверчивые итальянцы.

Сумерки быстро кутают присыпанную снегом землю. Наша электричка приближается к Ульяновску. Конец невольному вояжу, конец горьким размышлениям — уже видны веселые огоньки города.

После Москвы, Одессы и Севастополя Ульяновск удивляет тишиной и оторванностью от военных событий. Конечно, я был бы ханжой, если бы умолчал о той радости, которая ждала меня: еще в поезде мне снилась встреча с женой. У меня, разумеется, не было никакой надежды встретиться на вокзале — о нашем прибытии, кроме железнодорожников да старморнача, вряд ли кто знал.

Мое появление дома было так неожиданно, что она даже расплакалась — ведь в ее воображении я все еще в Одессе либо в Севастополе, а тут вдруг поезд из Москвы...

...В Ульяновске жизнь была весьма своеобразной и, наверно, интересной, я просто еще не успел окунуться в нее. Каждый день поездами и пароходами прибывали новые люди. Сюда эвакуировались некоторые заводы и учреждения. Перед нашим приездом выгрузилась большая группа рабочих и инженеров Московского автозавода имени Сталина с оборудованием, и немедленно началось строительство филиала завода.

Ульяновское танковое училище готовило ускоренным курсом танкистов. В Заволжье дымили заводы, эвакуированные сюда из Прибалтики еще в первую мировую войну.

Город становился все оживленнее, а жизнь тяжелее: где жить, работать, питаться, учиться да и лечиться? Лучшие, просторные помещения отданы военным: в Ульяновске расквартировались учреждения тыла флота, шкиперское управление, Политуправление, развернул свою деятельность и крупный армейский госпиталь для выздоравливающих тяжелораненых, который возглавил писатель Лев Островер — врач по образованию.

Местные жители утеснены донельзя. Эвакуированные ютятся по углам — несколько семей в одной комнате. Но люди терпят. Терпят во имя победы. Недоедают, работают от зари и до зари на стройках, в полях (на картошке), на погрузках и разгрузках, в цехах заводов.

Работала и моя жена, а жила в узенькой, похожей на школьный пенал, комнатенке, куда входила лишь кровать.

Между тем в город ехали новые претенденты на квартиры, на довольствие, на жизнь вдали от войны.

Ехали и моряки: одни возвращались из командировок, другие за назначением, третьи с докладами по начальству.

В столовой становилось все шумней и шумней. После ужина мы засиживались и слушали рассказы офицеров, которые с приключениями и дорожными муками добрались сюда из мест, захваченных врагом. Тут были командиры с Пинской флотилии, которая героически пала в кровавых боях еще летом, с Онеги, блокадного Ленинграда и Черного моря. Среди слушателей сидели и тихоокеанцы: и оттуда стремились всеми правдами и неправдами попасть в центр и добиться назначения на фронт.

Минеры, штурманы, инженеры-механики, политработники — все искали подвига.

Несколько вечеров я провел в этом пестром и интересном обществе, а сколько услышал! Я с удовольствием бы и еще посидел тут под облаками табачного дыма, но меня тянуло в Москву. Не мог военный корреспондент сидеть в тылу!

Начальство согласилось отпустить меня за «взятку». Я должен был отправить из Москвы в Ульяновск типографию и тиражи отпечатанных после эвакуации журналов. Пришлось согласиться, лишь бы остаться (после выполнения поручения) в Москве в качестве военного корреспондента.

А как ехать в столицу? Железные дороги забиты, лишь воинские эшелоны идут «зеленой улицей», а все остальные «плетутся рысью, как-нибудь» — так ходили поезда во время гражданской войны.

Прибывающие в Ульяновск моряки выглядят так, будто месяц на «губе» отдежурили,— вот как изматывает дорога. Да ведь мы и сами тащились из Москвы столько же, сколько в мирное время ездили до Ташкента.

Умные люди посоветовали пароходом вверх по Волге, до Горького, а оттуда до Москвы — не расстояние.

Жена проводила до высокого берега, здесь же на ветру перед заволжскими просторами, перед тем как попрощаться, она вынула из сумочки толстую, в клеенчатой обложке, общую тетрадь и сказала: «Вот тебе мой подарок. Пиши дневник. Любой кажущийся теперь незначительным факт через несколько лет окажется очень ценным. Подумай об этом и начни прямо на пароходе. А как втянешься, то и в Москве будешь записывать».

Мы попрощались, и я побежал к пристани.

ИЗ ТЕТРАДИ В ЧЕРНОЙ КЛЕЕНЧАТОЙ ОБЛОЖКЕ

Каюта моя на левом борту, с видом на правый берег Волги.

...Более часа пробыл на палубе. И не ушел, если бы не продрог. В каюте забыл о холоде и, случись тут кто-нибудь, стал бы охать да ахать и изливать восторги красотам Волги! Но увы! Изливать-то некому!

. . . . . .

Никогда раньше не только не видел такой Волгу, но и не представлял, что она может быть такой.

Когда мы отходили от Ульяновска, на реку и смотреть не хотелось, все было серым: небо, река и берег. Причем берег и реку часто крыли низкие рваные облака. Они с какой-то непонятной тревогой неслись навстречу нам. К тому же дул холодный ветер. Вообще было и неинтересно и неуютно.

И вот, пока я спал, небо очистилось, дымка растаяла и река вспыхнула, подожженная закатным солнцем, и все кругом заиграло, ожило: небо раздалось вширь, стало выше и налилось чистой лазурью в своей купольной части и накалилось по горизонту. А река горела. С берегов на нее с кряканьем сыпались кормившиеся на ближнем жнитве пробиравшиеся к теплым водам утки.

Посверкивая атласным пером, они стремительно, с легким присвистом, откинув красные лапки, садились на воду, в тень камыша, где обирали перо, охорашиваясь на глазах у селезней.

От недальних селений с крутого берега тянуло дымком и парным молоком.

В пышных красках заката, в глубоком лазурном небе и в подожженной реке было что-то неестественное: будто река решила не в зиму идти, а навстречу новой весне.

Перед сном я еще раз вышел на палубу. Над Волгой стояло высокое, унизанное звездами небо. И было это небо спокойное, и ничто в нем не содержалось зловещего. Ничто не говорило о том, что далеко отсюда, под этими же звездами, на нашей же земле, гремят пушки, пожары не закатные, а огневые сжирают города и села и льется кровь...

25. X. 1941 г. Поздний рассвет. Над Волгой чадит утренний парок, а в берег бьет золотистый луч солнца. Ветра нет. Река без единой морщинки, и наш пароход, как влюбленный Нарцисс, смотрится в нее, не насмотрится. Мы идем на север, а в природе южная мягкость и щедрость красок.

О войне напоминают лишь скудный стол пароходного ресторана, пробегающие через мосты эшелоны да какая-то озабоченность пассажиров и очень тревожные лица людей, толпящихся на пристанях.

За Васильсурском стали встречаться на высоком берегу Волги большие толпы. Люди копали противотанковые рвы и траншеи.

Что-то произошло на фронте, если уже и тут начали копать!

Пассажиры молча и с грустью, опершись на планширы, смотрят на берег, на землекопов. И лишь один не в меру суетной мужичонка, с сильно помятой, редкой, сивой бороденкой, взобрался прямо на планшир, обнял стойку и прокричал на берег:

— Эй копаци-и! Ивантеевских-то нету среди вас?

Берег не отозвался. Да если бы кто и крикнул оттуда, из-за шума винтов ничего не было бы слышно. Мужичонка бегал по палубе и чуть ли не каждому рассказывал о своей беде: он лежал в больнице (у него грыжа, это он говорил не всем и то на ухо), а в это время двух его дочерей (он сказал: девок) мобилизовали на оборонные земляные работы. Обещали скоро отпустить, а вот уже десять дён прошло, а их все нет. А девки в невестином возрасте, глупенькие, обидеть могут. И, как бы почувствовав, что пассажиры не разделя-

ют его тревоги, добавил: «Найдутся озорники-то! Ноне по этой части лыцарей развелось, чисто комаров на болоте!» Вот и пришлось ему после больницы сразу на пароход — билет-то у него бесплатный, на реке он служит сам-то. Копацей-то вона — и не сосчиташ! Тьма! А тут ли его девки, не увидать с парохода-то!

Он еще раз взобрался на планшир, чуть придерживаясь одной рукой за стойку, а другой энергично размахивая, закричал на берег:

— Эгей, копаци-и! Нет ли ивантеевских среди вас?

Так и не дождавшись ответа, проговорил поникшим голосом:

— Что они там копат, то и бог, наверно, не знат... Ужли немец и сюда грянет? Ну пойду, мне скоро слезать...

25. X. 1941 г. Чем ближе к Горькому, тем холоднее: у Макарьева по реке «сало» и от Волги дымок курится. Значит, отгуляла свой сезон река и скоро станет. А как только станет, холод вниз к Астрахани свалится, и господин мороз начнет мосты строить.

26. X. 1941 г. Горький. Улицы и площади забиты людьми и машинами. В кузовах грузовиков черта только и нет! Ковры, несгораемые шкафы, велосипеды, корыта, эмалированные тазы, сундуки времен Наваринского сражения, чемоданы, кофры со сборчатым, как мехи гармоники, поместилищем — с такими чемоданбаянами преподаватели географии из классических гимназий ездили в летние каникулы в Египет, Грецию и в дешевые кантоны Швейцарии.

Как сохранились сии представители «салопной эпохи»? Кофры, саквояжи, портпледы — у прошлого цепкие руки Плюшкина. Грустная картина, гибнут заводы, дороги, города, леса, земли, мосты — один человек кровью отстаивает большое общее добро, другой цепляется за саквояжик бабушкин! Но все это мимолетные мысли — к черту плюшкиных!

Что в Москве? Почему столько москвичей покинуло столицу? По соображениям обороны города или паника хлестнула? Шестнадцатого октября Москва была

шумна, оживленна, людна, кое-где бациллы паники пытались вызвать эпидемию, но она была пресечена в самом зародыше.

С тех пор прошло десять дней. За это время можно опорожнить море. Так что же в Москве? Можно заболеть от отсутствия информации! К кому ни обратишься, вместо ответа делают рукой безнадежную отмашку. Уж так ли плохо там? Просто натерпелись в дороге, а может, по брошенным квартирам и вещам страдают?

Москва, конечно, не будет сдана, столицу будет отстаивать вся страна, все наше многонациональное население. Одесса — степной, прижатый к морю город и то держался семьдесят дней, а Москва осаждена, но не окружена. Здесь под ее стенами будет решаться генеральный вопрос: кто — кого... Так думает большинство, с кем пришлось говорить. Однако где же хозяин машины, с которым я еду в столицу?

Хозяин машины — адъютант адмирала Гордея Ивановича Левченко, заместителя наркома Военно-Морских Сил. Он получил в Горьком для адмирала маленькую зеленую легковую машину с двумя ведущими осями. На ней мы поедем в Москву, а оттуда ее поездом отправят в Новороссийск или в какой-нибудь другой порт Кавказа (в зависимости от военной обстановки). Там погрузят на пароход и доставят в Крым: адмирал Левченко командует войсками в Крыму. Обстановка там сложна до чертиков — 11-я гитлеровская армия настойчиво рвется через узкий Перекопский перешеек.

На этой машине будет ездить по Крыму адмирал, а сейчас я караулю эту зеленую, свеженькую, как спелый плод, букашку, а адъютант с шофером пошли что-то еще получать и оформлять. Пользуясь их отсутствием, заполняю страницы тетради в черной клеенчатой обложке, лишь изредка отрываюсь, чтобы обдумать текст, и, пользуясь паузой, смотрю, что делается на улицах большого, старинного волжского города. Я сожалею, что, оставшись за сторожа, не могу сбегать к нижегородскому кремлю и к Откосу — очень хочется хоть одним глазом посмотреть на Волгу и заволжье. С Откоса такой вид!

...А на улицах народу, как на ярмарке. Однако нам пора бы уже выезжать — до столицы добраться бы засветло: ночевать хорошо все-таки дома!

26 октября 1941 г. Москва. Девять вечера. Два часа тому назад приехали. Добрались очень хорошо: на всем пути от Горького впереди нас почти никого не было, зато навстречу почти непрерывный поток машин, повозок и пешеходов.

Устало шли солдаты потрепанных в боях частей — они двигались на сборные пункты для переформирования, небритые, худые, с тоской в глазах. Тянулись и горемыки-беженцы из западных, подмосковных колхозов. За ними опавшие с тела коровы, стригуны, возы с сеном, телеги с женщинами и детьми и немудреным скарбом. Пешим порядком тащились и москвичи, гнавшие впереди себя тачки и детские колясочки, а иные и велосипеды с грузом на рамах и багажниках.

Как-то быстро, может быть под невеселые раздумья, мы проскочили Вязники и затем Владимир, посмотреть который я давно мечтал, промелькнули Новые Петушки, и мы вскоре очутились в Ногинске. Пользуясь остановкой, я подошел к военной машине — она подкатила к бензоколонке со стороны Москвы — и спросил, что в столице. Майор, по-видимому хозяин машины, поднял плечи и сказал тихо:

— Сложное положение. Приедете, увидите сами.

Как часто в горестной разлуке
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!

А. Пушкин

Прошло немногим более получаса, и мы увидели электрички. Как и в мирное время, поезда притормаживали у дачных платформ и, разменяв пассажиров, со знакомым завыванием неслись в столицу. Можно уже было не спрашивать, что в Москве. Вскоре показались трубы заводов. Обычно мы к дыму заводских труб относимся как к загрязнителю воздуха, а тут нам показалось, что трубы не дымили, а источали музыку: из их черных жерл извергался гимн жизни!

Несколько минут тряской езды по расколоченному шоссе и по окраинным улицам, и мы в Москве.

Народищу полным-полно, а в дороге казалось, что все ушли из Москвы и мы въедем в пустой город. Нет! Жизнь тут бьет ключом. Бегут трамваи. Хлопают двери

магазинов. Торгуют рынки. Валит парок из банных дверей. Но одновременно все в столице напоминает, что город в опасности: шагают по улицам новобранцы. Проходят танки, проезжают грузовики с красноармейцами. Тягачи тащат тяжелые пушки, и они вздрагивают на выбоинах мостовой.

Дни, прожитые в Ульяновске, где мы жадно накидывались на вновь прибывших и жадно расспрашивали, уже забылись.

С шоссе Энтузиастов на заставу Ильича, а оттуда на Абельмановскую, затем на Таганку, Солянку — вот наша сильная и цепкая машина вкатывается в центр. Еще немного, и мы на месте. Жадно вглядываемся в окружающее и мысленно благодарим защитников Москвы — они все сохранили: и Большой театр, и «Метрополь», и «Москву», и Манеж, и альма матер русской культуры — Московский университет.

Машина мчится дальше и наконец выскакивает на Арбатскую площадь, минута, и мы уже на Гоголевском бульваре у высокого серого здания с башней, похожей на разукрашенную залихватской штукатуркой водокачку или силосную башню.

Импозантный подъезд. Часовые с отомкнутыми штыками. Толстые дубовые двери. Широкий трап, подниматься по которому, если ты не в ранге Нахимова, как-то неловко. Но мы — дома.

Старший на рейде в этом почти пустом доме — начальник политотдела наркомата дивизионный комиссар Николай Васильевич Звягин.

Докладываю о прибытии и о задании, данном мне ульяновским начальством. Дивизионный комиссар потер седой ежик, сказал: о типографии и журналах потом поговорим, а вот что прибыл, хорошо — нужно срочно наладить выпуск бюллетеней пресс-бюро,— во время эвакуации связь с флотами временно нарушилась, газеты перестали получать бюллетени пресс-бюро, а они к ним привыкли и вот теперь теребят его. Надо наладить выпуск их, и мне он и поручает заняться организацией этого дела, а с прибытием Григория Нилова из Ленинграда будем оба заниматься этим. Все, что нужно, будет дано, в том числе и машина для поездок на фронт.

Я стукнул каблуками, сказал «есть!» и собрался идти. Звягин сделал жест рукой: мол, не торопитесь.

Николай Васильевич встал из-за стола и, шагая по мягкому ковру, подошел к карте, поманил меня и, перед тем как показать линию фронта, сказал, что столица сейчас на осадном положении, эвакуация центральных учреждений и культурно-исторических ценностей, а также драгоценных фондов, предпринятая по решению ГКО, закончена; на подступах к столице москвичами и воинами фронтов построено несколько оборонительных рубежей; фронт приведен в порядок, однако положение все еще остается угрожающим — гитлеровцы пытаются до наступления сильных морозов ворваться в Москву; листовки бросают, делают обходные маневры, пытаются вклиниться в стыках фронтов.

В рядах защитников Москвы сражаются несколько бригад морской пехоты, специальный морской стрелковый полк и два дивизиона «катюш».

Затем дивизионный комиссар показал на карте линию фронта. Она была сильно изломана и местами очень близко подходила к столице.

Прощаясь, Звягин сказал, что жить придется на казарменном положении тут же, в наркомате, что и он тут же живет и что кроме меня сегодня из Казани прибыли два сотрудника центральной флотской газеты «Красный флот»: Гуляев и Островский. Столовая в особнячке, где до эвакуации находился отдел печати. В подвальном этаже, рядом с котельной, душ. Завтра после завтрака можно взять машину и поездить по Москве и ее окраинам. Для первого бюллетеня пресс-бюро хорошо бы дать очерк о том, как живет фронтовая столица.

Получив разрешение идти, я был очень рад — все, о чем говорил Звягин, совпадало с моими интересами: очень хотелось посмотреть, что в Москве делается.

26 октября (тот же день, продолжение дневника). Все было, и душ, да какой! Воды — залейся! Потом ужин в столовой, в нижнем этаже нашего особнячка. Столовая чистенькая, с белыми скатертями, как в кают-компании на корабле: и приборы, и даже подставочки под вилки и ножи, и бутерброды, и фронтовые сто граммов.

Сижу тут за белым столиком, сытый и нос в табаке. Очень светло, и пишу, при каждом стуке двери поворачиваю голову и смотрю, не Гриша ли Нилов. По времени ему пора вернуться. Когда в августе мы тянули

с ним спички, кому ехать в осажденную Одессу, он увидел у меня спичку с головкой и с досадой сказал:

«Завидую тебе! Дорого бы дал, чтобы увидеть Одессу! Об этом городе столько легенд, а порой и просто хохм, и вдруг такая невиданная оборона. Что за люди там?! Не думаю, чтобы Бабель, Олеша, Паустовский, Катаев и Багрицкий навеки обобрали этот город!.. Очень завидую тебе! Но я здесь не останусь — в Ленинград уеду...»

15 октября, прилетев в смятенную Москву с Юга, я уже не застал Нилова: он добился своего — улетел в Ленинград.

Нилов улетел на две недели. Они давно прошли, а его нет. Где же он сейчас? В пути? Или все еще там? А может быть, пробрался на Ханко? Это было его мечтой — попасть в гарнизон Ханко!

Мне тяжеловато без товарища. Еще весной он был у меня в Кишиневе и делал один из блестящих репортажей для радио. Подумать только, ведь это же было всего лишь несколько месяцев назад, а кажется, что с тех пор прошло много-много лет.

27 октября. Ночью наше высокое здание вздрагивало и гудело, как пустая бочка: к Москве прорвались гитлеровские самолеты. Полагалось идти в убежище, но я так устал с дороги, что не отреагировал на объявление воздушной тревоги.

После завтрака меня уже ждала машина.

27 октября. 17 часов. Вернулся в три часа дня. Недоразумение со столовой — мне не дали обеда. Оказывается нужно было заявить «расход». Если бы я утром, после завтрака, заявил «расход», то мой обед ждал бы меня весь день. Но откуда же мне, гражданскому человеку, было знать о таких тонкостях военного быта!

Все уладил Звягин. Но это — мелочи. Пообедав, сел за дневник. Хотя и трудно распутывать торопливые записи в блокноте, но занятие сие все же приятно. Особенно когда память еще свежа, когда перед глазами стоит все. Блокнотные записи расшифровываю как можно подробнее, с тем чтобы потом легче было писать для флотских газет очерк «Москва в осаде». А его нужно

написать так, чтобы каждому моряку с Северного флота, с Черного, с Балтики, и беломорцу, и краснофлотцу невоюющего флота Тихоокеанского было ясно, что же делается в осажденной Москве. Чем и как живет столица в то время, когда у стен ее стоит миллионная вражеская армия?

Москва поражает сочетанием несовместимых на первый взгляд вещей: с одной стороны, на некоторых площадях и бульварах обложенные мешками с песком зенитные батареи, а на въездах в столицу по Рогачевскому, Ленинградскому, Волоколамскому и Дмитровскому шоссе — стальные ежи против танков, баррикады и доты и с другой — много детей на бульварах! Летом эшелонами их вывозили из столицы. Откуда эти?

Поражает Москва и ритмичной работой заводов, фабрик и различных мастерских, производящих все необходимое для фронта.

Писать об этом без восклицательных знаков почти невозможно. Может быть, людей будущего не удивит, что фабричонка, изготовлявшая до войны зубные щетки, теперь делает стальные противотанковые ежи, но меня это, сознаюсь, потрясает! Причем это не единичный факт: бывшая фабрика скоросшивателей, дыроколов, кнопок и скрепок, то есть предметов, которые в торговой номенклатуре значатся под наименованием канцелярских принадлежностей, ныне развернула производство корпусов для мин, колючей проволоки, лопат, снарядов и даже... авиабомб! Или вот еще заводик, его довоенная продукция — люстры, а сейчас — гранаты!

Московские железнодорожники, загруженные донельзя перевозками для фронта, в фактически короткий срок построили отличный бронепоезд и приступили к оборудованию «дотов на колесах», то есть бронировали четырехосные площадки, на них ставили орудийные башни с покалеченных танков.

...Материалов для очерка столько, что я, как оголодавший перед роскошно накрытым столом, не знаю, с чего начать и чему отдать предпочтение.

Москва в октябре казалась неистощимой во всем: в энергии, в самозабвении и, что говорить,— даже в жертвенности! Ничего не жалелось во имя спасения Родины!



Москвичи, не считаясь со временем, работали на заводах и фабриках, порой по нескольку смен кряду, а то и по неделям не уходили от станков. Москвичи становились в ряды ополчения, строили укрепления, рыли противотанковые рвы, возводили баррикады, строили надолбы, дежурили в госпиталях, боролись с «зажигалками» (термитными бомбами), и они же, мои дорогие земляки, выпускали знаменитые «катюши»!

Штабами этой действующей у станков, у печей, на конвейерах армии были Московский горком партии, райкомы и заводские парткомы.

Хочется надеяться на то, что, когда кончится война, когда спадет нервное напряжение, когда враг будет

выброшен с нашей земли, кто-нибудь из работников столичных партийных штабов военного времени возьмет и бесхитростно и неторопливо расскажет, что было сделано коммунистами столицы для защиты Москвы. В газетном очерке, который я напишу, многого не скажешь — у газетной полосы слишком жесткие границы и невелик калибр. Да и потом газетный материал не предполагает ни живописности, ни размышлений, газета живет чуть дольше зажженной спички.

...Я писал, что Москва казалась неистощимой в мужестве и энергии в дни опасности, и не ошибся.

Столица еще в июле сформировала двенадцать дивизий народного ополчения, а в октябре — двадцать пять истребительных батальонов и призвала в состав их восемнадцать тысяч, преимущественно молодых людей!

В критические для столицы дни под стенами ее встали еще двенадцать тысяч молодых москвичей!

28 октября. Перед завтраком встретил Звягина. Он шел умываться. Рукава нижней сорочки до локтей засатаны, через плечо полотенце.

Я впервые видел человека генеральского звания без мундира и не знал, как его приветствовать: тянуться — неуместно, но и не скажешь «привет!». И я сказал, как средний интеллигент: «Доброе утро, Николай Васильевич!» Он ответил, как отвечают в таких случаях кадровые военные: «Здравия желаю!» — и тут же остановился: «Товарищ Сажин, на одну минуточку!»

Сипловатым голосом дивизионный комиссар сказал: «В Крыму обстановка ухудшилась — Манштейн прорвал последний рубеж на Ишуньских позициях и ворвался в Крым. Пятьдесят первая и Приморская армии отходят... Путь к Севастополю по существу открыт: нашим армиям не за что зацепиться. Понимаешь?»

Я стоял, как пораженный столбняком.

Звягин устало махнул рукой и как-то по-старчески зашагал к себе. Плечи его опустились, спина сгорбилась.

Наскоро позавтракав, я сел в машину — и по Москве. В газетах о прорыве Ишуньских позиций и о вторжении фрицев в Крым — ни слова.

По-видимому, обстановка там сейчас не ясна и для Ставки Верховного Командования.

Крым... Севастополь... Дурные вести сбили с московской темы. Обычно, когда работаешь над чем-то, этим и живешь, то есть с мыслью об этом встаешь с постели и с той же мыслью ложишься, непрерывно ищешь лучшее решение, то есть, если говорить языком военного,— ищешь лучшее тактическое решение.

Военные перед сражением составляют планкарту, на ней расписывается все, кроме случайностей, а они — увы! — бывают даже в сражениях, которые ведут гениальные полководцы.

Нечто подобное делают и литераторы, то есть составляют план будущего произведения. Одни тщательно расписывают его на бумаге, вплоть до реплик героев, другие держат в уме.

В отличие от военных, писатели не канонизируют свои планы, а непрерывно выверяют, уточняют, совершенствуют, то есть все время живут своим произведением, как беременная будущим ребенком.

Однако писать-то я должен о Москве!

...Картины московской жизни пестры и трогательны: на Арбате и на улице Горького бойкая книжная торговля. Сверкают золотом переплеты избранных сочинений Тургенева, Льва Толстого, Горького, Чехова... Сверкают, правда, недолго — книги быстро исчезают с лотков. Их покупают и военные, и гражданские. Вот останавливается грузовик, полный военных: безусые лейтенанты через борта вымахивают на тротуар — и к книжному лотку, и суровые лица светлеют. Таким покупателям продавец книг готов был бы, как говорится, «за так» отдать свой товар.

Книги бойко разбирают и гражданские! Книги! А не сахар, шоколад и консервы!

Конечно, в Москве есть и скупщики бакалеи и гастрономии. Ослепленные скупостью души, они сосредоточенно тратили свою энергию на закуп впрок. К счастью, на нравственных весах москвичей эта категория не тянула чашу вниз.

Москва живописна в эти дни, полные риска и отваги.

На заборах, афишных щитах, в витринах театральные афиши, рекламные снимки сценок из кинопремьер. Плакаты и «Окна ТАСС». Портреты героев Отечественной войны: летчика Гастелло, героя острова Ханко Петра Сокура, моряка-североморца Василия Кислякова, героя Одессы Нечипуренко и защитников Москвы Героев Советского Союза Виктора Талалихина, Катрича и капитана Титенкова.

В «Окнах ТАСС» рожи — Гитлера, Геббельса и Геринга.

В столице — деловая сосредоточенность: всюду — на заводах, фабриках, в мастерских, на транспорте и в коммунальном хозяйстве — люди работают с отвагой. Город в осаде, стало быть, в сложнейших условиях, но в домах есть свет, по трубам бежит вода, в булочные доставляется хлеб, в магазины — колбасы, сыры, молочные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия... Огромный город надо ежедневно кормить, обогревать, доставлять к месту работы, развлекать, мыть, освещать... А под стенами его армия, которой нужны эшелоны мяса, круп, муки, табака, спичек, медикаментов, перевязочного материала, а главное, снарядов, бомб, мин, оружия... Но суть, однако, не в каталоге поставляемых армии продуктов и изделий промышленности (для того чтобы у солдата в котелке был кусочек мяса, для армии ежедневно забивалось около двух тысяч коров!) — повторяю, главное не в перечислении, а в том, что все это регулярно поставляется и в дождь, и в снег, и тогда, когда на головы сыплются бомбы и на дорогах рвутся снаряды.

Не ущербной жизнью живет столица. Хотя витрины некоторых магазинов и прикрыты мешками с песком; хотя на окраинах воздвигнуты баррикады и противотанковые заграждения; хотя многие приметные здания расписаны так, что и не узнать сразу, что тут было до войны; хотя не видны кремлевские звезды,— Москва великолепна, у нее есть образ — она выглядит богатырем.

Просторно на улицах — нет той суеты, которая была характерна для стольного града; по решению Ставки из Москвы вывезены все центральные учреждения вместе со служащими всех рангов, положений и специальностей. В столице оставлены лишь небольшие оперативные группы, и они отлично справляются.

30 октября. Всю ночь писал очерк о Москве. Очень завидовал Яну Островскому и Дмитрию Гуляеву — корреспондентам «Красного флота» — они спали как убитые и не просыпались даже во время налета.

В пять часов лег спать, а в семь меня подняли «краснофлотцы». Да еще острили при этом. После завтрака отнес очерк дивизионному комиссару. Понравилось, и он тут же послал его на ротатор.

В газетах ни слова о положении в Крыму. От Нилова никаких вестей...

31 октября — 3 ноября. В эти дни не раскрывал тетради. Некогда! По поручению Звягина занимался выяснением положения оставленных во время эвакуации в типографии очередных номеров флотских журналов. Тиражи лежали в типографии. Доложил Звягину, он связался с «Полевой почтой» — журналы пошли на флоты.

Вчера у Камерного театра застигла воздушная тревога. Пришлось встать под ворота: огонь противовоздушной обороны столицы настолько густой, что осколки зенитных снарядов сыплются дождем. Действуют зенитные установки крупного калибра — осколки могут убавить ряды Военно-Морского Флота на две единицы — мы шли с Островским. После отбоя не успели сделать и двух шагов, как встретили двух Евгениев: Евгения Петрова и Евгения Кригера. В армейских, довольно неказистых с виду, шинелях, в серых цигейковых шапках, перекрещенные портупеями, с пистолетами почти под мышкой, они выглядели, как штабные офицеры полевых частей, уставшие от непрерывных отходов на лучшие позиции.

Кригер поднял сжатый кулак вверх и сказал по-испански:

— Салуд, камарадос!

— Салуд! — откликнулись мы.

Последовали вопросы — «откуда и куда?». Что касается до нас, то мы после обеда в офицерской столовой шли в Радиокомитет: еще утром возникла идея через корреспондента «Последних известий» Всесоюзного радио по Ленинграду узнать, что с Ниловым. Мы резонно думали, что Нилов в Ленинграде непременно связан с корреспондентом «Последних известий».

Два Евгения сказали, что все это правильно, а Кригер даже лично знал Нилова, но тут же предложили, нельзя ли отложить эту экспедицию, они чертовски голодны, у них в редакции «Известий» «в вопросе пищевого довольствия отсутствует всякая инициатива», и они намерены свершить рейд в Дом литераторов, там, говорят, даже... Островский, извинившись за то, что он прерывает незаконченную мысль Кригера, предложил пойти в нашу флотскую офицерскую столовую, где наши друзья не будут обижены ни вниманием, ни искусством «пищеблока».

Как известно, флот содействует армии в осуществлении операций, и тут было то же самое: мы пришли в столовую, Островский сообщил начальнику столовой, что у нас в гостях военные корреспонденты «Известий», а один из них к тому же еще и автор «Одноэтажной Америки», «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка», и, кроме того, еще и редактор журнала «Огонек». Нужно ли говорить, что Петров и Кригер были приняты почти так же, как адмирал Нахимов после разгрома флота Селим-бея в Синопе!

После «скромного» обеда мы пошли провожать наших гостей до Пушкинской площади, рассчитывая зайти в Радиокомитет, но все сложилось иначе: уже около «Известий» Петров и Кригер ни за что не хотели нас отпускать — Евгений Петров сказал, что он готовит такой кофе, какой, он подчеркнул, «головой ручаюсь, вы отродясь не пивали!».

Редакция «Известий» поразила нас пустотой помещений. Вскоре нам стало известно, в чем дело: пока Москва в осаде, газета выпускается небольшой группой редакционных работников и военными корреспондентами: Евгением Петровым, Евгением Кригером, Виктором Полторацким, Леонидом Кудреватых, Петром Белявским, Виктором Беликовым, Павлом Трошкиным, Дмитрием Бальтерманцем и Самарием Гурарием. Весь же большой штат «Известий», отбывший из Москвы в дни эвакуации, жил в Куйбышеве.

...Девять литераторов и фотокорреспондентов на казарменном положении: солдатские коечки, покрытые серого сукна одеялами, над койками портреты жен, детей. А некоторые пришпилили «сувениры» — цветные откры-

точки Франции и Италии, добытые в отбитых у противника окопах.

Когда кофе был готов, на столе появилась и бутылка заморского ликера. К кофе с ликером пригласили Катю Иванову — она была единственным работником бухгалтерии «Известий» и отлично справлялась со всеми счетно-расчетными операциями редакции и не стонала от тяжести своего труда, хотя заменяла солидный бухгалтерский аппарат.

Ну конечно, мы заговорили о трудностях, но известинцы заявили, они безумно рады тому, что им никто не мешает и материал от стола писателя идет прямо в набор, а не путешествует от стола к столу. Тут почти все были газетчиками со стажем и вспоминали, что такие времена были лишь в двадцатых годах: газеты того времени по формату были больше, а редакционные штаты едва ли не в пять раз уступали нынешним!

Мы ушли от друзей-известинцев лишь перед утром: ночью, когда были подписаны последние полосы, был показан фильм из коллекции Госфильмофонда «Не покидай меня» с участием знаменитого Джилли.

4 ноября. Вчера приехал Нилов. Худой, усталый, еле дух переводит: два дня добирался из Ленинграда. Часть пути ехал на паровозе.

В нашей «казарме» поставлена еще одна койка. Перед сном мы сводили его в душевую. Возвратился оттуда красный, распаренный, на лице блаженство и дышать стал легче. Раскрыл полевую сумку и начал хвастаться — привез два очерка: «Главный калибр» — об огневых налетах артиллерии линкора «Октябрьская революция» — и «Ханко стоит, как скала». И блокноты, полные записями о блокадном Ленинграде, Балтийском флоте.

Легли мы поздно. Лежа в чистой постели, Нилов долго рассказывал о положении в Ленинграде к тому времени, когда он прибыл туда и перед отъездом оттуда. Картина была такая: восьмого сентября немцы занятием Шлиссельбурга замкнули кольцо вокруг Ленинграда, попадать в него можно было лишь по воздуху, да и то через Ладожское озеро.

Одновременно с этим танковые части противника ворвались в Урицк — это буквально в двух шагах от ворот города. В то же время пехота повела жестокое

наступление в районе Пулковских высот. Над Ленинградом нависла угроза, Военный совет фронта подготовил план уничтожения важнейших и уникальнейших сооружений, на случай если придется оставить город.

В эти дни в Ленинград прибыл генерал армии Г. К. Жуков и вступил в командование войсками фронта. В ночь на 11-е сентября Военный совет принял решение о срочных мерах по укреплению обороны города. Среди этих мер значилось: «...огонь всей корабельной артиллерии сосредоточить для поддержания войск 42-й армии на участке Урицк — Пулковские высоты».

Вот тут-то и поработали артиллеристы главного калибра линкора «Октябрьская революция».

Нилов еще говорил о гибели военных кораблей и пассажирских транспортов при эвакуации Таллина, о сложности походов на Ханко.

Рассказ его не был бы обстоятельным, если б я, бывший ленинградец, не донимал его расспросами. Меня все интересовало: и известные архитектурные шедевры, мосты через Неву, Адмиралтейство, Исаакий (целы ли они), и судьба друзей, ленинградских писателей Юрия Германа, Александра Штейна, Ольги Берггольц, Александра Прокофьева, Веры Кетлинской, Александра Гитовича, Евгения Шварца... Я замучил его. Уже засыпая, Нилов расспрашивал о том, что делается под Москвой, и просил меня сегодня не говорить (чтобы не разбрасываться) ни слова об Одессе, а сделать это завтра. Но о Москве хотел знать теперь же. Мы ничего не могли сказать ему, потому что сами, в сущности, не знали всей сложности обстановки.

Знали, что враг остановлен. Знали, что попытка смять наши боевые порядки в октябре провалилась и месячная передышка для нас это выигрыш, а для немцев проигрыш. Но это все слишком общо — мы пытались пробиться к генералу армии Г. К. Жукову, но пока это не удалось. Наш милейший Николай Васильевич Звягин информирует нас время от времени, но этого очень мало.

Перед сном услышали сообщение об упорных боях на подступах к Севастополю. Не люблю я эту формулировку: обычно после информации об упорных боях следует сообщение об отходе или оставлении.

Спать легли со вздохами и надеждами на утро, которое, как известно, вечера мудренее.

5 ноября. Нилов сдал очерки на машинку и ушел в Радиокомитет — в Ленинграде надавали ему какие-то поручения. Встретиться условились в столовой. Я «сел» на телефон — нескольким авторам были заказаны статьи для пресс-бюро. Мне не везло: два автора успели эвакуироваться, третий пишет и лишь четвертый — академик Варга — уже два дня ждет посыльного: он написал статью о том, надолго ли хватит гитлеровской Германии топливных ресурсов (нефти) при современной насыщенности армии механизмами. По статье выходило — ненадолго: через два-три месяца вся ее механика встанет.

В наркомат мы возвращались в прекрасном настроении: стоял морозный день, небо высокое, голубое и спокойное, как в мирное время. И Москва такая ясная: канун Октябрьской годовщины и люди ходят по магазинам.

Мы приближались к Арбатской площади, когда открылась сильная зенитная стрельба. Подняв головы, увидели фашистские самолеты. Они шли на большой высоте и, освещенные солнцем, выглядели как бабочки-капустницы. Вдруг возле них что-то запорхало. Сначала показалось, что это наши самолеты атакуют гитлеровцев, но скоро стало ясно, это листовки — белыми голубями они пролетели над Арбатом и упали где-то у Смоленской площади.

Зенитная стрельба усилилась, пришлось войти под арку.

Но вот налет кончился, и мы двинулись к себе на Гоголевский.

Арбат снова оживился: по тротуарам засновали люди, в магазинах захлопали двери, побежали машины.

Мы проходили уже станцию метро и стали подаваться вправо к памятнику Гоголю, как вдруг с Арбата выскочила длинная черная машина и пошла через площадь. Она не понеслась, а именно пошла легким, плавным ходом.

Москвичи, словно пораженные какой-то тайной силой, замерли. Но миг смятения тотчас же сменился бурным оживлением, все, кто находился тут, дружно замахали руками, заулыбались.

Машина приблизилась к нам.

В глаза бросились легкой зелени, как на фотографическом светофильтре, стекла автомобиля. За стеклом кто-то махал рукой.

Когда машина поравнялась с нами, мы увидели Сталина.

Он сидел на заднем сиденье и, чуть согнувшись, скуповато, но приветливо улыбался и махал рукой.

Машина вошла в улицу Фрунзе, понеслась к Кремлю.

Шедшие позади нас пожилые женщины заговорили меж собой.

— Слава богу, Сталин в Москве, значит, ее не сдадут,— сказала одна.

Другая, оглянувшись, проговорила:

— Да-а... А болтали, что он в Казани.

6 ноября. С утра в Главном политическом управлении Красной Армии получали разрешение для беспрепятственной работы в частях и соединениях под Москвой. Спасибо Н. В. Звягину, благодаря его хлопотам мы получили нечто вроде «открытого листа», при предъявлении которого проходили все контрольные посты. Столица с двадцатого октября на осадном положении, в действие введен железный контроль.

В наркомат вернулись поздно, что-то около семи часов. Секретарь Звягина Вера Галюзова сказала, что Звягин ждал нас, говорил, одного мог взять с собой на торжественное заседание Моссовета с активом, где будет выступать Сталин.

Торжественное заседание, посвященное двадцать четвертой годовщине Октябрьской революции, состоится на станции метро «Маяковская» не то в семь, не то в семь тридцать. Оно должно транслироваться по радио. Радиоблин был лишь в комендатуре наркомата, и мы пошли туда. Шел снег, густой, липкий. Высоко-высоко слышался рев самолетов и разрывы зенитных снарядов.

Доклад Сталина начался в семь тридцать. Когда он кончился, на улице бушевала вьюга. Пальбы не было. В плотной до слепоты метели ворчание автомобильных моторов да перезвон трамваев...

7 ноября. Вчера наша «казарма» долго не могла отойти ко сну.

Лежа в темноте, мы гадали, каков будет парад на Красной площади. Каждый год к этому празднику готовились задолго, ждали, и если не могли увидеть его своими глазами, то по крайней мере могли послушать репортаж по радио с Красной площади.

Каждый год во время военного парада появлялось что-то новое в вооружении: новые самолеты, танки, пушки. Венцом великого праздника всегда были мощные, пышные демонстрации... В этом году праздник без демонстрации. Да и парад, наверно, будет немноголюдным. Война! Но какой бы он ни был, этот парад, а все же — парад в столице, под стенами которой сосредоточено миллионное вражеское войско!

...Встали рано. Во время завтрака Звягин сказал, что на параде будут и моряки — сводный батальон. Если мы хотим, можем к нему пристроиться и пройти через Красную площадь. И он прибавил, что парад будет прикрываться с воздуха двумястами самолетами.

...Снег валит с самого раннего утра хлопьями. Ветер крутит его, как пряжу из кудели. Хотя мы, русские, к снегу и привычны и даже любим его, но всю жизнь удивляемся, когда он приходит, да еще такой озорной и сильный. В неописуемый восторг впадаем, когда за ночь он наметает такие сугробищи, что всю деревню заваливает по самые крыши. Изб не видно. Только дым крутится, как будто не сугробы тут выросли, а богатыри.

...Все рода войск вышли на парад: артиллерия, танки, конница, пехота, моряки — и только летчики на аэродромах в готовности номер один.

Снег засыпает все. И все, на что он падает, делает причудливым и даже чуть-чуть веселым. Так он изваял на голове бронзового Гоголя пушистую белую шапочку.

Снег обсыпал танки, налип на шапках пехоты и на кубанках и башлыках конницы. Никто не был в обиде на него. Лишь лошади брезгливо трясли мордами: реснички у них слабые, реденькие, и снег слепил им гла-

за, а боевому коню, да еще в строю, перед парадом, глаз нужен острый.

Впечатлений за этот день не счесть, и я спешу записать их, дабы не растерять. Поэтому все записывается без необходимой полноты, штрихами.

Мы с Ниловым решили сначала потолкаться около Красной площади, а затем пристроиться к батальону моряков и пройти с ним мимо Мавзолея Ленина.

...Да, такого парада никогда на нашей памяти еще не было: среди участников нет тех подтянутых, в тщательно пригнанном обмундировании, вышколенных перед парадом на специальных плацах до пота, мучительных строевых учениях солдат и командиров. То тут, то там увидишь усача или обросшего роскошной бородой, в полевом зимнем обмундировании, с оружием, уже побывавшим в деле. И седла на конях не со свежим скрипом и надраенными стременами — все, все уже испытано на поле бранном. И боевые кони, видно, уже забыли о комфорте и скребницах — на крупах вьется смоченная тающим снегом шерсть, полощутся гривы, пена падает через удила.

Танки и пушки выкрашены в белый цвет. Они как будто еще не были в бою, но каждый миг может пробить и их час.

Речь Сталина мы слушали, стоя у гостиницы «Москва».

...Парад начала пехота. Она была выстроена перед Мавзолеем, первой развернула строй и под музыку оркестра пошла тем торжественным и мощным шагом, который так всегда волнует сердце и воображение. Она четко отпечатала свой шаг перед Мавзолеем, перед первыми ополченцами России — Мининым и Пожарским и мимо филигранной кладки Покровского собора, утопая в снегу, спустилась к закованной льдом Москве-реке и оттуда по набережной маршем прямо на фронт.

После прохождения пехоты на площади на легкой рыси появилась конница. За конницей — артиллерия, потом — танки и, наконец, моряки.

Их мало — чуть больше тысячи,— сводный батальон, но они шли монолитно, сильно и четко.

Фашисты уже хорошо знают морскую пехоту по обороне Одессы, Ленинграда и на подступах к Севастопо-

лю. «Шварце тодт» — черная смерть,— шепчут они не без ужаса при виде моряков.

Мы с Ниловым тоже, значит, «шварце тодт». Но так как мы не строевые, то идем чуть поотстав и напряженно,— со стороны это выглядит, наверно, забавно — печатаем шаг, держа равнение на Мавзолей, но, как купринский подпоручик Ромашов, плохо соблюдаем прямую линию движения. На трибуне — Сталин. Он — в шинели и шапке с опущенными ушами.

Перед Мавзолеем мы заметили свою оплошность и быстро сориентировались.

Мимо главной трибуны мы прошли на «уд», не думая о том — придется ли когда-нибудь рассказывать внукам об этом удивительном параде.

Парад, вся обстановка вокруг него, неудержный снег, и мятущиеся галки над башнями Кремля, и стоящий в тридцати километрах от Москвы враг — все это действовало не только на сердце, но и на душу.

Однако, сходя с Красной площади вниз к Москве-реке, осыпаемые мелким сухим снегом, продуваемые ветром, мы, не сговариваясь, оба высказали одну и ту же мысль: хотя враг и силен, но не бывать ему в Москве и не ходить тут танкам Гудериана!

13 ноября. Нилов вместе с корреспондентами «Последних известий» побывал в Перхушково, в штабе Г. К. Жукова. К самому командующему фронтом им попасть не удалось, однако они были приняты кем-то из крупных штабных работников, вот от него-то и узнали о том, что гитлеровцы готовят два удара: в районе Волоколамска и в районе Тулы — Серпухова.

17 ноября. Фашистские полководцы предусмотрели, кажется, все для того, чтобы эта операция в самом начале приобрела ураганный характер: армия фон Бока должна была гигантской волной опрокинуть наши войска и с ходу после прорыва ворваться в Москву.

В штабе Западного фронта нам сообщили, что наступление началось 15 ноября ударом трехсот фашистских танков против позиций 30-й армии на Калининском фронте. Одновременно был атакован правый фланг 16-й армии на Западном фронте.

16-й и 30-й армиям пришлось отойти и закрепиться на новых рубежах. Завязались кровопролитные бои.

19 ноября. Вчера немцы начали наступление на тульском направлении. Москва встревожена. Жизнь в городе стала строже — патрули с дотошным тщанием проверяют пропуска. Лозунги призывают к бдительности.

На этом месте я на время закрываю клеенчатую тетрадь. Пора рассказать, как и кем была остановлена гитлеровская орда под Москвой.

ДОМИК В ПЕРХУШКОВЕ

Я пишу эту книгу в подмосковном дачном поселке Переделкино, километрах в пятнадцати отсюда Перхушково. Там в октябрьские дни 1941 года находился штаб Западного фронта и домик-квартира Г. К. Жукова.

Штаб возник тут в критический момент обороны Москвы. Генерал армии Г. К. Жуков 6 октября 1941 года еще командовал войсками Ленинградского фронта. Телефонный звонок из Москвы, и 7 октября — он уже на квартире Верховного Главнокомандующего.

Положение под Москвой было почти катастрофическое: Западный фронт после недели ожесточенных боев фактически рассыпался, и судьба столицы висела на волоске.

Операция «Тайфун», начатая группой армий «Центр», развивалась так, что генерал-фельдмаршалу фон Боку требовалось побольше трезвости в оценке положения и лучшего знания обстановки, и он, как говорится, мог бы считать себя на коне.

И вот в это время командующим Западным фронтом назначается генерал армии Жуков.

Г. К. Жукову надо было буквально спасать положение, то есть заново, из разрозненных сил формировать войска фронта, закрывать бреши, восстанавливать планомерную работу военной разведки, создавать мощные заслоны на особо опасных участках.

Группа армий «Центр», двигавшихся на Москву, насчитывала около миллиона человек, отлично вооруженных, рвущихся в бой, стремящихся до наступления морозов войти в русскую столицу, помыться в бане, по-

грабить, погулять, позабавиться с русскими женщинами. Орда!

В распоряжении этой орды — 1700 танков и свыше 14 000 орудий. А мы могли противопоставить всего лишь 780 танков и 6800 орудий!

Я пишу об этом не для того, чтобы сообщить какие-то новые факты или как-то по-новому истолковать уже известное. Нет! Теперь о войне издано много книг. В одних сделаны попытки объективно анализировать события, в других бросаются в глаза усилия авторов во что бы то ни стало оставить свой след в истории. Это закономерно: когда Ганнибалы садятся за письменные столы для того, чтобы воссоздать картины былых сражений, им так же трудно удержаться от соблазна, как и всем грешным!

Сейчас нам многое известно: и то, почему война началась «вдруг», и как назывался план, по которому гитлеровская армия без предупреждения развязала войну. Знаем мы также и о том, что, начиная войну с СССР, Гитлер во всем до смешного подражал Наполеону. Французский император вторгся в пределы России с разноязычной 500-тысячной армией. И в войсках Гитлера были: французы, испанцы, итальянцы, румыны, венгры, словаки и финны.

21 июня 1812 года, перед началом вторжения, войскам Наполеона, расположившимся биваком у Немана, был зачитан приказ императора. То же было сделано и 21 июня 1941 года в войсках Гитлера. Войска Наполеона переправились через Неман у Ковно вечером 22 июня. И эта дата повторилась: 4-я армия, которой командовал фельдмаршал Клюге, форсировала Буг тоже 22 июня.

Перед нападением на Советский Союз гитлеровские генералы скрупулезно изучали историю России, ее обычаи, нравы, историю иностранных вторжений, наносили на карты места сражений наполеоновской армии.

В кабинете командующего 4-й армией в его штаб-квартире в Варшаве на столе лежала большая стопка книг. Фельдмаршалу Клюге было предназначено первому со своей армией пересечь советскую границу. Такая же честь была предназначена для него и при взятии Москвы. Он с особым вниманием изучал мемуары Армана де Коленкура. Эта книга, по свидетельству начальника штаба 4-й армии генерала Блюментритта, все-

гда лежавшая на столе фельдмаршала фон Клюге, стала его библией.

Блюментритт впоследствии писал, что фельдмаршал фон Клюге «в шутку часто сравнивал себя с наполеоновским маршалом Неем. Как и Нею, ему было неведомо чувство страха. Без тени колебания он летал и ездил под огнем противника».

Поход Наполеона на Москву и сама личность Бонапарта очень интересовали и генерал-фельдмаршала Морица Альберта Франца Фридриха Федора фон Бока — командующего войсками группы армий «Центр», самыми главными войсками гитлеровской Германии. Именно на них возлагалась задача овладеть Москвой и покончить с Советской Россией!

Любимец Гитлера фон Бок в 1940 году с триумфом вошел в Париж. Да, именно он, фон Бок, дал возможность смыть позор Компьенского леса. Там, в Компьене, в том знаменитом вагоне, в котором Германия в первую мировую войну была поставлена на колени, Гитлер насладился отмщением.

И вот через год этот самый фон Бок двинулся с войсками на Москву. Ему, конечно, интересно было, как шел к Москве Наполеон, какие сражения б ы л и на пути, как император входил в древнюю столицу и как он, Мориц Альберт Франц Фридрих Федор фон Бок, генерал-фельдмаршал, войдет в Москву, как появится в Кремле, как заставит звонить в колокола...

В Москву за время ее существования только один раз входил иностранный завоеватель; и его имя куда короче, чем у гитлеровского фельдмаршала.

13 сентября 1941 года Мориц фон Бок начал генеральное сражение за Москву. Это сражение было названо в планах генерального штаба третьего рейха «Тайфуном».

Как известно, слово это китайское: «тай» — сильный, «фун» — ветер.

Операцию начал фельдмаршал фон Клюге, тот, что, подобно наполеоновскому маршалу Нею, не испытывал чувства страха под огнем противника. Через неделю ожесточенных боев 4-й армии удалось сильно продвинуться вперед, и фон Клюге и фон Бок считали, что самое бóльшее через неделю они будут в Москве.

Именно в эти грозные дни в Москву прибыл из осажденного Ленинграда Жуков. Он прилетел вечером

7 октября и с аэродрома проследовал на квартиру Верховного Главнокомандующего.

Сталин был нездоров, но генерала принял без задержки.

— Поезжайте сейчас же в штаб Конева,— сказал он,— тщательно разберитесь в обстановке и позвоните мне оттуда в любое время. Я буду ждать.

Пройдет много лет, пока мы узнаем подробности о тех трагических днях из воспоминаний самого командующего Западным фронтом.

От Сталина Жуков заехал в Генеральный штаб к маршалу Шапошникову, где получил карту с обстановкой на Западном фронте на 12 часов, попил чаю — и в штаб Западного фронта.

Дорогой, в полной темноте, расстелив карту на коленях, Жуков, освещая ее карманным фонариком, пытался изучить обстановку на фронте. Генерала бил сон, бил так, что несколько раз он приказывал остановить машину и делал пробежки.

В Красновидово, где расположился штаб Западного фронта, Г. К. Жуков прибыл ночью. Он застал здесь командующего фронтом генерала И. С. Конева, начальника штаба В. Д. Соколовского, члена Военного совета Н. А. Булганина и начальника оперативного отдела штаба фронта Г. К. Маландина.

Г. К. Жуков кратко рассказал, зачем прибыл, и тотчас же приступил к работе — Верховный Главнокомандующий хотел знать обстановку на Западном фронте такой, какая она есть на самом деле, то есть где проходит линия фронта, какие позиции занимают войска, какая убыль в личном составе, в чем нужда, как прикрыть наиболее опасные участки — словом, ту необходимую информацию, без которой при сложившейся весьма тяжелой и опасной обстановке никакие мероприятия Ставки не могли бы дать ожидаемых результатов.

Полтретьего ночи Жуков позвонил Сталину, доложил обстановку и указал на чрезвычайно слабое прикрытие можайской линии фронта, высказав свои соображения о мерах, которые необходимо было принять для укрепления этой линии, и на вопрос Верховного Главнокомандующего, что он (Жуков) намерен делать в первую очередь, сказал, что необходимо выехать к Буденному — в штаб Резервного фронта.

Маршала С. М. Буденного генерал Жуков нашел в Малоярославце.

Буденный уже двое суток не имел связи с Коневым, Когда Жуков рассказал о положении у Конева, Буденный сказал:

— У нас не лучше. Фронта обороны фактически не существует. Я сам чуть не угодил в лапы противника между Юхновом и Вязьмой.

В сторону Вязьмы шли танковые и моторизованные колонны противника, немцы, видимо, обходили город с востока...

Из Малоярославца через Медынь в сторону Юхнова. Юхнов уже в руках у немцев. За Медынью Жуков встретил танковую бригаду, которой командовал Троицкий, знакомый Жукову по Халхин-Голу. Генерал дал указание развернуть оборону с целью прикрытия пути на Медынь и двинулся в сторону Калуги, около которой уже шли ожесточенные бои. Здесь его застала телефонограмма начальника Генерального штаба: Верховный Главнокомандующий приказывал прибыть 10 октября в штаб Западного фронта.

От Калуги по разбитым фронтовым дорогам снова в Красновидово.

Здесь Жукова вызвали к телефону, звонили из Ставки. Верховный Главнокомандующий сообщил, что Ставка решила назначить Жукова командующим Западным фронтом. В заключение разговора Сталин сказал: «Берите скорее все в свои руки и действуйте».

И новый командующий Западным фронтом начал действовать с присущей ему энергией и полной отдачей всех своих сил главному делу своей жизни — военному искусству, или, что, может быть, точнее,— искусству войны.

Как известно, 13 октября генерал-фельдмаршал фон Бок бросил свои войска в новое наступление.

Конечно, Г. К. Жукову за неделю не удалось привести в стройный организм Западный фронт, и атакующие имели успех, но уже не тот, на который они рассчитывали и какой мог получиться, если б Западный фронт оставался таким, каким он был 7 октября!

В ряде мест противник получил по зубам, да так, что фон Бок начал понимать, что колокольного звона не будет, что Москва не Париж сорокового года!

Однако положение под Москвой оставалось угрожа-

ющим, и в этот момент было принято решение об эвакуации из столицы ряда центральных учреждений и дипломатического корпуса.

В эти дни я был в Севастополе и не имел понятия о той опасности, какая нависла над Москвой, куда должен был срочно возвратиться.

На мое счастье, в ночь на тринадцатое октября из Симферополя в Москву направлялся специальный самолет. Летчик на бреющем полете подошел к Москве и прорвался прямо на Центральный аэродром столицы, и я попал «с корабля на бал» — началась эвакуация Москвы...

«ПРУССКИЙ — ГУТ, РУССКИЙ — ГУТЕЕ»

Немец, убитый под Севастополем,— не очутится под Москвой. Немец, убитый под Москвой,— не очутится под Севастополем.

Из поговорок защитников Севастополя

Снова я раскрываю тетрадь в клеенчатой обложке.

21 ноября. Н. В. Звягин спросил, не смогу ли я съездить под Тулу, в Дашковку, к морякам-артиллеристам и вручить им приказ наркома, адмирала Н. Г. Кузнецова, о присвоении гвардейского звания.

Я давно мечтал увидеть пушки, называемые «катюшами».

Подполковник Кочетков, к которому предложил съездить дивизионный комиссар, как раз командовал этой новой артиллерией, не имеющей ни стволов, ни замков.

В разговоре Звягин намекнул, что мне придется помочь артиллеристам написать письмо наркому в ответ на присвоение им гвардейского звания.

Вернувшись от Звягина в свою казарму, я застал там Яна Островского. Он спросил, где я был, а когда я рассказал о предложении дивизионного комиссара, Ян сказал:

— Слушай, старик!.. Я еду с тобой!

22 ноября. В Серпухове в Особом отделе мы узнали,

где находится дивизион Кочеткова и как проехать в эту самую Дашковку.

Кочетков поначалу встретил нас предельно настороженно — оружие его сверхсекретно, а тут вдруг заявились корреспонденты.

Подполковник пронзительно посмотрел на нас, а затем на наши удостоверения личности и командировочные предписания и, возвращая документы, тихо сказал:

— Добро,— и жестом пригласил сесть на старенькие венские стулья.

Повесив шинель на гвоздь, а сверху полевую сумку, я закурил. Островский, подмигнув, кивнул на мою сумку: дескать, пора вручить подполковнику конверты. Я легонько качнул головой: мол, не торопись — и, затянувшись дымком папиросы, украдкой рассматривал подполковника, пытаясь понять, что он за человек.

В избе было жарко. Подполковник в свитере и меховой безрукавке, слегка сутулясь, мягко ступал по скрипевшим половицам. Он был чем-то озабочен и с виду вовсе не выглядел военным. Его можно было принять за работника райкома партии, агронома или ветеринарного врача. Артиллерист в нем сказывался лишь в прищуре глаз: он словно бы смотрел на нас через прорезь прицельной планки. Рисуя героев войны, людей стойких, лишенных позы и ухарства, этаких чернорабочих сражений, мы иногда вспоминаем толстовского капитана Тушина.

Кочетков, кадровый артиллерист, моряк, убежденно считающий артиллерию главным оружием войны, конечно, имел что-то общее с Тушиным, как человек одной с ним профессии. И только. Внешне же это совсем другой человек.

У него очень усталый вид. Я знаю, отчего это: два месяца стояния насмерть у станции Оленино подо Ржевом, затем бои в окружении, бои до последнего снаряда, уничтожение пушек, выход из окружения.

Подполковник сидит за большим деревенским столом, выскобленным и отлично вымытым. Карта, циркуль, линейка и тонко очиненные, мягкие, штурманские карандаши лежат сиротливо. Сон сморил командира, а прилечь нельзя — скоро полночь и пойдут звонки из штабов: «катюша» — оружие еще весьма редкое и к тому же весьма эффективное и используется оно с разрешения высоких военных сфер. Это ставит дивизион



в такое положение, что он должен круглые сутки жить «на товсь».

Сегодня у подполковника особенно трудный день — мы своим появлением нарушили обычное его течение: в связи с введением дивизиона в гвардию проводились митинги, на которых обсуждалось письмо наркому.

Артиллеристы — мастера в области баллистики, скорострельности и убойности их оружия, но не в эпитетах.

Пришлось Островскому и мне попотеть над текстом письма. Признаюсь, мы не создали литературного шедевра и кончили письмо старым лозунгом настоящих рыцарей войны: «Гвардия погибает, но не сдается!»

Эта последняя фраза особенно понравилась артиллеристам.

После собраний состоялся праздничный ужин с «фронтовой, законной», удвоенной в честь гвардейского звания.

После ужина мы с Островским повели «атаку» на подполковника. Надо сказать, что Кочетков предельно неразговорчив. Часто задумывается и делает вид, что не слышал вопроса, недоуменно вскидывает глаза, будто проверяет, действительно ли его спросили о чем-то или это лишь послышалось ему.

Нам хотелось сразу же узнать о дивизионе и о самом подполковнике если не все, то как можно больше.

Кочетков пытался уйти от нашей охоты, но, как он ни хитрил, ему не удалось ускользнуть от нас — любознательность давно уже избавила от робости людей нашей профессии.

Кочетков сдался: он понял — литературная атака тоже сила!

Дивизион Кочеткова появился в Серпухове в октябре, в те дни, когда Москва оказалась в критическом положении.

В Серпухове пылали пожары, эвакуировались учреждения, жители покидали город. У подъездов стояли машины, в их кузова грузили бумаги, разное имущество, и архивы, и другое добро, прихваченное со страху.

И вот в этот горький для серпуховчан день на улицах появились машины кочетковского дивизиона: новенькие грузовые машины с установками, затянутые прочным, зеленого цвета, брезентом.

Машины въехали во двор одиннадцатой школы, и моряки, не мешкая ни минуты, заняли помещение.

Замаскировали окна.

Возле машин, у ворот и дверей выставили часовых.

В классе, где разместился штаб, развернули радиостанцию и тотчас же связались со штабом 49-й армии генерала Захаркина.

В город вышла разведка.

Появление моряков не осталось незамеченным. Серпуховчане, собравшиеся уходить из горящего города, как бы отрезвели: а чего бежать? Зачем покидать родной дом и кров? Чем страдать в скитаниях, не лучше ли тут у себя постоять за землю свою? Участники первой

мировой войны лежаночные деды, которым «вакуация хуже смерти», говорили: «Раз в город вошли моряки — значит, не бывать тут немцу!»

С какой же радостью люди развязывали узлы и распаковывали тюки — и обратно в свои квартиры!

О моряках, обосновавшихся в Серпухове, вскоре, бог знает по какому «телеграфу», узнали и те, кто раньше покинул город, и люди потянулись обратно домой, на Оку.

Впоследствии они столько сделали для фронта! Воины сорок девятой армии долго будут помнить самодельные термосы — ведра с крышками и чехлами, в которых доставлялась на передовую горячая пища, теплые маски для кавалеристов, санки, на которых вывозили с поля боя раненых, и, наконец, сердечный, материнский уход за ранеными серпуховских женщин.

Дивизион Кочеткова недолго постоял в Серпухове, и, когда получил приказание перебазироваться в деревню Дашковку, его провожали так, как в портах уходящих в дальнее плавание. А мальчишки этого славного города бежали за машинами до самого шоссе...

23 ноября. Дашковка. Белый снег. Черные леса на горизонте. Со стороны Тулы доносятся гулы взрывов — то ли бомбят, то ли стреляют орудия крупного калибра.

Легли вчера поздно — подполковник долго сидел за столом, впадая порой в дремотное состояние,— звонка из штаба армии так и не было.

Я сидел с керосиновой лампой за дощатой перегородкой и писал.

Мне неудержимо хотелось спать, но еще больше дождаться звонка из штаба: а вдруг придет приказание немедленно выехать на позицию, и я прозеваю разговор подполковника со штабом, момент отдачи приказания командирам орудий, сборы ну и т. д. Мне казалось, что я все это должен был увидеть и услышать собственными ушами.

Хотя это все «танец от печки», любим мы, журналисты, этот «танец»! А ведь можно разговор со штабом, сборы на позицию и сам выезд оставить, как говорят кинематографисты, «за кадром», а начать с главного, то есть рассказать, что в общем-то представляет из себя этот новый вид артиллерии. Разумеется, не посягая на

его секретность. Ведь оружие это знают лишь единицы, а хотят знать о нем миллионы.

Мы с Островским наслышались столько об особенностях «катюши», что хотелось поскорей увидеть все своими глазами. А говорили нам и о фантастическом пламени, извергающемся при залпе, и о шуме, который сопровождает полет реактивного снаряда... Вот ради всего этого я и клевал носом перед тетрадью в черном клеенчатом переплете...

24 ноября. Дашковка. Выезда на позицию не было. Весь день у разведчиков дивизиона. Как мы ни обхаживали их командира лейтенанта Залявина Ивана Ивановича, он все, как говорится, «уходил в кусты»: «Какой я герой?», «Да я ничего не сделал!», «Обо мне писать нечего! Вон поговорите с разведчиками». А разведчики глядят на лейтенанта: мол, с ним поговорите...

25 ноября. Наконец-то из штаба армии приказ — немедленно выехать на позицию и рассеять залпом у шоссе Тула — Москва скопление вражеских танков.

Несколько километров автострады. По асфальту мчится сухой снег. С асфальта — на проселок. Красиво ехать под белыми березами. На лесной поляне остановились. Начальник связи дивизиона быстро развернул радиостанцию и связался со штабом. Штаб подтвердил свой приказ и передал координаты цели.

Быстро сбрасываются чехлы и дается команда приготовиться и затем короткое и точное слово: «Залп!»

Сначала мне показалось, что на лес налетел огромной силы шквалистый ветер. Потом я услышал рев и увидел ослепляющий огонь и поразительной красоты картину полета снарядов... Писать о «катюшах» сложно из-за секретности — нельзя упоминать об особенности этого ошеломляющего оружия... Достаточно сказать, что «катюши» не имеют постоянных позиций, стреляют с переднего края, после залпа немедленно должны сняться с места и сломя голову нестись как можно дальше от переднего края: гитлеровцы с жадностью охотятся за установками, засекают по вспышкам и тотчас же открывают огонь.

В эти дни генерал Гудериан пытался обойти Тулу,

отрезать ее и, оставив на съедение пехоте и артиллерии, пробиваться дальше, к Москве. Войти в столицу с марша. Марш на Москву. Марш танков! Об этом трещит радио гитлеровцев. Что ж, это звучит — марш танков в столицу красных! Однако в октябре об этом тоже говорили все радиостанции фашистского рейха. Тогда они на что-то еще могли рассчитывать, а в ноябре... Это, как говорится в старой русской поговорке, «прусский — гут, русский — гутее»! Разговоры о взятии Москвы с ходу, о «блицкриге» не велись уже даже в письмах и дневниках фашистских солдат и офицеров. Правда, кое-кто все еще продолжал ссылаться на богов немецкой тактики и стратегии Клаузевица и Шлиффена: «Войну, начавшуюся весной, заканчивать к листопаду». Ради этого и предпринята операция «Тайфун». Но листопад-то кончился — с неба валит снег, землю сковал мороз, и у бравого Михеля мерзнут уши, а тут у русских, о которых Геббельс твердил еще летом, что они разбиты, появились эти огненнохвостые снаряды, которые даже от железа оставляют лишь пепел.

В дневнике я записал первое ощущение о выезде на позицию. Меня посадили в кабину с шофером и показали на щитке красную кнопку и сказали, что, если машина попадет в сложное положение, если вдруг прорвутся гитлеровцы и попытаются захватить установку, я д о л ж е н нажать на эту кнопку, и мы с шофером взлетим на воздух. И, проверяя, правильно ли я понял, добавили, что установка ни в коем случае не должна попасть в руки врагу!

Все время пребывания на позиции я не спускал глаз с красной кнопки — она притягивала к себе, как горная пропасть.

26 ноября. Дашковка. Завтра на рассвете выезжаем в Москву. В моей полевой сумке — ответное письмо гвардейцев адмиралу Кузнецову, в сердце чувство восхищения людьми, подписавшими это письмо, и уверенность в том, что моряки Кочеткова не дадут танкам Гудериана перерезать шоссе Тула — Москва.

27 ноября. Москва. Мы покинули Дашковку на рассвете и приехали в столицу задолго до обеда. Решили не сразу в наркомат, а проехаться по улицам.

Всякий раз, въезжая в Москву, испытываешь волнение.

Все здесь касается тонких струн души: и вьющиеся стаи галок над башнями Кремля, и суровый взгляд первого русского ополченца князя Пожарского, и твердая поступь рабочих батальонов, марширующих по Садовому кольцу, и висящий на серебряных цепях над застывшей рекой Крымский мост. И в эти дни столица прекрасна! За неделю, что мы не были здесь, она прибралась, стала энергичней и стремительней. На улицах четкий порядок и чистота — дворники сгребают снег и посыпают тротуары песком, как в мирное время. Быстро бегут трамваи и троллейбусы. Всюду плакаты и призывы: «Работать так, чтобы фронт сказал «спасибо»!», «Долой благодушие и беспечность!», «Родина-мать зовет!», «Не сдадим Москву!»

28 ноября. Москва. Нилов встретил нас с нескрываемой радостью. Сначала мы, конечно, доложились дивизионному. Звягин прочитал привезенное мною письмо и затем около часа расспрашивал. На лице его была умилительная радость, как будто я рассказывал ему о подвигах его собственных сыновей.

Хотя дивизионный комиссар был в годах и вид у него сильно усталый, но как он вдруг приосанился, когда я говорил о том, что в день прибытия в Серпухов дивизиона Кочеткова жители этого древнего русского города приостановили бегство.

— А как они снабжаются? — спросил он, когда мне казалось, что доклад мой кончился.

Я ответил, что неплохо. Затем последовал вопрос, как у них с «вещевым довольствием» и, наконец, есть ли у них что читать?

Он все тщательно записал в толстую тетрадь и, отпуская нас с Островским, попросил составить рапорт адмиралу Кузнецову.

...Как только мы вошли в свою «казарму», Нилов тут же вытянул из-под койки чемоданчик, а из него бутылку какого-то заморского зелья и чудесные, чеканные из серебра стилизованные рюмки в виде древних шеломов.

Он не видел «катюш», из вежливости спросил, как мы съездили, и, не дожидаясь, что мы ответим, буквальн-

но забросал нас вопросами, что это за штука «эрэсы», в чем их принцип действия, как они выглядят, верно ли, что выстрела как такового нет, грома и разрыва не слышно, а раздается лишь страшный шум и вспыхивает огонь?

30 ноября. В поисках стихов для пресс-бюро зашел в Дом литераторов. Шумно, дымно. Писатели в гимнастерках, пользуясь свободной минутой от дел в армейских газетах, где они, как и мы, грешные, «приравнивают перо к штыку», обмениваются новостями, вспоминают минувшие дни. На большинстве не очень-то ладно сидят «мундиры», а Алексей Сурков — он отпустил усы жесткие, не поддающиеся укладке, «плотницкие» — выглядит истинным русским солдатом. Да он и есть старый и настоящий солдат. Газета фронтовая, в которой он работает, набирается в типографии «Гудка». Он и В. Кожевников живут тут же, в переулке, недалеко от улицы Герцена. Стихи обещал дать. Вспомнил, что некогда сам принадлежал к флоту.

1—2—3—4 декабря. Москва. Пять дней отписывался и занимался бюллетенями пресс-бюро. Строчил и Нилов — он в то время, когда мы жили в Дашковке, успел побывать у генерала Доватора и генерала Говорова.

6 декабря. Мы собрались вставать из-за стола, когда в столовую вошел Нилов. На лице улыбочка. Было видно, что он что-то узнал очень важное (очень!), но либо не должен рассказывать об этом, либо сперва потомит нас, а потом расскажет.

— Привет Суворовым морей! — сказал он характерно глуховатым голосом и подсел к нашему столу.

Он пил предложенное ему пиво мелкими глотками, приговаривая после каждого глотка: «Дела-а-а...» Но сверх этого ничего не говорил, а мы сделали вид, что не догадываемся, как полон он секретами и до чего же трудно ему удерживать их при себе.

Когда мы вернулись в «казарму», зашел Н. В. Звягин. Он весь сиял и не сдерживал себя, а прямо сказал, что сегодня в шесть утра мощной артиллерийской

и авиационной подготовкой началось наше наступление под Москвой.

Фронт прорван в нескольких местах. Советские танки рассекают фашистскую оборону, заходят в тыл, а пехота и конница гонят фашистов на мороз, в снега и уничтожают... Хорошо дерется 64-я бригада морской пехоты.

Тут же посоветовал съездить в бригаду.

Когда он ушел, Нилов тяжело вздохнул и уже не загадочно, а смущенно улыбнулся и скороговоркой, слегка краснея, сказал, что для него это не новость, но он давал слово — никому не рассказывать. Он добавил, что в редакции контрпропаганды Радио уже известно, как был взбешен Гитлер, узнав о наступлении советских войск под Москвой...

Мы засиделись за полночь. Спать совсем не хотелось — уж очень приятной была новость! Она прозвучала как чудо, хотя мы и видели, как на наших глазах менялась наша армия, как она крепла, каким отличным оружием ее вооружала наша промышленность, как тепло одела к зиме. Более того, мы знали, с каким нетерпением ждала этого дня вся армия. Помнится, когда мы были в дивизионе Кочеткова, один из командиров «катюш» в тот памятный вечер продекламировал: «Мы долго молча отступали. Досадно было, боя ждали. Ворчали старики: «Что ж мы? На зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?»

Да, время обороны кончилось, наступило новое время — время наступлений!

НАЧАЛО

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый...

М. Лермонтов, «Бородино»

Черная «эмка» не очень-то приспособлена для поездки на зимний фронт: черная машина на фоне белого снега — яблочко для снайпера. Но у Звягина нет другой.

Нас — четверо. Григорий Нилов, Ян Островский и я садимся на заднем сиденье, Дмитрий Гуляев — с шофе-

ром. Ехать надо в Марфино — по последним сведениям, штаб 64-й бригады морской пехоты там. Моряки уже сутки в наступательных боях, и, конечно, штаб мог передислоцироваться.

Что мы знаем о Марфине? До революции имение Паниных: дворец в стиле готики, беседки, домашняя церковь, мосты специфической замочной архитектуры, пруд. Перед войной Марфино — санаторий. Ехать в Марфино по Дмитровскому шоссе либо железной дорогой с Савеловского вокзала до станции Катуар.

Миновав несколько застав, перед которыми тщательно проверялись наши документы, мы выехали на Дмитровское шоссе. Оно забито машинами, танками, повозками, кавалерией и пешими колоннами.

Небо как распоротая перина — снег осыпной. Мотор ревет. По глубокому белому месиву въезжаем через повисший дугой над замерзшим прудом красный каменный мост. Штаба бригады тут не оказалось — он отбыл в Белый Раст.

Замок занят под полевой госпиталь. Печи не топятся, а наспех сложенные времянки дымят. Раненые всюду. Многие лежат на полу, на жидкой соломенной подстилке. Пронзительный запах йода, крови. Слышны стоны, бред, длинные флотские ругательства.

Очень суетно: одних раненых, прошедших, как говорят, «первичную обработку», везут в автобусах в столицу. Свежих на салазках и волокушах подтягивают к подъезду.

Один из раненых окликает меня:

— Товарищ политрук, с какой вы части?

Я сказал, что из Главного политуправления.

— Передайте там — не бывать фрицу в Москве, пока жив хоть один моряк! Это говорю я — Степан Тертичный, моряк-тихоокеанец!

Он хотел что-то еще сказать, но санитары подхватили носилки, на которых он лежал, и понесли его к хирургу.

Когда мы выбрались из Марфина на шоссе, снег кончился. Не доезжая разбитого моста, свернули на проселок и добрались до реденького леса. В нем стоит

батарея, прикрывающая наступление моряков. От опушки этого крошечного леса тянется большая, совершенно открытая поляна. Чтобы попасть в Белый Раст, надо пересечь ее. Моряки ведут злой бой за село Никольское, то, что в двух километрах от Белого Раста. Оттуда доносится гул боя. Батарея, скрытая в леске, время от времени стреляет по немцам. Они отвечают, и то тут, то там со стоном и треском падают высокие ели и белоствольные березы.

Поляну сильно замело, и машина, сбиваясь с наезженной дороги, буксует. Нашу черную машину засекает вражеский самолет-разведчик, и начинают падать снаряды. Мы выходим из «эмочки», выталкиваем ее из глубокого, вязкого снега на твердое полотно дороги, а сами в быстро наступивших сумерках, спотыкаясь и утопая в рыхлом снегу, идем вперед, к селу.

Первое, что мы услышали, очутившись на улице Белого Раста, плач. Несчастья бывают разные, и плач по ним тоже разный. Но когда падает на тебя все сразу... Даже человек со стальными нервами и тот не прошел бы мимо того, что открылось глазам. Обгорелые печные трубы, торчащие над грудой дымящих углей; дома с выбитыми окнами, труп женщины с проломленной головой...

Она лежит на пороге собственного дома. Мы еще не знаем, что ее зовут Арина Феоктистова, и не знаем, как зовут ее детей, сидящих возле холодного тела матери с опухшими от слез глазами. Ее убили только за то, что муж в Красной Армии.

На другой стороне улицы еще труп женщины. Потом, позже, мы узнаем, что эту убили за то, что она не могла ответить немцу на его вопрос, так как не знала немецкого.

В каждом доме либо слезы, либо убийственная немота.

...Перед занятием гитлеровцами Белого Раста жители села снесли в церковь все свое добро, которое не могли взять с собой в лес: зерно, посуду, одежду, швейные машины. Гулко раздаются шаги в пустом храме: алтарь разбит, на полу нагажено, около престола валяются на полу требники, разбитые иконы, на одной из церковных книг отпечаток гвоздей фашистского сапога.

Мы остались на ночь в Белом Расте. Здесь второй эшелон бригады, штаб и политотдел. Командир бригады полковник Чистяков с первым эшелоном штурмует село Никольское.

Спали на полу, вповалку, как пальцы в варежке, головами к стене, за которой всю ночь падали мины,— они трясли дом, как черт душу грешника.

Окна зашиты фанерой. Сплющенная гильза давала слабый свет. Огонь трещал, Писать трудно.

Долго не могли уснуть. Рядом со мной с одной стороны лежал Гриша Нилов, с другой — инструктор политотдела. Он охотно отвечал на наши вопросы.

64-я бригада была сформирована из моряков Тихоокеанского флота. Под Москву моряки прибыли в ноябре и с поезда прямо на фронт, где и вступили в бой против большой группы фашистских парашютистов, выброшенных гитлеровским командованием в районе канала Москва — Волга и Северной железной дороги. Моряки взяли парашютистов в кольцо — ни один из них не ушел живым. После этого бригада была переброшена в Марфино. Здесь и велась подготовка к будущим боям за Белый Раст. Брать это крупное село было не просто — оно стояло на выгодном месте между Рогачевским и Дмитровским шоссе — гитлеровцы превратили его в опорный пункт.

Полковник Чистяков учил храбрых до безумства моряков азам пехотного боя: окапываться, строить ложементы и окопы; в атаку в рост не ходить, не распахивать бушлаты, строго применяться к местности, прежде времени не обнаруживать себя.

Перед боями за Белый Раст бригада стояла в густом ельнике, краснофлотцы вырубили в мерзлой земле землянички, поставили железные печурки, возвели нары.

Не сразу и нелегко покорились они железным законам пехотного боя — сердце горело, хотелось скорей, без этих пехотных штучек, а как в фильме «Мы из Кронштадта», не прячась, а прямо во весь рост, грудь нараспашку, с криком «Полундра!» — вперед на заклятого врага.

Горячие натуры ворчали: «Скоро ли в бой?!»

В свободные от строевых занятий часы моряки, сидя у жарких печей, вспоминали далекое море, корабли и с

большой душевностью пели «Раскинулось море широко...». Но вот пришел час, которого так ждали все: двадцать два краснофлотца под командой младшего политрука Дуклера в темноте пробрались в Белый Раст. На окраине их окликнул немецкий часовой:

— Вер ист да?

Его сняли без шума и пошли дальше в глубь села. Добрались до танков и тут неосторожным движением выдали себя, поднялась стрельба. Моряки отошли и заняли на краю села дом с кирпичным цоколем. Держались в нем, как в крепости, весь день до наступления темноты, отбили несколько атак. Вернулись в бригаду ночью с подробными сведениями о силах, расквартированных в Белом Расте.

Наутро в стан фашистов ворвался наш танк с десантниками, операция прошла бы великолепно, если б при отходе десантники не попали под сильный огонь.

7 декабря моряки взяли в клещи Белый Раст. Бой развернулся ожесточенный, под вечер село было взято. В руки победителей попало несколько исправных танков и бронемашин, брошенных танкистами 3-й танковой группы генерала фон Готта.

Передовые отряды во главе с полковником, не задерживаясь, следуя буквально по пятам врага, с ходу завязали бой за Никольское и стремительным ударом захватили, прибавив к прежним трофеям еще два тяжелых и три средних танка, четыре бронемашины и две противотанковые пушки.

И в Никольском полковник Чистяков не дал отдыха своим орлам, а тут же в ночь завязал бои за Дмитровку и Удино.

Штаб армии поставил перед моряками задачу — спихнуть фашистов с Рогачевского шоссе и выйти на Ленинградское, к Солнечногорску,— загнать гитлеровцев в снега. Загнать и истребить!

По приказанию полковника Чистякова погорельцам, сиротам и красноармейским вдовам Белого Раста выдана мука. Сегодня из труб уцелевших домов курчавится сизый дымок и над селом стелется запах печеного хлеба. Во дворах появился скот, и, когда затихал

бой, слышалось мычанье буренок и блеянье овец — животные вернулись вместе со своими хозяевами из леса, где прятались, пока в селе стояли немцы.

Конечно, горе не скоро забывается, но жизнь не стоит на месте: с утра жители села и моряки предали земле убитых, потом был митинг.

После митинга я остановил у подбитого немецкого танка краснофлотца — мне захотелось сделать снимок. Моряк спросил, как ему и где встать. Я показал. Он спросил, что должен изобразить. Я сказал — ничего. Краснофлотец дернул плечом:

— А что, если я встану вот так? — Он выхватил из ножен отточенный нож, лезвие блеснуло, уперся его острием в неподатливое тело танка и сказал:— Вот так! И буду уделять ему внимание. Как, подойдет?

— Подойдет,— ответил я.

Когда сфотографировал, он спросил:

— Товарищ политрук, имею к вам вопрос. Разрешите?

Я кивнул.

— Скажите, почему у нас так получилось, что этот людоед Гитлер под Москвой очутился? Как же — «ни пяди...»? А? Что, у нас превосходство, что ли, плохое?

— Было плохое,— сказал я, — а теперь сами видите — гоним! И дальше будем гнать! Да как еще! Сейчас только начало!

Совещание командиров батальонов проводил помощник командира бригады полковник Кузмин. Печечка из непромазанных кирпичей дымила так, что нечем дышать. Уму непостижимо, как это у полковника Кузмина хватило смелости еще и курить при этом!

Обросший густой щетиной, он сидел на единственном стуле у моргавшей керосиновой лампы и сиплым голосом говорил о предстоящих задачах. После каждой фразы не то вопросительно, не то утвердительно произносил: «Понятно?»

Отпуская комбатов, он сказал:

— А самое главное: гнать и гнать! Ни минуты передышки не давать врагу! Понятно? Не оставлять его на ночь ни в селе, ни в лесу, ни даже в овраге — гнать в поле! В снега! На мороз! Понятно?

«НЕ УМИРАЙ, ПОКА ЖИВЕШЬ»

...Было около двенадцати ночи, когда, закончив очередную главу, я встал из-за стола — захотелось на Ленинские горы: люблю в ночное время смотреть оттуда на Москву. От самой реки и до горизонта — огни! Море огней! И город шумит, как океан при свежей погоде. Глядишь на столицу, а в памяти декабрьская Москва сорок первого года... Помнится, зашел к нам в корреспондентскую «казарму» дивизионный комиссар Звягин и радостно сообщил о том, что наши войска перешли под Москвой в наступление.

Наступление! Его ждала вся страна от Москвы и до Камчатки, от турецкой границы и до Мурманска... Ждали как чуда!

Помнится, мы задали Звягину несколько вопросов — он охотно ответил и собрался было уходить, да вдруг остановился и как бы призадумался, чуть опустив стриженную под ежик голову, затем поднял ее, посмотрел на нас и, вздохнув, сказал: «Есть и неприятные вести... Из Севастополя шифровка: фон Манштейн, по-видимому, на днях начнет второй штурм Севастополя...»

Возбужденные радостной вестью о наступлении наших войск под Москвой, мы тогда невнимательно отнеслись к содержанию шифровки из Севастополя, выпросили у Звягина машину и с трудом в кромешной тьме добрались до Воробьевых гор.

Внизу ни одного огонька. Лишь на дальних подступах вдруг вскидывались белые колонны прожекторных лучей да всплескивались сполохи артиллерийского огня: наши пушкари продолжали взламывать вражескую оборону и выгонять гитлеровцев из теплых блиндажей на мороз, в снега.

Когда мы возвращались, Нилов — он собирался на Черноморский флот — вдруг заговорил о Севастополе.

Теперь-то я не очень помню, что он тогда говорил, но воспоминание о том разговоре заставило меня бросить прогулку — хотелось немедленно записать все. Я вернулся к письменному столу. Я принадлежу к тому типу людей, которые любят работать ночами. Врачи называют их «совами»... Итак, прогулка побоку — опять зашелестели страницы старых блокнотов, а вскоре и за-

стрекотали клавиши пишущей машинки — пошла следующая глава.

...29 октября 1941 года 11-я немецкая армия генерала Эриха фон Манштейна смяла нашу оборону в Крыму в районе Ишуни и вторглась на полуостров.

Сильная, отлично вооруженная, хмельная от предыдущих побед и предстоящих радостей (фюрер обещал наиболее отличившимся подарить виллы на Черноморском побережье), гитлеровская армия с беспечной наглостью, как вода, прорвавшая плотину, растекалась по крымским степям в двух направлениях: к Главной базе Черноморского флота — Севастополю и в сторону Керчи и Феодосии.

Гитлер приказал овладеть Севастополем 1 ноября, то есть через семьдесят два часа после вторжения 11-й армии в Крым.

Приказ этот не был выполнен. С другого генерала Гитлер, пожалуй, сорвал бы погоны, но фон Манштейн — герой французского похода, кавалер рыцарского креста, один из «виновников» торжества в Компьене.

Гитлер недоумевал.

Фон Манштейн тоже недоумевал: ведь здесь он действовал так же, как в сороковом году во Франции: «Танки рвут линию обороны противника, отсекают его живую силу и отдают на съедение пехоте. А сами — вперед! Только вперед!»

Операция была продумана с особым тщанием: для захвата Севастополя, причем молниеносного, был выделен лучший армейский корпус. Ему придана специализированная моторизованная бригада генерала Циглера, которая должна была выполнять роль тарана.

Прием, или, как говорят военные, тактика, уже проверенная: так действовали в Судетах, в Польше, во Франции и так начали войну против Советского Союза 22 июня 1941 года.

И дело шло вначале отлично. Прорвав наши позиции у Ишуни, гитлеровцы ринулись через степи Крыма. Впереди синели горы, над которыми плыли облака. Горы и облака манили к себе — ведь там, за этими горами,— Южный берег, там их ждало «Дер герлихе Шварцзее кюстэ!» [1]

---

[1] Счастье на побережье Черного моря! *(нем.)*.

Правда, сезон пляжей уже кончался. Но ничего, кожа у солдат закалена в походах, как слоновья шкура,— они еще покупаются в Шварцзее!

Манштейн бросил армейский корпус на Евпаторию, Саки и в долины Альмы и Качи — в Севастополь решил входить тем же путем, каким в 1854 году двигался французский главнокомандующий маршал Сент-Арно.

Немцы любят исторические аналогии и даты.

Здесь, в долине Альмы и Качи, высаживался англо-французский десант. Здесь было первое сражение севастопольской обороны 1854—1855 годов, сражение, вошедшее в историю как альминское, сражение, в котором был потерян «агреман» на звание полководца князем Меншиковым.

Значит, все было точно рассчитано и в историческом и в военном аспектах. Фон Манштейн мог бы заказывать молебен за успех.

Однако у Николаевки (это село лежит недалеко от места высадки англо-французов) моторизованная бригада генерала Циглера и следовавший за нею вплотную армейский корпус были остановлены орудийным выстрелом с батареи береговой обороны Главной базы Черноморского флота.

Человека, который остановил бригаду Циглера, звали Иваном Ивановичем Заикой.

Он задержал немцев не для минутного ошеломления: четыре дня батарея со штатом в сто двадцать человек вела смертельный бой с силами, превосходившими ее во много раз! Это произошло 30 октября 1941 года в 16 часов 35 минут — с этого времени и пошла героическая оборона Севастополя, длившаяся двести пятьдесят дней.

Гитлеровцы были взбешены этим неожиданным сопротивлением: по их разведданным, здесь никакой батареи не было. Откуда она взялась?

Но в конце концов вопрос о происхождении батареи не был главным — подавить ее было главной задачей бригады Циглера. И на батарею, которой командовал лейтенант Иван Иванович Заика, был обрушен огонь всех средств наступающего противника.

В отражении атак противника, почти не прекращавшихся ни днем, ни ночью, принимали участие и жены военнослужащих. А жена лейтенанта Заики, Валентина Герасимовна, работавшая до этого события на мед-

пункте деревни Николаевка, была в эти дни и за хирурга, и за медсестру, и за санитарку.

Через четыре дня, расстреляв весь боезапас и лишившись связи, оставшиеся в живых артиллеристы покинули почти дотла разрушенную батарею и, укрываясь у местных жителей, рассредоточенно пробирались к Севастополю.

Об артиллеристах 54-й батареи и об их командире Иване Ивановиче Заике не было никаких известий.

Связь с батареей оборвалась 2 ноября к исходу четвертого, последнего дня смертельной битвы артиллеристов 54-й батареи: в пять часов сорок пять минут вечера Заика передал в Севастополь:

«Связь кончаю! Батарея атакована и окружена! Прощайте!»

Эта радиограмма была как последний вздох умирающего. Напрасно «ювелиры эфира» — радисты-виртуозы из штабов береговой обороны, из штаба дивизиона, а также радисты 30-й и 35-й артиллерийских батарей береговой обороны скрупулезно обыскивали эфир: им не удалось поймать позывные Николая Дубецкого — радиста 54-й батареи!

Как впоследствии стало известно, через пятнадцать минут после этой радиограммы батарея была уже в руках противника. Лишь на отдельных участках ее территории тяжелораненые и охваченные яростью краснофлотцы сражались до последней капли крови.

Что же сталось с теми, кто ушел с батареи буквально под носом у фашистов? Какая судьба постигла Ивана Ивановича Заику, его жену Валентину Герасимовну, четверо суток не покидавшую землянку, в которой она, плача, перевязывала раненых и пыталась спасать умирающих?

Ответить на это никто не мог. Да и к тому же война с каждым днем не только разгоралась, но и расширялась: то у одного, то у другого рубежа вспыхивали кровавые бои, а в боях, как известно, не считают раны.

Будучи в Севастополе в сентябре и октябре 1941 года, я еще ничего не знал о лейтенанте Заике и его батарее — она в то время еще строилась.

В июне 1942 года в период третьего штурма Севастополя командующий сухопутными силами севастополь-

ской обороны генерал-майор Иван Ефимович Петров познакомил меня на своем командном пункте, в Карантинной бухте, с комендантом береговой обороны Черноморского флота генерал-майором П. А. Моргуновым.

Я воспользовался благоприятным случаем и взял у генерала Моргунова интервью. Это на редкость интересный и интеллигентный человек. Артиллеристы шутливо называли его «Зевсом»-громовержцем,— генерал держал в своих руках всю береговую артиллерию на Черном море.

Вот тогда, тридцать лет тому назад, я впервые узнал о подвиге артиллериста 54-й батареи. Генерал очень тепло говорил о лейтенанте Заике, которого он сам назначил на эту батарею в июле 1941 года, когда она существовала лишь в приказе да «на кальке». Заике пришлось строить ее. И она была построена в немыслимо короткий срок — к пятнадцатому октября того же года! Через две недели после испытаний и пробных стрельб батарея первой (из береговых батарей, охранявших подступы к Главной базе) вступила в бой, и этот бой стал началом обороны Севастополя.

Больше о Заике я ничего не знал. Многие считали его погибшим, и в этом как будто не было ошибки — уйдя с батареи, он так и не появился в Севастополе. Некоторые летописцы обороны Севастополя сочли этот вариант единственным. Так ли было на самом деле?

...В тысяча девятьсот шестьдесят девятом году Севастополь праздновал двадцатипятилетие освобождения.

В город съехалось четыре тысячи гостей, и среди них сто двадцать Героев Советского Союза и двадцать Героев Социалистического Труда.

Вечером в Доме офицеров состоялось торжественное заседание. Рядом со мной оказался невысокий, плотный мужчина с супругой. Слева мой друг, севастопольский журналист. Заседание еще не начиналось, и гости переговаривались, вспоминая «битвы, где вместе рубились они».

В зале сидело много как будто виденных, но не узнаваемых людей — двадцать пять лет срок не малый: одни поседели, другие сильно огрузли и раздались.

Однако я легко узнал бывшего командира «СК-025» старшего лейтенанта Сивенко — экипаж его свершил героический подвиг и был награжден президентом

США; не изменился почти контр-адмирал Оскар Жуковский — бывший начальник оперативного отдела штаба Черноморского флота и бывший член Военного Совета Черноморского флота, вице-адмирал, Герой Советского Союза Николай Михайлович Кулаков, человек, всегда легко находивший контакты и с матросами и с нашим братом — журналистами, тоже не поддался действию времени. Постарел и несколько усох бывший командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский, явившийся на это торжество, как говорится, при полном параде и с Золотой Звездой Героя Советского Союза...

Заседание вот-вот должно было начаться, когда мой друг неожиданно спросил:

— А ты знаком с Заикой?

— Нет,— машинально ответил я.

— Могу познакомить...

— То есть как познакомить? — Я сердито повернулся к нему и выговорил:— Не к месту шутки твои! Ты же знаешь, что он...

— Сидит рядом с тобой...

Я посмотрел вправо на невысокого мужчину. Тот, улыбаясь, сказал:

— Заика, Иван Иванович...

...Недалеко от Балаклавы есть высота Безымянная, воинская часть, которая брала ее штурмом, дорогую цену отдала за нее. Из участников штурма Безымянной в Севастополь на двадцатипятилетие приехало всего лишь несколько человек.

Когда мы (я ездил с ними под Балаклаву) подъехали на автобусе к подножию Безымянной, какой-то седой старик отделился от всех и не пошел по дороге, полого спиралью вьющейся вокруг высоты к ее вершине, а полез наперерез. Причем полез энергично, почти бегом. Однако незадолго до вершины «срезался», не мог больше бежать, и пополз вверх, цепляясь руками за кусты жесткой степной травы.

Когда он наконец забрался наверх, к подножию высокого памятника, воздвигнутого в память погибших при штурме Безымянной высоты, я спросил его, зачем он лез прямо в лоб, когда мог идти со всеми по дороге.

Красный, потный старик сказал:

— Зачем я лез в лоб?

— Да.

— А затем, что в тысяча девятьсот сорок четвертом я первый с автоматом, запасными дисками и гранатами рысью взобрался на эту высоту! А теперь с палочкой да с кепочкой в руках до половины добежал — и все! Понял? Постарели мы телом-то, вот что! Душой-то, я думал, подымусь, а тело не пустило...

Гости ездили по памятным местам, возлагали венки на могилы павших, рассказывали молодым севастопольцам и новоселам славного города о боях за освобождение его. Заика, как и всегда, когда ему удается попасть в Севастополь, ездил в Николаевку, где некогда стояла его батарея,— там дорогие могилы батарейцев. Время пока бессильно перед ним. Слушая его, я дивлюсь не столько тому, что перенес Иван Иванович за свою жизнь, а тому, каким образом в 1941 году двадцатидвухлетний лейтенант Заика сумел построить за два с небольшим месяца четырехорудийную батарею со всеми службами (артиллерийскими двориками, командным пунктом, погребами, кубриками, столовыми, т. д. и т. п.), необходимыми для жизни и боевых действий ста двадцати батарейцев!

Построить и провести пробные стрельбы по морским и наземным целям. Надо сказать, что и этим не ограничилось дело; перед батареей была еще оборудована и сухопутная оборона: вырыты противотанковые рвы, натянута колючая проволока, заминированы большие полосы земли, оборудованы ячейки для стрелков с глубокими нишами, для бутылок с горючей смесью, для гранат и боезапаса. И все это «хозяйство лейтенанта Заики» сверху было накрыто, чтобы не заметила воздушная разведка противника, рыбацкой сетью. А для того чтобы сбить противника со следа, на небольшом расстоянии от настоящей батареи была возведена ложная...

Принято исследование характера героя начинать с его детства. Таков опыт и закон логики. Кстати, биографии большинства героев Отечественной войны очень схожи, это либо дети, либо ровесники революции. И Заика родился в 1918 году, на Днепре, в Кременчуге. Ему было всего три года, когда сыпной тиф унес отца — работника местной Чека. В четырнадцать Ивану пришлось пой-

ти на завод, где он становится слесарем-инструментальщиком.

1936 год оказался счастливым для многих комсомольцев — начался массовый призыв на флот. Получил путевку и Заика. Он попал в Севастопольское военно-морское училище береговой обороны имени ЛКСМУ.

Учился Заика с прилежанием, а практику — артиллерийскую стрельбу — любил какой-то ненасытной любовью.

Перед выпуском из училища ему, как самому прилежному и незаурядному воспитаннику, командование устроило серьезное и ответственное испытание: курсант Заика должен был провести показательные стрельбы по быстродвижущейся морской цели. Причем с применением новых правил.

Заика волновался, хотя внешне это было не заметно — он умел держаться, но голос чуть-чуть присел. Поэтому, прежде чем подать команду, приходилось слегка прокашливаться.

Такое с ним было лишь на первых учебных стрельбах. Но тогда — понятно: «первый раз в первый класс»!

А теперь что заставило волноваться?

Условия.

Ему было предложено самому подготовить и самому провести стрельбы. И не простые, а показательные для артиллеристов береговой обороны Севастополя и для курсантов выпускного курса.

В добавление ко всему этому начальства прибыло — туча!

Стрельбы были проведены отлично: командование дало Заике высший балл: и за организацию, и за результаты стрельб.

После этого ответственного экзамена он единственный из всего курса был назначен прямо с училищной скамьи помощником командира на береговую батарею № 2.

Службой лейтенант Заика был доволен.

А когда началась оборона Одессы, на флоте разразилась «рапортная буря» — моряки с эскадры и береговых частей, не участвовавшие в боях, завалили штабы рапортами с просьбами отправить их на фронт.

Как-то в разговоре с дивизионным начальством и Заика обмолвился об этом: мол, нельзя ли отпустить его. И вдруг в конце июля неожиданный вызов к генералу Моргунову.

Лейтенант был смущен и взволнован, когда входил в кабинет к командующему артиллерией береговой обороны. Тот заметил это, улыбнулся и пригласил сесть, спросил о самочувствии, о службе. Заика был всем доволен и поэтому отвечал кратко, по-военному. О мечте же своей — попасть на фронт — не сказал ни слова: решил послушать, зачем его пригласили в этот кабинет.

Генерал ласково посмотрел на Заику: ему нравился этот крепыш, а вот правильно ли он делает, что назначает его командиром новой батареи? Не рано ли? По плечу ли ему будет: и строительство батареи, и одновременно формирование? Сам-то он знает, какое это нелегкое дело. Нелегкое в мирное время, когда людей сколько хочешь, а теперь уже второй месяц война идет... Одной земли сколько надо перелопатить!

Генерал загадывает — если лейтенант вспыхнет от радости, когда он объявит ему о назначении, — значит, справится, а если...

Услышав о назначении его командиром новой батареи в районе Николаевки, Заика засиял.

Моргунов улыбнулся и пригласил командира новой батареи к карте и показал место, где будут ставиться четыре пушки калибром 102 мм. Затем спросил, все ли ясно и понятно. У Заики не было вопросов. Генерал пожелал успеха, сказал, что теперь надо явиться к командиру 1-го Отдельного артиллерийского дивизиона, где и будут даны ему все подробные указания.

Командир Радовский — командир 1-го Отдельного артиллерийского дивизиона — знал Заику еще по показательным стрельбам. Разговор был обстоятельный и по всем вопросам строительства и формирования новой батареи. Командиру ее было указано, где надлежит получить все виды довольствия, боеприпасы, вооружение и личный состав. А также было наказано каждую субботу докладывать о ходе строительства и формирования.

Из-за военной обстановки сроки были донельзя коротки. Тут у командира с большим опытом и то голова кругом пошла бы, а что ж мог он — без году неделя в офицерском звании!

Заика понял, что если он сразу не составит железного графика, то ничего не добьется.

У него оказались энергичные командиры взводов.

свеженькие как огурчики, только что выпущенные тем же училищем, что и он кончал,— лейтенанты Яковлев и Лавров.

На батарею пришли и опытный фельдшер, младший сержант А. Портала, и обстрелянный в первые дни войны комиссар, политрук С. П. Муляр, начавший службу на флоте еще в 1927 году на береговых и зенитных батареях — опытный артиллерист и политработник. Они стали его деловыми и энергичными помощниками.

Строительство велось трудно: земляных работ — по горло, а людей...

Что делать? Писать слезницы? Просить? Но у кого и кого просить?

Война подбирала людей, как подбирается зерно в голодное время.

На совете с комиссаром решено было пойти в Николаевку и просить народ на помощь. В Николаевке жили потомки тех солдат, что селились здесь после первой обороны Севастополя. Кстати, и выросла-то Николаевка у того места, где высаживались в 1854 году англо-французские войска. И строили-то Николаевку участники первой обороны Севастополя!

Недалеко от Николаевки есть еще деревни — Ивановка и Михайловское. И там побывали Заика и Муляр. На следующий день к месту строительства батареи пришли все, кто мог держать в руках лопату, кирку и тачку. Пришли даже матери с грудными детьми, старики, опиравшиеся на бадики, и конечно же мальчишки.

Среди колхозников Николаевки оказалась и заведующая николаевским медпунктом Валентина Герасимовна Хохлова. Она была хороша собой, молода, сильна и очень деятельна. Хохлова только-только окончила Феодосийский медицинский техникум и получила направление в Николаевку.

Хохлова сразу приглянулась командиру батареи. Да и он ей тоже.

Казалось, до романов ли тут, когда лейтенант почти круглые сутки на ногах. Но, как справедливо заметил Александр Пушкин: «Есть время для любви, для мудрости другое!»

Они потянулись друг к другу с той безотчетной и почти бездумной страстью, которая презирает все: молву, неудобства, последствия и даже угрозу смерти...

Когда батарея была готова, Валя Хохлова переехала к мужу на батарею.

Увы! Их медовый месяц был переполнен не сладостью семейного счастья, а горечью смертельной опасности.

Даже в августе 1941 года никто не мог предположить, что артиллеристам 54-й батареи придется не по морю палить, а останавливать специализированную моторизованную фашистскую бригаду, двигавшуюся впереди армейского стрелкового корпуса к Севастополю.

Начатая строительством во время войны 54-я готовилась для отражения именно морского десанта!

Пятьдесят четвертая просуществовала не многим более двух недель и пала в неравном, смертельном бою, так и не выпустив в сторону моря ни одного снаряда...

...Двадцать девятого октября к вечеру в косом, мелком, секущем дожде один из секретов 54-й батареи, высланный для наблюдений в северном направлении, обнаружил вражеского разведчика на мотоцикле и задержал его.

На допросе немец держался нагло — он был пьян, на вопросы не отвечал.

Лейтенант Заика приказал выстроить артиллеристов и показать им гитлеровца. Тот держал себя еще наглее, чем в землянке командира: куражился, коверкал русские слова, размахивал руками.

Заика попросил комиссара показать краснофлотцам, что в карманах у него, и, когда тот вынул из отдувшихся карманов фашиста золотые кольца, часы, а затем фотографии виселиц, на которых висели русские, строй слегка дрогнул, и было видно, как десятки рук сжались в кулаки, как заиграли желваки на лицах. Только дисциплина удержала моряков от самосуда!

Комиссар поднял руку.

— Товарищи! — начал он. — Разве это солдат? Это — дикарь. Да что там — хуже!.. Он пришел к нам как завоеватель. Ему нужна наша земля и наши богатства. Богатства он уже успел награбить, а земля... может быть, дадим ее? Как вы?

— Дадим! — ответили артиллеристы.

То ли понял гитлеровец, что произойдет с ним, то

ли ему был страшен вид моряков, он вдруг протрезвел и стал жалким.

Через несколько минут по решению всей батареи гитлеровец был расстрелян перед строем, как мародер и палач.

В ночь на 30 октября лейтенант Яковлев, посланный на грузовой машине в разведку, обнаружил севернее города Саки передовые отряды 54-го немецкого армейского корпуса. Лейтенант тотчас примчался на батарею.

А уже днем гитлеровцы заняли Саки. Не встречая сопротивления, они двинулись дальше, к Севастополю. Их путь лежал мимо батареи лейтенанта Заики. Получив сообщение разведки, командир и комиссар созвали артиллеристов. Митинг был коротким.

— Только что враг занял Саки,— сказал Заика,— и двигается сюда. Как только корректировочный пост обнаружит противника, мы откроем огонь. Мы с вами стоим на пути к Севастополю. Стоим первыми и будем стоять, пока не выполним своего долга.

Не длиннее была и речь комиссара:

— У нас — четыре пушки. У нас — вы, славные моряки! Не посрамим же чести и боевой славы русского народа!

Стоять до конца! Драться до последней капли крови!

Об этом говорили все. Говорили кратко, моторизованные части противника могли с минуты на минуту появиться в зоне действия батареи.

Заика и Муляр обошли боевые посты и затем пригласили на командный пункт жен военнослужащих: Анну Портала, Евгению Заруцкую и Валентину Заику. Им было предложено в связи с изменением обстановки — приближением противника — эвакуироваться в Севастополь.

То ли по пути на командный пункт они сговорились, то ли без всякого сговора, но все наотрез отказались покидать батарею.

Валентина Заика, глядя в глаза мужу, сказала:

— Никуда я не поеду, Ваня! Нашу судьбу разделим вместе — что тебе, то и мне! Здесь я принесу больше пользы.

В половине пятого с корректировочного поста поступило донесение о том, что севернее деревни Ивановки на юг движется крупная моторизованная колонна. Заика тут же позвонил в штаб дивизиона.

В ожидании, когда командир дивизиона капитан Радовский возьмет телефонную трубку, Заика подумал: «Вот и для меня наступил момент, когда надо на деле показать, чего я стою,— до сих пор были учебные стрельбы, а теперь первая боевая... Не оплошать бы!.. А почему должен оплошать? Дело свое знаю, материальная часть отлажена, как часы... А личный состав — надо еще поискать таких орлов!»

...А ведь было время, когда он завидовал артиллеристам береговых батарей, расположенных под Одессой,— думал, что война сюда не дойдет.

Батарею-то он построит, а в деле она так и не побывает. Да разве он один так думал? Многие думали, что война скоро кончится...

Капитан Радовский выслушал доклад Заики и дал «добро» на открытие огня.

Я спросил Заику, что он чувствовал тогда, в момент подачи первой боевой команды об открытии огня по противнику. Иван Иванович пожал плечами — он не помнит. Но отчетливо помнится, что у него вспотели руки и что команду подал чуть громче, чем надо.

Запомнил слова и даже расчетные данные. Вот они:

«К бою! По фашистам, азимут 14—60, прицел 53, снаряд фугасный! Первому, один снаряд — огонь!»

Он пояснил:

— Первому... Это значит первому орудию. А когда от лейтенанта Яковлева с корпоста поступила радиограмма о том, что снаряд взорвался прямо в колонне, я тут же скомандовал:

«Батареей, 15 снарядов беглым — огонь!..»

— По тому, как ахнули пушки, я понял, что этой команды давно ждали мои артиллеристы!

Когда корректировочный пост сообщил, что летят в воздух машины с пехотой, горят автоцистерны с горючим, выходят из строя танки врага и гибнут как мухи фашистские солдаты и офицеры, Заика почувствовал что-то похожее на легкое опьянение.



Противник был подавлен внезапным и на редкость точным огнем. Но надо отдать ему должное, быстро пришел в себя, вызвал авиацию. Она старательно и безжалостно обрабатывала участок земли, на котором была воздвигнута... ложная батарея...

Бросив разбитые машины, командир фашистской моторизованной колонны, довольный, что расправился с батареей красных, снова двинулся на юг — к Севастополю.

Лейтенант Яковлев впоследствии рассказывал, какой переполох поднялся, когда лейтенант Заика вто-

рично, через какие-то полчаса после того, как гитлеровцы решили, что они покончили с русской батареей, начал бить по колонне...

Оставив на дороге горящие машины и танки, передовая часть моторизованной бригады генерала Циглера поняла: Севастополь с ходу не взять, завернула назад.

По характеру отхода противника, по тем неуловимым признакам, которые умеют замечать лишь профессиональные военные, лейтенант Заика понял: волк ненадолго уползает в берлогу — зализжет раны и снова ринется в бой.

Окинув взглядом свое хозяйство, командир заметил, что люди сильно устали. Но как бы они ни устали, а надо готовиться к новой встрече с врагом. Комиссар считал необходимым созвать артиллеристов. «Первый бой прошел, надо,— говорил он,— подвести итоги. Причем длинных речей не произносить,— поблагодарить и предупредить, что это, по сути, была лишь разведка, настоящие бои впереди...»

...Судя по оживленному разговору, бой распалил людей, у всех было ощущение, что они чуть-чуть недодрались... Еще бы разок-другой накрыть колонну Циглера — вот тогда все было бы в ажуре!

Комиссар объявил запись добровольцев в истребители фашистских танков, а после ужина, когда на землю легли сумерки, на поиск противника вышло несколько групп разведчиков.

Так завершился первый день обороны Севастополя.

Сон уже готов был побороть Заику, но тут в эфире появился лейтенант Яковлев. Брезжил рассвет. Немного оставалось до подъема.

Вовремя вышел на связь лейтенант! Без данных разведки командир батареи что без рук. И хотя он и считал, что ему в данных условиях не полагалось спать (как шутил лейтенант, он снял себя с этого вида довольствия!), а сон с этим вовсе не считался.

Лейтенант Яковлев, показавший себя как расторопный и сообразительный командир еще в первой встрече с противником, сообщил такое, что Заика тут же снял трубку и вызвал штаб дивизиона и доложил: развед-

чики батареи обнаружили в Булганаке штаб какого-то крупного соединения противника — у одного из домов скопилось много легковых машин и машин с сильными радиоустановками, а на окраине села склад боеприпасов и колонна бензовозов с горючим.

Заика просил разрешения открыть огонь по этим целям.

Разрешение было дано.

Батарея сделала несколько залпов, а о результатах стрельбы никаких данных от лейтенанта Яковлева не поступило. Правда, и без подтверждения с корректировочного поста по высоким столбам огня Заике было ясно, что снаряды ложатся в цель. Но ведь возможны и ложные огни!

Что же с Яковлевым?

У Заики изболелось сердце, и он уже стал думать, что корректировщики попали к немцам либо перебиты. Но где-то в глубинах души он не верил в это, потому что и сам Яковлев, и шофер Рыбаков, и пулеметчик Морозов первоклассные разведчики, они из любого положения найдут выход.

Его размышления были прерваны — явился Яковлев. Оказалось, рация корпоста была запеленгована и отряд мотоциклистов едва не расправился с ними. Не расправился только потому, что за рулем был Рыбаков, а за пулеметом Морозов!

Штаб крупного фашистского соединения, обнаруженный Яковлевым в Булганаке, был обстрелян в 6 часов 35 минут, а через три часа батарея Заики стреляла по скоплениям войск в Ивановке, и еще через час огонь был открыт по колонне автомашин, следовавших в Контуган.

В 11 часов немцы обнаружили батарею Заики и обстреляли из тяжелых орудий. Огонь был хотя и сильный — вреда не причинил никакого. Однако это обеспокоило Заику, и он, как только кончился обстрел, послал краснофлотца в Николаевку с заданием выследить батарею противника.

Посланному не удалось обнаружить место, где стоя-

ли вражеские пушки, хотя они вторично обстреляли батарею.

После второго обстрела на командный пункт поступило донесение с корректировочного поста, замаскировавшегося у деревни Контуган, что в сторону батареи движутся танки, танкетки и машины с пехотой.

Танки шли строем фронта. Танкетки на флангах, а позади на малой скорости двигались машины с пехотой.

Заика доложил в штаб.

Командир дивизиона приказал костьми лечь, но не пропустить танки.

Заика отрепетовал приказание и открыл огонь изо всех орудий.

Танкисты противника метко стреляли по батарее — на 54-й появились первые жертвы: убитые и раненые. Но раненые не покидали боевых постов и если и уходили, то лишь на время перевязки и снова возвращались в строй с забинтованными ранами.

В разгар боя позвонил командир дивизиона и передал приказ коменданта береговой обороны генерала Моргунова принять любые меры, но танки не пропустить. Стрелять до последнего снаряда!

Бой с танками шел почти в течение часа. Сначала артиллеристы 54-й не имели заметного успеха, но потом выстрелы стали точнее, и глядишь — то один танк, только что лихо маневрировавший под разрывами, завертелся на месте, то другой.

Когда кончился обстрел танковой колонны, к стволам пушек нельзя было прикоснуться — на них дымилась краска. За час 54-я выпустила 207 снарядов, уничтожила пять танков, тягач с пушкой и семь грузовых машин с пехотой. Немалыми оказались потери и на 54-й: повреждены два орудия, двадцать человек убито, более тридцати ранено, испорчены, а кое-где и засыпаны ходы сообщения.

Уставший Заика хриплым голосом докладывал в штаб по телефону.

Командир дивизиона от имени коменданта Береговой обороны поблагодарил лейтенанта за успешное отражение танковой атаки и приказал предать земле, с необходимыми воинскими почестями, погибших.

После ужина, когда Заика с комиссаром прикидывали план замещения убитых и тяжелораненых, его позвали к телефону из штаба дивизиона.

Начальник штаба дивизиона майор Платонов сообщил Заике о решении командования эвакуировать личный состав 54-й на шхунах в Севастополь. Шхуны, по его словам, уже вышли. С ними идет миноносец «Бодрый», в его задачу входит артиллерийская поддержка батареи.

Майор особо подчеркнул указание штаба: все, что нельзя взять с собой, непременно уничтожить. Телефонную связь держать до конца посадки на шхуны. А как только весь личный состав будет на судах, немедленно донести по радио.

Заканчивая разговор, майор Платонов спросил, все ли ясно, или есть какие вопросы.

Заика ответил, что вопросов у него нет, но он хотел бы предупредить о том, что море в районе батареи штормит и шлюпкам не подойти к берегу.

Платонов на это заметил:

— Командирам шхун дано приказание снять вас непременно! Готовьтесь к посадке!

Закончив разговор, Заика тотчас же вызвал командиров постов и дал им указание подготовиться к эвакуации.

Эсминец «Бодрый» пришел раньше шхун, встал на рейде и высадил на шлюпке корректировочный пост и стал ждать. Он ждал долго, но никаких сигналов так и не дождался, снялся и ушел в Севастополь.

Ночью подгребли шхуны. К берегу они подойти не могли: Каламитский залив место для стоянок судов неудобное и опасное — тут тянутся подводные каменные гряды и банки, которые особенно опасны, когда дуют ветры. Одна из шхун все же пренебрегла опасностью и попыталась как можно ближе подойти к берегу. Эта попытка стоила ей жизни — высокой волной ее «обсушило», то есть выбросило на берег. Те шхуны, что стояли в море, снялись и ушли в Севастополь.

Так кончился второй день на батарее Заики. Лейтенант думал, что упадет от усталости, но отдыхать некогда. Требовалось восстановить два орудия и заново скомплектовать расчеты.

Всего лишь два часа было отведено на отдых личного состава.

Заика за эти дни лишь мельком видел жену, и она жила эти дни так же, как и он, без сна и отдыха — перевязывала раненых, делала операции, на которые в мирное время ни за что бы не решилась.

1 ноября батарея была поднята по тревоге с рассветом.

Шел дождь, холодный, густой. Противник, по-видимому, решил отдать батарею Заики «на съедение» своей тяжелой артиллерии и минометам, а моторизованная колонна, скорее всего, в эту драку не ввяжется — она двинется к главной цели — Севастополю.

Так это было или не так, конечно, у Заики точных данных на этот счет не имелось, но моторизованная колонна шла в сетке дождя из Ивановки на Дорт-Куль и на Булганак, пока не ввязываясь в борьбу с батареей. 54-я не могла пропустить такую цель — открыла по колонне сильный огонь.

В 9 утра штаб дивизиона потребовал к телефону Заику. Капитан Радовский начал разговор с того, что командование гордится пятьдесят четвертой и им, ее командиром, а затем сообщил, что Заике в дальнейшем предоставляется право действовать самостоятельно. Пообещал при первой возможности выслать корабль. Заика в ответ заверил капитана: личный состав и он сам будут драться до последнего дыхания, и попросил помочь авиацией. Капитан обещал. В заключение он рекомендовал этот разговор довести до сведения командного состава 54-й. Затем пожелал удачи и повесил трубку.

Заика на миг задумался — справится ли он? Много убитых и раненых на батарее... да и разрушений хватает. Должен справиться! Обязательно должен справиться!

Приказал сигнальщику разыскать комиссара.

Заика изложил свой разговор с командиром дивизиона. Муляр сказал:

— Что ж, командир, справимся. Три дня бьем врага. Будем так держать и дальше!

Оба — командир и комиссар — хорошо понимали, что батарея доживает последние часы, и эти часы она должна действовать так, как требует воинский долг.

Об этом должны знать все батарейцы. Собрали командный состав.

Заика после краткой информации о разговоре с командиром дивизиона сделал небольшую паузу, оглядел собравшихся и сказал:

— Погода хуже некуда — ждать помощи от авиации мы не можем: рассчитывать только на себя! Глаз не спускать с неприятеля, чаек — не считать. Мы по-флотски крепко дали по зубам врагу — не пустили его к Севастополю. В благодарность за это он не оставит нас в покое. Надо использовать время и подготовиться к предстоящему бою — поднести как можно больше патронов — в бою будет некогда, а главное — некому подносить. Ряды наши поредели. А теперь по местам!

Дождь, ливший с утра, после полудня прекратился — часам к четырем тучи сбились к востоку, в сторону гор,— небо очистилось.

Как и предвидел лейтенант Заика, в шестом часу над батареей появилась немецкая авиация. Восемь бомбардировщиков Ю-88 двадцать минут бомбили батарею. Когда они ушли на свою базу, над 54-й повис дым.

К счастью, этот налет ощутимого урона не нанес. С наступлением сумерек Заика выслал несколько групп разведки. Сведения, которые принесли разведчики, были неутешительными: немцы окружили батарею и заняли селенья Береговое, Джавджурек, Дорт-Куль и Табак-совхоз.

Ночь прошла в тяжелой работе — артиллеристы во главе с командиром и комиссаром углубляли ходы сообщения между орудиями и погребами. Дело двигалось крайне медленно, землю размыло дождем, и темень стояла совершенно непроглядная. И все же ходы сообщения были углублены, а над входами в погреба, которые могли бы в случае приближения противника просматриваться, а стало быть, и легко простреливаться, были оборудованы специальные козырьки и для крепости засыпаны землей.

На сон артиллеристам оставалось не более двух часов.

После завтрака командир решил поговорить с личным составом.

В уме Заика приготовил замечательную речь, в которой было предусмотрено все — и о заклятом враге че-

ловечества — фашизме, и о Родине-матери, о долге и чести, а когда начал говорить, слова эти исчезли, пошли совсем иные и, пожалуй, единственные и самые нужные.

— Враг окружил батарею,— сказал командир, оглядывая артиллеристов,— вокруг нас никого нет! Нас мало, но у нас пушки, пулеметы, автоматы — это сила! Нам здесь стоять до последнего. Приказываю каждому исполнить свой долг до конца! Я кончил.

Не длиннее была речь и комиссара:

— Командир уже сказал, что мы окружены и что отходить нам некуда! Если сегодня мы устоим, то, возможно уйдем на кораблях в Севастополь!.. Многие из нас погибнут в этом бою — честь и слава героям! Те же, кто уцелеет, должны стоять до конца! А теперь по местам!

С рассветом разведчики донесли, что видят колонну машин с пехотой, следующую из Контугана в Дорт-Куль.

Заика посмотрел на часы — без пяти восемь, запросил данные и после получения их отдал команду открыть огонь.

Батарея выпустила шестьдесят снарядов, в колонне поднялся переполох: машины наскакивали друг на друга, иные загорелись, другие съезжали с дороги, и их шоферы очертя голову неслись в стороны, спеша выскочить из-под обстрела.

Так начала четвертый день боевой деятельности батарея лейтенанта Заики. День — 2 ноября 1941 года.

Менее чем через час на дороге в сторону Севастополя появилась новая колонна машин. Сигнальщики насчитали около двухсот машин с пехотой, артиллерией и минометами.

Превосходная мишень для 54-й, и она, эта мишень, как будто сама искала пушку.

Заика приказал открыть огонь. Пожалуй, это был самый удачный удар 54-й по вражеской автоколонне.

Около десяти часов утра, шелестя и чуть-чуть подвывая, над батареей появился первый вражеский тяжелый снаряд. За ним пошли другие. Они летели и летели с сопением и ворчанием и, падая, поднимали такой

грохот, что люди глохли от шума и треска разрывов. Сигнальщики насчитали восемьдесят тяжелых снарядов. Батарея была изрыта и обезображена; черным облаком над ней висел дым, перемешанный с пылью. Сильно пахло гарью. Пятьдесят четвертая лишилась боевой связи.

Во время этого обстрела к Николаевке подъехала немецкая легковая машина с офицерами. Они быстро вышли из нее и, вскинув к глазам бинокли, навели их на батарею.

«Изучают, гады, работу своей артиллерии,— проговорил про себя лейтенант.— Схватить бы их»!

Мысль показалась дельной, и он тут же распорядился послать в Николаевку на грузовой машине несколько хорошо вооруженных бойцов.

Посланным не удалось схватить офицеров, но, преследуя легковую машину, они за деревней, в лощине, обнаружили восемь вражеских танков и артиллерийскую батарею и тут же сообщили на командный пункт.

Заика, не мешкая, открыл огонь по танкам. В ответ противник обстрелял 54-ю.

В десять часов сигнальщик доложил, что видит танки. Они шли с трех сторон, по-волчьи сужающимся клином. Заика позвонил в штаб дивизиона. Капитан Радовский, выслушав его, вздохнул и произнес: «Мда-а, несладко у вас там!» Затем, как бы спохватившись, быстро сказал: «Постарайтесь продержаться до вечера, и, если к тому времени не придут корабли, разрешаю взорвать батарею и самим пробираться к Севастополю по суше».

Через пятнадцать минут после этого разговора из штаба дивизиона была принята шифровка: «54-й батарее держаться до вечера: за вами будут посланы катера. Сейчас вам на помощь высылаем авиацию».

Отбивая атаки танков и следовавшей за ними пехоты, Заика не мог отвечать вражеской артиллерии, а та вела непрерывный огонь. Снаряды приносили много разрушений и выводили людей из строя. Но вот наконец удалось рассеять танки, и 54-я дала несколько залпов по вражеским пушкам, те умолкли, но тут с боевых постов на командный пункт посыпались донесения — вышли патроны; пушка за пушкой стали умолкать, а к проволочному заграждению, которое опоясывало батарею, стала просачиваться немецкая пехота.

Около двенадцати часов сигнальщик радостно доло-

жил Заике, а вскоре это заметили и все артиллеристы, что с моря подходят самолеты... Наши самолеты — «чайки». Их приветствовали криком, а кто-то от радости запустил вверх бескозырку.

Самолеты стремительным заходом появились над цепями вражеской пехоты и над скрытыми за холмами орудиями — огонь прекратился.

Самолеты ловко утюжили вражеские позиции, с батареи было хорошо видно, как ошеломленные гитлеровцы разбегались в стороны, ползли и падали.

Сделав свое дело, летчики ушли на базу. Тут же очухалась фашистская артиллерия и опять начала обстрел. Под прикрытием ее огня фашисты подтянули на близкое расстояние три пушки для стрельбы прямой наводкой.

Заика понял, что наступает ответственный момент в жизни 54-й: фашисты решили уничтожить его батарею. Мешает она им, не дает войскам продвинуться к Севастополю, вот уже четвертый день они топчутся между Евпаторией, Саками и Николаевкой.

Изменить положение не могла даже самая мудрая голова рейха. В прежних кампаниях генерал Манштейн вызывал восторг у западных военных журналистов и историков своими танковыми «блицами». Почему же здесь недейственной оказалась эта тактика?.

В 1955 году в книге «Утерянные победы» он будет как бы мимоходом выражать сожаление о том, что ему с ходу не удалось взять морскую крепость Севастополь.

Еще он будет говорить о том, что ему не с кем было применить свой «классический» метод — не было сил: «Наскоро сформированное командованием армии соединение в составе румынского моторизованного полка, немецких разведывательных батальонов, противотанковых и моторизованных артиллерийских дивизионов (бригада Циглера) не могла возместить этого недостатка».

Так он будет писать, и притом ни слова не скажет о том, что в бригаде генерала Циглера были соединения танков и танкеток и несколько подвижных артиллерийских дивизионов, укомплектованных орудиями крупного калибра, минометы и моторизованная пехота.

Однако все это впереди, а батарея пока еще не занята — она действует, и мы будем продолжать рассказ о ней.

Выдвинутые немцами для стрельбы прямой наводкой пушки не успели развернуться в боевое положение, как были обстреляны и две из них уничтожены, а третья бежала с поля боя.

Справившись с этой задачей, Заика глубоко вздохнул, вытер пот со лба и подумал, хорошо бы теперь стаканчик крепкого флотского чая, но тут вбежал комиссар и, не переводя дыхания, выпалил, что на батарее много раненых и убитых, кончаются патроны, а немецкие солдаты заняли деревню. И если не выбить их оттуда, то они притащат артиллерию, и тогда...

— Что предлагаешь? — спросил Заика.

— Послать туда людей и выбить фашистов!

— Добро,— согласился Заика.— Посылай, комиссар. Командиром пусть Морозов будет. А как они уедут, организуй, пожалуйста, подноску патронов...

Посланные в деревню двенадцать краснофлотцев с тремя пулеметами не вернулись, за исключением чудом спасшегося командира отряда Морозова — он кинулся в гущу гитлеровцев и гранатами расчистил себе дорогу. Это произошло после того, как кончились патроны у пулемета, из которого он стрелял.

К обеду фашистская пехота подошла к батарее настолько близко, что возникла угроза потери погребов. Нужно было вынести оттуда боеприпасы.

Комиссар собрал сигнальщиков, дальномерщиков, телефонистов, радистов, коков и даже артиллерийских электриков центрального поста. Под его руководством этот маленький, но энергичный отряд вынес бóльшую часть патронов из погребов.

Между тем обстрел батареи усиливался, и не успел комиссар рассказать командиру об успехах своего отряда, как на батарее случилось ужасное несчастье: от прямого попадания фашистского снаряда в дворик четвертого орудия погиб весь расчет и пушка...

Заика не очень-то помнит, как бежал тогда к четвертому орудию. Перепрыгивая через препятствия, сильно пригнувшись, он с трудом добрался до дворика четвертой пушки.

По-видимому, это немало значит, если ты сам строил батарею, сам комплектовал ее личный состав, помогал в монтаже и установке орудий, учил людей, как лучше пользоваться этими пушками, и, наконец, вместе с ними отстаивал все это. Заика, как только увидел окровавленный дворик, разбитую пушку и тяжелораненого краснофлотца, бессознательно приткнувшегося к брустверу с патроном в руках, почувствовал слабость в ногах и какое-то противное пощипывание в горле. К счастью, все эти ощущения были мимолетными — внутри него опять забил тот самый родничок бодрости и энергии, он помогал ему все эти дни держаться на ногах и командовать таким грандиозным сражением, которое ни он, ни его подчиненные, да и само высшее начальство не представляло себе... Заика вытащил из сумки от противогаза индивидуальный пакет, но не успел разорвать его, как вблизи ахнуло, поднялась земля и щебень. Он был оглушен, контужен и засыпан взрывной землей.

По батарее разнесся крик:

— Комбата убило!

Комиссар с краснофлотцами кинулся к дворику четвертой пушки. Заика был засыпан почти весь — лишь ноги торчали из земли. Когда его откопали, он тяжело дышал и лицо выглядело белее полотна. Краснофлотец, к которому лейтенант поспешил на помощь, уже не нуждался в ней.

К трем часам пополудни батарея подверглась ураганному обстрелу и бомбежке с воздуха. Эти часы полковник Репков отмечает в своем исследовании как самые трагические для батареи. И действительно, к этому времени резко увеличились потери на батарее: от прямого попадания авиационной бомбы перестала стрелять вторая пушка и из ее расчета в живых остался лишь командир орудия младший сержант Спивак.

Противник, словно охотничий пес, учуял, что на пятьдесят четвертой, после выхода из строя двух орудий, обстановка стала до предела тяжелой, и мгновенно воспользовался этим — пехота броском заняла выгодные позиции в районе батарейной бани, перед самым проволочным заграждением.

Заика покинул командный пункт и встал у первого

орудия. Комиссар — у третьего. Они сами стреляли, а оскудевшие расчеты бегали по полузасыпанным ходам сообщения под разрывами к погребам.

Однако, несмотря на отвагу артиллеристов, на их стремление, чего бы это ни стоило, отстоять батарею, положение не только с каждым часом, но и с каждой минутой, а порой даже и секундой становилось угрожающим.

Комиссар опытный артиллерист — он ловко и даже красиво, если уместно это слово в бою, управлялся у пушки: находил цель и поражал ее, стреляя прямой наводкой. Но не хватало снарядов,— комиссар всех, кто мог двигаться, послал за снарядами.

Краснофлотцы спустились в ход сообщения, и их тут же накрыли фашистские мины. Никто не вернулся.

Пушка без снарядов — орел без крыльев.

Комиссар оставил ее и поспешил к командиру, который вел огонь из первого орудия.

Он едва успел выйти из дворика, как за спиной раздался взрыв. Оглянувшись, он увидел, что и третья пушка пала в борьбе. Тело ее, оторванное от тумбы, валялось на земле.

Теперь батареи, в сущности, уже не было: перед глазами простиралась изрытая бомбами и снарядами земля, на которой совсем недавно строили прочные, рассчитанные на долгий век сооружения, ставили дорогое оборудование; помещения красиво отделывали, строили несколько месяцев, а разрушено все за четыре дня.

Однако батарея еще жила. Древние говорили: «Не умирай, пока живешь», и единственная пушка продолжала стрельбу. Не хватало снарядов,— посланный в погреба за снарядами расчет этой, последней, пушки тоже был накрыт; вернулся к орудию лишь краснофлотец-прожектор ист Матвиенко.

Он удачлив — несколько раз бегал в погреб, схватит по патрону в каждую руку — и мигом к орудию. Тут летят осколки со свистом, рвутся снаряды, а его даже ни разу не царапнуло.

Когда прибегал с патронами, пыльный, запыхавшийся, комиссар спрашивал:

— Матвиенко? Живой! Ну и молодец! Значит, повоюем еще!.. Покажем фрицу, на что русские способны!

Нажим на правом фланге угрожает прорывом. Зайка приказывает парторгу батареи Эмирову взять двух краснофлотцев, вооружиться огнеметами, пробраться к кладбищу и выкурить фашистов, а сам отправляется на левый.

Эмиров и номерные Стовбуров и Китаров отбивают атаку, но во время боя случается непредвиденное — их обходят. Отрезанные от батареи, они используют до конца свое оружие и спускаются с высокого обрыва к морю,— надеясь берегом пробраться к своим.

Им удается пробежать по прибойной полосе лишь небольшое расстояние,— немцы накрывают их из минометов. Эмиров и Китаров ранены, не могут идти. Стовбуров оттаскивает их под самый обрыв, а сам бежит к батарее.

В то время когда Стовбуров поднимается по крутому обрыву, немцы на правом фланге врываются на батарею.

Гитлеровцы прежде всего добивают раненых, затем уж занимают дворик четвертого орудия.

А в это же самое время на левом фланге из балки выскакивает эскадрон конницы противника.

На левом фланге командует лейтенант Яковлев. Тут же, за пулеметом первой «пульто́чки», находится сподвижник Яковлева в разведках краснофлотец Морозов. Его пулемет почему-то молчит. Яковлев, опасаясь, что гитлеровцы ворвутся на батарею, бежит к первому орудию. Снарядов там нет — давно все израсходовано! На что надеется? По-видимому, на случай. И лейтенант не обманывается. Возле пушки лежат два шрапнельных снаряда и патроны к ним. Чудо!

Яковлев ставит взрыватель на картечь, заряжает пушку и прямой наводкой стреляет.

Хотя в цепь скачущей конницы попадает лишь один снаряд, но он останавливает фашистских кавалеристов, заставляет их рассыпаться, а затем и повернуть на сто восемьдесят градусов и резвее, чем в атаку, скрыться в той самой балочке, откуда они выскочили.

А по полю перед батареей мечутся кони без всадников, ползают раненые фашисты, валяются убитые.

Когда конница скрылась, противник открыл артиллерийский и минометный огонь, под защитой его, где перебежками, а где и ползком, к проволочным заграждениям приближаются автоматчики.

Заика видит, как из рядов автоматчиков отделяются саперы, подползают к самой проволоке, перевертываются на спины и клювами цепких ножниц перекусывают нижние ряды колючки, отвертывают концы перекушенной проволоки и, не подымаясь, так же сноровисто и мгновенно распарывают и верхние ряды. В проходы устремляются автоматчики.

Как же остановить их? Пушка не стреляет.

У малого погреба в окопах он насчитывает человек двадцать. Многие ранены. Двадцать человек — капля. А если по-флотски, шквалом?

Заика встает из окопа и кричит, да так, что самому страшно:

— За мной-ой! — и бежит навстречу автоматчикам. Его вскоре обгоняют краснофлотцы. Некоторые несутся через воронки и горки земли, навороченной снарядами. Лица возбуждены, горят ненавистью, кто-то выкрикивает: «Полундра-а-а, фрицы!..»

К ним присоединяются краснофлотцы батарейной обороны: они бросают гранаты и бутылки с горючей смесью — вспыхивает обсохшая, за день пожухлая осенняя трава, огонь разливается низко и широко, хватает фашистов за полы шинелей, они пытаются сбить пламя, но, подгоняемые пулеметными очередями, удирают...

Взмокший, с трудом переводя дух, Заика добирается до командного пункта, соединяется по телефону со штабом дивизиона, докладывает капитану Радовскому о катастрофическом положении и просит выслать авиацию.

Радовский просит продержаться до темноты — вечером к батарее придет тральщик и два катера.

Осунувшийся, весь в пыли, с запекшимися губами, Заика входит в медпункт. Тут тесно и смрадно: раненые лежат и сидят на полу, иные на носилках. Стоны, бред...

На Заику никто не обращает внимания — люди не замечают появления командира, но кто-то из раненых вдруг говорит: «Эх! Духами-то как пахнет! Как на Примбуле в воскресенье!»

Заика улыбается — духами, вернее, одеколоном пахнет от него: после телефонного разговора с капитаном Радовским он приказал лейтенанту Лаврову уничтожить код и приборы боевой рубки. Тот исполнил приказание,

затем достал из чемодана флакон одеколона и опрыскал командира, а потом себя и по-мальчишески сострил:

— Эх! Помирать, так с музыкой!

Заика хотел пожурить лейтенанта, но тот убежал в окопы.

...Разыскивая жену, он наконец замечает ее у операционного стола.

Как же сильно осунулась она! Устала. Нервничает. На столе краснофлотец возбужденно, в горячечном состоянии просит поскорее перевязать — ему к пушке надо. У раненого распорот живот, помочь ему уже нельзя.

Он смотрит на лейтенанта, на жену его.

Взгляд обжигает. У нее дрожит подбородок — вот-вот разрыдается от чувства полной беспомощности. Раненый пытается приподняться и тут же умирает.

Его место на столе занимает командир третьей пушки, младший сержант Павел Кардаш.

Когда Валентина Заика откидывает шинель, которой прикрыт раненый, Иван Заика видит картину, от которой цепенеет,— у Кардаша перебиты обе ноги.

Командир батареи стоит подавленный все время, пока жена разрезает ножницами штанины и затем отделяет большим хирургическим ножом ноги.

Заика подходит к жене и тихо, чтобы не слышали раненые, спрашивает:

— Как ты все это выдерживаешь?

Валентина устало смотрит на мужа, вытирает крупные капли пота со лба и, тоже тихо, лишь для него, говорит:

— Иди, Ваня, на батарею, к пушкам. За нас не беспокойся — мы тут справимся! Иди, дорогой!

Заика поворачивается — пора идти, вот только надо сказать людям: очередная атака отбита, фашисты откатились, оставив много убитых, из Севастополя сегодня с наступлением темноты к батарее придут катера и раненые первыми будут доставлены на них... Все это он должен сказать теперь же. И он говорит, и слышит одобрительные возгласы, и с облегченным сердцем покидает медпункт, не зная того, что еще будет отбита не одна атака и что через час он передаст в Севастополь последнюю радиограмму и прикажет радисту уничтожить радиостанцию, и это будет смертью, последним вздохом батареи, а при выходе из рубки в него выстрелит фашист-

ский снайпер, к счастью, пуля скользнет по касательной каски. Корабли придут, но не все артиллеристы дождутся их — отдадут жизни в последних схватках. В то время когда корабли начнут «писать» на батарею, то сразу им нечем будет ответить, пока не найдут на дальномере одну (единственную) секцию аккумулятора, присоединят к ней лампочку, сделают из бумаги маскировочный кулек и два мастера связи и сигнального дела — радист Дубецкий и сигнальщик Шмырков — начнут отвечать корабельным сигнальщикам...

...Корабли ушли. Они, быть может, уже подходят к мысу Лукулл, а там, как говорится, не за горами и Стрелецкий рейд, а дальше Инкерманский створ, боновое заграждение, памятник затопленным кораблям, Южная бухта, Графская, а за нею Минная пристань.

...Корабли ушли. Заика сидит на бревнах, на самом горбе обрыва, за которым пошумливает море — Каламитский залив суетливый. В ушах лейтенанта все еще звучат слова: «Товарищ командир! Шлюпки подошли к берегу — спускайтесь! Пора уходить!» Он отвечает (не громко, на батарее немцы) каким-то чужим голосом: «Отходите немедленно!» А почему же он так сказал, а не — «Сейчас идем»? Почему? Потому что он остался в отряде прикрытия, и за ним, за отрядом прикрытия, должны прийти шлюпки. Но тут взвились в небо ракеты и осветили берег и часть залива и шлюпки. Все как на ладони. Гребцы жмут изо всех сил, а возле них пули, как пчелы, сыплются, фашисты стреляют трассирующими. К счастью, пули не задевают шлюпок.

Шлюпки не возвращаются.

Ночь черная, тяжелая усталость клонит ко сну.

Отряд прикрытия собирается возле боевой рубки, а командиры заходят внутрь для короткого совещания.

Комиссар батареи Савва Павлович Муляр предлагает прорваться и уходить в Севастополь. Лейтенант Яковлев и Лавров поддерживают его, а Заика молчит: ему слышится стук падающих возле лейтенанта Яковлева гранат и дисков к автоматам, которые ему отдают уходящие на корабли краснофлотцы, и доклады радиста Дубецкого и сигнальщика Шмыркова: «Товарищ лейтенант, корабли требуют — скорей!»

А что он может сделать? Задерживают раненые. В темноте он не видит, кто переносит их из землянки медпункта, а переносят их батарейный санитар Сергей Колесниченко и Валентина Заика. Заика не видит жены. Она не видит мужа.

Заика мрачен. Кого ругать за то, что не предусмотрена эвакуация раненых с батареи морем? Как их спускать с такого крутого обрыва? Тут нужен трап либо лифт, а вместо всего этого висит над обрывом канат, сплетенный из жил телефонных проводов. Раненые рвут кожу на руках об этот канат.

В Севастополе в госпитале, как увидят руки раненых, скажут: а что ж ваш командир не мог обеспечить человеческой эвакуации? А какая же тут, к черту, человеческая эвакуация, когда батарея разбита и ночь черна, словно сидишь в чернильнице! И атаки идут одна за другой. Бои уже потеряли свою закономерность, которую разрабатывают для них штабы, и ожесточение становится тактикой.

...Корабли теперь где-нибудь на траверзе Любимовки, а возможно, и у мыса Константиновского. А почему шлюпки не пришли за ними? Испугались риска? А может быть, он сам что-то не предусмотрел, что-то не учел? Все может быть — он уже четвертые сутки на ногах, потерял батарею, которую сам строил... Людей скольких потерял! И жена все эти дни чуть ли не по колено в крови и плачет над каждым раненым. Всех жалко, все — дороги, как родные, батарея всех сблизила. Да и за него сердце изболелось. И сам-то он тоже не каменный. Хотя комиссар и не одобряет его решение, но все равно пойдет искать жену. Разве можно бросить ее! Не-ет, комиссар, она медик и солдат! Она тоже батареец!

Прошло несколько минут, и в районе медпункта начали рваться гранаты, а потом заработал и автомат. Муляр понял: командир вступил в бой.

Скоро Заика возвратился.

— Комиссар, нигде нет ее! Что ж мне делать?!

Комиссар успокаивает его, он говорит, что она, наверно, вместе с ранеными ушла на катерах в Севастополь. А может быть, ждет его внизу — оттуда доносятся какие-то голоса. Постояли немного, окинули глазом при очередной ракете батарею и быстро спустились вниз по телефонным проводам и кожу на руках не ободрали — догадались перебинтовать их.

Внизу на песке — никого, только море чуть пошумливает. Звук такой, будто корова пустое ведро лижет,— это волна умирает на песке.

Заика послал краснофлотцев Матвиенко и Диденко поискать, нет ли кого из батарейцев раненых.

Раненых никого, а убитые есть, а кто, опознать невозможно в кромешной темноте. Отошли немного от пристрелянного фашистами места и стали ждать Морозова — он остался там, наверху, со счетверенным пулеметом для прикрытия. Ждать пришлось недолго, наверху вспыхнула пальба, в которой отчетливо все услышали голос счетверенного и затем несколько взрывов гранат и внезапно наступившую мертвую тишину. Красноречивая тишина — Морозова теперь уже не дождаться никогда!

Отойдя от батареи на приличное расстояние, начали делиться на группы — всем пройти незамеченным нельзя. Краснофлотцы Матвиенко и Диденко — первая группа. Лейтенанты Лавров и Яковлев составляют вторую группу — они рассчитывают найти шлюпку и на ней добраться до Севастополя.

С командиром остались комиссар и три краснофлотца. Рассвет застал их у двух одиноко стоявших на берегу моря домиков.

При виде жилья всем захотелось тепла и отдыха — ночи-то в ноябре у моря промозглые; от воды тянет сыростью и пронизывающим до костей холодом.

Приготовили гранаты.

Комиссар осторожно постучал в окно.

Долго не открывали, наконец вышел мужчина.

На вопрос, есть ли немцы, отрицательно покачал головой, но сказал, что есть раненые моряки.

Вошли.

В первой комнате — никого, а вторая полна.

Заика включил карманный электрический фонарик и пошел светить по лицам — все свои, батарейцы. Он хотел уже погасить фонарик, но тут в углу вдруг рывком с пола поднялась женщина. Глянул — и упал как подкошенный [1].

---

[1] Историк 54-й батареи береговой обороны Главной базы Черноморского флота — полковник в отставке Л. Г. Репков любезно, по просьбе лейтенанта Заики, предоставивший мне свои материалы, отмечает, что командир батареи И. И. Заика к этому времени находился в состоянии крайней усталости. Поэтому и не выдержал неожиданной встречи с женой.— *Автор.*

Как же она очутилась тут?

Сквозь слезы Валентина Заика рассказала мужу, что произошло с ней.

Когда пришли корабли, она с санитаром Сергеем Колесниченко помогала раненым добираться до обрыва, с которого шла эвакуация.

Некоторых пришлось нести. Сейчас ей помнится лишь то, что они вместе с Сергеем принесли носилки, поставили, и она только хотела подойти к мужу — он тут на обрыве, на бревнах, сидел,— как в это время рядом разорвалась мина.

Дальше — полный провал.

Только здесь, в этом домике, пришла в себя.

Краснофлотцы, которые принесли ее сюда, рассказали, что нашли «докторшу» под обрывом, на берегу моря, без памяти. Да и то чуть не прошли мимо: кому-то пришло на ум попробовать пульс, и он воскликнул: «Хлопцы! Да она живая!»

Краснофлотцы эти пробирались с линии обороны батареи правого фланга.

Они подхватили ее на руки и несли всю дорогу до этих домиков...

Утром хозяин дома послал двух дочерей на разведку. Как только они ушли, Муляр обошел всех и предупредил быть наготове, а в случае чего драться до последнего.

Спустя время возле домика появился человек в форме морского летчика. Он шел с какой-то подозрительной осторожностью — все время оглядывался, как будто прятался от кого-то. Подойдя к двери, постоял немного, огляделся и наконец решился постучать. Стоявшие наготове краснофлотцы быстро открыли дверь, схватили его и втащили в дом. Напрасно он требовал отпустить его, объяснял, что свой, летчик, машину подбили немцы над 54-й батареей, чудом посадил и теперь вот пробирается в Севастополь.

Пока он выговаривал все это, его обыскали, отобрали пистолет и документы. Заика и Муляр задали ему несколько каверзных вопросов: на них мог ответить лишь настоящий морской летчик Черноморского флота. Он ответил, и документы его оказались правильными. Это был летчик Борисов Алексей Федорович.

Вернули ему документы и оружие.

Вскоре пришли из разведки дочери хозяина дома. Они

рассказали, что все дороги забиты войсками, которые двигаются в сторону Севастополя, а в селах гитлеровцы собирают подводы на вывозку убитых немцев с 54-й батареи.

Комиссар собрал совещание. Решили всех, кто может идти, разбить на группы. Раненые останутся здесь. Хозяин дома расселит их в надежных местах до выздоровления.

Спор вызвал вопрос, как пробираться к Севастополю. Одни считали, что идти на юг нельзя, поскольку туда движутся дивизии 54-го армейского корпуса генерала Ганзена и прошмыгнуть незамеченными там невозможно. Идти за гитлеровскими войсками — это все равно что лезть самим в пасть крокодила. К Севастополю надо пробираться по глубоким тылам противника на север, а там искать какие-то слабые места и просачиваться к своим.

Разбились на группы. Группа, в которой были супруги Заики, комиссар и летчик Борисов, рискнула идти прямо на юг. Хозяин дома дал им гражданскую одежду. Придумали даже какие-то причины, если немцы схватят их и начнут допрашивать.

Однако группой пройти не удалось — решили идти поодиночке.

Сначала ушел летчик Борисов. Немного он пробыл с ними, а успел как-то всем прийтись по душе. С тоской смотрели, как холмистая местность постепенно скрывала его.

Настала очередь прощаться с комиссаром. Всего около трех месяцев служили вместе, но так сдружились, будто годы прошли. Как же, вместе строили и формировали батарею и вместе, по выражению комиссара, «держали экзамен на воинскую зрелость»...

Обнялись, похлопали друг друга по спине и расстались. Чуть не заплакал Заика — так тоскливо стало, когда ушел комиссар.

Оставшись одни, Валентина и Иван все же попытались пройти в Севастополь, но и на этот раз им не удалось, тогда решили подаваться в район Карасубазара — там родители Валентины, а Заику никто не знает.

В пути, пока добирались до Карасубазара, много встретилось разных людей — плохих и хороших. Хорошие посоветовали Заике выдавать себя за сбежавшего из заключения, а Валентине говорить, что она беженка с Украины.

С этой легендой прошли. Но жить Заике с ярлыком беглого заключенного было несладко — он искал связи с партизанами, а его сторонились, как прокаженного. С большим трудом ему удалось завоевать доверие патриотов, и он вместе с группой ушел в леса Крыма к партизанам. Валентина не могла уйти с мужем — она была беременна.

Так и не попал Иван Заика в Севастополь ни в сорок первом, ни в сорок втором.

Артиллеристы, которые эвакуировались с 54-й батареи 2 ноября 1941 года на катерах, по прибытии в Севастополь в сообщении командованию о боевых действиях батареи писали: «Возможно, он жив и продолжает упорную борьбу с врагом за родину, за погибших товарищей, а если погиб, мы всегда будем чтить светлую память о тебе, лейтенант Заика!»

Так и посчитали его погибшим. И эта версия попала даже в книги, вышедшие спустя много лет после войны. А Иван Иванович, человек на редкость скромный и цельный, придя к партизанам, сначала сражался как рядовой боец, затем был выдвинут на должность начальника штаба отряда. За отличие в одной из операций был назначен командиром 10-го отряда 2-й бригады восточного соединения партизан Крыма.

Между прочим, в этом отряде воевали и тесть его и младший брат жены. А мать и еще две сестры Валентины (к тому времени ставшей матерью) были схвачены гестаповцами за связь с партизанами. Валентине по пути на вокзал удалось не только отдать ребенка одной из женщин, что толпились на улице, провожая арестантов, но еще и... сбежать при посадке в поезд.

Мать и сестры просидели в севастопольской тюрьме до мая сорок четвертого года — пришла наша армия и освободила их, а Валентина... Партизанские разведчики нашли ее и провели в лес, в отряд мужа, где она, как и на 54-й батарее, стала партизанским лекарем. Так Заики, муж и жена, вместе начали войну и вместе кончали ее.

Из партизанского войска Иван Иванович Заика снова вернулся на флот, командовал батареей, а в 1947 году, после одиннадцати лет службы, из-за плохого здоровья демобилизовался и вернулся в Кременчуг.

Вот и все — кончилась глава. Предчувствую вопросы: «А как же дальше сложилась судьба Заики? Нашелся ли сын? Что делает Валентина Заика?»

Сына Алика они отыскали летом 1944 года. В 1968 году он окончил Харьковский политехнический институт.

Валентина Герасимовна работает по своей специальности, на том же Кременчугском заводе автодорожных машин, где до флотской службы начинал свою рабочую карьеру ее муж. А сам Иван Иванович после демобилизации без отрыва от производства окончил среднюю вечернюю школу, получил аттестат и поступил на заочное отделение Харьковского автодорожного института.

Шесть лет мастер в цехе и студент-заочник в институте. Еще и теперь он меняется в лице, когда вспоминает о том времени. Тяжело было: ни денег, ни свободного часа, работа — учеба, учеба — работа. На зачетные сессии приходилось ездить в Харьков.

Ну, а если б не выдержал, то не был бы инженером и начальником отдела конструкторского бюро завода!

А как сложилась судьба комиссара батареи Саввы Павловича Муляра?

Комиссар настойчиво, терпеливо перенося все лишения и неудобства жизни скитальца, всю осень и начало зимы предпринимал несколько попыток пробраться в осажденный Севастополь, но ему не удалось осуществить свое желание.

Долго он переходил с одного места на другое в тылу у врага и лишь в 1942 году, совершенно измученный, больной, в холодный январский день одолел наконец роковое препятствие — линию фронта и под Ростовом-на-Дону очутился на своей стороне.

Лишь в сорок третьем году он снова вернулся на флот, на один из кораблей Каспийской военной флотилии. Затем, после настойчивых рапортов, ему удалось перебраться на Дунайскую военную флотилию, где он начинал военную службу. На Дунае, в городке Вилково, который не без основания называют Дунайской Венецией, комиссар Савва Павлович Муляр скончался от язвенной болезни в 1947 году.

А летчик Борисов Алексей Федорович?

Борисову не удалось пробраться в Севастополь — судьба, после тяжелых скитаний по тылам врага, забро-

сила его к партизанам — в знаменитую армию Исидора Ковпака. В этой прославленной партизанской армии он и закончил войну.

НЕБЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ...

После окончания войны с германским фашизмом прошло уже более тридцати лет, а мы не знаем и малой доли о взбудоражившей под новый, 1942-й год не только нашу страну, но и всю Европу знаменитой Керченско-Феодосийской десантной операции, осуществленной под руководством капитана I ранга Николая Ефремовича Басистого.

Я не имею возможности рассказывать о всей операции, предпринятой для облегчения положения гарнизона осажденного Севастополя, а расскажу лишь об одном корабле, который вместе с другими военными судами Черноморского флота ворвался в занятый фашистами Феодосийский порт, под обстрелом врага ошвартовался у стенки и, невзирая на ливневый огонь артиллерии, минометов и удар с воздуха, высадил десантные войска и выгрузил оружие. Я хочу рассказать о крейсере «Красный Кавказ», на котором имел счастье участвовать в его первом боевом походе, в начале сентября 1941 года, к берегам осажденной Одессы. Встречался и впоследствии с его экипажем и доблестным командиром Алексеем Матвеевичем Гущиным (ныне контр-адмиралом в отставке).

...Сначала в порт влетели катера «МО» и высадили десантников первого броска, а через восемь минут вошли корабли эскадры, миноносцы «Незаможник», «Шаумян», «Железняков» и крейсер «Красный Кавказ». Крейсеру «Красный Крым» было предписано высаживать десант на рейде, на баркасы, в трех кабельтовых от порта.

«Красный Кавказ» должен был швартоваться у стенки мола. Это оказалось нелегким делом, мешал сильный отжимный ветер. Долго работал крейсер машинами, менял хода, осторожничал из-за боязни навалиться на мол.

Оказалось, что в шторм завести швартовый конец за береговую тумбу ничуть не легче, чем накинуть аркан на шею бешено мчащегося дикого оленя.

Не успел крейсер ошвартоваться, как попал под минометный огонь. Казалось, что могли сделать полевые минометы крейсеру? Да ничего! Если б крейсер не отда-

вал якоря и не накидывал на причальные тумбы швартовые концы, а имел бы свободу маневра. К тому же на его палубе настоящий муравейник: на берег торопливо, пытаясь соблюдать порядок, сходили солдаты.

Густо было и там, где велась разгрузка: на берег спускались пушки, грузовые машины, ящики со снарядами и много других грузов, которые следуют за армией, как ложка за солдатом.

Теснота. Гул. Выкрики команд. Тут куда бы ни упала мина — везде цель.

Еще сложней и тяжелей стало на крейсере, когда в дело вступила крупнокалиберная вражеская батарея с Лысой горы. Вскоре к ней присоединилась батарея с мыса Ильи.

Страшен был этот дуэт!

Корабельные артиллеристы отдали все: знания, навыки, ярость, но подавить, заставить замолчать этот проклятый дуэт вражеских батарей никак не удавалось — уж очень хорошо укрыты были они и предельно обнажен корабль.

Снаряды в начале обстрела рвались под бортом, а затем стали падать и на корабль. Один из них неожиданно (снаряды и бомбы всегда кажутся неожиданными, когда они попадают в цель) попадает во вторую орудийную башню, пробивает броню и взрывается внутри боевого отделения.

В башне вспыхивает пожар — загораются провода и краска, но некому взять в руки огнетушители — взрыв сбил с ног всех. Одним уже никогда не встать, другим срочно требуются носилки и корабельный хирург, а третьим, хотя они не ранены, надо прийти в сознание — они отравлены газами.

Между тем огонь почувствовал себя неограниченным хозяином, побежал по стенам и проводам к элеватору с зарядами. Тем, кто знает устройство корабельной артиллерийской башни, ясно, какая страшная опасность нависла над крейсером... Стоит огню подобраться к элеватору, как загорятся картузы — шелковые мешки, набитые пластинчатым порохом, и дальше огонь уже не побежит, а как на крыльях полетит от картуза к картузу, доберется до погреба, и от тяжелого, огромного корабля, весящего много тысяч тонн, едва ли что останется, кроме облака дыма...

Огонь нужно остановить чего бы это ни стоило — ина-

че о крейсере действительно будут говорить в прошедшем времени!

Командир крейсера задумался: прибегать ли к крайней мере, то есть затоплять погреб, или подождать? Может быть, в башне остались люди, способные бороться с огнем? Но на телефонные звонки оттуда никто не отвечает.

Пока командир мешкал с решением, очнулся комендор, краснофлотец Василий Покутный, и сквозь пелену дыма увидел горящий картуз. От мысли, что огонь от этого картуза перекинется к следующему, а от следующего к очередному и, таким образом, доберется до погреба, он быстро вскочил на ноги и кинулся к элеватору. Горящий картуз очутился в его руках. А что дальше? Ни одного огнетушителя на месте нет — все выброшены из гнезд взрывной волной. В башне все время чадило, дым и газы перехватывали дыхание. Дым ел глаза.

Погасить горящий порох можно, но для этого надо сотворить чудо! Скажем сразу — чуда не было.

Василий Покутный лег на картуз и пытался своим телом задушить пламя. С обуглившимися руками, с покрытым волдырями лицом, впавшего в беспамятство отважного комендора унесли в госпиталь, а огонь был задушен уже другими. При этом было проявлено столько мужества, что командир крейсера не сделал бы ошибки, если б представил комендоров второй башни к званию Героя Советского Союза.

...Обожженных кого увели, а кого и снесли в госпиталь. А высадка, несмотря на усиливавшийся обстрел и пожары, ни на минуту не прекращалась.

Но вот наступил долгожданный момент — с борта крейсера сошел последний десантник, а выгрузка боевого снаряжения армии задержалась — осталось несколько орудий. Меж тем стало светло, и батареи с мыса Ильи и Лысой горы начали просто избивать крейсер.

Перед командиром встала дилемма: оставаться на растерзание — заканчивать выгрузку — или уйти? Корабль — богатырь, когда имеет маневр, а у стенки с отданным якорем и заведенными швартовыми...

Гущин каждый снаряд противника встречал с ужасом — потопят, черти!

Наконец последовало распоряжение от командующего высадкой капитана I ранга Николая Ефремовича Басистого:

— Отходите!

Быстро убраны швартовы, а якорь выбирать — риск: отдается команда расклепать цепь, и она с грохотом уходит на дно.

Без телеграфа и переговорных труб (приказание с мостика в машину идет по цепочке краснофлотцев), с пробоинами в корпусе, словно смертельно раненный, но оставшийся в строю солдат, крейсер вышел на артиллерийскую позицию.

Нелегко придется ему, если нападет авиация,— подавать по живой цепочке команды, когда грохочет артиллерия и по ушам бьют адские звуки рвущихся авиационных бомб!

Авиация напала. И действовала она не одна, а с артиллерией.

Даже сейчас, в семидесятые годы, ветераны не могут ответить, как они справились тогда с этой задачей. Откуда взяли силы?

Отстрелявшись, крейсер ушел в Туапсе. Здесь собирались заделать пробоины в корпусе, исправить повреждения и хоть немного отдохнуть.

В Феодосии крейсер пробыл всего лишь д в а часа. Но чего стоили они!

По пути в Туапсе израненный корабль хоронил своих героев. Их было двадцать три. Тела героев были отданы морю. Штурман поставил на карте знак.

Когда крейсер подходил к туапсинскому причалу, его, кроме швартовых команд, встретили еще и любопытные: в корпусе корабля около десятка пробоин. Одни из них заделаны штатными пластырями, а другие матрацами и краснофлотскими шинелями и бушлатами. С этими заплатами крейсер вышел из Феодосии, вел стрельбы на артиллерийской позиции и вошел в Туапсе.

Недалеко от того места, где пристал крейсер, его ждал уже санитарный поезд.

Потянулись носилки. Своим ходом топали ходячие раненые. Все, кто мог, покидая судно, отдавали честь флагу. На носилках покинул корабль и комиссар Григорий Иванович Щербак. В бою он всегда был рядом с краснофлотцами: сердце моряка, как бушлат во время атаки, распахнуто для правдивого слова, и Щербак не был скуп на это.

Командир крейсера, стараясь не показывать виду, с

болью в сердце прощался с уходящими с корабля боевыми товарищами: когда еще удастся свидеться!

После того как все раненые были сняты с корабля, на борт его поднялись представители судоремонтного завода. Они обстоятельно изучили все повреждения и приступили к составлению ремонтной ведомости, намереваясь без задержки приступить к ремонту. Но не успели они закончить свое дело, как на корабль поступил семафор — «отправиться в Новороссийск!».

Около часу ночи, да не какой-нибудь, а новогодней — 1942-й только сорок семь минут назад наступил,— крейсер вошел в Новороссийск!

В Новороссийске крейсер застигла б о р á. Я уже писал об этом метеорологическом звере, об этом тигре ветров на юге нашей страны. Во время боры́ суда стараются покинуть порт, но «Красный Кавказ» не мог сделать этого: комиссия, осматривавшая его в Туапсе, сделала заключение: «В дальние походы выходить не разрешается».

Три дня командир не сходил с мостика: удержать во время боры́ сильно побитый корабль дело нелегкое. Тем более все еще не были исправлены повреждения, нанесенные минометным огнем телеграфу и переговорным трубам.

Однако срочно требовалось перебросить в Феодосию дивизион зенитных орудий, боеприпасы, войска и разное снаряжение, а кораблей под рукой, кроме «Красного Кавказа», нет. Штаб флота дает разрешение крейсеру на поход.

Поход решено свершить в темное время, чтобы избежать встреч с авиацией противника. Командир рассчитывал обернуться за десять-одиннадцать часов: от Новороссийска до Феодосии — сто двадцать девять миль, если идти двадцатичетырехузловым ходом: десять — на переход и час там, на выгрузку.

Но все пошло не так, как прикидывалось,— ясную, хорошо продуманную карту похода нарушили или, пожалуй, смяли непредвиденные обстоятельства.

Началось с того, что штаб 44-й армии неожиданно высказал желание отправиться в Феодосию на «Красном Кавказе». Крейсер уже принял на борт тысячу двести красноармейцев, двенадцать пушек, тысячу семьсот ящиков снарядов, десять грузовых автомобилей и два трактора-тягача и уже выбрал швартовы, готовый отойти, когда прибыл нарочный с просьбой задержаться.

Целый час ушел на ожидание и прием штаба на борт, а за это время пал непроглядный туман. Из бухты выходили, как рассказывал контр-адмирал Гущин, «на стопе», то есть машины делали несколько оборотов, потом давалась команда «стоп машина», и крейсер тихо, как говорится, «ползком» по инерции катился вперед.

На выходе из порта туман стал еще гуще, и тут чуть не произошло столкновение с транспортом. Пока были вызваны буксиры и пока они оттаскивали транспорт... короче, выйти удалось крейсеру в Феодосию вместо вечерних сумерек лишь в полночь!

Не повезло краснокавказцам и на подходе к Феодосии: здесь туман был плотен и густ, как молоко, гулял восьмибалльный ветер и держался семнадцатиградусный мороз — все покрылось льдом: снасти, надстройки и грузы.

Мореплаватели знают, что такое обледенение на корабле, где много груза и полным-полно пассажиров! Самое страшное в том, что с каждой минутой задержки обледеневшего корабля в море опасность увеличивается из-за нарастания наледи: при неловком маневре можно и перевернуться.

Но что делать, если время уходило, а Феодосийский маяк, который должен был зажечь огонь (конечно, на краткое время), по которому крейсер смог бы определить вход в порт... не зажигал его! И тут потеря времени!

В порт вошли, когда уже утренняя сутемь таяла и безоблачное небо сулило светлый, яркий морозный день.

Ошвартовались, спустили сходни, и тут задержка: пушки, снарядные ящики, грузовики, тракторы-тягачи — все покрыто толстым слоем наледи. Каждый ящик со снарядами приходилось вырубать изо льда, а грузовики, в которых весьма некстати замерзла вода, их пришлось тащить на матросских плечах. Хотя командир крейсера предупреждал армейцев, чтобы на переходе они следили за водой в радиаторах грузовиков и тракторов.

Совершенно вымучили боцманскую команду тракторы-тягачи: они должны были (по плану) своим ходом подойти под стрелу, та их подхватывает и спускает на причал. Увы! В их радиаторах тоже замерзла вода. Каждый трактор весил тринадцать тонн! И эдакие махины надо было подтаскивать к стреле на руках!

Солнце поднялось над городом, когда до конца выгрузки оставались уже считанные минуты, но тут над портом высоко-высоко прошли самолеты-разведчики, а вскоре появилось шесть пикирующих бомбардировщиков.

Первая атака была отбита.

Самолеты предприняли новое нападение. Зенитчики подняли над крейсером «огневую завесу», но одному из пикировщиков удалось прорваться через нее, и он на предельно низком расстоянии успел сбросить бомбу крупного калибра, но сам, как мотылек, налетевший на пламя, загорелся и упал.

Бомба упала у кормы в воду, взрыв ее был так силен, что подбросил корабль, он чуть завалился на левый борт, и палуба, стальная броневая палуба, перекосилась от кормы до носа. И тут в какой-то почти не поддающийся учету момент с палубой произошло то, что происходит с тетивой лука,— палуба на миг натянулась и выбросила на мол лейтенанта Гойлова!

Взрывом сорвало с фундаментов несколько пушек стомиллиметрового калибра, расстроило точные механизмы и приборы, командира крейсера ударило об ограждение мостика, и он потерял сознание.

Взрывы следовали один за другим.

Внезапно наступила тишина. Вокруг корабля плавали мертвые чайки, а с берега несло горелой резиной и еще каким-то коктейлем из запахов — там догорали сбитые корабельными артиллеристами два пикировщика.

Командир крейсера едва успевал слушать доклады:

— В котельном номер четыре — вода!

— В помещении дизелей — вода!

— Вода затапливает коридор командного состава!

Вода! Она настырно вбуравливалась во все щели, затапливала артиллерийские погреба главного калибра. Все было пущено в ход: все водоотливные механизмы, по всему кораблю лихорадочно работали краснофлотцы аварийных партий, а корабль, как тяжелораненый, падал вниз.

Когда под кормой остался всего лишь метр, командир понял, что теперь дорога́ каждая секунда: если крейсер сядет кормой на грунт, то... Гущину страшно было даже

подумать, что будет с кораблем, если он потеряет плавучесть, а с нею и ход!

— Рубить швартовы! С якоря сниматься! — сухо скомандовал он.

Мичман Суханов, главный боцман крейсера, как будто ждал этой команды — мигом краснофлотцы приволокли тяжелые балластины и топоры. Балластины подсунули под швартовы, и краснофлотцы-богатыри хватили топорами по-крестьянски — «с хаком», на выдохе, и стальные канаты лишь блеснули на разрубе и с шипением свалились за борт. Шпиль сработал прекрасно — якорь быстро и с шумом вышел из воды.

Когда крейсер отошел на приглубое место, корма пошла под воду.

Выход корабля из порта засекли самолеты-разведчики, вслед за ними показались бомбардировщики. Эта атака кончилась для крейсера тяжелыми последствиями: корабль потерял гребной винт, лишился рулей, вышла из строя часть турбин, появились новые пробоины, через которые дружно прибывала вода... Вода. Она уже гуляла по верхней палубе и почти доходила до четвертой башни.

Никогда еще этот сравнительно короткий путь — сто двадцать девять миль — не продолжался так долго, так мучительно. Лишь в ночь на пятое января крейсер, экипаж которого не имел ни минуты отдыха, подходил к Новороссийску. Путь от Феодосии был испытанием: крейсер готов был опуститься на дно морское, но экипаж от командира до краснофлотца всеми способами мешал этому: одни с обваренными паром руками перекрывали клапаны, другие ныряли в воду и искали повреждения, третьи в ожидании пластыря становились спиной к пробоине и собой закрывали ее, превозмогая судорогу, которую вызывала ледяная вода...

На подходе к Новороссийску командир крейсера сообщил в штаб о положении на корабле и просил выслать буксиры для входа в порт. В ответ приказание идти своим ходом в... Туапсе.

Еще семьдесят миль без руля и без ветрил, почти с двумя тысячами тонн воды в корпусе!

В Туапсе не было возможности, как говорится, поднять на ноги такой корабль, и «Красному Кавказу» пришлось на буксире идти в Поти.

Ветераны рассказывали мне во время празднования двадцатипятилетия освобождения Севастополя, как крей-

сер был тогда встречен в Поти моряками эскадры: только буксиры начали втягивать «Красный Кавказ» в порт, со стенки грянула музыка, и тут у краснокавказцев дрогнули сердца — многие не удержали слез...

Никто из экипажа крейсера не рассчитывал на такую трогательную встречу. Напротив, у всех было на сердце чувство неловкости за то, что не уберегли корабль в такой важный момент, когда он позарез нужен и Феодосии, и осажденному Севастополю.

А с берега неслись крики: «Да здравствует героический крейсер «Красный Кавказ»!», «Слава героям Феодосии!», «Ура!»...

НАИГЛАВНЕЙШЕЕ ДЕЛО

Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота яко наиглавнейшее дело.

Надпись на памятнике Петру I в Кронштадте. Из Указа государя 1720 года 18 мая

В предыдущей главе я оставил крейсер «Красный Кавказ» в Поти. Оставил на длительное время, потому что когда его подняли в док и откачали из корпуса воду, то в корме вместо трех пробоин оказалась одна, да такая, что в нее мог въехать грузовик. Не дыра — ворота! А кругом столько еще накорежено... Ни одного целехонького шпангоута и угольника... Как восстанавливать корабль — сразу было и не постигнуть. Казалось, проще всего отрезать искореженную корму, оттащить в сторону, подвести новую и... приварить... Но такие задачи тогда еще не были по плечу, и решать их можно было лишь на досуге, а не во время военной страды.

Ранение боевого корабля влечет за собой боевую бездеятельность многих сотен людей. Нужно ли объяснять, что творится на душе у матроса, когда другие воюют, а его корабль стоит у стенки?

При тщательном исследовании состояния «Красного Кавказа» в нем оказалось так много повреждений, что ремонтная ведомость выросла до размеров библии. Нужно было ковать новый кормовой брус, гнуть шпангоуты, флоры, броневые листы, а заводик маломощный (это не

то, что севастопольский Морской завод!), война и тут людей подобрала. Самой дефицитной профессией оказались гибщики металла — а работы для них уйма. В самом деле, что мог сделать один-единственный гибщик на всем заводе! Да и печей для подогрева стальных и броневых листов тоже не больше гибщиков.

Экипаж крейсера гудел: «Это что же — до конца войны в ремонте стоять?!»

Специалисты завода заявили, что раньше чем через десять месяцев крейсер не выйдет из ремонта. И то это «по напряженному графику... Быстрей? Быстрей нельзя — нет специалистов!».

После нескольких совещаний моряки пришли к решению набрать на крейсере специалистов и передать заводу, и чтоб ремонт шел «на полный ход!».

Два дня формировался корабельный «отряд» ремонтников. Через два дня команда — «шагом марш», и двести пятьдесят краснокавказцев сошли по трапу на стенку — и на завод.

Моряки попали под опеку опытнейших мастеров, и прошло сравнительно немного времени, как краснофлотцы стали клепальщиками, чеканщиками, сборщиками, электросварщиками, слесарями, гибщиками и такелажниками. И затряслась, загудела десятитысячетонная махина крейсерского «тела».

Рабочие потийского завода любовались работой краснофлотцев — проходит человек мимо участка, на котором работают моряки, и не удержится, чтобы не остановиться: уж очень красиво мастерят «вояки».

А возле сверлильщика краснофлотца Асерецкого даже инженеры постаивали — он сверлил вручную броневые плиты, этот заказ впору только станку!

А как же красиво работал краснофлотец Иван Конюшенко! Он до службы на флоте немного знал приемы гибки шпангоутов и броневых плит. Теперь ему дали участок и бригаду. Конюшенко начал с того, что построил из разного металлического бросового материала печь для подогрева металла, а потом начал гнуть его. Да еще обучил ребят этому нелегкому, но красивому делу.

Командир корабля капитан II ранга Алексей Матвеевич Гущин в любой час дня и ночи находился там, где всего труднее.

Потийский завод подрядился все сделать, кроме стального десятитонного бруса для ахтерштевня, и интенданты флота тоже давали крейсеру все, кроме стомиллиметровых зенитных пушек,— их просто не было на складах. При обсуждении этого вопроса пришла мысль снять зенитные пушки этого калибра с затонувшего во время бомбежки в Южной бухте Севастополя крейсера «Червона Украина». Но дело рискованное — опасное для водолазов: каждый разрыв бомбы и снаряда в воде создает так называемый гидравлический удар. Его сила способна сплющивать броневую сталь, а Севастополь и часа не живет без бомбежек и обстрелов.

Что делать?

На выручку пришли сами краснофлотцы: старшина 1-й статьи Александр Белоусов, командир отделения зенитных комендоров, отобрал добровольцев среди корабельных водолазов и артиллеристов и заявил, что он берется с подобранной им группой поднять зенитки с «Червоной Украины» и доставить их из осажденного города в Поти.

Командир посовещался с комиссаром и дал «добро». Белоусов и его группа отправились с первой же оказией в Севастополь.

Вслед за этой группой вторая группа отправилась в Сталинград ковать стальной десятитонный брус для ахтерштевня.

Группа Белоусова благополучно прибыла в Севастополь к месту, где лежала на дне «Червона Украина». Водолазы осмотрели зенитные пушки и начали демонтировать.

После того как обе пушки были сняты с затонувшего крейсера, их погрузили на транспорт и отбыли в Поти.

В пути на транспорт навалились гитлеровские самолеты-бомбардировщики — Александр Белоусов встал к зенитной пушке и так искусно вел огонь, что ни одна бомба не упала на корабль.

Вслед за зенитчиками вернулась группа, ездившая в Сталинград.

Как только новый ахтерштевень занял свое место, началась сборка скелета кормовой части корабля.

Работы велись так, будто тут в доке шла не мирная жизнь, а кипел бой.

«ОХОТА НА ДРОФ»

Генерал Эрих фон Манштейн имел слабость свои военные операции кодировать замысловатыми названиями, чем-то напоминавшими либо названия охотничьих рассказов, либо главы бульварного романа.

Операцию против войск Крымского фронта он назвал «охотой на дроф», а последовавший за нею третий штурм Севастополя — «ловом осетра». Крым в его бумагах именовался как «непотопляемый авианосец», а береговые батареи, прикрывавшие Севастополь с моря, обозначались так: «форт Сталина», «форт Максим Горький», «форт ГПУ» и т. д. Севастополь он подчеркнуто называл к р е п о с т ь ю. Причем если б можно было, он писал бы это слово через два «р». Кстати, крепость — это система фортов и сложных инженерных сооружений, а если сказать кратко,— то кольцо огневых рубежей и заградительных систем: рвы, минные поля, ряды колючей проволоки, стальных надолб и т. д. Ничего этого Севастополь не имел. Ларчик открывался просто — Гитлер за взятие крепости или же крупного города, района, страны давал своим полководцам маршальские погоны и жезл. Потерпев неудачу со взятием Севастополя с ходу, Манштейн начал 17 декабря второй штурм артиллерийской канонадой, по силе равной восьмибалльному землетрясению. В наступление было брошено семь пехотных дивизий, три горных, кавалерийская бригада, сто пятьдесят танков и несколько четырнадцатидюймовых мортир. В воздух поднялись двести бомбардировщиков.

В ставку Гитлера генерал сообщил о том, что на этот раз Севастополь будет взят 21 декабря, то есть через четыре дня. 22 декабря исполнялось полгода с начала войны, очевидно, «лучшая стратегическая голова рейха» вознамерилась сделать подарок фюреру к этой дате. Что и говорить, подарок был бы первостатейный: ведь это не просто город, а — Севастополь!

Но и на этот раз Севастополь не был взят.

В ущельях, балках, на холмах и в долинах рек валялись тысячи немецких трупов: щепетильные к обязательности упокоения убиенных, гитлеровцы не успевали собирать и хоронить их. По весьма приблизительным подсчетам, до шести тысяч человек выходило из строя каждый день. И это еще не плата за маршальский жезл, а всего лишь задаток!

Между прочим, в период первого штурма Севастополя солдаты 11-й армии были полны самоуверенности и наглости — им были обещаны участки земли здесь, в Крыму, где так заманчиво шелестят шелковые волны Шварцзее. Не Черного моря, а именно — Шварцзее! Они уже и карты Крыма на немецком языке в карманах носили!

Но когда на глазах тех, кого господь еще не прибрал, тысячами гибли соискатели крымских владений, то кандидаты на участки начали трезветь и уже не с тем рвением кидались в огонь. А Манштейн хотел пробиться к Севастополю любой ценой.

Декабрь в Крыму, конечно, не тот, что под Москвой, но и здесь холодно, ледяные ветры с гор пронизывают до мозга костей, даже если эти кости арийские.

С моря ползут холодные, как дыхание ада, туманы. С неба валит снег — густой и липкий либо сухой и секущий, а отопление на фронте не центральное, а леса в руках партизан...

Почти под самый Новый, 1942 год, когда защитники Севастополя, ряды которых сильно поредели, испытывали крайнюю нужду в новых силах и боеприпасах, наступление 11-й армии начало выдыхаться. К огромной радости не только севастопольцев, но и всей страны, в это время в восточной части Крыма — сначала в Керчи, а потом и в Феодосии — специальный отряд кораблей Черноморского флота под командованием капитана I ранга Николая Ефимовича Басистого высадил десант.

Появление наших войск в Восточном Крыму и потеря немцами таких крупных городов, как Керчь и Феодосия, подействовали на фон Манштейна отрезвляюще — он не только прекратил штурм Севастополя, но и ушел в оборону, а часть войск снял из-под стен осажденного города и отправил их на восток полуострова.

Этим воспользовались защитники Севастополя: несмотря на усталость и большой урон, они уже второго января 1942 года повели наступление, чтобы вернуть свои старые позиции. Всю зиму солдаты Приморской армии и моряки не давали покоя немцам и не только вернули утраченные во время второго штурма позиции, но и значительно улучшили их.

В это же самое время на Керченском полуострове был сформирован Крымский фронт в составе трех армий. Весной, по замыслу Ставки Верховного Командования, он должен был освободить Крымский полуостров. К сожалению, Крымский фронт свою задачу не выполнил. Вот как впоследствии писал в книге «Генеральный штаб в годы войны» о положении на Керченском полуострове генерал армии С. М. Штеменко: «В феврале — апреле Крымский фронт при поддержке Черноморского флота трижды пытался прорвать оборону немцев, но задачи не выполнил и вынужден был перейти к обороне. Еще в марте Ставка направила туда в качестве своего представителя Л. З. Мехлиса. Из Генштаба с ним поехал генерал-майор П. П. Вечный. Они должны были помочь командованию фронта подготовить и провести операцию по деблокированию Севастополя. Мехлис остался верен своим привычкам: вместо помощи он стал перетасовывать руководящие кадры. Первым его шагом была замена начальника штаба фронта Толбухина генерал-майором Вечным.

Оперативное построение фронта между тем не отвечало задачам обороны. Группировка войск оставалась наступательной. Левый фланг, примыкавший к Черному морю, оказался слабым. Командующий войсками мотивировал это тем, что после некоторого улучшения исходных позиций фронт непременно будет наступать. Но наступление все откладывалось, а оборона, вопреки указаниям Генштаба, не укреплялась. Мехлис же занимался лишь препирательством с командующим.

А противник не дремал. Он со своей стороны готовил наступление, намереваясь сбросить советские войска с Керченского полуострова, чтобы всецело сосредоточиться затем на ударе против героически оборонявшегося Севастополя. Ему удалось безошибочно определить слабое место на приморском фланге 44-й армии. Сюда были нацелены крупные силы танков и авиации. Здесь же подготавливалась высадка морского десанта... 8 мая немцы нанесли удар по слабому приморскому участку фронта, прорвали наши позиции и быстро стали развивать успех. Оборона Крымского фронта, не имевшего резервов в глубине, была дезорганизована, управление войсками потеряно, отход на восток проходил беспорядочно. После двенадцати дней боев в таких условиях, несмотря на героизм войск, Крымский фронт потерпел тяжелое поражение.

А это резко ухудшило условия сопротивления для Севастополя и всей последующей борьбы за Крым»[1].

...Севастополь... Много материалов еще лежит безмолвно в папках различных архивов, комиссий, комитетов, музеев и просто в сундуках, в ящиках комодов. А кое-где и за обветшалой иконкой с темным ликом Николы Мирликийского.

Особенно важны материалы о последних днях обороны, когда почти все штабы, отделы, управления, канцелярии без оглядки на будущее уничтожали документы. Однако были люди, которые видели дальше той трудной минуты,— они сумели сохранить кое-что либо удержать в памяти некоторые важные события и факты...

Севастополь! Когда думаешь или вспоминаешь о нем, то видятся бегущие вверх каменные ступени, белая колоннада портика, классически строгий фронтон, словно бы созданный волшебной комбинацией гениальных по соразмерности и точности линий Евклида... Видятся дремлющие белые львы на парапетах, античные статуи в нишах; задумчивая синева неба, корабли на рейде, слепящая морзянка ратьеров и порханье сигнальных флажков; слышится медный, слегка певучий голос рынд и гудки буксирных судов, свист боцманских дудок, перезвон трамваев и крик чаек под бортом крейсера, сливающего в баржу-мусорницу отходы с камбуза...

Недалеко от железнодорожного полустанка Мекензиевы Горы есть местечко, откуда город открывается всего лишь на секунду и видится словно бы через шторку фотоаппарата при фотографировании движущейся натуры: дома внизу в легкой дымке и часть лазурной бухты с кораблями на ней. Момент настолько ошеломительный, что хочется, чтобы поезд остановился и дальше не шел, пока не наглядишься вволю.

Во время второго штурма, в декабре 1941 года, когда стояли лютые для этих мест морозы, гитлеровские офицеры по приказу командующего отобрали у солдат шинели и распорядились не подвозить обед: солдат подвели к тому месту, откуда сквозь морозную дымку едва виднелся город, и сказали:

---

[1] С. М. Штеменко. Генеральный штаб в годы войны. М., Воениздат, 1968.

— Кто хочет получить свою шинель и свой горячий обед, вперед! Там ваши шинели и обед!.. Там!

Горячий обед в Севастополе гитлеровские солдаты (если те солдаты, которым его показывали с высоты Мекензиевых Гор, остались живы!) получили лишь через шесть месяцев, когда фон Манштейн сделал последний взнос за маршальский жезл — закопал в землю под стенами Севастополя еще сто тысяч солдат и офицеров, участвовавших в третьем штурме города.

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ

По заданию редакции я ездил на два дня в Сухуми для встречи с подводниками Михаилом Грешиловым и Аркадием Буянским, находившимися там на кратком отдыхе. Из Сухуми катером-«охотником» добрался до Поти, откуда должен был отбыть в Тбилиси и далее самолетом в Москву.

В Поти было душно не только днем, но и ночью. И если в Сухуми ночную тишину рвали хриплые крики шакалов, то здесь ночами шли нескончаемые «конференции» лягушек, которыми кишела река Рион.

В Поти меня ждали два письма от жены, и в одном из них сообщение о том, что она ждет ребенка. Она ушла с прежнего места и теперь работает сестрой в госпитале. В связи с ожиданием ребенка она просит беречь себя и подчеркивает: «...зря не лезь!» Вообще-то можно, но зря не надо.

Это письмо сделало со мной что-то невероятное: теперь, когда у меня будет сын (я считал, что иначе и быть не может!), куда делась усталость, я быстро в течение дня провернул свои дела, пошел к военному коменданту, выправил железнодорожный билет, собрал вещи, и, хотя сын должен был родиться где-то в январе 1943 года, тем не менее я заразился каким-то нетерпением, будто январь будущего года вот-вот наступит...

Я сдал номер в потийской гостинице, взял чемодан, попрощался с жившими в гостинице корреспондентами

Всесоюзного радио Юрием Арди и Вадимом Синявским и только собирался сесть в фаэтон извозчика, как меня окликнул батальонный комиссар Поневежский — постоянный корреспондент центральной газеты Военно-Морского Флота «Красный флот» на Черном море.

Еще издали он размахивал какой-то бумагой.

— Слушай, Сажин,— сказал он, подходя ко мне,— как я рад, что застал тебя!.. Вот пришла «молния»... Прочесть?

Я кивнул, и он прочел:

— «Сажину немедленно отправиться в... Севастополь на шесть-семь дней и дать ряд ярких корреспонденций. Заместитель главного редактора капитан I ранга Дивавин».

В политотделе Потийской военно-морской базы мне под большим секретом сообщили, что в Севастополь (время не назвали) идет лидер «Ташкент». Лучшей оказии и желать нельзя было.

Из политотдела военно-морской базы я вернулся в гостиницу, бросил чемодан и только хотел съездить в порт, как встретил Синявского и Арди, они упросили меня не отпускать извозчика, а дать его им — они тоже хотят идти на «Ташкенте» в Севастополь.

Я, конечно, не устоял и отдал им извозчика.

«Ташкент», выделявшийся среди других судов эскадры стройностью и изяществом корабельных форм, элегантно покачивался,— он был чуток к погрузкам и приему войск. В этот час на его борт поднимались бойцы стрелковой бригады — пополнение гарнизону осажденного Севастополя.

Сходни стояли несколько крутовато, и стрелки шли по ним с опаской и усилием. После них была дана команда погрузиться отряду моряков. Молчаливо-сосредоточенные, они с какой-то особой лихостью взошли на борт лидера.

Мы поднялись последними. Командование стрелковой бригады уже успело занять кожаные диваны в кают-компании.

На палубе, как на пароме, тоже все занято: солдатами, пушками, ящиками со снарядами, ящиками, оклеен-

ными черепами со скрещенными костями и надписями: «Огнеопасно!», «Фосфор!», «Не курить!».

По радиотрансляции было объявлено о том, что «курить на корабле категорически воспрещается, кроме специально отведенных мест».

...«Курить только в специально отведенных месстах...», а если горячий осколок фашистской бомбы или снаряда во время налета или обстрела вопьется в ящик с фосфором, тогда как же?!

Тугой ветер дул в лицо. «Ташкент» шел полным ходом к Новороссийску, там заберет груз — и в Севастополь в сопровождении двух миноносцев.

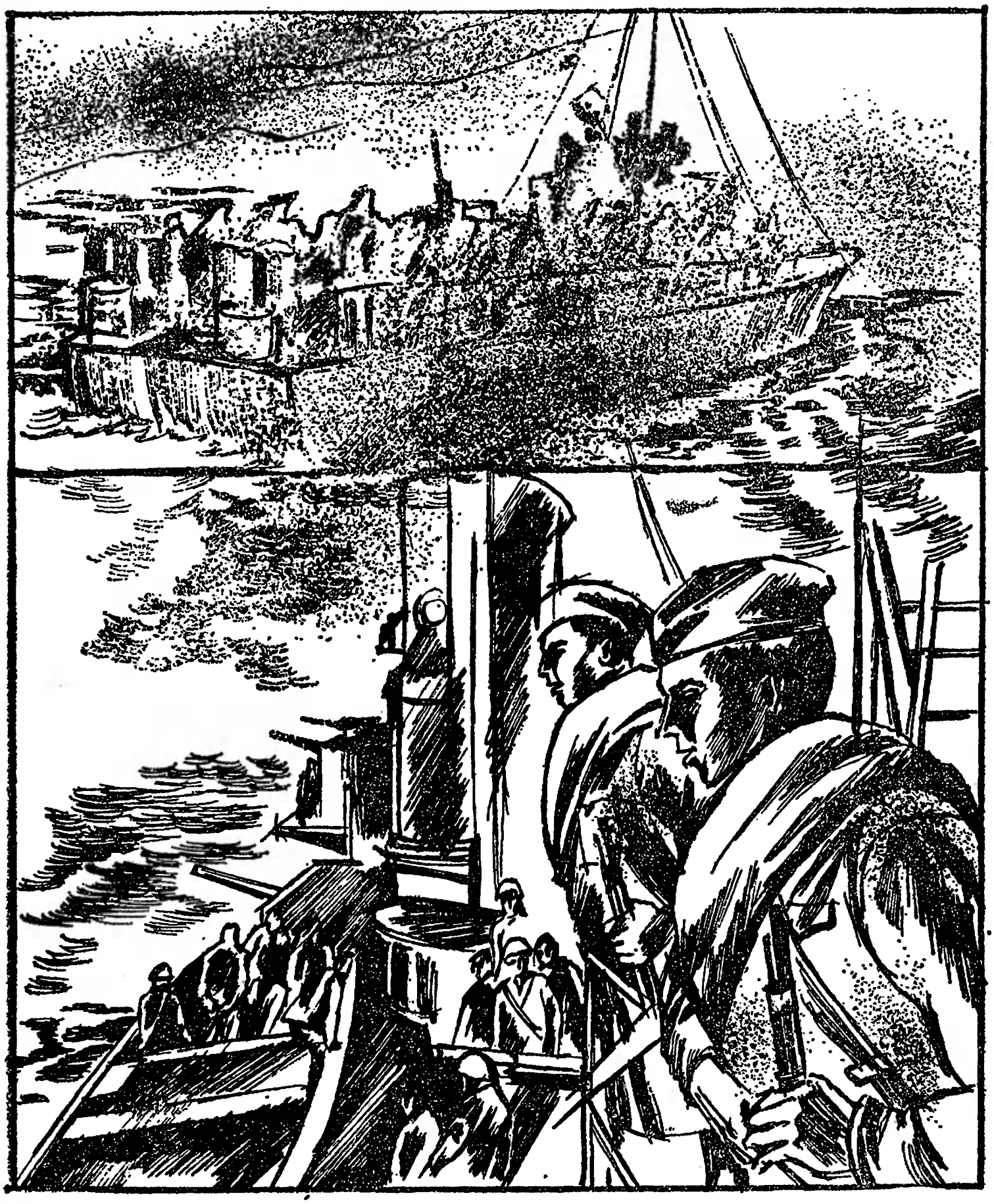
Тонкие мачты дрожали. Ветер посвистывал в растяжках рей. Соленые брызги вздымались высоко и со звоном осыпались на палубу. Солдаты, отодвинувшись от места, омываемого озорной волной, расположились среди снарядных ящиков, минометов и легких пушек, вели тихую беседу. Кое-кто, обжигаясь, глотал кипяток из алюминиевых кружек.

...Командир отряда капитан Алексей Семеко стоял у борта, а моряки и солдаты, которых он по прибытии в Севастополь поведет в атаки, рассыпались по кораблю.

Краснофлотцы кормили их, одалживали бритвы, шайки для постирушек, мыло и всякую другую житейскую мелочь. Ближний к Семеко усатый солдат с двумя медалями на сильно выгоревшей и пробитой по́том гимнастерке чистил винтовку с оптическим прицелом. Свое дело он выполнял со вкусом и старательностью. Поглядывая в ствол, он качал головой и с новым усердием опускал шомпол в канал. Его сосед, засунув руку в сапог, срезал перочинным ножиком деревянные шпильки. Белые, хорошо отстиранные портянки лежали рядом. Чуть в стороне от усатого на снарядном ящике лежал молодой солдатик. Тонкий, как тростинка, подперев курчавую голову кулаками, он глядел на море. Время от времени он тяжко вздыхал и закрывал глаза. Губы его что-то шептали.

— Ну вот и все,— сказал усатый,— сияет, чисто зеркало.

— А ты, Синявин, глянь в свою зеркалу — судьбы там нашей не видать?



— Судьбу мы скоро узнаем. А вот чего ты, Лычков, чеботарить задумал?

— Чеботарить? А как ты думаешь, ноги солдату нужны ай нет?

— Чудак.

— Чудак Гитлер, что полез на Расею... А ноги солдату нужны не менее ружья. Вот, скажем, дадут команду «вперед», а у тебя в сапоге гвоздь, маленький такой — с мышиный глаз. Ну вот, могешь ты побегти вперед? Вот то-то и оно-то!

— Гвоздь? Пускай в мозге гвоздя не будет. Вон глянь на Грушина. У него гвоздь во где,— Синявин постучал

себя по груди и, повернувшись к юноше, безмолвно лежавшему на снарядном ящике, подмигнул: — И чего ты, Грушин, тоску на всех нагоняешь? Скоро Севастополь. Придем на место, напишешь ей, мол, почта полевая, жизня боевая, с войны вернусь, сразу женюсь...

Грушин кисло поморщился, а Лычков, натягивая на ногу за ушки сапог, проговорил с тоской:

— Эх, везут нас на Сахалин-остров: кругом вода, а в середине — беда... Севастополь-то обложен. Что ждет нас там...

— А ты думал, к теще на блины едешь? — усмехнулся Синявин.

— Какое там блины! — со вздохом воскликнул Лычков.— Эх, Синявин! Я б теперь щец со свининкой полный котелок опорожнил. Давно не едены.

— А ты,— с притворной серьезностью сказал Синявин,— зажмурь глаза и ешь, что тебе на сухой паек дадено.— Он вытащил из вещевого мешка копченую тарань, хлестнул по колену: — Вот она, подружка солдатская!

— «Дадено»,— передразнил Лычков,— что дадено, то взядено — такой окорок и у меня есть. Я вот думаю, хорошо морякам воевать,— тут у них все есть: захотел кипятку, его сколько хошь; холодно стало — к машинам. А уж борщ какой варят... от одного запаху живот ходуном ходит! Захотел портянки постирать — пожалста... А свету, как в Большом театре...

— Толкуй про Большой-то театр... а сам сроду и не бывал в нем!

— То есть каким же манером это не бывал?! А на Первый съезд колхозников в Москву кто ездил? Ты? В Кремле в Грановитой палате аль в Ружейной, может, ты бывал? А в Парк культуры имени Алексей Максимовича Горького, в театры не ты ли за меня ходил?! Скажет тоже! Москва, брат, главнеющий город в мире!

Синявин, деловито разделывавший тарань, насупил брови и сердито посмотрел на Лычкова:

— Город-то главнеющий, а понятие, я вижу, у вас, товарищ Лычков, как вот у этой...— он постучал пальцем по палубе,— того не чуете, что Севастополь-то дальный подступ к Москве... Немец-то как молодой лед на пруду: нажмешь — трещит. Вот сейчас рвется вражина к важнеющим центрам, и ежели не нажать на него здесь... понял? Понял, зачем нас в Севастополь-то посылают? То-то!

А то завел: «везут нас на Сахалин-остров». Вот где твой гвоздь-то,— он постучал пальцем по лбу,— понятно?

— Понятно-понятно! — отмахнулся Лычков.— Генерал тоже нашелся. Мы эту тактику-стратегию читали... грамотные. Не об этом сейчас разговор. Я вот говорю, на корабле-то воевать — одно удовольствие. Тут все сплошные удобства: спят на койках, в трусах; машинисты после работы в душ... А какие все бритые, ажник блестят. Чистота везде сверкающая. Это тебе не окоп армейский!

— А прямо областной центр! — засмеялся Синявин.

— Чего ты, как жеребенок, залился? — обиделся Лычков.— Если хочешь знать, то такой корабль больше, чем другой город. Чего ржешь? Думаешь, Лычков так ничего и не понимает? Я где-то читал — одна подводная лодка могет своими дизелями на целый город электричество вырабатывать. А это ж махина! Тут чего только нет: и лазарет свой, и мастерские, и кино... А машины какие! Глянь, прет, ажник дрожит весь! Из-под винтов пена чисто бешеная летить!..

— Ты, Лычков, не к добру разговорился,— сказал Синявин.

Лычков нахмурился. Подошел старшина.

— Об чем толк?

— Об жизни,— ответил Синявин.

— Вот что, хлопцы,— сказал старшина,— зараз отдыхать! Ночью высаживаться будем. И смотрите у меня — курить ни-ни! Тут на палубе фосфора до дьявола — вспыхнет, от нас и пепла не будет. Лягайте! Лягайте!

Солдаты начали укладываться. Старшина отошел к другой группе, а Синявин быстро вытащил из «сидора» буханку пахучего житного хлеба, банку с маслом, аккуратно свернутую газету. Газетку расстелил вместо скатерти, нарезал хлеба, собрал крошки в ладонь, затем кинул их в рот, потер руки и пригласил:

— Ну-ка, Лычков, и ты, Грушин, давайте к столу!

— Я уже наклевался,— сказал Лычков.

— Спасибо! У меня свое есть,— ответил Грушин.

— У солдат все общее,— бросил Синявин,— и будни, и праздники. Давай! Давай! Моим поужинаем, твоим позавтракаем, а там будет то, шо каптеры спроворят. Давай, Лычков, подумаешь — наклевался. И ты, Грушин,— довольно тебе на Кавказ смотреть! Вернешься героем, она тебя так встретит! Давай, давай! Сам был молодой,

знаю, как трудно с присухой расставаться. Вставай. Ужин простынет.

Грушин приподнялся и энергично покачал головой.

— Ну шут с вами,— сказал Синявин,— вам же хуже будет. А таранька-то чисто балык!

Ел он степенно, со смаком, медленно разжевывая, аккуратно подбирая крошки и со свистом обсасывая косточки.

Большинство командиров, следовавших на «Ташкенте», впервые плыли морем — для них все здесь было в диковинку. С жадным любопытством они наблюдали слаженную до тонкости четкую работу моряков.

Родной стихией большинства была земля. Они там все знали: и как надо вести себя, когда на окоп ползут танки и авиация обрабатывает передний край. Там было все привычно, а тут ново, сложно и коварно.

За время похода я успел многое узнать о капитане Семеко. Он вырос в Севастополе в семье боцмана с канлодки «Кубанец», и для него не было тайн в морской службе. Отец, старый, усатый моряк, держал в доме корабельный порядок: все вещи домашнего обихода назывались по-флотски. Порог — комингсом; окна — иллюминаторами; пол — палубой; двери — переборками; дверная притолока — пиллерсом.

Детство капитана Семеко протекло среди якорей и просмоленных канатов — он вставал и ложился спать под звонкий бой склянок. Рано научился плавать. Знал каждую бухту, все отмели, где хорошо ловились султанка и барабулька. Ловил крабов, собирал креветок под причалами, нырял за монетами и прыгал ласточкой с подножья памятника затопленным кораблям.

...Закат угасал медленно. Край неба, полыхавший ярким пламенем, с каждой минутой суживался. Нежная просинь начала окутывать небосклон. Но на море все еще было светло. От быстрого хода на палубе становилось зябко, и капитан Семеко, еще слабый, как я успел узнать, после полуторамесячного пребывания в госпитале, заколел на свежем ветру. Однако уходить в помещение ему не хотелось: в кают-компании, где Семеко провел предыдущую ночь, было душно. Кают-компания — просторное помещение с картинами на стенах, диванами и удобными кожаными креслами — была заполнена коман-

дирами стрелковой бригады. Рядом с Семеко коротал ту ночь молоденький лейтенант Ворожейкин. Высокий, голубоглазый, стройный юноша, только что окончивший артиллерийское училище и, к зависти товарищей, получивший назначение в осажденный Севастополь. Училище базировалось где-то на Волге. Ворожейкин добирался до Черного моря много дней, измучился и теперь вторые сутки наслаждался отдыхом.

Капитан Семеко сказал мне, что ему после госпиталя стал неприятен прокуренный воздух. Осмотревшись, он заметил свободное местечко у минных аппаратов и остановился: «Вот тут я и отдохну. Через шесть-семь часов «Ташкент» придет в Севастополь, и кто знает, позволит ли там обстановка отдыхать». «Бери, что положено,— сказал мне интендант, когда я, получая сухой паек, отказывался от соли, лаврового листа, макарон.— Бери,— говорил интендант,— шоколадом заменять не буду. Положен лавровый лист — бери. Положены хромовые сапоги — бери, а положены кирзовые — хромовые не получишь». Итак, бери, что положено! — воскликнул он, садясь в подветренное место.— Положен отдых — отдыхай!»

Поход проходил спокойно. Очевидно, немцы опять прозевали «Ташкент»: это было с ними не раз. Подводные лодки вряд ли сунутся: после захода в Новороссийск у лидера надежная охрана — два миноносца шли параллельным курсом, чуть-чуть в сторонке. Они, как автоматчики, бросались то туда, то сюда.

Я с восторгом смотрел на то, как клокотала за кормой вода. «Ташкент» самый быстроходный корабль Черноморского флота. На флоте, да и в приморских городах столько ходит рассказов о его смелых походах. Его называют и «голубым дьяволом», и «неуловимым», и даже — «смерчем». Все, кто получал назначение в осажденный Севастополь или эвакуировался оттуда, стремился попасть на «Ташкент». Несколько воздушных эскадрилий, и в том числе торпедоносцы, подводные лодки, а также отряды итальянских торпедных катеров, которыми командовал князь Боргезе, охотились за «Ташкентом». Но он всякий раз дерзко и, я бы сказал, не без рискованной лихости прорывал сети воздушной, надводной и подводной блокады.

...В бою быть зрителем — значит ощущать себя беспомощным. Именно такое чувство, не знаю, как других, охватило меня, когда немецкие самолеты появились над кораблем. Каждый краснофлотец, старшина и командир боевой части, даже кок, вестовые — все были при деле, все по боевому расписанию находились на местах. Вестовой кают-компании, который несколько минут тому назад разносил чай, теперь подавал снаряды, кок исполнял обязанности санитара, и только все мы и следовавшие в Севастополь красноармейцы, морские пехотинцы, армейские командиры были не у дела.

Стрелки оживленно обсуждали каждый маневр корабля, когда на «Ташкент» начали наваливаться торпедоносцы.

Самолеты летели низко — их хорошо было видно. Издали они походили на водяных пауков с двойным брюшком. Они как бы прыгали с одного гребня волны на другой.

Торпедоносцы не обладали той маневренностью, на которую способны бомбардировщики. Их тактика заключалась в том, что они долго высиживали на воде, пока на курсе не показывался корабль. Тогда они взлетали и шли наперерез. Их атаки начинались либо в вечерних сумерках, либо на утренних зорях.

Мы насчитали четыре самолета. Торпедоносцы, видимо, решили взять корабль в клещи. На «Ташкенте» взвился сигнал: «Миноносцам открыть заградительный огонь и вести маневр самостоятельно».

Загремели выстрелы. Пушки били компактно. Один из торпедоносцев поспешно сбросил торпеду. Ее хорошо было видно. Она, отфыркиваясь, шла, как дельфин.

Ерошенко нажал на ручки машинного телеграфа, и «Ташкент» вздрогнул и попятился назад. Торпеда прошла мимо носа корабля всего лишь в нескольких метрах от него.

— Обратно к Антонеске пошла,— сказал Синявин.

Хотя торпеда и пошла в «божий свет», однако я был поражен бледностью Ерошенко, неотрывно смотревшего на левый борт.

— Вот эта, товарищ капитан, кажись, наша,— объявил Синявин. Семеко обернулся. Синявин нервно подкручивал усы. Рядом стоял бледный Лычков. Торпеда неумолимо двигалась на корабль. Еще две, максимум три минуты, и случится то, что... Я не успел даже мысленно

произнести то страшное слово, корабль вздрогнул, весь груз и снасти на нем задребезжали от крутого поворота влево, и все, кто был на палубе, радостно ахнули: торпеда прошла по борту корабля на расстоянии двух-трех метров. Было ясно видно ее черное, стальное, жирное от смазки тело.

— Значит, не зря моряков кормят хлебом с маслом,— облегченно вздохнув, сказал Лычков.

— А ты думал, только пехота и воюет? — спросил Синявин. Разговор этот велся громко, в воздухе стояла неумолкаемая канонада. Ерошенко сделал еще два крутых поворота. Пальба прекратилась. Торпедоносцы скрылись за горизонтом. Но тишина стояла недолго: в небе появились бомбардировщики.

В первый момент я поддался страху — у меня до унизительности заметно дрожали руки.

Расстегнув китель и держа руки на ручках телеграфа, Ерошенко не отрываясь следил за небом. Фуражка сбилась на затылок. Он был разгорячен боем и ничего не замечал, кроме того, что относилось к сражению.

Возбуждение, которым был полон Ерошенко, передалось и мне, и я был рад этому, потому что оно избавляло меня от чувства страха. Да только ли мне? Весь корабль и все, кто находился на «Ташкенте», вовлекались в боевой азарт.

Артиллеристы и пулеметчики вели такой огонь, что бомбардировщики и близко не могли поднести свои бомбы к корпусу «Ташкента»,— бомбы ложились в стороне.

Самолеты каруселью кружились над кораблем, и все чаще и чаще из воды вздымались фонтаны. Но вот один из бомбардировщиков покинул стаю и пошел ввысь. Было понятно, что наступает самый ответственный момент: сейчас начнется пикирование. Набрав высоту, самолет пошел вниз. Он несся, как лавина с гор, прямо на мачты «Ташкента». Ерошенко немного пригнулся, что-то прокричал находившемуся справа от него офицеру и затем резко дал задний ход кораблю. В то же время вся артиллерия корабля перенесла свой огонь на этот пустившийся на смертный поединок самолет.

Я почувствовал, что глохну от страшного грохота и режущего ухо завыванья,— войдя в пике, самолет включил сирену. Лычков схватил за руку капитана Семеко:

— Ложитесь, товарищ капитан! Ложитесь! — прокричал он в ухо.

Синявин отнял его руку от капитана и сурово крикнул:

— Не дури!.. Тут все одно — если попадет, что лежа, что стоя.

Лычков дрожал:

— Сроду не пойду на корабле! Провались пропадом все эти удобства! Голову некуда спрятать...

Лычков вздохнул с облегчением, когда и второй бомбардировщик, не выходя из пике, врезался в воду.

Неожиданно самолеты покинули небо. На море стало так тихо, что слышно было, как шелестели волны.

Над кораблем висел лишь запах пороховой гари, дым от разрыва снарядов и черная копоть от сгоревших самолетов. Он пепельно-серым жгутом тянулся по горизонту. Еле заметная розовенькая полоска, как воспоминание об ушедшем дне, поблескивала на далеком небе. Вечер все гуще и гуще закутывал море и небо.

Ерошенко покинул мостик и несколько минут стоял у борта. Затем вытер платком лоб, направился к орудиям главного калибра. Он шел ровно и твердо, несмотря на то, что «Ташкент» стало сильно побалтывать. Солдаты и матросы с восхищением смотрели на командира «Ташкента», все понимали, что корабль и все они остались невредимыми благодаря его воле и мастерству. Ерошенко обошел боевые части корабля и каждому отличившемуся пожал руку.

Ворожейкин встретил нас и капитана Семеко, словно мы целый год не виделись. Когда мы вошли в кают-компанию, вестовой, тот самый краснофлотец, что десяток минут тому назад ловко управлялся со снарядами, разносил чай. Он был весел и щедр после удачного боя — стаканы, которые он ставил перед нами, были наполнены настоящим флотским чаем, отменно крепким и сладким.

Капитан Семеко протянул руку лейтенанту и сказал:

— Поздравляю!

— С чем? — спросил Ворожейкин.

— С боевым крещением...

Командира «Ташкента» капитана III ранга Ерошенко я впервые увидел в деле еще во время обороны Одессы.

Это было так.

25 августа 1941 года в семь часов вечера в Одесском порту разорвался первый вражеский снаряд, и с тех

пор начался систематический обстрел. Сильная батарея противника встречала корабли на подходе к Одессе и била по входу в порт, по причалам, складам и по всей площади портовой.

Три дня безо всякого успеха наша артиллерия пыталась подавить эту батарею, тогда Военный совет приказал во что бы то ни стало засечь и уничтожить ее.

28 августа в Одессу пришел лидер эсминцев «Ташкент». Он сопровождал пассажирское судно «Абхазия», доставившее в Одессу отряды моряков, большую группу командного состава, оружие, некоторое инженерное имущество и медикаменты.

Одесситы, немало повидавшие на своем веку разных кораблей, залюбовались лидером. И было чем — все в нем было необычно: и энергичный рисунок корпуса, и чуть наклонный рангоут, и едва приклоненная труба, и обтекаемой формы орудийные башни, и кормовые срезы — словом, все даже при беглом взгляде говорило о его необыкновенной корабельной стати и быстроходности.

И люди не ошибались — полным ходом он шел быстрее курьерского поезда. При этом был очень отзывчив на маневр. На нем были установлены новенькие — последнее слово техники — приборы управления огнем и чудо-дальномеры. В башнях — отличнейшие стодвадцатимиллиметровые пушки.

Но самым большим, пожалуй, чудом был командир лидера — Василий Николаевич Ерошенко. Если б мы заглянули в его личное дело, то нашли бы там такие слова: «находчивый, инициативный и бесстрашный моряк». Эти несколько стандартные слова из довольно ограниченного языка анкет, конечно, не давали представления о том, кому они адресованы.

Да, Ерошенко был находчив, инициативен и храбр; причем он это доказал уже через несколько часов после прибытия лидера в Одессу. Но из личного дела не выудишь таких, например, сведений, что командир лидера «Ташкент» был на редкость крепко сложен, носил густые черные усы; его чуть-чуть скуластое лицо всегда было до блеска выбрито и от ветра имело цвет старой меди. Когда он сходил на берег, мальчишки портовых городов провожали его восхищенными взглядами... Да только ли мальчишки! Может быть, во время войны и грех об этом говорить, но на командира лидера эсминцев Черноморской эскадры в те суровые дни заглядывались и женщины.

Вот ему-то, этому весьма приметному человеку, носившему в то время фуражку еще без золотых листиков на козырьке, и было поручено расправиться с вражеской дальнобойной батареей, обстреливавшей порт и окраины Одессы.

На берегу, то есть на причале, пофыркивал грузовик. Он ждал группу корректировщиков с «Ташкента». Они стояли на борту в бушлатах, опоясанные ремнями, в металлических касках, с винтовками, гранатами, походной радиостанцией и аварийным запасом. Слушали напутственную речь — в те дни слова тоже считались оружием.

Но вот все наставления сделаны, речи окончены, и корректировщики во главе с лейтенантом Борисенко сошли на берег. Не прошло и минуты, как все они были уже в кузове грузовика и шофер, получив «добро», включил скорость.

С завистью провожали краснофлотцы и командиры лидера мчавшийся в город, через который лежал путь к передовой, грузовик: всем в те дни хотелось в скорый бой с врагом, вторгшимся на землю Родины.

Как только отряд лейтенанта Борисенко высадился в посадке, у передовой, развернул рацию и сообщил о своем прибытии, «Ташкент» покинул Одесский порт.

На внешнем рейде его мигом засекли вражеские наблюдатели, и батарея — ему поручалось уничтожить ее — открыла огонь. Несколько минут до этого в контрбатарейном поединке она пыталась накрыть крейсер «Червона Украина». Крейсер оказался не по зубам вражеской батарее, она стала искать счастья на новой мишени: залп — снаряды легли по правому борту, еще залп — огромный всплеск слева. Вилка. Следующий выстрел по закону артиллерийской стрельбы — накрытие.

Надо было видеть в эти минуты Василия Николаевича на мостике «Ташкента», чтобы понять, что такое воинская одухотворенность, что есть призвание. «Ташкент», не дожидаясь координат местонахождения батареи, вступил в контрбатарейный поединок, руководствуясь расчетными данными дальномерщиков, и тотчас же пошел противоартиллерийским зигзагом по рейду, ведя наблюдения за вспышками батареи, находящейся за несколько кило-

метров в замаскированном месте среди неровностей степного Причерноморья.

Между тем батарею засекли корректировщики лейтенанта Борисенко, счислили место и тотчас же передали на лидер эти данные. Рацию Борисенко запеленговали румыны и передали на корабль ложные координаты. Дуэль радистов закончилась в нашу пользу, радист корректировочной группы показал себя настоящим виртуозом: он успел буквально в мгновение сообщить, что предыдущие координаты неправильны, они переданы вражеской рацией, правильны вот эти координаты, и он повторил переданные ранее данные. К счастью, в этот миг вражеская батарея сделала залп, и вспышка огня была засечена дальномерщиком «Ташкента».

Орудия корабля дали залп. Он не достиг цели, но снаряды легли в непосредственной близости от батареи. В это время, просчитавшись на дезинформации, румынское командование бросило к тому месту, где находился корректировочный пункт, подразделение солдат, чтобы захватить и уничтожить корректировочную группу Борисенко.

Моряки отбивали атаки пулеметным огнем, и продолжали наблюдение за огнем лидера, и передавали поправки. Наконец в семнадцать тридцать артиллеристы «Ташкента» разделались с батареей противника: на корабль от корпоста пришло сообщение: «Батарея врага уничтожена!»

Во время атаки и ликвидации вражеской батареи на мостике «Ташкента» находился командир отряда кораблей Северо-Западного района контр-адмирал Вдовиченко. Он объявил благодарность экипажу лидера и приказал передать семафор на все корабли отряда: «Учитесь стрелять и вести себя под огнем противника у лидера «Ташкент».

Да. Таким был Василий Николаевич Ерошенко в августе 1941 года. Сейчас июнь 1942 года, Ерошенко уже не капитан-лейтенант, а капитан III ранга, носит золотые листья на козырьке фуражки; зрелый, опытный командир, прославленный герой.

На шахматном столе в кают-компании лежал свежий номер «Красного черноморца». Газета сообщала: «...на-

ши войска под Севастополем ведут ожесточенные бои с превосходящими силами противника...» Конечно, по этому краткому сообщению трудно было понять, сколь сложно положение осажденного гарнизона. Шел уже восьмой месяц обороны города. Армейские командиры рассуждали о тактике и стратегии в обороне. Ворожейкин смотрел на офицеров с восторгом. Однако не все из них понимали, что делается в Севастополе. Может быть, поэтому они находили возможным сравнивать нынешнее положение в Севастополе с обороной 1854—1855 годов. Июнь 1942 года с августом 1855 года. Командиры говорили зачем-то о бездарности светлейшего князя Меншикова, который допустил сосредоточение войск Сент-Арно и лорда Кардигана у Федюхиных высот и у Балаклавы. Говорили о мужестве защитников города: о Корнилове, Нахимове и Истомине, что если бы не было этих военачальников, то светлейший, растерявший свои войска в Альминской долине, сдал бы город противнику. Капитан Семеко долго слушал, потом не вытерпел и вступил в разговор. Он считал, что сравнение этой обороны с прошлой правомерно лишь в одном, что, как и тогда, теперь город отстаивают русские люди с тем мужеством, которое долго будет поражать мир. В остальном же имеется существенная разница: в ту оборону Севастополь был связан с Россией по суше — достаточно было переправиться через Северную бухту, и можно считать себя в безопасности. Теперь Севастополь — остров. В осажденный город можно попасть либо морем, либо по воздуху. В ту оборону противник пришел к Севастополю с моря, а в эту — с суши.

В 1855 году в восьмой месяц обороны ядра неприятельских пушек не долетали до Приморского бульвара. Там вечерами играла полковая музыка, и офицеры из свиты светлейшего князя бодрили себя напитками. В те дни смерть настигала героев на бастионах и редутах да при вылазках, когда защитники города сходились врукопашную с зуавами маршала Канробера. Теперь фронт и опасность везде; на каждом вершке севастопольской земли, где не достанет пуля — достанут снаряды и бомбы...

Узнав, что капитан Семеко севастополец да еще и участник обороны и всего лишь полтора месяца оттуда, командиры попросили его занять место за столом и поподробнее рассказать об осажденном городе. Семеко охотно

согласился. Он вытащил из планшета лист бумаги, карандаш, быстро начертил план.

— Вот здесь наши позиции, а это...

Он не успел закончить фразу — в кают-компанию вошел старший помощник командира «Ташкента» капитан-лейтенант Орловский.

— Товарищи командиры,— сказал он усталым голосом,— прошу приготовиться, подходим к Севастополю. С корабля сходить тотчас же, как только ошвартуемся: место, куда подойдет «Ташкент», обстреливается артиллерией противника...

Над Севастополем стояло зарево. По вспышкам артиллерии, по разноцветным пулеметным трассам и по полету бризантных снарядов капитан Семеко угадывал, что делалось в осажденном городе, и рассказывал нам. Ворожейкин молча, устало переставляя ноги, шел сзади, прислушиваясь к рассказам капитана. В сумраке море едва было заметно. Гул, похожий на отдаленный гром, разрывал воздух. Сопровождавшие «Ташкент» миноносцы подошли ближе к берегу и открыли огонь. «Ташкент», не желая себя обнаружить, молчал. Ему нужно было скрытно подойти, произвести высадку прибывшего на его борту войска, выгрузить боеприпасы, артиллерию, продовольствие, принять раненых и до наступления рассвета уйти.

Мы поблагодарили командира корабля Ерошенко, комиссара Коновалова и старшего помощника Орловского и сошли вместе с Ворожейкиным и капитаном Семеко по шаткой сходне на причал. Ворожейкину надлежало явиться на флагманский командный пункт, а Семеко собрать своих орлов и двигаться по назначению.

В темноте едва виднелся берег, разбитые домики и обгоревшие склады. У самой воды стояла толпа: ходячие раненые, женщины и дети...

Проходя мимо раненых, столпившихся на узкой прибрежной полосе бухты в ожидании корабля, мы ощутили сильный запах гнилой крови. Раненые отчаянно смолили цигарки, пряча их после каждой затяжки.

Вслед за нами сошла группа командиров стрелковой бригады, и началась выгрузка оружия и солдат.

Береговая полоса, к которой причалил «Ташкент», была узка и тесна. Раненые раздались в стороны, образовав коридор. Когда шли коридором, раненые, с любопытством рассматривавшие солдат, выкрикивали:

— Держите, братки, Севастополь крепче! Подлечимся — сменим вас!

— Будьте покойны! Лечитесь себе на здоровье, а мы не сплошаем! — ответил один из солдат, и мы легко узнали голос Синявина.

Услышав этот голос, мы все ощутили радость: хорошо, когда есть на свете такие вот спокойные, деловые, добрые и вместе с тем бесстрашные русские люди, как этот Синявин. Захотелось попрощаться с Синявиным и его товарищами. Схватившись за руки, мы направились к колонне, напряженно вглядываясь в темноту.

Бригада строилась у подножья холма. На вершине холма время от времени рвались снаряды: гитлеровцы били с Северной стороны.

— Вот и севастопольская земля, — говорил Синявин.

— Какая же это земля? — отвечал Лычков.— Вот у нас земля, а что тут, камень один. Слышь, как полынью шибает. Чего тут растет?

— Апельсины тут, может, и не растут,— сказал Синявин,— а землица эта, можно сказать, святая: сколько тут крови нашей пролито! Сколько раз всякие державы хотели прихватить эту землю, а? Ты про это знаешь, Лычков?

Лычков молчал.

— А ты,— продолжал Синявин,— говоришь, Сахалин-остров. Это матерая земля — наша, русская! И будем мы с тобой, брат, стоять тут насмерть. Понял?

— Понял. Не ты один присягу принимал.

Заметив в свете сброшенной немцами ракеты нас, Синявин оживился:

— А, товарищи командиры!

— Вот решили попрощаться с вами,— произнес капитан Семеко за всех нас.

— Желаю вам благополучия,— отвечал Синявин.

— И вам, товарищ Синявин.

— Увидимся,— сказал словоохотливый солдат,— земля сичас тут короткая.

— А у вас, товарищ Синявин,— подал голос Арди,— фамилия-то флотская. Идемте с нами.

— Спасибо! Мне уж назначено тут. А про адмирала Синявина слыхал. Отношения к нему наша фамилия не имеет. Как говорится, Петров много, а Великим-то был один!

...Настала наша очередь прощаться — капитан Семеко оставался с отрядом, а мы вчетвером: Синявский, Арди, лейтенант Ворожейкин и я — должны добираться до штаба.

Выйдя на холм, с которого была отчетливо видна отсвечивающая тусклым блеском воды бухта, мы на миг остановились, посмотрели в сторону «Ташкента». До города было далеко: корабли давно уже не ходили в Северную бухту и швартовались здесь, в Камышевой, где вместо пристани — притопленная железная баржа, и кораблям из-за отмелей обратно выходить приходится задним ходом.

Корабля не было видно, но до нас доносился гул голосов и шум работающих машин. «Ташкент» готовился в обратный рейс. Мы махнули рукой в его сторону и дружно зашагали к охваченному пламенем Севастополю.

Двадцать девятого июня 1942 года я вылетел из Севастополя. В Краснодаре пересел на другой самолет и прилетел в Москву. Поселился в гостинице и сел за свои блокноты. Перед тем, конечно, был в редакции, доложил об исполнении командировки на действующий флот и в осажденный Севастополь и перечислил подробно все то, о чем собирался писать: об эскадренном миноносце «Сообразительный» и его командире капитан-лейтенанте С. С. Воркове; о героях морских глубин командирах подводных лодок Михаиле Грешилове и Аркадии Буянском; о тактике борьбы корабля с воздушным противником на переходе — на основе опыта командира «морского охотника» лейтенанта Бондаренко и, наконец, о командире лидера «Ташкент» капитане III ранга Василии Николаевиче Ерошенко.

Дивавин остановил меня:

— Все это интересно и нужно, но... потом! А сейчас дай несколько зарисовок осажденного Севастополя.

Я сел писать, и вдруг телефонный звонок Дивавина:

— Ты читал «Красную звезду»?

— Нет.

— В «Красной звезде» очерк Евгения Петрова о «Ташкенте», Ерошенко и Севастополе... Понял? Немедленно давай очерк о Ерошенко и «Ташкенте» — ночь сиди, а чтобы завтра очерк лежал у меня на столе!

— Но я ж предлагал вам! Тогда не надо было, а после «Красной звезды» давай!..

— Разговорчики потом, а сейчас садись и делай! Ты понял, что очерк завтра должен быть у меня на столе?

Я выполнил приказ, и в назначенное время на столе капитана I ранга лежали двенадцать страниц — очерк о Ерошенко и лидере «Ташкент». Напечатан же он был в изрезанном до неузнаваемости виде. Я к Дивавину.

— Понимаешь,— сказал он,— очерк твой очень понравился и был набран и заверстан в том виде, как ты дал, но армейский комиссар уже в полосе поправил его.

Я знал страсть начальника Политуправления Военно-Морского Флота Ивана Васильевича Рогова править в полосах газеты статьи и очерки, поэтому и спросил Дивавина:

— Может быть, мой очерк не понравился Рогову?

Он качнул головой:

— Очерк понравился, но армейский комиссар был очень расстроен...

— Чем? — спросил я.

— А ты что, не знаешь, что «Ташкент» погиб?

— Когда?

— Второго июля.

— Где же?

— В Новороссийске... У Элеваторной пристани... Звездный налет самолетов... В двенадцать часов дня...

— А Ерошенко? — спросил я, меняясь в лице.

— Жив! Он по тревоге выбежал на мостик, как был без кителя, воздушной волной его сбросило в воду, а затем завихренной в результате разрыва бомбы водой вынесло к наклонившейся дымовой трубе, а на ней, если ты помнишь, скоб-трап, Ерошенко ухватился за него и вылез.

— Много жертв?

— Много.

Я был потрясен.

Живо представил себе картину гибели красавца корабля, гибель людей, ведь многих из них я знал.

Дивавин не имел подробной информации, поэтому не смог сказать, живы ли комиссар корабля Григорий Андреевич Коновалов, старший помощник командира Иван Иванович Орловский, в каюте которого я жил... Впоследствии я написал рассказ о «Ташкенте» и его командире. По обстоятельствам того времени и корабль и герои действовали в моем рассказе под вымышленными именами.

С того времени прошло уже тридцать лет, но имя «Ташкента», его боевая слава, имя командира корабля контр-адмирала в отставке Василия Николаевича Ерошенко и до сих пор живы на Черном море и рассказы о нем передаются из уст в уста. Решил и я сделать посильный вклад в копилку истории лидера «Ташкент» и рассказать лишь о немногих подвигах людей и корабля, чему был счастливым свидетелем.

ИЮНЬ 1942 ГОДА

Их мало убить, а надо было еще после того и повалить на землю!

Фридрих Великий о русских воинах

С «яркими корреспонденциями» о Севастополе, как того хотел капитан I ранга Дивавин, мне не удалось выступить на страницах «Красного флота»: через три дня город был оставлен нашими войсками — операция «лов осетра» была выиграна 11-й фашистской армией.

Гитлер возвысил генерал-полковника Эриха фон Манштейна в последний, предельный воинский чин — генерал-фельдмаршала, а для солдат 11-й армии учредил железный знак «Крымский щит» с выштампованной на нем картой Крымского полуострова. Знак был изготовлен на суконной подкладке, должен пришиваться на рукав.

Счастье — зыбкое богатство человеческой души и редкое, как самородное золото,— улыбалось фон Манштейну почти все время, начиная с Судет и Польши. Об этих походах он часто вспоминал в те дни, когда его армейский корпус вторгся во Францию и в фантастически короткий срок рассек эту прекрасную страну от Арденн до Ле Мана; и в те дни, когда нежился в роскоши в небольшом французском курортном городке Туке. Из Франции он попал в Пруссию, в золотую пору весны, где и принял танковый корпус — о чем давно мечтал.

К счастливым дням новоиспеченный маршал относил и дни, проведенные в поместье Ленкен, где разводились чистокровные лошади.

Когда их выводили на променад, у генерала учащенно билось сердце. Но что делалось с ним, когда появлялась хозяйка имения мадам фон Шпербер!.. Об этом знает лишь он сам да господь бог, хотя его много раз провоцировал на откровенный разговор, мужской разговор, пройдоха Шпехт — его адъютант, смелый малый и ловкий донжуан. Что ж, хозяйка поместья была действительно прекрасна,— даже будучи на сносях, она чертовски грациозно держалась на лошади! Мадам фон Шпербер в отсутствие мужа — он был призван на действительную службу — принесла наследника.

Генерал согласился стать крестным отцом — по приметам это сулило ему большие военные удачи. Приметы оправдались: он с ошеломительной быстротой прошел от Тильзита до Даугавпилса и его танкисты без угрызения совести, несмотря на слабость генерала к хорошеньким женщинам, кровным лошадям и младенцам купельного возраста, давили гусеницами своих машин русских женщин, поджигали конюшни с колхозными лошадьми и бросали в колодцы советских детей.

Счастье улыбнулось ему и в сентябре 1941 года, когда он стал командующим армией. Не подвела его фортуна и при прорыве Перекопского перешейка и при захвате Крыма. Да и теперь вот, хоть и не сразу, а лишь через двести пятьдесят дней, он наконец взял крепость Севастополь.

Все великолепно. Он маршал! Все его любят и преклоняются перед ним. Начальник разведки армии майор генерального штаба Эйсман, как только была получена поздравительная телеграмма от Гитлера, в ночь выехал в Симферополь, там поднял с постели татарина-ювелира, сунул ему серебряные часы и приказал немедленно сделать из серебра этих часов маршальские жезлы на погоны новому генерал-фельдмаршалу.

Утром, когда освеженный спокойным и счастливым сном пятидесятишестилетний генерал-фельдмаршал вышел к завтраку, перед его прибором лежали погонные маршальские жезлы — эмблемы нового звания. Один бог знает, какое удовольствие испытал Эрих фон Манштейн при виде этих крохотных символов неограниченной воинской власти.

Но истинное счастье он почувствовал, когда в парке Ливадийского дворца собрались приглашенные им на торжества по случаю взятия Севастополя все офицеры от

командующих корпусами до командиров батальонов, а также офицеры и унтер-офицеры, награжденные Рыцарским или Золотым крестом!

О пребывании в этом райском уголке он не раз будет вспоминать на пути своей переменчивой судьбы — и при счастливых взлетах, и при трагических падениях!

Здесь, в удельном имении бывшего русского императора, его встречали не хуже (если не лучше), чем русского царя,— сотни пар глаз только в его сторону и только в том направлении, куда он двигался. Так могли встречать только Наполеона!

Церемониал встречи был пышным: вечернюю зорю сменила молитва, а раздавшуюся после нее дробь барабана сменила песня о добром товарище. Ее пели дружно эти люди, увешанные наградами, меченные ранами, осмоленные южным солнцем и ветрами, готовые расплакаться от слезливого, пошлого романсика или молитвы, но спокойно и с улыбками на лицах фотографирующие, как их «добрые товарищи» — палачи вешают советских патриотов, или выбрасывают на мороз голых детишек, либо насилуют женщин в занятых и придавленных их тяжелым солдатским сапогом краях.

Он, конечно, говорил речь, он ронял слезу по тем, кто не дождался сего торжественного момента, кого пришлось зарыть в крымской земле; он благодарил всех «славных товарищей, всех солдат 11-й армии и 8-го авиационного корпуса фон Рихтгофена» — этого воздушного разбойника, который во время третьего, последнего штурма Севастополя, располагая тысячью с лишком самолетов против ста шестнадцати наших, поощрял своих летчиков гоняться даже за отдельным человеком!

Он еще говорил о том, что, «верная немецким солдатским традициям, 11-я армия сражалась б л а г о р о д н о и п о-р ы ц а р с к и».

Своеобразное понимание рыцарства у этого прусского фельдфебеля в маршальских погонах!

В Балаклаве его «рыцари», бессильные побороть пограничников полковника Рубцова и горсточку жителей этого древнего рыбацкого города, сбрасывали с гор бочки, наполненные железным ломом либо бензином; сбрасывали камни. А когда рыбаки выходили на лов рыбы, вызывали против мирного рыбацкого суденышка с чихающим мотором самолеты, как будто перед ними был по меньшей мере миноносец. Бедный тихоходный мото-

бот обстреливался и артиллерией. «Рыцари» 11-й армии строчили из пулеметов и по рабочим балаклавской пекарни, ходившим к колодцам за водой для замешивания теста. Обстреливали балаклавских мальчишек — потомков листригонов, которые после очередной бомбежки либо артиллерийского обстрела садились в тузики и сачками, а кое-кто снятыми с себя рубахами вылавливали для раненых оглушенную взрывами рыбу. И это господин фельдмаршал тоже относил к рыцарским действиям?!

«Рыцари» Манштейна после занятия Севастополя рвали скальные берега Гераклейского полуострова (район Херсонеса) и заживо погребали там тысячи раненых защитников Севастополя, сбрасывали на них (все тот же благородный рыцарский прием!) бочки с горящим мазутом, горящие старые автомобильные покрышки, от смрадного дыма которых люди, истощенные, давно не имевшие медицинской помощи и простой питьевой воды, либо задыхались, либо с отчаяния бросались в море. «Рыцари»!

В кадрах гитлеровской кинохроники, посвященной взятию немцами Севастополя, есть такой момент: берег моря, легкая волна перекатывает воду вал за валом. Вода шумит печально. Вытянувшись в струнку, гитлеровцы отдают честь плывущей бескозырке советского моряка...

Какая грубая, какая оскорбительная инсценировка! Тысячи свидетельств хранятся в архивах о том поистине зверином обращении гитлеровцев с попавшими к ним в плен черноморскими моряками.

Демагогия и беспримерная жестокость — стиль этого доморощенного Ганнибала.

То, что произошло под Севастополем в июне 1942 года, иначе не назовешь, как трагедией. А вот так описывает это Эрих фон Манштейн в своей книге:

«...На следующее утро, 7 июня, когда заря начала окрашивать небо в золотистые тона и долины стали освобождаться от ночных теней, кулак нашей артиллерии всей своей силой ударил по противнику, возвещая начало наступления пехоты, целые эскадры самолетов обрушились на указанные цели. Перед нами открылось незабываемое зрелище. Это был единственный в своем роде случай в современной войне, когда командующий армией видел перед собой все поле сражения. На северо-западе взору открывалась лесистая местность, скрывавшая от

нас тяжелые бои на левом фланге 54 ак, и дальше высоты южнее долины Бельбека, за которые велись такие упорные бои. На западе виднелись Гайтанские высоты, за которыми вдалеке сверкала водная поверхность бухты Северной у ее соединения с Черным морем. В хорошую погоду была видна даже оконечность полуострова Херсонес, на которой мы впоследствии обнаружили остатки эллинской культуры. На юго-западе угрожающе поднимались высоты Сапун-горы и возвышались скалы прибрежных гор. На всем широком кольце крепостного фронта ночью видны были вспышки орудий, а днем облака из пыли и обломков скал, поднимаемые разрывами снарядов и бомб нашей авиации.

Поистине фантастическое обрамление грандиозного спектакля!»

Для солдат 11-й немецкой армии смерть под Севастополем — трагическая неизбежность воинской дисциплины, а для командующего этой же армией все это — просто спектакль!

После гибели под Севастополем почти трети миллиона немецких солдат и офицеров, которые в течение двухсот пятидесяти дней ковали победу своему командующему, он, командующий, умилялся и почетом и подарками и в своих будущих мемуарах умильно любовался и золотым портсигаром, подаренным ему кронпринцем, с автографом и планом крепости Севастополь.

В своей книге, написанной после выхода из английской тюрьмы, куда Эрих фон Манштейн был засажен на восемнадцать лет, но досрочно выпущен в пятьдесят третьем году, он отводит много страниц необходимости жестокости, к которой с его благословения прибегала 11-я армия безо всякого основания и в нарушение международных соглашений, особенно в отношении военнопленных.

Вот что он пишет в своей книге в оправдание бессмысленных и разрушительных бомбардировок Севастополя:

«...Мы знали, что все жители города, способные носить оружие, в том числе и женщины, были привлечены для защиты города.

Командование армии поступило бы преступно по отношению к солдатам своей армии, если бы оно не учиты-

вало указанного обстоятельства. Борьба внутри города требовала от наступающего новых тяжелых жертв. Чтобы избежать этого, штаб армии отдал приказ предоставить еще раз слово артиллерии и 8-му авиационному корпусу, прежде чем дивизии вновь выступят против города. Они должны были показать противнику, что он не может рассчитывать на то, чтобы заставить нас в уличных боях приносить новые кровавые жертвы».

В стенах Севастополя не было войск. Это хорошо знали гитлеровцы, потому что защитники Главной базы Черноморского флота обороняли ее на подступах.

Шквальные артиллерийские обстрелы и бомбежки города, бессмысленное разрушение гражданских зданий и знаменитой Севастопольской панорамы — это неспровоцированные репрессии. Это жестокость варваров во имя кровавой победы. В этих действиях не было ни гуманизма по отношению к своим солдатам, на что ссылается фон Манштейн, ни рыцарства по отношению к «противнику» — безоружным гражданам города.

Я не касался бы этого, если б буржуазная пропаганда не возносила так высоко эту книгу как образец правдивого и объективного воспроизведения военных и политических событий. А правда в книге принесена в жертву эгоизму. Да, будучи верным военным псом Гитлера, фон Манштейн, желая во что бы то ни стало оправдать свои просчеты, свою жестокость, несовместимую с рыцарскими понятиями в войне, «критикует» Гитлера и ставку верховного командования фашистской Германии, преувеличивает трудности, которые ему якобы пришлось преодолеть, и, ведя рассказ о событиях в откровенно-доверительном тоне, преследует сразу две цели: оправдаться и возвеличиться.

...Если фон Манштейн, начав 7 июня 1942 года третий штурм Севастополя, издали, с наблюдательного пункта командующего, оборудованного в безопасном месте на одной из высоток у Черкез Кермена, любовался грандиозным авиационным и артиллерийским «спектаклем», то я и мои друзья журналисты Вадим Синявский и Юрий Арди, а также наш спутник — юный артиллерийский командир лейтенант Ворожейкин во время сего «спектакля» шли от Камышевой бухты в горящий Севастополь.

Господин генерал, командующий 11-й армией, был зрителем, а мы очевидцами. Между этими близко стоящими друг от друга словами есть все-таки существен-

ная разница. И благодаря тому что с нами шел артиллерист, мы видели, что командование 11-й немецкой армии вело не тактическое, военное наступление, а репрессивный огонь, обстреливая бессмысленно почти весь полуостров и особенно сосредоточенно город.

...Мы шли очень долго от Камышевой бухты. Город сильно горел, и мы шли, ориентируясь на зарево. Ходить ночью, да по незнакомой земле, вообще трудно, ночь меняет все предметы, даже обыкновенная кочка, когда внезапно за нее цепляешься, становится серьезным препятствием, а тут было все: и трупы, которых никто не убирал, и какой-нибудь бидон от машинного масла, ящик от неизвестного товара — то ли от снаряда, то ли от макарон, разбитое колесо...

Дорога Севастополь — Камышевая бухта в период третьего штурма была единственной дорогой надежды для раненых, для мирных жителей, для интендантов, сновавших тут на разбитых машинах к причалам Камышевки за снарядами, мукой, бензином, медикаментами, вооружением, для посыльных штаба, встречавших в Камышевой маршевые пополнения... Ох, эта дорога — надолго запомнится она тем, кто целым прошел по ней и вернулся назад! Сколько раз тут вспоминалась мать родная! Сколько раз знаменитый неписаный фольклор обогащался здесь редчайшими словосочетаниями!..

Сильный артиллерийский обстрел то и дело заставлял нас падать на дорогу. Задыхаясь от жары и едкого, горького запаха полыни и пороха, обходя воронки и трупы, мы продолжали идти к Севастополю. В одном месте взяли слишком вправо и вышли на дорогу, ведущую к Балаклаве. Вернулись, но вскоре снова сбились и попали на херсонесский аэродром. По нему недавно прошлись бомбардировщики фашистского 8-го корпуса Рихтгофена.

Шли большей частью молча, но у Стрелецкой бухты Вадим Синявский заговорил о батарее капитан-лейтенанта Матюхина, о его орудиях, снятых с подбитого миноносца «Совершенный» и втащенных на Малахов курган на салазках тракторами, молчавший Ворожейкин начал задавать вопросы. Синявский не мог, конечно, удовлетворить его любопытство, потому что не был тогда артиллеристом.

Известный радиокомментатор футбола отшучивался: «Что касается до артиллерии, то самый лучший артиллерийский выстрел прямой наводкой — это двенадцатиметровый!»

Потом сам вдруг принялся расспрашивать лейтенанта о том, что такое шрапнель, откуда взялось это слово, сколько этой самой шрапнели в снаряде и т. д. и т. п.

Ворожейкин отвечал не длинно, но исчерпывающе. Во-первых, он сказал, что название «шрапнель» происходит от фамилии изобретателя, а пулек в снаряде — в зависимости от калибра. Так, снаряд 150 мм пушки содержит 690 шрапнельных пулек, а снаряд 73 мм калибра — 260 пулек. Кроме шрапнельных снарядов, есть еще осколочно-трассирующие, и оба вида этих снарядов применяются для стрельбы по живым целям и по воздушному противнику. Еще есть дистанционная граната, она тоже употребляется для этой же цели. Шрапнели тоже бывают разных видов: так, для стрельбы по самолетам идет шрапнель Гарца и Розенберга. Шрапнелью стреляют и по проволочному заграждению, когда хотят разрушить его. Есть еще снаряды химические, зажигательные, осветительные...

Рассказ об артиллерии мы слушали не без интереса и даже спрашивали о снарядах, которые летели прямо на нас. Ворожейкин с большой охотой отвечал нам. На взгорке попалась автомашина, которая взяла всех. Причем согласилась нас доставить в Карантинную бухту, где штаб Приморской армии. Там же в штабе генерала Петрова располагался и генерал Моргунов. Все это нам объяснил толковый капитан, взявший нас в машину.

В Карантинной бухте, расположенной километрах в двух-трех от Севастополя на запад, было светло как днем — на воде, при самом входе в бухту, горел катер «морской охотник».

Капитан остановил машину недалеко от штольни, где помещался штаб генерала Петрова, и мы, поблагодарив его, спустились в низину.

Тут я попал в объятья трех корреспондентов центральных газет: «Красной звезды» — Льва Иша, «Красного флота» — Меера Когута и «Известий» — Сергея Галышева.

Вадим Синявский и Юрий Арди устроились в штоль-

не политотдела Приморской армии, где были мои старые знакомые по обороне Одессы бригадные комиссары Бочаров и Аксельрод и батальонные комиссары Шинкарюк и Хакимов. Причем Шинкарюка я знал еще по Кишиневу: он был начальником Молдавского радиокомитета. Тут же я встретил и еще одного кишиневца — Иосифа Лемперта, бывшего ответсекретаря редакции газеты «Молдова сочиалистэ». И с корреспондентом «Известий» Сергеем Галышевым мы долго жили в Кишиневе в одной гостинице «Красная звезда». Жили дружно, и он часто пользовался моим телефоном для передачи материалов в «Известия».

Встреча была неожиданной и теплой — Сергей даже слезу проронил.

Мы проговорили почти всю ночь. Вспоминали Кишинев, Москву, кафе «Жургаз», почему-то улицу Горького, холодное пиво и Сандуновские бани.

Вспоминали общих знакомых. Меня дотошно обо всем расспрашивали (я ведь месяц, как из столицы, а они тут с начала обороны). Заснули, когда уже рассвет начал высветливать щели в двери.

Я проснулся от сотрясения нашей катакомбы — немцы обрабатывали севастопольские холмы с земли и воздуха.

Друзей моих на месте не было — они отправились за материалом.

Мне тоже нельзя было растрачивать время — я встал, умылся, поливая себе из кружечки, сберегая каждую каплю пресной воды — она была здесь дороже золота.

...В одном из моих блокнотов есть запись беседы с генералом Иваном Ефимовичем Петровым, командующим сухопутной обороной Севастополя, на его командном пункте в Карантинной бухте. Я попал к генералу благодаря его сыну Юрию, который исполнял роль адъютанта у отца.

Положение в Севастополе усложнялось с каждым днем, и генерал был очень занят, но как-то всегда понимал, что корреспондент приходит к нему не ради праздного любопытства.

Мы говорили с ним о многом, в том числе и о лите-

ратуре — Иван Ефимович любил литературу и к труду литераторов относился с глубоким уважением.

Конечно, наша беседа не протекала спокойно — все время отвлекали то телефонные звонки, то входившие по срочным делам люди. Здесь я познакомился и с генералом Моргуновым, и начальником штаба Николаем Ивановичем Крыловым.

К концу беседы я, хотя и знал о настроении защитников Севастополя («Из Севастополя не уходить! Драться до последнего вздоха!»), спросил генерала, который был предельно откровенен: «Каково настроение в войсках?»

Иван Ефимович вместо ответа протянул мне две листовки: фон Манштейна и нашу, в ответ на немецкую. Листовка немцев была написана в обычном для третьего рейха стиле: мы, мол, покончили с войсками Крымского фронта, а сейчас, если вы не сдадитесь, покончим и с вами. Предлагаем прекратить сопротивление...

В нашей листовке было сказано примерно следующее: вы дважды штурмовали город (я излагаю смысл листовки по беглой записи в блокноте) и дважды терпели крах. Попробуйте еще раз, если вам не жалко солдатских жизней. Если же не хотите бесцельно умирать — сдавайтесь. В конце листовки было написано: «Войну вы проиграли. Мы победим!»

Я посмотрел на генерала: делать такое заявление в июне 1942 года? Да еще перед неизбежным оставлением Севастополя. На мой недоуменный взгляд Иван Ефимович не сразу ответил. Он снял пенсне, слегка помассировал переносицу и сказал чуть-чуть в нос:

— Что? Лихо? Думаете, загнули?

— Да нет... Но...

— Что «но»? А вы учитываете, что немцы потеряли темп? А у них все рассчитано было именно на это!.. Если они каждый важный в стратегическом отношении город будут штурмовать по году, им никогда не выиграть войну! У них могут быть успехи — вояки они хорошие. Но успехи временные. Запомните! А мы победим, даже если придется оставить не только Севастополь, но и Ростов, Новороссийск и Краснодар...

После разговора с генералом Петровым я пришел к корреспондентам. Они жили в одном из ярусов амфите-

атра Карантинной бухты, где некогда происходили ристалища и, по преданью, крестился киевский князь Владимир Красное Солнышко. В нишах амфитеатра — похожие на пчелиные соты древние, херсонесские могильники. Один из них занимали корреспонденты: три солдатских постели, прикрытые синими байковыми одеялами, большая, в развернутый лист пишущая машинка и трехлитровая банка с питьевой водой. Вот и все. Вода для мытья рядом — в бухте. Мыться можно, когда не стреляют. Убежище, конечно, зыбкое, но и жизнь военных корреспондентов в осажденном Севастополе тоже не обладала никаким запасом прочности: все время в беспокойном движении, в поисках способов передачи на Большую землю корреспонденции. Питались где придется: то в батальоне, то с каким-нибудь сердобольным генералом, командиром дивизии, или в бригаде морской пехоты — корреспонденты всех знали и их все знали. Стирали себе сами в бухте, в соленой морской водичке. Сапоги солдатские, пыльные, разбитые, редко когда стаскивались с натруженных ног. Всюду собственными ножками, кланяясь пролетающему над головой снаряду, падая прямо на пыльную дорогу либо в сторонку, в заросли колючего усохшего татарника,— над головой «мессершмитт» со включенными пулеметами, строчит, подлец, даже по одинокому пешеходу.

Тяжкая жизнь — без связи с редакцией, без средств передвижения, каждый час в опасности и совсем неналаженный быт. Хотя слово «быт» в осажденном Севастополе никак не звучит, потому что это слово уместно в мирной жизни, а не тут, где даже в тот момент, когда ты идешь по обыкновенной физиологической надобности, пролетающий над тобой скоростной военный самолет включает пулеметы,— то какой же это, извините, к черту, быт?!

Но мы не жаловались. Даже в знаменитую пятидневку второй недели июня.

Я был у генерала Петрова вскоре после этой (я не стесняюсь сказать ужасной) пятидневки. Генерал сказал, что к нему попало донесение немецкого командования гитлеровской ставки. Я записал фразу из этого донесения. Она весьма красноречива. «Сухопутные войска выступили,— доносили штабники фон Манштейна,— с та-

кой артиллерией, которая по своему количеству и силе впервые применялась в германской армии».

Мне хотелось обзавестись кроме этой цитаты из немецкого донесения и еще какой-то цифирью. Иван Ефимович достал из папки бумажечку и прочел с таким расчетом, чтобы я успел записать. И я записал: «Со 2 по 7 июня немецкой авиацией было сделано 9000 самолетовылетов — они сбросили по фронту и городу 46 000 бомб крупного калибра. Немецкая артиллерия выпустила 126 000 тяжелых снарядов». Особенно много бомб и снарядов пало на тех местах, которые были избраны немцами для предстоящего удара. В среднем на один квадратный метр в этих местах было сброшено полторы тонны металла.

Полторы тонны металла на один квадратный метр! В нашем склепе всю неделю стояла известковая пыль — ни писать, ни дышать невозможно было. Но мы и писали, и дышали. Я даже и теперь не знаю как. После металлического ливня корреспондент «Известий» Сергей Галышев достал где-то два листа фанеры. Ими был зашит купол склепа. Жить стало легче — пыль уже не попадала нам на зубы, не сыпалась в банки из-под томатного сока, в которых хранилась вода для питья. Вода, пахнувшая аптекой. И пишущую машинку уже не заедало больше во время работы.

Фанерная облицовка потолка, электрическая лампа, пишущая машинка в тысячелетней катакомбе выглядели примерно так же, как мотоцикл на ослиной тропе где-нибудь в горах древнего Хеттского государства. Но мы уже ко всему привыкли, и я, например, вскоре перестал думать о том, что сплю на вечном ложе человека, жившего за сотни лет до меня, что, купаясь по ночам в Карантинной бухте, освещенной буйно горящим «морским охотником», я, как и некогда киевский князь Владимир, совершаю обряд крещения, но не простого, а боевого.

Фанерный купол в корреспондентском склепе недолго был простым куполом — однажды он стал дневником. Первую запись на фанере сделал Когут:

«Ночь. Только что вернулись с фронта. Света нет. Болят ноги. Где-то пропал Сергей. Что с ним?»

Записи шли вкось, вкривь — как попало. И записывалось то, что было в этот момент на душе.

«Умирать так с честью».

«Что день грядущий нам готовит?»

«Нашего полку прибыло: Слесарев, Темин, Сажин. Привет Большой земле!»

«Не пропадем!»

«Мы жили здесь и любили свою родину, свой народ. А я еще любил девушку Н.»

«Надечка, где ты, родная?»

«21 июня 1942 года. Город не сдается».

«Завтра год войны. Все это время мы провели на фронте. Мы много видели человеческих страданий. Но эти дни будут нам всегда напоминать многострадальный Севастополь. Мы жили в этом городе, полюбили его».

«Товарищи! Этот «дот» служил верой и правдой и надеждой трем бойцам газетного листа. Здесь мы, простые советские люди, переживали суровые минуты. Мы будем помнить о тебе, наш незнакомый друг. Наверняка знаем, что ты прочтешь эти строки. Мы можем надеяться, что дело, за которое так героически сражается мужественный и гордый севастопольский гарнизон, победит...»

Я прожил у моих друзей несколько дней. Из двери склепа была видна вода Карантинной бухты. В нее, часто булгача ее толщи, плюхались снаряды и мины — бухта просматривалась немцами с северной стороны, и они, то ли от избытка снарядов, то ли развлекаясь, стреляли даже по тени человека. По ночам в бухте, пахнувшей пороховыми газами, мы с наслаждением купались с политработниками Приморской армии, жившими в минной штольне.

Это были трудные дни: Севастополь истекал кровью — против 1060 немецких самолетов на блокированных аэродромах действовало всего лишь шестьдесят! Против 450 немецких танков — тридцать восемь наших.

Но дело даже и не в этом! У нас недоставало снарядов: артиллерия действовала по принципу: «не вижу — не стреляю».

В те дни город тонул в черном дыму и серой пыли: сгорело много зданий, погибло много людей, корабли уже не ходили в гавань, усилилась вражеская блокада на море — не доставлялись в нужном количестве боеприпасы, продовольствие, медикаменты и пополнение.

Раненых накопилось столько, что у хирургов не просыхали вымазанные кровью халаты. Эвакуаторы из сил выбивались, но не могли ничего сделать, чтобы наладить регулярную отправку раненых на Кавказ.

Много людей в те дни с жадностью и надеждой искали на газетных полосах материалы — сообщения из Севастополя. Но что могли сделать мои друзья, когда всем им на военном телеграфе было дано право ежедневно передавать не более двухсот пятидесяти слов. Мало? Конечно, мужество севастопольцев было ошеломляюще. Да! Даже гитлеровцы, засыпавшие город и позиции металлом и затем бросавшие в прорыв по сто танков, не понимали, откуда вырастали на их пути русские солдаты и матросы.

Читатели ждали обстоятельных рассказов о героях. И военные корреспонденты, понимая это и учитывая важность своих свидетельских показаний, пробирались на передний край, к стрелкам, пулеметчикам, артиллеристам, саперам, связистам. А потом искали оказию, с которой можно было бы отправить на Большую землю в свои газеты большие корреспонденции. А оказией могли быть лишь корабли: подводные лодки, миноносцы, тральщики, катера.

Организация пересылки материала из осажденного Севастополя, из заблокированного города была для корреспондентов сложнейшей операцией.

А сражались здесь так же, как и в Одессе.

Мне на всю жизнь запомнился рассказ начальника штаба Одесской военно-морской базы К. И. Деревянко о разговоре по телефону с 21-й батареей береговой обороны, которую заблокировали фашистские войска.

Батарея была тяжелая. Ее орудия не для ближних целей, поэтому все артиллеристы по тревоге взялись за винтовки, гранаты и пулеметы — и в окопы перед проволочным заграждением,— умереть, но не пустить врага на батарею.

О ходе боя в штаб все время по телефону сообщал краснофлотец-связист. И вдруг в трубке что-то зашуршало, раздались какие-то голоса и сильный, похожий на очередь автомата треск. Деревянко не вешал трубку — ждал, что будет дальше. Прошло немало времени, и в трубке снова раздался голос того же краснофлотца-свя-

зиста. Он крикнул запыхавшимся голосом: «Алле!», и, когда капитан III ранга Деревянко ответил, краснофлотец, тяжело дыша, сказал: «Извините, отлучился врукопашную...»

Мы возвращались из Севастополя на Большую землю по той же пыльной дороге, только теперь запруженной донельзя транспортом и людьми — все спешили к Камышевой бухте. Люди шли в изодранных гимнастерках, с окровавленными повязками, шли, укрываясь в балочках от шквалистого огня. Некоторые, пройдя через семь кругов ада, здесь, на восьмом и, возможно, последнем, попадали под бомбы и оставались навеки.

Всюду горели огни, причем одни из них полыхали во всю силу, другие еле занимались, третьи летели, четвертые висли в небе.

В этом возбужденном, порой скорбном потоке мы двигались к аэродрому, сжимая в руках приказ генерала Петрова о посадке нас в самолет.

ОРЛЫ СЛЕТАЮТСЯ В СВОЕ ГНЕЗДО

Весной 1943 года я был отчислен из газеты «Красный флот» и назначен для дальнейшего прохождения службы на Черноморский флот. Путь туда был долгий — пришлось на Черное море ехать через Ташкент—Ашхабад—Баку — Тбилиси — Поти. И затем по побережью в местечко Макопсе, где была штаб-квартира Военного совета Черноморского флота, куда мне надлежало явиться.

Флот базировался не в одном месте, а по всему побережью Кавказа. Здесь все экипажи от торпедного катера и до линкора жили идеей возвращения в Севастополь, который надо было отвоевать, из которого надо было выгнать фашистов.

Предстояли смелые операции, десанты в тыл противника, операции воздушных сил, походы кораблей, и особенно подводных, к берегам, занятым противником.

Чтобы ближе быть ко всем этим событиям, я решил (мне был предоставлен выбор) пойти в испытанную севастопольской осадой флотскую газету «Красный черноморец». Пошел и ни минуты не жалел, что остановил на ней свой выбор.

В составе нашего газетного «экипажа» было много отличных, смелых журналистов и литераторов [1]. Многие из них были участниками обороны Одессы, Севастополя, Новороссийска, выбрасывались на берег врага с морскими десантами, выходили на боевые операции на подводных лодках, на миноносцах и крейсерах, на катерах-«охотниках», на тральщиках; летали на бомбардировщиках.

Прошел год моей службы на новом месте.

И вот наконец, после десантов на Мысхако и в Новороссийск, после прыжка через Керченский пролив, после тяжелых потерь и огорчений, после ошибок и промахов, накапливая опыт, силы и расчетливость, черноморцы — в Крыму!

На дворе апрель — лучшая пора крымской весны: изумрудно зеленеют поля, буйными цветами пенятся сады, и только в горах белеют снега и на утренних зорях тянет настоянным на морозце холодком.

Весна 1944 года чуть-чуть запоздала; дуб дремотно скидывает старый, тяжелый, как медь, лист.

По приметам, когда дуб роняет старый лист и его почки начинают выстреливать новыми,— ломается погода на вёдро. А это значит — жаркие, с припечным солнцем дни и ясные звездные ночи.

Звездные ночи хороши, когда слушаешь соловья, и ненавистны, когда нужно скрытно выйти на позицию и ждать выходящие из Севастополя транспорта с бегущими немцами...

Но война никогда не выбирает погоды, если полководцы сами не позаботятся об этом. А они чаще всего не заботятся.

Вот и сейчас, несмотря на то что весенняя луна мешала Черноморскому флоту действовать на коммуникациях, моряки все же действовали — полководцам угодно было именно теперь вести наступательные бои. А луна — что ж — закон войны неумолим.

Важно то, что войска 4-го Украинского фронта и Отдельная Приморская армия сомкнули фронт у Севасто-

---

[1] Владимир Апошанский, Анатолий Ленский, Петр Капица, Георгий Гайдовский, Ян Сашин, Петр Гаврилов, Григорий Поженян, Афанасий Красовский, Александр Соколенко, Матвей Никитин, Николай Малиновский, Григорий Коптяев, Василий Ефремов, Алексей Панфилов, Семен Клебанов, Вадим Докин, Андрей Сальников, Леонид Сойфертис, Леонид Давиденко...

поля, тем самым, как говорят военные, «взяли в клещи» армию генерала Альмендингера.

Перед моряками задача поставлена примерно такая же: взять в клещи противника с моря. А как взять? Флотским штабным работникам пришлось попотеть, пока они разработали все до тонкостей: бригаде торпедных катеров под командованием капитана II ранга Проценко надлежало «перебросить» в Скадовск — западнее Севастополя, а бригаде капитана II ранга Дьяченко — в Ялту. Надо сказать, что не все штабные разработки, легко ложащиеся на бумагу, осуществляются на поле боя. Но эта операция — операция по освобождению Севастополя... а впрочем, нужно ли торопиться с выводами? Расскажу об этом, когда приспеет время.

Тому, кто находился в апреле 1944 года на шоссе между Симферополем и Бахчисараем, даже с первого взгляда было ясно, что операция (слово не из лучших, но военная наука ревнива к своему словарю) по освобождению Севастополя предстоит стремительная и эффектная. Это было видно не только по количеству войск и техники. И не только по душевному подъему солдат и особенно моряков, которые перед Севастополем точили матросские ножи — бебуты и бритвы, гладили форменки, растягивали на тарелках вымытые в бензине бескозырки, которые они хранили на дне своих вещмешков, обходясь до поры до времени солдатскими пилотками. Это было видно еще и по обилию корреспондентов центральных газет и генералов из Ставки Верховного Командования.

Стало быть, любому наблюдательному журналисту нетрудно было понять, что удар по немецким войскам, скрывшимся за обводами Севастополя, будет нанесен очень скоро. Иначе зачем здесь журналисты и генералы из центра.

К сожалению, среди съехавшихся в Крым генералов нет героев обороны Севастополя: Ивана Ефимовича Петрова и Николая Ивановича Крылова — они где-то на других фронтах. Нет и среди корреспондентского корпуса Александра Хамадана, Льва Иша, Сергея Галышева и Меера Когута — они не успели эвакуироваться из Севастополя. Это были отличные журналисты и солдаты. Ино-

гда и им приходилось, так же как и героям их корреспонденций, на время прятать карандаш и блокнот и брать в руки автомат.

Нет с нами и Гриши Нилова — зимой 1942 года он погиб на транспорте «Чапаев», следовавшем с войсками и оружием в Севастополь. Пароход был торпедирован, и Нилов попал в водоворот, поглотивший судно.

Как бы они все порадовали читателей своих газет: ведь из всех собравшихся здесь, под Севастополем, журналистов именно им более, чем другим, знакома и эта дымка, по утрам висящая над долиной Альмы, и тихая, улыбчивая, вся в цветах садов Сюрень, и зеленые холмы над Бахчисараем, сады ханского дворца, и эта белая лента шоссе на Севастополь, по которому непрерывным потоком движутся войска, и, наконец, душа этой древней таврийской земли, где столько было пролито русской крови!

Мне, флотскому журналисту, надо было держаться ближе к тому роду войск, чью форму одежды я носил. Так, по крайней мере, считало мое начальство. Да я и сам душою принадлежал флоту. Но держаться во время такой войны только флота было, конечно, неверно, потому что разгром немецких войск в Крыму осуществляла армия при содействии флота. При содействии... И потом, интерес наших читателей-моряков никогда не ограничивался описанием л и ш ь флотских баталий.

Пока войска и тяжелая артиллерия стягиваются к Севастополю, я прощаюсь с друзьями, корреспондентами центральных армейских и авиационных газет и с кинооператорами (здесь: С. Михалков, В. Кожевников, Е. Кригер, П. Белявский, Е. Габрилович, Эль-Регистан, В. Рудный, В. Микоша, Я. Берлинер, К. Ряшенцев, Д. Рымарев, С. Левинсон, Е. Халдей) и еду в Ялту — там наша редакция, там Соколенко, Поженян, катерники бригады капитана II ранга Дьяченко, там же, в ожидании вступления в должность, будущие морские власти Севастополя, власти еще не освобожденного города — наследники будущей победы. Они смутно представляют себе, что ждет их,— по данным воздушной разведки, Севастополь лежит в развалинах, и пленные показывают тоже, а каков он на самом деле, не знает даже сам Намгаладзе [1]!

---

[1] Начальник разведотдела Черноморского флота.

Из Бахчисарая я должен ехать в Симферополь, а оттуда на юг, в Алушту и дальше берегом моря — в Ялту.

...Армейский «козлик» мчится к Южному берегу. На полях равнинного Крыма кружится, переливается рыжим бархатом сочная озимая пшеница. Баловень степей, шустрый, сытый теплом ветерок катается по зеленям, трясет кустарник и вьет кудель из дорожной пыли.

Солнце льется добрым и пахучим теплом. Хорошо! Вдали темнеют горы. За ними скрыто море. Давно я не видел его в этих широтах!

Мелькают повороты. Дорога узка. К счастью, она тут свободна, а позади бог знает что творится!

Никто не делает таких запасов, как полководцы, намеревающиеся опрокинуть на лопатки противника: дорога от Бахчисарая до Симферополя перенасыщена войсками, «куда столько?». А они все идут и идут... Я написал «идут», потому что шоссе Симферополь — Севастополь забито. Часть пехоты шагает обочь, а по полотну дороги степенно тащится тяжелая артиллерия, доверху груженные машины, обозы, санитарные части, конница. А среди этого потока мчатся с ревом моторов «виллисы» штаба фронта. Запыленные, с припухшими и красными от бессонницы глазами, офицеры связи везут важные поправки, добавления и уточнения к приказам. Доставить их нужно «всрочно», и машины пролетают, совершенно не страхуясь осторожностью. И как когда-то правительственные курьеры покрикивали на кучеров: «Гони! Гони!», офицеры связи, устало откинувшись на спинку автомобильного сиденья, требуют от взмокших водителей: «Давай! Давай!.. Жми!.. Жми!..»

После Симферополя, там, где от главной артерии, перерезающей Крым с востока, отшнуровывается дорога к Южному берегу,— свободно, но зато обочины завалены разбитыми автомашинами, обгоревшими фашистскими танками, расхлестанными метким огнем наших артиллеристов, немецкими тупорылыми пушчонками, отшнуровывается толстыми змеевидными кабелями, ящиками от мин и снарядов...

Давно ли все это катилось на восток, к суровым краям нашей Родины!

Листы старых блокнотов шуршат. От них пахнет слежавшейся, усохшей бумагой. Читаю записи 1943 года... 18-я армия после тяжелого, но хорошо вызревшего и талантливого по дерзости и напору штурма освободила Новороссийск и, ни минуты не истратив на передышку, прорвала вражеские укрепления у Волчьих ворот и вышла на Таманский полуостров, где вскоре соединилась с блестяще крушившей врага в кубанских плавнях 56-й армией, которой командовал генерал А. А. Гречко. Я очутился на берегу Керченского пролива, в станице Сенная. Здесь, среди брошенного гитлеровцами штабного имущества, на глаза случайно попалась фашистская газетенка «Ангриф».

Вначале я не обратил на нее внимания — интересовали документы, письма, тем более на газетенке стояла дата 1 января 1943 года, а тут октябрь уже отсчитывал десятый день. Все же я взял газетенку, повертел в руках, и тут только до меня дошло, что это же новогодний номер! В газете было много материала, который теперь доставил бы немало веселых минут, но в то время эти строчки заставили меня не только внимательно прочесть их до конца, но и еще и выписать в свой блокнот.

«...О величии наших побед,— читал я,— можно убедиться в Бюро путешествий. Еще несколько лет тому назад путь от Берлина до восточной границы был коротким.

Достаточно взглянуть на карту, чтобы увидеть, сколько километров должен проделать теперь курьерский поезд, чтобы довезти путешественников из Берлина в Сталинград».

Эти слова были написаны в последний день 1942 года, то есть девять с чем-то месяцев тому назад, когда гитлеровцы были в Сталинграде, Воронеже, Ростове, Ставрополе, Краснодаре и растеклись по бассейну Терека, почти до самого Каспия. В кольце блокады страдал Ленинград. Девять месяцев тому назад берлинские железнодорожные билетные кассы готовы были начать продажу туристам билетов не только до Сталинграда, но и даже до Нальчика, откуда по Баксанскому ущелью легко добраться до Эльбруса.

Можно было взять билет и до Петергофа или до Смоленска... можно было сфотографироваться в снегах Кавказа и под пальмами на набережной Ялты... Как ни горько вспоминать об этом, но все сие было!

Даже худшее было: в конце августа 1942 года, когда отлично вооруженные гитлеровские соединения из войск группы армий «А» (167 000 солдат и офицеров; 1130 танков, 4540 пушек и минометов и около 1000 самолетов) прорвались на Терек, в Северной группе наших войск (Закавказский фронт) сражалось несколько почти безоружных соединений: 417-я стрелковая дивизия имела 500 винтовок, в 151-й дивизии только половина солдат была вооружена винтовками, и притом иностранных марок. А одна из стрелковых бригад не имела в своем распоряжении ни одной пушки и ни одного пулемета, а винтовок 30 штук на каждую сотню человек!

Повторяю, все было — тяжелые оборонительные бои, изнурительные отходы на восток, истощение военной мощи, но уже в конце тысяча девятьсот сорок второго года нам удалось восстановить военную мощь, дать армиям оружие по потребности и перейти от обороны к наступательным боям. Отважные отряды горных стрелков, моряки, кубанские казаки и горцы закрыли перевалы и горные тропы, по которым гитлеровцы намеревались выйти на Кавказское побережье Черного моря.

19 ноября 1942 года наши войска нанесли первый удар по отборным войскам врага на Волге. Удар страшный, но фашистская газетенка сделала вид, что ничего не происходит. Полтора месяца наши войска дубасят лучшую армию рейха — шестую, клином врезавшуюся в Сталинград, а новогодний номер «Ангриф» рекламирует туристские поездки на Волгу, где обещает любителям рыбной ловли жирных сазанов, стерлядь, а на Кавказе самую лучшую в мире лососину — куринскую, с ее непревзойденным, нежным, сочным, розовым мясом.

...«О величии наших побед можно убедиться в Берлинском бюро путешествий...»

Хорошенькое «величие побед», когда солдаты трехсоттысячной армии оказались в Сталинградском котле, а войска группы армий «А», которыми командовал генерал-фельдмаршал фон Клейст, чудом избежали мешка.

Шестьсот километров от Моздока до Кубани войска генерал-фельдмаршала не прошли, а пробежали, так и не успев попробовать золотистых пудовых волжских сазанов и розового мяса царицы лососевых — куринской.

И вот мы у Керченского пролива. Крым скрыт за плотной холодноватой октябрьской дымкой. Там, за этой дымкой и неспокойной, взъерошенной ветром водой пролива, укрылась 17-я гитлеровская армия. Немалая часть ее солдат осталась на таманской земле, где их кости смешаются с прахом печенегов, монголов, турок, аланов, греков, половцев, ногайцев, генуэзцев и еще бог знает каких народов, загнанных в свое время сюда жадностью и щекочущим нервы авантюризмом.

Конечно, сами рядовые немцы вряд ли искали здесь место для собственного праха — все-таки если уж и суждено ложиться в мать сыру землю, то уж лучше в свою. Не хотел этого и генерал-полковник Руофф, командующий 17-й армией.

Но Гитлер, сообразуясь лишь с личным желанием, потребовал от 17-й армии удерживать Кубань и Таманский полуостров. Тщетная попытка восстановить политический престиж после поражения на Волге, после бегства с Кавказа группы армий «А» и ошеломляющего разгрома тридцати семи дивизий на Орловско-Курской дуге!

Генерал Руофф, как верный пес, держался на землях Кубани и Таманского полуострова во главе своих 17 пехотных дивизий, 4 отдельных полков и 7 отдельных команд.

Бои были упорными и кровопролитными. Удерживаясь на рубежах обороны, кстати, великолепно оборудованных в инженерном отношении и вооруженных до зубов, 17-я армия должна была, по замыслу гитлеровской ставки, вести планомерную эвакуацию войск и техники в Крым. Эта операция была названа «Кримгильдой».

Против 17-й армии действовали три наши армии: 18-я, которой командовал генерал Леселидзе, 56-я, под командованием генерала Гречко, войска которой взламывали укрепления так называемой «Голубой линии», и 9-я армия генерала Гречкина.

Под ударами наших армий операция «Кримгильда» не успела развиться — это был очередной выкидыш гитлеровской стратегии. Однако фашистские штабисты не могут обойтись без того, чтобы не закодировать ни одной даже проигрышной операции, и для поспешного отступления с Таманского полуострова они нашли код —

отступление через Керченский пролив значилось в штабных документах как операция «Брунгильда».

Жизнь «Брунгильды» была чуть длиннее жизни «Кримгильды».

Я выбросил пожелтевший листок новогоднего номера фашистской газетенки. Однако вспоминал ее впоследствии не один раз: и перед десантом, и потом, когда очутился вместе с войсками на крымской земле, и чуть позже, когда с передовыми отрядами входил в Севастополь.

Предусматривалось выбросить два десанта: у Эльтигена и в районе Опасная — Еникале с таким расчетом, чтобы взять Керчь в клещи. Для высадки войск был избран день — двадцать седьмое октября.

Операция вторжения в Крым складывалась нелегко — осенью Керченский пролив своенравен, да и таманская земля раскисла в результате непрерывных дождей.

Солдаты, видавшие на своем веку всякие виды, почти в один голос говорили, что такой грязи, как таманская, «сроду не видали». И действительно, таманская грязь была упруга, как резина, и если у солдата сапог номерком побольше, то она стягивала его с обидной легкостью. Грязь останавливала машины у крутых поворотов и на лобках даже с небольшим подъемом. Гитлеровцы, отступая по своему чертовому плану, названному дамским именем «Брунгильда», искрошили фугасами узкоколейную железную дорогу, войскам нашей 18-й армии пришлось почти все тащить на себе.

В эти дни и мы, военные корреспонденты, чаще хватались за лопаты (в то время, когда наш корреспондентский фургон погружался в грязь по самые ступицы), чем за перья и блокноты.

К счастью, все проходит, прошли и дожди, просохли и дороги.

День накануне десанта выдался тихий. Успокоился, как старый ворчливый зверь, Керченский пролив, над его водами парили чайки. У взорванных причалов, при-

способливая их к предстоящей операции, копошились люди. У корня причала — пушки и сложенные в штабеля снаряды в ящиках — грузы для Крыма.

Возле ящиков артиллеристы и солдаты: одни укладывали в аккуратные горки снаряды, другие в измазанных по самые колени сапогах спали на них, словно на перинах, третьи писали письма, а четвертые с завидным аппетитом поглощали из вспоротых острыми штыкообразными ножами жестяных коробок «сухой паек» — красноватое, крупноволокнистое китовое мясо.

В пещерах, вырытых в таманском берегу, спали мотоботчики — им предстояла нелегкая дорога на ту сторону, к Керчи.

Неподалеку от спящих раздавался хриплый голос старморнача Тамани — ему доставалось хлопот едва ли не больше всех. Однако он зря волновался — по всему было видно, что для десанта если чего и не хватало, то только ночи. Под ее покровом оставалось погрузиться отрядам первого броска и... оторваться от таманского берега.

К сожалению, обнадеживающая погода стояла лишь до полудня: на небе не было ни клочка просвета и ветра, как говорится,— ни синь пороха. Можно ли желать лучшей погоды для высадки десанта?

Когда день стал клониться к исходу, в порт неожиданно влетел «виллис» командующего 18-й армией генерала Леселидзе.

На генерале черная с широченными квадратными плечами кавказская бурка и не по времени папаха с красным, перечеркнутым золотыми шеврончиками верхом.

Со стороны Керчи доносились взрывы. Видимость была не очень хорошей — крымский берег перед невооруженным глазом выглядел миражем, но генерал, перед глазами которого были окуляры многократного бинокля, вероятно, обнаружил что-то важное — об этом можно было судить по его густым черным бровям, которыми он многозначительно двигал.

Генерал осматривал крымский берег долго, направляя бинокль в те места, откуда доносились взрывы. Что там рвали немцы и для чего? Может быть, они собира-

лись оставить город? Может быть, их напугало продвижение войск 4-го Украинского фронта к Перекопу?

Генерал все еще продолжал изучать западную сторону пролива, когда внезапно налетел ветер восточной четверти. Пролив, только что сверкавший, как зеркало, вздулся, в небе со стороны Темрюка появилась сизая, плотная дымка. Генерал, слегка щурясь, осмотрелся по сторонам: у причала покачивались суда, приготовленные для десантной операции, а берег почти весь был завален грузами. Ночью все это нужно перебросить вслед за десантом, на ту сторону. Нужно! А будет ли переброшено, если ветер разыграется?

Досадливо махнув рукой, он сел в машину и, не оглядываясь, покинул Таманский порт. Не успел «виллис» скрыться, как налетел шквал — все кругом загудело и завыло.

Четыре дня пролив стонал и кипел от дикой силы ветра. Катера, застигнутые у причалов, колотило привальными брусьями о стенку, а суда, стоявшие на рейде, сорвало с якорей, экипажи делали отчаянные попытки продержаться в дрейфе.

Четыре дня над Керченским проливом властвовала непогода: то нависал туман, то ползли низкие облака, то дули пронзительные ветры. Вода была перемешана с придонной мутью и растрепана поверху в мелкую пыль,— казалось, что над проливом несется самая настоящая поземка.

Когда ветер стих, в проливе образовалась «толчея» — особенность Азовского моря и Керченского пролива состоит в том, что здесь ничтожные глубины и волны образуются короткие, без разбега — вот они и толкутся, как бараны перед узкими воротами.

Шторм, как говорили солдаты, «дал прикурить» и им. На пятый день ветер стал успокаиваться, а море продолжало по инерции стонать и кипеть. Командование фронта приняло решение переброску десантных войск начать первого ноября.

Пережитое, как пройденные километры, остается позади. Фронтовые блокноты хранят даты, цифры и скелеты событий — много ли можно записать на ветру или

при качке, а то и под артиллерийским огнем или под бомбами? Выручает ценнейшее свойство человека — память. Она до конца дней хранит не только события, но даже звуки и голоса тех времен. Да что там! Она сохраняет цвета: неба, земли, моря...

До сих пор стоит перед моими глазами то утро первого ноября 1943 года, когда по причалу в Тамани расхаживали в нетерпеливом ожидании командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Георгий Никитич Холостяков и начальник политотдела Новороссийской базы капитан I ранга Бакаев. Они ждали возвращения кораблей, вышедших к крымскому берегу под командованием капитана III ранга Григория Гнатенко.

Со стороны Крыма доносились глухие раскаты.

Терпение военных людей должно обладать запасом прочности. Адмирал Холостяков человек большого и разностороннего опыта — он пережил оборону Новороссийска, которая в начальном ее периоде складывалась для нас трагически и могла бы иметь очень неблагоприятные последствия, если бы не остановил немцев на восточной окраине города, у цементных заводов, отряд моряков.

...Новороссийск! Затем высадка десанта в Станичку и, наконец, взятие Новороссийска, которому адмирал отдал много сил и энергии, и вот теперь, спустя всего лишь месяц, новая сложнейшая операция — высадка десанта и переброска 18-й армии через Керченский пролив.

Почти через тридцать лет после встречи в Тамани я попал в московскую квартиру адмирала Холостякова. Читателю, должно быть, известно ощущение сместившегося времени, в результате которого возникает сильный эмоциональный удар в сердце?

Это естественно, ибо столкновение давних, может быть даже слегка «запылившихся», впечатлений с новыми не проходит бесследно никогда.

Представьте, что все пережитое мною случилось с вами: вы шли от Никитских ворот к Пушкинской площади (по левой стороне бульвара), прошли мимо квартиры Ермоловой, квартиры, окна которой отливают нежно-аметистовым венецианским стеклом, затем прошли прочное и тяжелое, как египетские пирамиды, здание банка и в двух шагах от театра, который некогда назывался Ка-

мерным, нырнули под арку ворот и по темной лестнице поднялись на последний этаж, нажали кнопку звонка, с биением сердца ожидали увидеть в открытой двери старика в шлепанцах и сношенных флотских брюках...

...Открылась дверь, и на вас хлынул тугой, солоноватый морской ветер, но не тот, что валит с ног, а мягкий, известный еще из старых морских романов под наименованием бриз. В тот же момент до вас донесся шум морской волны... Это не фантазия и не чудо, вы попали не в лабораторию, где куются искусственные климаты. Это и не музей с действующими моделями моря, кораблей и ветров всех румбов. И все же вас встречает настоящий морской дух — вы в квартире моряка, который отдал морю и морской службе полвека.

Вы в квартире адмирала Героя Советского Союза Георгия Никитича Холостякова, который держал свой флаг во время Великой Отечественной войны не менее чем в трех десятках портов — от Новороссийска до Вены!

И выглядит адмирал как мичман — старость бежит от него!

Все в квартире этой дышит историей, той, которую делали не титаны, а такие же люди, как и вы, читатель! В нашем обществе есть субъекты, они китайской стеной отгораживаются от прошлого. Адмирал смело вводит в современную жизнь славное прошлое — почти все свободное время он проводит среди молодежи.

У мексиканцев есть изречение: «Веру в будущее народы найдут в величии своего прошлого». Хорошо бы, эти слова были поняты теми, кто нигилистически относится к прошлому своей родины!

О многом мы вспоминали с адмиралом. Да в его квартире и нельзя иначе — все здесь будит ум и память.

На высокой тумбочке стоит модель железнодорожного товарного вагона. Собственно, это не та модель, которую можно увидеть за стеклом в музее вагоностроительного завода, а крохотная — в размере транзисторного приемника — копия вагона, застигнутого войной на седьмом километре восточнее Новороссийска, в районе цементных заводов.

До начала военных действий под Новороссийском он выглядел, как и тысячи таких же товарных вагонов, то есть был обшит вагонкой, выкрашен в кирпичный цвет,

испещрен номерами и какими-то известными лишь железнодорожникам знаками и надписями. Ориентируясь по этим знакам, его гоняли по железным дорогам за три-девять земель и возвращали обратно.

Обшивка сгорела осенью 1942 года, а металлический каркас был изрешечен пулями, да так, что живого места не осталось.

Вагон простоял между нашими и вражескими позициями целый год.

Модель этого расстрелянного вагона подарена Холостякову новороссийцами в память о тех суровых днях, когда адмирал занял здесь оборону, не позволив гитлеровцам пройти вперед даже на вершок.

Разглядывая модели военных кораблей — тут были фрегат «Метеор», миноносец типа «Новик», крейсер «Варяг», подводная лодка,— перебирая фотографии тех лет, мы с адмиралом довольно легко вернулись из Москвы 1972 года на Тамань 1943 года. Причем вернулись в тот момент, когда к причалу подходили катера капитана III ранга Григория Гнатенко...

Катера лихо ошвартовывались, матросы выдвинули сходни. Вместе с капитаном III ранга Гнатенко на причал по качающейся сходне сошел и лейтенант Попов. Насквозь промокший, донельзя усталый, с песком на раскисших ботинках, с песком, принесенным с крымского берега, — он первым коснулся его,— лейтенант едва стоял на ногах. Завидев начальство, Гнатенко и Попов подтянулись и четко откозыряли. Гнатенко доложил о выполнении задачи. Настала очередь Попова.

Что такое десант, знают лишь те, кто хоть раз высаживался. Как правило, операции проводятся ночью и при наихудшей погоде, чтобы застать врага врасплох.

Особенно трудно проводнику — он первым бросается вперед, увлекая за собой десантников. Если на пути встретится мина, или колючая проволока, или вода ледяная, трясина, кочки, колючий кустарник, непроходимые болота — все это достается ему первому.

Странно, что мы, военные корреспонденты, до сих пор не обращали внимания на Попова. Да и командование не баловало его наградами, а ведь он настоящий герой. Золотая Звезда на его груди нашла бы наидостойнейшее место.

Может быть, мы потому его не замечали, что всякий раз после высадки десанта насквозь промокший и донельзя усталый лейтенант валился от огромного напряжения, спешил скорее переодеться и хоть часик поспать? Мы забывали, что он до высадки десанта несколько суток не спал.

Вот и теперь, щурясь от острого, пробившегося сквозь плотную тучу солнечного луча, Попов коротко доложил, что в три часа тридцать минут катера подошли к исходной позиции. Двенадцать минут понадобилось, чтобы в туманной мгле собрать отряд из пяти бойцов — они из-за экономии горючего шли к исходной точке на буксире — и двинуться к Керчи.

Поход оказался тяжелым, с Азовья дул холодный ветер. Волнение достигало пяти баллов. Вода заплескивалась через борта.

Через час три мотобота, поднявшись на нагонной волне, первыми врезались в песчаный берег. Попов прыгнул в воду и, тихо скомандовав удерживать боты, чтобы их не развернуло лагом, начал высадку матросов отдельного батальона морской пехоты капитана Белякова и солдат майора Ковешникова.

Боты подпрыгивали на шальной волне, как яичные скорлупки.

Изо всех дел, которые приходятся на долю моряков в их нелегкой службе, пожалуй, самое трудное прием и высадка людей во время штормовой погоды. Требуется высокое мастерство, терпение и мужество, чтобы сблизить корабли, удерживать их на беспокойной волне и обеспечить переход десантникам с одного корабля на другой. Иногда оба корабля ловят одну и ту же волну и на гребне ее, словно на чашке весов, пользуясь не минутами, а буквально секундами времени, передают людей и грузы.

Моряки работали с мужеством, достойным истории.

Среди них немало было керчан, феодосийцев и севастопольцев. Некоторые из них родились здесь. Отцы их тоже в свое время присягали военно-морскому флагу, а на старости кидали сети в море.

...Когда лейтенант Попов подошел с мотоботами за второй партией десантников, немцы обнаружили отряд Гнатенко и открыли огонь.



Над проливом повисли ракеты, а воду начали ощупывать прожекторные огни.

Не прекращая посадки, моряки, удерживаясь отпорными крюками, открыли огонь из пушек и крупнокалиберных пулеметов по немецким прожекторам — удалось погасить часть из них.

Выгрузка оружия, боеприпасов и переброска войск продолжалась до позднего утра. Торпедным катерам несколько раз пришлось ставить дымовые завесы и закрывать отряд Гнатенко.

В ночь на третье ноября высадку с косы Чушка произвели моряки Азовской военной флотилии, которой ко-

мандовал контр-адмирал Сергей Григорьевич Горшков [1].

Немцы всеми силами пытались помешать расширять плацдарм — настильным огнем били по проливу и кораблям. Ни артиллерийский огонь, ни слепящий свет прожекторов, ни неразумный союзник врага — штормовой ветер и ни холодная вода не могли остановить моряков.

Потери были большие. Пролив оглашался пальбой и криками. Люди бросались в холодную воду и быстро, рассекая ее, держа над головой автоматы, выбегали на крымскую землю.

Моряки, корабли которых были разбиты или потоплены, не сидели на берегу в ожидании, когда их подберут: промокшие, в набухших от воды бушлатах, заломив бескозырки, вместе с солдатами бросались на штурм. Их отваге дивились даже мастера боев, гвардейцы, штурмовавшие «голубую линию».

В моем блокноте (в котором сохранились, к моей радости, и эти записи) я отыскал четыре странички, на которых обнаружил фамилии героев битвы за Крым: лейтенанта Головченко, старших лейтенантов — Михаила Бондаренко, Семена Флейшера, Карпенюка и Василия Бирюка. К сожалению, записи о них до неутешного огорчения кратки.

Боже! Как же мы были тогда беспечны и наивны, надеясь все запомнить. Ну почему мы не делали пространных записей после, когда утихал бой!

Вот теперь я ничего не знаю о дальнейшей судьбе лейтенанта Головченко, как и нет у меня в блокнотах ни строчки и о судьбе Семена Флейшера, а они оба совершили выдающиеся подвиги: лейтенант Головченко, отрезанный огнем от мотоботов, вместе с экипажами лихим штурмом овладел немецким дзотом и держался в нем несколько дней, до прибытия помощи.

Командир «морского охотника» старший лейтенант Флейшер отличился в Новороссийской операции. Когда в его катер попала торпеда и застряла в корпусе, Флейшер имел на борту десантников. Он не дал сигнала играть тревогу, а продолжал идти к месту высадки десанта — высадил людей и, тихо развернувшись, пошел в Геленджик. После извлечения торпеды и ремонта корпуса он принял на борт новых десантников и пошел опять в Новороссийск. При высадке войск на крымский берег

[1] С. Г. Горшков — ныне главком Военно-Морских Сил, адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза.

Флейшер на обратном пути был атакован шестью немецкими катерами. Вступил в бой. Корабли не боксеры — они не ведут ближних боев, а действуют артиллерией, а это оружие длинной руки, и тут выигрывает тот, у кого лучше натренированы артиллеристы, умеющие одинаково хорошо стрелять в тихую погоду и на качке.

Комендоры Флейшера оказались опытнее немецких, и вскоре ему удалось накрыть два катера противника — четыре это уже не шесть, ловким маневром Флейшер вывел катер из боя. Причем так искусно, что сигнальщики противника потеряли его и приняли один из своих катеров за наш и начали обстреливать. Семен Флейшер вернулся в порт за новыми десантниками. Что было с ним и его экипажем дальше, об этом в моем блокноте нет записей.

Таким же маневром перехитрил противника и гвардии старший лейтенант Карпенюк: он возвращался из Эльтигена, почти миновал половину пролива, когда наперерез вышли три быстроходные десантные баржи противника типа «Зибель».

Это крупные металлические суда, отлично вооруженные пушками и крупнокалиберными пулеметами, очень удобные для переброски десантов, а в случае необходимости и для морского боя на малых глубинах. Они шли контркурсом и вели огонь изо всех своих артиллерийских установок. Бронекатер отвечал огнем из пушек и пулеметов. Карпенюк решил не менять курса. Немцам удалось накрыть кормовую пушку, Карпенюк отбивался носовым орудием. Семь человек из орудийной прислуги оказались ранеными. Огонь усилился. Был ранен в голову и сам гвардии старший лейтенант, а вслед за ним упал и рулевой, его заменил сигнальщик — катер продолжал идти прежним курсом: его повел находившийся на мостике командир отряда гвардии старший лейтенант Василий Бирюк. Ему удалось войти в мертвое пространство между баржами. В горячке боя немцы обстреляли друг друга, а катер Карпенюка тем временем вышел из зоны огня.

Тогда же трагически погиб очень талантливый и смелый офицер — командир пятого дивизиона «морских охотников» Михаил Бондаренко. Ночью при возвращении от крымского берега его атаковали торпедные катера противника. От боя он не уклонился, действовал решительно, но в момент, когда казалось, что катер, несмотря

на численное превосходство противника, сумеет выйти из боя с честью, на нем возник пожар.

«Морской охотник» при возникновении пожара быстро становится факелом — на нем много горючих материалов, да и сам он весь из дерева и моторы его работают на авиационном бензине. Попытки погасить огонь ни к чему не привели, и находившийся на мостике Михаил Бондаренко погиб вместе с катером в огне.

Посмертно ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Тяжелые и кровопролитные бои шли на проливе. Военные редакторы не любят этих слов и с энергией, достойной лучшего применения, вымарывают их. Ах, если б войны были бескровными — неужели мы, писатели, стали бы писать о том, как льется кровь?

Общеизвестно, что кровь — вымпел разбоя, и лишь в освободительных войнах она льется свято. А разве война с германским фашизмом не была для каждого из нас самым святым делом? Почему же мы должны испытывать смущение при слове «кровь»?

Те, кто был в дни боев за Крым на узкой дороге Керченского пролива, кто видел, как люди негнувшимися, окоченевшими пальцами разматывали тросы, накрутившиеся на корабельные винты, как, обдаваемые брызгами, под напористым северо-восточным ветром, стояли сутками вахты на сигнальном мостике, как по неделям, почти без сна, не снимая одежды, без горячей пищи, под огнем противника, ходили от таманского берега в районы Эльтигена, Еникале и Глейки,— знают цену крови.

Штормовой ветер, который местные рыбаки называют «тримунтаном», сорвал назначенный на 27 октября десант. Пока он по-разбойничьи гулял по проливу, немецкие войска, напуганные выходом войск 4-го Украинского фронта к Перекопу, не только успели вернуться в Керчь, из которой они бежали еще 26 октября, но и основательно укрепили свои старые позиции — боязнь оказаться в мешке придала им небывалую энергию.

Недалек путь в Крым — Керченский пролив в самой широкой части не превышает двадцати трех миль, а там, где ходят корабли, всего лишь восемь, от силы двенадцать — птица за четверть часа при встречном ветре перелетит. Но как же труден этот путь для армии и флота:

лица красны от ветров и соленых брызг, глаза воспалены, голоса хриплы.

У причалов, где идет погрузка и отстаиваются вернувшиеся из похода катера, рвутся снаряды, и, пожалуй, только одному провидению известно, почему они пролетают мимо, а ведь тут чего только нет: пушки, снаряды, хлеб, бензин, медикаменты. Да и людей хватает! И ничто тут не убавляется — ночами из Темрюка и других мест доставляются все новые и новые запасы.

Катера стараются проскочить через пролив в темное время по вечерней зо́ре либо ночью. Но и ночной порой немцы не оставляют переправу в покое: по фарватеру тянутся лучи прожекторов, они настойчиво и терпеливо высвечивают все пространство от берега до берега. В их мертвом и ослепляющем свете то и дело вздымаются всплески — артиллеристы противника тоже не спят.

Пять месяцев — ноябрь — декабрь 1943 года и январь — февраль — март и девять дней апреля 1944 года — шла на проливе кровавая борьба.

Она особенно была тяжела зимой: то дует пронизывающий ветер, то сыплется снег, то льют обложные дожди. На дорогах клейкая и настолько прилипчивая грязь, что порой казалось, не смолу ли разлил тут господь бог. Шоферы, показывая на печенку, говорили: «Эти дороги у нас вот где сидят!»

Доставалось и снабженцам: пресную воду возили в автоцистернах из Темрюка, а дрова брали еще дальше.

Сырость... Холод. На косе Чушка, где стояли батареи, сунь лопату на полштыка, и уже ползет соленая, мутная жижица. Домов нет, укрыться негде и строить ничего нельзя, раз грунтовые воды рядом. Побыть часок-другой в тесной, сложенной из сырого дерна землянке, возле веселого камелька, на сухих досках — все равно что посидеть на царевом престоле.

Солдаты заросли коростой, на ногах и руках простудные болячки — того гляди, какая-нибудь неотвязная эпидемия вспыхнет. К счастью, медицинская и санитарная служба на должной высоте.

Люди готовы были на все, пройти любые испытания, лишь бы закрепиться на той стороне, а затем выйти на

просторы крымской земли. Моряки и солдаты пехоты, усатые старослужащие и первогодки с пушком на верхней губе мечтательно говорили о Севастополе, словно там и был спрятан конец войны. Ради этой мечты и сносили все: и потрескавшуюся кожу на руках, и размокавшие во время зимних ливней и густых снегопадов овчинные полушубки. Подсушиться негде, и полушубки «текли» с плеч, пока не налетали свирепые норд-осты, тогда овчина леденела и становилась колом.

Не забыть вовек тех дней солдатам и матросам Великой Отечественной войны!

В ноябре 1943 года ко мне попал дневник немецкого ефрейтора Макса Маака — радиста керченского гарнизона. Вот что я прочел в его дневнике: «Если русские ворвутся в Крым, мы погибли. У нас только один путь отхода — морем через Севастополь на Констанцу».

Макс Маак был прав, когда записывал это в свой «тагебух».

Кстати, погибель сию предугадал еще в июне 1942 года генерал Петров — командующий сухопутными войсками в период обороны Севастополя. Я подчеркиваю — в июне, в самое тяжелое для Севастополя время!

Генерал теперь лишь издали (он на другом фронте) радуется тому, как мы, по выражению нашего шофера, «чешем» по Крыму. Смело и довольно быстро чешем, Иван Ефимович, после тяжелейшей зимы, которую вы, герой обороны Одессы, Севастополя и Кавказа, провели вместе с нами на Тамани.

Пять месяцев сжималась в кольцо Керчь, и почти все время любимый солдатами и моряками генерал Иван Ефимович Петров не слезал с «виллиса»: его видели то в Тамани, то в станице Ахтанизовской, то в Кучугурах, то в Сенной, то на косе Чушка́, то в районе мыса Ахиллеон.

Генерал — и в Одессе, и в Севастополе, а затем и на Кавказе, да и здесь, на Таманском полуострове,— по-прежнему любил подолгу бывать среди солдат и моряков — они для него были той силой, которую Антей искал у земли.

...В длительной кампании на Керченском проливе погибло много друзей. И теперь уж не разделить с нами радости и горделивого воинского счастья (мы возвращаем-

ся в Севастополь!) ни Петру Чеслеру, ни Николаю Сипягину, ни Петру Жукову, ни Бондаренко, ни Дмитрию Глухову... Да разве в силах я перечислить всех павших!

Их хоронили молча в сырой земле, испытывая неловкость, что остались живыми. Утешение было лишь в том, что раз не суждено дойти до Севастополя нашим друзьям — дойдем мы! А не дойдем мы — другие дойдут. Разве не в этом клялись мы, покидая Севастополь в 1942 году!

Вот что означало молчание наше у сырых могил, в которые опускали тела товарищей.

Я хорошо знал Петра Жукова, Петра Чеслера, Дмитрия Глухова и Михаила Бондаренко: плавал с ними, писал об их подвигах. У Петра Жукова долго жил. Дивизион мотоботов, которым командовал капитан-лейтенант Жуков, моряки уважительно называли флотом Малой земли, а командира — командующим и адмиралом этого флота.

Несколько железных, довольно примитивных мотоботов — вот и весь флот. Но он крепко связывал Малую землю с Большой.

Базировавшийся в Геленджикской бухте на Толстом мысу флот Малой земли на своих тихоходных судах доставлял десантникам, к всегда обстреливаемой пристани, различные грузы: от тяжелых пушек до танков. Делалось просто и смело: спаривали два мотобота, стелили на них платформу из толстого леса, а потом закатывали на этот добротный настил танк или пушку, и старшины мотоботов, отважные магелланы флота Малой земли, не имевшие ценза судоводителей, шли под плотным огнем противника морем и приставали к Суджукской косе — главному «порту» Малой земли.

Зыбкая пристань — притопленная канонерская лодка,— круглые сутки она то под беглым артиллерийским огнем, то под ударами бомбардировочной авиации противника.

Казалось, что тут действовать могут лишь «боги ближнего боя» — морские пехотинцы. Но здесь, как поется в одной из песен семидесятых годов, действовали и «рядовые прометеи». Более того, среди них часто можно было видеть нескладного с виду юношу. В его руках и всего-то оружия — карандаш да блокнот для зарисовок. Иногда

карманы его замызганного рабочего кителя отдувались так, будто в них полно гранат-лимонок. Это пластилин оттягивал их. Нередко юноша лепил прямо с натуры, непрерывно забегая рукой в карман за материалом.

Даже закаленных в боях под Одессой, Севастополем и в горах Кавказа морских пехотинцев брала оторопь, когда они замечали студента, невозмутимо и увлеченно занимавшегося своим делом под артиллерийским налетом.

Пройдут годы, сотрутся многие следы войны — зарастут травой окопы, будут выплаканы слезы, затянутся раны, потучнеют и потеряют талии юноши, легко взбегавшие с автоматами и гранатами на высотки; вырастут дети, зачатые уже после войны, но сохранятся в памяти события тех лет. Сохранится и все, что делалось карандашом, кистью, пером и резцом.

Зрители столичных художественных выставок подолгу будут задерживаться возле выразительных, полных правды жизни и изящного мастерства скульптур члена-корреспондента Академии художеств СССР народного художника Владимира Цигаля, не представляя себе того, что ныне известный скульптор и тот молодой человек, который настырно лез во все наиопаснейшие места на Малой земле,— одно и то же лицо.

Студент последнего курса Московского художественного института имени Сурикова, освобожденный от военной службы по брони, вместо того чтобы корпеть над дипломом, «ударился в бега» — явился в 1942 году добровольцем на Черноморский флот. Здесь судьба его определилась на редкость счастливо: он «приписался» к морской пехоте — ходил с десантом в Озерейку, затем с первым эшелоном 255-й бригады морской пехоты высадился на Мысхако. Десант на Мысхако, штурм Новороссийска и, наконец, прыжок с косы Чушка, через Керченский пролив, на крымскую землю! И тут в развалинах Генуэзской крепости, на северной стороне Керчи, Цигаль спешит делать наброски бойцов на позициях либо в момент атаки.

Его архивы — кунсткамера героев. На войне скульптор был с ними, а теперь они с ним. Причем все время — и когда ваял молодого Ленина (скульптура, ныне ставшая хрестоматийной), и в дни поисков и раздумий над памятниками генералу Карбышеву и татарскому поэту-герою Мусе Джалилю.

Искусство, подобно ливневому дождю, рождается в громе больших событий.

Чем быстрее мы отдаляемся от событий, которыми жили весь капризный ноябрь и ледяной декабрь 1943 года, а затем три с лишним месяца сорок четвертого, тем отчетливее видится прошлое, к сердцу подкатывается то радость, то боль: радость оттого, что идем вперед. А боль возникает в сердце при воспоминаниях о погибших.

СМЕРТЬ ГЕРОЯ

Смерть героев подобна закату солнца.

Карл Маркс

Весенний Крым прекрасен. Прекрасен настолько, что при описании его на кончик пера вереницей лезут расфранченные слова, и я невольно начинаю небо сравнивать с лазурной эмалью, апрельскую зелень, изузоренную первыми луговыми цветами, с тонкотканными рисунками хорасанских ковров.

Но когда передо мною возникают останки разрушенных гитлеровцами домов, обгорелые кустарники, сожженные машины, услужливая память снова начинает листать страницы свои. Опять я вижу Керченский пролив и самое крупное на его восточном берегу поселение Тамань, городок с каменной церковью и памятником сечевому атаману и поэту Антону Головатому, с людской толкотней у причалов и на улицах. Кого только и чего только тут нет! Моряки, солдаты, снабженцы, эскулапы, братья и сестры милосердия, пушки и штабеля со снарядами; носилки с ранеными и убитыми.

Люди толпятся и около хат, в которых квартируют штабы разных рангов, базы, разные мастерские и госпитали. Около госпиталей пахнет йодом. На веревках сушатся медицинские халаты, белые ленты бинтов.

У сенец госпитальных кокетничают с офицерами выбежавшие на минутку красивые сестренки в своих с шиком носимых белых колпаках.

У одной из хат собрались моряки. Тут только что скончался капитан III ранга Дмитрий Андреевич Глу-

хов, тяжело раненный в морском бою на проливе. Моряки пришли проститься.

Глухов лежит в свежеоструганном гробу. Доски не совсем аккуратно (по-видимому, гроб делался наспех) обтянуты красной материей, взятой, вероятно, из набора флагов расцвечивания. Крупные руки сплетены в непривычной для этого человека позе покоя. На лице выражение горестного сожаления, будто он собрался, но не успел сказать что-то очень важное.

Есть люди, для которых земные радости, такие, как сытная еда, комфорт, семейный уют, слава, награды, продвижение по службе, не играют главной роли в жизни. Для них первостепенно дело. Вот таким и был капитан III ранга Дмитрий Глухов. Как было уже сказано, с первого дня войны он на опасной службе: очищал севастопольские фарватеры от мин; ходил в длительные дозоры, выслеживая подводные лодки противника; проводил суда в гавань и выводил из порта в море; нес конвойную службу на коммуникациях во время обороны Одессы и Севастополя.

Однако не все узнают о его беспримерном походе в горящий, оставленный нашими войсками Севастополь.

Он вышел из Новороссийска 2 июля 1942 года на головном катере, а за ним следовало шесть вымпелов.

Хотя суденышки эти с виду и невелики, но пройти скрытно им не удалось. Примерно в ста милях от Новороссийска отряд был обаружен самолетами противника, и не успели самолеты-разведчики скрыться с горизонта, как появились вызванные ими по радио бомбардировщики.

В первой волне было девять самолетов. Их вели опытные летчики из воздушной армии фон Рихтгофена.

Атака за атакой — бой длился до темноты. На катере в живых остались всего лишь трое: механик, краснофлотец-минер и сам Глухов.

Краснофлотец стоял на руле, механик у моторов, а Глухов у пулеметов.

Во время бомбежек на палубе возник пожар, и огонь подкрался к кранцам со снарядами. Их нужно было немедленно выбросить. Глухов оставил пулеметы и поспе-

шил к огню. Кранцы были принайтовлены проволокой, да так крепко, что, сколько Дмитрий Андреевич ни старался развязать их, только руки обжег. К счастью, недалеко был топор.

В темноте к борту подошел один из катеров дивизиона и передал принятую из Новороссийска радиограмму: катерам разрешалось прекратить поход к Севастополю и вернуться на базу.

Глухов перебинтовывал обожженные ладони. Он нахмурился, прочитав радиограмму, и мрачно сказал: «Передайте Новороссийску — поход будем продолжать, а что касается личного состава — в Севастополе найдем и мотористов и комендоров, а матросов там на всю эскадру хватит!»

Севастополь горел — пламя выбрасывалось высоко. А над ним, застилая звездное небо, клубился черный дым.

Немцы заметили катера и обстреляли их. Глухов решил посмотреть, что делается в Стрелецкой бухте, в бывшей базе сторожевых катеров, где он знал каждый дюйм. Но и тут его встретили артиллерийским огнем — значит, бухта в руках противника. Глухов развернулся и пошел в Камышевую бухту. И она оказалась в руках немцев. Но в Казачьей, последней бухте Гераклейского полуострова, немцев не было, зато столько скопилось людей! Раненые, женщины, дети, солдаты, моряки!

Глухов подошел к берегу. Матросы не успели спустить сходню, ка́к хлынула толпа — катер пошел на дно. К счастью, тут было мелко и он не потонул, а лишь сел на грунт. Но заглохли моторы, и сколько механик ни старался, они не заводились.

Глухов категорически потребовал, чтобы все сошли с корабля.

С неохотой покидали катер измученные ожиданием, непрерывными обстрелами и бомбежками люди. Глухову было жалко их, но он понимал, что в жалости таится смертельная опасность: он оставил на катере лишь тех, кто ему нужен был, чтобы откачать воду и запустить моторы. Среди людей, находившихся в бухте, нашлись и мотористы, и сигнальщики, и рулевые, и комендоры, и минеры.

Вскоре катер поднялся, из выхлопных труб появился

дымок, и загудели моторы. Глухов подошел к берегу, взял около семидесяти человек и покинул бухту.

Авиация противника обнаружила отряд Глухова с восходом солнца и преследовала до Керченского пролива. Почти целиком была выбита артиллерийская прислуга и пулеметчики. Осколками бомб разорвало мякоть бедра и повредило кость лопатки и Глухову. От потери крови он сильно ослаб. Раненый механик обмотал его жгутом, сделанным из простыни, и Дмитрий Андреевич снова встал на мостик, а механику приказал обвязаться концом, чтобы при пикировании самолетов прыгать за борт и нырять. Сам же он в это время стопорил ход и накрывался брезентом.

После очередного налета механик долго не всплывал. Пришлось Глухову взяться обожженными руками за шкентель и тащить механика из воды.

Как дошли до Новороссийска, сколько их ни спрашивали, ответить не могли.

Из Новороссийска Глухова после обработки ран эвакуировали в Невинномысск. Тут состояние его ухудшилось, и пришлось прибегнуть к переливанию крови. Это поставило на ноги.

Он уже стал лучше себя чувствовать, но на Кубань прорвались немцы, началась эвакуация Ставрополья. Авиация противника бомбила города и станции, поджигала поля.

Транспорта не хватало. Глухов вместе с ходячими ранеными пошел пешком до станции.

Обмундирование раненым не сумели выдать, и они в путь отправились в халатах и тапочках.

До станции было всего-то ничего, а шли чуть ли не двое суток. Шли не одни, а в потоке беженцев с Кубани, Ставрополья и Ростовской области.

Шли в пыли и гомоне.

Несколько раз над ними, снижаясь чуть ли не до самой земли, проносились самолеты.

Кое-как дошли, сели в рабочий поезд — на открытые площадки. Ехали несколько часов, пока не догнали санитарный состав.

Пересели в классные вагоны, устроились хорошо,

а ехать долго не пришлось — авиация противника разбила впереди железнодорожное полотно...

...До Тбилиси добирались где пешком, где на поезде. И здесь двигались по дорогам в одном потоке с беженцами, а их было несметное количество, и большинство женщин с детьми.

Шли босые — госпитальные тапочки давно уже разбились вдрызг.

Шли с заскорузлыми повязками, на руках несли малых ребят, которые прижимались к ним, как к отцам родным, и это отогревало душу и полнило быстро убывающие силы.

Питались тем, что подавали жители лежавших на пути станиц и аулов. А те приносили лепешки, огурцы, печеную картошку, пшенку.

Когда добрались до Тбилиси, Глухов попал в Центральный военно-морской госпиталь. Соседи по палате расспрашивали, как удалось ему добраться от Невинномысской в больничном халате, да еще босиком. Он неопределенно улыбался и пожимал плечами, думая о том мальчонке, которого нес столько дней на своей спине, сделав люльку из старой шали. Вздыхал, думая о своих пострелятах...

Морской госпиталь в Тбилиси был отлично оборудован, и врачи знали свое дело не хуже, чем он свое: лечение шло хорошо, но медленно. Глухов изнывал от тоски по флоту, по товарищам и по семье: ведь с тех пор, когда он вернулся из горящего Севастополя, прошло черт знает сколько времени. Чего тут лежать — раны на нем заживают как на собаке! К тому же на Кавказском побережье находилась его семья, эвакуированная из Севастополя,— хоть бы одним глазом взглянуть на своих! А там и в дивизион. Пора! Немцы уже рвутся к Туапсе и подходят к кавказским перевалам.

Он уговорил госпитальное начальство отпустить его и даже написал расписку, что никаких претензий к госпиталю иметь не будет, что чувствует себя здоровым и дальнейшее пребывание в госпитале в то время, когда немцы пытаются захватить Кавказ, он считает для себя невозможным.

...Не сразу Глухов приступил к командованию дивизионом, но рядом с товарищами, рядом с кораблями словно живой водой орошался — поправлялся быстро: рана на бедре заросла диким мясом — рубец образовался прочный, как шов электросварки. Затягивалась и рана на лопатке.

Наступило лето 1943 года. Москва артиллерийскими салютами приветствовала воинов, с боями шагавших по лесным дорогам Белоруссии и по степям Украины. Красная Армия освобождала город за городом. Уже кони генерала Кириченко чуяли прохладу днепровской воды. Уже в дальномер был виден Киев и на подступах к Бахмачу вели бои войска Рокоссовского. Войска Малиновского и Толбухина штурмовали Лозовую, Чаплино, Волноваху и Мариуполь. Азовцы высадились на западный берег. А здесь, на крайней точке левого фланга, линия фронта не сдвинулась и на сантиметр: немцы все еще сидели в Новороссийске. Со стороны суши их защищали горы, с моря подковообразная бухта.

Приближалась осень, а немцы по-прежнему занимали Новороссийск. Наконец Ставка решила — взять город!

Войска Северо-Кавказского фронта должны были наступать со стороны станицы Крымской, войска Приморской группы — с Малой земли и Новороссийского шоссе.

Морякам поручалось нанести удар в лоб: прорваться в Цемесскую бухту, уничтожить сложную полосу береговых укреплений и захватить важнейшие опорные пункты в городе.

Девятого сентября к порту потянулась морская пехота. Моряки шли по зеленым улицам Геленджика в маскировочных костюмах и бескозырках. Из полурасстегнутых курток виднелись бело-синие полосы тельняшек. У многих автоматы через плечо, гранаты на поясах. Люди тащили штормтрапы, бревна, длинноствольные противотанковые ружья, катили пулеметы и противотанковые пушки.

Посадка на суда производилась в темноте. Один за другим катера отваливали от причала и тихим ходом покидали бухту.

В ночь на десятое сентября причалы опустели. Кругом пала тишина.

К двум часам тридцати минутам ночи все суда подтянулись к Кабардинке и тут притаились.

И когда командир высадки контр-адмирал Георгий Никитич Холостяков со своего КП дал сигнал начать штурм — земля вдруг вздрогнула, закачалась, небо осветилось и заиграло разноцветными огнями трассирующих пуль.

Ураганный огонь морских батарей Матушенко, Солуянова, Зубкова и Давиденко, огонь армейской артиллерии, «катюш» и «иванов грозных» был так могуч, что порой казалось — там, откуда велся он, началось извержение вулкана невиданной мощности. Забегая вперед, хочется сказать, что во время обеспечения высадки было выпущено 11 717 снарядов и мин!

Десантники и моряки зачарованно слушали гул артиллерийского урагана, и когда он начал стихать и в небе над бухтой повисли огни сигнальных ракет 150 боевых кораблей и различных судов, предназначенных, как говорят специалисты высадок, для десантирования, разделенные на три отряда, которые возглавили опытнейшие командиры: капитан-лейтенант П. И. Державин, капитан-лейтенант Д. А. Глухов и капитан III ранга Н. Ф. Масалкин, с нетерпением ждали команды, но еще не все готово было: старший лейтенант А. А. Куракин и лейтенант И. И. Крылов в эти напряженные минуты уничтожали металлические сети, которыми был закрыт свободный вход в Новороссийскую гавань. После них катера с приготовленными к выпуску торпедами должны пробить бреши в западном и восточном молах порта и нанести сокрушающий удар торпедами по укрепленным огневым точкам врага, оборудованным и хорошо замаскированным в набережной части города. Командовал торпедными катерами капитан II ранга В. Т. Проценко. Удар с воздуха должны были нанести самолеты флота и армии, действиями которых предстояло командовать генерал-лейтенанту авиации, командующему ВВС Черноморского флота В. В. Ермаченкову.

Но вот наконец после томительного ожидания появился световой сигнал: «Путь свободен!» — началось...

В эту бурную ночь командиру 2-го отряда кораблей Д. А. Глухову пришлось не раз принимать неожиданные и смелые решения. Когда катер, на котором он ворвался в бухту, подходил к причалу высадки, обнаружилась в его корпусе... торпеда... Каким образом эта «гостья» попала и застряла в днище, никто не заметил в горячке штурма.

Выслушав донесение, Глухов приказал продолжать поход. После высадки десанта он полным ходом пошел к воротам. Здесь приказал механику запустить моторы «враздрай».

Катер затрясся, торпеда... выпала и пошла на дно.

Шестнадцатого сентября Москва впервые салютовала Южному флангу. Дмитрий Андреевич Глухов за боевые отличия, находчивость и героизм при штурме Новороссийска был произведен в капитаны III ранга и награжден орденом Ленина и орденом Суворова III степени.

После Новороссийска Дмитрия Глухова с его катерами видели в Анапе, в Соленом озере и, наконец, в Кроткове перед форсированием Керченского пролива.

Здесь, на проливе, его и настигла смерть...

...Три часа Дмитрий Глухов бессменно находился на мостике сторожевого катера «СК-0102». Он возглавлял боевое охранение каравана судов, перевозивших снаряды и продукты гарнизону Эльтигена.

На проливе всюду шныряли прожекторные лучи, над головой повисали светящиеся авиабомбы, взвивались ракеты...

Караван шел сторожко — Глухову не хотелось ввязываться в бой. Однако пройти незамеченными не удалось — торпедные катера и быстроходные десантные баржи типа «Зибель», сильно вооруженные артиллерией и крупнокалиберными пулеметами, выследили и напали на него.

Глухов приказал каравану идти самостоятельно, а сам завязал бой с катерами и баржами противника.

Немцы вели очень сильный огонь. Командир катера просил Глухова поберечься, сойти в салон и отдохнуть, но тот отвечал односложно: «Ничего»,— и продолжал стоять на мостике.

Опасаясь за судьбу каравана, Глухов пять раз бросал катер в атаку.

Каравану оставалось до крымского берега пройти каких-нибудь триста метров. В это время немцы вдруг разгадали маневр Глухова, оттянувшего на себя весь огонь, и ринулись наперерез. У Глухова не было иного выхода, и он пошел в лобовую атаку.

— Умрем, но приказ выполним: снаряды и продовольствие должны быть доставлены в Эльтиген! — сказал он.

Во время этого боя, боя, который дал возможность транспортным судам достичь крымского берега, Глухов был тяжело ранен осколками разорвавшегося снаряда.

Второй снаряд вывел из строя катер: отказали моторы, заклинился руль и замолчали пушки и пулеметы. Палуба была залита кровью. Ослабевший от раны Глухов упал. Когда его подняли, он огляделся и, заметив у крымского берега караван со снарядами и продуктами, сказал:

— Задача выполнена, товарищи! — и тут же потерял сознание.

Немцы решили захватить «СК-0102». Но это им не удалось — от Тамани уже мчалась шхуна. Ее вел ученик Глухова старший лейтенант Остренко. Под носом у противника он взял катер Глухова на буксир и утащил в Тамань.

Двое суток без сознания. У дверей госпиталя — матросы, старшины, офицеры, но врачи неумолимы, никого не пускали к Глухову.

Незадолго до смерти Глухов открыл глаза, медленно обвел тяжелым взглядом палату, несколько секунд не отрывал взор от окна, выходившего на Керченский пролив: оттуда доносились звуки артиллерийской стрельбы, по-видимому очень сильной и довольно близкой, стекла в окнах громко дребезжали.

Вскоре он поманил сестру. Она подошла. Глухов попытался что-то сказать, но силы уже покидали его. С большим усилием он облизал пылавшие жаром губы. Сестра догадалась — больной пить просит.

Налила кружку воды, по выражению глаз Глухова поняла, что его поднять надо. Обхватила одной рукой, чуть приподняла и только успела поднести кружку ко рту, как лицо его искривилось, зубы застучали по краю

кружки, он бессильно рухнул на подушку и тут же скончался...

Посмертно он стал Героем Советского Союза — награда, вполне заслуженная им еще при жизни...

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

Стоя у холмика, выросшего над телом Дмитрия Андреевича Глухова, я невольно вспомнил о моих фронтовых товарищах: Петре Капице и Анатолии Луначарском. Оба они хорошо знали того, кто теперь лежал в могиле, долго жили в его дивизионе. Капица писал о нем, а Луначарский не успел — погиб. Погиб из-за щепетильной литераторской добросовестности и неутоленной любознательности.

Человек редкой скромности и нравственной чистоты, сын соратника Ленина, Анатолий никогда и ни в чем не показывал свою принадлежность к среде революционных вождей.

Как и отец, он в совершенстве владел несколькими языками и был широкообразованным человеком. Очень любил литературу.

Анатолий хотел написать о «морских охотниках» книгу. Долго собирал материалы, но ему казалось, что он еще недостаточно богат ими. Это и заставило его еще раз сходить в занятый противником Новороссийск.

После первого броска— во время высадки десанта — он вернулся из боевой операции восторженным, как толстовский Петя Ростов, и рассказывал о десанте с тем упоением, которое рождается лишь у тех, кто впервые увидел в бою не только опасности, но и самое главное — рождение победы!

Слушая, я понимал, какие бури бушевали в его душе, хотя говорил он тихо и при этом уж очень стеснительно улыбался и, не моргая, смотрел на меня теплыми, умными глазами.

Без этой улыбки, без этого чистого взгляда, наверное, многое из его рассказов не оставило бы впечатления.

Однако вскоре я заметил, что Анатолий совсем без сил от пережитого и бессонной ночи — под глазами пучочками собрались тонкие морщины, а глаза мутнели и закрывались. Он хотел спать!

Я увел его с причала в город. В Геленджике, на Толстом мысу, в просторном красного кирпича доме поме-

щалась наша редакция со всеми своими службами и казармой. В маленькой комнатке стояли три железные койки, прикрытые серыми, казенного образца, одеялами. Одна из них была моей. Я заставил его лечь. Он хотя и подчинился, но то и дело вскакивал — ему надо было в порт, он условился с командиром катера сходить еще раз в Новороссийск. Доказывал мне, что раз дал слово, надо держать. Я успокаивал его, я знал, ни один корабль не выйдет из порта до наступления темноты — он успеет не только отдохнуть, но еще и сесть за стол и записать все пережитое в десанте. Я даже сказал ему, что впечатления черствеют, если их сразу не записать. Он улыбнулся, но ничего не ответил на это, а лишь попросил разбудить его через два часа. Однако вместо того чтобы заснуть, он вдруг приподнялся, оперся на локоть и начал говорить, будто его, сына соратника Ленина, специально оберегают от опасностей войны.

Я сказал, что это — чушь, никто из нас, журналистов и писателей, находящихся на действующем флоте, никогда не чувствовали этого и слов таких не слышали.

Я знал Анатолия по Москве. Его жизнь в мирных условиях ничем не отличалась от жизни детей университетских преподавателей или инженеров. Он состоял на учете в комсомольской ячейке при Союзе писателей СССР и, как любой другой комсомолец, выполнял общественные поручения. Коммунистом он стал на войне. Принят по боевой характеристике, в походе, партийной организацией канонерской лодки «Красная Грузия».

На корабле его любили за готовность к любым опасностям, за товарищество и бесстрашие.

В самом начале войны он был приписан к бригаде траления и в дни битвы за фарватер в 1941 году ходил на катерах на поиски и уничтожение мин на Стрелецком рейде.

Бывал с катерами Глухова и в дозорах.

Мне никогда не забыть, как он в сентябре сорок первого года увлек меня, раба божьего, в Стрелецкую бухту на базу катеров-«охотников» и познакомил с Дмитрием Андреевичем Глуховым.

После оставления нашими войсками Севастополя Анатолия можно было видеть среди морских пехотинцев 83-й бригады, стоявшей насмерть под Туапсе. Это был конец 1942 года, немцы захватили Новороссийск и, остановленные в районе цементных заводов, двинулись

на Кавказ по северной его части через Кубань на Терек. Но попыток прорваться на Черноморское побережье Кавказа не оставляли все время, выискивая слабые места. Одним из таких мест и был Туапсе...

Я вернулся в редакцию, по условию, через два часа. Дверь в нашу комнатку открывал осторожно — не хотел будить Анатолия резким шумом... Увы! Я опоздал — койка была пуста...

Последними его видели катерники. К сожалению, рассказ их был предельно краток: катер с боем прорвался в Цемесскую бухту, подошел к месту высадки и, прикрываясь артиллерийским огнем, благополучно высадил пополнение войскам, штурмовавшим Новороссийск.

Матросы уже взялись за сходню, вдруг на ней появился Анатолий — перед тем он нервно расхаживал по палубе. «До свидания, товарищи!» — крикнул он и тут же, выхватив пистолет, кинулся догонять десантников...

Корреспонденты не обязаны ходить в атаки, и на войне они должны пользоваться своим традиционным оружием — пером и фотоаппаратом. Но, как говорят французы, «а ля гер ком а ля гер», то есть «на войне как на войне», и корреспонденты гибли не реже командиров батальонов — они шли в огонь, подчиняясь долгу и чести.

...Поворот дороги. Еще поворот, и к полотну шоссе подступают леса. Ущелье становится уже. Еще один поворот — и видится море. Море! С ним кончаются все воспоминания и начинается ожидание близости с ним же.

Скоро Алушта. Скоро море откроется совсем, и, сколько ни будешь вглядываться в горизонт, везде и бесконечно будет оно, то синее, то черное.

ИДЕТ МОГУЧАЯ АРМИЯ

Шумная весенняя Ялта, наводненная моряками и солдатами. И шоссе забито — войска и их «тылы» все еще подтягиваются к Севастополю. Близятся решающие дни. На сердце празднично, несмотря на то что маленькая Ялта сильно пострадала от войны: много развалин, и все на видных местах. Узенькие, сбегающие с гор, словно ручьи, улочки перегорожены завалами и опутаны колючей проволокой. В порту, в стене мола,— две

дыры, через них хорошо видно море. Большой обвал на набережной, где некогда прогуливалась чеховская дама с собачкой.

Однако, как я заметил, идущих к Севастополю солдат это не трогает. А вот горы и поросшие крымской сосной склоны, море, воздух, ослепительное солнце, цветущие глицинии вызывают восторги.

Да и как не восторгаться? По вечерам с моря тянет свежий, бодрящий, йодисто-соленый «морячок». А с гор — прогретый в степях Таврии полынник. Запах глициний кружит голову и шепчет: «Эх, ребята, скорей бы война кончилась! Погуляли б мы в этом райском месте!»

Однако город сильно побит. И это напоминает о том, что гулять еще рано.

Руинами занимаются (да и то бегло) корреспонденты, и основательно — «Комиссии по расследованию злодеяний гитлеровских захватчиков», и хозяйственники, которым придется заниматься восстановлением. Главтабак уже разворачивает деятельность на Ялтинской табачной фабрике, а в порту поселились представители Черноморского пароходства. Торговый флот понес большие потери во время оккупации немцами Крыма: разбито много причалов, сожжены склады, изуродованы подъездные пути, растащено шкиперское имущество и потоплены лучшие комфортабельные суда: «Крым», «Грузия», «Армения» и «Абхазия».

А сколько грузовых транспортов лежит на дне! Сколько смелых моряков погибло на своих постах, чапая на тихоходных, неуклюжих судах с Кавказа в Одессу и Крым!

Тяжко и смертельно жутко было ходить среди мин и под бомбами — пушчонки, стоявшие на торговых судах, «моральный фактор», а не оружие.

И все же моряки транспортного флота безотказно перевозили раненых, оружие, продовольствие и войска. Вывозили из портов, оставляемых нашими войсками, зерно, станки, рабочих и население... Э! Да разве можно рассказать о великой доблести моряков торгового флота! Подвиги многих из них не вознаграждены до сих пор.

В Ялте мне показали письмо, найденное в сумке убитого немецкого сапера Руди Рошеля. Вот что писал

захватчик жене: «Здесь такие великолепные виллы! Я уже присмотрел себе один участок,— ах, если бы он мне достался! Впрочем, я уже подавал заявление полковнику, и он мне обещал его...»

Руди Рошель прав — Ялта восхитительный уголок Крыма. Но морякам не до красоты: пока немцы в Севастополе. Дело моряков — блокада с моря. Задача — не выпустить из Севастополя соотечественников Руди Рошеля.

Моряки давно ждали этого момента. Слишком долго они были «извозчиками» армии. Теперь настало время погулять на коммуникациях.

Командир 3-й румынской дивизии генерал Леонард Мечульский в своем приказе предупреждал: «С потерей Крыма мы превратимся в пух и прах!» Записывая эти слова в свой блокнот, я думал о том, что генерал не хотел быть пророком — его желанием было предупредить солдат и офицеров, какая судьба ждет их, если они слишком будут доверяться страху.

Но предупреждение генерала Мечульского было слишком поздним; в апреле 1944 года для загнанных за второй обвод севастопольских укреплений румын приказы командиров утеряли уже силу: они ясно видели — их союзники-гитлеровцы в этой великой игре вытащили не ту карту. Война проигрывалась. Одна надежда — эвакуация морем. Да и немцам снились быстроходные корабли, благополучные переходы и спасительная высадка в Констанце.

Но когда в Ялту начали стягиваться катера капитана II ранга Дьяченко, надежда на спасение морем стала не более как лотерейным билетом.

Каждый день по утрам Ялта содрогается от выстрелов. Стреляют в порту, а звук раскатами грома перекатывается по нагорью до самых вершин Ай-Петри. Это салют катерникам. Они сомкнули наконец «клещи» морской блокады у Севастополя и теперь каждодневно возвращаются в порт лихим аллюром, разбрасывая длинные пенистые усы.

...В памяти ярко живут картины ялтинской жизни тех времен. Утро едва брезжит. По морю ползет легкая дымка. Откуда-то издалека слышен бурный рокот моторов. Ялтинские рыбаки, местные жители и все, кого заки-

нула сюда война, с шумным восхищением смотрят на море. Приглядываюсь и я, пытаясь понять, что взволновало людей, теснящихся на набережной. Замечаю летящие во весь дух катера. Кажется, что они вот-вот выскочат из воды. Замечательно идут! Остановившиеся на роздых и перекур солдаты из Отдельной Приморской армии, подтягивающейся к Севастополю, глядят на катера как на редчайшую диковинку.

— Красиво идут, черти!

— А что им, морякам-то? Море — ни шаша...

— Ни шаша! Упаси бог нашему брату на море оказаться. В сорок втором на корабле, «Ташкентом» назывался, ехали мы в Севастополь. На подкрепление нас посылали...

— Ну?

— К самому городу уж подходили, как начал фриц долбать. Мы туда-сюда, а кругом одно железо — голову негде спрятать. Не-ет братцы-товарищи, земля солдату — мать, а море — мачеха!

— Одним словом: утке — речка, а курице — насест!

— А идут, черти, красиво!

— У них, у моряков-то, свой фасон...

Пока шел этот разговор, катера влетели в порт. Ялтинский порт крошечный. Но у стенок его — не лайнеры и не стальные громады Черноморской эскадры, а «тюлькин флот», и кажется, что жизнь в порту кипит. Да, собственно, так оно и есть: у мола и в бывшей рыбной гавани на прибойной волне покачиваются торпедные катера, сторожевики деревянные, противоминные мотоботы и сейнеры.

На стенке, возле черных, лоснящихся от жирной смазки торпед, похожих на только что выловленных дельфинов, моряки. Они ворочают их, поднимают талями с каким-то фатальным небрежением да еще острят при этом. Когда их спрашивают, что они делают, отвечают: «Готовим сухой паек фрицам!»

На торпедные катера и на самолеты-истребители журналистов не берут. Очень жаль! Среди военных моряков катерники, как и подводники, настоящие охотники. У них и ветра вволю, и скорость птиц, и опасности хоть отбавляй. А какая выдержка!

Корабль первого ранга стреляет по приборам и с большой дистанции (линкор «Севастополь» во время обороны города в 1941 году стрелял из Южной бухты по скоплениям немецких войск у Бахчисарая), а торпедный катер выпускает торпеду почти в упор и притом на полном ходу. Недаром торпедники говорят: «Чем быстрее ход — тем шире пасть!» Скорость и маневр одновременно и лучшая защита для катеров: выпустил торпеду — и вон из зоны атаки. Да поскорей! Замешкаешься — успеют корабли неприятельского конвоя, пустят на дно тебя.

У меня есть друзья среди моряков с торпедных катеров. В сентябре 1943 года при штурме Новороссийска я был свидетелем их отчаянной атаки Новороссийского мола — они проламывали в нем ворота для сторожевиков. Тем надо было прорваться под обстрелом в Цемесскую бухту и высадить штурмовые группы прямо в город, занятый гитлеровцами.

Отчаянные ребята! Ломая мол, они думали о Севастополе. Теперь они сражаются за него: топят корабли с бегущими немцами. Свое дело они делают красиво и лихо, как настоящие морские охотники — терпеливо выслеживая цель и смело и решительно поражая ее!

...Победой командира торпедного катера старшего лейтенанта Кананадзе больше всех, кажется, доволен командир отряда капитан-лейтенант Кудерский. Крупный, немного медлительный, молчаливый, Афанасий Кудерский на этот раз не стоит на месте: еще бы — офицер его отряда отличился первым! Он обнимает Кананадзе, да так, будто хочет поднять в воздух. Затем жмет руку краснофлотцу Мамросову — он выпустил торпеду по транспорту. Об этой торпеде говорят, словно об одушевленной: «Она пошла...», «Да кэк дасть!»

После успешного рейда катеров Кудерского в море вышел со своим отрядом капитан-лейтенант Сергей Котов. Котов выглядит моложе Кудерского. У него энергичный взгляд — взгляд гарпунера. Но он — моряк по страсти, хотя судьба его складывалась не так, как у других. В 1932 году он приехал в Ленинград из тамбовской провинции держать экзамен в Технолого-товароведческий институт. Выдержал. Два года продержал-

ся в нем. Учился хорошо. На третий год сбежал в Военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

В 1937 году молодой офицер в Севастополе — командир звена торпедных катеров. С первого дня войны Сергей Котов в море: конвойная служба, дозоры и набеги. Из Севастополя уходил в числе последних. Теперь возвращается в числе первых. Подобно всем морякам, он беспредельно, всем сердцем привязан к Севастополю. С его именем топил корабли противника, высаживал десантников на крымскую землю. Рассказ Котова краток до обидного.

На Крым пала ночь. Мыс Сарыч и мыс Феолент пройдены на редане. Дальше шли на сброшенной скорости. А когда подошли к району поиска, легли в дрейф. Было большое искушение влететь в Южную бухту и выпустить торпеды по причалам. Но на это никто «добро» не давал: пришлось скрепя сердце выключить моторы и болтаться на легкой зыби.

К счастью, долго ждать не пришлось: на горизонте заметили караван. Пять или шесть вымпелов. Котов дал приказ построиться клином. Только острием не вперед, а назад: крайние головные — старший лейтенант Георгий Рогачевский и лейтенант Опушнев. Замыкающим (острием) лейтенант Бублик. Его катер нес на борту установку с реактивными снарядами.

Атаку начали с малого хода: с дистанции четырех кабельтовых. Немцы засекли катера и открыли заградительный огонь. На мой вопрос, тяжело ли было идти в атаку после того, как немцы открыли заградительный огонь, Котов сказал: «Нормально. Война без огня не бывает...» Он повел плечами и продолжал говорить о чем угодно, только не о том, что больше всего хотел бы услышать на моем месте каждый журналист. Конечно, катера после открытия немцами огня вышли на редан. Первым с ходу выпустил торпеду лейтенант Опушнев. Котов об этом сказал так, будто Опушнев выпустил не торпеду, от взрыва которой тотчас же пошел на дно транспорт водоизмещением около трех с половиной тысяч тонн, а голубя. В том же бесстрастно стеснительном тоне было сказано и об атаке Рогачевским второго транспорта. И об атаке Бублика, стремительной, могучей, было сказано в том же скромном, почти телеграфном стиле. А ведь атака лейтенанта Бублика, давшего удивительно точный и меткий залп из артиллерийской

установки, известной под названием «катюша», была ураганной. Дело было ночью, и сторожевой немецкий катер, по которому дал залп лейтенант Бублик, тотчас же превратился в факел. Вскоре он взорвался, и на том месте какую-то долю секунды было лишь яркое, как солнце, пятно. А затем все исчезло.

У Рогачевского оставалась еще одна торпеда. Что с ней делать? Тащить обратно? Отряду нужно было немедленно уходить. Котов разрешил Рогачевскому оторваться от отряда и действовать самостоятельно. Рогачевский, не раздумывая, тотчас же развернулся — и на караван! Его встретили сильным и плотным заградительным огнем. Пришлось отвернуть.

Новая циркуляция. Новый выход на курсовой угол и быстрее ветра бросок на караван. И на этот раз заградительный огонь не пустил — опять пришлось отвернуть. Новая циркуляция и стремительный выход на редан.

Как оса вокруг банки с медом, кружился Рогачевский вокруг каравана. И на третьей попытке боцману, мичману Андриади, не пришлось вынимать чеку.

Когда катер выходил на курсовой в четвертый раз, пулеметчик Формагей доложил о том, что видит второй караван — шесть десантных барж. Это был великолепный подарок! Рогачевский бросил первый караван и кинулся на десантные баржи.

После залпа Рогачевский укрылся за дымовой завесой. Теперь домой, и притом на предельной скорости. И вот тут-то и отказал второй мотор. На одном моторе к Ялте не дойти. К Евпатории, где базировались катера капитана II ранга Проценко, ближе. Раздумывать некогда: к Евпатории так к Евпатории. На рассвете, когда Рогачевский пересек Каламитский залив и собирался на траверзе мыса Евпаторийского повернуть к порту, с запада, со стороны мыса Урет, от Донузлавской перемычки появились три немецких торпедных катера.

Немцы сбросили газ и, развернувшись в строй, похожий на раскрытый веер, стали расходиться. Нетрудно было догадаться, к чему они готовятся: так делают волки в тундре, когда хотят загнать оленя! Они не бросаются на него сразу, потому что можно заработать копыто в морду. Нет! Они будут держаться от него не далеко и не слишком близко: они создадут у оленя иллю-

зорное представление, что стоит ему собрать силы, и он может вырваться. И вот когда ему покажется, что он вырвется, вот тут-то они настигнут и прикончат его.

У Рогачевского был только один шанс. Выждав, когда скорости уравнялись, он приказал запустить второй мотор. Девяносто против ста было за то, что мотор сгорит. Но лучше потерять палец, чем всю руку!

И потом до Евпаторийского порта, если дать самый полный и выйти на редан,— не более десяти — пятнадцати минут. Надо рисковать. Война, даже при самом точном и даже конгениальном расчете и предвидении всех возможных осложнений, с применением предугаданных контрмер,— дело рискованное.

Что ж, риск и моряк — всегда рядом. Команда о перемене хода на судне обычно подается твердым и достаточно сильным голосом. На этот раз командир отдал ее почти шепотом. Мотор взревел. Катер чуть подпрыгнул.

Команда: «Полный газ!» — дана уже по-флотски — зычно. Катер на редане.

Пока немцы сообразили, что сделал русский, Рогачевский оторвался от них. Моторист и без приказания понял — из моторов нужно выжать все. Шли так, будто не катер мчался к Евпатории, а она сама летела навстречу.

...Через сутки Рогачевского и его экипаж друзья обнимали на ялтинском причале.

Несколько дней я прожил в Ялте, написал для катерников листовку о подвиге Георгия Рогачевского, которому вслед за Кананадзе было присвоено звание Героя Советского Союза.

Моряки капитана II ранга Проценко из Каламитского залива и катерники капитана II ранга Дьяченко из Ялты сомкнули «клещи». Севастополь был блокирован. В течение двух недель еще четыре офицера из бригады Дьяченко стали Героями Советского Союза.

В Ялте я познакомился с капитан-лейтенантом Вихманом и его хлопцами. Отряд Вихмана спас Ялту от полного разрушения: он вовремя скатился с гор — немцы так и не успели включить взрыватели в заминированных зданиях и в порту.

Уже несколько дней партизаны в бескозырках и их «батька» — худой и бледный брюнет, страдающий острой язвой,— на отдыхе. За два года пребывания в горах Крымского заповедника они и намерзлись и наголодались, кажется, на всю жизнь! Древесная кора и кожа поясных ремней не заменяли им в трудные дни хлеба и мяса, а землянки — корабельных кубриков.

Но отдых «лесных матросов» неспокоен. Теперь, через почти тридцать лет после войны, может быть, трудно понять их беспокойство, но тогда в душе каждого бойца была сильна инерция долга и подвига. Могли ли они в те дни торчать в Ялте, бездумно глазеть на солнце и упиваться запахами цветущих глициний, когда катерники топят фрицев на севастопольских фарватерах. Приморская армия уже под Балаклавой, а войска 4-го Украинского фронта, которые привел в Крым генерал армии Толбухин, жмут со стороны Мамашая и Бельбека?!

Стоя перед «батькой», матросы переминаются с ноги на ногу — им неловко покидать больного командира, с ним столько было пройдено троп в крымских горах! Капитан-лейтенант Вихман хорошо понимает своих бойцов. Отбросив формальности субординации, он обнимает каждого. Матросу-разведчику, совсем еще юноше, но рослому парню Веретенникову пришлось нагнуться, чтобы попрощаться с «батькой».

С невысказанной тоской смотрит командир вслед уходящим к Севастополю матросам.

На дороге из Ялты через Байдары потоки машин текут в сторону Севастополя. Обочины засорены немецким имуществом. В потоке войск идут и «лесные матросы». То тут, то там видны бушлаты, бескозырки, трофейные автоматы дулом вниз, гранаты на поясах и широкий матросский валкий шаг.

Автомобили, мотоциклы, пароконные повозки, всадники, артиллерийские упряжки — все катится, все движется к Севастополю. Гул металла покрывает гул голосов. Синь неба спорит с синью моря. В горах на самой маковице сверкают белые снега. Ниже зеленеют альпийские луга. Еще ниже желтым пламенем бушует цветущий кизил. В небе проносятся самолеты.

Идет могучая армия могучего народа. Недалек Севастополь. Мне вспоминается, как молча, со слезами на

глазах мы покидали его два года тому назад, как клялись вернуться, как принимали наказ умирающих отомстить гитлеровцам за Севастополь...

УЛИЦА ГЕНЕРАЛА ПЕТРОВА

...Только под Севастополем стало ясно, что тут понастроили немцы за двадцать два месяца оккупации Крыма. Минные поля, колючая проволока, волчьи ямы и надолбы преграждали подходы к каждому обводу обороны. Сотни орудий, пулеметов и минометов встречали наши войска из стальных и железобетонных гнезд.

Попытка прорваться в город с ходу обошлась дорого нашим войскам, и командование приняло решение взломать немецкие укрепления тяжелой артиллерией и ударами бомбардировочной авиации.

Весь конец апреля и в первые дни мая 1944 года по пыльным дорогам Крыма тянулись к Севастополю пушки осадной артиллерии, а на полевых аэродромах, главным образом в районе Сарабуза, сосредоточивались самолеты авиации дальнего действия. Подвозились снаряды и бомбы крупного калибра.

Пока подтягивалась осадная артиллерия и готовилась авиация, я решил воспользоваться передышкой и поехать в штаб фронта — проинформироваться в штабных кругах. К сожалению, мне не удалось встретиться ни с командующим фронтом генералом Толбухиным, ни с начальником штаба.

«Кругам» в эти тихие на передовой, но горячие в штабах дни было не до нас!

В какой-то раз я снова пожалел о том, что нет здесь генерала Ивана Ефимовича Петрова.

Он даже в самые тяжелые дни обороны Севастополя, да и во время штурма Новороссийска и в считанные часы перед высадкой десанта через Керченский пролив находил время и для нас, журналистов.

Отзыв Петрова в Ставку был неожиданным для корреспондентского корпуса.

Это случилось в марте, всего лишь за месяц без малого до начала кампании по освобождению Крыма. Я пишу «кампании» не из-за любви к старомодной военной терминологии, а для того, чтобы читателю стало ясно, что освобождение Крыма и Севастополя — не было эпизодом в наших масштабных, наступательных

операциях весной 1944 года. Ставке было хорошо известно, что противник, отступая под сокрушительными ударами советских войск, не сдаст без боя Крым из-за его стратегического положения. Полуостров был отличным плацдармом для нанесения ударов во фланг нашим войскам, стремительно двигавшимся к границам Европы.

Только круглый дурак мог не понять этого, а в гитлеровском авантюристическом командовании было немало и талантливых генералов. Было ясно, что Крым немцы будут держать, не считаясь ни с какими потерями.

Поэтому Ставка решила сокрушить силы 17-й гитлеровской армии генерала Руоффа, укрепившейся в Крыму, силами двух фронтов: 4-го Украинского с севера и Северо-Кавказского с востока, через Керченский пролив. Войсками 4-го Украинского командовал генерал армии Толбухин, Северо-Кавказского — генерал армии Петров...

Генерал Петров шел сюда от Моздока. Сначала командовал 44-й армией, потом Черноморской группой войск и, наконец, Северо-Кавказским фронтом. Ожесточенные сражения на Кубани, штурм Новороссийска и неотступное, почти «на пятках противника» продвижение к Керченскому проливу через Тамань и, наконец, высадка десанта на Крым доказали, и притом блестяще, ошибочность сложившегося в генштабистских кругах мнения, что Петров — «генерал обороны».

Путь от Терека до Крыма — свидетельство мастерства генерала как полководца наступательного стиля. Его войска пошли бы и дальше, но, к сожалению, погода (в мужестве и воинском мастерстве недостатка не было!) не позволила сразу после высадки десанта перебросить через пролив основные силы фронта и, не давая очухаться врагу, развивать наступление.

В течение всей каверзной зимы 1943/44 года Петрову пришлось расширять и укреплять плацдармы на крымской земле, с тем чтобы весной, когда успокоится пролив, обсохнет земля и расплывшиеся дороги станут проезжими, начать то самое наступление, которое, теряя порой терпение, ждала от него Ставка.

В марте сорок четвертого кончилась ненастная погода. Перестал ворчать пролив Керченский. На рыжих холмах Крыма высыпала нежная зелень. Поголубели

воды Азовского моря. Все было готово к началу стремительного и всесокрушающего удара.

Начинать его должен был 4-й Украинский фронт, а дня через два в дело вступать предписывалось Приморской армии, и вот тут на Таманский полуостров неожиданно прибывает генерал армии Еременко, а Иван Ефимович Петров садится в самолет и отправляется в столицу, в распоряжение Ставки.

Мы ломали голову, чем вызвана эта замена. Ну, хорошо, рассуждали мы, Петров на весь зимний период застрял у Керчи, не мог продвинуться дальше. А разве в других местах такого не бывало! Задержка у Керчи — не причина. Пусть любой другой генерал попробовал бы взять Крым с Таманского полуострова, когда у десантных войск резервы и все снабжение — позади, за неспокойным проливом, а коммуникации под непрерывными ударами противника! Да ведь и история не сохранила нам ни одного поучительного примера, когда бы Крым был взят со стороны Тамани. Если посмотреть на карту, то полуостров похож на бутылку, горлышко которой приходится на Перекопский перешеек. И вот, когда наступающие войска принимаются «открывать» это горлышко, тогда и противник начинает эвакуацию своих войск из Восточного Крыма. Это, вероятно, знал и Генштаб. Значит, снятие с поста командующего вновь образованной вместо Северо-Кавказского фронта Отдельной Приморской армии генерала Петрова имело какую-то другую причину. Причина та (другая) действительно была, но мы, военные корреспонденты, в то время о ней лишь строили догадки.

Новому командующему генералу Еременко досталась не только готовая к наступлению, но и ожесточенная сидением у пролива армия. Сидение это длилось утомительно долго и в чрезвычайно неблагоприятных условиях: войскам, которые накапливались у пролива для переброски на крымскую землю, нужно было кроме боеприпасов, горючего, медикаментов доставлять еще и воду — на Тамани ее не было.

И доставляли. Из Темрюка!

Немалая часть грузов перебрасывалась через пролив на крымскую землю десантными войсками.

Переправа через Керченский пролив — не прыжок через канаву. У пролива был свой характер, а у берегов Крыма не было причалов: не доходя до берега, катера

стопорили ход, матросы прыгали в воду (это — в ноябре-декабре-январе-феврале и марте!) и, стоя по горло в воде, удерживали их за швартовые концы, пока другие носили на себе грузы, забирали раненых для доставки в Тамань.

Руки у матросов в кровавых трещинах, голоса сиплые от простуды.

Этого забыть нельзя! И армия и флот с нетерпением ждали того часа, когда наконец начнется наступление на Крым с севера! И вот час этот — пробил! Когда войска 4-го Украинского фронта 10 апреля, преодолев Сиваш, вышли на просторы степного Крыма и стали угрожать Джанкою и Симферополю, немецкое командование спешно начало оттягивать свои войска от Керчи.

Этим не преминул воспользоваться генерал Еременко — Отдельная Приморская армия ринулась вперед, и в тот же день на самом высоком месте Керчи — на горе Митридат заполоскалось красное знамя.

Такой ситуации у Петрова не было: во время всех его действий по захвату Крыма никто не преодолевал Сиваша и не выходил на просторы степного Крыма с севера. Вот в чем загвоздка «стояния» перед Керчью на земле Таманской! К сожалению, это не было учтено Ставкой. Победа — взятие Керчи в апреле 1944 года — была эффектной. Лавры ее достались генералу Еременко А. И.

Художники прошлого писали полководцев в традиционной манере, стоящими близ роскошного белого шатра, над которым колыхался штандарт полководца. Причем шатер сей был раскинут на высоком холме, у подножия которого в сизом пороховом дыму сшибались люди и кони. На некоторых картинах полководцев размещали у больших походных барабанов с расстеленными на них картами. Был еще такой вариант: полководец на белом коне в окружении штабных офицеров, сверкающих золотом эполет и орденов, смотрел в телескопическую подзорную трубу.

Современный полководец не может гарцевать на белом коне на виду у противника, да еще в окружении свиты, да еще с подзорной трубой. Масштабы теперешних войн таковы, что полководец зачастую не видит сражения. Командующий нашего времени — инженер сражения, у него другие средства связи, другое оружие

и другие способы наблюдения. Он может командовать порой, сидя за письменным столом.

Римский историк и ритор Квинт Курций, живший в первом веке нашей эры, очень точно и кратко охарактеризовал роль полководца: «Армия без полководца — тело без души». Да, истинный полководец должен быть именно душой армии, он должен любить солдата, а солдат его.

Генерал Петров — полководец советской военной школы. Он обладал редкостным трудолюбием — мог сутками обходиться без отдыха. Был равнодушен к комфорту, часто спал, не раздеваясь и не снимая сапог, прикрывшись шинелью. Конечно, и он немало времени просиживал за письменным столом над планкартами и, подобно музыканту, читающему мелодию по нотам, «слушал», разглядывая план будущего сражения, громы артиллерийского огня, «наблюдал» таранные удары танков, но любил он во время сражения находиться среди войск, видеть все своими глазами, хотя они у него и скрывались за стеклами старого пенсне.

В рыженькой кожаной куртке, в полевой, пропаленной жгучим южным солнцем фуражке и мягких, сильно разношенных хромовых сапогах, он любил носиться вблизи передовой линии на видавшей виды машине. За ним гонялись самолеты, порой обстреливала артиллерия противника. Он казался человеком бесшабашной храбрости. Но потом, когда я познакомился с ним поближе, понял, что он, как и другие советские командующие, бывая на переднем крае, не думал о том, как он себя ведет,— он работал, был душой армии в опасных условиях боевой действительности.

Немцы пишут его фамилию так: Петрофф. Они знают о нем не очень-то много, но в Севастополе, во время допроса одного из пленных, случайно обнаружилось, как был взбешен командующий 11-й немецкой армией генерал фон Манштейн, когда узнал, что во главе войск, наносящих смертельные удары по его армии, стоит русский генерал самого низкого происхождения — Петров был сыном сапожника!

Да, отец нашего генерала Ефим Петров действительно был сапожником в провинциальном городишке Трубчевске Брянской губернии.

Известно, что полководец знатен не происхождением, а выигранными сражениями. Что толку от пышной

кроны генеалогического древа фон Манштейнов, если их последний отпрыск, слывший «лучшей стратегической головой третьего рейха», наткнувшись на активные действия советских войск под стенами Севастополя, застревает там на целых двести пятьдесят дней! Это не двухнедельный марш через всю Францию! Полководческий талант — не наследственное право.

В роду Манштейнов с незапамятных времен все были военными, да не рядовыми, а генералами! А Петров и не мечтал о военной карьере — его тянуло к живописи, и, возможно, он стал бы художником, если бы иначе сложилась его судьба. После окончания Трубчевского высшеначального училища земские власти рекомендовали сына сапожника — одного из лучших учеников — в Карачевскую учительскую семинарию.

Окончить семинарию ему не удалось — в декабре 1916 года Петрова призвали на военную службу. Он попадает в Московское Алексеевское юнкерское училище, а в середине 1917 года выходит из училища прапорщиком и назначается командиром полуроты в Астрахань. В марте 1918 года прапорщик Петров вступает добровольцем в Красную Армию и в том же году становится членом партии большевиков.

О своем прошлом генерал рассказывает хотя и охотно, но, из-за постоянной занятости неотложными делами обороны города, без подробностей.

Приходится утешаться отделкадровской скороговоркой: дважды ранен, контужен, в начале службы в Красной Армии командовал взводом, сражался на фронтах гражданской войны. После гражданской войны — это было в двадцатых годах — продолжал службу в Туркестане. Здесь тоже различные командирские должности, комиссарство, начальствование в военном училище и т. д.

В этой скороговорке уложено почти двадцать лет непрерывной военной службы. И все эти двадцать лет денно, а порой и нощно — в седле.

Трудно сказать, что было самым интересным в его жизни: то ли годы гражданской войны, то ли служба в Средней Азии, где он накапливал военный опыт и командирское мастерство. Он довольно легко, говоря современным языком, «адаптировался» в Туркестане.

Пески, горные кручи, глубокие ущелья, бурные реки, палящее солнце, пестрая жизнь, сложные обычаи и нра-

вы — все это он воспринял как неизбежные условия, в которых должна протекать его военная служба. И не только не страдал от всего этого, но сумел полюбить и изучить в совершенстве три языка: узбекский, туркменский и таджикский. Это облегчило ему сложную в условиях тех лет борьбу с басмачами, которую нужно было вести не только военными средствами, но и разъяснением реакционной деятельности мусульманского духовенства в районах действий басмаческих банд.

В Средней Азии Петров командовал кавалерийским полком, сводной узбекской бригадой, потом начальствовал в военном училище, в канун Отечественной войны был назначен командиром 27-го механизированного корпуса. В сороковом году получил чин генерал-майора.

За этими скупыми и отжатыми до сухости словами мне видится сюжет острой, полной приключений и напряженного развития повести.

В конце двадцатых годов мне довелось в качестве корреспондента объездить верхом многие горные районы Таджикистана, переправляться на каюках через бурную и своенравную Амударью. В те годы железная дорога действовала лишь до Термеза, а дальше либо на арбе, либо в седле.

Жизнь в Средней Азии тогда была сложна, новое едва-едва пробивалось, а в горах и пустынях скрывались отряды басмачей Джунаидхана и Ибрагимбека.

Особенно жесток, хитер и ловок был Ибрагимбек. Он слыл неуловимым и наглым, как хорек: сколько было попыток захватить его!

Как-то в один из дней я очутился в пограничном с Афганистаном Кулябе, очень живописном городке, раскинувшемся на берегу бурной реки Пяндж. На его главной улице — маленькие магазины, чайханы, мастерские медников, жестянщиков, портных, гончаров, тюбетейщиков, торговцев коврами, сапожников... Здесь пахло кожей, кислотой, шерстью, свежеиспеченными лепешками и пловом.

В чайханах было шумно: в двух из них шли перепелиные бои — они здесь проходили с не меньшим азартом, чем бои быков в Испании.

В чайхане, куда я зашел, публика раскачивалась в такт танца, который исполнял необычайно стройный, красивый юноша. Среди зрителей был один русский, от него-то я и узнал, что танцора зовут Кизрейтом, что он

из свиты бывшего эмира бухарского Сеид Мир Илима, здесь болтается потому, что отстал от каравана эмира, который бежал на ту сторону, то есть в Афганистан.

После этой информации я стал внимательнее рассматривать танцора. Надо сказать, что танцевал он великолепно и одет был элегантно: халат из тонкого шелка не висел на нем мешком, а облегал фигуру, на ногах мягкие, как шелк, козловые ичиги; бритую голову охватывала чалма из нежно-зеленого, пробитого золотыми нитками, пенджабского шелка.

Он был очень оживлен. Танцевал азартно, виртуозно изгибая тело. Тот же русский на ухо сказал мне, что сегодня в районе Куляба должен пройти на ту сторону Ибрагимбек и что якобы с ним уйдет и Кизрейт и будто бы поэтому он сегодня с особым подъемом танцует. Но, предупредил меня мой словоохотливый информатор, если только Ибрагимбек появится здесь, в Кулябе, или в его окрестностях, его непременно схватят — для этого все готово тут.

Конечно, в то время я не знал, что в поимке курбаши Ибрагимбека, неожиданно появлявшегося в очень людных местах, участвовал Иван Ефимович Петров. А может быть, даже кто-то и называл эту фамилию, но я тогда не обратил внимания.

Ибрагимбек не был взят в тот день — он просто не появился в Кулябе.

Засада держалась неделю, а потом была снята. Банды Ибрагимбека были ликвидированы лишь через четыре года, то есть в 1931 году. В операциях участвовал Петров.

...Мне нужны были подробности, но генерал не мог рассказывать столько, сколько я хотел, вернее, столько, сколько нужно было для моей работы. Я не обижался на него, понимал, что беседам с корреспондентами он может отдавать лишь минуты, а все остальное время — долгу воинскому. А читатель любит подробности, и чем больше их, тем интереснее произведение. Я это и по себе знаю. Как известно, одно полено не горит! Кто видел, с каким рвением ворона строит свое гнездо или ласточка лепит свой замок, тот поймет, что и писатель не может без самозабвения не только собирать факты и подробности из жизни своих героев, а и потом, оставшись на-

едине с белым листом бумаги, «выстраивать» произведение — «плести» замысловатые сюжеты, выписывать события и характеры.

Мне не хотелось в работе над портретом генерала ограничиваться эскизным наброском. Я стремился понять, почему один генерал может блеснуть в сражении, а другой — нет? Что важнее в военной карьере — опыт или талант? Я понимал, что вопросы мои примитивны, что я и сам могу дать на них общий ответ: нельзя противопоставлять одно другому, только союз военного опыта и таланта обеспечивает успех полководцу. В таком же роде мог бы ответить Петров, но мне хотелось услышать рассуждения на этот счет самого генерала, военный талант которого так ярко проявился в обороне Одессы и Севастополя!

В первые недели войны, когда наши войска с кровавыми боями отходили от государственной границы в глубь страны, гитлеровским полководцам казалось, что «синяя птица» победы у них в руках. В третьем рейхе поднялся звон — пропагандисты Геббельса разбрасывали листовки, в них наших командующих уничижительно называли «маршалами копытных войск», а имена своих фон боков, мантейфелей, рунштедтов, гудерианов, фон леебов, геппнеров, фон дитлов и фон клюге произносили с придыханием, словно это были не земные немцы, любившие пиво и сосиски, а НЕБОЖИТЕЛИ!

Да, наши командующие фронтами и армиями в большинстве своем происходили из крестьян и молодость свою провели в седле. Кто не знает легендарной славы конармий! На генерале Петрове тоже кавалерийская портупея, бриджи и хромовые сапоги со шпорами, и он почти четверть века провел в седле.

Четверть века в седле! Нынешняя война, как известно, война моторов. Это ни капли не смущает кавалерийского генерала, держащего оборону против насыщенных до предела различными механизмами и моторами отборных фашистских дивизий. Как известно, кавалерия не создана для оборонительных боев — этот род войск исключительно наступательный. Но вот кавалерийский генерал второй раз (первый раз в Одессе) обороняет морскую крепость. А начавший войну командиром танкового корпуса генерал пехоты Эрих фон Манштейн уже восемь месяцев штурмует ее силами лучшей армии третьего рейха!

Желание фон Манштейна во что бы то ни стало взять Севастополь, взять ни с чем не считаясь, хорошо чувствуется даже в этой безопасной штольне. (Эта беседа с генералом Петровым происходила в июне 1942 года на его командном пункте в Карантинной бухте.)

Штольня глубока — она выдолблена в толще обрывистого берега. В свое время была предназначена для хранения мин. Вход в нее закрывается толстой стальной дверью — прочное сооружение! Но и оно дрожит от разрыва тяжелых бомб и снарядов.

Генерал отвечает на мои вопросы лишь тогда, когда его не отвлекают телефонные звонки. Он терпелив и предельно вежлив. Штольня сотрясается — третий штурм Севастополя в разгаре. Положение в городе тяжелое, и надежд на облегчение — никаких. Нет ни резервов, ни боеприпасов.

Генерал по телефону кого-то ругает, а другого, оторвавшего нас от разговора телефонным звонком, чуть ли не слезно уговаривает:

— Прошу тебя, дорогой, продержись еще денек!.. Не больше! У тебя нет снарядов? А у кого они есть теперь?! Ни людей, ни снарядов дать не могу!.. Не потому, что не хочу,— их просто нет у меня!

Когда генерал говорит по телефону, я рассматриваю его. Лицо Петрова не отмечено прописными чертами лубочного героя: передо мною пожилой чертовски усталый профессор в военном мундире.

Штольня вздрагивает и стонет от разрывов тяжелых снарядов, вес которых, по определению специалистов, достигает почти семи тонн!

Было похоже на то, что фон Манштейн решил если не взять в сражении, то смести с лица земли Севастополь. Петров говорит, что такого обстрела и таких бомбежек еще не было, то есть таких перманентных и массированных налетов авиации и шквалистого артиллерийского огня из сверхмощных пушек.

Пока генерал отдает распоряжение или разъясняет кому-то, как надо выходить из создавшегося положения, я невольно и совсем неожиданно сравниваю теперешнее положение с положением защитников первой обороны Севастополя: в 1855 году, в момент, когда сложилась тяжелая обстановка, то есть англо-французские войска начали, как говорили тогда русские солдаты,

смертельную «бондировку», наши войска оставили город, по наплавному мосту перешли на Северную сторону. Оттуда путь лежал в степи Крыма и дальше в Россию.

В 1854—1855 годах ОДИН МЕСЯЦ службы в осажденном городе считался — ЗА ГОД! И каждый воин, независимо от степени его участия в обороне Севастополя, награждался серебряной медалью. Ныне командование скупо представляет людей к наградам, хотя героев тут (и каких еще!!!) не перечесть!

...В штольне душно. Тело покрывается испариной. Воздух свинцово-тяжкий. Вентиляционная установка не выбирает устоявшийся и прочно пропахший настоем табачного дыма воздух. Да и чем сменить его? Со стороны города на Карантинную наплывает густой, черный, несущий в себе зловещность дым. Он идет поверху, а под ним висит белесая дымка. Это — пыль от многочисленных взрывов. По приказу фон Манштейна генерал фон Хольтиц приступил к планомерному разрушению непокорного города. Дома Севастополя горят и рассыпаются от взрывов в прах. Кроме бомб и тяжелых снарядов на него летят безграмотные угрожающе-наглые листовки.

У Петрова больше обычного трясется голова — последствие старой контузии, последствие, которое докучает ему в моменты сильной усталости и большого нервного напряжения.

Телефоны, эти беззастенчивые и, я бы добавил, безжалостные гонцы, приносят известия одно мрачнее другого: ударная мощь немецкого штурма, как горный обвал, усиливается с каждой минутой.

Земля дрожит. Генерал с озабоченностью поглядывает на потолок. Телефонный звонок только что сообщил, что несколько шлюпок с немецкими солдатами пытались переправиться через бухту с Северной стороны на Корабельную. Всего лишь два или три дня тому назад немцы овладели Северной стороной, споловинив взводы, роты и полки 54-го армейского корпуса генерала Ганзена, наносившего главный удар при поддержке артиллерийского огня большой мощности — 150 орудий на один километр!

Я продолжаю опустошать свои фронтовые блокноты. Мои записи тех дней отрывочны и несколько сумбур-

ны, но они не случайны — в них хотя и неполное, но все же верное отражение времени.

Немцы, взяв Северную сторону, старательно спешат не утерять темпа в штурме: ведь это третий! Их изумляет, что русские держатся после массированного, порой переходившего в ураганный огонь артиллерийского и авиационного наступления.

Впоследствии фон Манштейн напишет об этих днях следующее:

«...Судьба наступления в эти дни, казалось, висела на волоске. Еще не было признаков ослабления воли противника к сопротивлению, а силы наших войск заметно уменьшились».

Симптоматичное признание! Оно сложилось в разгар третьего штурма, и будь тогда хоть какая-нибудь возможность обзавестись гарнизону Севастополя танками, самолетами, боеприпасами, свежими силами, не видеть бы генералу пехоты фон Манштейну фельдмаршальских погон и жезла, которыми впоследствии наградил его Гитлер за взятие Севастополя!

Июнь 1942 года.

Сухо. Жарко.

Жарко в воздухе, еще жарче в городе и на переднем крае.

Почти каждый снаряд, каждая сброшенная с самолета бомба находят свою цель. Линия фронта сокращается, как шагреневая кожа. Севастополь под непрерывным обстрелом артиллерии противника и атаками с воздуха. По холмам с натужным гудением моторов ползают танки с черно-белыми крестами. За ними, кое-где волнами, а кое-где вперебежку, спешит серо-зеленая вражеская пехота.

Севастопольцы ужасно устали от обстрелов и бомбежек. Устали бегать в земляные щели, плакать над убитыми. А когда во время редких и кратких перерывов от грохота разрывов удавалось забыться в кратком сне, то им снились: тишина, пресная вода и аромат печеного хлеба, которого они давно не только не видели, но и не нюхали, пробавляясь затирухой.

С каждым днем положение в Севастополе становилось невыносимым после того, как возвратившийся с Керченского полуострова на свой командный пункт в

Черкез Кермен фон Манштейн, окрыленный счастливой победой, в течение пяти дней буквально засыпал город и передний край снарядами и авиационными бомбами.

Кто был в эти тяжелые дни в Севастополе, тот никогда не забудет ни вулканического извержения артиллерийского огня, ни воя и разрывов бомб, ни пожаров, возникавших то тут, то там, причем горели даже абрикосовые и фисташковые деревья с наливающимися плодами, цветники в парках и трава на холмах. Пыль и дым плыли над городом с утренней зари и до вечера.

Положение резко ухудшилось с потерей Северной стороны.

Правда, и до занятия Северной стороны кораблям было тяжело входить в Южную бухту не только потому, что путь, которым прорывались в Севастополь корабли, обстреливался, нет! Перед Главной базой Черноморского флота лежал обширный и плотный минный пояс, в котором оставался свободным лишь узкий коридор-фарватер. Пожалуй, самым трудным делом для кораблей было попасть в него. Трудным потому, что подход к входному бую и затем движение узким фарватером в Северную бухту были возможны лишь в ночное время, да и то почти всякий раз под артиллерийским обстрелом.

К счастью, корабли, доставлявшие в блокированный Севастополь солдат, боеприпасы, горючее, продовольствие, медикаменты, не самостоятельно проходили через этот «чертов мост», а их встречал у подходного буя и вместе с катерами конвоя проводил через Стрелецкий рейд в Северную бухту лоцманский базовый тральщик № 27 (БТЩ-27). Он нес свою боевую вахту на фарватере ежедневно и неустанно, почти под постоянным огнем противника. Командовал кораблем опытный моряк капитан-лейтенант Адольф Максимович Ратнер.

Сколько воздушных налетов, атак торпедных катеров и обстрелов было записано в вахтенном журнале «БТЩ-27»!

Оставшиеся в живых матросы, старшины и офицеры этого боевого корабля никогда не забудут дни и ночи третьего штурма Севастополя!

13 июня 1942 года был последним днем их тяжелой и опасной службы на огневом фарватере. В этот день тральщик был атакован у мыса Феолент ДВАДЦАТЬЮ СЕМЬЮ немецкими бомбардировщиками «Ю-87».

Экипаж корабля храбро отбивался, но превосходство противника значительно превышало боевые силы тральщика: люди выбывали один за другим. А когда вышли из строя командир корабля А. М. Ратнер и комиссар Абрамцев, а затем и командир ВЧ-2 лейтенант Торобочкин — в обязанности командира вступил старший лейтенант Гребельников. Он приказал спустить шлюпку, в которую снесли всех раненых во главе с командиром, а сам с горсткой моряков продолжал отбиваться от противника. Шлюпка была пробита осколками, и на ней не было гребцов — на весла сели сами раненые. Дольше всех греб минер Гелдиашвили. Скинув тельняшку, он перевязал ею глубокую, сильно кровоточащую рану в боку и долго греб, пока не пришлось покинуть шедшую ко дну шлюпку. Гелдиашвили умер на операционном столе в госпитале на мысе Феолент от потери крови, вскоре после того как, с трудом дотянув до берега, раненые выбрались на сушу.

Тяжел был конец корабля — разрывом упавшей по корме бомбы заклинило руль, тральщик завертелся на месте — тут и настал его конец. Не всем оставшимся на корабле удалось добраться до берега...

После гибели базового лоцманского тральщика № 27 движение кораблей продолжалось — место погибшего корабля заняли другие и по-прежнему продолжали свою четкую службу манипуляторные пункты гидрографии Севастопольского оборонительного района, которую, как говорится, не сбили с ног систематические обстрелы маяков, по створным огням которых ориентировались корабли, двигавшиеся в Севастополь. А когда погасли маячные огни, корабли ориентировались на манипуляторные огни. С выходом немцев к Северной бухте гидрографы уже действовали на фарватере затененными огнями, которые были не видны противнику, но воспринимались с помощью особых аппаратов нашими кораблями.

Манипуляторная служба на фарватере продолжала свою вахту до самых последних дней обороны, и почти весь ее состав погиб, кроме радиста Владимира Тимофеевича Кирсанова, закончившего войну в отрядах бельгийских партизан.

После занятия Северной стороны корабли стали ходить в Камышовую бухту, в Южную не проскочить даже ночью. Над Севастополем «висели» немецкие самолеты. На улицах города клубился дым и слышался треск го-

рящих красок и сухого дерева, звон лопающихся и осыпающихся на мостовую оконных стекол.

Бомбежки и обстрелы ведутся с дьявольской постоянностью: снаряды и бомбы рвутся в бухтах у причалов, на дорогах и на улицах и на переднем крае.

Тяжело в районе Федюхиных высот. Здесь немцы кладут снаряды и бомбы с особым усердием, они наносят удар по позициям, которые занимает оттесненная с горы Гасфорта бригада морской пехоты генерала Жидилова. Моряки не дают немцам накапливаться в Золотой балке, над которой нависает Сапун-гора — ключевая позиция к Севастополю.

Генерал Петров не спускает глаз с этого района. Здесь почти полгода героически держатся моряки. Они не раз за время обороны показали себя как люди неколебимой стойкости. Но сейчас бригаде тяжело: после трехнедельных июньских боев, после почти непрерывных бомбардировок и артиллерийских обстрелов бригада сильно поредела, обросла большим числом раненых, расстреляла почти все снаряды, лишилась регулярной связи и осталась почти без продовольственных запасов.

Раненых надо вывозить в Камышевую — надо, да не на чем!

Боже! Сколько же металла было сброшено тут!

Специалисты делали подсчеты. Цифры бросали в дрожь, и все же никто тогда не мог предположить, что даже спустя тридцать лет после окончания боев виноградари при рыхлении почвы меж лозами будут каждый год находить свидетелей далеких сражений — тяжелые металлические осколки снарядов и бомб.

Камышевая бухта. После Северной она самая удобная, но совершенно необорудованная: вместо причалов — притопленный понтон плавучего копра, и это все: никаких механизмов для разгрузки и погрузки, ни одного склада, никакого укрытия, кроме примитивного эвакогоспиталя и вырытых в земле щелей. А сюда идут и едут тысячи людей — сюда теперь приходят с Большой земли корабли. Приходят в ночи на час-полтора; золотые краснофлотские руки успевают за это фантастически малое время снять с палубы все грузы, свести на берег войска, принять раненых, детей, женщин, стариков — надо до рассвета уйти отсюда, пройти через минное поле,

и если уж доведется встретиться с противником, то в открытом море, где есть простор для маневра.

Генерал после очередного звонка бросает трубку на коромысло телефонного аппарата, снимает пенсне и, протирая стекла, смотрит на меня изможденным взглядом и как бы говорит: «Вот, дорогой товарищ корреспондент, какая тут обстановка! А вы спрашиваете, какие у нас перспективы!»

Иногда он берет в руки карандаш и что-то быстро записывает в тетрадь и затем рисует знак или проводит черту либо ставит цифры на оперативной карте.

Я также смотрю на него и как бы отвечаю на его слова: «Обстановка, товарищ генерал, мне в общем понятна. Хотя Александр Васильевич Суворов и учил, что воевать надо не числом, а умением, но вам сейчас нужно именно ч и с л о! А вернее — ч и с л а! Нужны отряды кораблей, чтобы вывезти отсюда раненых — их скопилось двадцать три тысячи. Нужны снаряды, танки, патроны для противотанковых ружей и, наконец, самолеты! И все это в больших числах!»

У генерала кожа на лице серого цвета, веки припухшие и как бы налитые свинцовой тяжестью. И голос у него хриплый от бесконечных телефонных разговоров. Связь плохая, порой от утечки звука, а часто рвется проводка — из-за этого разговор порой переходит на крик.

Измученный вид генерала особенно резко бросается в глаза, когда он разговаривает с офицерами-направленцами после их возвращения с переднего края. Положение там усложняется с каждым днем, а на иных участках и с каждым часом — направленцы, бывало, раньше, чем появиться в кабинете командующего, нафуфыривались — выбривались до глянца, надраивали сапоги до озорного блеска, а теперь на сапогах пыль, гимнастерки мятые — некогда!

Всем некогда! Ни вовремя поесть, ни побриться, ни поспать...

Московский художник Леонид Сойфертис, с которым я познакомился в осажденной Одессе, однажды принес в редакцию рисунок: могучий — плечи косая сажень — краснофлотец, обвешанный оружием, взгромоздился на два хрупких ящичка для чистки обуви, а два чумазых

севастопольских мальчика любовно наводят глянец на его ботинках. Под рисунком подпись: «Некогда!»

Во время третьего штурма Севастополя некогда было болеть, все, кто бывал в штабе, часто могли видеть командующего адмирала Октябрьского с грелкой на животе — его мучили приступы печени. Мучили, а болеть некогда. Командир лидера «Ташкент», корабля, снискавшего легендарную славу, Василий Николаевич Ерошенко был тяжело ранен, но отказался от эвакуации — сбежал из госпиталя на корабль. «Некогда мне по госпитальным койкам валяться!» — ответил он, когда о его поступке стало известно большому начальству. Капитолина Ивановна Заруцкая, севастопольская почтальонша, старенькая, сухая, доставляла письма бойцам прямо на передовую. Нередко ей приходилось добираться до «адресата» ползком, под пулями. Ей говорили: «Ты бы, мать, переждала — убьют!»

— Некогда мне,— отвечала она,— пережидать-то! А может быть, от этого письма зависит, как боец воевать будет!..

В осажденном Севастополе давно никто не жалеет ни сил, ни жизни. Усталость делает ничтожным страх смерти — люди проваливаются в сон, как в трещину ледника или же как в кратер вулкана. И спят как мертвые даже тогда, когда кругом стоит ад от разрывов многотонных бомб и крупнокалиберных снарядов, а просыпаются внезапно при наступлении тишины.

Памяти, оказывается, не все доступно — я не могу вспомнить, на чем был прерван мой разговор с генералом, когда в его кабинет вошли генералы и адмиралы: Н. И. Крылов, П. А. Моргунов, Н. М. Кулаков и член Военного совета М. Т. Кузнецов. Генерал Петров посмотрел на меня и развел руками.

Лейтенант Юрий Петров, сын и адъютант генерала Петрова, ни за что не хотел пускать меня к командарму после того, как от него вышли генералы и адмиралы. Я попал к командующему только потому, что он сам в это время вышел из кабинета.

Когда мы сели, Петров спросил:

— Товарищ Сажин, у вас есть какое-нибудь дело в Севастополе, кроме того, о котором мы с вами не успели договорить?

Я ответил, что других дел нет, но я военный корреспондент и мой долг — быть здесь!.. Из Севастополя сейчас каждое слово на вес золота.

Я начал было распространяться о том внимании, которое проявляется во всем мире к битве под Севастополем, но генерал (этого раньше я за ним не замечал) нетерпеливо барабанил пальцами по столу и, когда я умолк, сказал:

— Товарищ Сажин! Отправляйтесь на Большую землю. Положение наше сильно ухудшилось. Что здесь делать? Корреспонденции посылать не с кем, телеграф переполнен. Камышевая и Казачья забиты людьми, а кораблей нет. Отправляйтесь на Большую землю,— повторил он с подчеркнутым значением и закончил фразу: — Сегодня я еще могу дать вам место в самолете. Хотите?

— Я хочу остаться. А если придется... то вместе с вами.

— Нет, нет!— покачал он головой.— Боюсь, что потом я и себя забуду. Вы моряк и знаете, когда уходит капитан с корабля.

Прощаясь, он задержал мою руку, пожелал счастливой посадки на Большой земле и добавил, что хотя Севастополь и придется оставить, но то, о чем мы говорили с ним во время первой встречи, остается в силе: «Мы обязательно победим гитлеровскую Германию! И первый камень в будущий памятник Победы заложат севастопольцы!»

К Херсонесскому мысу, на обстреливаемый артиллерией противника аэродром, туда, где садились похожие в ночной темноте на летающих ящеров транспортные самолеты, шли несчетные толпы людей, тянулись на малых скоростях, завывая натруженными моторами, автобусы с ранеными и грузовые машины.

Я и теперь при воспоминании о тех далеких днях удивляюсь искусству шофера грузовика, который вез нас к самолету: как это ему удалось в полной темноте, разрываемой то и дело слепящим светом бризантных сна-

рядов, проехать от Карантинной бухты и при этом не попасть под снаряд!

Мы не сразу разыскали коменданта аэродрома. Он пропадал все время в огромной толпе. Комендант подвел нас к самолету, зажег лучик карманного фонарика, прочел предписание генерала Петрова и сказал: «Не знаю, куда я вас буду сажать?» Но тут подошел командир самолета и спросил меня, не летал ли я с ним,— ему мой голос показался знакомым. Я действительно летал с ним. Эта случайная встреча решила все.

Самолет «ЛИ-2» загружался спешно, но с толком: сначала в его длинное веретеновидное тело размером с тушу синего кита прошли ходячие раненые, их усадили на пол спинами к стенкам, затем вошли мы, и тут же санитары начали носить тяжелораненых. Многие из них были слабы от большой потери крови, некоторые бредили, стонали. Их укладывали на ноги первых, оставляя лишь небольшой проход посредине. Все это делалось при тусклом свете самолетных лампочек, но делалось быстро и четко — эвакуаторы были опытные.

Только прислонившись к вогнутой самолетной стене, я почувствовал, как устал за дни третьего штурма Севастополя. Да не один я, справа от меня, так же вытянув ноги, сидел корреспондент «Последних известий» Вадим Синявский, а слева — второй корреспондент той же редакции Юрий Арди. На ногах у нас лежали раненые. Причем раны того, кто пришелся на мои ноги, при каждом его повороте кровоточили, да так сильно, что у меня промокли брюки. Это в Краснодаре потом обернулось водевильным сюжетом: когда самолет выгрузили и я оказался последним, я не мог выйти, так как у меня свело ноги от судороги, врач, принимавший раненых, приказал вынести меня, посчитав, что я нахожусь в состоянии нервного шока, потому что я все время твердил: «Я не ранен и скоро выйду сам!» Несмотря на сопротивление, меня вынесли из самолета на носилках, и врач скомандовал сделать мне перевязку. Для этого надо было снять брюки. Я отказался. Врач попросил ножницы и спокойно, как это он делал, по-видимому, не раз, движимый милосердием, варварски, не спрашивая согласия, разрезал мои совершенно целые флотские брюки. Обнаружив у меня на левом колене широкий след старого хирургического шва, измазанного чужой кровью, он воскликнул:

— А это что?!

Я сказал, что это старое дело, в тридцатых годах попал в Ленинграде под грузовик. В Институте травматологии мне была сделана операция на суставе, в результате которой я был «списан по чистой», то есть признан вовсе негодным к несению военной службы, со снятием с воинского учета. Вот этот-то след старой операции, измазанный кровью лежавшего на моих ногах раненого, и увидел врач.

Поняв, в чем дело, он смутился, но тут же овладел собой, распорядился, и откуда-то принесли армейские бриджи, хотя и бывшие в употреблении, но стираные. Они никак не «монтировались» с моим синим кителем и флотской фуражкой с золотым крабом. Идти в них можно было лишь до первого патруля.

Однако я скоро утешился — принесли флотские брюки «БУ».

Врач чувствовал себя виноватым и старался успокоить меня. Он говорил, что ничего страшного, наоборот, в таких брюках меня еще больше будут уважать — ведь я из осажденного Севастополя, смешно оттуда появиться в брюках с иголочки!

После того как увезли раненых и отбыл с ними врач, на поле установились тишина. Ее абсолютность, похожая на таинство, вызвала беспокойство — давно я не испытывал ощущения полной тишины и, кажется, забыл совершенно ее звуки.

На обширном поле Пашковского аэродрома, как войско на параде, стояла высокая, в буйном цвету, трава.

Тишина...

Трава...

Вдруг откуда ни возьмись над аэродромом появились птицы. Они сделали несколько кругов, затем легко и игриво взвились высоко под самый купол голубого неба, и оттуда полились звуки какой-то очень знакомой и прелестной музыки. Я не мог понять, что это за музыка, но в ней слышались мелодии из «Весенней песни» Грига.

Музыка еще сильнее растравляла сердце. Я хотел и не хотел слушать ее — перед глазами горькими сиротами стояли картины Севастополя, вместо роскошной травы, бездонного неба и поющих в нем птиц виделись обугленные дома, толпы людей, покидающих насиженные места, самолеты в небе; вместо тишины слышались кри-

ки, пальба, и по ушам били ужасающие звуки разрывов бомб и снарядов.

Я на миг закрыл глаза, а когда открыл их, все то, чем только что жил и от чего сердце сжималось, исчезло. Было снова голубое небо, была высокая трава в цвету, птицы в небе, и еще добавилось к этой картине одно чудо — на аэродроме появилась подвода. На телеге, которую здесь называют бестаркой, стояли три огромные ивовые корзины, полные спелой, глянцевитой и раздражающе сверкавшей гранатовым цветом черешни! Чудо какое-то! В Севастополе одолевала смертельная жажда, а тут сочные, чертовски аппетитные черешни!

Подвода остановилась возле нас, и старик, который вез это чудо, кинув вожжи на телегу, снял картуз, вытер пот на морщинистом лбу и, приветливо улыбаясь, сказал:

— Бэрите! Кушайте! Вы з Сэвастополя?

После возвращения из Севастополя я был командирован редакцией на Северный флот. Из одной крайней точки фронта Великой Отечественной войны я попал в другую.

Больше месяца я пробыл на Севере, ходил на боевых кораблях, жил у морских пехотинцев и артиллеристов на полуострове Рыбачий, встречал возвращавшихся из дальних походов подводников.

Сделал несколько фотографий в отрогах горного хребта Муста-Тунтури. Это было, как мне сказали, единственное место на всей линии фронта, тянущейся от Баренцева моря до Черного, где гитлеровцам не удалось нарушить государственную границу нашей страны, хотя головорезы генерала фон Дитла, носившие на рукавах знаки эдельвейса, стремились к этому.

В Москву возвратился с полными блокнотами. Перед глазами были северяне: летчик-истребитель Петр Сгибнев, командир батареи на полуострове Рыбачий капитан Поночевный, командиры подводных лодок Лунин, Видяев, Стариков; главный хирург флота профессор Дмитрий Александрович Арапов; тонкий дипломат, знаток морского дела, талантливый командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко, член Военного

совета, дивизионный комиссар Николаев,— я должен был писать о войне на Севере и об этих людях, а думал о... Севастополе.

Устроился в гостинице «Москва». Сел за письменный стол и с утра до поздней ночи писал. Сдав очерки в редакцию, заехал в Николо-Песковский, в столовую Наркомата Военно-Морского Флота, и тут встретил человека, который одним из последних ушел из Севастополя, после того, как город заняли войска фон Манштейна.

Он выглядел настолько изможденным, что я не сразу узнал в нем того блестящего морского командира, с которым познакомился еще в июне 1941 года в Москве, в этой же столовой. Он тогда выделялся манерой держаться с особой, не подчеркнутой, естественной флотской элегантностью. Одет был изысканно — тужурка и брюки сшиты, по-видимому, у отлично знающего свое дело военного портного.

Это был человек незаурядной судьбы. В тридцатых годах он был старпомом на миноносце. Затем добровольцем воевал в Испании. Незадолго до войны с гитлеровской Германией получил назначение на должность военно-морского атташе в одну из европейских стран.

После нескольких лет жизни за границей в мае 1941 года приехал в отпуск. Съездил к родителям в Пензенскую область, а от них — в Ялту, в санаторий. Из Ялты возвратился в субботу 21 июня, а в понедельник 23 июня собирался за рубеж, к месту службы. Но последний поезд из Москвы на Берлин отошел с субботы на воскресенье, ночью 22 июня...

В течение первой недели войны, которая ошеломила всех и которую никто не хотел принимать и понимать, его еще можно было видеть в столовой потягивающим ту же дорогую английскую трубку «Донхилл», в которой пахуче дымился «Кепстен», а потом он куда-то вдруг исчез.

В августе, будучи в командировке на Черноморском флоте, я неожиданно встретил его в Севастополе.

В то время он занимался вместе с коммодором Фоксом испытанием английских электрических тралов для подрыва немецких донных неконтактных мин, которыми, по выражению минеров, севастопольский рейд был насыщен, как суп фрикадельками.

Нам тогда не удалось поговорить обстоятельно — я спешил: катер с крейсера «Красный Кавказ», на котором мы с Хамаданом должны были отбыть в осажденную Одессу, уже стоял у пристани. Мы условились встретиться после моего возвращения из Одессы.

Но когда я вернулся из Одессы, капитан-лейтенанта в Севастополе уже не было — он улетел в Москву.

Прошло больше года. Сколько событий свершилось за это время на наших глазах! Я давно забыл думать об этом моряке, втайне считая, что он погиб. И вот встретились!

На нем вместо изящной тужурки китель толстого сукна, брюки с клапанами на боках, как у краснофлотцев. Но хоть китель и не был изящным, зато два ордена Красного Знамени на левой стороне груди и лесенка нашивок за ранение на правой придавали моему знакомому боевой вид, который для строевого командира был дороже изящества и галантности! Он был и в звании повышен: на рукавах его кителя к двум средним шевронам прибавился третий средний.

Встретились мы в той же комсоставской столовой на Николо-Песковском. Капитан III ранга сидел за столиком один и ел левой рукой — я не сразу заметил, что правая у него на перевязи.

После обеда мы сели в раздевалке на диванчик. Он набил свой «Донхилл» самосадом и закурил.

Отвечая на мои вопросы (что у него с рукой и где он пропадал целый год?), он избегал подробностей, а для меня было важно именно это. Когда я сказал ему, он усмехнулся и неожиданно ответил по-английски:

— Мей би (т. е. может быть.— *П. С.*), когда-нибудь и расскажу подробно, а теперь ни настроения, ни времени.

Выпустив густую струю табачного дыма, он сказал лишь о том, что после испытания электротралов был в Москве, потом снова очутился на Черном море, участвовал в феодосийском десанте, был ранен, лежал в госпиталях в Сочи и Тбилиси, после излечения вернулся в Севастополь и ушел оттуда 3 июля на рыбацком сейнере и, указав на руку, а затем на глубокий шрам на голове,

сказал, что был ранен во время этого перехода. Теперь предстоит несколько операций на руке, чтобы восстановить подвижность пальцев.

Конечно, для меня этого было совершенно недостаточно. Я утащил его к себе в гостиницу «Москва».

Бутылка армянского коньяка «Двин» разговорила его. Отпивая на европейский манер крохотными глотками, он причмокивал, восклицая то по-русски: «Великолепно!», то по-английски «Tops!» — высший класс!

В этот вечер он был в ударе и рассказывал с подробностями, живо, а иногда представлял все в лицах. Мы встречались с ним не раз потом, и наконец у меня составилась картина последних дней обороны Севастополя.

День 29 июня 1942 года начался в Севастополе намного раньше астрономического времени. В 2.00, как говорят военные, жители были разбужены оглушающим грохотом артиллерийских залпов и гулом тяжелых бомбардировщиков: началось последнее и решающее наступление немецких войск. Да, именно в этот час начальник артиллерии 54-го немецкого армейского корпуса генерал Цукерторт ввел в действие всю свою артиллерию, а корпус располагал 54 батареями тяжелой и большой мощности, 41 батареей легкой артиллерии, 18 минометными батареями и двумя дивизионами самоходных установок.

К артиллерии генерала Цукерторта в эту тяжелую для севастопольцев ночь присоединились 25 батарей тяжелой артиллерии большой мощности, а также 25 батарей легкой артиллерии, 6 минометных батарей, один дивизион самоходной и еще два дивизиона артиллерии инструментальной разведки генерала Мартинека, начальника 30-го армейского корпуса.

Надо сказать, что среди пушек большой мощности имелись батареи гаубиц и мортир, их калибр 305, 350 и 420 мм. Были также и два орудия, калибр которых достигал 600 мм! И особое место занимала «Дора» — «дочь» крупповских артиллерийских заводов. Ее калибр — 813 мм. Она была изготовлена в Эссене. В Севастополь прибыла на шестидесяти железнодорожных составах. Ее размеры волновали воображение: ствол тридцатиметровой длины, лафет достигал высоты трехэтажного дома. Снаряд весил 6800 кг. Начальная скорость

его полета — 700 м/сек. «Дора» пробивала железобетонный блок толщиной 7 м 32 см и броневую плиту метровой толщины!

В штате у этой «госпожи» насчитывалось до 1500 человек, или, как принято говорить в обществе пушкарей, артиллерийской прислуги. От возможных ударов нашей авиации ее прикрывали два дивизиона зенитных пушек.

Насколько мне известно, гигантской пушке не довелось показать себя под Севастополем. Через три года — в мае 1945 года — она попала в плен нашим войскам в Саксонии, в г. Риза, уже в размонтированном виде — ее «детали» были расположены на нескольких специальных железнодорожных составах. Ствол занимал целый поезд. Сообщивший мне об этом гвардии полковник В. Миндлин, пребывающий ныне в отставке, не только сфотографировал «Дору», но и исследовал ее размеры: обладая ростом в 180 см, чуть-чуть согнувшись и присев, он свободно поместился в стволе — в казенной части этого уникального орудия...

Однако вернемся к последним дням июня 1942 года, к дням беспримерных испытаний, выпавших на осажденный Севастополь.

...Под ошеломляющий гром пушек и пришедшей на помощь их разрушительной силе 8-й воздушной армии, которой командовал известный своей жестокостью генерал фон Рихтгофен, произошло то, чего больше всего боялся командующий Приморской армией генерал Петров,— фон Манштейн начал переброску своих войск через Северную бухту, в направлении Троицкой, Георгиевской и Сушильной балок. Во время переправы немцев наши артиллеристы и стрелки потопили несколько десантных лодок и катеров с солдатами. Но это, к сожалению, не отразилось на высадке немецкого десанта — войскам фон Манштейна удалось зацепиться за берег Южной стороны. С занятием немцами плацдарма на Корабельной стороне, где сосредоточены почти все основные предприятия города — доки, мастерские, электростанция, Морской завод, а также госпиталь и флотский экипаж, наступило угрожающее положение для Севастополя.

Продвижение противника пытались остановить бойцы сильно поредевшей 79-й стрелковой бригады полковника Потапова, 2-го Перекопского полка подполковника Тарана и тоже сильно изреженной в боях у станций

Мекензиевы Горы 138-й стрелковой бригады майора Зелинского.

Эта бригада была доставлена в Севастополь из Новороссийска в ночь на тринадцатое июня на крейсере «Молотов» и эсминцах «Бдительный» и «Безупречный».

На пути к Севастополю корабли были атакованы 24 самолетами-бомбардировщиками и самолетами-торпедоносцами. Корабельные артиллеристы-зенитчики мастерски расстроили это нападение. Крейсер и эсминцы, на борту которых находилось 2665 бойцов, двенадцать 76 мм орудий, четыре 76 мм гаубицы, двенадцать противотанковых пушек и около 600 т различных грузов, благополучно были проведены кораблями лоцманской и конвойной службы в Северную и Южную бухты, где быстро разгрузились, приняли раненых и до рассвета покинули Севастополь.

...Возможно, что после вышесказанного у некоторых читателей возникнет вопрос: зачем это автор так подробно и скрупулезно излагает и сложность перехода военных кораблей в осажденный Севастополь, и количество воинов, которых они доставляли туда, и не забывает даже упомянуть о количестве перевезенного оружия и других разных грузов?

Я не испытывал по этому поводу ни тогда, когда записывал в свой блокнот эти цифры, не испытываю и теперь никакого чувства неловкости! Без цифр на войне, да еще такой, какая была там, на крохотном пространстве Гераклейского полуострова, в раскаленные дни июня 1942 года, обойтись невозможно: только в июне корабли и транспорты Черноморского флота совершили в Севастополь 121 рейс. Они привезли туда 23 500 бойцов и командиров, 11 300 т боеприпасов и продовольствия, около 600 т бензина, 100 орудий и минометов, 6500 винтовок, автоматов, пулеметов, вывезли из города 25 157 раненых и эвакуированных граждан.

Ежесуточно расход боеприпасов в городе составлял 580—600 т, корабли же Черноморского флота в этой очень сложной обстановке доставляли в сутки в среднем не более 120—200 т, что приводило к истощению запасов и снижало огневое сопротивление наших войск. Отважные подводники в течение третьего штурма сделали 77 рейсов в осажденный Севастополь и доставили его защитникам 3300 т боеприпасов и продовольствия, 573,1 т бензина.

30 июня подводные лодки «Л-23» и «Щ-109», лежа на грунте у мыса Феолент, в продолжение всего дня подвергались бомбардировке. С 1 по 4 июля на пять подводных лодок 1-й бригады немцы сбросили 3898 бомб, причем фиксировались только близкие разрывы. В эти же дни 12 подлодок подверглись преследованию в среднем каждая по шесть раз. Акустики лодок зафиксировали 6888 взрывов глубинных бомб и снарядов. Только на подводную лодку «Д-4» было сброшено 789 глубинных бомб [1].

Цифры... Цифры... Их можно расставить в ряд или выстроить столбиком — они есть, они существуют в архивах! Интенданты и военные писари заносили их в соответствующие документы, и поэтому можно в любое время узнать, сколько оружия, боеприпасов, медикаментов, продовольствия и даже какие пополнения были доставлены в осажденный Севастополь.

А вот о том, сколько пало и сколько утонуло в эти кошмарные дни у берегов Херсонесского мыса, уже никто не скажет. Не найдем мы ответа и на вопрос, сколько обессиленных, голодных, залитых кровью, изнывавших от жажды бойцов было взято в плен, или добито специальными фашистскими командами, носившими на груди бляхи с изображением скелета.

В последние дни июня и первые дни июля 1942 года только узкая полоса Херсонесского полуострова да прибойная зона обрывистого берега, с редкими нишами были в руках усталых, голодных защитников Севастополя. Одни из них жили надеждой поскорей попасть на подходившие с Кавказа корабли, где им перевяжут раны, дадут воды, а может быть, помыться и поспать. Другие с безумством храбрых пытались прорваться сквозь густые цепи противника в крымские леса — к партизанам. Но шансов было так мало, что и те, кто бросался в воду с тем, чтобы доплыть до дрейфовавших катеров и тральщиков, и те, кто в сумерках, затаив дыхание, ползли через немецкие порядки, не достигали цели: вся прибойная полоса давно уже была под прицельным и очень плотным огнем немецкой артиллерии, а на холмах от Стрелецкого рейда и до Балаклавы все было забито войсками — тут не было щели даже с игольное ушко.

---

[1] «Героическая оборона Севастополя 1941—1942 гг.», Воениздат, М., 1969, стр. 292.

Оставшиеся вживе и уведенные по кровавым дорогам на чужбину, а также те, кого навеки приняли севастопольские холмы и воды,— занесены в графу — «без вести пропавших».

Без вести пропавший — что же это такое?!

После выхода в свет «Севастопольской хроники» мне посыпались письма — спрашивают, не видал ли я такого-то, не знаю ли, как сложилась судьба Н.? Хотя я вылетел с Херсонесского полуострова за два дня до прекращения организованной обороны Севастополя, крохотный кусочек земли у моря был уже похож на кратер действующего вулкана, тут было не только не до встреч, но и передвигаться невозможно. Что я мог ответить?! Однако письма шли и шли.

Сын Алексея Даниловича Шевченко — военкома эсминца «Бдительный»», потопленного немецкой авиацией в Новороссийском порту 2 июля 1942 года, пишет: «...Меня интересует судьба моего отца Шевченко Алексея Даниловича, комиссара эсминца «Бдительный»,— где он похоронен? По одним источникам — он погиб с кораблем, по другим, его, обгорелого и слепого, но живого, отвезли в госпиталь, в какой неизвестно. По третьим, он погиб на Малой земле. Если Вас не затруднит, то сообщите, что Вам известно. Шевченко Федор Алексеевич».

Аналогична и просьба Виталия Маленко. Его отец служил на лидере «Ташкент», который погиб в Новороссийске, в тот же день и в тот же час, что и эсминец «Бдительный».

Скоро минет сорок лет с того дня, как сын бывшего заместителя начальника ПВО Главной базы Черноморского флота майора Калинчика Сергея Осиповича разыскивает место гибели отца. Ему удалось лишь узнать, что отец в конце июня 1942 года был ранен в плечо и живот и направлен на 35-ю батарею на мыс Херсонесский. А что случилось с его отцом там, у городка батареи,— никто не знает.

Евгения Степановна Нестерова слушала по радио «Литературную передачу» — читался отрывок из «Севастопольской хроники», и ей послышалось, что было упомянуто имя Виктора Сёмина... «Мое сердце,— пишет она,— дрогнуло. Я думаю, что это мой брат, пропавший без вести. Для меня он дорог. Прошу сообщить: может быть, кто знает его — жив он? Или кто укажет могилу? К сему Нестерова (Сёмина)».

Пропал без вести военврач II ранга Аркадий Зиновьевич Бовшовский. Вместе с Приморской армией он провел всю осаду Одессы и затем всю оборону Севастополя. Последнее письмо от него было датировано 27 июня 1942 года.

«Пропавший без вести» — так что же это такое?

И Шевченко, военный комиссар с эсминца «Бдительный», и Маленко с «Ташкента» погибли на своих кораблях, затопленных немецкой авиацией. Но водолазам не удалось разыскать их тела, и они попали в графу «пропавших без вести».

«Без вести пропали» и те, кто кинулся в воду, чтобы доплыть до катера у мыса Херсонесского, и те, кто был добит эсэсовцами, потому что тяжелые раны обессилили их — они не могли ни двигаться, ни сопротивляться. Пропавшими без вести числятся и те, кто был пристрелен по дороге в лагеря....

Никто не знает, сколько защитников Севастополя попали в плен и сколько из них выжили в тяжелейших, нечеловеческих лагерных условиях. Неизвестно также и то, скольким из них довелось после войны вернуться домой,— страна велика. Но знаю, что в некоторых военкоматах им до сих пор не вручены медали «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя», которые они заслужили. Обиды нанесены.

В некоторых военкоматах так отвечают, когда человек приходит за медалью: «Мы не знаем, где ты был в конце обороны!»

А если б по-человечески отнестись, то ведь можно было бы и узнать, где мог быть солдат в конце обороны Севастополя,— обстановка там создалась невероятно сложная.

28 июня немцы заняли почти всю Корабельную сторону — весь город простреливался артиллерией, под огнем держались все сектора обороны, все бухты: Стрелецкая, Камышевая, Казачья и весь берег в районе 35-й батареи.

К вечеру 29 июня бои шли уже у подножия Малахова кургана и у казарм флотского экипажа. Усилились бои и в других секторах, куда немецкое командование бросило крупные соединения танковых войск и авиации.

Положение осложнялось — на многих наших батареях не хватало снарядов, а на иных и вовсе, кроме «практических», то есть кроме болванок для практиче-

ских стрельб, в артиллерийских двориках ничего не осталось.

Ураганный огонь артиллерии противника и непрерывные налеты бомбардировочной авиации приносили большие разрушения и выводили из строя многих защитников Севастополя — войска, оборонявшие город, вынуждены были отходить на новые рубежи. Немцы шли за ними по пятам.

Воины и мирные жители Севастополя в эти часы, часы грозной опасности, больше чем когда-либо жили надеждой на то, что Большая земля не оставит их — придут, непременно придут корабли, доставят пополнение, снаряды, и немец будет вышиблен из города, и восстановятся прежние позиции.

В течение дня разрушительные удары немецкой артиллерии и авиации нарастали, и весь город оказался в огне и окутался черным дымом пожаров.

Ночью пожары полыхали почти повсеместно, слышались крики, на некоторых участках под покровом темноты немцы пытались продвинуться вперед. Моряки и бойцы Приморской армии встречали их врукопашную.

Тяжелое положение вынудило Штаб Севастопольского оборонительного района во главе с вице-адмиралом Октябрьским оставить Флагманский командный пункт (ФКП) на Телефонной пристани и перебраться в район Херсонесского мыса, в помещения 35-й батареи береговой обороны, где был предусмотрен запасный командный пункт.

Это было сделано настолько поспешно, что многие организации службы флота не были предупреждены.

30 июня, свернув свой штаб в Карантинной бухте, генерал Петров также отошел на 35-ю батарею. Покинул свой командный пункт и городской Комитет обороны.

После ухода штабов на Херсонесский мыс из города туда же потянулось и население. Дорога к Камышевой бухте с каждым часом становилась не только непроезжей, но порой и непрохожей: поток, состоявший из стариков, женщин, детей, раненых, отходящих воинских

частей, штабов разных служб и организаций, густел. Машины шли цугом.

Над этим потоком стояла столбом пыль и висел неумолчный крик. Немецкая авиация снижалась до предела и с каким-то садистским усердием обстреливала из пушек и пулеметов безоружных людей.

После каждого налета самолетов на серой дорожной пыли ленточками растекалась кровь. Убитых оттаскивали в стороны — некому было заниматься погребением. Да и поток не мог задерживаться — он тек из города к Херсонесскому мысу, как лава из горящего кратера вулкана.

...В тот же день на 35-й батарее, на запасном командном пункте, состоялось последнее заседание Военного совета Севастопольского оборонительного района. На нем присутствовало все морское и армейское начальство. Заседание открыл вице-адмирал Октябрьский. Он сообщил собравшимся о том, что в связи с создавшимся положением им были посланы телеграммы наркому Военно-Морского Флота адмиралу Н. Г. Кузнецову, командующему Северо-Кавказским фронтом маршалу С. М. Буденному и члену Военного совета фронта адмиралу И. С. Исакову с просьбой разрешить в ночь с 30 июня на 1 июля вывезти самолетами 200—300 ответственных работников и командиров на Кавказ, а также разрешить и ему вернуться к флоту.

Адмирал Н. Г. Кузнецов ответил согласием.

Вице-адмирал Октябрьский положил телеграмму на стол и медленно обвел усталым взглядом всех сидевших в душном помещении батареи. Затем спросил И. Ф. Чухнова и М. Г. Кузнецова — членов Военного совета Приморской армии, кого они могли бы предложить для руководства оставшимися на Херсонесском полуострове частями.

Дивизионный комиссар М. Г. Кузнецов назвал командира 109-й стрелковой дивизии, начальника сектора обороны Херсонесского полуострова, генерал-майора Новикова П. Г.

Никто не возразил против этой кандидатуры.

Вице-адмирал тем же негромким, как будто у него недоставало сил, голосом сказал: «Добро!», закрыл заседание и вышел с дивизионным комиссаром членом Военного совета Черноморского флота Н. М. Кулаковым из батареи.

Это было самое короткое заседание Военного совета Севастопольского оборонительного района за все время его существования.

Через несколько минут вице-адмирал был уже на Херсонесском аэродроме, а еще через несколько минут самолет нес его в черном небе, среди рыскающих огней прожекторов и трассирующих снарядов, на Большую землю....

...Петров задержался, хотя его уже несколько раз звали, а кто-то даже, взяв аккуратно за локоть, просительно торопил: «Пора! Пора, товарищ командующий!»

Генерал хотел ответить на это, что никакой он теперь не командующий, но смолчал и лишь спросил: «Где же генерал Крылов?» Ему ответили, что генерала Крылова доставят на другой корабль. Он хотел еще спросить, не видел ли кто его сына. Но снова услышал чей-то теперь уже не просительный, а понуждающий голос: «Пора! Пора, товарищ генерал!»

Смятенный, шел он по узкой и душной потерне — подземному ходу батареи, выходившему к прибойной полосе бухты. Когда кончился подземный ход и он оказался под открытым небом, тут наконец глотнул свежего воздуха и слегка опьянел от него. Рядом шел комендант береговой обороны генерал-майор П. А. Моргунов, с которым он много месяцев работал и жил в одной штольне.

Катер доставил их к подводной лодке «Щ-209». Когда генералы переходили по сходне на подводную лодку, Петров сказал: «Разве мы думали с тобой, Петр Алексеевич, что так кончим оборону Севастополя?»

Моргунов только качнул головой в знак согласия, но ничего не сказал.

Спускаясь в узкое круглое горло лодки и нашаривая ногой ступеньку скобтрапа, командующий дивился, как это моряки ухитрялись через эту дыру грузить в лодку муку, бензин, ящики со снарядами и принимать раненых.

Вслед за И. Е. Петровым и П. А. Моргуновым внутрь лодки спустились члены Военного совета армии дивизионный комиссар И. Ф. Чухнов и бригадный комиссар М. Г. Кузнецов, а за ними комиссар береговой обороны бригадный комиссар К. С. Вершинин. В течение нескольких минут лодка приняла свыше шестидесяти человек.

Тотчас же после приемки людей была дана команда: «Задраить люк!», заработали механизмы, лодка отошла от берега и по команде: «Срочное погружение!» — опустилась на предельную грубину.

...Рассказчик мой, капитан III ранга в разгаре этих событий выполнял особое задание и поэтому о решении командования ничего не знал. Осыпанный пылью, мокрый от пота, умиравший от жажды, он заскочил на Телефонную пристань — узнать, что делать дальше,— на Флагманском командном пункте не было никого.

Поднялся наверх, в город,— навстречу быстрым маршем прошел отряд бойцов и несколько человек, кативших на руках куда-то пушку. Он остановил встречную машину, спросил, куда она идет, ответили — в Камышевую и добавили, что штаб флота перебазировался туда.

Доехал до Карантинной. Тут в грузовичок, на котором он ехал, попал снаряд, и тот приказал долго жить. Дальше капитан III ранга пошел пешком, в потоке пешеходов, машин и повозок.

В Камышевой людской поток уперся в воду, дальше ни идти, ни ехать — впереди море.

Красноармейцы, краснофлотцы, гражданское население, раненые. Шум. Гул. Крики. К причалу не пробиться. Походил-походил, да и взял курс на 35-ю батарею. Там он пробрался к телефону. У аппарата оказался оперативный работник штаба флота. Капитан III ранга доложил о выполнении задания и спросил, как быть дальше.

— Вечером придут корабли, всех заберут. Ждите!— ответил тот и повесил трубку.

Значит, нужно было прожить эту ночь, а потом целый день — с утра до ночи. И лишь тогда придут корабли.

Ночь казалась невероятно длинной. Он притулился у стены и тут же уснул. Проснулся от близкого разрыва крупной бомбы — земля под ним затряслась, как в лихорадке.

Когда самолеты ушли, со стороны Балаклавы послышалось ржание лошадей.

Было раннее розовое утро. У них в Пензенской области такими утрами в начале июля делают пробный покос озимых. Ржание снова послышалось. Значит, ему не показалось, на самом деле где-то лошади. Странно — среди рева самолетов, грохота артиллерийских залпов

и грома разрывов бомб и снарядов вдруг робко-тревожное ржание лошадей!

Глядя на медленный рассвет, капитан III ранга подумал: а что он будет делать целый день? Немцы жмут со стороны Балаклавы. Их сдерживают 109-я стрелковая дивизия генерала Новикова и 9-я бригада морской пехоты, славившиеся своей стойкостью.

На рассвете он покинул свое место под навесом батареи и пошел в Казачью бухту посмотреть, что там делается, а оттуда в Камышевую.

...Мы продолжали встречаться с капитаном III ранга — у него еще было три дня до операции. За день до нее между нами произошел разговор, которого я не ожидал. Капитан III ранга, прежде чем ответить на очередной мой вопрос, вдруг спросил: «Вы думаете печатать это?» Я ответил, что о публикации говорить рано. Он неопределенно улыбнулся и, чуть сощурив глаза, сказал: «А нельзя ли хоть одним глазом посмотреть, что вы там сочиняете?» Я дал ему свои записки. Читая, он то насупливал брови, то поднимал их высоко, шевелил губами. В одном месте вдруг расхохотался и сказал: «Ну и фантазия же у вас, писателей! Откуда вам известно, что в то утро я думал о пробном покосе озимых в Пензенской области?» «От вас»,— сказал я. «А впрочем,— произнес он,— может быть, я действительно думал об этом — времени свободного было столько! Припоминаю: когда немцы обложили 35-ю батарею, я находился недалеко, и первое, о чем подумал, — это: представляют ли мои родители, где я? Чуют ли, как около их сына волчьей стаей носится смерть?»

Мало ли о чем думает человек в такой ситуации!

В глазах его была заметна сосредоточенность, как будто он вглядывался туда, в те первые июльские дни сорок второго года, в объятый огнем Гераклейский полуостров, где каждый час, каждую минуту русские моряки и солдаты творили подвиги и каждый час умирали и рождались новые герои.

Когда капитан III ранга чистил свою трубку, губы его шевелились. Вычистив и набив ее табаком, он поднял на меня глаза и продолжал:

— Обстановка — хуже не придумаешь. Чтобы вывезти людей с Херсонесского мыса и из Камышевой и Казачьей бухт, надо было иметь либо сивку-бурку, вещую каурку, либо пригнать с Кавказа все надводные и под-

водные силы Черноморского флота. Первого и второго июля к бухтам подошли подводные лодки, тральщики и катера.

Всю ночь без сна, а катера так и не подошли. С рассветом нашел местечко, лег. Думал, усну — за ночь-то намучился,— но не тут-то было! Сон как от стенки отскакивал, а в голову лезло черт те что. На судьбу свою жаловался: что же я, командир боевого корабля, вместо того чтобы на мостике стоять, на берегу околачиваюсь.

Долго казнил себя, а потом незаметно уснул. Не знаю, сколько я спал, только отчетливо слышу: «Товарищ капитан III ранга! Товарищ капитан III ранга!» Приснилось, наверно? А голос все зовет и зовет. Значит, думаю, не сон. Хочу открыть глаза, а веки как чугунные заглушки на иллюминаторах. Открыл чуть-чуть—вроде никого. Открыл, как говорит мой дед, «поширше» — около меня старшина. «Чего вам?» — говорю. Он наклоняется ко мне и спрашивает, могу ли я судно вести. «Могу,— отвечаю.— А что за судно?» Старшина засиял. «Идемте,— говорит,— товарищ капитан III ранга, покажу!»

В Казачьей рос камыш. Старшина раздвинул густые заросли, и я увидел притопленный рыбацкий сейнер. Мы взобрались на него и, кроме небольшой пробоины в носовой части, никаких серьезных дефектов не обнаружили. Надо было откачать воду, поставить сейнер на ровный киль, добыть продуктов, пресной воды, что касается команды, то в Камышевой и Казачьей матросов можно было набрать на крейсер.

Старшина попросил меня подождать его на сейнере, а сам ушел за командой.

Сказав эту фразу, капитан III ранга сделал небольшую паузу. Я думал, что он опять начнет возиться со своей трубкой — она у него часто гасла из-за плохого табака либо сипела, а иногда внутри раздавалось хрюканье. Но он вынул из нагрудного кармана часы и заявил:

— Не буду загружать вашего внимания излишними подробностями, время уже позднее. В общем, так: к ночи на четвертое июля все было готово — откачали воду, заделали пробоину, опробовали мотор, запаслись горючим, водой, продуктами. Кроме команды на борту было еще пятнадцать человек, преимущественно раненые. От



полуострова мы благополучно оторвались, как только стемнело. Немцы огня не открывали. Курс мы взяли на Батуми — решили идти стороной от тех путей, по которым ходили корабли. Это было почти в два раза длиннее: от Севастополя до Новороссийска двести одиннадцать миль, а до Батуми четыреста семнадцать! Но мы считали, что тут безопаснее. И ошиблись. Причем жестоко.

Переход длился десять суток. Нет, горючего у нас не только хватило, а даже осталось! Мы пережили четыре налета самолетов, похоронили в море пятерых товарищей, в течение недели, питаясь по нормам святого Антония, съели все. И что настоящей трагедией стало для

нас — полное отсутствие воды. Во время последнего налета немецкого самолета в бочонок с водой попал осколок.

Вода была лишь в трех фляжках, предусмотрительно припрятанных старшиной, как говорится, на пожарный случай. Три фляжки на пятнадцать человек! На каждого человека приходилось по столовой ложке в день. А пить хотелось так, что ни о чем другом не думали. Особенно страдали раненые, жажда мучила их из-за большой потери крови. А тут, как назло, перед глазами море, воды сколько хочешь!.. Вода снилась, и всегда почему-то льющаяся — то бегучим лесным ручьем, то у водопоя, когда вынутую из колодца холодную, мокрую бадью выливали в корыто...

На седьмой день, по моим расчетам, мы находились на траверзе мыса Цихис-Дзири, пора было сворачивать на Батуми. И вот тут показался самолет: Я решил — наш, патрульный, ведь тут рядом турецкая граница. Оказалось, то был немецкий самолет...

Капитан III ранга замолчал. Затем поднял забинтованную руку, покачал ею, указал еще на глубокий шрам на голове и сказал: «Вот результат этого налета!»

Он снова сделал паузу, поднялся со стула и закончил:

— Через три дня, за время которых мы схоронили еще четырех товарищей, нас наконец подобрал тральщик и привел в Батуми. Вот и все...

Шел второй час ночи, когда я вышел провожать «до трапа» моего гостя. Ему утром предстояло лечь в госпиталь, а мне лететь на Черное море.

...Город Поти с потерей Крыма и Новороссийска стал базой Черноморского флота: здесь стояла эскадра, квартировали различные флотские штабы, комендатура, морские и береговые службы. Сюда был эвакуирован Севастопольский морской завод, госпиталь, офицерский клуб. Поти стал многолюден, а его небольшая гостиница «Колхида», воздвигнутая еще до революции, была переполнена, как река Риони лягушками. Из-за огромного количества лягушек в Риони кто-то шутя окрестил Поти «Квакенбургом». Для меня город оказался весьма щедрым — столько людей встретил! Да и на кораблях побы-

вал: на эсминце «Сообразительный», на подводной лодке у капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани, человека, родившегося в горах, а отдавшего себя морю. Здесь же, в Поти, я познакомился с одним офицером с подводной лодки «Щ-209», от которого и узнал подробности того, как «Щ-209», на которой в ночь на первое июля сорок второго года уходил из Севастополя генерал И. Е. Петров, сняла в море с катера начальника штаба Приморской армии генерала Н. И. Крылова и сына генерала Петрова.

В тот час, когда «Щ-209» принимала на борт с рейдового буксира, в районе 35-й батареи, командование Приморской армии во главе с генералом И. Е. Петровым, а также штаб коменданта береговой обороны во главе с генералом Моргуновым, сын генерала, Юрий Петров, расхаживал тут же по берегу в районе 35-й батареи — он не был в списке «двухсот — трехсот» ответственных работников и командиров, которым было разрешено эвакуироваться на Кавказ.

Здесь его и обнаружил начальник штаба Приморской армии генерал Н. И. Крылов. Причем случайно увидел с борта собиравшегося уже отойти катера, на который самто он попал в последний момент благодаря ловкости матросов: его принесли на берег на шинели (генерал еще не долечился после тяжелого ранения), раскачали и бросили на руки команде катера. Вот отсюда и увидел генерал Крылов лейтенанта Юрия Петрова — в это время по берегу прошелся луч немецкого прожектора. Крылов приказал взять на борт лейтенанта.

Все это случилось в тот час, когда «Щ-209», на которой находился командующий Приморской армией, с большим риском и осторожностью уже пробиралась в узком фарватере через минный пояс, прикрывавший Главную базу с моря.

В лодке стояла изнурительная духота. Пассажиры очень страдали — многие из них в последние дни работали до изнеможения. Однако всплыть, чтобы освежить воздух в помещениях, нельзя было: катера противника шли по ее следу, как волки, то и дело они сбрасывали глубинные бомбы, да не по одной, а сериями. Лодку подбрасывало огромной силой гидравлического удара, летели заклепки, гас свет. Экипаж с большим напряжением

вел лодку на заданной глубине через «Севастопольский лабиринт».

Но вот кончилось минное поле, отстали «волки», можно всплыть.

Когда «Щ-209» выходила на перископную глубину, в тот же квадрат вошел «морской охотник», перегруженный донельзя. Сигнальщики обнаружили лодку. Командир катера обратился к генералу с вопросом: как быть?

— Как быть?! — воскликнул генерал Крылов.— Следовать по курсу! В случае необходимости фашистскую лодку таранить!

Командир катера со словом «Есть!» взял под козырек и, получив разрешение идти, вернулся на мостик.

...Вода шумно слилась с лодки, и она, как птенец из скорлупы, вылупилась из моря. Открылся люк, и показались люди — командир, боцман, краснофлотец и генерал Петров.

Генерал не сразу заметил на катере, среди разношерстной толпы, сына. Зато сын увидел отца, едва тот показался из люка. Лейтенанту Петрову стоило немалых усилий, чтобы сдержаться, — так хотелось крикнуть: «Папа!»

Недолго подводная лодка и катер покачивались на одной волне: как только в лодку спустился генерал Крылов и вслед за ним несколько офицеров штаба Приморской армии и лейтенант Петров, горловина была задраена и раздалась команда: «Срочное погружение!»

Когда лодка скрылась, катер-«охотник» пересек то место, где она только что стояла, и пошел по тому же курсу — на восток!

...Эти три дня, пока подлодка «Щ-209» шла к Новороссийску, были не только изнурительными, но и самыми тяжелыми для генерала Петрова. Нет, не потому, что в лодке было мало кислорода, а его сердце, выдержавшее две осады, стало сдавать, и не потому также, что лодку продолжали преследовать и катера, и самолеты, они упустили ее где-то недалеко от минного поля, а теперь снова «нащупали» и продолжали колотить глубинными бомбами почти до мыса Такиль, то есть до самого входа в Керченский пролив,— все это для него теперь было лишь

своеобразным «фоном», а главным, что занимало его ум и сердце, был собственный «суд». Суд, в котором он был следователем, прокурором, защитником, судьей и обвиняемым одновременно.

Нескладно получилось: из Одессы удалось вывезти не только всю Приморскую армию, но и имущество, а тут...

Была ли ошибка с его стороны? Если была, то где он допустил ее?

Он обладал безотказной памятью, и она легко воспроизводила события как из прочитанного, так и пережитого. В лодке разговаривать не хотелось, да это и нелегко было бы, и, пользуясь тем, что никто не мешает думать, он, пытаясь понять и оценить последние дни обороны Севастополя, начал мысленно прослеживать все с самого начала войны, то есть с того момента, когда 27-й механизированный корпус, командиром которого он стал примерно за полгода до войны, получил приказ о мобилизации и марше на фронт.

Корпус был расквартирован в Средней Азии, но подчинялся не военному округу, а Москве непосредственно, поэтому из всех соединений Туркестанского военного округа именно этот корпус получил приказ и был в течение суток отмобилизован — такая здесь была постановка дела! Приказ был получен на третий день войны, через сутки корпус был готов к погрузке в эшелоны, а 1 июля был уже под Брянском.

Тут ему себя не в чем упрекнуть. Даже изменение маршрута продвижения и то не задержало их; им сначала дали такой маршрут: Куйбышев, Смоленск, Вязьма, Сухиничи, а в пути повернули с Челябинска на Южноуральск, потом на Саратов, через Волгу на Воронеж, оттуда на Курск, а с Курска на станцию Фоминскую. Не доезжая Брянска, встали, дорога была забита эшелонами. Вылез из штабного вагона. Рассвет едва брезжил, не успел как следует оглядеться, как была объявлена воздушная тревога. Самолеты летели над лесом прямо на эшелоны. Он едва успел отскочить к телеграфному столбу — началась бомбежка, первая в жизни; то там, то тут раздавались взрывы, и что-то горело. Генерал подумал, что весь эшелон расстреляют, но кончилась бомбежка, подсчитали результаты ее, и выяснилось, что раз-

бита будка стрелочника, убит железнодорожник и ранено два солдата. А казалось...

Однако не в его характере ждать. Да еще почти в западне — впереди эшелоны и позади тоже, а авиация немцев, почуяв добычу, бьет по путям. Генерал взял дрезину и через четыре часа был уже в Брянске. То, что он увидел тут, поразило его еще сильнее, чем на той станциешке, где застряли его эшелоны: все пятьдесят путей, от семафора до семафора, забиты. Комендант спит за столом. Генерал разбудил его.

— Что у вас делается?

— Товарищ генерал, ничего не знаю. Я уже семь суток не сплю, не знаю, где и что у меня делается. Одно несомненно — что станция забита так, что ее никакими мерами не разгрузишь.

Генерал спросил коменданта, может ли он собрать начальников эшелонов. Комендант заморгал слипающимися глазами и чистосердечно ответил:

— Не знаю.

— Тогда иди спать,— нестрого сказал Петров,— а я сам все сделаю. Иди спать! — повторил он тоном приказания.

— А что мне будет за это? — спросил комендант.

— Ничего не будет,— сказал генерал.— Забирайся в заднюю комнату и спи, пока не выспишься.

Генерал приказал сопровождавшим его работникам штаба корпуса найти и собрать всех командиров эшелонов и командиров полков.

— Да,— добавил он,— не найдете начальников — давайте заместителей командиров частей, какие попадутся.

Из окна комендантского помещения были видны эшелоны с танками, эшелоны с горючим и по соседству парк артиллерийский, машины, нагруженные снарядами; полно людей в эшелонах, и все впритирку. «Вот будет каша,— подумал он,— если налетит авиация!»

Через час была собрана огромная группа начальников и началась разгрузка станции. К вечеру станцию было не узнать: треть эшелонов была выведена на разъезды, другую часть подали вперед, свой корпус генерал решил вести маршем.

К вечеру станция хотя и не совсем, но разгрузилась. В сумерки прилетели «юнкерсы», бомбежка была ожесточенная, но она не принесла большого вреда — войска

своевременно отошли от станции. После налета генерал построил корпус и повел его к месту назначения. Долго не мог найти штаб армии, а когда разыскал, то начальник штаба армии объявил, что имеет предписание расформировать 27-й корпус — все его дивизии расходятся по другим соединениям, а штаб корпуса расформировывается. Генералу Петрову надлежит явиться в Москву.

Разговор с генералом армии, начальником Генерального штаба и заместителем наркома обороны Г. К. Жуковым был коротким: Жуков понимал, что Петрову жаль было расставаться с корпусом, но что было делать... Утешать не было времени, да и не любил он этого.

— В общем,— сказал он,— поедешь в Одессу командовать первым механизированным корпусом.

— А как добираться туда? — спросил Петров.

— Тебе укажут.

— А точнее?

— Чего ты спрашиваешь,— уже с оттенком недовольства сказал Жуков,— учить тебя, что ли?

Он пожелал успеха, жестко и как-то очень энергично пожал руку Петрову, — мол, визит окончен,— сел за стол.

В приемной сидел Рокоссовский. Петров был знаком с ним. Разговорились. Рокоссовский уже был в боях с немцами. В Москву вызван за новым назначением. Петрову очень хотелось расспросить его, что из себя представляет противник в бою. Условились: как только Рокоссовский освободится, пойти в ресторан гостиницы «Москва» и вместе пообедать.

...Четыре часа просидели генералы в ресторане. У Рокоссовского был с собой планшет, и он на карте показал, как проходило первое крупное сражение с гитлеровцами, сражение под Луцком, в котором участвовали наши танки. О еде генералы вспомнили, когда все уже остыло.

На следующий день генерал Петров возвратился в штаб корпуса. Сдав дела, взял с собой коменданта походного штаба, шофера — и в Одессу.

...Три эшелона сменили: с одним добрались до Харь-

кова, а другим — до Полтавы, а с третьим чуть-чуть не доехали до места — он застрял на крохотной станции. Тут Петров заметил на запасном пути салон-вагон, спросил у коменданта: «Чей?» Тот пожал плечами. Вагон был, правда, без прислуги, но находился в отличном состоянии, комендант дал паровоз.

Почти всю дорогу до Одессы над ними висела авиация противника. Были рады, когда наконец-то очутились на одесском вокзале. Красивый, просторный, южный вокзал был пуст. Над ним тоже побывали самолеты противника: в крыше зияли дыры, и стены и перроны были попорчены бомбами. Петров приказал осмотреть вокзал. При обходе нашли нескольких служащих, жавшихся под тяжелыми, толстыми арками. С помощью этих служащих собрали всех. Генерал успокоил их и приказал привести в порядок вокзал: убрать мусор, осколки стекла и открыть все службы.

Не прошло и часа, как все задействовало: открылись парикмахерская, ларьки, буфет, билетная касса; на своем месте появился дежурный, заработал телеграф, даже открылась камера хранения,— словом, вокзал заработал снова.

Генерал побрился, позавтракал и пешком отправился в штаб группы войск, расквартированных в Одессе.

Первого механизированного корпуса в Одессе не оказалось, он был не то в Дубоссарах — небольшом городке на Днестре, в ста пятидесяти километрах от Одессы, не то в Первомайске.

Петров покидал штаб с неприятным осадком в душе. Недалеко от штаба увидел гараж, в котором стояли наготове машины. Начальник гаража спросил, надолго ли и какая нужна генералу машина. Петров ответил — ненадолго, часа на три-четыре. Начальник гаража дал штабной грузовик с запасом бензина. Петров предупредил водителя, чтобы тот взял с собой личные вещи. Шофер посмотрел на генерала с испугом: «Разве поездка надолго?» Петров сказал, что на войне всякое может быть.

Дубоссары были уже в руках у немцев. В Первомайске корпуса не оказалось, сказали, что в последнее время он находился в Белой Церкви. Машина помчалась туда и чуть не угодила в расположение противника. При-

шлось возвращаться в Первомайск, там находился штаб фронта.

Петров явился к командующему фронтом генералу армии Тюленеву: дальнейшие поиски корпуса — занятие явно бессмысленное.

У Тюленева в кабинете находился армейский комиссар Запорожец.

— Зачем прибыли? — спросил командующий тем тоном, каким начальствующее лицо разговаривает с подчиненным, когда дела идут плохо, когда сверху, как из рога изобилия, сыплются нетерпеливые запросы и «фитили» и по «ВЧ», и с нарочными.

Петров объяснил, что он уже четыре дня ищет корпус по указанным адресам и всюду натыкается на немцев. Вот поэтому и явился сюда за назначением.

— Какое я вам назначение дам? — сказал командующий фронтом, недоуменно вскинув плечи.— Вот разве что начальником охраны тыла фронта.

Петров с удивлением, широко раскрытыми глазами посмотрел на генерала армии.

— Товарищ командующий,— с трудом справляясь с дыханием, сказал он,— по-моему, это даже оскорбительно!

— Ну что ты,— улыбнулся Тюленев,— это же генеральская должность, спокойная работа.

Петров вспылил:

— Меня двадцать пять лет учили воевать, а не охранять тыл фронта.

Ответ Петрова возмутил армейского комиссара Запорожца, он резко проговорил:

— Ишь какой занозистый! Воевать хочет! Дать ему самую задрипанную дивизию!

Голова у Петрова затряслась, и он выпалил:

— Ну, если у вас на фронте задрипанные дивизии, то не удивительно, что фронт бежит.

Что тут было! Потом, когда обе стороны успокоились, командующий подошел к Петрову и примирительно сказал:

— Вот что. Ты — кавалерист. Езжай в Одессу и принимай Первую кавалерийскую дивизию.

— Кто ею командует? — спросил Петров.

— Никто не командует. Только вчера прислали приказ о формировании. Поезжай, приступай к формированию...

Свет в подводной лодке «Щ-209» тусклый. Воздуху мало, все дышат тяжело, а курильщики страдают еще и оттого, что в лодке нельзя курить, и дышат с легким свистом. Кое-кто дремлет. Иные спят.

Глубокий сон свалил намучившегося за последние дни сына генерала. Он бормочет во сне. А отец, который пережил в эти дни во сто, а может быть, в тысячу раз больше сына, никак не может заснуть.

Зато думы, как тучи, густой чередой несутся, тревожат память, и он вспоминает все, что с ним было, когда, простившись с генералом Тюленевым, выехал на том же грузовичке в Одессу. Ехали очень осторожно, иногда отстаивались в пшенице, пока проходили войска, отходившие на восток.

На полдороге к Одессе, на шоссе, чуть не наткнулись на немецких мотоциклистов. Машину успели незаметно поставить в кусты, а сами рассыпались в цепь. Когда мотоциклисты приблизились, ударили из ручных пулеметов — двоих уложили, а пятеро, очумевшие от неожиданности и страха, удрали. Погрузили в машину мотоциклы, автоматы, у убитых взяли документы.

Для Петрова, да и не только для него, это был первый бой с гитлеровцами. Успех окрылил всех, а генералу напомнил пору молодости, когда он гонялся в Средней Азии за бандами басмачей.

Кавалерийская дивизия, которую должен был принять И. Е. Петров, не существовала. В одесских казармах гудело около пяти тысяч бывших кавалеристов, героев гражданской войны, из них нужно было с о з д а в а т ь — дивизию.

Петров приехал в казармы, прошелся по двору, завернул к коновязям, придирчиво осмотрел лошадей — они были хорошо ухожены. В общем, осмотр оставил хорошее впечатление. Но когда он зашел в казармы и увидел людей разных возрастов, всяк на свой вкус одетых, давно не сидевших в седле и не державших в руках винтовок и сабель, то представил себе, какой тяжелый труд предстоит ему, чтобы создать из старых конников современную боевую кавалерийскую дивизию.

Пять тысяч бывших кавалеристов, бывших воинов, из них надо сформировать взводы, эскадроны, полки. И во главе каждого подразделения поставить командиров, да

таких, которые могли бы не только подавать команду, но и вести современный бой.

Генерал приказал построить дивизию. И когда люди встали в строй, вышел вперед, объявил, что он назначен приказом командующего Южным фронтом командовать Первой кавалерийской дивизией, и скомандовал:

— Дивизия! Слушай мою команду! Направо равняйсь! Смирно! Вольно!

Оглядел строй и крикнул:

— Все, кто служил в гражданскую войну и после гражданской войны в кавалерийских частях командирами полков, помощниками командиров полков, адъютантами, командирами эскадронов,— двадцать шагов вперед! Шагом марш!

Вышло довольно много народу и стали строиться в одну шеренгу.

Примерно за два часа был сделан расчет командного состава, а к вечеру рассортирован весь личный состав. Формирование дивизии шло и ночью: к утру оно было закончено, а к рассвету удалось получить оружие, а вслед за тем тачанки, повозки, грузовики, пушки, и к вечеру второго дня Первая кавалерийская дивизия была организационно связана, и Петров, докладывая об этом командующему Приморской группой войск генералу Чибисову, попросил разрешение с неделю «погонять» дивизию в поле. Генерал дал «добро».

После недели, проведенной в поле, дивизия была брошена в дело. Конечно, в ее первых боевых действиях обнаружились сбои, ошибки и неудачи. Были и потери из-за неопытности, что поделать! Война есть война, в ходе боев бывают потери, в которых ни полководец, ни солдаты не повинны.

Оборона Одессы строилась не сразу и с болью от напрасных потерь. Они были не только в этой, еще не накопившей опыта современной войны, дивизии, но и в других соединениях, где и боевая выучка находилась на той высоте, которую называют должной.

Первая кавалерийская дивизия уступала штатным. И это в какой-то мере закономерно; ведь возникла-то она неожиданно: в начале войны Семен Михайлович Буденный кликнул клич всем старым кавалеристам — буденновцам, котовцам и чапаевцам — собраться под боевые

знамена и встать на защиту Родины от фашизма, и они поскакали — кто в Одессу, кто в Полтаву, а кто и в Днепропетровск. Эти три города были назначены местами сборов. Кое-кто прибыл в шлемах-буденовках с крупными красными матерчатыми звездами, а иные даже с клинками.

В боях дивизия сплотилась, закалилась, набрала опыт, а один из ее полков вступил в бой с танками противника и из своих сорокапятимиллиметровых пушек подбил два танка, а танкистов взял в плен.

Когда кавалеристы берут в плен танкистов, это не счастливая случайность. Это подвиг. Подвиг, за которым таится глубокий смысл. Известно, что политики предусматривают стратегию войны, дают ей нравственное обоснование, военные определяют тактику, а народ берет на себя всю тяжесть кровопролитной борьбы с врагом. Народ знает одно: враг напал, Родина в опасности, ее надо защищать. И вот когда эта мысль становится достоянием каждого солдата, рождаются подвиги, один ярче другого...

За короткий срок генерал Петров сумел полюбить людей Первой кавалерийской дивизии, сохранивших от времен гражданской войны безумную отвагу и постоянную боевую готовность, но пришлось расставаться — его назначили командиром 25-й Чапаевской дивизии, занимавшей один из важнейших участков обороны под Одессой. 25-я Чапаевская стала под его командованием грозой для немецко-румынских войск. И с этой дивизией он расставался неохотно, хотя и шел на повышение — его назначили командующим Приморской армией, с которой он заканчивал оборону Одессы, а затем встал под стены Севастополя.

...В переполненной людьми подводной лодке время тянется мучительно медленно. Генерал не без зависти смотрит на своих заместителей, советников и помощников, так славно и с аппетитом похрапывающих, его же томят и жара, и воспоминания,— когда полководец не ведет за собой полки, он вспоминает о былых походах. А во время обороны Одессы и Севастополя генерал отлично спал в любой обстановке. Причем спал понемногу, так называемым освежающим сном. Ляжет на топчан, накроется шинелью и тут же заснет. Через час-полтора

вскакивает, как огурчик, и работает по шесть—восемь часов кряду. Это было и тогда, когда командовал дивизией и даже когда был командармом.

Военный совет не раз укорял его за то, что слишком рискует частыми появлениями на переднем крае. А он не мог без этого, побудет на переднем крае — и все равно что живой воды напьется. Больше всего его журили за случай, который вызвал восторг бойцов: на участке одного из полков, давно не выходившего из боев и вследствие этого сильно измотанного, создалась угрожающая обстановка — генерал взял пикап, приказал установить на нем два станковых пулемета, вскочил на подножку и, держась за дверцу кабины, помчался вдоль переднего края со строчащими пулеметами...

Воспоминания... Воспоминания... Он не ищет в них успокоения, но и не может остановить, оборвать их длинную нить. 17 октября 1941 года, после двух с лишним месяцев ожесточенных боев под Одессой, он во главе Приморской армии прибыл в Севастополь. Люди нуждались в отдыхе, а армия — в пополнении, снабжении оружием и необходимым войсковым имуществом. Однако в тот же день был получен приказ срочно грузиться в эшелоны и следовать на север Крымского полуострова, к Перекопу, где наши войска, оборонявшие Крым, не в силах были дальше сдерживать мощный, подобный лавине, напор 11-й немецкой армии. Она уже заняла Перекоп, и бои с новым ожесточением велись у Ишуни. Перевес в силах был на стороне противника — положение наших войск ухудшалось с каждым часом.

...Эшелоны останавливались на крохотных степных станциях севернее Симферополя. Кругом ни посадки, ни бугорка, ни овражка — ровная голая степь.

Разгружались с невиданной быстротой и, не дожидаясь прибытия артиллерии, скорым маршем двигались в сторону Ишуни.

22 октября первой из приморцев пошла в наступление 2-я кавалерийская дивизия, ее вел полковник П. Г. Новиков. Через день еще одна славная дивизия, бойцы кото-

рой лихо дрались под Одессой,— 95-я стрелковая, вошла в соприкосновение с врагом, а 25 октября вся Приморская армия сражалась за Крым.

Натиск приморцев, бросившихся на врага в поддержку частей 51-й армии генерала П. И. Батова, заставил противника перейти к обороне. К сожалению, этот перелом оказался непрочным и недолгим: 26 октября командующий 11-й армией фон Манштейн обрушил на передний край наших войск мощные удары артиллерии и авиации и вслед за тем бросил вперед танки, по следам которых двинулись семь дивизий 54-го армейского корпуса.

Завязались кровопролитные бои, которые длились три дня, и фронт был прорван — немцы ворвались в Крым и двумя потоками устремились вперед: один — в сторону Керчи, другой — к Севастополю.

После прорыва фронта наши части отходили в глубь полуострова: 51-я армия генерала Батова — в сторону Керчи, а части Приморской армии — в сторону Качи и Бахчисарая. Как ни старались наши войска удерживаться на промежуточных рубежах, не могли — не за что было уцепиться, степь плоска, тут не то что солдату, а и муравью негде укрыться. Военный совет войск Крыма дал указание вести сдерживающие бои, чтобы прикрыть отходящие на более выгодные позиции войска. А где они, эти «более выгодные» позиции?!

...Всю ночь направленцы носились по степям Крыма, устанавливая связь с частями.

Генерал Петров сидел рядом с шофером на выгоревшем, изрядно потрепанном сиденье. Молча, сосредоточенно он обдумывал свое решение, которое собирался объявить в Экибаше, на совете командиров дивизий и полков Приморской армии. День шел к концу. Почти с самого утра небо было затянуто растрепанными облаками свинцового цвета. Кое-где даже прошел моросящий дождь, а к вечеру облака подобрались и сквозь образовавшиеся в небе окошки брызнуло солнце.

Генерал сосредоточенно думал о том, как будет принято его предложение, и не смотрел на дорогу. Вдруг о мутное стекло что-то стукнуло — генерал увидел кузне-

чика. Ударившись о стекло, он застрял возле резинового уплотнителя в крохотной выемке и, сколько ни старался, не мог освободиться — встречный ветер, как судьба, прижимал его к стеклу. «Вот и с нами так будет, если мы пойдем в сторону Керчи! — подумал генерал, наблюдая за тем, как беспомощно тормошился кузнечик, пытаясь вырваться на волю. — Отдать без боя Севастополь — значит уступить немцам заодно и Кавказ. Керчь не может стать Главной базой Черноморского флота! Только в Севастополь!»

Генерал посмотрел вперед, туда, где за темными облаками, за завесой мелкого дождя — Севастополь. «Туда надо идти! — сказал он вслух.— Только туда!»

Водитель вопросительно посмотрел на него. Петров махнул указующе рукой, что означало — ехать вперед и как можно быстрее.

Степь плоская, пыльная, пройдет машина, а за ней стелется на многие километры седым шлейфом след, словно дым, когда жгут на жнитве сырую солому. Бесстыже голая степь. Лишь редкие оазисы сгоняют с нее скуку.

...Очень важно, чтобы командиры дивизий поддержали его. Он глядел на степь, а думал о том, что теперь главное — собрать армию, чтобы ни мотоциклисты, ни летучие немецкие отряды не побили людей, не рассеяли бы их по Крыму. Это главное.

Штаб и КП 95-й Молдавской стрелковой дивизии разместился в доселе неведомом поселке Экибаш. Здесь назначено было на 17.00 совещание командиров дивизий и полков.

Небольшой зал сельской больницы полон. Перед началом совещания жадные расспросы и короткие ответы, где что делается, велики ли потери. Лица усталые, кое у кого заметна пыль на гимнастерках. А глаза у всех горят.

Ровно в семнадцать ноль-ноль в зал вошел И. Е. Петров. Он успел умыться перед совещанием, вид у него был свежий и бодрый.

В предельно сжатой форме командарм охарактеризовал обстановку, особенно усугубившуюся тем, что потеряна связь с командованием и штабом войск Крыма. Немцы разделились на два потока: один преследует отходящую на Керченский полуостров 51-ю армию, другой движется к Севастополю с глубоким охватом левого фланга Приморской армии.

Далее Петров кратко излагает свою мысль о нецелесообразности отхода Приморской армии на Керчь, хотя путь туда пока еще свободен, а дорога на Севастополь уже перерезана и без боев туда уже не пройти. Но Севастополь — главный порт Черноморского флота. Удержать его — значит сохранить наше господство на Черном море. Город не имеет ни укреплений с суши, ни полевых войск.

Командарм закончил свое выступление на том, что если Приморская армия не пробьется к Севастополю, если ее опередят немцы — город падет. Он пригласил каждого участника совещания высказать свое мнение откровенно.

Долгая пауза. Генерал протер пенсне, прошелся взглядом по залу и обратился к сидевшему близко от него командиру 161-го стрелкового полка полковнику Капитохину.

Обдернув гимнастерку, полковник четко сказал, что он за то, чтобы идти в Севастополь. Того же мнения были начальник артиллерии 95-й дивизии полковник Пискунов и командир 25-й Чапаевской дивизии генерал-майор Коломиец, его поддерживал и военком этой же дивизии, бригадный комиссар Степанов. После них выступил новый человек в Приморской армии, командир 172-й стрелковой дивизии, только что переданной из 51-й армии, полковник Ласкин. За Севастополь высказался и полковник Кудюров, командир 40-й кавалерийской дивизии, тоже здесь, под Ишунью, переданной в состав Приморской армии. Словом, большинство «за», и лишь четыре человека высказались против, они считали, что надо отходить на Керчь. Они мотивировали это тем, что отход на Керчь позволит сохранить армию.

В 17.45 31 октября по армии был издан приказ, а в ночь части Приморской армии начали движение к Севастополю.

Отходящие войска Приморской армии преследовал 54-й немецкий армейский корпус генерала Ганзена, тот самый корпус, чьи дивизии осуществили прорыв в Крым через Перекопский перешеек. Фон Манштейн поставил перед корпусом генерала Ганзена задачу перерезать дорогу между Симферополем и Севастополем, внести сумятицу в наши войска и, воспользовавшись этим, прорваться к Севастополю и взять его внезапным ударом. Осуществить этот внезапный удар должна была бригада генерала Циглера, в составе которой были танки, танкетки, самоходные пушки и бронетранспортеры.

Но бригада генерала Циглера задержалась у Николаевки, наткнувшись на огонь 54-й батареи береговой обороны, и это решило все, то есть план внезапного захвата Севастополя был сорван. А пока эта новенькая, возведенная в первые месяцы войны для отражения противника с моря батарея во главе со своим еще безусым, но талантливым и до смерти отважным лейтенантом Иваном Заикой превращала в металлолом танки и бронетранспортеры противника, войска Приморской армии горным бездорожьем продвигались к Севастополю.

Этот переход был для них тем же, что для Суворова Сен-Готард: дождь, черная ночь, горы. Пушки и машины спускали на руках. Шли голодные и холодные — ни костра развести, ни махрой затянуться.

Впоследствии люди, хорошо знавшие крымские горные тропы, никак не могли понять, как удалось пройти на Южный берег по вьющимся крутовертью заброшенным горным дорогам дивизиям и бригадам Приморской армии!

И не только пройти, но, придя в Севастополь, тотчас же, без положенного после тяжелых боев и марша отдыха, встать на защиту его!

...Катера противника шли «по следу» «Щ-209» неотступно. Дышать становилось все труднее и труднее. Краснофлотцы двигались медленно. Рабочие костюмы на спинах потемнели от пота. У пассажиров фиолетовые лица. Военврачу пришлось уже по второму разу некоторым из них давать сердечные лекарства.

Петров сидел за столом в крохотной кают-компании и, охватив лицо ладонями, перебирал свою деятельность за последний месяц, то есть за то время, когда произошла катастрофа на Керченском полуострове. Мог ли он в сложившейся обстановке не допустить захвата фон

Манштейном Северной стороны? Ведь с захватом Северной немцы, по сути, окончательно зажали в кольцо блокады осажденный Севастополь. Да, это так. Но какими силами и средствами он не допустил бы захват Северной стороны? А может быть, он просто недооценил значение Северной стороны в обороне Севастополя?.. Дооценил. Но у него не было непотопляемых коммуникаций, а в Севастополь нужно было все, от иголки для шприца до тяжелого сменного ствола орудия, возить с кавказского берега. И возили! Но боеприпасов всегда не хватало, да всего не хватало!

Битва же за Северную сторону — это едва ли не самые героические страницы обороны Севастополя. Воины Приморской армии и морская пехота сделали все, что могли: на Мекензиевых Горах нет и клочка земли, не политого их кровью. Только чудо могло остановить здесь немцев. Но на войне чудес не бывает...

Усталость наконец взяла свое, и генерал заснул, да так крепко, что командир «Щ-209», подошедший сообщить командарму, что прошли траверз Керченского пролива и что немецкие торпедные катера перестали преследовать лодку и она готовится к всплытию, вынужден был повернуться на сто восемьдесят градусов.

«Щ-209» ошвартовалась в Новороссийске 4 июля.

Осенью сорок третьего года на улицах только что освобожденного Новороссийска возле группы автоматчиков роты Героя Советского Союза Александра Райкунова остановился «джип» и из него вышел высокий полный генерал-полковник. Я не сразу узнал в нем генерала И. Е. Петрова. Он тотчас же попал в окружение военных корреспондентов, от которых всеми силами старался «уйти в глухую оборону», — он спешил. Мне, как старому знакомому и севастопольцу, обещал встречу в самые ближайшие дни.

Мы встретились лишь через полтора месяца в Тамани. Я предполагал, что увижу генерал-полковника, командующего войсками Северо-Кавказкого фронта, при

всем параде,— взятый штурмом Новороссийск и освобождение Таманского полуострова принесли ему награды и славу, но он по-прежнему, как в Одессе и в Севастополе, был в старой, сильно ношенной, выгоревшей на солнце куртке, в полевой, зеленой, с красной солдатской звездочкой фуражке. Его запыленный «виллис» носился по берегу Керченского пролива. Командующий фронтом заглядывал во все закоулки, куда, казалось, ему по положению не было смысла заглядывать. Но он хотел все видеть и обо всем знать: войска расположились по проливу согласно планкарты. Генерал расспрашивал солдат, хорошо ли их устроили, как кормят, хватает ли воды.

Накануне высадки поднялся шторм и властно и грубо отодвинул день форсирования пролива. В Таманском порту, на косе Чушке, в Сенной — всюду наслоились грузы и все время шли новые.

Оставив машину на взгорке у собора, генерал спустился к пристани. На миг задержался у корня причала, озабоченно разглядывал, как волна кромсала его. Заметив, что вода подтачивает берег, покачал головой и прошел вперед по деревянному настилу, на самый конец причала. Там мотало — волны необузданными прыжками заскакивали на причал и рассыпались белым кружевом. Вода заливала генералу сапоги по самые головки, но он не уходил, неотрывно смотрел на ту сторону пролива, где за дымкой едва различимо была видна крымская земля. О чем он думал? Что вспоминал?

Над проливом свистел северо-восточный ветер и пьяно гуляла крупная волна, о высадке войск не могло быть и речи.

Генерал покинул причал, сел в машину и покатил по берегу пролива в штаб фронта. Глядя на бешено катящиеся валы, на белесую пыль, на туманную дымку, скрывавшую от глаз крымский берег, он сказал с грустью:

— А мы думали встретить Октябрьскую годовщину на крымской земле...

Всю дорогу до станицы Ахтанизовской генерал, как всегда сидевший рядом с шофером, слегка повернувшись ко мне, рассказывал о последних днях обороны Севастополя, о своих горестных размышлениях во время перехода на подводной лодке из Севастополя в Новорос-

сийск, о просчетах собственных и общих, о тяжелых боях на Кубани и о штурме Новороссийска, восхищенно говорил о героях штурма. Очень тепло говорил о моряках, которых полюбил еще во время осады Одессы. Я сожалел о том, что машину сильно подбрасывало: это мешало мне делать записи.

После изнурительных боев у Керченского пролива генерал, как я уже писал, был отозван в Москву. Впоследствии он командовал 2-м Белорусским и 4-м Украинским фронтами. Войну закончил в должности начальника штаба 1-го Украинского фронта. Участвовал во взятии Берлина и в освобождении столицы Чехословакии.

Однако где бы он ни находился, всегда думал о войне на Юге, где он в общей сложности провел больше двух лет.

Когда я сел писать об этом глубоко образованном, высокопрофессиональном полководце, интеллигентнейшем человеке, то ощутил, что кое-каких материалов мне не хватает. Долго, подобно мозаичных дел мастеру, я терпеливо собирал факты. Мне хотелось составить полную картину жизни генерала. Признаюсь, это египетский труд!

Сказать, что жизнь его была интересной,— все равно что ничего не сказать. Наше время — время поучительных примеров и благонамеренных подражаний. Каждый старается найти в отваге героев кое-что для себя. Это объяснимо. Об этом пекутся педагоги. И кто, как не мы, литераторы, которые прошли рядом с героями немало военных дорог, должны отозваться на это? Правда, большинство наших героев теперь на пенсии, а иные ушли из жизни. Но пенсия всего лишь право на обеспечение старости, а не характер. А характер, как известно, не подлежит статистике: он может лишь стать добычей поэзии. А поэзия при относительной легкости ее восприятия — тяжеленный труд.

Жизнь генерала Петрова и его деятельность принадлежит двум музам — музе Истории и музе Поэзии. Об этом мы много говорили с ним во время последней встречи, уже после войны, когда он командовал Туркестан-

ским военным округом и приехал в Москву как депутат Верховного Совета СССР на очередную сессию.

Эта последняя встреча произошла в гостинице «Москва». Первое, что я увидел, когда получил разрешение войти в номер,— мундир с погонами генерала армии, и тут же подумал, что Иван Ефимович с полным правом и достоинством мог бы носить на погонах маршальские знаки. Были на мундире еще и лесенка орденских планок и Золотая Звезда Героя Советского Союза. Мундир висел на спинке кресла, а чуть в сторонке стоял его хозяин в пижаме: он только что вышел из ванной комнаты. Сессия кончилась, генерал никуда не спешил, и мы просидели почти весь вечер.

К сожалению, я в общем-то мало знал генерала Петрова, а для того, чтобы написать о нем подробно, надо было, может быть, и не буквально, но все же пройти тем путем, которым он шел по жизни, начиная с песков Средней Азии, где он воевал с басмачами в двадцатых годах.

После выхода моей книги некоторые читатели, особенно те, кто встречался с генералом, упрекали меня в скупости и некоторой сухости описания его личности. Упрек в общем-то правильный — конечно, И. Е. Петров человек не ординарный, он представлял собой цельную и крупномасштабную личность. Взять хотя бы такой, уже упомянутый мною факт из его биографии: в юности он готовился стать художником и имел к этому данные, но когда судьба вручила ему в руки не кисть, а меч, он целиком отдался ратному делу.

Большая часть его долгой воинской службы прошла в Средней Азии.

Осенью 1941 года он в Одессе командует им же сформированной кавалерийской дивизией, а впоследствии и всей обороной города. После Одессы 250 тяжелейших дней в осажденном Севастополе. Затем — оборона и наконец освобождение Кавказа. Осенью 1943 года войска Северо-Кавказского фронта под его командованием, при содействии Черноморского флота, штурмом берут Новороссийск и без передышки очищают весь Таманский полуостров. Затем осуществляют высадку десанта на Крым.

Задержка со взятием Керчи неожиданно повлияла на дальнейшую воинскую судьбу — его понизили в звании и перебросили на другое место.

Это было загадкой для всех, кто знал генерала,— а знали его солдаты, воевавшие под его командой в Причерноморье, в Крыму, на Кавказе и бравшие штурмом Новороссийск, затем форсировавшие Керченский пролив. Знали и любили его многие офицеры. И для них не был ясен поворот в его судьбе.

Лишь после войны стало известно, что перемены в его судьбе были делом рук бывшего представителя Ставки в войсках Крымского фронта Л. З. Мехлиса, который оказался одним из виновников трагического поражения трех наших армий Крымского фронта на Керченском полуострове весной 1942 года. Эти армии были сосредоточены на Керченском плацдарме для разгрома 11-й армии фон Манштейна, блокировавшей Севастополь.

Войска Крымского фронта значительно превосходили силы немцев в Крыму, но свою задачу не только не выполнили, но и потерпели тяжелейшее поражение.

И надо же было так распорядиться судьбе, что упомянутый нами Л. З. Мехлис был дважды членом Военного совета фронтов, которыми впоследствии командовал И. Е. Петров, и дважды герою Одессы, Севастополя и Кавказа приходилось оставлять эти высокие посты!

Вот, оказывается, на какие зигзаги бывает способна судьба!

После войны прошло несколько десятилетий, давно заросли травой окопы и зарубцевались телесные раны, а память все чаще саднит болью — хранит свои раны, и нет-нет да задают вопросы ветераны: «Почему одна армия, почти наглухо блокированная в осажденном Севастополе, держалась 250 дней, а три армии Крымского фронта, отлично экипированные и снабженные всем необходимым, свежие,— «оружием на солнце сверкая» — терпят поражение от одной армии в течение нескольких дней, как говорится, еще не успев развернуть боевых знамен?!»

История скупо делится своими секретами. Что поделать — иногда из-за стремления к масштабности мы теряем из виду судьбы тех, кто вершит события. Особенно тяжело это воспринимается, когда в результате такого подхода к событиям теряются черты личностей, интерес к которым важнее всего другого. Что поделаешь! Бывают свои причуды и у Истории!

Генерал Петров умер в апреле 1958 года, а сын его, подполковник Юрий Петров, пробывший с отцом всю

оборону Севастополя, погиб после войны от руки убийцы-мародера в дни ашхабадского землетрясения. Со времени смерти И. Е. Петрова прошло уже около четверти века, а те, кто прошел с ним войну либо же встречался на фронтовых дорогах, помнят генерала, словно бы и не расставались с ним. От них идут письма, каждый старается поделиться своими чувствами. К сожалению, многие из них сбиваются на газетно-журнальный стиль, такой привычный и густо оснащенный прилагательными,— так делаются сочиняемые в отделах кадров «объективки». И как же сердцу приятно, когда приходят письма, написанные обыкновенными, от души идущими человеческими словами, когда из письма перед глазами вырастает не «полководец», а человек!

Вот почему я решил включить в книгу письмо ветерана войны москвича Ивана Ивановича Бородулина.

«Петр Александрович!

Вы своей книгой «Севастопольская хроника» так взбудоражили, что просто места не нахожу. За время войны в течение очень короткого времени рядом со мной мелькнул один человек, который оставил такой след, что я все время думаю: неужели о нем ничего не напишут? Этот человек Иван Ефимович Петров.

Коротко о себе: родился в 1916 г. в Подмосковье, в 1937 г. служил в Белоруссии — г. Слуцк, 4-я стрелковая дивизия — шофер. 17 сентября 1939 г. в Западную Белоруссию, затем на линию Маннергейма. По окончании в Кутаиси. Затем демобилизовался. На второй день войны призвали в Ригу, но сумел добраться только до Витебска. Попал в 10-ю армию, из которой впоследствии был организован 2-й Белорусский фронт.

На стр. 483 Вы пишете: «В марте 44 г. прибыл генерал Еременко, а Петров вылетел в Ставку...»

А Вы, Петр Александрович, ломали голову, чем вызвана эта замена. А мы в это время сидели в непроходимых болотах и думали, как мы будем наступать, если «студебеккеры» не проходят, а уж о наших и говорить нечего.

И вдруг прибывает личная охрана Петрова во главе с адъютантом. Я в это время работал на передовой — проводил санобработку на форму «20». Мне был дан приказ срочно ехать в штаб фронта и приготовить баню для командующего. Я все приготовил, но Петров был еще в Ставке, естественно, охрана с адъютантом помылись,

И у меня был такой разговор: я, естественно, пожаловался, что у нас непроезжие дороги, как же мы будем наступать! Один из охраны мне заявил: вот приедет генерал — и будут дороги, он всех заставит работать.

Я не очень поверил такому категорическому заявлению. Но вот приехал генерал. Вы верите! Я пришел в изумление — буквально через две недели помчались машины, не только «студебеккеры», но и полуторки и «ЗИСы». Петров заставил действительно всех работать. Были положены ЛЕЖНИ, каждая лежня — это 3—4 бревна, округлость, срубленная топором и связанная железными скобами,— для каждого колеса по лежне, через интервалы были сделаны разъезды. Днем езда была ограничена, а ночью шли потоком без света. И таким образом Петров приготовил фронт к наступлению. Неожиданно приезжает генерал Захаров, а Петров улетает на 4-й Украинский... А мы пошли в наступление — лавры, естественно, Захарову и Мехлису.

В книге Вы упоминаете, что Петров обладал изумительной памятью, — это я испытал на собственной шкуре. Когда Петров прибыл из Ставки, пришел ко мне мыться, поздоровался, спрашивает, как звать, отвечаю: Иван Иванович, товарищ генерал-полковник. Откуда родом — из Москвы. Усмехнулся и говорит: а ботинки у тебя грязные. Вы представляете, я был готов провалиться сквозь землю вместе со своими грязными ботинками. Вымывшись, сказал — в следующий раз приду через десять дней. Естественно, я принял все меры, чтобы достать гуталин, тем более что при штабе был Военторг. Когда Иван Ефимович через 10 дней снова пришел мыться, первое, что он сказал, глядя на мои ботинки: «Вот теперь совсем другое дело!»

Зная, как он занят — работая целыми ночами, днем на «виллисе» с отчаянным шофером из Щелкова гоняет вдоль фронта так, что пенсне все время приходится поправлять, я пришел в изумление, говорю: ну и память у вас, товарищ генерал-полковник, а он мне отвечает: а иначе обманут (правда, сказал он крепче), и рассказал мне одну историю из войны на Кавказе про свою память. Навек запомнился мне Иван Ефимович Петров!»

...В 1964 году одной из самых оригинальных улиц Севастополя — Красному спуску, тянущемуся по берегу

Южной бухты от площади Пушкина до вокзала, было пожаловано имя генерала Петрова. В 1966 году в связи с двадцатипятилетием с начала обороны Севастополя городской Совет отменил свое прежнее решение и «перенес» имя генерала Петрова с Красного спуска в центр города на улицу, которая была образована из двух новеньких, обставленных домами послевоенной постройки: из улицы Парковой и Константина и нескольких домов проспекта Нахимова.

Впервые под тень молодых деревьев улицы генерала Петрова я попал в 1968 году. Тут едва ли не самое прекрасное место в Севастополе — рядом в балке, которая в не столь отдаленные времена называлась Одесским оврагом, разбит парк. Молодой, буйный, он возник на месте развалов и кривых прирыночных улочек, стекавших сюда вниз ручейками. Под сенью деревьев парка хорошо младенцу, юноше, чистой, как свет звезды, девушке и старцам.

Людно на улице генерала Петрова. По ней к рынку по утрам спешит почти пол-Севастополя. Да и туристов полно — недалеко, на площади около Артиллерийской бухты стоянка автобусов, прибывающих в город со всего Крыма, а от пристани отходят катера в Стрелецкую, Омегу и Учкуевку, к песчаным пляжам. Во время войны здесь было едва ли не самое опасное место — недалеко квартировал штаб гражданской обороны, и гитлеровская авиация тщательно выщупывала тут каждый метр бомбами. Разрушения были ошеломительные, будто на город наваливалось десятибалльное землетрясение или опустошительный ураган.

В сборах материала о генерале мне помог Константин Михайлович Симонов, он предоставил в мое распоряжение стенограммы своих бесед с Петровым. Беседы эти были проведены Симоновым в 1950 году, в бытность Ивана Ефимовича командующим Туркестанским военным округом. Я очень благодарен Константину Михайловичу за братскую выручку.

Много дала поездка в Севастополь в 1968 году. Я раньше думал, что впечатления с годами теряют свежесть. Я не предполагал, что, если б сел писать о Севастополе даже позже чем через тридцать лет, то все, что

достойно памяти, и тогда сохранилось бы в ней, как рыбка, вмерзшая в лед несколько тысячелетий тому назад.

Вот и все. Теперь пора вернуться к войску, которое с тяжелыми боями идет к Севастополю, где еще сидят немцы и до появления на планах города улицы генерала Петрова должно пройти еще двадцать два года!..

ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

...Третий день идет штурм. Танки, артиллерия, авиация обрабатывают склоны Сапун-горы. Моряки берут «на абордаж» Сахарную головку.

У нас, газетчиков, два автофургона: в одном походная типография, в другом выездная редакция газеты «Красный Черноморец». Наша газета издавалась в Севастополе почти до конца 250-дневной обороны города. Ее много бомбили не потому, что она была важным для гитлеровской авиации объектом, а лишь потому, что под скалой, на которой стоял дом редакции, помещался флагманский командный пункт — адмирал Октябрьский держал там свой штаб. А наверху рядом с редакцией в небольшом особняке помещался штаб ВВС Черноморского флота.

В общем, редакция нашей газеты была тогда вроде генерала Скобелева, в черной бурке, на белом коне: хивинские снайперы целились из своих мылтыков в черную бурку генерала, а попадали в белого коня.

Настал момент, когда в редакцию можно было проникать лишь ночью; Военный совет приказал редактору эвакуировать газету на Кавказ.

Около года газета пользовалась помещением и типографией бывшей «Курортной газеты» в Сочи. В Сочи не было никакой войны, но редактор, ссылаясь на военную обстановку, не разрешал своим сотрудникам купаться в море.

На мое счастье, я большую часть времени был в командировках. В Геленджике и Кабардинке, маленьких курортных городках, донельзя переполненных войсками, ранеными, десантными судами, катерами «МО», морскими пехотинцами и корреспондентами, которые носились

«с лейками и блокнотами» то на Малую землю, то на батареи береговой обороны, то на аэродромы, то в штабы, жизнь была суровой, фронтовой. Но мы — тут были Е. Халдей, Б. Шейнин, А. Соколенко, В. Рудный, отважная супружеская чета Асниных, проведшая долгое время на Малой земле, скульптор В. Цигаль,— купались в антрактах между бомбежками и артиллерийскими обстрелами, ни у кого не спрашивая на это «добро».

Впоследствии новый редактор отменил «сухой закон» своего предшественника и обязал приказом по редакции купаться ежедневно и притом всех! Даже поэта Яна Сашина не освободил, хотя тот и не умел плавать. А когда редакция переехала из Сочи в Геленджик, редактор приказал по воскресеньям проводить соревнования на воде. Победителям выдавалась за счет казны чарка. Делалось это необычайно оперативно: тут же на берегу с четвертью в одной руке и лафитничком в другой сидел начальник издательства, и когда жюри называло победителя, наливал ему лафитничек...

Дела давно минувших дней! Теперь мы возвращались на свою базу. До Севастополя — рукой подать.

Бой не только не утихает, а еще пуще разгорается. Мы остановились в Алсу. Это недалеко от Итальянского кладбища. За Итальянским кладбищем — Золотая балка, а дальше высоты Сапун-горы. Там идет такая пальба, что кажется, и мухе не пролететь. Особенно силен натиск нашей авиации. Мне еще никогда не доводилось видеть такое количество самолетов на сравнительно небольшом плацдарме. Идут бои за Сапун-гору. Кажется, что гора скоро расколется от взрывов.

Место, где мы поставили наши машины, неудачное: здесь нельзя свершить подвига, но зато легко погибнуть — немецкие артиллеристы и летчики не знают, что здесь стоят редакционные машины, а не танки.

Со стороны Севастополя видны большие столбы дыма и высокие выбросы земли. Какой-то штабной майор из числа офицеров связи, подъехавший на «виллисе», говорит, что дым от танкера — он горит в Северной бухте, возле Памятника затопленным кораблям, а выбросы земли на Сапун-горе.

До нас доходит известие — Сахарная головка взята моряками смелым штурмом, и командир отделения раз-

ведчиков старшина 2-й статьи Анна Балабанова уже водрузила на ней красный флаг. Танкистами совместно с пехотой взято несколько этажей сложнейших укреплений на Сапун-горе.

Проходит немного времени, и нам становится известно, что подразделение капитана Шилова водрузило красное знамя на Сапун-горе. С потерей немцами Сапун-горы нашим войскам открывалась дорога на Севастополь.

Дальше торчать в Алсу было бессмысленно. Поэт Григорий Поженян, бывший разведчик из группы разведки Военного совета Черноморского флота в Одессе, теперь сотрудник нашей газеты, и я сговариваемся «оторваться» от наших редакционных фургонов. Мы должны написать об освобождении Севастополя — у каждого из нас много связано с его именем. Наш начальник подполковник Юдин дает «добро».

На севастопольских холмах шумит весна: цветут маки и тревожно машет серебристыми лапками полынь. В жаркие дни она чадит терпким запахом, а теперь ее не слышно: с моря, сбивая гарь и взрывные газы, наползают солоновато-йодистые запахи.

Весна везде хороша, даже на диком севере. Но здесь, на юге, в Крыму, да еще в севастопольской приморской степи, она неповторима.

Но сейчас глаз воина ищет в этой удивительной красивой степи не цветок, а цель, по которой надо стрелять.

Кругом горит все, ломается, вскидывается в воздух. Трудно понять, где проходит линия фронта; она ни на минуту не остается неподвижной: огромная, опытная, обозленная на гитлеровцев наша армия неукоснительно двигается со всех сторон.

Огнем и мечом она как бы сдвигает или, точнее, сметает с холмов захватчиков.

Третий день наши войска штурмуют Севастополь. Уже два железобетонных обвода остаются позади, впереди еще один, и, по-видимому, самый сложный. Инженер генерал-полковник Енеке, который командовал гитлеровскими войсками в Крыму, возвел несколько слож-

нейших инженерных поясов вокруг Севастополя. Генерал Альмендингер, заменивший Енеке, в приказе по армии так и писал: «Я получил приказ защищать каждую пядь севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете... Плацдарм на всю глубину сильно оборудован в инженерном отношении, и противник, где бы он ни появился, запутается в сетях наших оборонительных сооружений. Но никому из нас не должна даже и в голову прийти мысль об отходе на эти позиции...»

В заключение генерал заявил: «Русские держали Севастополь восемь месяцев. Мы будем его держать — восемь лет!»

Приказ гитлеровского генерала был зачитан войску третьего мая. Прошло пять дней, наша армия далеко продвинулась вперед, и еще ни одно подразделение не запуталось в сложных инженерных сооружениях генерал-полковника Енеке! Бои уже на окраине Севастополя, с набережной Балаклавы наши пушки бьют в сторону Феолента.

Штурмовые, подвижные отряды уже скатились со станции Мекензиевы Горы к Инкерману. Занята Черная речка. Многочисленные огневые точки и укрепления гитлеровцев нужно ломать, давить и сносить с лица земли. И этим заняты армейские и морские летчики. Отлично работают и армейская артиллерия и танки.

По ходу и характеру боев чувствуется, что настает решительный момент в сражении за Севастополь: все небо и земля стонут от огня и стремительного движения танков. Пыль стелется за ними, как дым пожара в степи.

Прыгаю в одну из машин. Перед глазами застывшее в дикой судороге железо, обагренные кровью камни, вылизанная огнем земля, трупы... А степь усеяна маками. Едва заметный ветерок качает их красные головки.

Когда машина поднималась на Сапун-гору, открылись перепаханные лемехами артиллерийского огня холмы. Боже! Что ж тут было два часа тому назад!

У Малахова кургана пробка — здесь сходятся дороги в Севастополь. Над головой нет-нет да просвистит снаряд: немцы, выбитые из города, зацепились за бухты Стрелецкую, Омегу, Камышевую, Казачью и мыс Херсонес.

Они стянули туда всю артиллерию с почти неистощимым запасом снарядов, сотни автомашин. Небо над Гераклейским полуостровом в черных точках разрывов.

Немцы делают судорожную попытку помешать нашим летчикам. Но они уже «не командуют событиями» — они лишь пытаются не подчиниться им, сопротивляются. При этом не только защищаются от непосредственной опасности, но еще и осмеливаются бить по Севастополю, который, как улей пчелами, полон солдатами и моряками.

Сюда пришли даже армейские резервы: всем хочется посмотреть, какой он, Севастополь-то. «Что в ём особенного? — спросил меня пожилой солдат.— Чего вы, моряки, до него так стремитесь?»

И вот он наконец открылся... У многих из нас перехватывает горло.

Ехавшие в машинах моряки, не сговариваясь, встают и снимают бескозырки и фуражки. Дорога поворачивает на вокзальное кольцо, к Южной бухте. Над ней дым тянется хвостом. На воде бочки, бревна, ящики и разное барахло. У бывшей царской пристани какой-то немец, уже отдавший богу душу, «мочит» голову в черноморской воде. Немец, как видно, из простого звания — на правой подогнутой руке видны сухие, натруженные подушечки пальцев, в мозолях и машинном масле.

Дым тянется из разных концов. В дыму и высокая башня крана, притопленного в Южной бухте. На вершине его уже полощется красный флаг. Чья рука занесла его так высоко? Кто этот молодец? Если б он отозвался, сколько бы похвал получил от всех нас!

Машина выносит нас по знакомому всем севастопольцам Красному спуску на Ленинскую. Дым ползет по развалинам. На улице битое стекло, скрюченное железо, щебенка.

Что сталось с Севастополем?! Города, того милого беленького Севастополя с его дорического стиля особняч-ками, маленькими домиками из белого инкерманского камня, за оградами которых зеленели веселые садочки, нет. Развалины и ползущий по ним, как бородатое чуди-

ще разрушения, дым — и на Петровой горке, и на Корабелке, и на Зеленой. Милый сердцу, дорогой город, с какой же потрясающей тяжестью обрушилась на тебя война!

Листаю блокнот. Вот записи того времени: «В день освобождения Севастополя в городе осталось из 6000 основных зданий лишь... 209, да и то наполовину разрушенные. Все остальное превращено в щебень». При этом в городе ни водопровода, ни гвоздя, ни доски. А по улицам непрерывным потоком идут войска. После трехдневного штурма Сапун-горы солдат томила жажда и мучила пыль. Теперь бы окунуться, сменить рубаху, глотнуть водички!

И все появилось тут же: севастопольские женщины, пережившие лютость фашистской оккупации, как родные матери встретили бойцов: на тротуары были выкачены бочки, корыта, ведра с водой. Около них останавливались солдаты и пили звонкую и удивительно вкусную воду и, довольно покрякивая, набирали полные фляжки — с собой. Из корыт с присвистом высасывали прохладную водицу усталые и припыленные кони.

В потоке машин с друзьями пробираюсь к Графской пристани. Столько на улицах развалин, что даже не узнаются знакомые места. Где Морская библиотека? Дом флота? Где наша редакция и штаб Военно-Воздушных Сил — ни черта понять не могу. А вот и Графская и какая-то странная, странная площадь без Дома флота, превращенного в руины...

Графская пристань... Вчера в сумерках матрос из отряда Цезаря Куникова — Петр Рублев, ворвавшийся в Севастополь со штурмовой группой морской пехоты, водрузил над ее фронтоном, за неимением флага, свою бескозырку.

Я очень жалел, что опоздал — бескозырки уже не было. Вместо нее полоскался на вольном, задувавшем с моря ветре военно-морской флаг.

...Около дома, в котором временно обосновался пришедший с войсками председатель Севастопольского горисполкома, бывший матрос Василий Ефремов, толпи-

лись женщины с Корабелки, с Петровой горки, с Чапаевки.

Председатель и его сотрудники сидели на вещевых мешках — никакого имущества не сохранилось и ничего нельзя было добыть поблизости. Севастопольские женщины — мичманские и матросские жены, приученные, как и их мужья, к флотскому порядочку, после краткого разговора с председателем погоревали, поохали, а некоторые даже «слезой умылись», вспомнив погибших, заявили:

— Ничего, Василий Петрович! Не горюй! Во время обороны, под бомбежками слабину не выбирали, а теперь и подавно. Вон немец пускай на Херсонесе икру мечет.

Примерно через два-три часа женщины вернулись к горисполкому. Вышедший навстречу Ефремов прослезился: у дверей дома — столы, стулья, бак для воды, кое-какая посуда, подушки, одеяла, а в руках у некоторых женщин даже судки с горячей пищей!

Объезжая город, я побывал на Корабельной стороне, на Зеленой и Петровой горках, на Лабораторном шоссе, и всюду на жарком южном солнце сушилось солдатское белье, а возле чанов с горячей водой солдаты, голые до пояса, с коричневыми от загара шеями, с наслаждением терли мочалками друг другу беломраморные торсы. А их белье тут же стиралось «мамашами».

Мне захотелось заглянуть внутрь знаменитой Севастопольской панорамы. Немцы разбомбили ее в июне 1942 года. Ее скелет хорошо был виден от Малахова кургана. Панорама пуста. Стены ее испещрены надписями. Они показались мне интересными. Кто знает, что станет с ними, когда сюда придут строители?

«Здесь были два друга — верные сыны России Лев и Валерий».

«Здесь наверху я в последний раз махнула платочком Жоржу, когда уходил поезд. Прощай, Жорик, что ждет тебя в Германии? 1943 г. Нина П.».

«За что они убили мою Лидочку, за что? Клавдия С.».

«Смерть фрицам за то, что они надругались над военнопленными и сожгли их в барже. 4. I. 44. ХМ К. П. О. В. Т. Н.».

«Смерть немецким бандитам!»

«Смерть гитлеровским бандитам за надругательство над русским народом. 4. 44 г. ХМ».

«Здесь были защитники Родины. Нюра, Лида, Фрося».

«Привет Краснодару из Севастополя. 11. III. 44 г.».

«Пишу сюда рукой небрежной, чтоб через много, много лет от жизни краткой и мятежной какой-нибудь остался след».

Когда я уже выходил из Панорамы, в нее вошла пожилая женщина. Разговорились. Она сказала, что и на Пироговке, в бараках, много надписей, и в каменных мешках Константиновского равелина...

— Да боже мой!— воскликнула она.— Где их нет?! Наш народ как ветер — его не сломишь! Где сидели — везде писали правду...

Я обошел пустые бараки на Пироговке. Бараки мрачные, надписи мелкие — трудно было не только записывать, но и прочесть. И все же записал я часть из них:

«Мы жили здесь с 30. VII. 43 года, а раньше на Ленина, 100. Нам было очень тяжело и грустно. 4. V. 44 отправлены в Румынию: Гостищева Люба, Гостищева Феодосия, Юнусов Алик, Федосеева. Прощайте, друзья, наше сердце в слезах. Помните нас!»

«Манюка Ксения Александровна, Белякова Мария Григорьевна. Жили раньше в этом деревянном бараке, эвакуировались 8 мая поневоле в Румынию. Прощайте, дорогие друзья».

И на каменных стенах Константиновского равелина остались такие же следы.

«Дорогая Родина, не забывай нас, мы не забудем тебя. Крогулецкая».

Ниже стоит еще текст:

«5 мая 1944 года были здесь Крогулецкая Лида, Вадим, Тасик. Вывозят неизвестно куда. До свидания, дорогие. Сообщите родным в Евпаторию».

«Почтим память находившихся в лагере жителей Бартеньевки и Северной. Великов, Воронина, Луцик».

Поездки по городу были не просто интересны, а нужны для моей журналистской работы — я обязан был обо всем этом писать в газету. Стало быть, я работал. Но и работая я не забывал о Карантинной бухте, о катакомбе, где жили во время обороны Севастополя мои друзья — Когут, Иш и Галышев и где я провел с ними в 1942 году несколько дней. Мои друзья — журналисты центральных газет «Красной звезды», «Известий» и «Красного флота», они не смогли эвакуироваться. Еще в Симферополе люди, вышедшие из подполья, говорили, что видели их в колонне пленных избитыми и окровавленными.

Мне смертельно хочется посмотреть, что стало с «дотом бойцов газетного листа»? Цел ли фанерный купол, который защищал нас во время бомбежек от песка и пыли?

Достаю машину и еду в Карантинную. Немцы все еще сопротивляются — их снаряды нет-нет да ложатся у дороги. Следующая за Карантинной — Стрелецкая бухта. Немцы все чаще там, «у них» до черта «техники», как объяснил мне хозяин машины.

Карантинная бухта пуста. По-видимому, во время оккупации Севастополя немцы не пользовались ею. Я долго искал нашу катакомбу, а когда нашел, был поражен — вместо уютного обжитого могильника, в котором были четыре постели в нишах, пишущая машинка и исписанный, обтянутый фанерой потолок, обыкновенная дыра с земляными уступами. И все.

Я долго стоял с поникшей головой. Грустно. Ужасно грустно оттого, что я больше уж никогда не увижу ни Сергея Галышева, ни Льва Иша, ни Когута.

Пусты и минные штольни, в которых размещался штаб генерала Петрова — героя обороны Одессы, Севастополя и Кавказа, замечательного полководца и человека редчайшей души.

Темным провалом зиял и вход во вторую минную штольню, где находился политотдел, в нем работал страдающий отчаянным ревматизмом бригадный комиссар Аксельрод, знакомый мне еще по обороне Одессы. Я хорошо помню, что Аксельрод даже в июньскую жару носил валенки — так проклятый ревматизм сводил ему ноги...

Запустение в бухте. Лощинка поросла бурьяном. Кругом валяется какое-то военное имущество, ржавые гиль-

зы, смятые каски, колесо от повозки, высохший армейский ботинок, разбитая, чуть почерневшая ложа от винтовки... Словом, стандартный натюрморт войны.

Листаю страницы с записями более чем двадцатилетней давности, и запись от 12 мая 1944 года: «Веретенников, последний выстрел». Что это? Кто такой Веретенников?

И я вижу раннее утро 12 мая. В штабе флота мне сказали, что сегодня решено подавить сопротивление немцев на мысе Херсонес: им предъявлен ультиматум и дан срок для ответа. Я быстро нашел «попутку». И мы с художником Сойфертисом и Сашей Соколенко поехали к Стрелецкой, еще слышались артиллерийские выстрелы и в воздухе еще кружились самолеты и рвались зенитные снаряды. У Стрелецкой сошли с машины — дальше ехать нельзя. Такой картины войны мы еще не видели.

Девятого мая сюда, к севастопольским бухтам, была прижата армия генерала Альмендингера — свыше пятидесяти тысяч отлично вооруженных солдат, огромное количество артиллерии, танков, авиации. Прижата и в течение двух суток разгромлена.

Мы шли по свежим следам только что свершившейся трагедии: под убитыми еще кровь не спеклась, сухая севастопольская земля не приняла ее. Еще не везде улеглась пыль, поднятая взрывами последних снарядов. Горели машины, склады бомб и артиллерийских зарядов.

Навстречу брели пленные. Они имели жалкий вид. Какой-нибудь час-два тому назад они составляли армию, способную драться, а теперь это стадо, грязное и трусливое, тревожно ждущее возмездия.

Недалеко от нас у дороги стоял матрос с автоматом дулом вниз. Что-то знакомое было в чертах его лица. Приглядевшись, я узнал его. Это был Веретенников. Высокий крепыш — разведчик из отряда партизан-моряков, которым командовал капитан-лейтенант Вихман.

Веретенников ворвался в Севастополь с передовыми частями. Сейчас добирался до Херсонесского маяка. Обходя трупы, горящие машины и разбитую «технику», мы уже вчетвером шли по пыльной дороге вперед.



На пути нам попадалось очень много раненых и пристреленных лошадей. Уж не румынского ли генерала Мечульского дивизии эти лошади? А впрочем, не все ли равно, чьей дивизии принадлежали эти лошади? Но те, кто держал их под седлом, поступили самым подлейшим образом: большинство животных были подстрелены своими хозяевами. Лошади так страдали от мучительных ран. Когда мимо проходил кто-нибудь, они вскидывали головы с глазами, полными слез, и тяжко вздыхали.

Даже видавший виды Веретенников и тот отворачивался, когда мы проходили мимо раненых лошадей.

А пленные все шли и шли — их было двадцать пять тысяч. Среди них брели, опустив головы, переодетые в мундиры рядовых командир 5-го армейского корпуса генерал-лейтенант Беме и командир 111-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Грюнер.

Они проходили мимо трупов своих солдат, мимо изуродованных и целых пушек, машин, повозок, ящиков. На поле валялись бумаги, рюкзаки, одеяла, винтовки, гранаты, шинели, зубные щетки, каски, консервы и еще бог знает какое количество разных вещей.

Из Казачьей и Камышевой и из бухты Омега тянуло гарью. То горели баржи и корабли, которым так и не удалось в это утро уйти к Констанце. На аэродроме в капонирах стояли самолеты. И на запад — от Херсонесского маяка до Круглой бухты — берег завален трупами, брошенным оружием и рухлядью. Трупы в блиндажах и траншеях, вырытых по всему берегу; в дзотах и воронках от бомб, в нишах обрыва. Трупы качаются в прибрежной волне, на плотах и пробковых лодках.

И у Херсонеса, и в Круглой бухте с крутого берега к воде спущены сколоченные наспех трапы. По ним в последние часы немцы спускались к транспортам. Возле трапов порванные солдатские и офицерские документы, пачки сигарет, пистолеты, штыки, шинельные скатки, противогазы.

Возле импровизированных причалов много трупов с простреленными висками. Это покончившие с собой эсэсовцы и члены нацистской партии.

Здесь в последний день борьбы за освобождение Крыма войска 4-го Украинского фронта и моряки Черноморского флота рассчитались за разрушение Севастополя, Керчи, Новороссийска, Анапы и Феодосии, за расстрелы на овечьих кошах Бахчисарая, на крутых склонах Массандры, в Багеровом рву Керчи, за разграбление дворцов и музеев, за человеконенавистничество.

Когда мы с Веретенниковым вышли к берегу, матрос снял с плеча автомат и дал длинную очередь. Затем передал автомат мне:

— Пальните, старший лейтенант, за окончание войны в Крыму! За Севастополь!

Я пальнул. От меня автомат перешел к Соколенко, а от него к Леониду Сойфертису. И вдруг все, кто находился здесь, у Херсонесского мыса, подняли автоматы, пистолеты, а кто-то пристроился к немецкой пушке, и получился отличный салют в честь возвращения черноморцев в свое «Орлиное гнездо».

Вот и все. Говорят, что время кристаллизует события и поступки подобно тому таинственному биологическому процессу, в результате которого в раковине вырастает жемчужина.

Еще говорят, что время отбирает и просеивает события с точностью, незнакомой даже аптекарским весам.

Я был бы счастлив, если б изложенные в моей повести события и факты, поступки и их истинный смысл выдержали бы эти испытания.

Севастополь — Москва — Переделкино
1967—1972

УТВЕРЖДАЯ ГЕРОИЧЕСКОЕ, НРАВСТВЕННОЕ

Судьба не баловала писателя Петра Александровича Сажина. Он прошел многотрудный жизненный путь. Не все, к чему стремился писатель, удалось осуществить. Разные были тому причины. Но он честно служил и служит своему народу. П. Сажин сказал свое слово в литературе, быть может, не очень громкое, быть может, не очень ослепительное, однако добротное, мужественное, честное слово.

П. Сажин известен как писатель-маринист, певец моря, его неспокойного, неукротимого нрава, его ничем не завуалированной романтики. Откуда эта любовь к морской стихии, к морским необозримым просторам? Некоторые читатели, отмечает П. Сажин в своих «Кратких этапах биографии», любезно предоставленных автору этой статьи, полагают: он потому пишет о море, что родился у моря, с детства привык к его шумному дыханию. Родился же П. Сажин не у моря, а в селе Большая Лозовка Тамбовской губернии. В то время, когда появился на свет будущий писатель,— а было это 30 июня 1906 года,— нынешняя Тамбовская область называлась Тамбовской губернией. Время не очень близкое и не столь отдаленное. Там заочно он полюбил море. Кто видел, как дымится цветущая рожь, как она под дуновением ветров переливается шелковистыми

волнами,— тому легко представить себе, что поле ржи очень похоже на море! Примерно так объясняет изначальную основу своей любви к морю Петр Сажин. Крестьянский парень, любознательный, жаждущий увидеть, познать новое, незнакомое, загадочное, потянулся к Москве. Очень хотел попасть в Высший литературно-художественный институт имени В. Я. Брюсова. Сокращенно институт назывался Вхутемас. Увы, мечте паренька не суждено было осуществиться. Именно в том году — 1925-м — Вхутемас закончил свое существование. Тогда П. Сажин решил поступить в Ленинградский университет. Центральный Комитет комсомола в самом деле направил его в Ленинград, но не в университет, а в газету «Комсомольская деревня». Издавалась тогда газета с таким названием. В Ленинграде в те годы кипела литературная жизнь. В этом городе жили и творили крупнейшие художники слова — А. Ахматова, Н. Тихонов, О. Форш, М. Зощенко, А. Толстой, К. Чуковский, В. Шишков и молодые талантливые литераторы — О. Берггольц, Б. Корнилов, А. Прокофьев, А. Гитович, В. Саянов. По собственному признанию, П. Сажин ходил на все литературные вечера, куда его пускали. Чаще всего он бывал на собраниях литературной группы «Смена», где велись пылкие споры по многочисленным творческим вопросам: о мировоззрении, о методе, о месте молодого писателя в строительстве новой жизни.

Неспокойный, ищущий характер у П. Сажина. Казалось, необыкновенно благоприятно, удачливо складывалась жизнь молодого журналиста. Девятнадцатилетний юноша из глубинки России руководил не где-нибудь, а в Ленинграде, в крупной ежедневной комсомольской газете отделом литературы и искусства. Чего бы еще? Жить и двигаться дальше по избранной стезе. Нет же. П. Сажин решает проверить себя, свой характер, свою настойчивость в различных непредвиденных жизненных переплетах. Вдруг он, оставив на первый взгляд полностью журналистскую деятельность, становится на короткое время ремонтным слесарем на одной из ленинградских фабрик. Затем потянуло к морю. Он плавал в качестве кочегара на судах дальнего плавания, побывал во многих зарубежных странах.

Что это? Чудачество? Желание блеснуть чем-то оригинальным, из ряда вон выходящим? Вряд ли. Приобщившись к литературе, к журналистской работе, П. Сажин понял: у него мало жизненного

опыта, мало наблюдений, фактов, из которых затем рождается значительная, широкомасштабная правда действительности. Надо было, как говорил Горький, «выкупаться в море фактов», знать многое, разное, чтобы мысль пульсировала непрерывно, чтобы она из разнородного, богатого по своему содержанию, по своему «составу» материала плавила нечто целостное, существенное. И для литературы факты — крылья для полета. По-видимому, это — взглянуть жизни прямо в глаза, погрузиться в неисследованные слои действительности — и было причиной «неустойчивости» П. Сажина в выборе профессии. Человек с потребительской, узкокорыстной психологией не поймет этих зигзагов в биографии писателя.

О своих морских скитаниях П. Сажин написал книгу под названием «Британский профиль» — книгу, насыщенную острыми, зоркими наблюдениями и впечатлениями, возникшими при соприкосновении с разнородным житейским, человеческим, социальным материалом. Эта книга вышла в 1931 году в Государственном издательстве художественной литературы (ГИХЛ). Через два года она повторно была опубликована «Издательством писателей в Ленинграде» под редакцией Н. С. Тихонова.

Я не собираюсь рисовать полный портрет писателя. Несколько штрихов из его биографии надо было восстановить для того, чтобы понять истоки творческого своеобразия П. Сажина.

Наибольшую известность принесли Сажину повести «Капитан Кирибеев», «Трамонтана» и «Севастопольская хроника». Эти повести написаны и переработаны в разное время — с 1936 по 1972 год. Они заметно отличаются друг от друга художественными особенностями, нравственной проблематикой. П. Сажина условно можно причислить к той категории писателей, которые говорят негромким голосом, не увлекаются сногсшибательными столкновениями характеров. Автор придерживается спокойной манеры повествования. Тугие сюжетные узлы завязываются постепенно. П. Сажин не перебивает героев своих повестей, создает свободный простор для независимого, естественного самодвижения. Не все повести подчиняются этим законам. «Севастопольская хроника» своей тональностью, принципами художественного построения, к примеру, явственно отличается от «Капитана Кирибеева» и «Трамонтаны». Об этом более обстоятельно я скажу дальше. Между повестями «Капитан Кирибеев» и «Трамонтана» су-

ществует внутреннее родство. Замечается нить, незримо протянутая между ними. Это родство сказывается в особенностях, своеобразии человеческих характеров, изображенных в повестях. П. Сажин любит людей честных, мужественных, скромных, сильных, не лишенных слабостей, но живущих и работающих с огоньком, творящих добро без шума, умножающих количество света на земле. Не сразу предстают они перед читателями положительными чертами своего характера. Происходит это не потому, что автор стремится уравновесить в человеке отрицательные и положительные качества, намеренно соединяет вместе контрастные, взаимоисключающие краски. Человек — сложнейшее, многогранное существо, живое, динамичное, развивающееся. В нем порой сосуществуют черты, не всегда элементарно и просто гармонирующие друг с другом. Но в нем где-то бьется основной источник. Надо найти его, внимательно исследовать содержание, «состав» этого источника. Человека необходимо хорошо знать и любить. Такова, говоря ученым языком, концепция личности в творчестве писателя. «Капитан Кирибеев» — добротная, «мускулистая», реалистическая повесть — начинается по подобию детектива. В одной каюте с писателем на пароходе «Анадырь» оказывается некий весьма странный тип. Вваливается он в каюту без стука, располагается в ней так, будто рядом с ним нет никого. Молчит трое суток. Только официанту бросает два скупых слова: коньяк и лимон. За трое суток выпил шесть бутылок коньяку, выкурил несчетное количество трубок. С первого взгляда сосед писателя по каюте подонок какой-то, пьяница, невежа и хам. Когда ближе знакомимся с жизнью странного пассажира, случайное, дерзкое, вызывающее в его поведении постепенно отодвигается в сторону. Мы начинаем понимать скрытые мотивы, побудительные причины его столь необузданных, неуравновешенных поступков. Разрушился быт, перегорела любовь к жене, оставив в сердце Кирибеева страшные, незаживающие ожоги. Капитан Степан Петрович Кирибеев — личность незаурядная, героическая. Кирибеев храбр до безумия, строг, справедлив, суров, нежен, жизнелюбив. Он любит жизнь, любит не только наслаждаться ею, но и своим деянием, своими поступками усовершенствовать, обогащать, развивать ее. Он из племени крылатых, желающих летать высоко, нести на своих крыльях что-то очень нужное, очень необходимое людям. Не всегда сопутствует ему удача. Мучи-

тельно, почти трагически складываются его отношения с женой Ларисой, обожаемой Кирибеевым, но существом легковесным, капризным, пустым, не понимающим, в чем истинное человеческое счастье. Несмотря на удары судьбы, на горькие разочарования и ушибы, в Кирибееве не гаснет желание творчества, идея большого самоотверженного труда и исканий. В труде, исканиях заключено основное содержание счастья. Человек создан для творчества, для активного созидания. Иначе в чем же смысл его существования на этой грешной земле? Капитан Кирибеев в самой обычной работе открывает какие-то новые, увлекательные стороны, знает, когда нужно подбодрить человека или взыскать с него. Он умеет драться за свою идею, драться с упорством и смелостью. «В начале было дело!» Капитан Кирибеев мог бы повторить это знаменитое изречение из «Фауста» Гёте. Кирибеев не только человек дела. Он натура экспрессивная. Волны различных чувств относят его то к одному, то к другому берегу. Он жалуется: «Литература да и газеты — все говорят о строительстве (речь идет о годах тридцатых). И меньше всего о нравственности, о морали, быте, любви. А если говорят, то все как-то гладенько получается. Но что заводы, что земля без красоты и любви?» Прав ведь в своих сетованиях Кирибеев — этот неустрашимый морской волк, побывавший во многих переплетах, человек твердого мужества и нежного, влюбчивого, легкоранимого сердца. Кирибеев нарисован писателем размашистой кистью, крупно, впечатляюще. Он говорит о себе: «Люблю свежую погоду; спокойное море не по мне, спокойное море — что человек без характера; скучно с таким человеком». Капитан Степан Петрович Кирибеев излучает чистый, не гаснущий романтический свет. Он — воплощение мужества, преданности долгу, бескорыстия.

Герой другой известной повести П. Сажина «Трамонтана» — Данилыч фактами своей биографии, да и особенностями характера с поверхностного взгляда мало чем похож на Кирибеева. В нем нет той бушующей страсти, того причудливого перелива чувств, переживаний, той сшибки противоположных, несовместимых друг с другом состояний, переживаний, которые так отчетливо выражены в натуре капитана. Данилыч по сравнению с кипящим Кирибеевым проще, яснее. Но в этом обыкновенном, ничем особенным не выделяющемся рыбаке мы обнаруживаем то возвышенное, доброе, масштабное, что

роднит его с Кирибеевым. Не случайно повести предпослан эпиграф: «Человек без огня в душе, что птица без крыльев». Есть в душе Данилыча этот огонь, эта забота о мире, вселенной, о человеческой судьбе. Данилыч не оперирует широкими, емкими, социальными и нравственными категориями. Он говорит искренно, без рисовки, без патетики: «Хочу жить, как все! Работать, дела хочу!» Данилыча занимает все, что касается жизни, благополучия людей, охраны окружающей среды, моря, животных. До всего есть ему дело. Повесть аллегорически названа именем ураганного северо-восточного ветра — трамонтана, не знающего покоя. Данилыч уподобляется этому ветру. Человек он отличный, неподкупный, справедливый. Для себя ничего, а за другого в огонь полезет. И сделает это незаметно, без эффекта, ни единым словом, ни единым жестом не подчеркивая готовность к самопожертвованию. Человек обязан делать добро для людей, никогда не останавливаться в пути, находиться в состоянии вечного движения, непокоя. Душу человеческую на пенсию не поставишь. «А я считаю так,— говорит Данилыч,— горе горюй, а руками воюй. Рук нет — зубами. Зубы в драке отбили — головой. Человек, пока ты живой, на пенсию не становись. Работай! Бейся!» Главное в жизни — действие. С этим девизом жил до последней минуты рыбак и воин Шматько Александр Данилыч, человек с чистой совестью, прямой и отважный, щедрый душой, одаренный безупречной нравственностью, умеющий любить до боли и ненавидеть непримиримо.

Талантливые самобытные повести «Капитан Кирибеев» и «Трамонтана» по достоинству снискали признание читателей. О них по справедливости много похвальных слов сказала литературная критика.

«Севастопольская хроника» также названа писателем повестью. Заглавие произведения как будто невольно вступает в противоречие с его жанровым обозначением. В силах ли хроника быть повестью? Возможно, заглавие условное и то, что изображено в повести, имеет лишь косвенное отношение к Севастополю и хронике вообще? Однако «Севастопольская хроника» имеет право называться повестью. Вместе с тем все, о чем рассказано в ней, напоминает сжатую, эмоционально спрессованную хронику из героических военных будней Севастополя.

В последнее время критика немало пишет о документальной литературе, о властном вторжении фактов, хроники, реальных событий в эстетическую структуру литературных произведений. Некоторым кажется, будто вытеснение документом вымысла, воображения неизбежно и продиктовано велением времени, требующего абсолютной достоверности изображаемого. Но не существует понятия «чистой», стерилизованной документальности, копирующей полностью сущее. Простое, скрупулезное описание событий и фактов, имевших место в жизни, не есть еще документальное произведение.

К какому роду или жанру литературы принадлежит эта необычная повесть, озаглавленная намеренно прозаически — «Севастопольская хроника»? В конце аннотации к книге П. Сажина, изданной «Советским писателем» в 1977 году, говорится: «Читателю не следует придавать слову «хроника» изначальное значение: книга П. Сажина не календарь сражений и не исторический очерк, да и не мемуары, а повесть, в которой есть сюжет, но действуют невымышленные герои». Если в «Севастопольской хронике» есть сюжет, а действуют невымышленные герои, то в каком же соотношении друг с другом находятся они? Пожалуй, правильно: «Севастопольская хроника» — не календарь сражений, не исторический очерк и не мемуары. «Севастопольская хроника» — повесть. Но своеобразие повести П. Сажина не только в том, что в ней есть сюжет и действуют невымышленные герои. «Севастопольскую хронику» превращает в повесть, формирует ее интригующий, порой эпический, порой романтический и лирический сюжет самый принцип отбора невымышленных героев, воссоздание их поучительных судеб, их поступков, их жизненных дорог. Не исключено, в судьбы невымышленных героев автор вносит какие-то дополнительные линии, отсекает ненужное, малозначительное, укрупняет, заостряет те черты героев, которые, не расходясь с исторической и жизненной достоверностью, придают людям, нарисованным в «Севастопольской хронике», обобщающую, типическую силу. Типический характер в документальной прозе подчиняется иным художественным законам, нежели в «чистых» беллетристических произведениях. В документальной прозе автор не «выдумывает» обстоятельства, в которых обычно формируется и проявляется характер героя. Эти обстоятельства уже существуют объективно, они преподнесены самой жизнью. Да и герой документальной прозы личность

реальная, не сотворенная воображением художника. Кажется, что перед писателем, придерживающимся принципа документальной достоверности, стоит относительно легкая задача: сделать добросовестную зарисовку с натуры, изобразить обстоятельства так, как они имели место в действительности. Но документальность не означает слепого следования за фактами, за человеческими судьбами, простое эмпирическое описательство. Документальность не отрицает, а предполагает напряженную, интенсивную работу творческой мысли по отбору, расположению фактов, событий, характеров людей, такое их «сцепление», соединение, такой их сплав, который содержит в себе нечто более значительное, важное, чем оно имеется в фактах и обстоятельствах, взятых обособленно, вне взаимной связи и соподчиненности. Одаренный писатель-документалист словно разжимает рамки, раздвигает границы фактов, обнажает заключенный в них сокровенный смысл, придает фактам иное, более высокое звучание. Разрушению жестких, твердо очерченных границ между реальными фактами и вымыслом способствует не совсем обычная судьба людей, изображенных в «Севастопольской хронике». И обстоятельства, в которых им приходится действовать, не совсем обычные, не заурядные. П. Сажин не скрывает правду о тяжелейших первых месяцах Великой Отечественной войны, о больших жертвах, понесенных нашей армией, о неисчислимых бедах, обрушившихся на советских людей. Обо всем этом он говорит с болью, принимая близко к сердцу трагические, полные драматизма испытания народа. Война не бывает без смерти, без потерь, без разрушений. Это азбучная истина. Вряд ли она требует доказательств. В «Севастопольской хронике» мы являемся свидетелями гибели многих советских людей. Вместе с автором горько переживаем их утрату. Но пытливый, наблюдательный военный журналист П. Сажин из вороха фактов «вылавливает» не совсем обыденные, не заурядные. Он призывает писать о подвигах без ложной патетики, ибо те, кто совершает подвиги, думают о них как о точном и неукоснительном выполнении своих обязанностей в любой обстановке. Разве просто, разве легко точно и неукоснительно выполнять свои обязанности в любой обстановке? Подвиг — готовность пожертвовать собой, если этого потребуют обстоятельства. Есть подвиги без жертвенности, подвиги бескровные. П. Сажин рассказывает в своей книге чуть ли не о фантастических

по своему характеру фактах, достоверных, реальных, не вымышленных.

Сколько может принять на свой борт миноносец типа «Сообразительный»? По всем расчетам, по всем чрезмерно преувеличенным возможностям, не более четырехсот. Миноносец же взял у лидера «Ташкент» около двух тысяч человек. «Другого выхода не было»,— чуть задумываясь, говорит командир миноносца Ворков — человек умный, опытный, превосходно владеющий всеми тайнами своей нелегкой морской службы. Миноносец «Сообразительный» под его командованием провел в море свыше двухсот суток, совершил двести восемнадцать боевых выходов, неизменно вступал в схватку с фашистскими кораблями и самолетами. За всю войну миноносец не потерял ни одного бойца, не было даже раненых. Что это? Счастье, везение, распорядительность, находчивость, высочайшее военное мастерство? По всей вероятности, все вместе взятое и соединенное. П. Сажин справедливо пишет: «В подвиге может быть лишь одна норма — значение его для Отечества. То, что сделал экипаж гвардейского эсминца «Сообразительный», имеет ценность как некий эталон воинского искусства и должно относиться к свершениям, ибо такое нельзя просто выполнить, а можно лишь свершить».

Столь же необычна, поразительна судьба уже не корабля, не миноносца, а моряка Черноморского флота Анатолия Голимбиевского. Он дрался на знаменитой Малой земле в отряде Цезаря Куникова. Сражался если не за десятерых, то за четверых по крайней мере. Его ран хватило бы на четверых бойцов, и каждого из них при этом нужно было бы немедленно эвакуировать в госпиталь. Голимбиевский же с невероятным напряжением воли, духа, превозмогая боль, продолжает вести бой с фашистами. Поседел в двадцать два года, потерял обе ноги — этот отличный, добрый, общительный матрос, созданный для радости и творчества. Жизнь чрезмерно жестоко, немилосердно обошлась с ним. Голимбиевский не сдается. Он вырывает у жизни то, чего она хотела полностью лишить его,— любовь, радость существования. Любовь Анатолия Голимбиевского и медсестры Мирцы Каландадзе напоминает увлекательную романтическую историю, красивую, человечную. Голимбиевский поборол смерть, стал счастливым мужем и отцом. Счастье он понимает не как семейный уют, покой, умиротворенность. Нет. Надо жить. Широко жить! Ра-

ботать надо! Таково его жизненное кредо в мирных условиях. В боях же под Одессой, и под Севастополем, и на Малой земле, и при штурме Новороссийска, по словам Анатолия, он не сделал ничего выдающегося. Просто не мог действовать иначе, как идти вперед. Только вперед!

А разведчик Нечипуренко? Какие поистине невероятные подвиги, похожие на деяния сказочных богатырей, совершает он. Совершает лихо, весело, с выдумкой, хитрецой. Подвиг для Нечипуренко, как и для Голимбиевского,— это творчество, усиленная, напряженная работа ума, воли, сообразительности, опыт, находчивость, своего рода озарение, когда в кратких до предела мгновениях войны рождается единственное решение, предугадывающее исход поединка.

В «Севастопольской хронике» созданы выразительные образы, лейтенанта Ивана Заики — командира батареи береговой обороны Севастополя, стойко сражавшейся с превосходящими силами гитлеровцев. Или генерала Ивана Ефимовича Петрова — человека огромного обаяния, мудрого, спокойного, вышедшего из самых низов народа и ставшего в советское время выдающимся полководцем.

Я не буду пересказывать все то, что запечатлено в «Севастопольской хронике». Книга П. Сажина словно вновь листает страницы боевой славы советского народа, приобщает нас к героическим будням минувшей войны. Читаешь «Севастопольскую хронику» с душевным волнением. Автор нигде не прибегает к красивым, бьющим в глаза сравнениям и эпитетам. Он разматывает нить повествования неторопливо, отбирает из громадного по своему объему и историческому значению материала самое нужное, точное, необходимое.

Война окончилась давно. Советский народ победил сильного, жестокого, умного врага, победил ценой немалых жертв и лишений. Наступила ли эра окончательного исчезновения всех войн, эра безоблачного, никем не нарушаемого мира? Нет, этого сказать нельзя.

«Севастопольская хроника» — книга своеобразная, оригинальная, талантливая. В ней заново озвучен не только бесценный материал жизни и подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

Здесь созданы крупные, сильные человеческие характеры, рожденные и выкованные социалистическим образом жизни. Историческая точность, документальность, предельная правдивость в этой книге озарены обобщающей мыслью. Автор умеет взглянуть на факты, события, на людские судьбы с такой точки обзора, которая открывает возможность понять их истинную суть, за верхним слоем увидеть глубину, многомерность. В конце книги автор с присущей ему скромностью говорит о том, что он был бы счастлив, если б изложенные в его повести события и факты, поступки, их подлинный смысл выдержали бы испытание временем. Да, время отбирает и просеивает события. Вода уходит, песок остается. «Севастопольская хроника» значительна и тем, что, держась очень близко к берегам документальности, к правде — исторически проверенной, непререкаемой, представляет собой значительное литературное произведение, написанное рукой опытного художника слова.

Все дальше от нас уходят годы Великой Отечественной войны. Но память о прошлом не ослабевает. Никогда не сотрутся из людской памяти те грозные и тревожные, те трагические и гордые дни. В «Севастопольской хронике» П. Сажин оружием художественного слова закрепляет эту память.

Георгий ЛОМИДЗЕ

СОДЕРЖАНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ

Возвращение на Итаку 5

Двадцать пять лет спустя 33

На память о службе морской 39

Открыть огонь! 45

Константиновский равелин 51

«Форт «Известия» 58

«Двенадцать раз луна менялась...» 67

Тайна настоящего искусства 81

А море спит? 88

У последней мили 96

Стакан чая 108

Когда топором рубят сталь 121

По канату через пропасть 126

Одни строят пирамиды, другие играют на флейтах . 144
Потомству в пример 156
Храбрые проходят через горы 170

КНИГА ВТОРАЯ

Старые блокноты 215
Охотники за минами 234
Как становятся настоящими моряками 250
Битва за фарватер 261
Одесса есть Одесса 273
А при чем тут Гарибальди? 276
Дар Маргулисов 280
Соловей 286
Валеночки 288
Полный вперед 291
Ложка 299
Дезертир 304
Ход двух коней 307
Считайте меня коммунистом!.. 310
Танки 312
«Лучшая стратегическая голова рейха» 316
Дороги, дороги... 321
Из тетради в черной клеенчатой обложке 332
Домик в Перхушкове 354
«Прусский — гут, русский — гутее» 359
Начало 368
«Не умирай, пока живешь» 374
Небываемое бывает... 410

Наиглавнейшее дело 418
«Охота на дроф» 421
Прорыв блокады 425
Июнь 1942 года 444
Орлы слетаются в свое гнездо 458
Смерть героя 481
На войне как на войне 490
Идет могучая армия 492
Улица генерала Петрова 501
Последний выстрел 561

УТВЕРЖДАЯ ГЕРОИЧЕСКОЕ, НРАВСТВЕННОЕ.

Послесловие **Г. Ломидзе** 574

Петр Александрович САЖИН

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ХРОНИКА

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия, 1982, 592 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **Л. Цуранова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **В. Волк**

А 06237. Сдано в набор 22.06.82. Подписано в печать 21.10.82. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура латинская. Печать высокая. Печ. л. 18,5. Усл. печ. л. 31,08. Уч.-изд. л. 31,55. Заказ 1345. Тираж 240.000 экз.
Цена 2 руб. 30 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Набрано и сматрицировано в типографии № 2
издательства «Радянська Україна», Киев, Анри Барбюса, 51/2.

Отпечатано на Киевской книжной фабрике,
252054, Киев, ул. Воровского, 24.

В 1982 году

издается 16 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книги 1-я, 2-я.

А. Ананьев. Годы без войны. Роман. Книги 2-я, 3-я.

В. Астафьев. Последний поклон. Повесть.

Г. Ахунов. Клад. Роман. Повести. Перевод с татарского.

В. Бээкман. И сто смертей. Роман. Повесть. Перевод с эстонского.

Д. Гранин. Место для памятника. Повести. Рассказы.

С. Капутикян. Меридианы карты и души. Перевод с армянского.

В. Козько. Високосный год. Повести. Перевод с белорусского.

Т. Пулатов. Завсегдатай. Повести.

П. Сажин. Севастопольская хроника. Повесть.

Сборник «Проза молодых». К 60-летию образования СССР.

З. Скуинь. Нагота. Романы. Перевод с латышского.

М. Слуцкис. На исходе дня. Роман. Перевод с литовского.

Г. Троепольский. Повести. Рассказы.

О. Чиладзе. И всякий, кто встретится со мной... Роман. Перевод с грузинского.

А. Якубов. Совесть. Романы. Перевод с узбекского.

В 1982 ГОДУ
В РОЗНИЧНОЙ СЕРИИ ПРИЛОЖЕНИЯ
К ЖУРНАЛУ «ДРУЖБА НАРОДОВ»
«БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ПРОЗЫ»

выйдут:

Л. И. Брежнев. Малая земля. Возрождение. Целина. Воспоминания.

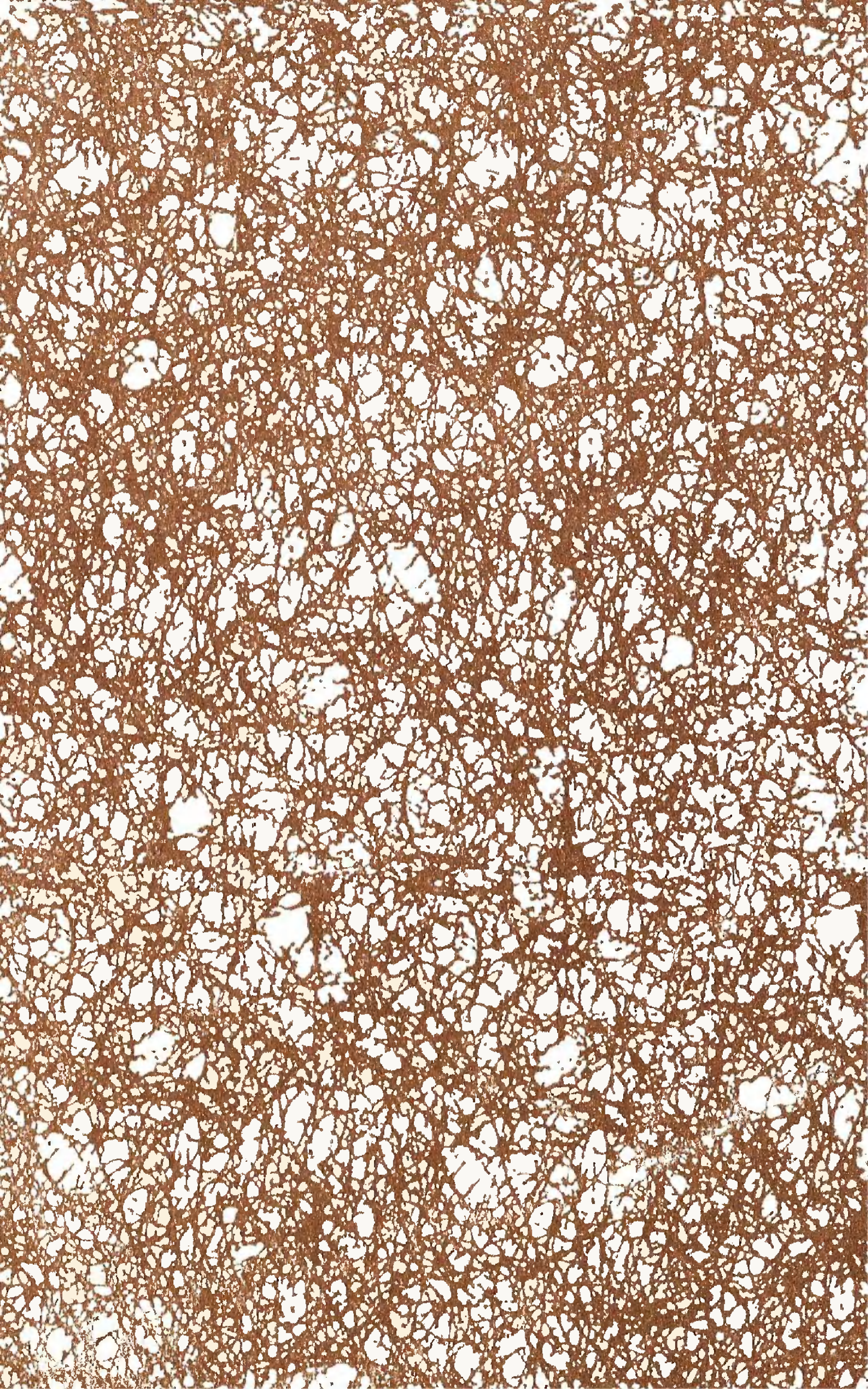
М. Горький. Дело Артамоновых. Фома Гордеев. Романы.

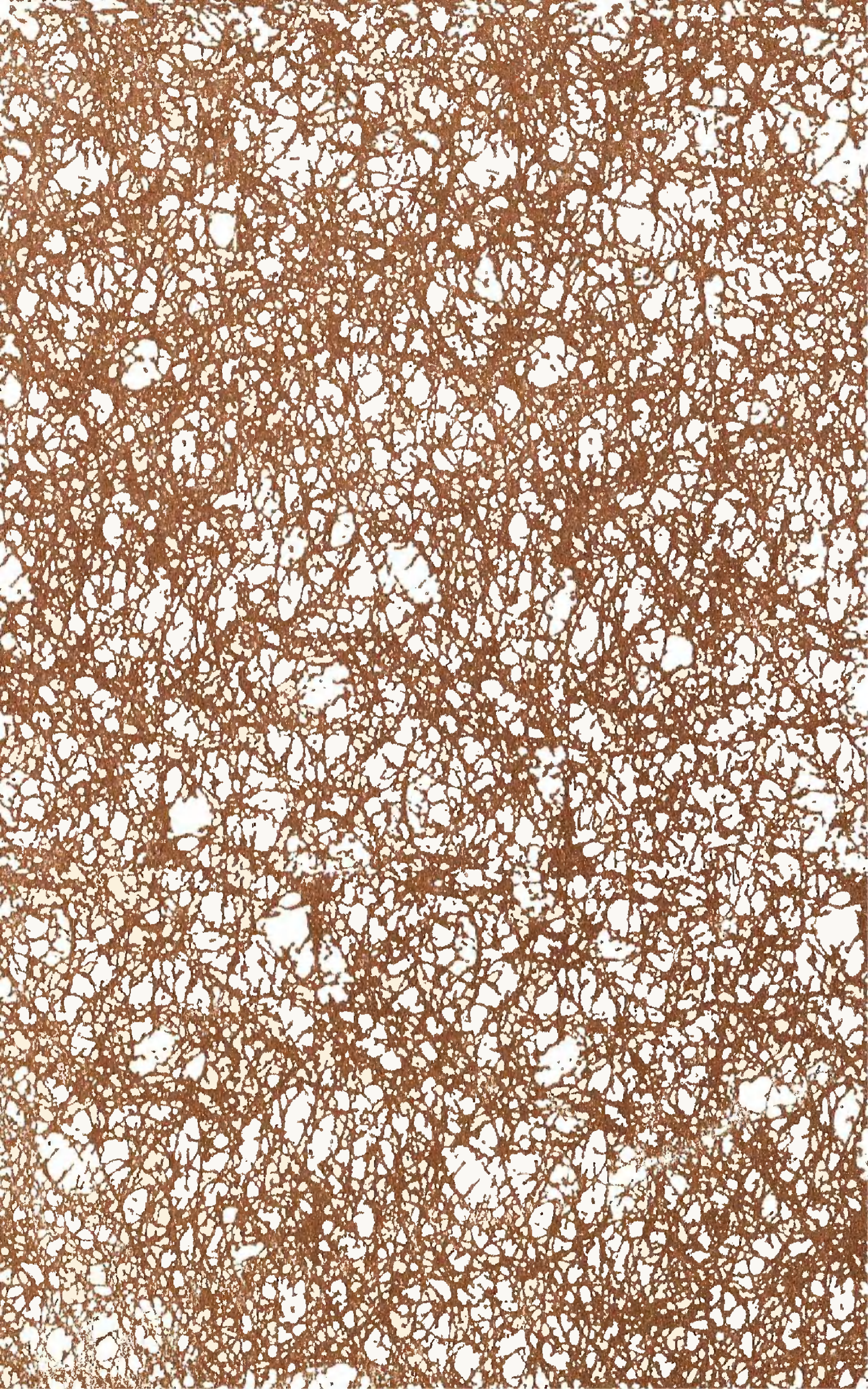
Б. Кербабаев. Небит-Даг. Роман. Перевод с туркменского.

Л. Леонов. Барсуки. Соть. Романы.

Ю. Смуул. Ледовая книга. Японское море, декабрь. Монологи. Перевод с эстонского.

Scan Kreyder - 29.11.2015
STERLITAMAK





2 р. 80 к.